



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

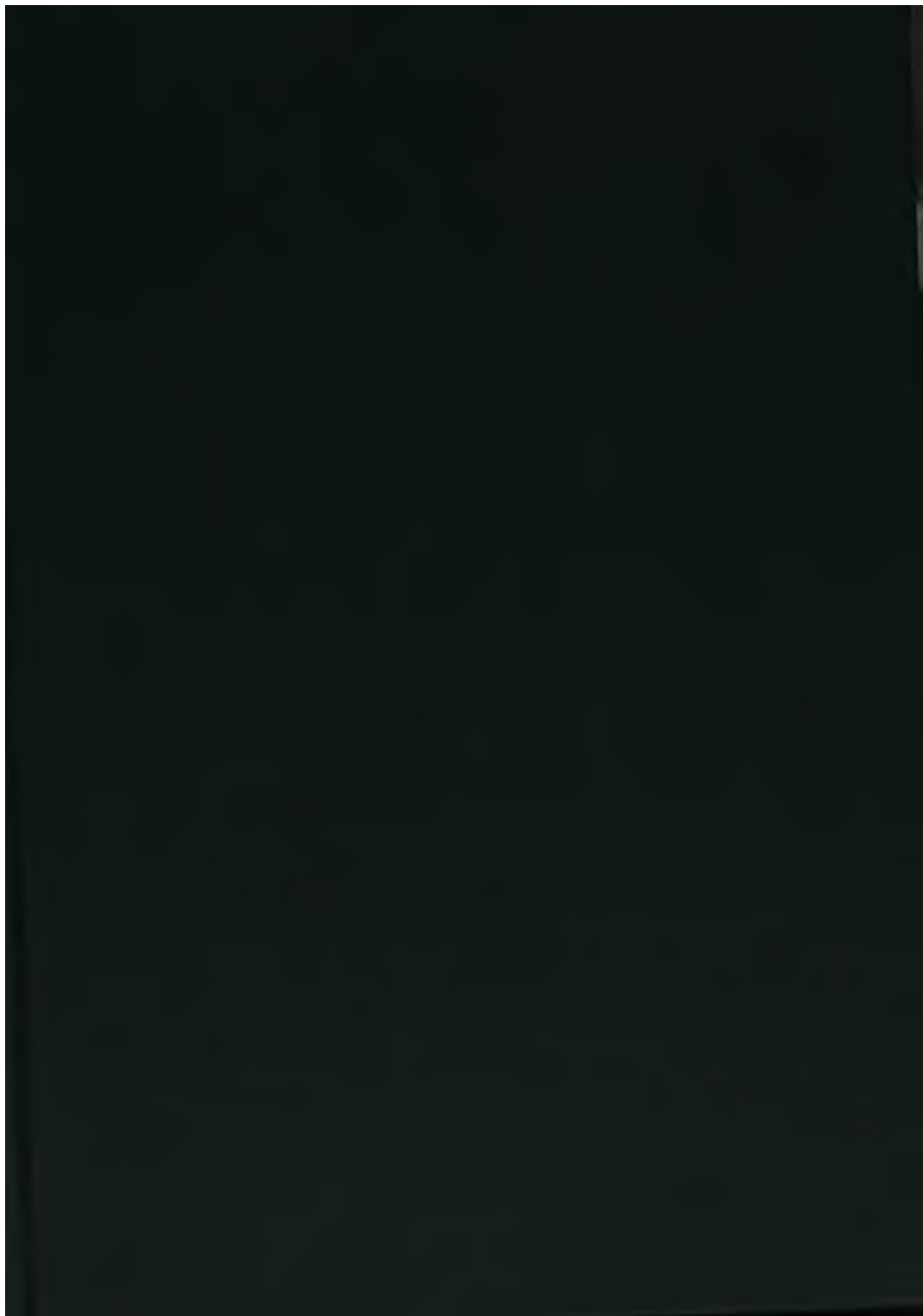
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>











Трубецкой, S N

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

КН. СЕРГѢЯ НИКОЛАЕВИЧА

ТРУБЕЦКОГО.

ТОМЪ I.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ,

напечатанныя съ 1896 г. по 1905 г. включительно.



МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.
1907.



80/6

B4279

T-7A3

1907

v.1

Печатается по постановлению Совета Императорского Московского университета, состоявшемуся 2 декабря 1906 года.

Ректоръ



Кн. С. Н. Трубецкой.

Имя покойного князя С. Н. Трубецкого, во всеобщем смысле самых последних летъ, не было особенно богато важными событиями. Родился онъ въ 1866 году, 17 года въ родовомъ имѣнии Ахтырѣ, Московскій губерніи, въ очень просвѣщенной и уважаемой семьѣ, принадлежавшей къ одному изъ лучшихъ аристократическихъ родовъ въ Россіи, который многократно заявлялъ себя въ русскія войны. Былъ определенъ воспитаніемъ русскому князю, сыну князя С. А. Трубецкаго, уроженца Лодзинскаго вѣводства, который, будучи, съ широкимъ образованіемъ въ Геттингенѣ, потомъ окончилъ отдавшись своей охотѣ и извѣстности, потомъ женился на своей дочери, и воспитывалъ своего сына глубоко въ семейномъ кругу, но былъ очень привязанъ къ ней, и до смерти онъ оставался соединена вѣрная и доверчивая дружба. Вѣрная, дружная и гармоничный семейный кругъ имѣлъ, повелѣнному, для образованія характера Сергія Николаевича очень большое значеніе: можетъ быть, ему онъ, главнымъ образомъ, былъ обязанъ некоторыми симпатичными чертами своей личности: добротой, душевною ясностью, благородною доверчивостью къ людямъ, чрезвычайно сердечною отзывчивостью и неизменной твердостью въ дружбѣ.

Въ 1874 году онъ, вмѣстѣ съ своимъ братомъ, княземъ П. Н. Трубецкимъ, теперь извѣстнымъ профессоромъ Московскаго университета, поступилъ въ гимназію Креймана, а потомъ, когда его отецъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Сибирь, былъ переведенъ въ казанскую гимназію. Вообще, эта школа не оставила у Сергія Николаевича хорошихъ воспоминаній. Въ особенности не было пріятное впечатлѣніе



Кн. С. Н. Трубецкой.

Жизнь покойного князя С. Н. Трубецкого, за исключением самых последних летъ, не была особенно богата внѣшними событіями. Родился онъ въ 1862 году, 23 іюля въ родовомъ имѣніи Ахтыркѣ, Московской губерніи, въ очень просвѣщенной и уважаемой семьѣ, принадлежавшей къ одному изъ лучшихъ аристократическихъ родовъ въ Россіи, который многократно заявилъ себя въ русской исторіи. Его первоначальнымъ воспитаніемъ руководила его мать, княгиня С. А. Трубецкая, урожденная Лопухина, женщина замѣчательная, съ широкимъ образованіемъ и большимъ умомъ. Всецѣло отдавшись своей семьѣ и воспитанію дѣтей, она оказала на своего сына глубокое и благотворное вліяніе; онъ былъ очень привязанъ къ ней, и до самаго ея конца ихъ соединяла нѣжная и довѣрчивая дружба. Вообще, дружный и гармоничный семейный кругъ имѣлъ, повидимому, для образованія характера Сергѣя Николаевича очень большое значеніе; можетъ быть, ему онъ, главнымъ образомъ, былъ обязанъ нѣкоторыми симпатичными чертами своей личности: своею душевною ясностью, благородною довѣрчивостью къ людямъ, чрезвычайно сердечною отзывчивостью и неизмѣнною твердостью въ дружбѣ.

Въ 1874 году онъ, вмѣстѣ съ своимъ братомъ, княземъ Е. Н. Трубецкимъ, теперь извѣстнымъ профессоромъ Московскаго университета, поступилъ въ гимназію Креймана, а потомъ, когда его отецъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Калугу, былъ переведенъ въ калужскую гимназію. Вообще, средняя школа не оставила у Сергѣя Николаевича хорошихъ воспоминаній. Въ особенности не благоприятное впечатлѣніе

произвела на него калужская гимназія. И непріютная обстановка, и преподаватели, за немногими исключеніями, и ученики казались ему чѣмъ-то чужимъ и далекимъ. Въ это время онъ писалъ своему учителю и другу И. И. Кокурину въ одномъ изъ своихъ интересныхъ и задушевныхъ писемъ къ нему: „Въ гимназіи баснословная грязь; классная что-то среднее между хлѣвомъ и вагономъ третьяго класса; при всемъ томъ темно“. Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ: „Жду съ нетерпѣніемъ вашего письма, а вдругъ получаю маленькую записку, да и то еще пишете о пользѣ языковъ (чортъ бы побралъ латынь и греческій!) Въ нашей гимназіи всякій возненавидитъ древніе языки. Наша гимназія — сонное царство: древніе языки — это невыносимая пытка... Менѣ всего спятъ во время математики и перемѣнъ. Вотъ сладкіе плоды изученія древнихъ языковъ! Мнѣ кажется, если бы не письменныя работы, то никто ничего бы не дѣлалъ“. Такъ писалъ будущій тонкій филологъ и убѣжденный защитникъ классическаго образованія! Недаромъ онъ впослѣдствіи говорилъ: „Мнѣ всю жизнь приходилось бороться противъ того, что дала мнѣ гимназія“.

Но изъ этой же переписки съ И. И. Кокуринымъ видно, что Сергій Николаевичъ въ Калугѣ не скучалъ и не чувствовалъ себя одинокимъ. Онъ пишетъ: „Славу Богу, мнѣ покамѣстъ не скучно, и я надѣюсь не скучать, хотя здѣсь ни съ кѣмъ не знакомъ. Я *очень много* занимаюсь, то-есть не уроками, а чтеніемъ. Мама подарила мнѣ всего Бѣлинскаго, я купилъ себѣ всего Шекспира. Какъ видите, скучать нечего, къ тому же ученіемъ меня не морять“. Его потребность въ обществѣ вполне удовлетворялась домашнимъ кружкомъ, и онъ всячески избѣгалъ постороннихъ знакомствъ; съ другой стороны, онъ отдается усиленному и разнообразному чтенію. Философскіе интересы въ немъ пробудились рано. Какъ и для многихъ другихъ, первый толчокъ къ такому пробужденію далъ Бѣлинскій. Еще будучи въ пятомъ классѣ, Сергій Николаевичъ зачитывается его сочиненіями и старается проникнуть во внутренній смыслъ идеалистическихъ посылокъ его міросозерцанія. Въ это же время въ Сергѣѣ Николаевичѣ начинаютъ просыпаться религіозныя сомнѣнія. При религіозномъ складѣ его натуры и при религіозномъ настроеніи его семейства, эти сомнѣнія

имѣли для него очень важное и мучительное значеніе. Они только усилились, когда онъ прочелъ Бокля и нѣкоторыя сочиненія Герберта Спенсера. Для него наступила эпоха религіознаго отрицанія, которое онъ съ свойственной ему горячностью выражалъ пугающими окружающихъ нарушениями правилъ церковнаго благочестія. Онъ сталъ на нѣкоторое время *нигилистомъ* въ томъ смыслѣ, какъ понималось это слово въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ. Въ этомъ умственномъ настроеніи переходитъ онъ и въ шестой классъ. Здѣсь чтеніе его становится еще разнообразнѣе: онъ одолѣлъ логику Милля, читалъ Дарвина, продолжалъ изучать Герберта Спенсера, наконецъ, знакомится съ Ог. Контомъ по весьма популярной у насъ въ свое время книгѣ, соединявшей статьи Льюиса и Милля о Контѣ.

Его міросозерцаніе въ это время представляетъ изъ себя какъ бы смѣсь эмпиризма съ матеріализмомъ. Однако, оно уже переставало удовлетворять его; онъ быстро глоталъ книги, но не находилъ отвѣта на мучившіе его вопросы. Въ немъ растетъ сомнѣніе въ правильности его новыхъ взглядовъ, и онъ ищетъ авторовъ, которые рѣшали бы философскую проблему въ другомъ направленіи. Въ этомъ отношеніи ему очень помогъ Куно Фишеръ. Сергѣй Николаевичъ началъ читать его исторію новой философіи уже въ седьмомъ классѣ, и она сразу произвела на него огромное впечатлѣніе. Въ его умѣ происходитъ важный переворотъ: онъ покидаетъ позитивизмъ и матеріализмъ и всецѣло увлекается нѣмецкой философіей. Въ эту эпоху онъ внимательно читаетъ „Критику чистаго разума“ и „Пролегомены“ Канта. Приобрѣтеніе новыхъ книгъ, которыя онъ намѣчаетъ себѣ по цитатамъ въ книгахъ, уже прочитанныхъ, становится для него господствующимъ интересомъ жизни. Въ это время онъ всѣ свои деньги тратилъ на книги, даже удерживался отъ извозчиковъ. Его главнымъ собесѣдникомъ и товарищемъ по увлеченію философіей былъ его братъ Евгеній Николаевичъ, съ которымъ онъ все время шелъ въ одномъ классѣ. Съ нимъ онъ велъ постоянные разговоры и горячіе споры по занимавшимъ ихъ обоимъ вопросамъ.

Такъ переходитъ онъ въ восьмой классъ. Въ этотъ годъ его умственный кругозоръ обогатился цѣлымъ рядомъ новыхъ, важныхъ по своимъ послѣдствіямъ впечатлѣній: онъ

впервые серьезно ознакомился съ славянофильствомъ и съ философiей Вл. С. Соловьева. Славянофильство онъ прежде всего воспринялъ въ произведенiяхъ Достоевскаго (главнымъ образомъ, въ его „Дневникъ писателя“) и нѣкоторое время былъ охваченъ его влiянiемъ. Тогда же онъ прочелъ богословскiя сочиненiя Хомякова, также сдѣлавшiя на его умъ глубокое впечатлѣнiе. Наконецъ, въ этотъ же годъ онъ прочиталъ „Критику отвлеченныхъ началъ“ Соловьева, съ которымъ потомъ онъ былъ такъ близокъ по своему философскому мiросозерцанiю и по своимъ личнымъ дружескимъ отношенiямъ къ нему. Все это вмѣстѣ вызвало въ Сергѣѣ Николаевичѣ новый духовный переворотъ: онъ *вернулся къ христіанству; онъ на всю жизнь сдѣлался убѣжденнымъ проповѣдникомъ идеальнаго, очищеннаго, философски оправданнаго религіознаго мiровоззрѣнiя. Признанiе единой, внутренне живой духовной основы мiра, которая представляетъ собою корень и нашей индивидуальной жизни, и всечеловѣческаго коллективнаго сознанiя, и въ совершенно реальномъ взаимодействii съ которой заключается условiе достовѣрности нашего знанiя, навсегда становится руководящею мыслію его философской системы. Въ разсматриваемый періодъ Сергѣй Николаевичъ, кромѣ того, дѣлается славянофиломъ въ той умѣренной и универсалистической формѣ славянофильства, которую защищалъ Достоевскiй. Напротивъ, къ традиціонной и строгой формѣ славянофильства, выразительницей котораго была „Русь“ Аксакова, онъ уже и тогда относился нѣсколько критически, хотя и съ уваженiемъ.

Въ 1881 году Сергѣй Николаевичъ кончилъ гимназію и поступилъ въ Московскiй университетъ, первоначально на юридическiй факультетъ. Однако, черезъ нѣсколько недѣль онъ перешелъ на историко-филологическiй факультетъ, рѣшившись специально посвятить себя философiи. Понятно, что переходъ изъ нелюбимой гимназiи и изъ провинціальнаго города, гдѣ жизнь его была замкнута въ тѣсномъ семейномъ кружкѣ, въ Москву, гдѣ у него сразу оказался очень широкій кругъ знакомыхъ, и въ университетъ, съ его свободными научными занятiями, не могъ пройти безслѣдно для его умственнаго и душевнаго роста. Однако, едва ли легко услѣдить всѣ перипетiи его дальнѣйшаго развитiя и всѣ приобрѣтенiя, вынесенныя имъ изъ его чрезвычайно разно-

образнаго чтенія и изъ его новыхъ занятій наукою. Едва ли въ этомъ есть и необходимость: вѣдь самое важное отмѣтить первые и основоположные шаги въ образованіи личности и міросозерцанія философа.

Въ Москвѣ Сергій Николаевичъ уже не чуждался общества; онъ увлекался музыкой, веселился, явился даже однимъ изъ остроумнѣйшихъ устроителей модныхъ тогда въ свѣтскихъ домахъ шарадъ. Онъ обратилъ на себя вниманіе, о немъ стали говорить. У него было много родственниковъ и друзей, съ которыми онъ близко сошелся. Его открытая, честная, очень мягкая и въ то же время жизнерадостная натура невольно влекла къ нему. Въ этомъ отношеніи онъ нисколько не измѣнился до конца дней: съ перваго взгляда онъ могъ показаться нѣсколько угрюмымъ, слишкомъ серьезнымъ, даже важнымъ; но стоило съ нимъ разговаривать, чтобы это впечатлѣніе разсѣялось навсегда. За суровою иногда внѣшностью скрывалась душа совсѣмъ простого и необыкновенно сердечнаго человѣка, а его неудержимый, всегда готовый вспыхнуть юморъ придавалъ всей его личности неотразимую обаятельность.

Свѣтскія связи и развлечения однако не отвлекали Сергія Николаевича отъ занятій наукою, еще менѣе могли они отвлекъ его отъ волновавшихъ его запросовъ мысли. За время своего пребыванія въ университетѣ онъ изучилъ Канта во всемъ составѣ его философіи, изучилъ нѣмецкихъ идеалистовъ: Фихте, Шеллинга (въ особенности его „положительную философію“), Гегеля, Шопенгауэра, началъ серьезно изучать Платона и Аристотеля, особенно увлекался послѣднимъ. Въ концѣ университетскаго курса онъ очень интересовался нѣмецкими мистиками и усердно читалъ Мейстера Эккарта, Парацельза, Якова Беме и другія мистическія произведенія предреформаціонной и реформаціонной эпохи. Любовь къ Якову Беме заставила его обратить вниманіе на его глубокомысленнаго толкователя въ XIX вѣкѣ, Франца Баадера, и онъ внимательно изучалъ его сочиненія. Увлекаясь нѣмецкими мистиками, Сергій Николаевичъ ставилъ себѣ задачею выдѣлить въ нихъ то, что совпадаетъ съ истинною сущію христіанскаго міропониманія, отъ чуждыхъ христіанству пантеистическихъ и натуралистическихъ элементовъ. Въ то же время его очень занимали и частныя

подробности ихъ воззрѣній. Между прочимъ, его тогда интересовали вопросы о Божественной Мудрости (Софіи), какъ посредствующей сущности между Богомъ и міромъ, о натурѣ въ Богѣ, объ астральной тѣлесности духовнаго міра, объ астральномъ тѣлѣ человѣка и другихъ существъ. На эти темы онъ писалъ цѣлыя разсужденія, которыхъ, впрочемъ, никогда не предназначалъ къ печати.

Въ 1885 году князь С. Н. Трубецкой окончилъ университетскій курсъ по историко-филологическому факультету и тогда же былъ оставленъ при университетѣ для приготовления къ профессорскому званію по кафедрѣ философіи. Уже въ 1886 году онъ выдержалъ экзаменъ на магистра философіи, а въ 1888 году началъ читать въ Московскомъ университетѣ лекціи по философіи въ качествѣ приватъ-доцента. Въ 1887 году онъ женился на княжнѣ Прасковѣ Владиміровнѣ Оболенской. Жизнь его измѣнилась и еще болѣе сосредоточилась на научныхъ и философскихъ занятіяхъ. Между прочимъ, въ теченіе послѣдующихъ лѣтъ, онъ нѣсколько разъ ѣздилъ съ своей семьей за границу и слушалъ тамъ знаменитыхъ профессоровъ по философіи, исторіи, классической филологіи и исторіи церкви. Въ особенности важною и плодотворною для него явилась его первая заграничная поѣздка въ 1890—91 годахъ. Именно тогда установились его дружескія связи съ извѣстнымъ нѣмецкимъ богословомъ и историкомъ Гарнакомъ, оказавшимъ глубокое вліяніе на его собственныя религіозныя воззрѣнія, и съ замѣчательнымъ современнымъ филологомъ Дильсомъ. Въ своихъ письмахъ этого времени Сергій Николаевичъ очень горячо говоритъ о важности знакомства съ европейскою наукою въ ея живомъ центрѣ. Онъ пишетъ изъ Берлина своему брату Евгенію Николаевичу: „Прежде чѣмъ придать твоему труду окончательную форму, пріѣзжай сюда! Увидишь, какъ много ты измѣнишь. Не бойся писать, но, написавши, провѣрь свой трудъ въ Германіи. А то нѣтъ ничего опаснѣе этого чисто субъективнаго, безапелляціоннаго творчества безъ всякой другой повѣрки, кромѣ книгъ, которыя подъ конецъ и читаешь-то подъ субъективнымъ угломъ зрѣнія. У насъ кто за что взялся, тотъ въ томъ и специалистъ... Здѣсь же, кромѣ специалистовъ, ты найдешь всегда людей, стоящихъ на уровнѣ современнаго знанія, обладающихъ общимъ основательнымъ знаніемъ

истории и школой. Это огромное преимущество, которого у насъ нѣтъ, и безъ котораго нельзя ориентироваться. Здѣсь научная жизнь имѣетъ общественный характеръ, существуетъ наука, какъ живая общественная инстанція. И повѣрка этого коллективнаго сознанія необходима; въ каждомъ дѣльномъ ученомъ нѣмцѣ ты увидишь члена этой живучей умственной корпораціи и, если ты захочешь учиться, то почувствуешь ея отрезвляющее дѣйствіе. Я испыталъ это уже отчасти".

Въ 1890 году князь С. Н. Трубецкой защищалъ свою диссертацию на степень магистра, подъ заглавіемъ „Метафизика въ древней Греціи“. Это сочиненіе сразу выдвинуло его въ русской философской литературѣ, какъ глубокаго мыслителя и очень оригинальнаго историческаго изслѣдователя. Въ „Метафизикѣ въ древней Греціи“ со всею ясностью опредѣлилась наиболѣе своеобразная черта его историческихъ курсовъ по древней философіи: всѣ системы древнегреческой мысли онъ изображаетъ, какъ естественныя ступени роста и раскрытія единого и общаго міросозерцанія, которое было уже заложено въ древнегреческой религіи. Дальнѣйшая дѣятельность покойнаго долго не выходила изъ научно-литературныхъ рамокъ. Онъ читалъ лекціи (главнымъ образомъ, по истории древней философіи), всегда привлекавшія многочисленныхъ слушателей своимъ одушевленнымъ, сильнымъ и художественнымъ изложеніемъ, очень умѣло и съ тонкимъ знаніемъ дѣла руководилъ практическими занятіями студентовъ, писалъ статьи специально-философскія [важнѣйшія между ними: „О природѣ человѣческаго сознанія“ (1890 г.), „Детерминизмъ и нравственная свобода“ (1894 г.), „Основанія идеализма“ (1896 г.)], писалъ статьи и съ болѣе общимъ содержаніемъ, историческія, критическія, полемическія. Въ 1900 году онъ защитилъ свою замѣчательную докторскую диссертацию „Ученіе о Логосѣ“, въ которой ярко обрисовалось его оригинальное религіозное міровоззрѣніе, органически сочетавшее въ себѣ полную свободу мысли и научнаго изслѣдованія съ глубокою сердечною вѣрою въ личность Христа и христіанскіе догматы. Вскорѣ послѣ этого онъ былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ философіи въ Московскомъ университетѣ.

Его академическая дѣятельность тогда вошла въ еще болѣе широкое русло. Послѣ студенческихъ волненій 1901 г.,

охватившихъ всѣ высшія учебныя заведенія Россіи, для Московскаго университета наступило трудное и безпокойное время. Всѣми почувствовалась настоящая потребность въ коренныхъ преобразованіяхъ нашей высшей школы. Предъ совѣтомъ университета силою вещей стала отвѣтственная задача выработки общаго плана и практическихъ мѣръ для водворенія нормальнаго теченія занятій въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. И вотъ, въ этой общей, всѣхъ одушевлявшей работѣ покойный князь С. Н. Трубецкой сразу выдвинулся на одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ и оказался однимъ изъ самыхъ отважныхъ и неутомимыхъ борцовъ за переустройство академической жизни на совсѣмъ новыхъ началахъ. Онъ явился убѣжденнымъ защитникомъ университетской автономіи, въ смыслѣ права совѣта профессоровъ на руководство всѣмъ ходомъ академической жизни, и широкой свободы академическихъ союзовъ и собраній въ средѣ студенчества. Его качества, какъ энергичнаго и непоколебимаго гражданина, нелицемѣрно болѣющаго душою за свою несчастную родину, которая сказывалась въ немъ и раньше, напр., когда онъ зимою 1892—1893 г. ѣздилъ устраивать помощь голодающимъ въ Рязанскую губернію, теперь развернулись во всемъ своемъ блескѣ и силѣ. Онъ не ограничился устною и печатною проповѣдью тѣхъ общихъ началъ, въ спасительное значеніе которыхъ для существованія нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній онъ глубоко вѣрилъ; онъ первый сдѣлалъ широкую и чрезвычайно смѣлую попытку практически осуществить идею свободнаго студенческаго союза на чисто академической почвѣ. Успѣхъ этого предпріятія превзошелъ всѣ ожиданія. Созданное княземъ С. Н. Трубецкимъ Историко-Филологическое Общество привлекло въ составъ своихъ членовъ очень значительную часть московскаго студенчества; оно сразу зажило полною и разнообразною жизнью, раздѣлилось на цѣлый рядъ дѣятельныхъ секцій и, безъ всякаго преувеличенія, обратило на себя вниманіе всей образованной Россіи. Устроенная княземъ С. Н. Трубецкимъ экскурсія студентовъ въ Грецію представляетъ кульминаціонную точку въ развитіи Общества. Правда, процвѣтаніе его было очень непродолжительно; но не на князѣ С. Н. Трубецкомъ и не на другихъ членахъ Общества лежитъ вина, что оно распалось такъ скоро.

И подумать только, что князь С. Н. Трубецкой устраивал все это въ то время, когда его здоровье было уже надорвано и когда онъ только что пережилъ тяжкія нравственныя испытанія въ своей личной жизни. Въ 1900 году у него въ гостяхъ и на рукахъ у него умеръ самый близкій его другъ Вл. С. Соловьевъ; въ это же самое время скончался отецъ его князь Н. П. Трубецкой. Менѣе чѣмъ черезъ годъ умерла сестра Сергѣя Николаевича А. Н. Самарина, а черезъ нѣсколько дней послѣ ея похоронъ скончалась его мать княгиня С. А. Трубецкая, не пережившая смерти дочери. Такое нагроможденіе потерь глубоко потрясло до тѣхъ поръ крѣпкій и сильный организмъ князя С. Н. Трубецкого. Въ августѣ 1901 года онъ опасно заболѣлъ воспаленіемъ печени, поправлялся медленно, и серіозные слѣды болѣзни сохранились на все остальное время его жизни. Года два послѣ этого онъ опять заболѣлъ, на этотъ разъ воспаленіемъ легкихъ, и ослабѣлъ настолько, что врачи совѣтовали ему для окончательнаго поправленія ѣхать за границу. Осенью 1903 г. онъ съ семействомъ отправился сначала въ Берлинъ, потомъ поселился въ Дрезденъ. Время этого его послѣдняго пребыванія за границей совпало съ началомъ японской войны. Сергѣй Николаевичъ былъ настоящимъ и горячимъ патріотомъ, не на словахъ и не въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, а кровно любившимъ Россію и русскій народъ. Понятно, какое подавляющее и страшное впечатлѣніе должны были произвести на него пережитыя нами пораженія, особенно когда извѣстія о нихъ приходилось получать на чужбинѣ и когда ему стыдно было поднять глаза на окружающихъ, чтобы не прочесть въ ихъ лицѣ насмѣшки или обиднаго сожалѣнія. Помню, какъ уже въ Москвѣ, при мнѣ, онъ получилъ по телефону первое извѣстіе о гибели нашего флота подъ Цусимою: онъ страшно поблѣднѣлъ и весь дрожалъ, голосъ его прерывался. Для него не было того нѣсколько малодушнаго и легкомысленнаго утѣшенія, которымъ любили убаюкивать себя многіе представители нашего образованнаго общества по поводу нашихъ военныхъ бѣдствій: что русскій народъ тутъ ни при чемъ, что онъ можетъ быть спокоенъ и даже радоваться, что пораженія терпитъ не онъ, а русское правительство. Сергѣй Николаевичъ зналъ, что въ такихъ стихійныхъ между-

народныхъ столкновѣнiяхъ народъ нравственно отвѣчаетъ за то, какое у него правительство. Вотъ почему уже давно волновавшая его (приблизительно, начиная съ послѣднихъ годовъ прошлаго столѣтiя) мысль о необходимости немедленныхъ и коренныхъ реформъ въ нашемъ государственномъ устройствѣ именно подъ влiянiемъ войны облеклась въ совершенно жизненную и конкретную форму и всецѣло овладѣла его душой. Она терзала его и мучила, она будила его по ночамъ и не давала спать, она заставила его покинуть тихiй кабинетъ ученаго и превратила его въ политическаго дѣятеля съ всемирной извѣстностью. Жажда спасенiя и обновленiя родины побѣдила въ немъ всѣ другiе интересы и задачи, оттого онъ дѣйствовалъ такъ непоколебимо и твердо, съ такою доблестною откровенностью и честностью. При этомъ онъ былъ глубокий врагъ пути крови и насилiй и считалъ кровавую революцiю величайшимъ и бесплоднѣйшимъ бѣдствiемъ, какое только можетъ обрушиться на русскiй народъ и русскую землю. Лишь въ непрерывной, органической эволюцiи политическихъ формъ и въ мирномъ преобразованiи законодательства на основахъ широкаго народнаго представительства видѣлъ онъ выходъ изъ охватившаго насъ мрака. Если онъ былъ горячимъ сторонникомъ конституцiи, онъ не менѣе того былъ убѣжденнымъ монархистомъ. Въ этихъ своихъ коренныхъ воззрѣнiяхъ и оцѣнкахъ онъ не колебался никогда. Поэтому напрасно крайнiя русскiя партiи, послѣ его смерти, пытались сдѣлать изъ его свѣтлой личности знамя собственныхъ стремленiй и плановъ.

Охватившiй его душевный подъемъ далъ широкiй размахъ его публицистической дѣятельности. Подобно своему другу Вл. С. Соловьеву, Сергѣй Николаевичъ соединялъ въ себѣ съ талантами философа и ученаго очень крупный и блестящiй даръ публициста, ставяшiй его рядомъ съ лучшими представителями русской публицистики прошлаго. Уже давно стали появляться въ повременныхъ изданiяхъ его изящныя и остроумныя статьи по вопросамъ текущей жизни. Всѣмъ, напримѣръ, памятно его участiе въ полемикѣ о преобразованiи русской ореографии. Въ послѣднiй годъ своей жизни онъ задумалъ издавать собственную газету. Первые номера ея уже были напечатаны, но ни одинъ изъ

нихъ не увидѣлъ свѣта, вслѣдствіе неожиданно возникшихъ цензурныхъ препятствій. Публицистическія статьи покойнаго Сергія Николаевича за послѣднее время были, главнымъ образомъ, посвящены или общему политическому положенію Россіи, или другому, не менѣе большому вопросу о высшей русской школѣ.

Весь отдавшись широкой политической дѣятельности, князь С. Н. Трубецкой не забывалъ о нуждахъ университета, и онѣ попрежнему были близки его сердцу. Неотложная необходимость преобразованія университета и высшей школы вообще оставалась постояннымъ предметомъ его устной и печатной проповѣди. Вскорѣ послѣ своей знаменитой рѣчи 6-го іюня онъ подалъ Государю докладную записку, въ которой доказывалъ необходимость немедленнаго введенія временныхъ правилъ, обеспечивающихъ автономію за университетами. Такія временныя правила дѣйствительно появились 27 августа 1905 года. А черезъ нѣсколько дней, 2-го сентября, князь С. Н. Трубецкой былъ избранъ ректоромъ Московскаго университета. Между тѣмъ здоровье его съ начала 1905 года было уже окончательно разстроено. На его вдохновенную общественную дѣятельность ему приходилось тратить послѣдніе запасы силъ своего разрушеннаго организма, и онъ быстро сгоралъ въ той пламенной борьбѣ, которой онъ отдался всѣмъ своимъ существомъ. Столь почетное для молодого еще профессора избраніе въ ректоры было для него роковымъ ударомъ. Онъ принялъ его грустно, но покорно. Повидимому, онъ чувствовалъ, что это избраніе есть смертный приговоръ для него, и все-таки онъ не рѣшился отъ него отказаться. Этому помѣшало необыкновенно сильно развитое въ немъ чувство гражданскаго долга.

Ректоромъ онъ былъ всего 27 дней. Въ это время князь С. Н. Трубецкой стоялъ на вершинѣ своей славы, его имя вездѣ произносилось съ величайшимъ уваженіемъ, съ самыхъ далекихъ концовъ Россіи онъ ежедневно получалъ заявленія теплыхъ чувствъ благодарности, иногда очень простые и наивныя, которыя его глубоко трогали. И все же я думаю, что не было въ его жизни эпохи болѣе несчастной и мучительной, чѣмъ эти 27 дней его ректорства. За этотъ короткій срокъ онъ пережилъ столько разочарованій,



Кн. С. Н. Трубецкой.

Жизнь покойного князя С. Н. Трубецкого, за исключением самых последних лѣтъ, не была особенно богата внѣшними событіями. Родился онъ въ 1862 году, 23 іюля въ родовомъ имѣніи Ахтыркѣ, Московской губерніи, въ очень просвѣщенной и уважаемой семьѣ, принадлежавшей къ одному изъ лучшихъ аристократическихъ родовъ въ Россіи, который многократно заявилъ себя въ русской исторіи. Его первоначальнымъ воспитаніемъ руководила его мать, княгиня С. А. Трубецкая, урожденная Лопухина, женщина замѣчательная, съ широкимъ образованіемъ и большимъ умомъ. Всецѣло отдавшись своей семьѣ и воспитанію дѣтей, она оказала на своего сына глубокое и благотворное вліяніе; онъ былъ очень привязанъ къ ней, и до самаго ея конца ихъ соединяла нѣжная и довѣрчивая дружба. Вообще, дружный и гармоничный семейный кругъ имѣлъ, повидимому, для образованія характера Сергѣя Николаевича очень большое значеніе; можетъ быть, ему онъ, главнымъ образомъ, былъ обязанъ нѣкоторыми симпатичными чертами своей личности: своею душевною ясностью, благородною довѣрчивостью къ людямъ, чрезвычайно сердечною отзывчивостью и неизмѣнною твердостью въ дружбѣ.

Въ 1874 году онъ, вмѣстѣ съ своимъ братомъ, княземъ Е. Н. Трубецкимъ, теперь извѣстнымъ профессоромъ Московскаго университета, поступилъ въ гимназію Креймана, а потомъ, когда его отецъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Калугу, былъ переведенъ въ калужскую гимназію. Вообще, средняя школа не оставила у Сергѣя Николаевича хорошихъ воспоминаній. Въ особенности не благопріятное впечатлѣніе

произвела на него калужская гимназія. И непріютная обстановка, и преподаватели, за немногими исключеніями, и ученики казались ему чѣмъ-то чужимъ и далекимъ. Въ это время онъ писалъ своему учителю и другу И. И. Кокурину въ одномъ изъ своихъ интересныхъ и душевныхъ писемъ къ нему: „Въ гимназіи баснословная грязь; классная что-то среднее между хлѣвомъ и вагономъ третьяго класса; при всемъ томъ темно“. Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ: „Жду съ нетерпѣніемъ вашего письма, а вдругъ получаю маленькую записку, да и то еще пишете о пользѣ языковъ (чортъ бы побралъ латынь и греческій!) Въ нашей гимназіи всякій возненавидитъ древніе языки. Наша гимназія — сонное царство: древніе языки — это невыносимая пытка... Менѣ всего спятъ во время математики и перемѣнъ. Вотъ сладкіе плоды изученія древнихъ языковъ! Мнѣ кажется, если бы не письменныя работы, то никто ничего бы не дѣлалъ“. Такъ писалъ будущій тонкій филологъ и убѣжденный защитникъ классическаго образованія! Недаромъ онъ впослѣдствіи говорилъ: „Мнѣ всю жизнь приходилось бороться противъ того, что дала мнѣ гимназія“.

Но изъ этой же переписки съ И. И. Кокуринымъ видно, что Сергій Николаевичъ въ Калугѣ не скучалъ и не чувствовалъ себя одинокимъ. Онъ пишетъ: „Славу Богу, мнѣ покамѣстъ не скучно, и я надѣюсь не скучать, хотя здѣсь ни съ кѣмъ не знакомъ. Я *очень много* занимаюсь, то-есть не уроками, а чтеніемъ. Мама подарила мнѣ всего Бѣлинскаго, я купилъ себѣ всего Шекспира. Какъ видите, скучать нечего, къ тому же ученіемъ меня не морять“. Его потребность въ обществѣ вполне удовлетворялась домашнимъ кружкомъ, и онъ всячески избѣгалъ постороннихъ знакомствъ; съ другой стороны, онъ отдается усиленному и разнообразному чтенію. Философскіе интересы въ немъ пробудились рано. Какъ и для многихъ другихъ, первый толчокъ къ такому пробужденію далъ Бѣлинскій. Еще будучи въ пятомъ классѣ, Сергій Николаевичъ зачитывается его сочиненіями и старается проникнуть во внутренній смыслъ идеалистическихъ посылокъ его міросозерцанія. Въ это же время въ Сергѣѣ Николаевичѣ начинаютъ просыпаться религіозныя сомнѣнія. При религіозномъ складѣ его натуры и при религіозномъ настроеніи его семейства, эти сомнѣнія

имѣли для него очень важное и мучительное значеніе. Они только усилились, когда онъ прочелъ Бокля и нѣкоторыя сочиненія Герберта Спенсера. Для него наступила эпоха религіознаго отрицанія, которое онъ съ свойственной ему горячностью выражалъ пугающими окружающихъ нарушениями правилъ церковнаго благочестія. Онъ сталъ на нѣкоторое время *нигилистомъ* въ томъ смыслѣ, какъ понималось это слово въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ. Въ этомъ умственномъ настроеніи переходитъ онъ и въ шестой классъ. Здѣсь чтеніе его становится еще разнообразнѣе: онъ одолѣлъ логику Милля, читалъ Дарвина, продолжалъ изучать Герберта Спенсера, наконецъ, знакомится съ Ог. Контомъ по весьма популярной у насъ въ свое время книгѣ, соединявшей статьи Льюиса и Милля о Контѣ.

Его міросозерцаніе въ это время представляетъ изъ себя какъ бы смѣсь эмпиризма съ матеріализмомъ. Однако, оно уже переставало удовлетворять его; онъ быстро глоталъ книги, но не находилъ отвѣта на мучившіе его вопросы. Въ немъ растетъ сомнѣніе въ правильности его новыхъ взглядовъ, и онъ ищетъ авторовъ, которые рѣшали бы философскую проблему въ другомъ направленіи. Въ этомъ отношеніи ему очень помогъ Куно Фишеръ. Сергѣй Николаевичъ началъ читать его исторію новой философіи уже въ седьмомъ классѣ, и она сразу произвела на него огромное впечатлѣніе. Въ его умѣ происходитъ важный переворотъ: онъ покидаетъ позитивизмъ и матеріализмъ и всецѣло увлекается нѣмецкой философіей. Въ эту эпоху онъ внимательно читаетъ „Критику чистаго разума“ и „Пролегомены“ Канта. Приобрѣтеніе новыхъ книгъ, которыя онъ намѣчаетъ себѣ по цитатамъ въ книгахъ, уже прочитанныхъ, становится для него господствующимъ интересомъ жизни. Въ это время онъ всѣ свои деньги тратилъ на книги, даже удерживался отъ извозчиковъ. Его главнымъ собесѣдникомъ и товарищемъ по увлеченію философіей былъ его братъ Евгеній Николаевичъ, съ которымъ онъ все время шелъ въ одномъ классѣ. Съ нимъ онъ велъ постоянные разговоры и горячіе споры по занимавшимъ ихъ обоимъ вопросамъ.

Такъ переходитъ онъ въ восьмой классъ. Въ этотъ годъ его умственный кругозоръ обогатился цѣлымъ рядомъ новыхъ, важныхъ по своимъ послѣдствіямъ впечатлѣній: онъ

за нѣсколько дней до правительственнаго сообщенія приходилось отвѣчать на запросы о томъ, „сколько университетовъ закрыто“, „сколько тысячъ студентовъ арестовано и сколько убитыхъ и раненыхъ въ столкновеніи съ войсками“. Ежегодное пьяное безобразіе, 12-го января въ Москвѣ, и такое же пьяное безобразіе, 8-го февраля въ Петербургѣ — вотъ единственныя „студенческія исторіи“, о которыхъ русское общество могло знать до сихъ поръ и по поводу которыхъ оно могло сказать хотя бы слово осужденія.

Чѣмъ ъже сфера, доступная гласности, тѣмъ шире сфера, составляющая исключительное достояніе сплетни, вымысла, агитаціи и подпольной литературы. *Изъять изъ печати вопросъ, волнующій общество и касающійся самыхъ жизненныхъ его интересовъ, не значитъ прекратить его обсужденіе: это значитъ лишь обострить его и обречь на обсужденіе, заведомо пристрастное, одностороннее и невѣрное.* Чистый воздухъ необходимъ для оздоровленія не только физической, но и нравственной атмосферы.

Это заставляетъ насъ еще лучше оцѣнить все значеніе шага, сдѣланнаго правительствомъ. Оно даетъ возможность высказаться по вопросу вполне назрѣвшему, перенести этотъ вопросъ въ печать изъ тѣхъ кружковъ, въ которыхъ онъ обсуждался въ духѣ нетерпимой, фанатической агитаціи, поставленной въ самое выгодное для него положеніе вынужденнымъ молчаніемъ людей порядка, людей искренно преданныхъ университетскому дѣлу. Пора было дать обсудить университетскій вопросъ не однимъ студентамъ и не на сходкахъ, обсудить его гласно и всесторонне, ибо такое обсужденіе и наиболѣе полезно и наиболѣе безопасно: не оно во всякомъ случаѣ вызывало до сихъ поръ университетскіе беспорядки.

I.

Къ святому дѣлу воспитанія юношества нельзя относиться легкомысленно или индифферентно. Оно сопряжено съ двойною и тяжкою отвѣтственностью — передъ самимъ юношествомъ, которое мы воспитываемъ, и передъ страной, для которой мы его воспитываемъ. Поэтому нравственный долгъ точно такъ же, какъ и долгъ истиннаго патріотизма, заставляетъ cadaго изъ насъ спросить: правильно ли то воспитаніе, которое мы даемъ нашей молодежи и какъ предупредить тѣ опасности, которымъ она, повидимому, подвергается въ нашихъ университетахъ?

Намъ нечего скрывать этихъ заботъ отъ молодежи и вести потихоньку отъ нея наши бесѣды о ней. Она можетъ ихъ слушать,

можетъ участвовать въ нихъ, если хочетъ. Если она имѣетъ право на нашу любовь и заботу, пусть видитъ, что мы въ самомъ дѣлѣ заботимся и думаемъ о ней. Если она имѣетъ право на бережное къ ней отношеніе, то она имѣетъ также право на нашу откровенность и безпощадную искренность съ нею, несовмѣстимую съ сентиментальною фальшью, баловствомъ и поблажкою. Если, наконецъ, она имѣетъ право на наше уваженіе, то она имѣетъ также право и на то, чтобы мы предъявляли ей строгія и высокія умственные и нравственные требованія вмѣсто обидной снисходительности и послабленія.

Отъ лицъ, вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста и получающихъ высшее научное образованіе, мы должны требовать извѣстной нравственной и умственной зрѣлости, выражающейся прежде всего въ сознаніи своихъ правъ и обязанностей. Первымъ и самымъ драгоценнымъ правомъ нашего студента, которымъ онъ обыкновенно всего менѣе дорожитъ, является право на высшее образованіе. Это право покупается часто тяжелымъ трудомъ его семьи и, всегда, потомъ и кровью того народа, которому воспитаніе каждаго студента обходится тысячи и тысячи рублей. Когда въ низшихъ, наименѣе обеспеченныхъ слояхъ нашего общества приходится встрѣчать жажду высшаго образованія, духовную жажду, составляющую мученіе, несчастье людей, лишенныхъ возможности ея удовлетворенія; когда сознаешь, сколько сильныхъ умовъ и богатыхъ дарованій, несмотря на жертвы и усилія, не могутъ пробиться къ желанной цѣли и отдать хотя бы нѣсколько лѣтъ жизни наукѣ, — становится больно и стыдно за большую часть нашего студенчества, пренебрегающую столь дорого купленнымъ правомъ учиться и своею великою обязанностью воспользоваться этимъ правомъ, чтобы вернуть семьѣ и народу поистинѣ громадныя жертвы, принесенныя въ пользу его. Мы не станемъ разбирать, какія причины, какія вліянія школы, воспитанія, общественнаго строя или среды настолько притупляютъ нравственное сознаніе значительной части нашей молодежи. Чѣмъ сильнѣе могутъ быть такіа вліянія, тѣмъ болѣе должны требовать мы отъ нашихъ юношей нравственной самодѣтельности для борьбы съ ними. Студентъ — уже не ребенокъ и долженъ сознавать, честно или нечестно онъ поступаетъ. Онъ не долженъ мириться съ мыслью, что можно существовать даромъ на счетъ казны или общественной благотворительности и видѣть въ университетѣ богадѣльню со стипендіями для здоровыхъ юношей или клубъ для государственныхъ младенцевъ — увеселительный клубъ для однихъ, и политическій —

для другихъ. Такое отношеніе къ дѣлу глубоко безп्राветно, а между тѣмъ мы должны признать, что именно такъ относится къ университету очень значительная часть нашей молодежи. Не легко и высказывать такое тяжкое, ужасное обвиненіе! Дай Богъ, чтобы оно было преувеличеніемъ! Но, къ сожалѣнію, оно едва ли можетъ быть преувеличено. Есть множество студентовъ, для которыхъ университетъ есть только средство для пріобрѣтенія разныхъ льготъ и правъ, которые ищутъ въ немъ не образованія или науки, а только диплома, обеспечивающаго за ними возможность дальнѣйшаго привилегированнаго существованія на казенный или общественный счетъ. Правда, что и къ этой части студенчества трудно относиться со всею той строгостью, которой она заслуживала бы. Привлекаемая въ университетъ чисто внѣшними соображеніями, она попадаетъ въ него случайно, благодаря недостатку и неправильной постановкѣ у насъ профессиональнаго образованія. Но и отъ тѣхъ лицъ, которыя поступаютъ въ университетъ, чтобы обезпечить себѣ кусокъ хлѣба, мы имѣемъ право требовать, чтобы этотъ хлѣбъ былъ добытъ честнымъ трудомъ.

Конечно, не вся молодежь подходитъ подъ указанныя категоріи. Тотъ, кто близокъ къ ней, — знаетъ, сколько дѣйствительной, острой нужды она терпитъ, и какъ велика та борьба, которая ей выпадаетъ на долю. Въ ней есть труженики истинные и заслуживающіе прямого уваженія — своей любовью къ дѣлу, вѣрой въ него и добросовѣстнымъ къ нему отношеніемъ. Мало того, среди той части студенчества, которая относится съ пренебреженіемъ къ своимъ университетскимъ обязанностямъ и проводитъ свое время въ дѣятельности, чуждой университету или прямо враждебной его цѣлямъ, есть много способной, искренно увлеченной, горячей молодежи, готовой жертвовать собою на то дѣло, которое она считаетъ правымъ. И такая молодежь могла бы провести свои учебные годы съ честью и пользой для себя и для общества, если бы самое отношеніе ея къ университету не было ложнымъ въ своемъ корнѣ...

Но одни ли студенты заслуживаютъ упрека въ ложномъ отношеніи къ задачамъ университета? Они ли одни вмѣшиваютъ политическія страсти и политическую агитацію въ его внутреннюю жизнь? Они ли одни искажаютъ всю постановку университетскаго дѣла въ Россіи? Мы нисколько не думаемъ снимать съ нихъ отвѣтственность за ихъ поступки и принципы, но полагаемъ, что, кромѣ нихъ, такая отвѣтственность падаетъ и на другихъ. Я не говорю объ отдѣльныхъ агитаторахъ, а обо всемъ нашемъ обществѣ.

II.

Для нашего общества и для нашего студенчества въ равной степени полезно было бы поставить себѣ серіозно вопросъ: что такое университетъ и для чего собственно онъ существуетъ? Казалось бы странно и ставить такой вопросъ: до такой степени отвѣтъ очевиденъ. А между тѣмъ онъ сознается далеко не всѣми во всѣхъ своихъ логическихъ послѣдствіяхъ.

Университетъ есть разсадникъ высшаго научнаго образованія, который, въ отличіе отъ другихъ специальныхъ высшихъ учебныхъ заведеній, преслѣдующихъ специальныя цѣли, обнимаетъ въ себѣ преподаваніе *всѣхъ* наукъ: онъ есть университетъ *всѣхъ* отраслей знанія, — *universitas scientiarum*. Поэтому, допуская въ предѣлахъ своихъ факультетовъ лишь извѣстную специализацію, онъ преслѣдуетъ прежде всего общеобразовательную цѣль, стремится, насколько возможно, дать общую научную подготовку по главнѣйшимъ отраслямъ человѣческихъ знаній, въ области которыхъ студентъ можетъ исполнѣ специализироваться лишь по успѣшномъ окончаніи общеуниверситетскаго курса. Эта общеобразовательная „университетская“ цѣль никогда не должна теряться изъ вида: университетъ долженъ достойнымъ образомъ представлять собою всю науку или всѣ науки въ ихъ общей связи. Этимъ объясняется *взаимная связь факультетовъ*, и опредѣляется характеръ университета, какъ организованнаго союза факультетовъ или какъ организованнаго академическаго союза, состоящаго изъ корпораціи ученыхъ — представителей отдѣльныхъ наукъ — и изъ учащихся. Учащіе имѣютъ ученый цензъ, учащіеся — цензъ образовательный, т.-е. цензъ средней гуманистической школы, подготовляющей ихъ къ общему научному образованію. Лица, не имѣющія такого образовательнаго ценза, могутъ быть допускаемы въ университетъ лишь въ качествѣ вольныхъ слушателей. Что касается ученаго ценза, то онъ, естественно, можетъ устанавливаться только специалистами и факультетами, которые судятъ о томъ, насколько данное лицо по своимъ специальнымъ и общимъ знаніямъ и по своимъ научнымъ достоинствамъ заслуживаетъ званія *учителя* или *ученаго*. Въ этомъ смыслѣ ученое сословіе всегда было и останется самопополняющимся. Но и какъ сословіе или корпорація учащая, университетъ всѣхъ компетентнѣе можетъ судить о своихъ научныхъ интересахъ, пользахъ и нуждахъ въ дѣлѣ распредѣленія и разработки плана занятій и въ дѣлѣ преподаванія.

Кажется, дѣло совершенно ясно: университетъ можетъ и долженъ преслѣдовать одну свою чисто-академическую цѣль высшаго научнаго образованія. И если у него есть какая-нибудь великая, истинная общественная цѣль, такъ это та, чтобы дать государству наибольшее количество людей съ дѣйствительнымъ высшимъ образованіемъ, какимъ бы специальностямъ они себя не посвящали. Если намъ нужны только специалисты, только техники въ различныхъ сферахъ общественной или практической дѣятельности, мы можемъ закрыть университеты, уничтожить факультеты и оставить одни спеціальныя институты. Если же мы признаемъ, что для самого процвѣтанія такихъ спеціальныхъ школъ, для развитія спеціальныхъ и даже чисто техническихъ дѣятельностей необходимо большое число дѣятелей съ общей теоретической подготовкой, мы сохранимъ наши университеты. Если мы не хотимъ имѣть однихъ болѣе или менѣе искусныхъ фельдшеровъ, канцеляристовъ, машинистовъ, если мы хотимъ, чтобы самыя спеціальныя высшія школы давали намъ образованныхъ врачей, юристовъ и технологовъ, не говоря уже о филологахъ, мы должны стремиться къ тому, чтобы университетъ оставался университетомъ.

И весь порядокъ, весь строй этого учрежденія долженъ опредѣляться его академической цѣлью въ глазахъ профессоровъ и студентовъ, въ глазахъ общества и правительства. Когда порядокъ университета соответствуетъ этой цѣли, — онъ хорошъ и цѣлесообразенъ; когда онъ препятствуетъ ея достиженію, — онъ требуетъ исправленія. Такъ, на примѣръ, когда въ составъ преподавателей университета попадаютъ лица безъ достаточнаго ценза или не соотвѣтствующія факультетскимъ требованіямъ, или когда въ составъ студентовъ поступаютъ лица, не имѣющія сколько-нибудь основательнаго средняго образованія — университетъ не можетъ успѣшно выполнять свои задачи. Факультеты дезорганизируются, а студенты, неспособные усвоить высшее образованіе и неподготовленные къ его требованіямъ, естественно, обращаются въ вольныхъ слушателей. Когда профессора перестаютъ составлять организованную корпорацію, университетъ можетъ быть виѣшнимъ соединеніемъ весьма многихъ и разнообразныхъ кафедръ, представляемыхъ болѣе или менѣе учеными чиновниками вѣдомства народнаго просвѣщенія, но онъ перестаетъ быть университетомъ, т.-е. живымъ академическимъ союзомъ. Связь факультетовъ теряетъ всякій смыслъ, и самый планъ преподаванія опредѣляется не внутренними требованіями университетской науки, а виѣшними требованіями — иногда весьма спеціальнаго,

иногда случайнаго свойства. Точно также, когда большинство студентовъ перестаетъ проходить университетскій курсъ, обращаясь въ вольныхъ слушателей или просто въ вольницу, преслѣдующую анти-академическія цѣли, — университетъ теряетъ смыслъ и значеніе!

Ничего не можетъ быть пагубнѣе и фальшивѣе того постояннаго вмѣшательства политическихъ принциповъ и соображеній, которые, мы обыкновенно допускаемъ въ обсужденіи вопросовъ, чисто педагогическихъ.

Мы иногда обсуждаемъ, насколько либеральна или консервативна та или другая мѣра тамъ, гдѣ просто надо судить о томъ, насколько она цѣлесообразна въ виду общепризнанной цѣли. Я могу быть большимъ либераломъ и вмѣстѣ сознавать, что школа — не клубъ, что молодежь должна въ ней учиться, а не претендовать на руководящую роль въ общественномъ движеніи. Но я могу быть и большимъ консерваторомъ и вмѣстѣ желать *сохраненія* университета въ сознаніи, что дезорганизуя студенчество и профессорскую корпорацію, я вношу не порядокъ, а смуту и безначаліе въ университетскую жизнь.

Мы не сомнѣваемся въ томъ, что послѣднія событія въ Московскомъ университетѣ вызовутъ не одни оживленные толки въ обществѣ, а рядъ дѣйствительныхъ мѣръ къ оздоровленію нашихъ университетовъ. Для всякаго не предубѣжденнаго и безпристрастнаго взгляда болѣе чѣмъ ясно, что самый организмъ ихъ нуждается въ коренномъ лѣченіи и что одного симптоматическаго лѣченія, какое практиковалось за послѣднія двѣнадцать лѣтъ, здѣсь не достаточно.

Для подавленія отдѣльных волненій и безпорядковъ нѣтъ, разумѣется, никакой нужды мѣнять строй университетской жизни. Достаточно твердыхъ и разумныхъ мѣръ со стороны университетскихъ властей. Отдѣльные безпорядки среди учащейся молодежи возникали и не въ однихъ университетахъ, а и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ съ гораздо меньшимъ количествомъ учащихся, и притомъ возникали не только у насъ, но и во всѣхъ европейскихъ странахъ. Они могутъ повторяться при всякомъ режимѣ, и принимать по отношенію къ нимъ какія-либо мѣры, кромѣ чисто дисциплинарныхъ, значило бы производить постоянную ломку въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Но мы имѣемъ дѣло не съ случайными безпорядками, а съ хронической неурядицей, нарушающей правильную жизнь университета, даже въ тѣ періоды, когда въ немъ царитъ наружное спокойствіе и видимыхъ безпорядковъ нѣтъ.

Обращая студенчество въ хаотическую массу „отдѣльныхъ посѣтителей“ университета и не допуская никакой правильной и законной ихъ организаціи, соответствующей академическимъ цѣлямъ и условіямъ нашего быта, мы прямо создаемъ почву для нелегальной и анти-академической организаціи, сосредоточивающейся въ рукахъ агитаторовъ, безконтрольно распоряжающихся массой студенчества; мы создаемъ положеніе, при которомъ всякое нормальное и естественное проявленіе товарищескаго общенія между студентами можетъ принять нелегальный характеръ, хотя бы оно первоначально вызывалось самыми законными и естественными интересами ихъ, интересами умственного и нравственнаго общенія на почвѣ общихъ университетскихъ занятій и интересами матеріальной взаимопомощи. Такая взаимопомощь представляется намъ самой цѣлесообразной и разумной формой помощи по отношенію къ бѣдствующему студенчеству; такая взаимопомощь можетъ имѣть нравственное, воспитательное значеніе, и при правильной организаціи, направленіи и общественной поддержкѣ могла бы совершенно парализовать то развращающее и вредное вліяніе, которое можетъ имѣть иногда внѣшняя благотворительность.

Но для того, чтобы студенчество могло имѣть какое-нибудь упорядоченное правильное академическое устройство, органически связанное съ университетомъ, чтобы общеніе между студентами укладывалось въ рамки университетской жизни и подчинялось его строю, нужно, чтобы самый университетъ былъ самымъ собою, чтобы онъ былъ связнымъ цѣлымъ, которое могло бы нравственно и умственно руководить студенческою жизнью. Ибо, дезорганизуя профессорскую корпорацію и лишая ее самостоятельной жизни, мы вносимъ разобщеніе не только между факультетами и профессорами, но — между профессорами и студентами, которые теряютъ всякую связь между собою — помимо лекцій и занятій.

III.

Но это именно только и нужно, скажутъ иные. Профессора-то и являются истинными „развратителями молодежи“: они толкаютъ молодежь къ безпорядкамъ, они пропагандируютъ съ кафедръ революціонныя идеи, подрывая въ нихъ начала религіи, права, государства и семьи. Отъ нихъ прежде всего надлежитъ оградить нашу молодежь; а если университетъ, къ сожалѣнію, не можетъ обойтись вовсе безъ профессоровъ, то слѣдовало бы именно разобщить, от-

дѣлать ихъ отъ студентовъ, насколько это возможно. Такъ и сдѣлалъ новый университетскій уставъ.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ всякій, говорившій такія рѣчи, считалъ себя сторонникомъ порядка; травля противъ профессорской коллегіи, стремившаяся подорвать ея авторитетъ и всякое къ ней довѣріе, представлялась гражданской заслугой, и мы видимъ, къ чему она привела... Теперь, послѣ нѣкоторой паузы, подобная травля возобновляется. Еще недавно, по поводу минувшихъ беспорядковъ, нѣкоторыя газеты позволили себѣ выходки въ этомъ смыслѣ. Онѣ, конечно, всецѣло падаютъ на голову тѣхъ, кто ихъ себѣ позволяетъ. Но для насъ важно то, что подобныя выходки могутъ быть терпимы въ обществѣ и печати. Что-нибудь одно: либо наши профессора—въ общемъ дѣйствительно люди вредные и неблагонадежные, которымъ нельзя довѣрить дѣло образованія юношества; либо же такое обвиненіе есть клевета, которая не должна оставаться безнаказанной. Въ первомъ случаѣ никакія полумѣры недостаточны и нужно закрыть университеты, замѣнивъ ихъ какими-нибудь другими заведеніями—хотя бы закрытыми корпусами. Во второмъ случаѣ надо признать, что травля противъ профессорской коллегіи есть также злонамѣренная агитація, которая причиняетъ глубокій вредъ университету и силится подорвать его авторитетъ въ обществѣ передъ учащеюся молодежью. Всякая школа нуждается въ поддержкѣ со стороны общества, и если бы довѣріе къ университету было подорвано, онъ не могъ бы продолжать своего дѣла. Агитація противъ него достигаетъ отчасти своей цѣли, и мы должны съ ней считаться. Разсмотримъ же здѣсь, какой смыслъ могутъ имѣть ея обвиненія.

Если эти обвиненія имѣли,—я не скажу основаніе, а просто—какой-нибудь логическій смыслъ при прежнемъ университетскомъ уставѣ, то теперь они являются прямо бессмысленными или же получаютъ совершенно другое значеніе. Въ самомъ дѣлѣ: что могутъ значить они теперь, когда профессорская корпорація фактически уничтожена и остались отдѣльные профессора, назначаемые непосредственно министерствомъ, не имѣющіе сами по себѣ никакого участія въ управленіи университетомъ и никакого опредѣленнаго отношенія къ студентамъ помимо лекцій и занятій, ведущихся по программѣ, утвержденной министерствомъ? Администрація университета находится въ рукахъ попечителя, правленія, назначаемаго министерствомъ, и инспекція, которая не имѣетъ никакого отношенія къ профессурѣ. Отвѣтственность за порядокъ въ университетѣ не можетъ лежать на корпораціи, которой не существуетъ и которая

участвуетъ въ его управленіи несравненно менѣе, чѣмъ педагогическій совѣтъ въ нашихъ гимназіяхъ. Равнымъ образомъ, на нѣсколькихъ сотняхъ преподавателей, не составляющихъ академической корпораціи, не можетъ лежать никакой отвѣтственности за дѣйствія одного изъ ихъ сослуживцевъ, который по отношенію къ нимъ является совершенно самостоятельнымъ и не подчиненнымъ ихъ контролю. Если бы даже одинъ изъ преподавателей университета сталъ вести преступную агитацію, отвѣтственность падаетъ на него одного, а во всякомъ случаѣ не на корпорацію, отъ которой онъ не зависитъ, или которой не существуетъ вовсе. Ее нельзя винить и за то, что порядокъ въ университетѣ не увеличился и за то, что научный уровень его понизился. Быть можетъ, такое положеніе дѣла нежелательно: быть можетъ, слѣдуетъ, чтобы тѣ многія сотни преподавателей, которые наполняютъ наши университеты, подчинялись его общей чисто научной цѣли и подлежали фактическому контролю. Но такой контроль можетъ быть дѣйствительнымъ (а не фиктивнымъ) и въ то же время соответствовать достоинству профессоровъ и университета лишь въ томъ случаѣ, если онъ будетъ лежать на самой университетской корпораціи, которая и явится отвѣтственной передъ правительствомъ и обществомъ и въ своемъ цѣломъ, и въ своихъ представителяхъ.

Но, скажутъ намъ, помимо юридической отвѣтственности есть гораздо большая нравственная отвѣтственность, возлагаемая на профессоровъ ихъ нравственною обязанностью по отношенію къ юношеству, ввѣренному ихъ руководству и вліянію. Этой священной обязанности никто не думаетъ отрицать, и мы нисколько не хотимъ умалять той отвѣтственности, которая съ нею связана. Но и здѣсь надо имѣть въ виду, что это есть чисто индивидуальная отвѣтственность отдѣльныхъ профессоровъ: можно говорить о нравственной отвѣтственности университетскаго правленія, инспекціи, министерства, но о нравственной отвѣтственности университета или о какой-либо круговой порукѣ профессоровъ говорить нельзя. И потому намъ нѣтъ основанія выступать съ апологіею всѣхъ Сократовъ, занимающихъ отдѣльныя кафедры въ нашихъ университетахъ. Допустимъ, что среди нихъ могутъ найтись люди, которые, по своимъ умственнымъ или нравственнымъ свойствамъ, не соответствуютъ достоинству университета. При чемъ тутъ университетъ, и можетъ ли онъ за нихъ отвѣчать?

Пересмотримъ здѣсь, каковы *нравственныя* обязанности профессора. Первою обязанностью его, какъ и всякаго человѣка,

является безкорыстное и честное служenie своему дѣлу, т.-е. служenie той наукѣ, которую онъ преподаетъ. Служа ей, онъ служитъ и университету, служитъ и студенчеству и оказываетъ на него то нравственное вліяніе, которое онъ прежде всего призванъ на него оказывать. Онъ служитъ университету, поскольку его наука входитъ въ универсальную систему человѣческихъ знаній и въ систему университетскаго преподаванія; онъ служитъ студенчеству, внушая ему любовь и уваженіе къ наукѣ, пониманіе ея требованія и значенія и показывая ему своимъ собственнымъ примѣромъ, что она есть дѣйствительно единственная и вмѣстѣ безусловно цѣнная цѣль университета,— то великое общественное дѣло, которому долженъ служить университетъ. А такое служenie имѣетъ особенное значеніе среди общества, въ которомъ такъ рѣдко встрѣчается истинная вѣра въ науку, любовь и уваженіе къ ней!

Такова миссія университетскаго дѣятеля. На почвѣ такой дѣятельности между нимъ и отдѣльными его слушателями неизбежно устанавливаются *личныя* нравственные отношенія. Но, какъ я думаю, такія отношенія едва ли могутъ подлежать отчету; въ нихъ всякій можетъ отвѣчать только передъ своею совѣстью. Многіе требуютъ большаго: профессоръ долженъ обращаться къ студентамъ публично съ нравственною проповѣдью, внушая имъ здоровыя политическія, религіозныя и общественныя воззрѣнія. На этотъ счетъ могутъ существовать различныя взгляды: не всякій ученый чувствуетъ въ себѣ призваніе къ нравственному, религіозному или политическому проповѣдничеству, что не мѣшаетъ ему, однако, оказывать на молодежь благотворное вліяніе именно въ качествѣ профессора и ученаго.

Что касается меня, то я полагаю, что всякая политическая проповѣдь, какъ бы ни была она разумна или благонамѣренна, безусловно неумѣстна на кафедрѣ, внося въ университетъ политическія страсти и борьбу политическихъ мнѣній, которая не должна происходить на почвѣ университета. Профессоръ идетъ въ университетъ, чтобы преподавать науку, а не свои политическія мнѣнія, которыя не могутъ составлять предмета преподаванія и которыя онъ можетъ защищать и высказывать вездѣ, гдѣ хочетъ, только не въ университетѣ. Какъ я полагаю, это есть правило, изъ котораго никто не долженъ допускать исключенія, поскольку самый принципъ внесенія политики въ университетъ роковымъ образомъ отражается на судьбѣ этого учрежденія. Если наука должна быть чужда тенденціозности, мы не должны навязывать ея преподаванію *наши* тенденціи.

Но, если вопросы текущей политики должны быть оставляемы въ сторонѣ, — профессоръ имѣетъ имѣть не только нравственное право, но даже обязанность публичнаго обращенія къ студентамъ по поводу чиста университетскихъ дѣлъ, напр., по поводу послѣднихъ безпорядковъ. Отдѣльные попытки подобнаго обращенія повторялись и несомнѣнно будутъ повторяться съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ. Слѣдуетъ помнить, однако, что такіе попытки имѣютъ случайный характеръ. Профессоръ обращается не къ студентамъ вообще, къ которымъ имѣетъ обращаться лишь ректоръ, или правленіе, а только къ своей специальной аудиторіи и притомъ, во время безпорядковъ, къ наиболѣе спокойной и усердной части ея, продолжающей посѣщать его лекція и держащейся въ сторонѣ отъ волненій. Не ходятъ же профессора на сцену или на засѣданія переполненныхъ студенческихъ кружковъ! Если слѣдѣла собралась въ его аудиторію и онъ имѣетъ возможность заставить себя слушать и слышать, тогда другое дѣло. Но подобныя случаи повторяются чрезвычайно рѣдко.

Какъ бы то ни было, слѣдуетъ помнить, что профессорская корпорація существуетъ только по имени, что „совѣтъ“ не имѣетъ никакой реальной власти или авторитета, сохраняя значеніе чисто декоративнаго характера, а студентами представляются собой совокупность отдѣльных посѣтителей университета, къ которымъ можетъ обращаться въ этой совокупности только университетское начальство и которыхъ постановленія совѣта сами по себѣ нисколько не касаются.

Такогообразно, когда идетъ рѣчь объ отношеніяхъ между профессорами и студентами въ специальныхъ научныхъ занятіяхъ, — надо разумѣть всегда отдѣльныхъ профессоровъ и отдѣльныхъ студентовъ. Желателенъ ли такой порядокъ или нѣтъ — вопросъ другой. Но прежде чѣмъ рѣшать его, прежде чѣмъ рѣшать какіе бы то ни было отдѣльные вопросы, нужно рѣшать: желательно ли, чтобы университетъ былъ действительно университетомъ? Если да, то нужно постараться о томъ, чтобы онъ пересталъ быть безпорядочнымъ сборищемъ плохо подготовленныхъ слушателей, добрая часть которыхъ идетъ въ него лишь за недостаткомъ профессиональных школъ; и нужно позаботиться о томъ, чтобы университетъ пересталъ быть случайнымъ собраніемъ отдѣльныхъ преподавателей различныхъ факультетовъ.

Во всякомъ случаѣ, говоря объ университетѣ, нужно имѣть въ виду не отдѣльные безпорядки, а его постоянные порядки. Мы не

можемъ коснуться подробно этихъ порядковъ, но думаемъ, что тщательный и безпристрастный пересмотръ ихъ безотлагательно необходимъ. Передъ нами стоитъ тяжелая дилемма, и русское общество обязано сознать все ея значеніе. Можетъ ли оно вѣрять свое юношество попеченію университета; желательно ли, вообще, *сохранить* университетъ, и желательно ли навсегда сохранить его въ его теперешнемъ видѣ? Я говорю во имя чисто консервативнаго интереса и думаю лично, что университетскій вопросъ можетъ быть разрѣшенъ въ духѣ *просвѣщеннаго консерватизма*: университетъ долженъ быть — университетомъ. Быть можетъ, за одно это, нѣкоторые консерваторы станутъ упрекать насъ въ солидарности съ „союзнымъ совѣтомъ“, который также требуетъ пересмотра университетскаго устава и возстановленія университетской автономіи. Правда, онъ говоритъ и объ этомъ. Но отдастъ ли онъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, чего онъ хочетъ? Ибо съ университетской автономіей, существованіе анти-академической организаціи, стремящейся распоряжаться студенчествомъ, — еще болѣе несовмѣстимо, чѣмъ съ университетомъ, утратившимъ значеніе академической корпораціи. Истинная университетская автономія не та, которой могутъ желать агитаторы, а только та, которая вытекаетъ изъ внутреннихъ требованій университетскаго дѣла, преслѣдующаго автономную чисто академическую цѣль — высшаго научнаго образованія. Ясно, что тутъ не можетъ быть рѣчи о какой-либо политической автономіи, о какихъ-либо политическихъ привилегіяхъ профессоровъ или студентовъ. Мы хотимъ только, чтобы университетъ пересталъ служить внѣшнимъ и случайнымъ цѣлямъ, ибо если наука имѣетъ свои автономныя требованія, то и организація ея преподаванія не можетъ опредѣляться требованіями внѣшними и случайными. И мы думаемъ, что интересы и цѣли спеціально университетскія — съ наибольшимъ успѣхомъ и компетентностью можетъ вѣдать самъ университетъ, который одинъ имѣетъ *фактическую* возможность организовать и регулировать преподаваніе. Это не умаляетъ нисколько правъ общей или спеціально-учебной администраціи по отношенію къ университету; это вноситъ *внутренній* порядокъ въ университетскую жизнь и въ то же время возлагаетъ на профессорскую корпорацію реальную отвѣтственность за успѣшное веденіе университетскаго дѣла.

Кн. С. Трубецкой.

Москва 1896 г. 24 Декабря.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Отвѣтъ „профессору университета“.

Въ № 1506 „Новаго Времени“ появилась статья подъ заглавіемъ „Университетскій Вопросъ“ и за подписью „Профессоръ Университета“. Она написана въ отвѣтъ уважаемому Б. Н. Чичерину, бывшему профессору Московскаго университета и мнѣ — приват-доценту этого университета, — на наши статьи въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“. Она написана такимъ профессоромъ, который „долгое время преподавалъ въ университетѣ, какъ при уставѣ 1863 г., такъ и при дѣйствующемъ нынѣ порядкѣ; онъ освидѣялся на счетъ нѣсколькихъ университетовъ и имѣлъ возможность ознакомиться съ ихъ житьемъ-бытьемъ и нуждами“. Мы имѣемъ дѣло съ мужемъ „ученымъ и зѣло опытнымъ умудреннымъ“. Странно только, что такой опытный и почтенный университетскій дѣятель не счелъ возможнымъ подписать своего имени, возражая двумъ преподавателямъ университета и притомъ по университетскому вопросу.

Еще болѣе странны полемическіе приемы почтеннаго, хотя и анонимаго профессора, а также и то рѣшеніе университетскаго вопроса, которое онъ предлагаетъ. Въ своей полемикѣ онъ могъ бы, разумѣется, вполнѣ ограничиться споромъ съ Б. Н. Чичеринымъ, имя котораго пользуется столь громкой и заслуженной извѣстностью. Но если авторъ хочетъ спорить и со мною, то слѣдовало прежде всего прочесть мою статью и не приводить изъ нея словъ и мыслей, которыхъ въ ней нѣтъ. Я ни слова не говорилъ о возвращеніи къ уставу 1863 г.: ни Б. Н. Чичеринъ, ни я не говорили нигдѣ, что университетскіе безпорядки или броженія зависятъ исключительно отъ устава. Мало того, мы утверждали какъ разъ обратное.

Б. Н. Чичеринъ высказалъ, правда, мысль, что уставъ 1884 г. не достигъ даже полицейской цѣли, противъ чего трудно спорить. Что касается до меня, то я особенно настаивалъ на томъ, что студенческія „исторіи“ возможны при *всякомъ* уставѣ и *всякомъ* режимѣ. Ихъ подавленіе требуетъ не ломки университетовъ, а разумныхъ мѣръ со стороны властей. И если правительственнымъ сообщеніемъ *по поводу* послѣднихъ студенческихъ волненій намъ, наконецъ, дана возможность обсудить положеніе нашихъ университетовъ, то, пользуясь ею, мы должны имѣть въ виду не случайные безпорядки, а „постоянные порядки“ — въ данномъ же случаѣ хроническую неурядицу, которая господствуетъ и тогда, когда нѣтъ видимыхъ

волнений. Мы должны имѣть въ виду тотъ анти-академическій порядокъ, который неизбежно возникаетъ вслѣдъ за разрушеніемъ академической организаціи.

Разсматривая тѣ мѣры, которыя могли бы повести къ упорядоченію нашей университетской жизни, надо намѣтить три пункта: 1) правильную постановку средняго и высшаго профессиональнаго образованія, при которомъ университетъ пересталъ бы привлекать къ себѣ массу студенчества, равнодушнаго къ его общеобразовательнымъ цѣлямъ; 2) корпоративную организацію и автономію профессорской коллегіи; 3) академическую организацію студенчества. Эти три пункта являлись мнѣ безспорными, и, наставляя на нихъ, я намѣренно не предпрѣшалъ, въ какой формѣ должна осуществиться наиболѣе цѣлесообразная организація университетовъ; ибо нельзя обсуждать никакихъ частныхъ мѣръ, не условившись предварительно въ основныхъ принципахъ.

Ихъ-то я и имѣлъ въ виду въ моей статьѣ. А о простомъ возвращеніи къ уставу 1863 г. я не могъ говорить уже по одному тому, что помимо специальныхъ недостатковъ въ организаціи университетскаго совѣта, дѣйствительно требовавшей нѣкоторыхъ улучшеній, этотъ уставъ точно такъ же, какъ теперешній, не заключалъ въ себѣ никакихъ положеній относительно академической организаціи студенчества.

Пересмотръ дѣйствующаго устава считается желательнымъ болѣе или менѣе всѣми, не исключая и автора статьи „Университетскій вопросъ“. А такъ какъ такой пересмотръ можетъ быть произведенъ наилучшимъ образомъ при участіи лицъ, близко стоящихъ къ университетскому дѣлу, то указанія столь опытнаго и осведомленнаго „Профессора университета“, какъ авторъ разбираемой нами статьи, представляютъ большой интересъ. Посмотримъ же, какія мѣры онъ предлагаетъ и какъ онъ ихъ мотивируетъ.

„Мы вовсе не сторонники устава 1884 г., говорить онъ; намъ лично пришлось убѣдиться въ громадныхъ его недостаткахъ. Но мы не принадлежимъ къ числу поклонниковъ устава 1863 г. въ его цѣломъ. Истина лежитъ по нашему искреннему мнѣнію въ серединѣ. Правительство можетъ и должно имѣть надзоръ за университетами не фиктивный, а дѣйствительный. Говорить о попечителѣ округа, какъ о единственномъ, достаточномъ притомъ надзорѣ—чистѣйшее недоразумѣніе“,—такъ какъ, во-первыхъ, у него и безъ того достаточно заботъ по управленію округомъ и, такъ какъ „образованіе иныхъ попечителей бываетъ иногда вовсе не

такимъ, чтобы желать *ближайшаго и дѣятельнаго вмѣшательства ихъ въ ученыя и учебныя дѣла университета*“.

Намъ казалось бы, что попечитель можетъ быть вполне компетентенъ для контроля надъ университетскимъ *хозяйствомъ и администраціей*. Но повидимому „Профессоръ университета“ признаетъ все-таки нужнымъ „ближайшее и дѣятельное вмѣшательство“ правительства въ *ученыя и учебныя дѣла*“ университета. Мало того, только подобное вмѣшательство въ дѣла науки можетъ, по его мнѣнію, гарантировать университетамъ нужное имъ довѣріе со стороны правительства.

Это — опасный тезисъ, который трудно защищать съ открытымъ забраломъ. Если попечитель не достаточно компетентенъ для вмѣшательства въ дѣла науки, то ректоръ — „мужъ ученъ и зѣло опытомъ умудренъ“ — изъ настоящихъ или бывшихъ профессоровъ, назначенный отъ короны и есть то лицо, которое, понимая потребности университета, можетъ внушить *къ себѣ* и столь необходимое въ интересѣ самихъ университетовъ довѣріе со стороны правительства. Деканы факультетовъ тоже могутъ быть назначаемы отъ правительства (изъ среды профессоровъ — даже бывшихъ). Всѣхъ же профессоровъ справедливѣе всего предоставить выбирать факультетамъ (по специальности), но подъ кассационнымъ контролемъ совѣта университета и съ утвержденіемъ ихъ (*изъ двухъ избранныхъ кандидатовъ*) правительственной властью, *такъ какъ* только коллегія специалистовъ (?) можетъ быть компетентна въ оцѣнкѣ научныхъ и преподавательскихъ заслугъ ищущихъ *каѳедру*“. Изъ послѣдней фразы совершенно непонятно, кого разумѣетъ авторъ подъ коллегіей специалистовъ — факультетъ, совѣтъ, или министерство, выбирающее между двумя кандидатами (ихъ и такъ обыкновенно не бываетъ болѣе двухъ, а часто трудно достать и одного подходящаго). Если авторъ разумѣетъ министерство, то не проще ли оставить теперешній порядокъ назначенія, вмѣсто того, чтобы создавать такую комедію выборовъ и такую почву для всяческихъ происковъ и интригъ, какая несомнѣнно явится при проектируемомъ порядкѣ? А если подъ коллегіей специалистовъ слѣдуетъ разумѣть факультетъ или совѣтъ, то право министерства утверждать или не утверждать избраннаго кандидата является болѣе нежели достаточнымъ. Далѣе, мы не понимаемъ, почему факультетъ компетентенъ судить о томъ, какое лицо всего достойнѣе можетъ занимать данную факультетскую *каѳедру* и не компетентенъ судить о томъ, кто въ качествѣ декана съ наибольшимъ до-

стоинствомъ можетъ предсѣдательствовать въ его собраніяхъ, обсуждающихъ его ученые и учебныя дѣла? Напрасно почтенный авторъ думаетъ, что только назначенный ректоръ можетъ внушить къ себѣ должное довѣріе со стороны правительства: онъ этимъ весьма обижаетъ тѣхъ ректоровъ и декановъ, которые были избраны при прежнемъ уставѣ. Одни изъ нихъ уже почли, оставивъ по себѣ громкое имя въ наукѣ; другіе здравствуютъ и понынѣ, утверждены въ своихъ должностяхъ или получили высшія назначенія. И никто не рѣшится утверждать вообще, чтобы прежніе ректоры и деканы были хуже теперешнихъ или менѣе ихъ пользовались заслуженнымъ довѣріемъ.

Почему думаетъ „Профессоръ университета“, что профессора университетовъ сами по себѣ не могутъ внушать къ себѣ довѣрія со стороны правительства, да притомъ еще въ ученыхъ и учебныхъ дѣлахъ? Намъ хотѣлось бы получить категорическій отвѣтъ на этотъ категорически поставленный вопросъ.

Но вернемся къ проекту нашего „Профессора“. Читатель, знакомый съ университетскими уставами 1863 и 1884 гг., недоумѣваетъ, какимъ образомъ этотъ проектъ можетъ служить „серединной“ между ними: это — только слегка испорченный уставъ 1884 г. Въ самомъ дѣлѣ: назначенный ректоръ, назначенные деканы существуютъ и теперь. Мало того, согласно ст. 100 устава 1884 г., прежній порядокъ замѣщенія каедръ *посредствомъ баллотировки кандидата въ факультетъ и совѣтъ и съ утверждения министра* представляется вполне возможнымъ теперь. Правда, эта статья никогда не приводится въ исполненіе во всемъ своемъ объемѣ; но это — не вина устава, въ которомъ она существуетъ. Это значить только, что при назначаемомъ ректорѣ и деканахъ университетамъ оказываютъ не *болѣе*, а *менѣе* довѣрія, чѣмъ прежде. Во всякомъ случаѣ, изъ-за второго кандидата, проектируемаго почтеннымъ „Профессоромъ“, не стоитъ мѣнять теперешняго устава.

Не стоитъ мѣнять его и изъ-за другой своеобразной мѣры, которую онъ предлагаетъ; я разумѣю „законъ о несмѣняемости профессоровъ на все время (30 лѣтъ) ихъ службы, разъ избраніе ихъ утверждено правительствомъ“. Этотъ проектъ, странный самъ по себѣ, является еще болѣе страннымъ въ той мотивировкѣ, которую даетъ ему „Профессоръ университета“. Смѣшивая самостоятельность профессорской корпорации, о которой говоритъ Б. Н. Чичеринъ, съ личной независимостью отдѣльных ея членовъ,

онъ сперва утверждаетъ, что независимость *корпорации* обуславливается, главнымъ образомъ, *правственными вліяніями*, а затѣмъ указываетъ, что самостоятельность и независимость отдѣльныхъ ея членовъ, т.-е. *профессоровъ* должна быть гарантирована *закономъ* о ихъ несмѣняемости. Казалось бы, какъ разъ наоборотъ: самостоятельность учрежденія обуславливается законами, а не нравственная независимость лица. Но мы не будемъ слишкомъ щепетильны...

Мы не имѣли бы ничего возразить, если бы министерство отказалось отъ своего права увольнять профессоровъ „по третьему пункту“. Но мы рѣшительно не понимаемъ, что выиграетъ университетъ или профессорская корпорация отъ тридцатилѣтней несмѣняемости своихъ членовъ. Въ интересахъ ея достоинства и самостоятельности, желательно было бы наоборотъ, чтобы она имѣла реальную возможность удалять изъ своей среды недостойныхъ членовъ. А тамъ, гдѣ она не настолько самостоятельна для этого и находится подъ опекой, правительство должно брать на себя и эту щекотливую обязанность и не можетъ связывать себѣ руки на 30 лѣтъ по отношенію ко всякому утвержденному имъ лицу. Напрасно ссылаться здѣсь на несмѣняемость судей, ибо, во-первыхъ, всякое неправильное дѣйствіе судьи можетъ быть обжаловано и кассировано и самъ онъ подлежитъ дисциплинарной отвѣтственности. Во всякомъ случаѣ, хотя въ предлагаемой мѣрѣ и можетъ заключаться вѣрная мысль, при существующемъ положеніи, т.-е. при отсутствіи корпоративнаго устройства университетской коллегіи, — „несмѣняемость“ обратилась бы въ ничѣмъ не оправдываемую льготу, въ новую привилегію и подачку, какою является теперь пресловутая „гонорарная система“ — этотъ недостойный бакшишъ, подаренный отдѣльнымъ профессорамъ за утраченную автономію ихъ коллегіи и внесшій въ стѣны университета погоню за наживой и спекуляцію преподаваніемъ. Если одна отиѣна этой деморализующей системы, случайной по своему происхожденію и несправедливой по существу, могла бы способствовать очищенію нравственной атмосферы нашихъ университетовъ, то зачѣмъ же мечтать о новыхъ льготахъ, вольностяхъ и синекурахъ?

„Профессоръ университета“ и такъ указываетъ на преимущества теперешняго положенія, когда вмѣстѣ съ правами корпорации исчезли и ея обязанности, и ея отвѣтственность. Теперь за все отвѣчаетъ одно начальство, тогда какъ прежде вся корпорация несла отвѣтственность „не только передъ правительствомъ, но и пе-

редъ студенчествомъ". Невольно вспоминаю слышанное мной однажды замѣчаніе: „всѣмъ бы хорошо профессоромъ быть, одно скучно — надо лекціи читать!“

Если уже говорить объ отдѣльных мѣрахъ, которыя могли бы служить къ подъему независимой университетской корпораціи, то вѣсто предлагаемой несмѣняемости мы съ радостью привѣтствовали бы созданіе какого-либо учрежденія въ родѣ *университетскаго сената*, существующаго въ нѣкоторыхъ европейскихъ университетахъ. Намъ кажется, что такое учрежденіе, состоящее изъ членовъ правленія (т.-е. ректора, его помощника и декановъ) и изъ нѣсколькихъ членовъ факультетовъ (хотя бы по три или четыре по выбору факультета), могло бы явиться вполне компетентнымъ судомъ чести надъ членами университетской коллегіи. Такой сенатъ, являясь блюстителемъ лучшихъ традицій и чести университета, могъ бы въ то же время явиться и высшимъ органомъ его управленія, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ многія изъ прежнихъ функцій прежняго совѣта 1863 г. и теперешняго правленія, созданнаго дѣйствующимъ уставомъ. Здѣсь, дѣйствительно, достигалась бы искомая „середина“ между двумя уставами, ибо учрежденіе, о которомъ мы говоримъ, могло бы избѣгнуть въ самой значительной мѣрѣ недостатковъ прежняго и теперешняго порядка, соединяя ихъ преимущества. По чрезвычайному многолюдству, пестротѣ своего состава и неравномѣрному количеству профессоровъ на различныхъ факультетахъ, совѣтъ и до 1884 г. не могъ успѣшно справляться со своею сложной задачей — административной, хозяйственной и судебной. Въ настоящее время, когда хозяйство и администрація университетовъ усложнились болѣе чѣмъ вдвое (напр., въ Москвѣ) множествомъ новыхъ учреждений и въ ближайшемъ будущемъ усложнятся еще болѣе съ устройствомъ студенческихъ общежитій, а можетъ быть и студенческихъ организацій — неудобно оставаться при узкихъ бюрократическихъ рамкахъ теперешняго правленія и неудобно возвращаться къ прежнему совѣту, во всѣхъ его особенностяхъ и съ еще увеличеннымъ составомъ. Мы не хотимъ сказать, чтобы учрежденіе, подобное университетскому сенату, могло упразднить собою наблюденіе и контроль за хозяйствомъ или администраціей университета со стороны непосредственныхъ органовъ министерства. Съ другой стороны мы не думаемъ, чтобы такое учрежденіе могло упразднить собою совѣтъ, представляющій университетъ въ цѣломъ его ученой корпораціи и объединяющій факультеты въ ихъ ученой и учеб-

ной дѣятельности. Мы видимъ въ „сенатѣ“ лишь центральный и высшій органъ университетскаго управленія.

Но, повторяемъ, мы не хотимъ ничего предпрѣшать, ибо прежде чѣмъ обсуждать отдѣльныя желательныя реформы въ устройствѣ университета, надо столкнуться въ самыхъ основныхъ принципахъ и рѣшить, долженъ ли быть университетъ университетомъ, имѣть ли онъ свою автономную, чисто академическую цѣль и назначеніе, и можетъ ли эта цѣль достигаться иначе, какъ при двойномъ условіи правильно устроенной студенческой жизни и правильно организованной, самопополняющейся ученой корпораціи, пользующейся должнымъ авторитетомъ и самостоятельностью въ веденіи учебнаго дѣла? Пока мы не столкнемся въ этихъ основныхъ вопросахъ, всякій споръ объ отдѣльныхъ реформахъ или мѣрахъ будетъ беспочвеннымъ.

Кн. С. Н. Трубецкой.

Москва, 1897 г. 3 февраля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Дѣло Мортара.

Въ 1858 г. одна горничная въ Болонѣ тайно окрестила маленькаго еврейскаго мальчика изъ семьи Мортара, у которой она находилась въ услуженіи. Узнавъ объ этомъ, папское правительство немедленно распорядилось отобрать ребенка у родителей и помѣстить его въ домъ неопитовъ въ Римѣ, чтобы дать ему католическое воспитаніе. Всѣ мольбы отца и матери о возвращеніи похищеннаго младенца были напрасны: имъ предложено было принять крещеніе или навсегда отказаться отъ сына. На десятомъ году мальчика заставляли прислуживать при мессахъ и писать родителямъ два раза въ годъ, съ увѣщаніемъ креститься.

Это дѣло вызвало цѣлую бурю негодованія въ европейскомъ обществѣ и нанесло папскому правительству, да и самому папству, тяжелый нравственный ударъ, который, по своему значенію, перевишивалъ многія выигранныя и потеряныя сраженія. Такъ судить о немъ католикъ Деллингеръ и протестантъ (Газе), повѣствующій о „дѣлѣ Мортара“ въ своемъ „Руководствѣ протестантской полемики“ (стр. 58). Еще въ сентябрѣ 1861 г. на главномъ собраніи „евангелическаго союза“ въ Женевѣ сэръ Келлингъ Кардлей говорилъ

сѣдующее: „что касается маленькаго Мортара, если, несмотря на высочайшія представленія и ходатайства, мы не могли ничего достигнуть, то ясно, что самъ Богъ хочетъ открыть глаза всего христіанскаго міра на ту великую истину, что между Римомъ и правомъ, между Римомъ и семьей не существуетъ никакой связи!“ Римская церковь, выступившая въ роли воровки дѣтей, явно показала внутренній порокъ своего строя и дала противъ себя могущественное оружіе своимъ врагамъ.

Этотъ случай, имѣвшій роковыя послѣдствія для нравственнаго престижа папскаго правленія, невольно приходитъ намъ на память по поводу письма гр. Толстого о дѣтяхъ, отобранныхъ у молоканъ и по поводу корреспонденціи „Приазовскаго Края“, перепечатанной въ № 299 „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, о насильственномъ отобраніи дѣтей у шелапутовъ. Всякіе комментаріи къ такимъ сообщеніямъ по меньшей мѣрѣ столь же излишни, какъ къ знаменитымъ постановленіямъ послѣдняго казанскаго миссіонерскаго съѣзда. Всякій вѣрующій и просвѣщенный русскій человѣкъ, всякій отецъ содрогнется отъ боли и обиды при одной мысли, что подобныя вещи относятся не къ отдаленнымъ временамъ папскаго владычества, а совершаются и теперь.

Но, слава Богу, у насъ нѣтъ ни папы, ни папскаго владычества. И если въ наши дни полагается конецъ насилванію надъ совѣстью дѣтей католиковъ, протестантовъ и евреевъ, то мы не можемъ вѣрить, чтобы къ соблазну всѣхъ искреннихъ православныхъ христіанъ и къ сугубому ожесточенію отпавшихъ, дозволено было подъ личиною православія кощунственно попирать святыню семьи и ругаться надъ человѣческимъ сердцемъ. Если у насъ есть особовредная секта, опасная для церкви и государства, такъ это прежде всего та, которая совершаетъ святотатства и преступленія, прикрывшись святою истиной православія.

Мы не станемъ говорить о томъ, какъ относится поправленіе правъ семьи и совѣсти къ элементарнымъ истинамъ христіанскаго правоученія. Но можно ли серьезно говорить о такой мѣрѣ, какъ насильственное отнятіе дѣтей у сектантовъ, съ точки зрѣнія чисто-политической? Можно ли видѣть мѣру предупрежденія и пресѣченія преступленій въ томъ, что уже само по себѣ составляетъ злодѣяніе? Обратимся къ компетентному и авторитетному мнѣнію участниковъ послѣдняго всеяроссійскаго миссіонерскаго съѣзда. Почтенные отцы этого собора, надъ которымъ носился духъ великаго завоевателя Казани, во всякомъ случаѣ не заслужили упрека въ излишней

жестокости и сентиментальности: низкія мѣры не казались имъ слишкомъ сильными для вразумленія заблудшихъ овецъ Христовыхъ. Однако, и они отказались отъ этой мѣры — отбирания дѣтей у сектантовъ, и они отвергли ее по соображеніямъ безусловно практическаго свойства, противъ которыхъ спорить невозможно: не хватало бы средствъ на содержаніе несчастныхъ дѣтей особовредныхъ сектантовъ, тѣмъ болѣе, что наши миссіонеры съ каждымъ новымъ съѣздомъ увеличиваютъ каталогъ особовредныхъ сектъ...

Кн. С. Трубецкой.

Москва, 1897 г. 7 ноября.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Открытое письмо кн. Э. Э. Ухтомскому.

Современное положеніе русской печати невольно напоминаетъ пророчество Исаи о заустѣніи столицы Едомской (XXXIV, 11—15): „...и завладѣютъ ею пеликанъ и ежъ; и филинъ и воронъ поселятся въ ней; и протянуть по ней вервь раззоренія и отвѣсъ уничтоженія. Никого не останется изъ знатныхъ ея... и всѣ вожди ея будутъ ничто... и будетъ она жилищемъ шакаловъ и пристанищемъ страусовъ. И звѣри пустыни (шакалы) будутъ встрѣчаться тамъ съ дикими кошками и лѣшіе будутъ перекликаться другъ съ другомъ. Тамъ будетъ отдыхать ночное привидѣніе (лилитъ) и находить себѣ покой. Тамъ уgnѣздится летучій змѣй, будетъ властью лица, выводить дѣтенышей и высиживать ихъ подъ сѣнью своею; только коршуны будутъ собираться тамъ одинъ къ другому“.

Согласитесь, князь, что эта страшная картина мерзости заустѣнія, какъ нельзя болѣе, подходитъ къ современному положенію нашей печати: среди животныхъ, перечисленныхъ пророкомъ, не достаетъ только тетерева, съ которымъ кн. Мещерскій столь удачно сравнилъ на-дняхъ редактора „Свѣта“. Остальные — всѣ на лицо... Завываніе шакаловъ и цыканье коршуновъ, крики филиновъ и динканье кошекъ, карканье воронъ, перекликанье лѣшихъ и змѣиное шипѣніе — вотъ что теперь въ нашей печати сплошь да рядомъ замѣняетъ разумное человеческое слово, и что считается многими не только болѣе дозволительнымъ, но и болѣе полезнымъ, чѣмъ человеческое слово. Изъ „знатныхъ“ нашей печати не осталось почти никого, — а если и остались немногіе, такъ и тѣ стали

„ничто“, обреченные на молчаніе... Одни змѣи безпрепятственно кладутъ яйца и выводятъ многочисленныхъ поганыхъ дѣтенышей.

Въ настоящее время стоитъ на очереди цѣлый рядъ государственныхъ вопросовъ первостепенной важности, затрагивающихъ самые жизненные интересы всего русскаго общества, — вопросы о центрѣ и объ окраинахъ, вопросы о народномъ хозяйствѣ и народномъ образованіи, о земствѣ и земской школѣ, о судѣ, объ университетахъ. Почему въ нашей печати по всѣмъ этимъ вопросамъ могутъ свободно перекликаться только шакалы, дѣшкіе, ночныя птицы и дикія кошки, а публицистамъ, сохранившимъ человѣческое подобіе, предоставляется говорить лишь о дѣлѣ Дрейфуса, объ интригахъ Альбіона, о вѣнскихъ дѣлахъ и всеобщемъ мирѣ, да о нѣкоторыхъ экономическихъ и торгово-промышленныхъ интересахъ? Если вредно допускать дѣйствительное обсужденіе вопросовъ внутренней политики, то почему нужно считать безвредными завыванія шакаловъ и цырканы хищниковъ? Во всякомъ случаѣ, эти цырканы, свисты, завыванія составляютъ какофонію болѣе чѣмъ излишнюю. Мнѣнія „звѣрей пустыни“ по вопросамъ внутренней политики достаточно извѣстны, и сказать что-либо новое по сему предмету они не могутъ. Ихъ государственно-общественный идеалъ, идеалъ звѣринаго безчинства, идеалъ дремучей непроходимой пустыни и развалинъ, — выяснился съ полной опредѣленностью. Ихъ проповѣдь всеобщаго одичанія и разрушенія едва ли можетъ успокоить умы въ настоящее тревожное время, и, конечно она не можетъ согласоваться съ видами правительства.

Это вполнѣ очевидно, хотя „звѣри пустыни“, столь ревниво охраняющіе свою дичь, и превозносятся своимъ крайнимъ консерватизмомъ. Консерватизмъ этотъ есть, однако, простая иллюзія, — поскольку онъ ведетъ лишь къ развалинамъ и опустошенію. Не слѣдуетъ удивляться поэтому, что по каждому данному вопросу правительство говоритъ одно, а шакалы, несмотря на свой мнимый консерватизмъ, — совершенно другое и, главное, въ другихъ интересахъ. Хотимъ ли мы знать мнѣніе шакаловъ объ окраинахъ, о Финляндіи, напримѣръ? Правительство заявляетъ, что оно и не помышляло нарушать основные законы Великаго Княжества, а шакалы кричатъ, что они этихъ законовъ не признаютъ, взываютъ къ ихъ попраціи и мечтаютъ въ печати о превращеніи Финляндіи въ тѣ развалины едомскія, о которыхъ говоритъ пророкъ Ісаія.

Хотимъ ли мы знать мнѣніе шакаловъ и ночныхъ птицъ о земствѣ и земской школѣ? Мы находимъ то же самое: сперва — „вервь

раззоренія и отвѣсъ уничтоженія“, а затѣмъ — тѣ же развалины, та же пустыня, царство лѣшихъ и „ночного привидѣнія“. Опять-таки это совѣтъ не согласуется съ видами правительства! Хотимъ ли мы знать мнѣнія шакаловъ о судѣ, о высшемъ образованіи, о еврейскомъ вопросѣ? Но, строго говоря, на что намъ знать ихъ мнѣнія? Всѣ мы знаемъ, до какой наглости доходятъ шакалы, когда они не боятся окрика!

Мы вполне понимаемъ, что сильное правительство не пугается ихъ завываній и не находитъ опасными тѣ ночные вопли, которыми помннутыя животныя тревожатъ сонъ отдѣльныхъ мирныхъ обывателей. Сильное правительство вообще не боится печатнаго выраженія мнѣній, — даже тамъ, гдѣ оно ихъ не раздѣляетъ. Но если такъ, если голоса дикихъ кошекъ и шакаловъ не представляютъ дѣйствительнаго преда и опасности, — то какая же опасность заключается въ выраженіи мнѣній не-зѣринныхъ, человѣческихъ? Намъ кажется, напротивъ, что было бы прямо полезно услышать, наконецъ, въ нашей печати человѣческій голосъ — не о дѣлѣ Дрейфуса или коварствѣ Альбіона, а по вопросамъ всѣмъ намъ близкимъ, — вопросамъ заболѣвающимъ и существенно важнымъ для каждого. Пусть даже этотъ голосъ высказываетъ мнѣнія, и не согласныя съ мнѣніями отдѣльныхъ представителей правительства (вѣдь, и мнѣнія отдѣльныхъ представителей правительства не всегда и не во всемъ согласны между собою?) — пусть этотъ голосъ высказываетъ и мнѣнія ошибочныя (вѣдь, и отдѣльные представители правительства могутъ ошибаться?): ошибки публициста, во всякомъ случаѣ, имѣютъ меньшее практическое значеніе, — тѣмъ болѣе, что всякій можетъ ихъ уличить и доказать. Вѣдь, наконецъ, русское общество, всегда одушевленное безавѣтной преданностью Престолу и Отечеству, ничѣмъ не заслуживаетъ недовѣрія? Почему же это русское общество не могло бы имѣть печати, — я не говорю уже свободной (гдѣ тутъ говорить о свободѣ!), — а хотя бы настолько независимой, чтобы права и обязанности этой печати не были только *правами и обязанностями молчанія*, т.-е. правомъ молчать, о чемъ она хочетъ, и обязанностью молчать о томъ, о чемъ она не только не хочетъ, но даже и не должна бы молчать — по долгу передъ Царемъ и по долгу передъ русскимъ обществомъ?

Неужели же вѣрить тому, что говорить по этому поводу растлители русскаго слова, газетчики, развращающіе общество и печать, или, наконецъ, простые мошенники желѣзнодорожныхъ кіосковъ? Они кричатъ, что общественное спокойствіе и порядокъ будутъ

нарушены, что настанетъ общая смута въ тотъ день, когда можно будетъ сорвать съ нихъ маску, и не только сказать, но и доказать передъ всѣми, что они лгутъ. Они кричатъ, что отечество подвергнется величайшей опасности въ тотъ день, когда русскіе граждане получатъ возможность правдиво высказывать въ печати свое мнѣніе по общественнымъ и государственнымъ вопросамъ. Что же думаютъ они о силѣ Самодержавной власти, о зрѣлости, о патриотизмѣ русскаго общества? — Они ничего не думаютъ...

Они только отстаиваютъ, не щадя и не разбирая средствъ, то исключительное положеніе печати, при которомъ возможно самое безстыдное, самое наглое, разнузданное злоупотребленіе печатнымъ словомъ... И они говорятъ о тишинѣ и порядкѣ, какъ будто та распушенная звѣриная вольница, въ которой шакалы и дивія кошки перестаютъ бояться человѣка и бросаются на случайныхъ прохожихъ, есть порядокъ, и какъ будто тишина пустыни, населенной звѣрями, есть спокойствіе благоустроеннаго общества...

Кн. С. Н. Трубецкой.

1899 г. 13 апрѣля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Отвѣтъ князю Д. Н. Цертелеву.

Многоуважаемый князь.

Письмо ваше нѣсколько меня удивило. Вы находите вмѣстѣ со мною, что современная русская печать напоминаетъ „страшную картину“ развалинъ едомскихъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы, повидимому, находите мерзость запустѣнія неизбѣжнымъ и нормальнымъ состояніемъ печати вообще, — указывая, что то же самое наблюдается въ другихъ странахъ и прежде всего во Франціи, гдѣ печать также представляетъ картину полного одичанія, несмотря на отсутствіе не только цензурнаго произвола, но и всякихъ стѣсненій или ограниченій. Я думалъ, что изъ этого вы хотите вывести то заключеніе, что обѣ крайности — цензурнаго произвола и полной разнузданности уличной печати — соприкасаются и ведутъ къ уродливымъ уклоненіямъ. На самомъ дѣлѣ, однако я въ вашемъ письмѣ никакого заключенія не нашелъ...

Я — не поклонникъ французской уличной печати, но я прекрасно знаю, что сталъ бы дѣлать, если бы я былъ французскимъ публицистомъ. Я увѣренъ, во-первыхъ, что никто во Франціи или въ иной

мягкости и сентиментальности: никакія мѣры не казались имъ слишкомъ сильными для вразумленія заблудшихъ овецъ Христовыхъ. Однако, и они отказались отъ этой мѣры — отбирания дѣтей у сектантовъ, и они отвергли ее по соображеніямъ безусловно практическаго свойства, противъ которыхъ спорить невозможно: не хватило бы средствъ на содержаніе несчастныхъ дѣтей особовредныхъ сектантовъ, тѣмъ болѣе, что наши миссіонеры съ каждымъ новымъ съѣздомъ увеличиваютъ каталогъ особовредныхъ сектъ...

Кн. С. Трубецкой.

Москва, 1897 г. 7 ноября.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Открытое письмо кн. Э. Э. Ухтомскому.

Современное положеніе русской печати невольно напоминаетъ пророчество Исаи о заустѣніи столицы Едомской (XXXIV, 11—15): „...и завладѣютъ ею пеликанъ и ежъ; и филинъ и воронъ поселятся въ ней; и протянуть по ней вервь раззоренія и отвѣсъ уничтоженія. Никого не останется изъ знатныхъ ея... и всѣ вожди ея будутъ ничто... и будетъ она жилищемъ шакаловъ и пристанищемъ страусовъ. И звѣри пустыни (шакалы) будутъ встрѣчаться тамъ съ дикими кошками и лѣшіе будутъ перекликаться другъ съ другомъ. Тамъ будетъ отдыхать ночное привидѣніе (лилить) и находить себѣ покой. Тамъ угнѣздится летучій змѣй, будетъ класть яйца, выводить дѣтенышей и высиживать ихъ подъ сѣнью своею; только коршуны будутъ собираться тамъ одинъ къ другому“.

Согласитесь, князь, что эта страшная картина мерзости заустѣнія, какъ нельзя болѣе, подходитъ къ современному положенію нашей печати: среди животныхъ, перечисленныхъ пророкомъ, не достаетъ только тетерева, съ которымъ кн. Мещерскій столь удачно сравнилъ на-дняхъ редактора „Свѣта“. Остальные — всѣ на лицо... Завываніе шакаловъ и цырканье коршуновъ, крики филиновъ и дикихъ кошекъ, карканье воронъ, перекликанье лѣшихъ и змѣиное шипѣніе — вотъ что теперь въ нашей печати сплошь да рядомъ замѣняетъ разумное человѣческое слово, и что считается многими не только болѣе дозволительнымъ, но и болѣе полезнымъ, чѣмъ человѣческое слово. Изъ „знатныхъ“ нашей печати не осталось почти никого, — а если и остались немногіе, такъ и тѣ стали

весь свой смыслъ, если бы они дѣйствительно могли оградить ее отъ сивкофантовъ и растлителей общественнаго мнѣнія.

Но разъ эти стѣсненія создаютъ имъ исключительное положеніе и мѣшаютъ пользоваться печатью для выраженія разумнаго человѣческаго слова и добросовѣстныхъ убѣжденій, ясно, что они нечеловѣкообразны.

Вы понимаете, князь, что я говорю не только о принципѣ, а о цѣломъ рядѣ конкретныхъ вопросовъ, по которымъ всякіе литературные опричники могутъ говорить, что хотятъ, — когда люди порядка и чести, люди, дѣйствительно преданные Престолу и Отечеству, погружены въ молчаніе.

Вы говорите, что упраздненіе стѣсненій не сдѣлало бы людей... изъ дикихъ и домашнихъ животныхъ, съ чѣмъ я совершенно согласенъ. Но если вы думаете, что „ограниченіе цензурнаго произвола не дало бы возможности слышать въ печати человѣческіе голоса вмѣсто звѣриной какофоніи“, то смѣю васъ увѣрить, что вы ошибаетесь. Вы говорите, что „никакой Демосѣенъ не въ силахъ перекричать ни дикой кошки, ни домашнего осла, когда они находятъ публику, желающую ихъ слушать“. Но, во-первыхъ, я полагаю, что на ряду съ любителями звѣриной какофоніи у насъ существуетъ довольно значительная публика, которая была бы не прочь послушать и Демосѣена, или даже, если Демосѣена не найдется, такъ просто хорошій и здравый человѣческій голосъ. А во-вторыхъ, я думаю, что разумному человѣку нѣтъ надобности надсаживаться и кричать, чтобы покрыть голоса ословъ и кошекъ; это значило бы прибѣгать къ приемамъ нечеловѣческимъ, въ которыхъ животныя всегда будутъ имѣть преимущество. Сила человѣческаго слова должна быть въ разумѣ, а не въ крикѣ.

Я вѣрю въ силу разумнаго человѣческаго слова. Оно никогда не заглохнетъ и не умретъ; оно судить и свѣтить, и судъ его въ концѣ-концовъ всегда оправдается, и приговоры его сбудутся. Пагубно и опасно презирать это слово. Его сила — не въ томъ, что его говорятъ многіе, а въ томъ, наоборотъ, что его могутъ сказать и очень немногіе: въ концѣ-концовъ его услышать всѣ... И сколько бы ни кричали звѣри, крикъ ихъ обратится въ ничто, а слово оправдаетъ себя поздно или рано и покроетъ звѣриныя голоса. Поэтому сами по себѣ эти голоса меня нисколько не тревожатъ. Меня страшитъ презрѣніе къ человѣческому слову.

Вы не вѣрите въ силу этого слова — отчасти, можетъ быть, по опыту, какъ бывший редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“, а глав-

нымъ образомъ какъ мыслитель-пессимистъ, во многомъ склоняющійся къ философіи безсознательнаго. Но позвольте мнѣ сказать вамъ, что и опытъ вашъ недостаточенъ для обобщенія, и теорія, изъ которой вы, повидимому, исходите, сомнительная сама по себѣ, едва ли правильно вами толкуется: она нигдѣ не учитъ насъ возводить животную безсознательную силу въ нѣчто нормальное; наоборотъ, она призываетъ насъ бороться съ нею посредствомъ зрячаго, сознательнаго разума. Есть люди, которые склонны относиться къ дѣятелямъ нашей воинствующей и вмѣстѣ торжествующей печати съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ за то, что они, проповѣдуя всеобщее опустошеніе, высоко развѣваютъ бѣлое знамя и, ругаясь надъ правдой, кричатъ „не имамы царя токмо кесаря!“ Въ моихъ глазахъ это только отягчающее обстоятельство. Да и вы, князь, едва ли впадете въ ошибку Пилата: лучше меня вы знаете, какую цѣну имѣютъ эти клики въ устахъ этихъ людей; лучше меня вы знаете, что знамя для нихъ безразлично: сегодня оно бѣлое, завтра — такое же красное, какъ и вчера.

Вы спрашиваете меня: что сдѣлать для того, чтобы поднять уровень нашей печати, чтобы заставить ее служить общему благу? Заставлять нельзя и не нужно: надо не мѣшать. Прежде всего не устраняйте отъ печати честныхъ людей, хотя бы мнѣнія ихъ и расходились съ вашими. Не создавайте монополіи для мнѣній и убѣжденій, — въ особенности для тѣхъ, которыми вы дорожите, — иначе ихъ втопчатъ въ грязь тѣ презрѣнные, продажные публицисты, которые начнутъ эксплуатировать ихъ въ свою пользу. Разъ вы миритесь со зломъ, которое приноситъ наша печать, дайте ей возможность принести и все то добро, которое она можетъ принести посредствомъ обмѣна мнѣній, посредствомъ гласности, посредствомъ всесторонняго освѣщенія дѣйствительныхъ жизненныхъ интересовъ русскаго общества. Вѣрьте, что это русское общество состоитъ не изъ однихъ звѣрей и любителей звѣриныхъ пѣсень и что среди публицистовъ нашихъ есть не мало „мужей совѣта“, — почтенныхъ, честныхъ и просвѣщенныхъ людей, которые служатъ не интересамъ, не лицамъ, а принципамъ. Дайте имъ высказаться!

Кн. С. Н. Трубецкой.

1899 г. 3 мая.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

«Второй отвѣтъ князю Цертелеву».

О свободѣ печати и возможныхъ злоупотребленіяхъ ею можно сказать много умныхъ и хорошихъ вещей; но въ настоящее время академическія разсужденія о семъ предметѣ представляются едва ли своевременными. Недавно на столбцахъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ мы читали письмо одного изъ многихъ труженниковъ провинціальной печати, который жаловался, что ему не позволить назвать по имени волостного писаря, обижающаго сельскую учительницу, не позволить говорить о лавочникахъ, у которыхъ губернаторы забираютъ провизію и о неисправности почты, которая возитъ корреспонденцію со скоростью 40 верстъ въ мѣсяць. Согласитесь, что при такихъ условіяхъ рано опасаться злоупотребленийъ свободой слова. Когда голодный проситъ хлѣба, рано говорить о томъ, какія разстройства пищеваренія бываютъ отъ трюфелей и заграничныхъ паштетовъ. Вы говорите, что я ошибочно приписываю вамъ пессимистическій взглядъ на нашу печать. По вашему мнѣнію ее можно поднять, но не посредствомъ свободы, а посредствомъ установленія болѣе строгой отвѣтственности для редакторовъ и посредствомъ учрежденія особыхъ дипломовъ для нашихъ публицистовъ. Но, по-моему, первая мѣра, взятая въ отдѣльности, поведетъ развѣ къ усугубленію сервиліума нашей печати; а вторая, — признаться, я ее не понялъ и жду чтобы вы ее объяснили: какой будете вы устанавливать умственный и нравственный цензъ для нашихъ газетчиковъ, какъ будете вы свидѣтельствовать и дипломировать ихъ добросовѣстность, какіе такіе дипломы вы будете имъ выдавать? Во всякомъ случаѣ это проектъ оригинальный и на Западѣ еще неиспытанный! Нѣчто подобное существуетъ въ Китаѣ, но для мандариновъ, а не для публицистовъ. Повторяю, боюсь, что я васъ не понялъ и заранѣе извиняюсь, если я превратно толкую вашу мысль.

На Западѣ существуетъ опытъ — закономѣрная свобода печати, и объ этомъ опытѣ нельзя говорить, какъ о чемъ-то неизвѣданномъ. Скажите на милость, какое худо вытекаетъ изъ этой свободы въ Англіи или въ Германіи. Вы вдаетесь въ разсужденія нѣсколько отвлеченнаго свойства и доказываете, что нельзя предоставить каждому кричать по произволу: „держи“, или „караулъ“, что иногда лучше нападать на ближняго, чѣмъ кричать такіа слова и т. д. Но почему я не могу кричать „держи“ и „караулъ“, когда на моихъ

глазах деруть моего ближняго? — вот вопросъ... Въ чемъ тутъ опасность общественная? Еще Катковъ говорилъ, что конституція русскаго гражданина состоитъ въ правѣ и обязанности кричать „караулъ“, а вы хотите лишить насъ и этого права! Но каково бы ни было наше съ вами мнѣніе о пользѣ или вредѣ подобныхъ криковъ, мы должны признать, что вся публицистика, ведущая свое начало отъ Каткова, есть лишь одно сплошное „караулъ“ и „держи“: „караулъ“ центръ и окраины, „караулъ“ и земство, и земская школа, „караулъ“ и судъ, „караулъ“ университеты, „караулъ“ русское общество. Хорошо это или дурно, мы только это и слышимъ, и едва ли свобода печати въ этомъ виновата.

Всякую мысль нужно додумать до конца, и не надо останавливаться на полумысляхъ. Что такое печать, какъ не органъ общественной мысли, общественнаго мнѣнія? Поэтому если мы хотимъ правильно поставить вопросъ о печати и договориться до чего-нибудь опредѣленнаго, надо выяснить, какъ мы смотримъ на общество вообще, на его значеніе и назначеніе въ государствѣ, на его права и обязанности.

Каково отношеніе къ обществу, съ которымъ чаще всего приходится встрѣчаться, какъ со стороны большинства бюрократовъ, такъ и со стороны публицистовъ, примыкающихъ къ господствующимъ теченіямъ? Презрѣніе къ обществу, подозрѣніе къ обществу, затаенная или явная вражда къ русскому обществу... Есть рядъ публицистовъ и бюрократовъ, которые въ своемъ непонятномъ ослѣпленіи видятъ въ обществѣ не самый прочный изъ даровъ нормальной государственной жизни, а нѣчто не только излишнее, но даже вредное и подлежащее упраздненію. Эта мысль въ столь нелѣпой формѣ, понятно, никѣмъ не высказывается, ибо достаточно высказать ее, чтобы убѣдиться немедленно въ ея абсурдѣ: можетъ ли государство признать себя врагомъ общества, или, наоборотъ, признать въ обществѣ своего внутренняго врага? И, однако, эта безумная, нелѣпая вражда къ обществу служить скрытымъ лозунгомъ для многихъ дѣятелей „нашихъ дней“: они говорятъ, правда, что ненавидятъ не общество, а только его общественныя учрежденія; но что это, какъ не самый грубый и пошлый софизмъ?

Есть наивные люди, которые въ самомъ дѣлѣ думаютъ, что государство можетъ обойтись безъ общества и безъ службы общества, что наоборотъ, общество только служить ему помѣхой. Съ такой точки зрѣнія задача патріота должна состоять въ упорной и постоянной борьбѣ противъ общества, въ стремленіи къ возможно

большей дезорганизациі, въ разложеніи общества и въ подавленіи всякой его самостоятельности. Общество мерещится такому патріоту какимъ-то противогосударственнымъ союзомъ и всѣ проявленія общест-венности кажутся ему преступными посягательствами, которыя должны быть растоптаны въ самомъ зачаткѣ, разбиты о камень, подобно младенцамъ вавилонскимъ. Нужно раздробить общество на его мельчайшіе атомы, нужно обратить его въ сумму отдѣльныхъ безсвязныхъ единицъ — отдѣльныхъ обывателей государства. Съ такой точки зрѣнія независимая печать есть само по себѣ уже зло, потому что зломъ признается всякая самостоятельная общественная сила.

Я считаю такое воззрѣніе революціоннымъ и разрушительнымъ. И оно тѣмъ опаснѣе, чѣмъ оно искреннѣе и безсознательнѣе. Я не говорю о томъ глубокомъ вредѣ, какой приноситъ оно русскому обществу, о томъ, какъ оно развращаетъ и унижаетъ, парализуетъ лучшія его силы. Проводимое съ безсознательной послѣдовательностью навязчивой идеи, это воззрѣніе сѣетъ общую вражду и смуту. Оно ссоритъ правительство съ обществомъ, оно подрываетъ самыя крѣпкія традиціонныя основы порядка и разрушаетъ тотъ глубоко кон-сервативный укладъ русской общественной жизни, который оста-вался неизблѣмъ доселѣ, несмотря на всѣ потрясенія.

Постороннему наблюдателю, который прислушивается къ совре-меннымъ толкамъ о земствѣ, земской школѣ, о судѣ, о высшемъ образованіи, о печати, о всемъ, что касается жизненныхъ интере-совъ русскаго общества, кажется минутами, что онъ имѣетъ дѣло съ сознательными агитаторами и революціонерами. Не можетъ быть чтобъ люди, стремящіеся навязать государству противообществен-ныя цѣли и тенденціи, не сознавали, что они подкапываются подъ устой государственнаго порядка. Не можетъ быть чтобы люди, попи-рающіе все, что дорого русскому обществу, что достигнуто съ та-кимъ трудомъ и такъ поздно, не стремились сознательно сѣять смуту, не можетъ быть, чтобы все это было лишь ослѣпленіемъ! А между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, сколько тутъ ослѣпленія! Должно ли существовать общество? Должно ли оно жить, развиваться, нести службу царю и государству? Казалось бы и вопроса быть не мо-жетъ, а между тѣмъ его приходится ставить совершенно серіозно и требовать на него такого отвѣта, который былъ бы въ одно и то же время и разумнымъ и честнымъ. Когда намъ говорятъ, что общество должно существовать, но съ тѣмъ, чтобы не имѣть воз-можности проявлять свою жизнь и выражать свое мнѣніе; когда намъ говорятъ, что оно должно развиваться, но съ тѣмъ, чтобы

мягкости и сентиментальности: никакія мѣры не казались имъ слишкомъ сильными для вразумленія заблудшихъ овецъ Христовыхъ. Однако, и они отказались отъ этой мѣры — отбирания дѣтей у сектантовъ, и они отвергли ее по соображеніямъ безусловно практическаго свойства, противъ которыхъ спорить невозможно: не хватило бы средствъ на содержаніе несчастныхъ дѣтей особовредныхъ сектантовъ, тѣмъ болѣе, что наши миссіонеры съ каждымъ новымъ съѣздомъ увеличиваютъ каталогъ особовредныхъ сектъ...

Кн. С. Трубецкой.

Москва, 1897 г. 7 ноября.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Открытое письмо кн. Э. Э. Ухтомскому.

Современное положеніе русской печати невольно напоминаетъ мнѣ пророчество Ісаіи о запустѣніи столицы Едомской (XXXIV, 11—15): „...и завладѣютъ ею пеликанъ и ежъ; и филинъ и воронъ поселятся въ ней; и протянуть по ней вервь раззоренія и отвѣсъ уничтоженія. Никого не останется изъ знатныхъ ея... и всѣ вожди ея будутъ ничто... и будетъ она жилищемъ шакаловъ и пристанищемъ страусовъ. И звѣри пустыни (шакалы) будутъ встрѣчаться тамъ съ дикими кошками и лѣшіе будутъ перекликаться другъ съ другомъ. Тамъ будетъ отдыхать ночное привидѣніе (лилитъ) и находить себѣ покой. Тамъ уgnѣздится летучій змѣй, будетъ класть яйца, выводить дѣтенышей и высиживать ихъ подъ сѣнью своею; только коршуны будутъ собираться тамъ одинъ къ другому“.

Согласитесь, князь, что эта страшная картина мерзости запустѣнія, какъ нельзя болѣе, подходитъ къ современному положенію нашей печати: среди животныхъ, перечисленныхъ пророкомъ, не достаетъ только тетерева, съ которымъ кн. Мещерскій столь удачно сравнилъ на-дняхъ редактора „Свѣта“. Остальные — всѣ налицо... Завываніе шакаловъ и цыканье коршуновъ, крики филиновъ и дикихъ кошекъ, карканье воронъ, перекликанье лѣшихъ и змѣиное шипѣніе — вотъ что теперь въ нашей печати сплошь да рядомъ замѣняетъ разумное человѣческое слово, и что считается многими не только болѣе дозволительнымъ, но и болѣе полезнымъ, чѣмъ человѣческое слово. Изъ „знатныхъ“ нашей печати не осталось почти никого, — а если и остались немногіе, такъ и тѣ стали

„ничто“, обреченные на молчаніе... Одни змѣи безпрепятственно кладутъ яйца и выводятъ многочисленныхъ поганыхъ дѣтенышей.

Въ настоящее время стоитъ на очереди цѣлый рядъ государственныхъ вопросовъ первостепенной важности, затрагивающихъ самые жизненные интересы всего русскаго общества, — вопросы о центрѣ и объ окраинахъ, вопросы о народномъ хозяйствѣ и народномъ образованіи, о земствѣ и земской школѣ, о судѣ, объ университетахъ. Почему въ нашей печати по всѣмъ этимъ вопросамъ могутъ свободно перекидываться только шакалы, лѣшіе, ночныя птицы и дикія кошки, а публицистамъ, сохранившимъ человѣческое подобіе, предоставляется говорить лишь о дѣлѣ Дрейфуса, объ интригахъ Альбіона, о внѣшнихъ дѣлахъ и всеобщемъ мирѣ, да о нѣкоторыхъ экономическихъ и торгово-промышленныхъ интересахъ? Если вредно допускать дѣйствительное обсужденіе вопросовъ внутренней политики, то почему нужно считать безвредными завыванія шакаловъ и цырканы хищниковъ? Во всякомъ случаѣ, эти цырканы, свисты, завыванія составляютъ какофонію болѣе чѣмъ излишнюю. Мнѣнія „звѣрей пустыни“ по вопросамъ внутренней политики достаточно извѣстны, и сказать что-либо новое по сему предмету они не могутъ. Ихъ государственно-общественный идеалъ, идеалъ звѣринаго безчинства, идеалъ дремучей непроходимой пустыни и развалинъ, — выяснился съ полной опредѣленностью. Ихъ проповѣдь всеобщаго одичанья и разрушенія едва ли можетъ успокоить умы въ настоящее тревожное время, и, конечно она не можетъ согласоваться съ видами правительства.

Это вполне очевидно, хотя „звѣри пустыни“, столь ревниво охраняющіе свою дичь, и превозносятся своимъ крайнимъ консерватизмомъ. Консерватизмъ этотъ есть, однако, простая иллюзія, — поскольку онъ ведетъ лишь къ развалинамъ и опустошенію. Не слѣдуетъ удивляться поэтому, что по каждому данному вопросу правительство говоритъ одно, а шакалы, несмотря на свой мнимый консерватизмъ, — совершенно другое и, главное, въ другихъ интересахъ. Хотимъ ли мы знать мнѣнія шакаловъ объ окраинахъ, о Финляндіи, напримѣръ? Правительство заявляетъ, что оно и не помышляло нарушать основные законы Великаго Княжества, а шакалы кричатъ, что они этихъ законовъ не признаютъ, взываютъ къ ихъ поправкѣ и мечтаютъ въ печати о превращеніи Финляндіи въ тѣ развалины едомскія, о которыхъ говоритъ пророкъ Ісаія.

Хотимъ ли мы знать мнѣнія шакаловъ и ночныхъ птицъ о земствѣ и земской школѣ? Мы находимъ то же самое: сперва — „вервь

раззоренія и отвѣсъ уничтоженія“, а затѣмъ — тѣ же развалины, та же пустыня, царство лѣшихъ и „ночного привидѣнія“. Опять-таки это совѣтъ не согласуется съ видами правительства! Хотимъ ли мы знать мнѣнія шакаловъ о судѣ, о высшемъ образованіи, о еврейскомъ вопросѣ? Но, строго говоря, на что намъ знать ихъ мнѣнія? Всѣ мы знаемъ, до какой наглости доходятъ шакалы, когда они не боятся окрика!

Мы вполнѣ понимаемъ, что сильное правительство не пугается ихъ завываній и не находитъ опасными тѣ ночные вопли, которыми помянутыя животныя тревожатъ сонъ отдѣльных мирныхъ обывателей. Сильное правительство вообще не боится печатнаго выраженія мнѣній, — даже тамъ, гдѣ оно ихъ не раздѣляетъ. Но если такъ, если голоса дикихъ кошекъ и шакаловъ не представляютъ дѣйствительнаго вреда и опасности, — то какая же опасность заключается въ выраженіи мнѣній не-звѣриныхъ, человѣческихъ? Намъ кажется, напротивъ, что было бы прямо полезно услышать, наконецъ, въ нашей печати человѣческій голосъ — не о дѣлѣ Дрейфуса или коварствѣ Альбіона, а по вопросамъ всѣмъ намъ близкимъ, — вопросамъ наболѣвшимъ и существенно важнымъ для каждаго. Пусть даже этотъ голосъ высказываетъ мнѣнія, и не согласныя съ мнѣніями отдѣльных представителей правительства (вѣдь, и мнѣнія отдѣльных представителей правительства не всегда и не во всемъ согласны между собою?) — пусть этотъ голосъ высказываетъ и мнѣнія ошибочныя (вѣдь, и отдѣльные представители правительства могутъ ошибаться?): ошибки публициста, во всякомъ случаѣ, имѣютъ меньшее практическое значеніе, — тѣмъ болѣе, что всякій можетъ ихъ уличить и доказать. Вѣдь, наконецъ, русское общество, всегда одушевленное беззавѣтною преданностью Престолу и Отечеству, ничѣмъ не заслуживаетъ недовѣрія? Почему же это русское общество не могло бы имѣть печати, — я не говорю уже свободной (гдѣ тутъ говорить о свободѣ!), — а хотя бы настолько независимой, чтобы права и обязанности этой печати не были только *правами и обязанностями молчанія*, т.-е. правомъ молчать, о чемъ она хочетъ, и обязанностью молчать о томъ, о чемъ она не только не хочетъ, но даже и не должна бы молчать — по долгу передъ Царемъ и по долгу передъ русскимъ обществомъ?

Неужели же вѣрить тому, что говорить по этому поводу растлители русскаго слова, газетчики, развращающіе общество и печать, или, наконецъ, простые мошенники желѣзнодорожныхъ кіосковъ? Они кричатъ, что общественное спокойствіе и порядокъ будутъ

нарушены, что настанетъ общая смута въ тотъ день, когда можно будетъ сорвать съ нихъ маску, и не только сказать, но и доказать передъ всѣми, что они лгутъ. Они кричатъ, что отечество подвергнется величайшей опасности въ тотъ день, когда русскіе граждане получатъ возможность правдиво высказывать въ печати свое мнѣніе по общественнымъ и государственнымъ вопросамъ. Что же думаютъ они о силѣ Самодержавной власти, о зрѣлости, о патриотизмѣ русскаго общества? — Они ничего не думаютъ...

Они только отстаиваютъ, не щадя и не разбирая средствъ, то исключительное положеніе печати, при которомъ возможно самое безстыдное, самое наглое, разнузданное злоупотребленіе печатнымъ словомъ... И они говорятъ о тишинѣ и порядкѣ, какъ будто та распушенная звѣриная вольница, въ которой шакалы и дикія кошки перестаютъ бояться человѣка и бросаются на случайныхъ прохожихъ, есть порядокъ, и какъ будто тишина пустыни, населенной звѣрями, есть спокойствіе благоустроеннаго общества...

Кн. С. Н. Трубецкой.

1899 г. 13 апрѣля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Отвѣтъ князю Д. Н. Цертелеву.

Многоуважаемый князь.

Письмо ваше нѣсколько меня удивило. Вы находите вмѣстѣ со мною, что современная русская печать напоминаетъ „страшную картину“ развалинъ едомскихъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы, повидимому, находите мерзость запустѣнія неизбѣжнымъ и нормальнымъ состояніемъ печати вообще, — указывая, что то же самое наблюдается въ другихъ странахъ и прежде всего во Франціи, гдѣ печать также представляетъ картину полного одичанія, несмотря на отсутствіе не только цензурнаго произвола, но и всякихъ стѣсненій или ограниченій. Я думалъ, что изъ этого вы хотите вывести то заключеніе, что обѣ крайности — цензурнаго произвола и полной разнузданности уличной печати — соприкасаются и ведутъ къ уродливымъ уклоненіямъ. На самомъ дѣлѣ, однако я въ вашемъ письмѣ никакого заключенія не нашелъ...

Я — не поклонникъ французской уличной печати, но я прекрасно знаю, что сталъ бы дѣлать, если бы я былъ французскимъ публицистомъ. Я увѣренъ, во-первыхъ, что никто во Франціи или въ иной

европейской странѣ, за исключеніемъ развѣ Турціи, не помѣшалъ бы мнѣ высказать печатно мои мнѣнія и обсуждать въ печати вопросы, касающіеся самыхъ жизненныхъ интересовъ общества, — каковы вопросы о церкви, о мѣстномъ самоуправленіи, о школахъ, о высшемъ образованіи. И если бы я находилъ, что большинство публицистовъ проповѣдуетъ вещи по моему убѣжденію безнравственныя и пагубныя для моего отечества, я считалъ бы долгомъ бороться съ ними по мѣрѣ силъ, а не мириться съ тѣмъ, что печать есть и должна быть орудіемъ обмана. Честному и добросовѣстному французскому публицисту открыта возможность борьбы и защиты.

Далѣе, я думаю, что несмотря на все одичаніе французской печати въ ней слышатся разумныя человѣческіе голоса, которые своей внутренней силой и правдой превозмогаютъ подавляющее большинство звѣриныхъ воплей. Какъ ни возмутительна оргія французской печати въ дѣлѣ Дрейфуса, голосъ правды, повидимому, беретъ верхъ. Благодаря французской печати были вскрыты уже не разъ величайшія политическія злоупотребленія, величайшія хищенія и преступленія, имѣвшія громадное общественное значеніе и которыя бы иначе оставались безнаказанными. Каковъ бы ни былъ упадокъ французской печати, уже одно это есть заслуга. Гласность возможна лишь тамъ, гдѣ есть печать, и печать есть условіе современнаго гражданскаго правопорядка и общественной жизни не только во Франціи, но во всѣхъ европейскихъ странахъ, гдѣ она функционируетъ болѣе правильно, чѣмъ во Франціи.

Печать есть чисто общественная сила и, отнимая у нея общественное значеніе, мы лишаемъ ее ея смысла. Это — сила большая, но безразличная сама по себѣ, поскольку она можетъ служить и добру и злу: съ неизбежнымъ зломъ можно мириться, когда есть добро, которое его покрываетъ. Но когда общественное значеніе печати упраздняется, когда печать обращается въ монополію „звѣрей пустыни“, то въ ней не можетъ быть ни добра, ни толка. Шакалы и коршуны существуютъ всюду, но нигдѣ изъ нихъ не дѣлаютъ заповѣдную дичь, и нигдѣ печать не обращается въ бѣловѣжскую пушу для привилегированныхъ животныхъ.

Положимъ, я лично — не охотникъ и нисколько не желаю тратить заряды на стрѣльбу по негодной дичи. Но, какъ человѣкъ порядка, я дорожу правомъ высказывать свое мнѣніе въ печати, дорожу имъ для себя лично, а еще болѣе для другихъ русскихъ благомыслящихъ людей, пользующихся общимъ заслуженнымъ уваженіемъ и голосъ которыхъ много значительнѣе моего голоса. Стѣсненія печати имѣли бы

весь свой смыслъ, если бы они дѣйствительно могли оградить ее отъ сплюснутыхъ и растлителей общественнаго мнѣнія.

Но разъ эти стѣсненія создаютъ имъ исключительное положеніе и мѣшаютъ пользоваться печатью для выраженія разумнаго человѣческаго слова и добросовѣстныхъ убѣжденій, ясно, что они нецѣлесообразны.

Вы понимаете, князь, что я говорю не только о принципѣ, а о цѣломъ рядѣ конкретныхъ вопросовъ, по которымъ всякіе литературные опричники могутъ говорить, что хотять, — когда люди порядки и чести, люди, дѣйствительно преданные Престолу и Отечеству, погружены въ молчаніе.

Вы говорите, что упраздненіе стѣсненій не сдѣлало бы людей... изъ дикихъ и домашнихъ животныхъ, съ чѣмъ я совершенно согласенъ. Но если вы думаете, что „ограниченіе цензурнаго произвола не дало бы возможности слышать въ печати человѣческіе голоса вмѣсто звѣриной какофоніи“, то смѣю васъ увѣрить, что вы ошибаетесь. Вы говорите, что „никакой Демосѣенъ не въ силахъ перекричать ни дикой кошки, ни домашняго осла, когда они находятъ публику, желающую ихъ слушать“. Но, во-первыхъ, я полагаю, что на ряду съ любителями звѣриной какофоніи у насъ существуетъ довольно значительная публика, которая была бы не прочь послушать и Демосѣена, или даже, если Демосѣена не найдется, такъ просто хорошій и здравый человѣческій голосъ. А во-вторыхъ, я думаю, что разумному человѣку нѣтъ надобности надсаживаться и кричать, чтобы покрыть голоса ословъ и кошекъ; это значило бы прибѣгать къ приемамъ нечеловѣческимъ, въ которыхъ животныя всегда будутъ имѣть преимущество. Сила человѣческаго слова должна быть въ разумѣ, а не въ крикѣ.

Я вѣрю въ силу разумнаго человѣческаго слова. Оно никогда не заглухнетъ и не умретъ; оно судить и свѣтить, и судъ его въ концѣ-концовъ всегда оправдывается, и приговоры его сбываются. Пагубно и опасно презирать это слово. Его сила — не въ томъ, что его говорятъ многіе, а въ томъ, наоборотъ, что его могутъ сказать и очень немногіе: въ концѣ-концовъ его услышать всѣ... И сколько бы ни кричали звѣри, крикъ ихъ обратится въ ничто, а слово оправдаетъ себя поздно или рано и покроетъ звѣринные голоса. Поэтому сами по себѣ эти голоса меня нисколько не тревожатъ. Меня страшитъ презрѣніе къ человѣческому слову.

Вы не вѣрите въ силу этого слова — отчасти, можетъ быть, по опыту, какъ бывшій редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“, а глав-

нымъ образомъ какъ мыслитель-пессимистъ, во многомъ склоняющійся къ философіи безсознательнаго. Но позвольте мнѣ сказать вамъ, что и опытъ вашъ недостаточенъ для обобщенія, и теорія, изъ которой вы, повидимому, исходите, сомнительная сама по себѣ, едва ли правильно вами толкуется: она нигдѣ не учитъ насъ возводить животную безсознательную силу въ нѣчто нормальное; наоборотъ, она призываетъ насъ бороться съ нею посредствомъ зрячаго, сознательнаго разума. Есть люди, которые склонны относиться къ дѣятелямъ нашей воинствующей и вмѣстѣ торжествующей печати съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ за то, что они, проповѣдуя всеобщее опустошеніе, высоко развѣвajúтъ бѣлое знамя и, ругаясь надъ правдой, кричатъ „не имамы царя токмо кесаря!“ Въ моихъ глазахъ это только отягчающее обстоятельство. Да и вы, князь, едва ли впадете въ ошибку Пилата: лучше меня вы знаете, какую цѣну имѣютъ эти клики въ устахъ этихъ людей; лучше меня вы знаете, что знамя для нихъ безразлично: сегодня оно бѣлое, завтра — такое же красное, какъ и вчера.

Вы спрашиваете меня: что сдѣлать для того, чтобы поднять уровень нашей печати, чтобы заставить ее служить общему благу? Заставлять нельзя и не нужно: надо не мѣшать. Прежде всего не устраняйте отъ печати честныхъ людей, хотя бы мнѣнія ихъ и расходились съ вашими. Не создавайте монополіи для мнѣній и убѣжденій, — въ особенности для тѣхъ, которыми вы дорожите, — иначе ихъ втопчатъ въ грязь тѣ презрѣнные, продажные публицисты, которые начнутъ эксплуатировать ихъ въ свою пользу. Разъ вы миритесь со зломъ, которое приносить наша печать, дайте ей возможность принести и все то добро, которое она можетъ принести посредствомъ обмѣна мнѣній, посредствомъ гласности, посредствомъ всесторонняго освѣщенія дѣйствительныхъ жизненныхъ интересовъ русскаго общества. Вѣрьте, что это русское общество состоитъ не изъ однихъ звѣрей и любителей звѣриныхъ пѣсень и что среди публицистовъ нашихъ есть не мало „мужей совѣта“, — почтенныхъ, честныхъ и просвѣщенныхъ людей, которые служатъ не интересамъ, не лицамъ, а принципамъ. Дайте имъ высказаться!

Кн. С. Н. Трубецкой.

1899 г. 3 мая.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

«Второй отвѣтъ князю Цертелеву».

О свободѣ печати и возможныхъ злоупотребленіяхъ ею можно сказать много умныхъ и хорошихъ вещей; но въ настоящее время академическія разсужденія о семъ предметѣ представляются едва ли своевременными. Недавно на столбцахъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ мы читали письмо одного изъ многихъ труженниковъ провинціальной печати, который жаловался, что ему не позволять называть по имени волостного писаря, обижающаго сельскую учительницу, не позволять говорить о лавочникахъ, у которыхъ губернаторы забираютъ провизію и о неисправности почты, которая возитъ корреспонденцію со скоростью 40 верстъ въ мѣсяцъ. Согласитесь, что при такихъ условіяхъ рано опасаться злоупотребленій свободою слова. Когда голодный проситъ хлѣба, рано говорить о томъ, какія разстройства пищеваренія бываютъ отъ трюфелей и заграничныхъ паштетовъ. Вы говорите, что я ошибочно приписываю вамъ пессимистическій взглядъ на нашу печать. По вашему мнѣнію ее можно поднять, но не посредствомъ свободы, а посредствомъ установленія болѣе строгой отвѣтственности для редакторовъ и посредствомъ учрежденія особыхъ дипломовъ для нашихъ публицистовъ. Но, по-моему, первая мѣра, взятая въ отдѣльности, поведетъ развѣ къ усугубленію сервиліума нашей печати; а вторая, — признаться, я ее не понялъ и жду чтобы вы ее объяснили: какой будете вы устанавливать умственный и нравственный цензъ для нашихъ газетчиковъ, какъ будете вы свидѣтельствовать и дипломировать ихъ добросовѣстность, какіе такіе дипломы вы будете имъ выдавать? Во всякомъ случаѣ это проектъ оригинальный и на Западѣ еще неслышанный! Нѣчто подобное существуетъ въ Китаѣ, но для мандариновъ, а не для публицистовъ. Повторяю, боюсь, что я васъ не понялъ и заранѣе извиняюсь, если я превратно толкую вашу мысль.

На Западѣ существуетъ опытъ — закономѣрная свобода печати, и объ этомъ опытѣ нельзя говорить, какъ о чемъ-то неизвѣданномъ. Скажите на милость, какое худо вытекаетъ изъ этой свободы въ Англіи или въ Германіи. Вы вдаетесь въ разсужденія нѣсколько отвлеченнаго свойства и доказываете, что нельзя предоставить каждому кричать по произволу: „держи“, или „караулъ“, что иногда лучше нападать на ближняго, чѣмъ кричать такіа слова и т. д. Но почему я не могу кричать „держи“ и „караулъ“, когда на моихъ

глазах деруть моего ближняго? — вотъ вопросъ... Въ чемъ тутъ опасность общественная? Еще Катковъ говорилъ, что конституція русскаго гражданина состоятъ въ правѣ и обязанности кричать „карауль“, а вы хотите лишить насъ и этого права! Но каково бы ни было наше съ вами мнѣніе о пользѣ или вредѣ подобныхъ криковъ, мы должны признать, что вся публицистика, ведущая свое начало отъ Каткова, есть лишь одно сплошное „карауль“ и „держи“: „карауль“ центръ и окраины, „карауль“ и земство, и земская школа, „карауль“ и судъ, „карауль“ университеты, „карауль“ русское общество. Хорошо это или дурно, мы только это и слышимъ, и едва ли свобода печати въ этомъ виновата.

Всякую мысль нужно додумать до конца, и не надо останавливаться на полумысляхъ. Что такое печать, какъ не органъ общественной мысли, общественнаго мнѣнія? Поэтому если мы хотимъ правильно поставить вопросъ о печати и договориться до чего-нибудь опредѣленнаго, надо выяснять, какъ мы смотримъ на общество вообще, на его значеніе и назначеніе въ государствѣ, на его права и обязанности.

Каково отношеніе къ обществу, съ которымъ чаще всего приходится встрѣчаться, какъ со стороны большинства бюрократовъ, такъ и со стороны публицистовъ, примыкающихъ къ господствующимъ теченіямъ? Презрѣніе къ обществу, подозрѣніе къ обществу, затаенная или явная вражда къ русскому обществу... Есть рядъ публицистовъ и бюрократовъ, которые въ своемъ непонятномъ ослѣпленіи видятъ въ обществѣ не самый прочный изъ даровъ нормальной государственной жизни, а нѣчто не только излишнее, но даже вредное и подлежащее упраздненію. Эта мысль въ столь нелѣпой формѣ, понятно, никѣмъ не высказывается, ибо достаточно высказать ее, чтобы убѣдиться немедленно въ ея абсурдѣ: можетъ ли государство признать себя врагомъ общества, или, наоборотъ, признать въ обществѣ своего внутренняго врага? И, однако, эта безумная, нелѣпая вражда къ обществу служить скрытымъ лозунгомъ для многихъ дѣятелей „нашихъ дней“: они говорятъ, правда, что ненавидятъ не общество, а только его общественныя учрежденія; но что это, какъ не самый грубый и пошлый софизмъ?

Есть наивные люди, которые въ самомъ дѣлѣ думаютъ, что государство можетъ обойтись безъ общества и безъ службы общества, что наоборотъ, общество только служить ему помѣхой. Съ такой точки зрѣнія задача патріота должна состоятъ въ упорной и постоянной борьбѣ противъ общества, въ стремленіи къ возможно

большей дезорганизации, въ разложеніи общества и въ подавленіи всякой его самостоятельности. Общество мерещится такому патріоту какимъ-то противогосударственнымъ союзомъ и всѣ проявленія общественности кажутся ему преступными посягательствами, которыя должны быть растоптаны въ самомъ зачаткѣ, разбиты о камень, подобно младенцамъ вавилонскимъ. Нужно раздробить общество на его мельчайшіе атомы, нужно обратить его въ сумму отдѣльныхъ безсвязныхъ единицъ — отдѣльныхъ обывателей государства. Съ такой точки зрѣнія независимая печать есть само по себѣ уже зло, потому что зломъ признается всякая самостоятельная общественная сила.

Я считаю такое воззрѣніе революціоннымъ и разрушительнымъ. И оно тѣмъ опаснѣе, чѣмъ оно искреннѣе и безсознательнѣе. Я не говорю о томъ глубокомъ вредѣ, какой приноситъ оно русскому обществу, о томъ, какъ оно развращаетъ и унижаетъ, парализуетъ лучшія его силы. Проводимое съ безсознательной послѣдовательностью навязчивой идеи, это воззрѣніе съѣтъ общую вражду и смуту. Оно ссоритъ правительство съ обществомъ, оно подрываетъ самыя крѣпкія традиціонныя основы порядка и разрушаетъ тотъ глубоко консервативный укладъ русской общественной жизни, который оставался неизблѣмъ доселѣ, несмотря на всѣ потрясенія.

Постороннему наблюдателю, который прислушивается къ современнымъ толкамъ о земствѣ, земской школѣ, о судѣ, о высшемъ образованіи, о печати, о всемъ, что касается жизненныхъ интересовъ русскаго общества, кажется минутами, что онъ имѣетъ дѣло съ сознательными агитаторами и революціонерами. Не можетъ быть чтобы люди, стремящіеся навязать государству противообщественныя цѣли и тенденціи, не сознавали, что они подкапываются подъ устои государственнаго порядка. Не можетъ быть чтобы люди, попирающіе все, что дорого русскому обществу, что достигнуто съ такимъ трудомъ и такъ поздно, не стремились сознательно сѣять смуту, не можетъ быть, чтобы все это было лишь ослѣпленіемъ! А между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, сколько тутъ ослѣпленія! Должно ли существовать общество? Должно ли оно жить, развиваться, нести службу царю и государству? Казалось бы и вопроса быть не можетъ, а между тѣмъ его приходится ставить совершенно серьезно и требовать на него такого отвѣта, который былъ бы въ одно и то же время и разумнымъ и честнымъ. Когда намъ говорятъ, что общество должно существовать, но съ тѣмъ, чтобы не имѣть возможности проявлять свою жизнь и выражать свое мнѣніе; когда намъ говорятъ, что оно должно развиваться, но съ тѣмъ, чтобы

всѣ общественныя учрежденія упразднялись одно за другимъ; когда, наконецъ, намъ говорятъ, что оно можетъ служить лишь въ качествѣ источника доходовъ казны или въ качествѣ слѣпago пассивнаго орудія въ рукахъ чиновничества — то такой отвѣтъ нельзя назвать ни разумнымъ, ни честнымъ. Честнѣе было бы сказать, что общество подлежитъ упраздненію. Но ни у кого не хватаетъ духа высказать явный абсурдъ, не замаскировавъ его сѣтью лжи и софизмовъ. Современное государство, — каковъ бы ни былъ его политическій строй, — нуждается въ развитой общественности для того, чтобы справляться съ безконечно усложняющимися задачами культурной жизни. Въ наши дни одного стихійнаго патріотизма недостаточно и во время войны, а тѣмъ болѣе во время мира. Недостаточны отдѣльные просвѣщенные дѣятели, отдѣльные образованные чиновники, — нужно развитое просвѣщенное общество. Оно составляетъ потребность современнаго государства, а тамъ, гдѣ такая потребность не получаетъ должнаго удовлетворенія, государство идетъ къ неизбѣжному упадку.

Переносъ на бюрократію естественныя функціи общества, мы вызываемъ атрофію мѣстной жизни и роняемъ значеніе самой бюрократіи, которая все равно не въ силахъ замѣнить собою общество.

Убивая общественную самостоятельность, мы обращаемъ въ трущ самый организмъ государства. Тормозя свободное развитіе общественной мысли, мы развиваемъ нездоровое броженіе умовъ. Разбивая общество на его атомы, обращая его въ пыль, мы рискуемъ тѣмъ, что эта пыль при первой же грозѣ обратится въ грязь, въ которой потонетъ бюрократическая машина.

На какихъ простыхъ, очевидныхъ истинахъ приходится настаивать! Приходится убѣждать и доказывать, что не развращеніе, не разложеніе общества, а, наоборотъ, его созиданіе, его организація составляетъ задачу истиннаго патріотизма и дѣйствительной политической мудрости. Недостаточно охранять государство: приходится, въ наши дни, охранять и общество отъ безумныхъ посягательствъ мнимыхъ консерваторовъ.

Немного широты во взглядѣ, немного болѣе политическаго смысла желали бы мы нашимъ публицистамъ-бюрократамъ! Если бы только поняли они, что государство не можетъ стоять ни на развалинахъ общества ни на пескѣ пустыни! Если бы только сознали они ту глубокую, зияющую и вмѣстѣ охранительную силу, которая таится въ обществѣ! Они не слушаются уроковъ исторіи и, вмѣсто исторіи дѣйствительной, — создаютъ себѣ, съ легкостью кан-

целярскихъ проектовъ — исторію вымышленную. Они искажаютъ элементарныя понятія государственнаго права, извращаютъ смыслъ простыхъ общепонятныхъ словъ въ угоду вреднымъ, противообщественнымъ стремленіямъ. Другіе дѣлаютъ еще хуже и, думая разрѣшить основные, общественные вопросы путемъ простаго коммерческаго разсчета, мѣряютъ на цѣлковый государственные и общественные интересы... Пора вспомнить, наконецъ, что не бюрократія создала крѣпкое, самодержавное русское царство, а народно-общественныя силы; пора вспомнить, что царство это такъ крѣпко и прочно именно потому, что основаніе его такъ широко.

Нашимъ публицистамъ-бюрократамъ кажется, что пирамида государства російскаго будетъ стоять прочно только тогда, когда она перевернется окончательно и, вмѣсто того, чтобы покоиться на своемъ естественномъ основаніи, утвердится на своей вершинѣ, при помощи безчисленныхъ бюрократическихъ подпорокъ. Неужели же это называется консерватизмомъ? Когда же, наконецъ, у нашихъ слѣпорожденныхъ откроются глаза, хотя бы настолько, чтобы имѣть возможность сказать вмѣстѣ съ евангельскимъ слѣпорожденнымъ: „вижу человѣка яко древіе ходяща!“

Кн. С. Н. Трубецкой.

Троицкое.
1899 г. 10 іюня.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“).

Дѣло Дрейфуса и французскіе генералы.

Русскимъ публицистамъ, за отсутствіемъ другого содержанія, слишкомъ много приходится говорить о дѣлѣ Дрейфуса. Но разъ другого содержанія не имѣется, поговоримъ и объ этомъ злополучномъ дѣлѣ, столь волнующемъ нашихъ друзей французовъ; поговоримъ объ Анри, Пати, Эстергази, о Чортовомъ островѣ и о французскихъ генералахъ. Отчего не поговорить?

Странные люди французскіе министры и генералы! Прежде всего поражаетъ то, что они раздѣлились на партіи, грызутся между собой, интригуютъ другъ противъ друга, подставляютъ другъ другу ногу, только и думаютъ, какъ бы высадить одинъ другого; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ извѣстныя минуты и, именно, тогда, когда не слѣдовало бы, между ними проявляется необычайная солидарность. Если кто-нибудь, не только посторонній партикулярный писа-

тель, — скажем Зола, — а даже официальный представитель власти — скажем Пикарь — задумаетъ „пролить свѣтъ“ на злоупотребленіе и произволъ правительственныхъ органовъ, генералы и министры тотчасъ же соединятся, чтобы забросать грязью и потопить дерзкаго обличителя. Если онъ поставленъ высоко, его объявляютъ выжившимъ изъ ума или приписываютъ его дѣйствія стороннимъ зловреднымъ интригамъ; если онъ мелкая сошка — онъ объявляется измѣнникомъ и неблагонадежнымъ.

Это странное и возмутительное явленіе наблюдается, если не ошибаемся, только во Франціи. Повидимому, страна гласности и свободы, а между тѣмъ, кажется, только тамъ министры и генералы страдаютъ свѣтобоязнью. Французскіе генералы боятся гласности больше чѣмъ нѣмцевъ и пугаютъ нѣмецкимъ нашествіемъ тѣхъ, кто требуетъ гласности. Въ ихъ глазахъ разслѣдованіе, правосудіе, справедливая кара истинныхъ виновниковъ и возстановленіе правъ невиннаго — есть признакъ слабости и можетъ вести къ упадку дисциплины, уронить престижъ власти. „Мы сами знаемъ, — говорятъ они, — кто истинный виновникъ всего этого; мы сами дѣлали разслѣдованіе, мы имѣемъ развѣдочное бюро“. При этомъ, они упускаютъ изъ виду, что, именнно, „они сами“ и ихъ „развѣдочное бюро“ подвергаются самому тяжкому обвиненію, требующему разслѣдованія. Но генералы, понятно, не хотятъ объ этомъ слышать и считаютъ, что гласность можно замѣнить штатомъ шпионовъ и военно-полицейскихъ агентовъ, въ родѣ Анри, изъ выслужившихся унтеровъ. Подъ усиленной охраной развѣдочнаго бюро, Франція должна пользоваться безмятежнымъ миромъ, а французскіе генералы — обдѣлывать свои дѣла и готовить „господство сабли“.

Казалось бы, ясно, что нельзя поддержать дисциплины страданіемъ за вѣдомо невиннаго и безнаказанностью преступныхъ офицеровъ. Казалось бы, ясно, что престижъ власти ничего не выиграетъ отъ страха передъ свѣтомъ и правосудіемъ, отъ лжи, отъ наслія надъ случайными жертвами. Но французскіе генералы полагаютъ, что, разъ общественное мнѣніе требуетъ справедливости, то, справедливость будетъ уступкой общественному мнѣнію и уронитъ власть. И вотъ они, запугиваютъ правящія сферы тѣми неаппетитными слухами, которые сообщаютъ имъ ихъ же шпионы, эксплуатирующіе общественную смуту. О если бы только французскіе генералы болѣе вѣрили честнымъ французамъ, чѣмъ французскимъ шпионамъ!

Казалось бы, они лучше всѣхъ должны знать, какую цѣну имѣютъ агенты, въ родѣ Анри, Пати, Эстергази и другіе, имъ по-

добные люди съ прожженою совѣстью, закаленные въ преступленіяхъ, живущіе подлогомъ, клеветой и доносомъ, люди, которые сами способны организовать заговоръ, составить шайку, снабдить ее средствами, снарядами, типографіей, чтобы затѣмъ продать ее въ тотъ моментъ, когда это будетъ выгодно имъ самимъ или „начальнику развѣдочнаго бюро!“ Въдь отъ времени до времени самимъ французскимъ генераламъ дѣлается жутко отъ его дѣятельности, и иные министры даже задумываются, не освѣжить ли составъ развѣдочнаго бюро, или не прикрыть ли его вовсе? Тутъ то „бюро“ и пускаетъ въ ходъ всѣ свои средства; тутъ они организуютъ и открываютъ заговоры, которыми министерство внутреннихъ дѣлъ, съ какимъ-нибудь Дюпюи во главѣ, пугаетъ прочихъ министровъ и главу государства — все равно Фора или Лубэ; тутъ „бюро“ фабрикуетъ документы и отправляетъ мнимыхъ измѣнниковъ куда Макарь телятъ не гонялъ, — я разумѣю, конечно, Чортовъ островъ.

И всѣ убѣждаются въ усердіи бюро, въ его пользѣ и необходимости; въ распоряженіе его ассигнуются громадныя суммы: этого ему только и нужно. И наивная публика, видящая, какъ успѣшно бюро ловить измѣну, имъ самимъ плодимуую, рукоплещетъ и кричатъ: „vive la France, vive Estergazy!“ Всѣ удивляются, даже генералы, близкіе къ дѣлу: вначалѣ имъ было ясно, что бюро лжетъ, и они только покрывали его ложь, а затѣмъ стало выходить такъ, какъ говорило бюро, — оно предсказывало смуту и смута настала, потому что бюро болѣе всего ее и плодило; оно предсказывало, что нажити Франціи поростутъ плевелами и плевелы выросли, потому что бюро не только ихъ полело, но мѣстами даже подсаживало, вырывая пшеницу. А Дюпюи и его предшественники смотрѣли, пускай себѣ подсаживаютъ: Дюпюи, подобно Фуше, любилъ имѣть всегда un petit complot en réserve, чтобы, когда нужно, удержаться на своемъ посту.

Да, странные порядки во Франціи! И что ожидаетъ подростающее поколѣніе французской молодежи, — теперешнихъ воспитанниковъ нормальной школы, Сорбонны или сенсирскаго училища? Многіе отечественные туристы спрашиваютъ себя уже теперь, увидятъ ли они парижскую выставку: чего добраго, обвинять въ измѣнѣ и отправятъ куда-нибудь столь же далеко, какъ бывшаго капитана Дрейфуса. А то, вдругъ, генералы, убѣдившись въ своей полной безнаказанности, начнутъ стрѣлять по честнымъ французамъ по манію какого-нибудь орлеанскаго принца! И это на порогѣ XX вѣка,

когда у насъ въ Россіи уничтожается ссылка и когда въ Гаагѣ засѣдаетъ конгрессъ, долженствующій открыть собой эру всеобщаго мира!

Помѣщикъ.

(Кн. С. Н. Трубецкой.)

Троицкое, 1899 г. 22 іюня.

(„С.Петербургскія Вѣдомости“.)

Существуетъ ли общество?

(Отвѣтъ кн. Цертелеву.)

Въ третій разъ вы обращаетесь ко мнѣ печатно. Я чрезвычайно радъ спорить именно съ вами, такъ какъ болѣе искренняго и почтеннаго защитника представляемаго вами направленія я не могъ бы указать. Я надѣюсь найти общую почву для спора съ вами. Но, къ сожалѣнію, я вижу, что послѣ каждаго вашего письма я понимаю васъ все меньше и меньше. На основаніи перваго вашего письма я заключилъ, что вы просто не вѣрите въ значеніе и пользу печати и считаете настоящій упадокъ ея нормальнымъ состояніемъ, оправдывающимъ всѣ тѣ мѣры, которыя, по-моему, обуславливаютъ ея одичаніе. Во второмъ письмѣ вы заявляете, что я васъ не понялъ и что вы — не сторонникъ цензурнаго производа. Съ меня было бы достаточно, — но вы тутъ же стали говорить о необходимости установленія умственнаго и нравственнаго ценза для нашихъ газетчиковъ и спрашивали, почему отъ аптекаря, фельдшера или землемѣра требуются соответствующіе дипломы, а отъ газетчика такого диплома не требуется. Отсюда я заключилъ, — какъ вижу, слишкомъ поспѣшно, — что вы хотите установить дипломъ на званіе публициста, точно такъ же, какъ изъ вашихъ сѣтованій на безотвѣтственность фактическихъ редакторовъ иныхъ изданій, я заключилъ, что вы желаете установленія для нихъ дѣйствительной и сугубой отвѣтственности. Но вотъ изъ третьяго вашего письма я усматриваю, что вы отказываетесь отъ того и отъ другого. Чего же вы собственно хотите? Этого ни я не понимаю, да и никто изъ нашихъ читателей не пойметъ, пока вы не выскажетесь опредѣленно. Цензурный произволъ вамъ не нравится, и упраздненіе его вамъ не нравится. Вы намекаете на какія-то особенныя, вамъ извѣстныя средства; но послѣ неудачныхъ попытокъ я отказываюсь ихъ угадывать. Приглашая меня къ академическому спору, вамъ бы слѣдовало высказать ваши положенія

столь же категорично, какъ я высказываю свои, — тѣмъ болѣе, что съ моими вы совершенно не согласны.

Я могъ бы оставить за вами послѣднее слово въ нашемъ спорѣ, такъ какъ никакихъ новыхъ возраженій по поводу моихъ взглядовъ о печати вы мнѣ не дѣлаете, — неизвѣстно для чего уподобляя цензуру суконнымъ панталонамъ, не имѣющимъ къ печати никакого отношенія. Но вы обвиняете меня въ злоупотребленіи понятіемъ объ обществѣ и требуете отъ меня категорическаго отвѣта на вопросъ, что я подъ обществомъ разумѣю.

Я высказалъ два положенія, казавшіяся мнѣ ясными и безспорными. Во-первыхъ то, что печать, какъ таковая, есть органъ общественнаго мнѣнія, а во-вторыхъ то, что въ нѣкоторыхъ весьма вліятельныхъ литературныхъ и нелитературныхъ сферахъ у насъ господствуетъ подозрительное и враждебное отношеніе къ русскому обществу и крупнѣйшимъ общественнымъ учрежденіямъ, и что этой же враждою и подозрѣніемъ опредѣляется отношеніе названныхъ мною сферъ къ печати. Кажется — ясно, опредѣленно, и вдобавокъ, вѣрно? Но вы неожиданно спрашиваете меня, о какомъ такомъ обществѣ я говорю: объ обществѣ Краснаго Креста, о Союзѣ писателей или обществѣ покровительства животнымъ? Говоря о церкви, о государствѣ, объ опредѣленныхъ союзахъ, мы имѣемъ дѣло съ ясными и опредѣленными понятіями; но, что такое „общество вообще“, — спрашиваете вы — „общество, не имѣющее никакихъ опредѣленныхъ функций и цѣлей“ и гдѣ „тѣ признаки, которыми оно отличается отъ государства, отъ народа и человечества?“ По-вашему, только у социалистовъ есть опредѣленное понятіе объ обществѣ, но у нихъ оно есть лишь „государство, взятое съ другого конца“ (?).

Съ моей стороны, было бы слишкомъ смѣло преподавать вамъ начатки государственнаго права; еще смѣлѣе было бы выступать съ своимъ собственнымъ соціологическимъ ученіемъ. Въ виду этого, позвольте обратить васъ къ общимъ руководствамъ, напримѣръ, къ Л. Штейну (*Gesellschafts lehre*), къ Р. Молю или къ „Курсу государственной науки“ Б. Н. Чичерина, который посвящаетъ весь II т. своего прекраснаго труда ученію объ обществѣ въ его отношеніяхъ къ государству. Вы скажете, что названные ученые не вполнѣ согласны между собою, а что новѣйшіе соціологи радикально расходятся съ ними въ своемъ ученіи объ обществѣ. Но что же отсюда слѣдуетъ? Развѣ изъ этого, что юристы не стояли до сихъ поръ въ опредѣленіи права, а моралисты въ

опредѣленіи нравственности, слѣдуетъ, что права и нравственность не существуетъ? Развѣ изъ того, что юристы и экономисты радикально расходятся въ своихъ ученіяхъ о собственности и государствѣ, слѣдуетъ, что понятія собственности и государства относятся къ мнимымъ величинамъ? Точно такъ же изъ споровъ соціологовъ о природѣ общества и его нормальномъ отношеніи къ государству рисковано было бы заключать, что общества не существуетъ. Въ особенности если мы оставимъ споры объ идеальныхъ нормахъ и обратимся къ фактамъ, то едва ли намъ трудно будетъ отличить гражданское общество отъ государства или отъ народа, который служить матеріаломъ какъ для государственнаго такъ и для общественнаго союза.

Несомнѣнно, что въ оба союза входятъ одни и тѣ же лица. Но, входя въ составъ государства, граждане не перестаютъ состоять въ многообразныхъ частныхъ отношеніяхъ между собою, — отношеніяхъ юридическихъ, экономическихъ, умственныхъ и нравственныхъ, совокупность которыхъ и образуетъ между ними общественную связь, отличную отъ государственной. Граждане составляютъ группы, объединенныя частными или мѣстными интересами, и вступаютъ въ частные союзы между собою, — при чемъ такія мѣстныя группы и частные союзы, подчиняясь высшему цѣлому государства, тѣмъ не менѣе отличаются отъ него, хотя и находятся съ нимъ въ живомъ и постоянномъ взаимодействіи. Подчиняясь государству, гражданинъ остается свободнымъ лицомъ и, по мѣрѣ степени своей личной и гражданской свободы, вступаетъ въ сношенія и союзы съ другими лицами для своихъ частныхъ цѣлей или цѣлей, хотя бы и общихъ, но отличныхъ отъ цѣлей чисто-государственныхъ. Совокупность частныхъ отношеній между людьми, подчиняющимися общей политической власти, и составляетъ общество даннаго государства, или „гражданское общество“.

Что граница между публичнымъ и частнымъ правомъ можетъ проводиться различнымъ образомъ, что отношенія между обществомъ и государствомъ могутъ опредѣляться различнымъ образомъ и въ теоріи и на практикѣ, — объ этомъ никто не споритъ. Но все-таки, — какъ бы ни была ограничена свобода личная и общественная, какъ бы ни была слаба организація общественныхъ союзовъ, — общество существуетъ во всякомъ государствѣ. Въ соціологию мы съ вами вдаваться не будемъ и даже, если позволите, не станемъ искать какихъ-либо исчерпывающихъ опредѣленій, которыя могутъ быть лишь результатомъ разработаннаго полити-

ческаго ученія. Для нашихъ цѣлей достаточно и элементарнаго опредѣленія общества, въ отличіе отъ государства, какъ совокупности всѣхъ мѣстныхъ и частныхъ союзовъ, въ которые граждане вступаютъ между собою въ области хозяйственной, нравственной, религіозной (а тамъ, гдѣ существуетъ политическая свобода, — и въ области политической).

И вотъ я утверждаю, что къ совокупности всѣхъ этихъ частныхъ союзовъ гражданъ между собою въ области хозяйственной, умственной, нравственной и религіозной „наши бюрократы и публицисты, примыкающіе къ господствующимъ теченіямъ“, относятся съ явнымъ подозрѣніемъ и враждою: они желали бы либо вовсе упразднить такіе союзы, приписывая имъ чуждыя имъ политическія цѣли, либо же, — тамъ, гдѣ это невозможно, — убить въ нихъ всякую частную и общественную инициативу и обратить ихъ въ казенныя учрежденія. Вы скажете, что это — абсурдъ, и я съ вами согласенъ. Но это — фактъ, и его нетрудно доказать.

Начнемъ съ области религіозной — съ церкви, какъ „общества вѣрующихъ“, и обратимся къ свидѣтельству судей, компетентность которыхъ никто въ этомъ дѣлѣ отрицать не станетъ (я разумѣю славянофиловъ и И. С. Аксакова, который въ теченіе всей своей дѣятельности обличалъ съ такою горячностью стремленія, направленные къ обращенію церкви въ казенное учрежденіе; и онъ же, съ неменьшею силою, боролся съ нетерпимостью, требовавшей преслѣдованія всѣхъ религіозно-общественныхъ союзовъ, стоящихъ внѣ государственной церкви). Переходя къ области умственной и нравственной, мы не будемъ касаться общественнаго мнѣнія и печати — объ этомъ мы уже достаточно говорили, да и вы не отрицаете фактовъ. Можно было бы поговорить объ ученыхъ обществахъ, — напр. о юридическомъ, психологическомъ или другихъ, не слишкомъ специальныхъ и затрогивающихъ широкій общественный интересъ. Думаю, однако, что теперь, послѣ „отданія“ Пушкинскаго праздника, намъ не стоитъ объ этомъ распространяться. Въ лучшемъ положеніи находятся общества спортивные и благотворительныя, — въ особенности тѣ, которыя имѣютъ характеръ официальныхъ учреждений (напр. Красный Крестъ) или же чрезвычайно узкія и ограниченныя задачи (напр. общество покровительства животнымъ). Но что широкій общественный починъ въ дѣлѣ благотворительности возбуждаетъ недовѣріе, подозрѣніе и вражду, это мы видѣли не разъ въ голодные годы: вспомните хотя бы недавнія возмутительныя выходки нѣкоторыхъ газетъ, усматривавшихъ

чуть ли не революціонную агитацію въ дѣлѣ общественнаго милосердія. Наконецъ, обращаюсь къ хозяйственной сферѣ, — къ сферѣ общественнаго самоуправленія... До сихъ поръ я ни слова не говорилъ о присутствующихъ: теперь позвольте упомянуть и о нихъ, т.-е. и о васъ въ числѣ вашихъ единомышленниковъ и напомнить вамъ травлю на земскія учрежденія, — травлю, въ которой и вы принимаете посильное участіе, возставая не противъ отдѣльныхъ недочетовъ и злоупотребленій, а противъ самаго принципа общественнаго хозяйства.

Да что земство? Самыя сословно-общественныя учрежденія, само дворянство испытываетъ общую участь, и тѣ, кто всего громче требуютъ подачекъ для отдѣльныхъ промѣтавшихся помѣщиковъ, не хотятъ слышать объ упадкѣ общественнаго значенія дворянства, которому паденіе земства нанесло бы новый и тяжелый нравственный ударъ. Самый призракъ уцѣлѣвшей дворянской организаціи возбуждаетъ подозрѣніе иныхъ ревнителей, — какъ мы видѣли это еще недавно въ весьма характерной газетной полемикѣ по поводу послѣднихъ орловскихъ выборовъ.

Итакъ, мнѣ кажется, я могу поддерживать мой тезисъ. Отношеніе къ обществу со стороны большинства нашихъ бюрократовъ и публицистовъ, къ нимъ примыкающихъ, определено мною вѣрно. И я полагаю, что справедлива и моя оцѣнка этого отношенія, которое нельзя не признать пагубнымъ не только для общества, но и для государства, нуждающагося въ просвѣщенномъ, организованномъ и жизнеспособномъ обществѣ, какъ источникѣ своихъ умственныхъ и нравственныхъ силъ и своего богатства.

Надѣюсь, я теперь исполнилъ ваши требованія. Въ предыдущихъ моихъ письмахъ я сказалъ вамъ, чего я хочу для нашей печати, а въ настоящемъ моемъ письмѣ я отвѣтилъ на вашъ вопросъ о томъ, что я разумѣю подъ обществомъ и какія противообщественныя стремленія я имѣю въ виду. Вы замѣчаете довольно ѣдко, что я самъ уподобляюсь тому полупрозрачному слѣпоту, который видѣлъ „человѣки, яко древіе ходяща“. Вы находите предпочтительной полную слѣпоту, при которой не только отдѣльныхъ „человѣкъ“, даже и цѣлаго общества не видно... Но не умыться ли намъ съ вами въ купели Силоамской, чтобы поправить окончательно наше зрѣніе и положить конецъ нашему спору?

Кн. С. Трубецкой.

Троицкое, 1899 г. 9 августа.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Къ современному политическому положенію.

Снова Европа охвачена однимъ общимъ единодушнымъ и горячимъ чувствомъ, однимъ общественнымъ движеніемъ. То же было во время армянской рѣзни, то же было и въ отвѣтъ на мирный призывъ нашего Государя. Въ настоящую минуту англо-трансваальская война сильнѣе чѣмъ когда-либо захватываетъ общій интересъ, соединяетъ всѣ народы континентальной Европы въ одномъ скорбномъ и негодующемъ протестѣ противъ вопіющаго злодѣянія, совершаемаго Великобританіей надъ маленькимъ геройскимъ народомъ, подвиги котораго достойны стать на ряду съ самыми славными и доблестными въ исторіи. Въ среднеевропейскихъ государствахъ говорить и чувство вполне законнаго личнаго интереса. Осуществленіе мечтаній англійскаго имперіализма въ Африкѣ, подчиненіе всего чернаго материка отъ Египта до Капштата — если не полному господству, то, во всякомъ случаѣ, безспорному преобладанію Англій — представляется дѣломъ недалекаго будущаго. Солсбери былъ правъ, говоря, что результаты настоящей войны во всемъ ея значеніи для Англій и для Европы выяснятся вполне лишь черезъ нѣсколько десятилѣтій и что цѣль, преслѣдуемая его кабинетомъ, оправдываетъ усилія англійскаго народа и тѣ громадныя жертвы, которыя онъ приноситъ въ настоящее время. Это не можетъ не чувствоваться во Франціи, которая не забудетъ Фашоду, и въ Германіи, африканская политика которой будетъ обречена на полное ничтожество побѣдами Англій.

И тѣмъ не менѣе, несмотря на единодушное общее сознаніе и на многочисленные голоса, со всѣхъ сторонъ взывающіе къ энергическому, дѣятельному вмѣшательству державъ, ни одна изъ нихъ не выходитъ изъ пассивнаго бездѣйствія. Государственные дѣятели и англійская печать заявляютъ съ полнымъ правомъ, что, несмотря на всеобщую ненависть или всеобщее негодованіе, Англія можетъ быть покойна: при современномъ политическомъ положеніи никто не рѣшится протянуть руку помощи бурамъ изъ опасенія вызвать общій пожаръ.

Англійскіе журналисты увѣряютъ, что Франція легко могла бы произвести высадку войскъ на нѣкоторые невооруженные пункты британскихъ береговъ и въ нѣсколько дней, безъ труда, овладѣть беззащитнымъ Лондономъ. Но можетъ ли она рѣшиться на подобный шагъ, имѣя въ тылу Германію, которая никогда не допуститъ

ея побѣды? Германія въ одиночку не можетъ вступить въ состязаніе съ англійскимъ флотомъ и, въ сознаніи своего безсилія, тратитъ колоссальныя средства на созданіе новаго флота, который все-таки всегда будетъ слабѣе англійскаго. Россія не можетъ съ мягкимъ сердцемъ двинуться на Индію, какъ это совѣтуютъ ей нѣкоторые патріоты, плохо знакомые съ географіей, и съ нашимъ военнымъ и политическимъ положеніемъ въ Азіи. Создать теперь же серіозныя осложненія на Дальнемъ Востокѣ, потерять тысячи жизней въ опасномъ и трудномъ походѣ съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ успѣха заставить Англію всѣмъ союзу съ Германіей на какихъ бы то ни было условіяхъ — все это едва ли входитъ въ наши расчеты.

И, такимъ образомъ, великія державы обречены на бездѣйствіе, несмотря на нравственныя и политическія интересы европейскихъ народовъ. Страхъ „общаго пожара“ заставлялъ ихъ соединенный флотъ бомбардировать жителей острова Крита, возставшихъ противъ мусульманскаго ига. Этотъ же вполне обоснованный страхъ побуждалъ державамъ положить конецъ аріанской рѣзни. И онъ же побуждалъ державамъ сократить свои вооруженія послѣ Гаагской конференціи, вопреки общему желанію человѣчества. Послѣ этой конференціи вооруженія усилились повсемѣстно въ грозныхъ размѣрахъ, а будущее судить еще большимъ развитіемъ милитаризма. А между тѣмъ, европейскіе народы нельзя упрекнуть въ недостаткѣ единодушія и благихъ наміреній: ихъ нравственныя, экономическія и политическія интересы заставляютъ ихъ пламенно желать мира, сокращенія вооруженій, огражденія маленькихъ народовъ и государствъ земного шара отъ наслія, рѣзни, разбойничьихъ захватовъ...

Отсюда вытекаетъ одинъ выводъ, ясный, какъ день: современныя международныя отношенія великихъ континентальныхъ державъ противорѣчатъ ихъ нравственнымъ, экономическимъ и политическимъ интересамъ, препятствуя имъ въ осуществленіи ихъ законныхъ личныхъ и общихъ цѣлей. Мы не станемъ судить, насколько виновата въ этомъ европейская дипломатія, или европейская печать, раздувающая слѣпую международную ненависть. Мы указываемъ лишь на одинъ безспорный фактъ, явное послѣдствіе современнаго политическаго положенія: европейскія державы взаимно парализуютъ другъ друга тамъ, гдѣ интересы ихъ представляются общими интересами. Система двухъ уравновѣшивающихъ другъ друга союзовъ — тройственного и франко-русскаго — раззоряетъ Европу и сковываетъ желѣзными цѣпями ея народы. Одна мудрая Англія осталась въ сторонѣ и, пользуясь преимуществомъ своей исключительной

свободы, завоевываетъ громадныя территоріи почти безъ войска, при помощи наемнаго сброда, предводительствуемаго худшими генералами въ мірѣ; а между тѣмъ, континентальныя державы, вооруженныя съ головы до пятъ, съ многомилліонными арміями стоятъ другъ противъ друга, тѣснятъ другъ друга и лишь изрѣдка, съ неимоверными, часто безплодными усиліями, подхватываютъ крохи, падающія съ британскаго стола: всѣ силы ихъ направлены на то, чтобы связывать другъ другу руки и поддерживаться въ состояніи неподвижнаго равновѣсія.

Предъ государственной мудростью европейскихъ народовъ ясно ставится задача величайшей, первостепенной важности — найти выходъ изъ этой системы взаимныхъ тисковъ и осуществить другую группировку политическихъ силъ Европы. *Только сближеніе между Россіей, Германіей и Франціей можетъ облегчить бремя европейскаго милитаризма и вмѣстѣ обезпечить мирное политическое преуспѣяніе трехъ названныхъ державъ, освободивъ ихъ отъ страшнаго и непроизводительнаго напряженія всѣхъ ихъ силъ, направленныхъ исключительно на оборону другъ отъ друга.*

Это — не утопія, не мечта, а дѣйствительная и осуществимая цѣль, достойная стремленій государственныхъ людей и общественныхъ дѣятелей Европы. Мы не закрываемъ глаза на трудности, которыя лежатъ на пути къ достиженію этой цѣли; но разъ изъ современнаго, во истину бѣдственнаго паралича европейскихъ народовъ нѣтъ иного выхода, то къ этой цѣли взаимнаго сближенія надо идти, каковы бы ни были наши симпатіи или антипатіи.

Намъ скажутъ, что Франція не можетъ забыть своего прошлаго и протянуть руку Германіи. Однако, во Франціи о такомъ сближеніи думаютъ несравненно больше и чаще, чѣмъ у насъ. Во Франціи, гдѣ существуютъ дѣйствительные, а не мнимые поводы для враждебнаго отношенія къ Германіи, постоянно раздаются трезвые голоса, призывающіе къ соглашенію и сближенію, необходимому въ интересахъ Франціи. Слишкомъ ясно становится для самихъ французовъ, что союзъ съ Россіей, гарантирующій цѣлость Франціи, еще не развязываетъ ей рукъ для дѣятельной политики за предѣлами Европы. И, между тѣмъ какъ это сознаніе развивается среди французскихъ общественныхъ дѣятелей и сближеніе съ Германіей представляется возможнымъ и желательнымъ, мысль о немъ, столь естественномъ и необходимомъ, къ сожалѣнію, еще не пробуждается въ русскомъ обществѣ. Всякій разъ, какъ мы узнаемъ,

что тотъ или другой французскій публицистъ или политикъ говорить въ пользу мирнаго сближенія съ Германіей, наша печать поднимаетъ тревогу. Мы рукоплещемъ самымъ пошлымъ выходкамъ французскаго шовинизма, мы привѣтствуемъ рѣчи, — въ родѣ той, которую недавно произнесъ Дешанель и которая подверглась справедливому осужденію самыхъ различныхъ органовъ французской печати. Мы лелѣемъ французскую ненависть къ нѣмцамъ, забывая, что въ ней не сильная, а, напротивъ того, слабая и невыгодная сторона нашего союза.

Но если со стороны французовъ могутъ быть дѣйствительныя затрудненія въ дѣлѣ сближенія съ Германіей, — то въ чемъ существуютъ они съ нашей стороны? Съ нѣмецкой стороны ихъ, по-видимому, нѣтъ, какъ объ этомъ сколько разъ и такъ торжественно заявилъ германскій императоръ... А съ точки зрѣнія русскихъ интересовъ, мы видимъ не препятствія, а пробужденія къ дружественному сближенію. Быстрое развитіе могущества и богатства великой сосѣдней державы, о завоеваніи которой не помышлялъ никогда ни одинъ здравомыслящій русскій человѣкъ, должно было бы возбуждать не вражду, а стремленіе къ мирному взаимодействию и дружественному согласію. Росту германскаго флота, который тревожить Великобританію мы должны сочувствовать, такъ какъ на морѣ Германія является естественной союзницей нашей противъ величайшей морской державы, которая не мирится съ морскимъ и торговымъ соперничествомъ Германіи. Колоніальной политики нашей сосѣдки мы должны не только сочувствовать, но и содѣйствовать всячески, въ особенности на Дальнемъ Востокѣ. Безъ насъ Германія останется тамъ безсильной противъ Англіи, Японіи, Соединенныхъ Штатовъ. Она должна будетъ либо примкнуть къ нимъ противъ насъ, либо же уйти, ограничившись ничтожными пріобрѣтеніями. Вытѣсненная изъ Африки, вытѣсненная съ Дальняго Востока, она естественно обратитъ свои взоры на ближній Востокъ, гдѣ она легко можетъ столкнуться съ нами, опять-таки къ несомнѣнной выгодѣ Великобританіи. Недавнія событія въ Турціи показываютъ намъ, что подобныя опасенія не напрасны.

Стѣсненная между Россіей и Франціей, Германія уподобляется громадному паровику, развивающему съ необычайною быстротой избытокъ паровъ, которымъ нуженъ выходъ; закрыть такой выходъ, лишить Германію ея предохранительныхъ клапановъ, значило бы вызвать взрывъ, опасный и для самой Германіи, и для ея союзниковъ, и для ея сосѣдей.

Первый шагъ къ сближенію Россіи, Франціи и Германіи былъ сдѣланъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ на водахъ Дальняго Востока. Его привѣтствовали и нѣмцы, и французы, и мы не имѣемъ основанія считать его ошибкой. То былъ вѣрный, глубоко-задуманный ходъ, независимо отъ того, какъ велась въслѣдствіи дипломатическая игра. Возможность сближенія была указана; теперь, думается, обстоятельства указываютъ на его необходимость, ибо наступаетъ критическій моментъ, отъ котораго зависитъ будущее Европы.

Франко-русское сближеніе въ моментъ своего возникновенія было необходимымъ, неизбежнымъ отвѣтомъ на вызывающее положеніе, принятое тройственнымъ союзомъ. Но съ тѣхъ поръ многое измѣнилось: Англія, а не Германія угрожаетъ европейскому миру. Бисмаркъ сошелъ со сцены, и нѣмецкая политика приняла новый курсъ; наши отношенія съ Австріей стали болѣе дружественными, чѣмъ когда-либо, на почвѣ взаимнаго соглашенія. Италія, надорванная своими усиліями играть несоотвѣтственную роль великой державы, лишь номинально сохраняетъ это званіе. Во Франціи время дѣлало свое, и мысль о реваншѣ постепенно отступала предъ великими текущими задачами внутренней и внѣшней политики.

Основательница тройственного союза, Германія, оглядывая настоящее международное положеніе, естественно ищетъ усилить себя новыми вооруженіями, новымъ флотомъ и — новымъ союзникомъ, который далъ бы ей возможность выйти изъ системы международныхъ тисковъ. Должны ли мы толкать ее противъ ея воли въ объятія Англіи, которая временно въ ней нуждается, или же намъ лучше самимъ идти ей на встрѣчу — идти твердо и осмотрительно, оставаясь вѣрными нашимъ обязательствамъ?

Намъ неизвѣстны секреты европейской дипломатіи и ея интриги. Но общее положеніе важнѣе интригъ и секретовъ: его угадать нельзя, оно видно всѣмъ. Мы допускаемъ, что частныя столкновенія, личныя антипатіи или дипломатическіе промахи могутъ повредить очень многому. Но намъ кажется, что еще не сдѣлано ничего безповоротнаго и непоправимаго, что могло бы помѣшать тремъ могущественнѣйшимъ державамъ Европы вступить въ соглашеніе для совмѣстнаго политическаго дѣйствія въ настоящую рѣшительную минуту. Онѣ теряютъ слишкомъ многое съ торжествомъ британскаго имперіализма, громадныя послѣдствія котораго трудно даже предвидѣть. Обрекая колониальную политику Франціи и Германіи на ничтожество и ставя ее въ полную зависимость отъ Англіи, торжество британскаго имперіализма грозитъ Россіи опасными ослож-

пеніями и вызоветь въ будущемъ усобицы и столкновенія среди континентальныхъ державъ. Быть можетъ, именно теперь наступилъ моментъ отложить до времени взаимные старые счета, чтобы предъявить ихъ къ уплатѣ общему должнику, — той державѣ, которая всего болѣе извлекала выгодъ изъ международныхъ раздоровъ и всего болѣе угрожаетъ всеобщему миру. Быть можетъ, именно теперь Франція могла бы залѣчить свои раны при помощи Россіи и Германіи... Позже моментъ будетъ упущенъ, потребуются большія усилія, громадныя жертвы и могутъ встрѣтиться новыя, непреодолимые препятствія.

Кн. Сергій Трубецкой.

Москва. 1900 г. 9 марта.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

№ 238. Письмо въ редакцію.

Великія событія, разыгрывающіяся на Дальнемъ Востокѣ представляютъ собой много непонятнаго и таинственнаго, что по всей вѣроятности будетъ раскрыто со временемъ, но что желательнѣе всего было бы выяснитъ себѣ именно теперь.

Не постижимо то, какимъ образомъ европейская дипломатія и европейскіе капиталисты, влагавшіе столько милліоновъ въ различныя предпріятія на Дальнемъ Востокѣ, проглядѣли надвигавшуюся опасность, проглядѣли колоссальныя вооруженія Китая и подготовлявшееся исподволь націоналистическое движеніе. Непостижимо то, какимъ образомъ многіе до сихъ поръ еще слятся закрыть глаза на опасность уже наступившую и умалить ея значеніе для будущаго, заботясь лишь о наименьшихъ денежныхъ затратахъ и всячески устраняя мысль о какихъ-либо рѣшительныхъ и радикальныхъ мѣрахъ для предупрежденія грядущихъ бѣдствій? Непонятно, наконецъ и то, что дѣлаютъ союзныя войска въ Китаѣ и съ кѣмъ собственно они тамъ сражаются.

Китайцы, повидимому, лучше знаютъ, что они дѣлаютъ и чего хотятъ, несмотря на всю неурядицу, господствующую въ ихъ странѣ. Они исполнены ненависти и презрѣнія къ европейцамъ и христіанамъ и хотятъ выгнать ихъ, стереть ихъ съ лица Китая. Они избиваютъ ихъ, жгутъ ихъ дома и церкви, разрушаютъ ихъ желѣзныя дороги. Они знаютъ также съ кѣмъ они воюютъ: они сражаются съ войсками союзныхъ державъ, предводительствуемыми

русскими генералами; и они воюють противъ Россіи, напавъ на ея границы и открывъ военныя дѣйствія противъ нея по указу богдыханши. И если бы въ Китаѣ было больше порядка, если бы всѣ вице-короли болѣе слушались богдыханши и центрального правительства, китайское движеніе противъ европейцевъ было бы еще сильнѣе и гораздо успѣшнѣй. Вотъ что могутъ знать китайцы. Они не знаютъ развѣ одного — что мы даже и не думаемъ вести съ ними войну. Но что же мы дѣлаемъ у нихъ въ такомъ случаѣ? Можетъ быть мы усмиряемъ однихъ китайскихъ патріотовъ или боксеровъ? Нѣтъ, мы дрались и съ регулярными войсками, защищавшими отъ насъ свои крѣпости и столицу Небесной имперіи. Можетъ быть то были лишь мятежныя войска и ихъ сопротивленіе было актомъ возмущенія противъ законнаго Китайскаго правительства. Тоже нѣтъ: во главѣ ихъ стояли принцы крови и высшіе китайскіе военные чины, дѣйствовавшіе по указамъ богдыханши, которая стала во главѣ національнаго движенія и теперь бѣжала изъ Пекина со всѣми властями, опасаясь справедливаго возмездія со стороны европейцевъ. Съ кѣмъ же спрашивается, мы при всемъ этомъ воюемъ, и если ни съ кѣмъ, то почему же съ Китаемъ?

Миролюбіе Европы имѣетъ, безспорно самыя глубокія и уважительныя основанія. Но въ данномъ случаѣ нашъ теперешній „миръ“ съ Китаемъ мало отличается отъ войны. Онъ даже хуже, ибо если всякая война кончается миромъ, то чѣмъ же можетъ кончиться теперешній „миръ“? Если бы это былъ только евфемизмъ, вызванный китайской вѣжливостью, если бы мы согласились въ дипломатическихъ переговорахъ замѣнять слово „война“ словомъ „миръ“, то вопросъ могъ бы быть только о своевременности соблюденія китайскаго этикета. Но, повидимому, дѣло тутъ не въ однихъ словахъ а въ нашихъ цѣляхъ и въ дальнѣйшемъ планѣ нашихъ дѣйствій по отношенію къ Китаю.

И для Россіи, и для Европы война съ Китаемъ была неожиданной и нежелательной. Заявленія наши о томъ, что мы *не хотимъ* территориальныхъ приобрѣтеній, несомнѣнно, искренни. Мы не можемъ ихъ хотѣть, они насъ дѣйствительно отягощаютъ, и если другія державы воюють съ цѣлью захвата чужихъ владѣній, то мы избегаемъ войны отчасти прямо для того, чтобы не быть вынужденными къ расширенію нашихъ границъ. Возвращеніе status quo, возстановленіе прежняго порядка въ Китаѣ было бы всего желательнѣе и выгоднѣе и для Россіи, да и для прочихъ державъ. Если бы только цѣль эта была достижима, если бы возможно было

разсчитывать на то, что Китай снова и навсегда погрузится въ свою мирную и безмолвную муравьиную жизнь, то ради одного этого слѣдовало бы забыть всё понесенныя потери, всё недавніе ужасы и признать миръ не нарушеннымъ, отказавшись отъ всякой мысли о возмездіи или вознагражденіи. Вопросъ въ томъ, дѣйствительно ли не нарушенъ вѣчный миръ, вѣчный покой Китая? Это жизненный вопросъ для всего цивилизованнаго міра и въ особенности для Россіи. Если миръ Китая не разрушенъ, надо поскорѣй выходить изъ спящаго муравейника. Если онъ нарушенъ, надо рѣшить китайскій вопросъ теперь же, чего бы это ни стоило. Надо оградить Россію и европейскій міръ отъ неминуемой бѣды именно теперь, пока Китай еще беззащитенъ, пока горсть европейцевъ еще можетъ разбивать желтыя полчища. Если наступитъ часъ — а онъ пробьетъ неизбежно, — когда три или четыре будутъ въ состояніи справиться съ однимъ европейцемъ, судьба Азіи, судьба европейскаго владычества, судьбы Англіи и Россіи будутъ рѣшены.

Не прошло и шести лѣтъ съ окончанія японской войны, а Китай пріобрѣлъ уже громадныя арсеналы усовершенствованнаго оружія и построилъ превосходныя орудійныя и оружейныя заводы. Не прошло шести лѣтъ послѣ японскаго погрома, какъ Китай дерзнулъ оскорбить посланниковъ всѣхъ великихъ державъ и объявить войну Европѣ, Америкѣ и Японіи; и теперь соединенныя державы, повидимому, болѣе хотятъ мира, чѣмъ самъ Китай, который, если вѣрить торжественнымъ заявленіямъ державъ, не рискуетъ въ войнѣ съ ними никакими территоріальными утратами.

Шесть лѣтъ слишкомъ малый срокъ для созданія арміи и не въ такомъ обширномъ и варварскомъ государствѣ какъ Серединная имперія. Но то, что было сдѣлано ею за эти шесть лѣтъ показываетъ чего можно ожидать отъ нея въ будущемъ. Пусть ввозъ оружія будетъ отнынѣ запрещенъ и дѣйствительно прекращенъ — заводы у китайцевъ уже есть и, притомъ такіе, что, по отзыву компетентныхъ инженеровъ, они скоро будутъ въ состояніи сами снабжать другіе народы дешевыми ружьями новѣйшихъ образцовъ. Теперь дѣло не въ оружіи, а въ инструкторахъ, которыхъ никто и ничто не помѣшаетъ Китаю получить изъ Европы и Японіи или воспитывать въ Японіи.

Желтая душа темнѣе для насъ всякой чужой души. Но если въ ней есть инстинктъ самосохраненія, если въ ней есть національный расовый инстинктъ, если въ ней есть ненависть къ чужому, любовь къ своему, къ отцовскому достоянію и, наконецъ, хотя искра

религіознаго фанатизма, — то военныя силы Китая будутъ расти и развиваться. Онъ оставался коснымъ и соннымъ много вѣковъ, парѣдка стряхивая съ себя черезчуръ алчныхъ и назойливыхъ паразитовъ, присасывавшихся къ нему извнѣ. Но теперь, когда Европа проводитъ свои желѣзныя шупальцы въ самое сердце Китая, чтобы высасывать его соки, онъ не можетъ болѣе спать. Онъ встанетъ на ноги и соберетъ свои несмѣтныя силы. Мы будемъ изнемогать подъ бременемъ милитаризма, чтобы защищать необъятныя границы сибирскихъ пустынь отъ полчищъ самой населенной страны на свѣтѣ; всѣ силы наши будутъ поглощены этой страшной, бесплодной борьбой. И все это только до тѣхъ поръ, пока четыре китаецъ не будутъ въ силахъ одолѣть одного изъ насъ.

Теперь еще есть возможность обезопасить себя отъ грядущаго нагн монголовъ. Задача эта не легка, но отъ ея рѣшенія зависитъ наше будущее и нѣтъ жертвъ, которыя могли бы насъ останавливать. Въ минуту столь рѣшительную политика великаго государства не можетъ руководить мелкими расчетами запутавшихся финансистовъ. Она должна быть широка, мужественна и безстрашна. Территоріальныхъ приобрѣтеній мы не желаемъ и не ищемъ, но если ходъ событій вынуждаетъ насъ на нихъ, мы должны идти и на это, — не ограничиваясь мелкими захватами отдѣльныхъ пунктовъ, что было бы только повтореніемъ прежнихъ роковыхъ ошибокъ. Другіе помогутъ намъ и чѣмъ больше возьмутъ другіе — тѣмъ лучше, тѣмъ выгоднѣе для насъ, ибо не алчность руководить нами.

Но что же это: раздѣлъ Китая? Возможно ли серьезно думать объ этомъ теперь и высказывать мысль столь чуждую общимъ вѣрѣніямъ, столь лишенную практическаго смысла? Не значитъ ли это забывать дѣйствительную, реальную опасность финансовыхъ затрудненій и международныхъ распръ изъ-за воображаемой, мнимой опасности, которою будто бы грозитъ Китай?

Вотъ это именно и страшно, что никто не хочетъ измѣрить глубины этой послѣдней, общей опасности. Неужели же ждать, чтобы она наступила, чтобы борьба стала труднѣе, чтобы она сдѣлалась невозможной? Неужели отрицать ее потому, что мы не хотимъ, боимся взглянуть ей въ глаза? Если раздѣлъ Китая есть безуміе, то пусть укажутъ мнѣ на другое средство избѣжать единственную страшную, грозную для насъ грядущую борьбу? Средство есть — уйти изъ Китая совсѣмъ, вывести изъ него всѣхъ иностранцевъ, отдать христіанъ на избіеніе, отказаться отъ желѣзныхъ

дорогъ и отъ всякихъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій къ Китаѣ, прекратить торговлю, прекратить всякія сношенія съ Китаемъ. Я не знаю будетъ ли это средство дѣйствительнымъ, я знаю только, что оно невозможно. Невозможно и возвращеніе къ прежнему порядку, съ которымъ не уживется ни Китай, ни Европа и при которомъ событія, подобныя настоящимъ, будутъ неизбежно повторяться и принимать все болѣе и болѣе грозный характеръ. Раздѣлъ Китая—вотъ единственное средство, а если невозможенъ и онъ, то китайцы уже побѣдили, несмотря на свои позорныя пораженія. И они поймутъ, сознаютъ это и будутъ гордиться своей побѣдой.

Не то—*какъ* будетъ раздѣленъ Китай имѣть для насъ значеніе, а то—*будетъ* ли онъ раздѣленъ. Все то, что мы могли бы потерять отъ выигрыша другихъ, съ избыткомъ вознаградилось бы самымъ фактомъ раздѣла. Это вѣрно прежде всего для насъ, ибо теперь уже мы не можемъ оставлять китайской границы безъ защиты, и затраты на ея оборону будутъ возрастать непрерывно въ теченіе предстоящаго столѣтія, поглащая всѣ наши силы. И это вѣрно относительно всѣхъ заинтересованныхъ державъ; при раздѣлѣ онѣ могутъ пріобрѣсти многое, безъ него онѣ рано или поздно потеряютъ все и все-таки не достигнутъ взаимнаго соглашенія, не избѣгутъ осложнений, которыя въ настоящую минуту менѣе опасны, чѣмъ они могутъ стать въ скоромъ времени.

Англія еще занята войной въ Трансваалѣ; Японія еще не заняла въ Китаѣ того исключительнаго положенія, къ которому она считаетъ себя призванной, еще не сдѣлалась военнымъ инструкторомъ Небесной имперіи; Германія еще не охладѣла въ своемъ воинственномъ пылѣ и горячо стремится къ союзу съ нами; Франція еще не поглощена всецѣло своими внутренними раздорами и усобицами. Наконецъ, и самъ Китай никогда еще не переживалъ такого остраго кризиса и никогда не былъ такъ близокъ къ распаденію. Неужели же мы направимъ всѣ наши усилія къ тому, чтобы спасти его отъ такого распаденія и укрѣпить въ немъ сознаніе его цѣлости и единства?

Кн. С. Трубецкой.

Узкое. 1900 г. 31 августа.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Сумлеваюсь штопъ...

„Сумлеваюсь, штопъ кюлю успеть оболванить“ — такъ писалъ полъ-вѣка тому назадъ одинъ изъ дѣятелей дореформенной эпохи, генералъ Сухозанетъ, по одному частному вопросу своего вѣдомства.

Эта историческая надпись, нѣкогда возбуждавшая веселость нашихъ отцовъ, предвосхищаетъ правописаніе нашихъ потомковъ, если только суждено сбыться мечтаніямъ наиболее передовыхъ изъ нашихъ реформаторовъ-педагоговъ. Правда, въ вышеприведенной надписи авторъ ея, прославившійся своею суровой твердостью, еще не вездѣ отрѣшается отъ употребленія твердаго знака, поступаясь имъ лишь въ словѣ „юлю“ (вм. „къ юлю“). За то не только буквы *і* и *ѣ* упразднены окончательно, — согласно требованіямъ современныхъ педагоговъ, — но и въ словѣ „штопъ“ наблюдается явная попытка „фонетическаго“ правописанія, о введеніи котораго указанные педагоги-реформаторы, по газетнымъ извѣстіямъ, возбуждаютъ ходатайство передъ Академіей Наукъ...

Этотъ любопытный походъ противъ грамотности, предпринятый съ гуманною цѣлью, — спасти учащееся юношество отъ „переутомленія“, заслуживаетъ, къ сожалѣнію, нѣкотораго вниманія, какъ одно изъ характерныхъ знаменій того стихійнаго влеченія къ безграмотству и невѣжеству, которое растетъ въ нашемъ обществѣ не по днямъ, а по часамъ, и является грознымъ предвѣстникомъ надвигающагося варварства.

Это стихійное влеченіе проявляется въ формахъ весьма разнообразныхъ — то въ видѣ неприкрытаго, злобнаго обскурантизма, то въ видѣ плача неутѣшной Рахили о переутомленіи вилеемскихъ младенцевъ, то въ видѣ похода противъ классицизма или нѣкоторыхъ буквъ русскаго алфавита; оно сказывается въ травлѣ противъ университетовъ и женскихъ курсовъ, въ стремленіи ихъ упразднить или всячески испортить, сдѣлать ихъ недоступными, дабы, по возможности, локализовать недугъ образованія; и оно же сказывается въ агитаціи, стремящейся обратить высшія учебныя заведенія въ студенческіе клубы съ официантами въ синихъ фракахъ, или бюро для устройства различныхъ процессій...

Если бы призывъ къ невѣжеству шелъ изъ „Московскихъ Вѣдомостей“, отъ враговъ университета и народной школы, отъ явныхъ враговъ просвѣщенія, — мы сочли бы его естественнымъ и нормальнымъ. Но, къ сожалѣнію, въ наши дни такой призывъ не-

рѣдко раздается съ еще большею силою изъ другого лагеря. Когда намъ прямо и открыто заявляютъ (какъ это недавно сдѣлалъ одинъ изъ представителей духовнаго краснорѣчія), что „ученье — тьма“, мы знаемъ, по крайней мѣрѣ, чего хочетъ обличитель и противъ чего онъ ратуетъ... Но когда люди, считающіе себя ревнителями просвѣщенія и всеобщаго обученія, неустанно возглашаютъ, что ученье — свѣтъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ требуютъ, чтобы дѣтей и юношей учили какъ можно меньше и чтобы ихъ, по возможности, освобождали отъ всякаго серьезнаго умственнаго труда, — мы недоумѣваемъ. Намъ понятно, когда враги просвѣщенія видятъ въ немъ чуму, но намъ странно, когда его друзья принимаютъ по отношенію къ нему противочумныя мѣры. Во всякомъ случаѣ, крайности слишкомъ часто сходятся теперь въ одномъ лозунгѣ: „поменьше ученья!“ Передовые педагоги упраздняютъ не только латинскую и греческую, но и русскую грамматику и, движимые чувствительно-сердечною заботой о подрастающемъ поколѣніи, вводятъ въ школу упрощенное правописаніе суроваго генерала Сухозанета, превосходя его смѣлостью и отсутствіемъ сомнѣній.

„Сумлеваюсь, штопъ кюлю успелъ оболванить“, — въ этихъ словахъ высказывается сомнѣніе и осмотрительность. Но господа педагоги не сумлеваются, какъ и вообще у насъ въ области школьной реформы сумлеваться не принято. Для того, чтобы „оболванить“ самую коренную реформу средней школы, не требуется ни специальныхъ знаній, ни даже общаго образованія. Достаточно одной смѣлости и рѣшительности, иногда даже — одной ненависти къ те-перешней школѣ. Мы достаточно видѣли это въ прошломъ году, въ „трудахъ“ всевозможныхъ съѣздовъ и совѣщаній, комиссій и подкомиссій по злополучному вопросу о реформѣ средней школы. То была настоящая Вальпургіева ночь, полная самыхъ странныхъ и причудливыхъ видѣній, сказочныхъ оборотней и чудесъ! То былъ хаосъ беспочвенныхъ мнѣній, въ которомъ трудно было найти: самые сложные и трудные вопросы разрѣшались съ изумительной легкостью, и какой-то зудъ творчества и реформы вызывалъ сотни и сотни проектовъ, одинъ радикальнѣе другого... И надъ всѣмъ этимъ громче другихъ слышался одинъ „гуманный“ кличъ, въ которомъ объединялись самые разнообразные и противоположные элементы: поменьше науки, поменьше ученья!

Мы не знаемъ, къ чему могло вести это вавилонское столпотвореніе: во всякомъ случаѣ, оно клонилось, если не къ смѣшенію языковъ, то къ сокращенію и совершенному извращенію ихъ школь-

наго преподаванія. Слухи одинъ нелѣпѣе и невѣроятнѣе другого волновали нашихъ педагоговъ. То говорилось о повышеніи требованій для поступленія въ университеты, страдающіе якобы отъ многолюдства студентовъ и отъ недостаточной ихъ подготовки; то, наоборотъ, толковали о невѣроятномъ пониженіи требованій, о сокращеніи гимназическаго курса, о допущеніи въ университеты реалистовъ; то распространялись слухи о томъ, что вмѣсто упраздняемыхъ преподавателей древнихъ языковъ будутъ созданы изъ праха земного прекраснѣйшіе преподаватели новыхъ языковъ, или что греческій языкъ будетъ замѣненъ „естествознаніемъ и юриспруденціей“; то, наоборотъ, разносилась вѣсть о томъ, что въ противность всякому здравому смыслу, учениковъ старшихъ классовъ посадятъ зубрить латинскую этимологию, которую до сихъ поръ проходятъ малолѣтніе первоклассники...

Отнынѣ положеніе должно рѣзко измѣниться. Правильное образованіе и воспитаніе юношества было признано съ высоты Престола дѣломъ первой государственной важности, и министерство народнаго просвѣщенія ввѣрено въ руки всѣми уважаемаго масти-таго государственнаго человѣка, который, внѣ всякаго сомнѣнія, не допуститъ диллетантизма и невѣжественнаго радикализма въ великомъ дѣлѣ строенія русской школы. Отъ всего сердца пожелаемъ успѣха всѣмъ благимъ его начинаніямъ!

Кн. С. Трубецкой.

Москва. 27 апрѣля 1901 г.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

„Очень сомнѣваюсь“...

Въ небольшой замѣткѣ, помѣщенной въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ подъ заглавіемъ „Сумлеваюсь штопъ“, я позволилъ себѣ выразить мои сомнѣнія и опасенія, навѣянные современными толками о реформѣ средней школы. Я указывалъ на тотъ хаосъ мнѣній, который господствуетъ по этому вопросу, на легкомысленное и беззаастѣнчивое прожектерство, которое наблюдается здѣсь столь часто за послѣднее время. Характерное выраженіе генерала Сухозанета, послужившее мнѣ эпиграфомъ напомнилъ мнѣ одинъ проектъ — ореографической реформы, — и вотъ г. Сакулинъ, оказавшійся однимъ изъ его создателей, рѣшилъ, что я написалъ мою замѣтку специально по поводу защищаемаго имъ проекта и отвѣчаетъ мнѣ въ нѣсколько приподнятомъ тонѣ на столбцахъ „Курьера“.

„Считая преждевременнымъ сообщать какія-либо подробности проекта, который еще только вырабатывается“ г. Сакулинъ говорить много хорошаго объ этомъ проектѣ и много плохого о моей замѣткѣ, заключая путемъ довольно страннаго силлогизма, что не генералъ Сухозанетъ, а самъ Петръ Великій является „духовнымъ вождемъ“ теперешнихъ преобразователей нашего правописанія.

Намъ остается повѣрить ему на слово относительно его проекта. Что же касается до моей замѣтки, то я лишь позволю себѣ поправить два не точныя умозаключенія моего противника. Я, дѣйствительно, писалъ, что для того, чтобы къ любому сроку „оболванить“ самую радикальную реформу средней школы, у насъ, повидимому, не требуется ни специальныхъ знаній, ни даже общаго образованія. Но отсюда еще нельзя заключить, какъ это дѣлаетъ г. Сакулинъ, будто я признаю людьми безъ специальныхъ знаній и общаго образованія всѣхъ профессоровъ Московскаго университета и всѣхъ представителей средней школы, участвовавшихъ въ прошлогоднихъ совѣщаніяхъ при Московскомъ учебномъ округѣ. Въ концѣ моей замѣтки я, дѣйствительно, хотѣлъ высказать увѣренность, что въ великомъ дѣлѣ строенія русской школы не будетъ допущено „диллетантизма и невѣжественнаго радикализма“. Но отсюда, опять-таки нельзя заключать будто „вся надежда князя Трубецкаго — на то, что зажмутъ вамъ (русскимъ педагогамъ) рты“. Такой надежды я не высказывалъ, да и не могъ высказать никогда и нигдѣ. А если въ приведенныхъ словахъ я, дѣйствительно, хотѣлъ выразить не иронію, а надежду, то развѣ на то, что нѣкоторые изъ слуховъ о предстоящей реформѣ средней школы не имѣютъ основанія. Эти слухи тутъ же мною перечисленные, не имѣютъ ничего общаго ни съ результатами совѣщаній при Московскомъ учебномъ округѣ ни съ правописаніемъ г. Сакулина.

Мнѣ кажется, мой противникъ поступилъ бы правильнѣе, если бы онъ, вмѣсто своихъ неудачныхъ умозаключеній и ссылокъ на ученыхъ лингвистовъ и Петра Великаго счелъ возможнымъ дать болѣе точныя свѣдѣнія о предлагаемыхъ имъ измѣненіяхъ и кстати „приложить хорошій маленькій примеръ нововаго правописанія, разсматривавшійся двенадцатоваго мая“, какъ полагается писать по новымъ правиламъ. Тогда, по крайнѣй мѣрѣ, читатель могъ бы судить о томъ насколько я былъ правъ или не правъ, отмѣтивъ этотъ, разсматривавшійся проектъ, какъ одинъ изъ образчиковъ реформаторства.

Но допустимъ, что г. Сакулинъ, дѣйствительно, ближе къ Петру Великому, чѣмъ къ генералу Сухозанету, и что онъ дѣйствительно

оперируетъ надъ русской грамотой ножницами Великаго Преобразователя. Допустимъ, что я былъ совершенно неправъ и далъ невѣрную и несправедливую оцѣнку проекта новаго правописанія. Мнѣ пришлось бы пожалѣть о моей ошибкѣ, но сомнѣнія и опасенія мои отъ этого нисколько бы не облегчились. Вѣдь каковъ бы не былъ проектъ г. Сакулина, самъ по себѣ онъ общаго значенія не имѣетъ и даже „вопроса“, пока, не представляетъ. Иное дѣло дѣйствительный вопросъ дня о реформѣ средней школы, о которомъ я писалъ, и то общественное отношеніе къ этому вопросу, которое проявляется такъ ярко и рѣзко. Я знаю, что здѣсь, при господствующемъ настроеніи, выражать сомнѣніе — значитъ возбуждать противъ себя насмѣшки, раздраженіе и общее неудовольствіе. Со всѣхъ сторонъ я слышу: „зачѣмъ сумлеватца штопъ“... Такъ озаглавлена даже одна статья, направленная противъ моей замѣтки. Авторъ ея и не подозреваетъ, какъ вѣрно и мѣтко онъ опредѣляетъ господствующее настроеніе: именно — „зачѣмъ сумлеватца!“ Вотъ это-то полнѣйшее отсутствіе сомнѣній, эта самая всеобщая увѣренность, что „кдюлю“ или около того мы успѣемъ оболванить все, что угодно — вотъ что вселяетъ въ меня сомнѣнія и опасенія.

Я не думаю оспаривать никакого проекта; да и который изъ всѣхъ возможныхъ проектовъ слѣдуетъ оспаривать, или обсуждать въ данную минуту? И я никого не думаю обличать, кромѣ развѣ себя самого: въ настоящую минуту усумниться въ цѣлесообразности ломки той самой средней школы, которую надо растащить крючьями, какъ на пожарѣ — вѣдь это значитъ самое закорузлое тупоуміе и полнѣйшій недостатокъ цивилизма. Но что же мнѣ дѣлать? Я не могу считать цѣлесообразнымъ разрушеніе неудобнаго плохого и ветхаго, но все-таки обитаемаго училища, пока я не знаю какъ будутъ учить въ новомъ и каково будетъ это новое училище. Я не отрицаю необходимости коренной реформы нашей школы и въ особенности кореннаго измѣненія нашей школьной политики. Но теперь, со всѣхъ сторонъ говорятъ не о реформѣ, а именно о разрушеніи существующей школы. Никто и не думаетъ о реформѣ этой школы, во имя того великаго и плодотворнаго принципа, который лежитъ въ основаніи всей европейской гуманитарной школы и который заложенъ въ основаніи и нашей гимназій, но извращенъ въ своемъ корнѣ ложной школьной политикой. Что же сулимъ мы себѣ вмѣсто теперешнихъ гимназій? Множество различныхъ свободно-развивающихся, конкурирующихъ между собою типовъ? Повидимому нѣтъ; хотя, быть можетъ, это былъ бы наилучшій путь къ школьной

реформъ: мы слышимъ со всѣхъ сторонъ объ „единой общеобразовательной средней школѣ“. Но найдемъ ли новый, высшій принципъ на мѣсто классицизма или реализма? Или же новая школа должна обойтись вовсе безъ принципа?

Едва ли, заимствуя особенности различныхъ существующихъ системъ и соединяя ихъ эклектически другъ съ другомъ, такая школа не имѣла бы ни одного изъ достоинствъ этихъ системъ, при многихъ изъ ихъ недостатковъ. То было бы *enseignement moderne*, безъ основательнаго знанія новыхъ языковъ и безъ хорошихъ преподавателей этихъ языковъ, которыхъ и теперь не хватаетъ; то было бы реальное, естественно-историческое образованіе съ сокращеннымъ курсомъ математики и безъ основательнаго научнаго усвоенія основъ естествознанія; то было бы, наконецъ, заимствованное у теперешней классической гимназій, только еще болѣе неудовлетворительное грамматическое изученіе латинскаго языка, начинающееся нѣсколькими годами позже теперешняго и совершенно безплодное, не могущее доводить учащихся до осмысленнаго и самостоятельнаго чтенія авторовъ. Въ противность правилу: *pop multa, sed multum*, такая школа, преподавая все понемногу, не могла бы основательно учить ничему. Соединяя и древніе и новыя языки и естествознаніе и математику и даже „отчизновѣдѣніе“ и „законовѣдѣніе“, такая школа, стремясь удовлетворить заразъ всѣмъ потребностямъ, не могла бы должнымъ образомъ удовлетворить ни одной. Не будучи ни классической, ни реальной, ни германороманской, ни канцелярской, ни военной, ни гражданской, она была бы просто безпринципной и привела бы къ дальнѣйшему упадку и безъ того невысокаго уровня нашего средняго образованія.

А между тѣмъ на нее возлагаютъ самыя радужныя, самыя смѣлыя надежды. Она должна наилучшимъ образомъ и въ самый непродолжительный срокъ приготовить къ высшему научному образованію и вмѣстѣ давать „завершенное“, „русское“ образованіе и помимо университета. Этому особенно радуется „Новое Время“ (№ 9055): „Все, что до сихъ поръ было отпугнуто древними языками и ихъ очевидною ненужностью для торговли, ремесла и мелкой чиновной службы, всѣ эти дѣти низшихъ, городскихъ сословій — теперь двинуты къ стѣнамъ гимназій съ намѣреніемъ получить въ недолгій срокъ общее русское образованіе, чтобы затѣмъ начать самостоятельно зарабатывать хлѣбъ. Какъ для этой массы учениковъ, такъ и для будущихъ слушателей университета (?) весьма важенъ срокъ ученія, одновременно закругленнаго и *не слишкомъ продолжительнаго*“.

Особенно обрадовалось „Новое Время“ законовѣдѣнію. „Мы занимались игрушками, когда передъ нами лежала руда науки. Но, слава Богу, время педагогическихъ игрушекъ проходитъ; русское юношество собираются учить серьезно“ (9057). Словомъ, „Новое Время“ нашло скатерть-самобранку, способную напитать всѣхъ: одна и та же законченно-незаконченная школа готовить и будущихъ ремесленниковъ, и будущихъ канцеляристовъ, и будущихъ врачей, юристовъ, ученыхъ; одна и та же подготовка и къ мелочной лавочкѣ, и къ университету! И, къ сожалѣнію, это говорить не одно „Новое Время“; оно служитъ здѣсь выразителемъ наиболѣе распространеннаго общаго мнѣнія и общаго желанія, которому идутъ навстрѣчу иные педагоги. „Хуже не будетъ“, слышится со всѣхъ сторонъ. Сколько лѣтъ, сколько разъ мы это повторяемъ и сколько разъ дѣйствительность наказываетъ насъ за эти слова! Я самъ не хочу допускать мысли, чтобы стало хуже. Но для того чтобы стало дѣйствительно лучше надо, чтобы назрѣла самая реформа, а не только потребность въ ней. Надо чтобы все было взвѣшено. Иначе можетъ быть и хуже теперешняго: какъ ни плохи теперешнія классическія гимназіи, а, по общимъ отзывамъ, теперешнія реальныя училища еще хуже. Будетъ ли лучше реальное училище, приправленное латынью и законовѣдѣніемъ? Очень сомнѣваюсь...

Кн. С. Трубецкой.

Меньшово. 1901 г. 26 мая.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Въ высшей степени сомнѣваюсь...

I.

Въ № 172 „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ появилась статья г. Калаша, подъ заглавіемъ: „Еще о сомнѣніяхъ кн. С. Н. Трубецкого“ — одна изъ многихъ статей, вызванныхъ моими двумя маленькими замѣтками. Я прошелъ бы эту статью молчаніемъ, если бы не заключительныя слова ея: „пока тянулась моя полемика съ княземъ Трубецкимъ, событія не заставили себя ждать и сдѣлали *нашъ споръ академическимъ*“... Я не помню, гдѣ и когда я спорилъ о чемъ-либо съ г. Калашемъ, произведенія котораго до сихъ поръ были мнѣ совершенно незнакомы, за исключеніемъ статьи въ „Курьерѣ“, подъ характернымъ заглавіемъ: „Зачѣмъ сумлеватца“, и другой

и ея бюджетъ? Мы съ радостью встрѣтили извѣстіе о томъ, что признано необходимымъ увеличить въ должной мѣрѣ вознагражденіе преподавательскаго труда. Мы надѣемся, вмѣстѣ съ г. Калашемъ, что въ новой школѣ будутъ исправлены недостатки теперешняго школьнаго режима: вѣдь если означенные недостатки не исправить, если оставить на мѣстѣ теперешнихъ „звѣрей“, „аргусовъ и черберовъ“ и не вернуть тѣхъ честныхъ „акцизныхъ“, которые бѣжали изъ гимназій, то, пожалуй, и новая школа будетъ не лучше старой, несмотря на воинскія упражненія и инныя мѣры, направленные къ поднятію дисциплины и религіозно-нравственнаго воспитанія. Но развѣ всѣ *дѣйствительные* и *бесспорные* недостатки стараго школьнаго режима не могли быть исправлены и въ гуманитарной, классической школѣ? *По моему крайнему разумію съ этого слѣдовало начать.* Неужели только извергъ можетъ преподавать древніе языки и только подлецъ — быть классикомъ? Почему звѣрство, неистовство, гоненіе на живое слово и „честную литературу“ должны быть непременно связаны съ классицизмомъ? Точно классицизмъ есть какой-то злой духъ, который сдѣлалъ нашу среднюю школу бѣсноватой! Я думаю, однако, что и послѣ изгнанія его, съ новыми науками и графическими искусствами, въ эту школу могутъ войти семь злѣйшихъ бѣсовъ, *если не будетъ въ корнѣ измѣнена наша школьная политика.* А если бы она была измѣнена своевременно, то можетъ быть, не оказалось бы нужды въ теперешней ломкѣ. Во всякомъ случаѣ, на ряду съ классической школой теперь процвѣтали бы равноправныя съ нею реальныя школы различныхъ типовъ, достоинства и недостатки которыхъ успѣли бы выясниться на дѣлѣ, такъ что мы могли бы судить о нихъ съ большимъ основаніемъ, чѣмъ нынѣ, и не вступать на путь экспериментовъ.

III.

Г. Калашъ упрекаетъ меня за то, что я бросаю въ лицо всѣмъ реформаторамъ тяжкій упрекъ въ повальномъ легкомысліи, невѣжествѣ, варварствѣ. Это маленькая инсинуація, на которую мнѣ уже приходилось отвѣчать другому противнику: если въ современномъ походѣ противъ классицизма и въ особенности во многихъ проектахъ школьныхъ реформъ, я, дѣйствительно, вижу стихійное проявленіе некультурности и варварства, то это еще не значитъ, чтобы я не признавалъ законнымъ общаго недовольства толстов-

пользоваться, за неимѣніемъ лучшаго. Противники классицизма, жаждущіе отличиться въ лихой атакѣ, въ правѣ сказать намъ, его осужденнымъ защитникамъ: „да оказывайте же, наконецъ, сопротивление!“ И вотъ, въ виду этого, я рѣшаюсь сказать еще разъ, что я въ высшей степени сомнѣваюсь...

Статьи, въ которыхъ мнѣ отвѣчали, необычайно страстные и желчныя, могли бы скорѣе запугать меня, чѣмъ успокоить мои сомнѣнія. Во всякомъ случаѣ, этихъ сомнѣній онѣ не разрѣшали. Взять хоть бы послѣднюю статью г. Каллаша: на ней стоитъ остановиться, — не потому, чтобы въ ней было что-нибудь особенное, а именно потому, что въ ней нѣтъ ничего особеннаго, потому что она повторяетъ съ большимъ жаромъ то, что теперь всѣ говорятъ, что составляетъ общее мнѣніе. Что же онъ мнѣ говоритъ?

Онъ говоритъ мнѣ съ жаромъ, что толстовская школа была псевдо-классической; это я знаю и безъ него: гимназія, которая за рѣдкими исключеніями не давала сколько-нибудь удовлетворительныхъ познаній по древнимъ языкамъ и вселяла къ нимъ глубокую ненависть, не могла быть истинной классической школой.

Далѣе, онъ говоритъ мнѣ, опять-таки съ жаромъ, что толстовская гимназія была очень плоха и нуждалась въ реформѣ. И это совершенно справедливо: только я не понимаю, почему этимъ называется достоинство новой школы и негодность классицизма. Въ наши дни ни одинъ разумный классикъ не станетъ отрицать необходимости школьной реформы и въ особенности кореннаго измѣненія нашей школьной политики. На этомъ настаивалъ съ особою силою такой сторонникъ классицизма, какъ графъ П. А. Капнистъ, показавшій въ рядѣ замѣчательныхъ статей въ „С.-Петербург. Вѣдом.“ тотъ глубокій вредъ, который нанесла эта политика средней школѣ и всего болѣе — именно классическому образованію. Мы надѣемся теперь на измѣненіе школьной политики, но опредѣленныхъ свѣдѣній о такомъ измѣненіи мы пока не имѣемъ, такъ какъ одно измѣненіе учебныхъ плановъ еще не опредѣляетъ собою школьнаго режима.

Однимъ изъ главныхъ грѣховъ толстовской системы была ея нетерпимая исключительность, гоненіе на обще-образовательныя школы не казенно-классическаго типа, ихъ калѣченіе. Исправляетъ ли новая единая школа эту ошибку? Не впадаетъ ли она въ нее съ первыхъ шаговъ, какъ на это уже указывали, напр., „Русскія Вѣдомости?“ Толстой гналъ реальную школу, препятствуя ей правильному развитію; зачѣмъ же теперь, покончивъ съ „псевдо-

классицизмом“, не позаботиться о развитіи школы истинно-классической? Зачѣмъ „выплескивать ребенка вмѣстѣ съ ванной“, какъ говорятъ нѣмцы? И зачѣмъ вводить новый, еще неиспробованный типъ правительственной средней школы съ большею поспѣшностью, чѣмъ питейную реформу и съ большею исключительностью, чѣмъ это дѣлалось въ періодъ крайняго господства толстовской системы?

Я говорю это — не лицемерно, желая добра новой школѣ, съ которою связано ближайшее будущее нашего просвѣщенія. Если изъ недавняго прошлаго новопредставленной гимназіи можно извлечь полезный урокъ, такъ это тотъ, что общеобразовательная школа одного исключительнаго типа у насъ нежелательна. Жизнь и культура настолько осложняются не только въ Европѣ, но и у насъ, что создать единую общеобразовательную школу, которая могла бы удовлетворить всѣмъ законнымъ потребностямъ общества, представляется невозможнымъ. А потому, пока мы не признаемъ необходимости общеобразовательныхъ школъ различныхъ типовъ и будемъ попрежнему втискивать среднюю школу въ единое Прокрустово ложе, наша школьная политика не вступитъ на правильный путь. Классическая школа погибла отъ того, что ее хотѣли сдѣлать исключительной общеобразовательной школой. Желая всѣхъ сдѣлать классиками, ревнители классицизма нанесли ему жестокий, смертельный ударъ, исказили его, сдѣлали его ненавистнымъ, извратили всякое правильное понятіе о немъ, посягали между нимъ и „реализмомъ“ бессмысленную вражду, плоды которой мы видимъ теперь.

II.

Повиненъ во всемъ этомъ не классицизмъ, а его неразумные ревнители, думавшіе обратить его въ „дисциплинарное средство“. Но большая публика этого обыкновенно не разбираетъ, за что ее трудно винить: „истиннаго“ классицизма она не знаетъ и подъ „классицизмомъ“ разумѣетъ ту ненавистную казенно-полицейскую школу, въ которой донинѣ преподавались древніе языки... Стоитъ развернуть любой газетный листокъ, чтобы увидать, до чего довели „застоявшуюся ненависть“ противъ классицизма. Нѣтъ на богатомъ отечественномъ языкѣ той брани, которая казалась бы достаточною, чтобы обругать классицизмъ; нѣтъ обвиненій столь тяжкихъ, иногда столь нелѣпыхъ, которыми нельзя было бы его закидывать; нѣтъ тѣхъ пошлостей, которыхъ нельзя было бы повторить о немъ безнаказанно. И чего не ставятъ ему въ счетъ не только

представители большой публики и мелкой печати, но даже иные педагоги! Послушаемъ хотя бы, что говоритъ одинъ г. Каллашъ. Для него классицизмъ опредѣляется коротко и ясно, какъ результатъ, „слишкомъ высокой оцѣнки античной культуры — наслѣдіе наивныхъ средневѣковыхъ варваровъ (!)“; „классицизмъ — только одинъ изъ наиболѣе грустныхъ примѣровъ инертности человѣческой мысли“. Естественно и классическая школа есть школа варварская. Наши „гимназіи были обращены въ исправительные пріюты для малолѣтнихъ преступниковъ“, гдѣ „наша благородная и честная литература пришлась не ко двору“, откуда „изгоняли за чтеніе не только Добролюбова, но Тургенева и Бѣлинскаго“; въ классической гимназіи „только учитель-звѣрь, только преподаватель — безстрастный чиновникъ могъ рассчитывать на одобреніе начальства“. Впадая въ лирической паоосъ, г. Каллашъ не знаетъ, чему уподобить гимназію: „исправительному пріюту“, „застѣнку“, „клоакъ Бланшъ Монье“, „подваламъ столичной бѣдности“ или „узилищамъ нашихъ арестантовъ съ парашей“. Онъ увѣряетъ, что „оскорбленіе дѣйствіемъ, нанесенное учителю ученикомъ во время исполненія обязанностей, *всегда* влекло за собой повышение и, страшно сказать, его (кого?) часто прямо искали... Болѣе порядочные элементы педагогическаго персонала уходили по волѣ или по неволѣ въ школы другихъ вѣдомствъ, въ акцизъ, и на мѣстахъ оставались только испытанные аргусы и церберы классицизма“. Это ужъ прямо — не хорошо! Нищенское содержаніе и невозможный школьный режимъ не могли не отразиться на составѣ педагогическаго персонала; но произносить въ настоящую минуту такое огульное обвиненіе надъ цѣлымъ затравленнымъ сословіемъ гимназическихъ дѣятелей и говорить, что всѣ „болѣе порядочные“ изъ нихъ ушли, что остались только звѣри да подлецы, ищущіе пощечинъ, — это возможно лишь подъ вліяніемъ несдержаннаго аффекта или изъ желанія угодить райку. Среди нашихъ гимназическихъ учителей и администраторовъ есть многіе и многіе просвѣщенные труженики и прекрасные педагоги, достойные не брани, а уваженія и признательности общества. Надѣемся, что въ болѣе спокойную минуту и г. Каллашъ съ этимъ согласится и не откажется смягчить свой приговоръ нѣкоторыми оговорками и ограниченіями.

Но допустимъ, что въ своихъ сужденіяхъ о современной гимназіи онъ правъ безъ оговорокъ и ограниченій. Что же изъ этого слѣдуетъ? То ли, что нужно измѣнить учебные планы, или — что нужно измѣнить школьную политику, режимъ нашей средней школы

классицизма отъ полицейско-бюрократической опеки представляется мнѣ главнымъ положительнымъ результатомъ предстоящей реформы.

Отнынѣ задача всѣхъ убѣжденныхъ сторонниковъ классицизма состоитъ въ томъ, чтобы доказать на дѣлѣ его жизнеспособность. Отказавшись отъ ложнаго стремленія насильно всѣхъ сдѣлать классиками, они должны направить свои усилія на то, чтобы всѣ желающіе могли получить не мнимое, а дѣйствительное, классическое образованіе. Сначала такихъ желающихъ будетъ немного. Тѣмъ легче будетъ сдѣлать образцовыми тѣ немногія классическія гимназіи, которыя удастся сохранить. Когда увлеченіе новою единою школой остынетъ, — а это неизбежно случится въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, — число такихъ гимназій будетъ возрастать. Мы мечтали о томъ, чтобы реформа, кореннымъ образомъ измѣнивъ школьный режимъ и школьную политику, вызвала къ жизни рядъ хорошихъ, равноправныхъ, реальныхъ школъ различныхъ типовъ на ряду съ классической средней школой. Теперь, если случится иначе, мы должны идти обратнымъ путемъ къ тому же результату, т.-е. стремиться къ развитію истинно-классической школы на ряду съ новой *Bürgerschule* или quasi-реальной школой проектированнаго типа.

Такой путь, безспорно, труднѣе, но за то всякій успѣхъ, сдѣланный на немъ, будетъ дѣйствительнымъ и прочнымъ завоеваніемъ *самого* классицизма, образовательное значеніе котораго выяснится обществу только тогда, когда не будетъ болѣе классиковъ поневолѣ. Пусть поступаютъ изъ-подъ палки во всякую иную школу, только не въ ту, которую мы хотимъ сдѣлать наилучшей.

Я писалъ доселѣ о врагахъ классицизма. Но слѣдуетъ поговорить и о тѣхъ изъ его друзей, которые опаснѣе для него всякихъ враговъ, — которые растлили нашу школу и сдѣлали классицизмъ ненавистнымъ, соединивъ съ нимъ представленіе о „толстовско-катковской системѣ“. И теперь, когда толстовская гимназія осуждена, они жалѣютъ именно о ней, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что она-то и есть истинная виновница гибели классицизма.

Я не хочу повторять здѣсь все то, что пишутъ о ней педагоги и публицисты, ищущіе угодить большой публикѣ. Я сошлюсь только на указанная уже мною статьи гр. Капниста „Къ вопросу о реорганизациіи средняго образованія“, недавно вышедшія отдѣльной книжкой. Здѣсь мы находимъ вѣское и безпристрастное слово человека, близко знакомаго съ дѣломъ: строгаго классика, недопускающаго никакихъ уступокъ и компромиссовъ въ школьномъ дѣлѣ. И

своей гимназіей, или даже, чтобы я непременно признавал варварами всѣхъ противниковъ классицизма, среди которыхъ я знаю столько высока просвѣщенныхъ людей и у насъ, и за границей. Уже по одному этому я не могу видѣть въ противникахъ бывшей гимназіи или даже въ принципиальныхъ противникахъ классицизма „сплоченное и спѣвшееся, подавляющее большинство вандаловъ съ наглымъ и циническимъ крикомъ „зачѣмъ сумлеватца“. Но г. Каллашъ не станетъ же отрицать, что я дѣйствительно слышалъ именно этотъ крикъ, и что въ наши дни за примѣрами вандализма ходить не далеко...

„Полной сплоченности у насъ по школьному вопросу нѣтъ и быть не можетъ“, пишетъ г. Каллашъ... „подавляющее большинство согласно только въ одномъ — въ полномъ и безусловномъ отрицаніи современнаго школьнаго режима, въ требованіи замѣны нелѣпаго псевдо-классицизма разумнымъ реализмомъ“.

Полной сплоченности у насъ нѣтъ и быть не можетъ, потому что у насъ нѣтъ общаго принципа и потому что та школа, которую вы хотите сдѣлать единой, не есть ни классическая, ни реальная, а эклектическая школа, которая стремится заразъ удовлетворить всѣмъ потребностямъ и научить всѣхъ понемногу, всему понемногу. Если толстовская гимназія заслужила названіе псевдо-классической, то учебный планъ, защищаемый вами, есть фантастическій, псевдо-реальный. Вы называете „метафизикой“ мое требованіе, чтобы въ основаніи учебной системы лежалъ опредѣленный и ясно сознанный руководящій принципъ: „какой это, однако, метафизическій схематизмъ... далекій отъ жизни и витающій въ сферѣ чистыхъ абстракцій!“ Смѣю увѣрить васъ, многоуважаемый г. Каллашъ, что не только метафизики, но и „разумные реалисты“ нуждаются въ твердыхъ и ясно сознанныхъ принципахъ, когда замышляютъ серьезное дѣло школьной реформы. Видно, что исторія реализма извѣстна вамъ столько же, какъ и исторія классицизма, въ которомъ вы видите „наслѣдіе наивныхъ средневѣковыхъ варваровъ“. Но какъ не знаете вы, что именно отсутствіе общаго принципа мѣшаетъ и вѣчно будетъ мѣшать вамъ столкнуться съ вашими единомышленниками. Вы „страшно“ спорите между собою уже и теперь и неизбежно будете спорить и впредь, такъ какъ нѣтъ начала для конца вашихъ споровъ. Еще, если бы у васъ было нѣсколько реальныхъ и иныхъ школъ, вы могли бы спорить между собою чисто академически и мирно развивать нѣсколько самостоятельныхъ школьныхъ типовъ. Но на почвѣ „единой“ школы вѣчный споръ будетъ свя-

занъ съ вѣчной ломкой, вѣчнымъ ремонтомъ, и ваше „обитаемое училище“ не будетъ выходить изъ лѣсовъ *). На классическую школу нападаютъ ея противники; школу, защищаемую вами, будутъ раздирать ея друзья—„разумные реалисты“. И въ самомъ дѣлѣ, какъ, напримѣръ, распредѣлить всѣ тѣ хорошія науки, которыя входятъ въ ея учебный планъ? Тамъ, гдѣ въ основаніе такого плана заложень общій руководящій принципъ, тамъ есть и система, есть разумное основаніе для распредѣленія предметовъ, которые взаимно дополняютъ другъ друга. Тамъ же, гдѣ планъ составленъ совершенно случайно изъ разныхъ хорошихъ наукъ, тамъ и распредѣленіе предметовъ можетъ быть только случайнымъ и держаться случайнымъ образомъ. И вы можете мѣнять его изъ года въ годъ безъ всякаго результата. Почему на естествовѣдѣніе выпало 9 часовъ, а на латынь—16? Почему на логику—два часа, а на черченіе—17? Почему? Сойдетесь вы съ другимъ разумнымъ реалистомъ и найдете, что вмѣсто „третьестепенныхъ римлянъ“, остановившихся послѣ изгнанія Гомера, Софокла, Платона, хорошо бы прибавить часокъ-другой на „честную русскую литературу“, и ваши ученики узнаютъ и безъ школьной указки, если они не будутъ круглыми тупицами, что новѣйшая литература у насъ, какъ и вездѣ, должна составлять предметъ общественнаго интереса, а не школьнаго преподаванія, которое еще, чего добраго, угаситъ этотъ интересъ въ учащихся. Вмѣсто этого названный реалистъ сочтетъ желательнымъ прибавить число часовъ по естествовѣдѣнію, находя, что въ 9 часовъ можно пройти развѣ лишь какіе-нибудь плохенькіе куцые учебники, не дающіе никакого понятія о предметѣ, и на которые вовсе не стоитъ тратить времени. Третій разумный реалистъ найдетъ, что вмѣсто латыни или черченія не худо бы ввести политическую экономію, статистику, социологію, какъ совѣтывалъ г. Кантель: и я рѣшительно не вижу, почему вы не найдете желанія его основательными. Согласитесь, что вѣдь и социологія—хорошая наука! Но можетъ быть, вы скажете, что новая школа должна готовить насъ къ жизни, а для жизни черченіе и ручной трудъ полезнѣе самой социологіи: *pop scholae, sed vitae!* И такимъ образомъ споръ вашъ можетъ тянуться до безконечности, съ переменнымъ счастьемъ, но безъ надежды на дѣйствительное разрѣшеніе. Чему отдать предпочтеніе—латыни или естествовѣдѣнію, логикѣ или черченію? И на какомъ основаніи? Невольно вспоминается басня Козьмы Пруткова о двухъ

*) Въ предыдущую мою статью вкралась опечатка: вмѣсто „обитаемое училище“ и „учить“ слѣдуетъ читать „обитаемое жилище“ и „жить“.

доблестныхъ студіозахъ, — Вагнеръ и Кохъ, — изъ коихъ Кохъ логикѣ „славно учился, а Вагнеръ искусно чертилъ“. Помните рѣшеніе ихъ спора:

Мыѣ нравятся очень *обои*,
Сказалъ я и выбѣжалъ *вонъ*...

И такъ вотъ основанія, которыя, въ числѣ другихъ, заставляютъ меня въ высшей степени сомнѣваться въ жизнеспособности новой единой школы. Искреннее и твердое убѣжденіе заставляетъ меня высказывать мои сомнѣнія со всей возможною откровенностью и прямою, и я надѣюсь, что друзья новой школы на меня за это не посятуютъ. Высказывать такіа сомнѣнія въ настоящую минуту общаго ликованія надъ развалинами классическаго Иліона — далеко не весело; не весело восклицать, подобно Кассандрѣ въ „Торжествѣ побѣдителей“:

Нимѣ жребій выпалъ Троѣ,
Завтра выпадетъ другимъ!

Во всякомъ случаѣ, Иліада классицизма кончена; посмотримъ, какова будетъ Одиссея разумнаго реализма...

Но довольно сомнѣній. Я хотѣлъ бы вѣрить и надѣяться, и въ слѣдующей статьѣ моей постараюсь выяснитъ положительное значеніе настоящей реформы.

Меньшово. 1905 г. 19 іюля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Урокъ классицизма

(нѣкоторымъ изъ его друзей).

Какъ убѣжденный классикъ, признающій безусловное превосходство правильно-понимаемаго классицизма надъ другими существующими системами образованія, я высказалъ мое отношеніе къ проектируемой школьной реформѣ. Какъ русскій человекъ, надѣющийся на будущее отечественнаго просвѣщенія, несмотря на всѣ испытанія, которымъ оно подвергается, я вѣрю и въ то, что классицизмъ возродится — не въ той ненавистной казенно-полицейской школѣ, изъ которой онъ изгнанъ, а въ дѣйствительной гуманитарной, свободной классической школѣ, ему соответствующей. *Освобожденіе*

классицизма отъ полицейско-бюрократической опеки представляется мнѣ главнымъ положительнымъ результатомъ предстоящей реформы.

Отнынѣ задача всѣхъ убѣжденныхъ сторонниковъ классицизма состоятъ въ томъ, чтобы доказать на дѣлѣ его жизнеспособность. Отказавшись отъ ложнаго стремленія насильно всѣхъ сдѣлать классиками, они должны направить свои усилія на то, чтобы всѣ желающіе могли получить не мнимое, а дѣйствительное, классическое образованіе. Сначала такихъ желающихъ будетъ немного. Тѣмъ легче будетъ сдѣлать образцовыми тѣ немногія классическія гимназій, которыя удастся сохранить. Когда увлеченіе новою единою школою остынетъ, — а это неизбежно случится въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, — число такихъ гимназій будетъ возрастать. Мы мечтали о томъ, чтобы реформа, кореннымъ образомъ измѣнивъ школьный режимъ и школьную политику, вызвала къ жизни рядъ хорошихъ, равноправныхъ, реальныхъ школъ различныхъ типовъ на ряду съ классической средней школою. Теперь, если случится иначе, мы должны идти обратнымъ путемъ къ тому же результату, т.-е. стремиться къ развитію истинно-классической школы на ряду съ новой *Bürgerschule* или *quasi-реальной* школою проектированнаго типа.

Такой путь, безспорно, труднѣе, но за то всякій успѣхъ, сдѣланный на немъ, будетъ дѣйствительнымъ и прочнымъ завоеваніемъ *самого* классицизма, образовательное значеніе котораго выяснится обществу только тогда, когда не будетъ болѣе классиковъ поневолѣ. Пусть поступаютъ изъ-подъ палки во всякую иную школу, только не въ ту, которую мы хотимъ сдѣлать наилучшей.

Я писалъ доселѣ о врагахъ классицизма. Но слѣдуетъ поговорить и о тѣхъ изъ его друзей, которые опасѣе для него всякихъ враговъ, — которые растлили нашу школу и сдѣлали классицизмъ ненавистнымъ, соединивъ съ нимъ представленіе о „толстовско-катковской системѣ“. И теперь, когда толстовская гимназія осуждена, они жалѣютъ именно о ней, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что она-то и есть истинная виновница гибели классицизма.

Я не хочу повторять здѣсь все то, что пишутъ о ней педагоги и публицисты, ищущіе угодить большой публикѣ. Я сошлюсь только на указанныя уже мною статьи гр. Капниста „Къ вопросу о реорганизациіи средняго образованія“, недавно вышедшія отдѣльной книжкой. Здѣсь мы находимъ вѣское и безпристрастное слово человека, близко знакомаго съ дѣломъ: строгаго классика, недопускающаго никакихъ уступокъ и компромиссовъ въ школьномъ дѣлѣ. И

тѣмъ не менѣе, онъ находитъ, что реформа Толстого „была осуществлена способами, которые можно назвать почти преступными“, и что она причинила „нашему среднему образованію бѣднѣйшій вредъ, чѣмъ тотъ, какому она подвергалась въ самыя мрачныя для просвѣщенія времена, пережитыя нашимъ отечествомъ“. Наибольшій вредъ былъ нанесенъ ею именно классическому образованію, такъ какъ на него, „благодаря ложной его постановкѣ, главнымъ образомъ, палъ весь одишъ вновь установленнаго режима“ (69). Реформа среднего образованія „была направлена гр. Толстымъ не на истинное служеніе просвѣщенію, а обращена въ какое-то антисептическое средство для искорененія „вольнодумства“ путемъ возстановленія преподаванія тѣхъ же древнихъ языковъ, которые двадцать лѣтъ передъ тѣмъ признавались чуть ли не главнымъ источникомъ ненадлежащаго образа мыслей“. Проникнутая „узко-полицейскимъ взглядомъ на дѣло“ и „бюрократическимъ мракобѣсіемъ“, система Толстого извратила какъ „внутренній строй“ нашей школы, „такъ и отношенія ея къ самымъ существеннымъ ея обязанностямъ, т.-е. къ обученію и воспитанію, а равно и ея отношенія къ стоящимъ внѣ ея семьѣ и обществу“. „Уклонившись отъ прямыхъ образовательныхъ задачъ“, реформа 1871 г. „установила въ нашей средней школѣ лишь внѣшній, кажущійся порядокъ“, изгнала изъ нея „всякую живую мысль“ и привела къ „омертвленію“ школы, къ тому чисто полицейскому пониманію ея задачъ, которое совершенно извратило всѣ отношенія внутри школы и „которое не безъ основанія и нынѣ продолжаетъ наиболѣе раздражать учащихся, учащихся, семью и общество“.

Отъ этого справедливаго и вполне компетентнаго свидѣтельства нельзя отдѣлаться какъ отъ бойкой рыночной брани, расточаемой въ догонку изгнанному классицизму. Спрашивается, кто же его погубилъ? Фельетонисты, которые бранятъ его, когда это имъ дозволяется, и пишутъ, что онъ есть „наслѣдіе наивныхъ средневѣковыхъ варваровъ“, серіозные литературные враги, или, наоборотъ, его же призванные ревнители, преторіанцы Каткова и гр. Толстого, жандармы классицизма? Легко сваливать все на коварныхъ „либераловъ“ и „нигилистовъ“, на общество, яко бы возстановленное ими. Слишкомъ ясно, кто здѣсь возстановилъ общество, и скольку-нибудь безпристрастный взглядъ на дѣло убѣдитъ насъ, что въ данномъ случаѣ „нигилисты“ не при чемъ. А тѣмъ присяжнымъ охранителямъ, которые на каждомъ шагѣ усматриваютъ дѣйствіе субверсивныхъ началъ, не мѣшало бы подумать о слѣдующемъ.

Съ призракомъ нигилизма боролись, то изгоняя классицизмъ, то вводя его снова въ видѣ полицейскаго мѣропріятія, не замѣчая, что *такъ называемый нигилизмъ есть необходимый и неизбежный спутникъ реакціи*. Сократъ говоритъ, что Зевсъ, не будучи въ состояніи примирить удовольствіе и страданіе, навсегда связалъ ихъ такъ, что одно не можетъ быть безъ другого. Точно такъ же, повидимому, Зевсъ поступилъ и съ реакціей и нигилизмомъ: гдѣ она, тамъ и онъ, и гдѣ онъ, тамъ и она. Поэтому-то въ наши дни, при оцѣнкѣ иныхъ явленій нашей жизни, перѣдко путаешься и не знаешь, чѣмъ ихъ объяснить: крайнимъ радикализмомъ или его противоположностью, точно такъ же, какъ иной разъ не знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло: съ убѣжденнымъ реакціонеромъ, съ провокаторомъ или „нигилистомъ“. Если въ былое время разрушители работали на руку охранителей, то теперь охранители платятъ имъ съ лихвою. Лучшее средство подкопаться подъ тѣ или другія охраняемыя начала и учрежденія и подготовить ихъ крушеніе состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать ихъ ненавистными и омерзительными и ожесточить противъ нихъ всѣхъ. И вотъ въ наши дни мы видимъ, что не разрушители, а именно охранители всячески стараются сдѣлать ненавистнымъ все то, что они охраняютъ: именно они, а не кто другой, какъ будто всѣми силами стремятся доказать всѣмъ воочію, что охраняемое ими не совмѣстимо съ элементарными условіями нормальной общественной жизни, съ гражданскимъ правопорядкомъ, съ гласностью, съ обезпеченностью личности. Они кричатъ объ этомъ на кровляхъ, иногда въ формѣ столь возмутительной, наглой и нелѣпой, что дѣйствительно не знаешь: чего же они, наконецъ, хотятъ?

Невольно вспоминается мнѣ одинъ пьяный сотскій, котораго я видѣлъ какъ-то на сельскомъ праздникѣ. Онъ едва стоялъ на ногахъ, приставалъ ко всѣмъ, лѣзъ въ хороводъ, ругался, безобразничалъ и не хотѣлъ итти домой. На представленія своего не менѣе пьянаго, но болѣе благоразумнаго коллеги, онъ отвѣчалъ: *оставь! „нешто не знаешь... мы здѣсь для безпорядка!...“* Эти слова пьянаго сотскаго могли бы заставить крѣпко задуматься многихъ трезвыхъ консерваторовъ относительно характера и результатовъ ихъ собственной дѣятельности. Если они — охранители, то каковы же должны быть разрушители? И не естественно ли предположить, что наиболѣе догадливые изъ этихъ послѣднихъ, вмѣсто того чтобы съ явно-негодными средствами покушаться на существующій порядокъ и уподобляться мухамъ, жужжащимъ надъ соннымъ пустыннымъ, идутъ

въ ряды охранителей — бить этихъ самыхъ мухъ здоровеннымъ булыжникомъ у него на головѣ? Въмѣсто того, чтобы фабриковать бумажки, на которыхъ попадаются лишь отдѣльныя, наивныя мухи, не дѣйствительныя ли, съ точки зрѣнія помянутыхъ разрушителей, готовить всеобщую смуту законнымъ путемъ, сотрудничая въ органахъ реакціонной печати, или составляя записки, направленные противъ судебныхъ уставовъ, народной школы, высшаго образованія? Если такъ дѣйствуютъ люди неблагонамѣренныя и злокозненныя, то они въ своемъ родѣ много много мудрѣ сыновъ благонамѣренности.

Но вотъ люди, которыхъ всѣ считаютъ охранителями, и которыхъ искренности мы хотимъ вѣрить. Почему же они-то повторяютъ, подобно Аттиллѣ: „трава не должна расти тамъ, гдѣ ступило копыто моего коня!“ Имъ-то зачѣмъ направлять всю свою изобрѣтательность на возбужденіе и озлобленіе общества противъ учреждений и началъ, которыми они дорожатъ.

Да послужить же имъ урокомъ судьба классической школы. Они ею очень дорожили и увѣряютъ, будто до сихъ поръ дорожатъ, и они же втоптали ее въ грязь, растлили и погубили. Благодаря имъ ея больше нѣтъ. Реформа, которая смела, и такъ легко смела толстовскую гимназію при общемъ ликованіи русскаго общества, могла случиться раньше или позднѣе, но она была неизбежна, потому что ея желали всѣ и потому что пресловутая „система“ насолала всѣмъ. Урокъ нашего „классицизма“ показываетъ, что нельзя пренебрегать обществомъ, какъ бы безсильно оно ни было; что нельзя его насиловать и не считаться съ тѣмъ, чего оно сильно и упорно хочетъ. Если дезорганизовать общество; если отнять у него возможность правильнаго, нормальнаго выраженія, разумаго обсужденія и осуществленія его стремленій, — мы не убьемъ этихъ стремленій, а сдѣлаемъ ихъ стихійными и неразумными; мы раздуемъ страсти, ожесточимъ ненависть. Мы можемъ помѣшать обществу выработать положительную программу, но этимъ мы добьемся только того, что такая программа будетъ непродумана...

Вотъ „урокъ классицизма“, который нельзя не извлечь изъ настоящихъ событій. Гимназія была первымъ изъ даровъ духа Толстого, естественно она должна была быть смыта ранѣе другихъ даровъ того же духа...

Меньшово, 1901 г. 27 июля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Статья: „Фрейлейнъ“ была написана въ августѣ 1903 г. и предназначена для „Петербургскихъ Вѣдомостей“, которые отказались ее печатать. Позднѣе, князь Сергій Николаевичъ хотѣлъ помѣстить ее въ журналъ „вопросы философіи и психологіи“ подъ предлогомъ библиографической замѣтки къ послѣднему ученому труду Мечникова; но „Освобожденіе“ предупредило его, и, безъ его вѣдома, помѣстило „Фрейлейнъ“ въ своемъ органѣ.

Помѣщается теперь она посреди тѣхъ статей и въ томъ порядкѣ, въ какомъ ей впервые предназначалось появиться на свѣтъ.

Фрейлейнъ.

Вотъ уже два года, какъ я не имѣю удовольствія писать въ своихъ политическихъ газетахъ. Въ моемъ дѣтствѣ были моменты, когда я чувствовалъ себя слишкомъ большимъ, чтобы гулять съ гувернанткой, и я предпочиталъ сидѣть дома, нежели чинно гулять подъ ея надзоромъ по тѣмъ неизмѣннымъ скучнымъ дорожкамъ, которыми она меня водила. Въ совершенно такомъ же положеніи я находился въ послѣднее время по отношенію къ цѣлому ряду публицистическихъ прогулокъ, которыя бы мнѣ хотѣлось предпринять въ нѣкоторыя достопримѣчательныя учрежденія и мѣстности моего отечества — по внутреннимъ губерніямъ, въ Финляндію и Кишиневъ. Нельзя безъ гувернантки — будемъ сидѣть дома и ждать, пока позволятъ гулять однимъ, пока заслужимъ довѣріе старшихъ. Будемъ сидѣть въ кабинетѣ, учиться и читать умныя, ученые книги. Это, какъ будто, можно и безъ гувернантки. Но вотъ, оказывается, что и въ кабинетѣ я могу напроказить, или прочесть что-нибудь лишнее; оказывается, что и въ кабинетѣ меня нельзя оставить одного. И я поневолѣ выхожу изъ него, чтобы пожаловаться на мою гувернантку.

За послѣднее время изъ научныхъ новостей, возбуждавшихъ общій интересъ, можно указать на ученый споръ „Bibel und Babylon“, споръ объ отношеніи древне-вавилонской культуры къ іудейской библейской, который съ легкой руки проф. Делича и императора Вильгельма взволновалъ всю Германію сверху до низу и породилъ цѣлую обширную литературу. Другая новинка — французская книга Мечникова, одного изъ немногихъ русскихъ ученыхъ, снискавши всемірную извѣстность.

И вотъ, замѣтивъ, что я заинтересовался этими новинками, гувернантка взяла и заперла ихъ отъ меня въ шкафъ, куда уже раньше упрятала отъ меня столько интересныхъ, умныхъ книгъ. Я еще слишкомъ молодъ, глупъ и неразвитъ, чтобы

читать, и всё другіе русскіе мальчики, по мнѣнію нашей фрейлейнъ, слишкомъ молоды, глупы и неразвиты для этого.

Сколько разъ эти русскіе мальчики жаловались на нее съ горькой обидой, доказывая безцѣльность и вредъ этого по истинѣ развращающаго воспитательнаго приѣма. Но фрейлейнъ твердо вѣрить въ непогрѣшимость своей методы и стоитъ на томъ, что яйца курицу не учатъ. Ей не хочется на покой въ пріютъ для престарѣлыхъ гувернантокъ, и она, попрежнему, при чужихъ водить меня за руку, попрежнему опекаетъ, замыкаетъ, останавливаетъ, наказываетъ меня, придирается ко мнѣ, изводитъ и срамитъ меня, рѣжетъ ногти, чтобы я не царапался, стрижетъ волосы, когда находитъ, что они слишкомъ длинны, отнимаетъ у меня книжки и мараетъ мои тетрадки, словомъ, не отпускаетъ меня ни на шагъ и обращается со мной, какъ съ младенцемъ, который не умѣетъ сморкаться и котораго нельзя оставить одного даже въ томъ кабинетѣ, гдѣ онъ запертъ.

Я знаю, что добрая Фрейлейнъ дѣлаетъ все это исключительно для того, чтобы оградить, уберечь меня и другихъ подобныхъ мнѣ глупыхъ русскихъ дѣтей отъ вредныхъ, тлетворныхъ вліяній. Она отнимаетъ у насъ книжки, чтобы мы не научились какимъ-либо нехорошимъ словамъ или чтобы мы не узнали, что дѣти не подъ капустой рождаются и что на свѣтѣ есть злые люди, нигилисты, социалисты, матеріалисты и даже самъ гр. Толстой, о чемъ, по мнѣнію Фрейлейнъ, такіе невинные младенцы, какъ мы, сами никогда не догадаются.

Но, Боже, какъ заблуждается бѣдная Фрейлейнъ, если она вѣрить въ успѣшность этихъ мѣръ и если она не видитъ до какой степени она усугубляетъ зло, дѣлая популярнымъ все то, что она запрещаетъ и внушая отвращеніе ко всему тому, чему она покровительствуетъ, раздражая дурныя наклонности своихъ питомцевъ и парализуя всякую самостоятельную борьбу противъ зла! Ни отъ чего она насъ оградить не можетъ, никакихъ дурныхъ словъ отъ насъ не спрячетъ — всѣхъ ихъ мы знаемъ давно наизусть. Если бы только слышала наша Фрейлейнъ, какими нехорошими словами русскіе мальчики между собой ругаются, она всѣхъ ихъ спрятала бы въ тотъ самый шкафъ, куда она запираетъ отъ насъ умныя книжки! „Kinder, Kinder! Wo haben Sie das gehört?“ „Гдѣ вы такимъ словамъ могли научиться?“ — На улицѣ, Фрейлейнъ! Теперь эти самыя нехорошія слова всякій прохожій знаетъ, на всякомъ заборѣ ихъ прочесть можно, и всѣ наши знакомые мальчики ихъ повторяютъ.

И не то что Мечникова, а самыя худшія изъ тѣхъ книжекъ, которыя вы отъ насъ прячете, мальчики подъ подушками читають! Или и этого вы не замѣчаете?

О, Фрейлейнъ, Фрейлейнъ! Да неужели вы думаете, что если у насъ „Bibel und Babel“ отнять — мы отъ этого благочестивѣе сдѣлаемся, или такъ возьмемъ и Анну Зонтагъ читать начнемъ? Наша интеллигенція вся поголовно изъ Церкви ушла и поражаетъ худшимъ, нежели всякое невѣріе, мертвеннымъ равнодушіемъ къ вопросамъ вѣры, а вы, Фрейлейнъ, отъ насъ „Bibel und Babel“ прячете! Наши дѣти по Марксу читать учатся, какъ дѣды по часослову учились, наша молодежь годами твердаго знака не видитъ, потому что читаетъ исключительно подпольные листки, а вы — Мечникова въ шкафъ!

О, Господи! Когда я буду совсѣмъ большимъ! Когда мнѣ позволять гулять одному, читать и писать одному и когда мнѣ умныя книжки въ руки дадутъ!

Фрейлейнъ... а Фрейлейнъ... я больше не маленькій!... Дайте мнѣ хоть Мечникова почитать!

Струбинъ.

(Кн. С. Трубецкой.)

Меньшово. 1903 г., августъ.

Слѣдующая рѣчь кн. С. Н. была произнесена въ закрытомъ засѣданіи историко-филологическаго общества, по поводу отъѣзда его за границу и необходимости избранія на его мѣсто двухъ профессоровъ въ аваніи товарищей председателя. Она появилась въ печати впервые на столбцахъ „Освобожденія“.

М. Гг! Наше общество вступаетъ во второй годъ своего существованія; этому обществу предстоятъ важныя и сложныя задачи. Къ сожалѣнію, я не буду имѣть возможности участвовать въ вашихъ трудахъ, такъ какъ я долженъ на этотъ годъ уѣхать за границу. Поэтому мнѣ передъ отъѣздомъ хотѣлось бы сказать, какъ я понимаю современное положеніе общества, и выразить вамъ нѣкоторыя мои пожеланія. Я думалъ всегда и говорилъ, что я придаю нашему обществу и его дѣятельности очень большое значеніе. Можетъ-быть, я увлекаюсь, обманиваюсь; но я думаю, что это мое увлеченіе было искренно. Я думалъ и говорилъ всегда, что нашему обществу предназначено сыграть большую роль во внутренней жизни университета. Намъ нужно не бюрократическое преобразованіе уни-

верситета, не эфемерные карточные домики: намъ нужна органическая реформа; она намъ безусловно необходима. Намъ нужно, чтобы университетъ пересталъ быть агрегаторомъ „отдѣльныхъ посѣтителей“, чтобы онъ сталъ однимъ цѣльнымъ организмомъ, одушевленнымъ одними и тѣми же научными и нравственными идеалами. Намъ нужно, чтобы искусственныя программы, нормирующія преподаваніе, уничтожились, чтобы развилась въ университетѣ свобода преподаванія, чтобы преподаваніе опредѣлялось научными требованіями факультета и запросами общества, — нужно, чтобы университетъ приблизился къ обществу и сталъ дѣйствительно свѣтлой и мощной общественной силой. А для этого прежде всего нужно, чтобы произошло сближеніе между учащими и учащимися. Это, по моему, единственно правильный путь къ выработкѣ русскаго, самобытнаго и національнаго университета, — это представляется мнѣ благодарной и плодотворной задачей, для которой наше общество и всѣ другія, какія послѣдуютъ за нашимъ, могутъ и должны трудиться. Я, господа, нисколько не скрываю ни отъ себя, ни отъ васъ — и всѣ, кто меня знаетъ, знаютъ, что я говорю правду, — что за стѣнами университета есть великія задачи, гораздо болѣе значительныя, нежели тѣ, о которыхъ я теперь здѣсь вамъ говорю; но изъ-за этихъ великихъ задачъ намъ не слѣдуетъ забывать тѣхъ непосредственныхъ задачъ, на которыя кромѣ насъ никому работать, которыя просто силою вещей ввѣрены намъ самимъ русскимъ обществомъ. Университетъ не былъ и не будетъ никогда школой общественнаго индифферентизма, а наше общество тѣмъ паче. Если бы я это думалъ, я первый ушелъ бы. Я желаю каждому изъ васъ выйти изъ университета во всеоружіи знанія, желаю каждому изъ васъ вынести изъ университета святую любовь, святую ненависть, — святую ненависть и по отношенію къ тому, что тормозитъ развитіе русской жизни; но пока вы въ университетѣ, помните, что Россіи нужна эта свѣтлая, культурная общественная сила, которая называется университетомъ — и что для этой силы всѣ мы, насколько можемъ, должны работать...

Но, можетъ-быть, вы скажете мнѣ, что я обманываюсь? Мнѣ представляется, что наше общество и тѣ общества, которыя за нимъ послѣдуютъ, могутъ дѣлать здѣсь много. Я укажу вамъ на прошлый годъ. Я не скажу, чтобы мы сдѣлали много. Результаты, достигнутые нами, были незначительны, малы. Было недостаточно энергіи, недостаточно вѣры; было много недовѣрія, вражды противъ общества, которая не разсѣялась еще и до сихъ поръ... (объ этомъ

занъ съ вѣчной ломкой, вѣчнымъ ремонтомъ, и ваше „обитаемое училище“ не будетъ выходить изъ лѣсовъ*). На классическую школу нападаютъ ея противники; школу, защищаемую вами, будутъ раздирать ея друзья—„разумные реалисты“. И въ самомъ дѣлѣ, какъ напримѣръ, распредѣлить всѣ тѣ хорошія науки, которыя входятъ въ ея учебный планъ? Тамъ, гдѣ въ основаніе такого плана заложень общій руководящій принципъ, тамъ есть и система, есть разумное основаніе для распредѣленія предметовъ, которые взаимно дополняютъ другъ друга. Тамъ же, гдѣ планъ составленъ совершенно случайно изъ разныхъ хорошихъ наукъ, тамъ и распредѣленіе предметовъ можетъ быть только случайнымъ и держаться случайнымъ образомъ. И вы можете мѣнять его изъ года въ годъ безъ всякаго результата. Почему на естествовѣдѣніе выпало 9 часовъ а на латынь—16? Почему на логику—два часа, а на черченіе—17? Почему? Сойдетесь вы съ другимъ разумнымъ реалистомъ и найдете что вмѣсто „третьестепенныхъ римлянъ“, остановившихся послѣ изгнанія Гомера, Софокла, Платона, хорошо бы прибавить часокъ-другой на „честную русскую литературу“, и ваши ученики узнаютъ и безъ школьной указки, если они не будутъ круглыми тупицами, что новѣйшая литература у насъ, какъ и вездѣ, должна составлять предметъ общественнаго интереса, а не школьнаго преподаванія которое еще, чего добраго, угасить этотъ интересъ въ учащихся. Вмѣсто этого названный реалистъ сочтетъ желательнымъ прибавить число часовъ по естествовѣдѣнію, находя, что въ 9 часовъ можно пройти развѣ лишь какіе-нибудь плохенькіе куцые учебники, не дающіе никакого понятія о предметѣ, и на которые вовсе не стоитъ тратить времени. Третій разумный реалистъ найдетъ, что вмѣсто латыни или черченія не худо бы ввести политическую экономію статистику, социологію, какъ совѣтывалъ г. Кантель: и я рѣшительно не вижу, почему вы не найдете желанія его основательными. Согласитесь, что вѣдь и социологія—хорошая наука! Но можетъ быть вы скажете, что новая школа должна готовить насъ къ жизни, для жизни черченіе и ручной трудъ полезнѣе самой социологіи *non scholae, sed vitae!* И такимъ образомъ споръ вашъ можетъ тянуться до безконечности, съ переменнымъ счастьемъ, но безъ надежды на дѣйствительное разрѣшеніе. Чему отдать предпочтеніе—латыни или естествовѣдѣнію, логикѣ или черченію? И на какомъ основаніи? Невольно вспоминается басня Козьмы Пруткова о двухъ

*) Въ предыдущую мою статью вкралась опечатка: вмѣсто „обитаемое училище“ и „учить“ слѣдуетъ читать „обитаемое жилище“ и „жить“.

доблестныхъ студіозахъ, — Вагнеръ и Кохъ, — изъ коихъ Кохъ логикѣ „славно учился, а Вагнеръ искусно чертилъ“. Помните рѣшеніе вхъ спора:

Мнѣ нравятся очень *обои*,
Сказалъ я и выбѣжалъ *вонъ*...

И такъ вотъ основанія, которыя, въ числѣ другихъ, заставляютъ меня въ высшей степени сомнѣваться въ жизнеспособности новой единой школы. Искреннее и твердое убѣжденіе заставляетъ меня высказывать мои сомнѣнія со всей возможною откровенностью и прямою, и я надѣюсь, что друзья новой школы на меня за это не посѣтуютъ. Высказывать такіа сомнѣнія въ настоящую минуту общаго ликованія надъ развалинами классическаго Иліона — далеко не весело; не весело восклицать, подобно Кассандрѣ въ „Торжествѣ побѣдителей“:

Нынѣ жребій выпалъ Троѣ,
Завтра выпадетъ другимъ!

Во всякомъ случаѣ, Иліада классицизма кончена; посмотримъ, какова будетъ Одиссея разумнаго реализма...

Но довольно сомнѣній. Я хотѣлъ бы вѣрить и надѣяться, и въ слѣдующей статьѣ моей постараюсь выяснитъ положительное значеніе настоящей реформы.

Меньшово. 1905 г. 19 іюля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Урокъ классицизма

(нѣкоторымъ изъ его друзей).

Какъ убѣжденный классикъ, признающій безусловное превосходство правильно-понимаемаго классицизма надъ другими существующими системами образованія, я высказалъ мое отношеніе къ проектируемой школьной реформѣ. Какъ русскій человекъ, надѣющийся на будущее отечественнаго просвѣщенія, несмотря на всѣ испытанія, которымъ оно подвергается, я вѣрю и въ то, что классицизмъ возродится — не въ той ненавистной казенно-полицейской школѣ, изъ которой онъ изгнанъ, а въ дѣйствительной гуманитарной, свободной классической школѣ, ему соотвѣтствующей. *Освобожденіе*

классицизма отъ полицейско-бюрократической опеки представляется мнѣ главнымъ положительнымъ результатомъ предстоящей реформы.

Отнынѣ задача всѣхъ убѣжденныхъ сторонниковъ классицизма состоитъ въ томъ, чтобы доказать на дѣлѣ его жизнеспособность. Отказавшись отъ ложнаго стремленія насильно всѣхъ сдѣлать классиками, они должны направить свои усилія на то, чтобы всѣ желающіе могли получить не мнимое, а дѣйствительное, классическое образованіе. Сначала такихъ желающихъ будетъ немного. Тѣмъ легче будетъ сдѣлать образцовыми тѣ немногія классическія гимназій, которыя удастся сохранить. Когда увлеченіе новою единою школою остынетъ, — а это неизбежно случится въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, — число такихъ гимназій будетъ возрастать. Мы мечтали о томъ, чтобы реформа, кореннымъ образомъ измѣнивъ школьный режимъ и школьную политику, вызвала къ жизни рядъ хорошихъ, равноправныхъ, реальныхъ школъ различныхъ типовъ на ряду съ классической средней школою. Теперь, если случится иначе, мы должны идти обратнымъ путемъ къ тому же результату, т.-е. стремиться къ развитію истинно-классической школы на ряду съ новой *Bürgerschule* или *quasi*-реальной школою проектированнаго типа.

Такой путь, безспорно, труднѣе, но за то всякій успѣхъ, сдѣланный на немъ, будетъ дѣйствительнымъ и прочнымъ завоеваніемъ *самого* классицизма, образовательное значеніе котораго выяснится обществу только тогда, когда не будетъ болѣе классиковъ поневолѣ. Пусть поступаютъ изъ-подъ палки во всякую иную школу, только не въ ту, которую мы хотимъ сдѣлать наилучшей.

Я писалъ доселѣ о врагахъ классицизма. Но слѣдуетъ поговорить и о тѣхъ изъ его друзей, которые опаснѣе для него всякихъ враговъ, — которые растлили нашу школу и сдѣлали классицизмъ ненавистнымъ, соединивъ съ нимъ представленіе о „толстовско-катковской системѣ“. И теперь, когда толстовская гимназія осуждена, они жалѣютъ именно о ней, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что она-то и есть истинная виновница гибели классицизма.

Я не хочу повторять здѣсь все то, что пишутъ о ней педагоги и публицисты, ищущіе угодить большой публикѣ. Я сошлюсь только на указанная уже мною статьи гр. Канниста „Къ вопросу о реорганизации средняго образованія“, недавно вышедшія отдѣльной книжкой. Здѣсь мы находимъ вѣское и безпристрастное слово человека, близко знакомаго съ дѣломъ: строгаго классика, недопускающаго никакихъ уступокъ и компромиссовъ въ школьномъ дѣлѣ. И

тѣмъ не менѣе, онъ находитъ, что реформа Толстого „была осуществлена способами, которые можно назвать почти преступными“. и что она причинила „нашему среднему образованію бѣднѣйшій вредъ, чѣмъ тотъ, какому она подвергалась въ самыя мрачныя для просвѣщенія времена, пережитыя нашимъ отечествомъ“. Наибольшій вредъ былъ нанесенъ ею именно классическому образованію, такъ какъ на него, „благодаря ложной его постановкѣ, главнымъ образомъ, палъ весь одиумъ вновь установленнаго режима“ (69). Реформа среднего образованія „была направлена гр. Толстымъ не на истинное служеніе просвѣщенію, а обращена въ какое-то антисептическое средство для искорененія „вольнодумства“ путемъ возстановленія преподаванія тѣхъ же древнихъ языковъ, которые двадцать лѣтъ передъ тѣмъ признавались чуть ли не главнымъ источникомъ ненадлежащаго образа мыслей“. Проникнутая „узко-полицейскимъ взглядомъ на дѣло“ и „бюрократическимъ мракобѣсіемъ“, система Толстого извратила какъ „внутренній строй“ нашей школы, „такъ и отношенія ея къ самымъ существеннымъ ея обязанностямъ, т.-е. къ обученію и воспитанію, а равно и ея отношенія къ стоящимъ внѣ ея семьѣ и обществу“. „Уклонившись отъ прямыхъ образовательныхъ задачъ“, реформа 1871 г. „установила въ нашей средней школѣ лишь внѣшній, кажущійся порядокъ“, изгнала изъ нея „всякую живую мысль“ и привела къ „омертвленію“ школы, къ тому чисто полицейскому пониманію ея задачъ, которое совершенно извратило всѣ отношенія внутри школы и „которое не безъ основанія и нынѣ продолжаетъ наиболѣе раздражать учащихся, учащихся, семью и общество“.

Отъ этого справедливаго и вполне компетентнаго свидѣтельства нельзя отдѣлаться какъ отъ бойкой рыночной брани, расточаемой въ догонку изгнанному классицизму. Спрашивается, кто же его погубилъ? Фельетонисты, которые бранятъ его, когда это имъ дозволяется, и пишутъ, что онъ есть „наслѣдіе наивныхъ средневѣковыхъ варваровъ“, серьезные литературные враги, или, наоборотъ, его же призванные ревнители, преторіанцы Каткова и гр. Толстого, жандармы классицизма? Легко сваливать все на коварныхъ „либераловъ“ и „нигилистовъ“, на общество, яко бы возстановленное ими. Слишкомъ ясно, кто здѣсь возстановилъ общество, и сколько-нибудь безпристрастный взглядъ на дѣло убѣдитъ насъ, что въ данномъ случаѣ „нигилисты“ не при чемъ. А тѣмъ присяжнымъ охранителямъ, которые на каждомъ шагѣ усматриваютъ дѣйствіе субверсивныхъ началъ, не мѣшало бы подумать о слѣдующемъ.

Съ призракомъ нигилизма боролись, то изгоняя классицизмъ, то вводя его снова въ видѣ полицейскаго мѣропріятія, не замѣчая, что *такъ называемый нигилизмъ есть необходимый и неизбежный спутникъ реакціи*. Сократъ говорить, что Зевсъ, не будучи въ состояніи примирить удовольствіе и страданіе, навсегда связалъ ихъ такъ, что одно не можетъ быть безъ другого. Точно такъ же, повидимому, Зевсъ поступилъ и съ реакціей и нигилизмомъ: гдѣ она, тамъ и онъ, и гдѣ онъ, тамъ и она. Поэтому-то въ наши дни, при оцѣнкѣ иныхъ явленій нашей жизни, перѣдко путаешься и не знаешь, чѣмъ ихъ объяснить: крайнимъ радикализмомъ или его противоположностью, точно такъ же, какъ иной разъ не знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло: съ убѣжденнымъ реакціонеромъ, съ провокаторомъ или „нигилистомъ“. Если въ былое время разрушители работали на руку охранителей, то теперь охранители платятъ имъ съ лихвою. Лучшее средство подкопаться подъ тѣ или другія охраняемыя начала и учрежденія и подготовить ихъ крушеніе состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать ихъ ненавистными и омерзительными и ожесточить противъ нихъ всѣхъ. И вотъ въ наши дни мы видимъ, что не разрушители, а именно охранители всячески стараются сдѣлать ненавистнымъ все то, что они охраняютъ: именно они, а не кто другой, какъ будто всѣми силами стремятся доказать всѣмъ воочію, что охраняемое ими не совмѣстимо съ элементарными условіями нормальной общественной жизни, съ гражданскимъ порядкомъ, съ гласностью, съ обезпеченностью личности. Они кричатъ объ этомъ на кровляхъ, иногда въ формѣ столь возмутительной, наглой и нелѣпой, что дѣйствительно не знаешь: чего же они, наконецъ, хотятъ?

Невольно вспоминается мнѣ одинъ пьяный сотскій, котораго я видѣлъ какъ-то на сельскомъ праздникѣ. Онъ едва стоялъ на ногахъ, приставакъ ко всѣмъ, лѣзъ въ хороводъ, ругался, безобразничалъ и не хотѣлъ итти домой. На представленія своего не менѣе пьянаго, но болѣе благоразумнаго коллеги, онъ отвѣчалъ: *оставь! „нешто не знаешь... мы здѣсь для безпорядка!...“* Эти слова пьянаго сотскаго могли бы заставить крѣпко задуматься многихъ трезвыхъ консерваторовъ относительно характера и результатовъ ихъ собственной дѣятельности. Если они — охранители, то каковы же должны быть разрушители? И не естественно ли предположить, что наиболѣе догадливые изъ этихъ послѣднихъ, вмѣсто того чтобы съ явно-негодными средствами покушаться на существующій порядокъ и уподобляться мухамъ, жужжащимъ надъ соннымъ пустыннымъ, идутъ

въ ряды охранителей — бить этихъ самыхъ мухъ здоровеннымъ булыжникомъ у него на головѣ? Въмѣсто того, чтобы фабриковать бумажки, на которыхъ попадаются лишь отдѣльныя, наивныя мухи, не дѣйствительныя ли, съ точки зрѣнія упомянутыхъ разрушителей, готовить всеобщую смуту законнымъ путемъ, сотрудничая въ органахъ реакціонной печати, или составляя записки, направленные противъ судебныхъ уставовъ, народной школы, высшаго образованія? Если такъ дѣйствуютъ люди неблагонамѣренныя и злокозненныя, то они въ своемъ родѣ много много мудрѣ сыновъ благонамѣренности.

Но вотъ люди, которыхъ всѣ считаютъ охранителями, и которыхъ искренности мы хотимъ вѣрить. Почему же они-то повторяютъ, подобно Аттиллѣ: „травѣ не должна расти тамъ, гдѣ ступило копыто моего коня!“ Имъ-то зачѣмъ направлять всю свою изобрѣтательность на возбужденіе и озлобленіе общества противъ учреждений и началъ, которыми они дорожатъ.

Да послужить же имъ урокомъ судьба классической школы. Они ею очень дорожили и увѣряютъ, будто до сихъ поръ дорожатъ, и они же втоптали ее въ грязь, растлили и погубили. Благодаря имъ ея больше нѣтъ. Реформа, которая смела, и такъ легко смела толстовскую гимназію при общемъ ликованіи русскаго общества, могла случиться раньше или позже, но она была неизбежна, потому что ея желали всѣ и потому что пресловутая „система“ насолила всѣмъ. Урокъ нашего „классицизма“ показываетъ, что нельзя пренебрегать обществомъ, какъ бы безсильно оно ни было; что нельзя его насиловать и не считаться съ тѣмъ, чего оно сильно и упорно хочетъ. Если дезорганизовать общество; если отнять у него возможность правильного, нормальнаго выраженія, разумнаго обсужденія и осуществленія его стремленій, — мы не убьемъ этихъ стремленій, а сдѣлаемъ ихъ стихійными и неразумными; мы раздуемъ страсти, ожесточимъ ненависть. Мы можемъ помѣшать обществу выработать положительную программу, но этимъ мы добьемся только того, что такая программа будетъ непродумана...

Вотъ „урокъ классицизма“, который нельзя не извлечь изъ настоящихъ событій. Гимназія была первымъ изъ даровъ духа Толстого, естественно она должна была быть смыта ранѣе другихъ даровъ того же духа...

Меньшово. 1901 г. 27 іюля.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Статья: „Фрейлейт“ была написана въ августѣ 1903 г. и предназначена для „Петербургскихъ Вѣдомостей“, которыя отказались ее печатать. Позднѣе осенью, князь Сергій Николаевичъ хотѣлъ помѣстить ее въ журналъ „вопросы философіи и психологіи“ подъ предлогомъ библиографической замѣтки къ послѣднему ученому труду Мечникова; но „Освобожденіе“ предупредило его замѣчаніемъ и, безъ его вѣдома, помѣстило „Фрейлейт“ въ своемъ органѣ.

Помѣщается теперь она посреди тѣхъ статей и въ томъ порядкѣ, въ какомъ ей впервые предназначалось появиться на свѣтъ.

Фрейлейтъ.

Вотъ уже два года, какъ я не имѣю удовольствія писать въ нашихъ политическихъ газетахъ. Въ моемъ дѣтствѣ были моменты, когда я чувствовалъ себя слишкомъ большимъ, чтобы гулять съ гувернанткой, и я предпочиталъ сидѣть дома, нежели чинно гулять подъ ея надзоромъ по тѣмъ неизмѣннымъ скучнымъ дорожкамъ, по которымъ она меня водила. Въ совершенно такомъ же положеніи я находился въ послѣднее время по отношенію къ цѣлому ряду публицистическихъ прогулокъ, которыя бы мнѣ хотѣлось предпринять въ нѣкоторыя достопримѣчательныя учрежденія и мѣстности моего отечества — по внутреннимъ губерніямъ, въ Финляндіи, Кишиневѣ. Нельзя безъ гувернантки — будемъ сидѣть дома и ждать, пока позволятъ гулять однимъ, пока заслужимъ довѣріе старшихъ. Будемъ сидѣть въ кабинетѣ, учиться и читать умныя, ученые книжки. Это, какъ будто, можно и безъ гувернантки. Но вотъ, оказывается, что и въ кабинетѣ я могу напроказить, или прочесть что-либо лишнее; оказывается, что и въ кабинетѣ меня нельзя оставить одного. И я поневолѣ выхожу изъ него, чтобы пожаловаться на мою гувернантку.

За послѣднее время изъ научныхъ новостей, возбуждавшихъ общій интересъ, можно указать на ученый споръ „Bibel und Babel“ — споръ объ отношеніи древне-вавилонской культуры къ іудейско-библейской, который съ легкой руки проф. Делича и императора Вильгельма взволновалъ всю Германію сверху до низу и породилъ цѣлую обширную литературу. Другая новинка — французская книга Мечникова, одного изъ немногихъ русскихъ ученыхъ, снискавшихъ всемірную извѣстность.

И вотъ, замѣтивъ, что я заинтересовался этими новинками, моя гувернантка взяла и заперла ихъ отъ меня въ шкафъ, куда она уже раньше упрятала отъ меня столько интересныхъ, умныхъ книжекъ. Я еще слишкомъ молодъ, глупъ и неразвитъ, чтобы ихъ

читать, и всё другіе русскіе мальчики, по мнѣнію нашей фрейлейнъ, слишкомъ молоды, глупы и неразвиты для этого.

Сколько разъ эти русскіе мальчики жаловались на нее съ горькой обидой, доказывая безцѣльность и вредъ этого по истинѣ развращающаго воспитательнаго приѣма. Но фрейлейнъ твердо вѣрить въ непогрѣшимость своей методы и стоитъ на томъ, что яйца курицу не учать. Ей не хочется на покой въ пріютъ для престарѣлыхъ гувернантокъ, и она, попрежнему, при чужихъ водить меня за руку, попрежнему опекаетъ, замыкаетъ, останавливаетъ, наказываетъ меня, придирается ко мнѣ, изводитъ и срамитъ меня, рѣжетъ ногти, чтобы я не царапался, стрижетъ волосы, когда находитъ, что они слишкомъ длинны, отнимаетъ у меня книжки и мараетъ мои тетрадки, словомъ, не отпускаетъ меня ни на шагъ и обращается со мной, какъ съ младенцемъ, который не умѣетъ сморкаться и котораго нельзя оставить одного даже въ томъ кабинетѣ, гдѣ онъ запертъ.

Я знаю, что добрая Фрейлейнъ дѣлаетъ все это исключительно для того, чтобы оградить, уберечь меня и другихъ подобныхъ мнѣ глупыхъ русскихъ дѣтей отъ вредныхъ, тлетворныхъ вліяній. Она отнимаетъ у насъ книжки, чтобы мы не научились какимъ-либо нехорошимъ словамъ или чтобы мы не узнали, что дѣти не подъ капустой рождаются и что на свѣтѣ есть злые люди, нигилисты, социалисты, матеріалисты и даже самъ гр. Толстой, о чемъ, по мнѣнію Фрейлейнъ, такіе невинные младенцы, какъ мы, сами никогда не догадаются.

Но, Боже, какъ заблуждается бѣдная Фрейлейнъ, если она вѣрить въ успѣшность этихъ мѣръ и если она не видитъ до какой степени она усугубляетъ зло, дѣлая популярнымъ все то, что она запрещаетъ и внушая отвращеніе ко всему тому, чему она покровительствуетъ, раздражая дурныя наклонности своихъ питомцевъ и парализуя всякую самостоятельную борьбу противъ зла! Ни отъ чего она насъ оградить не можетъ, никакихъ дурныхъ словъ отъ насъ не спрячетъ — всѣхъ ихъ мы знаемъ давно наизусть. Если бы только слышала наша Фрейлейнъ, какими нехорошими словами русскіе мальчики между собой ругаются, она всѣхъ ихъ спрятала бы въ тотъ самый шкапъ, куда она запираетъ отъ насъ умныя книжки! „Kinder, Kinder! Wo haben Sie das gehört?“ „Гдѣ вы такимъ словамъ могли научиться?“ — На улицѣ, Фрейлейнъ! Теперь эти самыя нехорошія слова всякій прохожій знаетъ, на всякомъ заборѣ ихъ прочесть можно, и всѣ наши знакомые мальчики ихъ повторяютъ.

И не то что Мечникова, а самыя худшія изъ тѣхъ книжекъ, которыя вы отъ насъ прячете, мальчики подъ подушками читають! Или и этого вы не замѣчаете?

О, Фрейлейнъ, Фрейлейнъ! Да неужели вы думаете, что если у насъ „Bibel und Babel“ отнять — мы отъ этого благочестивѣе сдѣлаемся, или такъ возьмемъ и Анну Зонтагъ читать начнемъ? Наша интеллигенція вся поголовно изъ Церкви ушла и поражаетъ худшимъ, нежели всякое невѣріе, мертвеннымъ равнодушіемъ къ вопросамъ вѣры, а вы, Фрейлейнъ, отъ насъ „Bibel und Babel“ прячете! Наши дѣти по Марксу читать учатся, какъ дѣды по часослову учились, наша молодежь годами твердаго знака не видитъ, потому что читаетъ исключительно подпольные листки, а вы — Мечникова въ шкафъ!

О, Господи! Когда я буду совсѣмъ большимъ! Когда мнѣ позволять гулять одному, читать и писать одному и когда мнѣ умныя книжки въ руки дадутъ!

Фрейлейнъ... а Фрейлейнъ... я больше не маленькій!... Дайте мнѣ хоть Мечникова почитать!

Струбинъ.

(Кн. С. Трубецкой.)

Меньшово. 1903 г., августъ.

Слѣдующая рѣчь кн. С. Н. была произнесена въ закрытомъ засѣданіи историко-филологическаго общества, по поводу отъѣзда его за границу и необходимости избранія на его мѣсто двухъ профессоровъ въ званіи товарищей предсѣдателя. Она появилась въ печати впервые на столбцахъ „Освобожденія“.

М. Гг! Наше общество вступаетъ во второй годъ своего существованія; этому обществу предстоятъ важныя и сложныя задачи. Бъ сожалѣнію, я не буду имѣть возможности участвовать въ вашихъ трудахъ, такъ какъ я долженъ на этотъ годъ уѣхать за границу. Поэтому мнѣ передъ отъѣздомъ хотѣлось бы сказать, какъ я понимаю современное положеніе общества, и выразить вамъ нѣкоторые мои пожеланія. Я думалъ всегда и говорилъ, что я придаю нашему обществу и его дѣятельности очень большое значеніе. Можетъ-быть, я увлекаюсь, обманываюсь; но я думаю, что это мое увлеченіе было искренно. Я думалъ и говорилъ всегда, что нашему обществу предназначено сыграть большую роль во внутренней жизни университета. Намъ нужно не бюрократическое преобразованіе уни-

верситета, не эфемерные карточные домики: намъ нужна органическая реформа; она намъ безусловно необходима. Намъ нужно, чтобы университетъ пересталъ быть агрегаторомъ „отдѣльныхъ посѣтителей“, чтобы онъ сталъ однимъ цѣльнымъ организмомъ, одушевленнымъ одними и тѣми же научными и нравственными идеалами. Намъ нужно, чтобы искусственныя программы, нормирующія преподаваніе, уничтожились, чтобы развилась въ университетѣ свобода преподаванія, чтобы преподаваніе опредѣлялось научными требованіями факультета и запросами общества, — нужно, чтобы университетъ приблизился къ обществу и сталъ дѣйствительно свѣтлой и мощной общественной силой. А для этого прежде всего нужно, чтобы произошло сближеніе между учащими и учащимися. Это, по моему, единственно правильный путь къ выработкѣ русскаго, самобытнаго и національнаго университета, — это представляется мнѣ благодарной и плодотворной задачей, для которой наше общество и всѣ другія, какія послѣдуютъ за нашимъ, могутъ и должны трудиться. Я, господа, нисколько не скрываю ни отъ себя, ни отъ васъ — и всѣ, кто меня знаетъ, знаютъ, что я говорю правду, — что за стѣнами университета есть великія задачи, гораздо болѣе значительныя, нежели тѣ, о которыхъ я теперь здѣсь вамъ говорю; но изъ-за этихъ великихъ задачъ намъ не слѣдуетъ забывать тѣхъ непосредственныхъ задачъ, на которыя кромѣ насъ некому работать, которыя просто силою вещей ввѣрены намъ самимъ русскимъ обществомъ. Университетъ не былъ и не будетъ никогда школой общественнаго индифферентизма, а наше общество тѣмъ паче. Если бы я это думалъ, я первый ушелъ бы. Я желаю каждому изъ васъ выйти изъ университета во всеоружіи знанія, желаю каждому изъ васъ вынести изъ университета святую любовь, святую ненависть, — святую ненависть и по отношенію къ тому, что тормозитъ развитіе русской жизни; но пока вы въ университетѣ, помните, что Россіи нужна эта свѣтлая, культурная общественная сила, которая называется университетомъ — и что для этой силы всѣ мы, насколько можемъ, должны работать...

Но, можетъ-быть, вы скажете мнѣ, что я обманываюсь? Мнѣ представляется, что наше общество и тѣ общества, которыя за нимъ послѣдуютъ, могутъ дѣлать здѣсь много. Я укажу вамъ на прошлый годъ. Я не скажу, чтобы мы сдѣлали много. Результаты, достигнутые нами, были незначительны, малы. Было недостаточно энергіи, недостаточно вѣры; было много недовѣрія, вражды противъ общества, которая не разсѣялась еще и до сихъ поръ... (объ этомъ

свидѣтельствуютъ и вотъ эти листки¹⁾. Но, господа, кромѣ того, мы должны признать еще и то, что мы дѣлали много невольныхъ ошибокъ: наши первые шаги были неувѣрены... И все-таки результаты, достигнутые нами, болѣе значительны, чѣмъ мы могли ожидать, чѣмъ могло сниться нѣсколько лѣтъ назадъ. Въдъ на самомъ дѣлѣ,—это не слова,—мы перестали быть „отдѣльными посѣтителями“ университета. Учащіе и учащіеся соединились въ той мѣрѣ, въ какой этого прежде никогда не было. Вспомните наши прошлогоднія засѣданія. Мы собирались чуть ли не ежедневно. Вспомните, сколько жизни, оживленія вносилось въ нашу среду, какъ свободно обсуждались самые различные, самые широкіе вопросы науки и общественной жизни. И — въдъ это не праздна слова — это служило дѣлу нашего образованія, — образованія общественности; и въ итогѣ этой скромной общественной дѣятельности, мы добились еще одного важнаго результата, который для студенчества прошелъ довольно незамѣтно, но для университета имѣлъ громадное значеніе: было уничтожено кураторство. За это уничтоженіе высказались члены совѣта въ виду тѣхъ отношеній, какія сложились между учащими и учащимися, въ виду той единственно возможной формы общенія между нами, которая исключаетъ всякую насильственную опеку. Для профессоровъ кураторство было болѣе одіозно, чѣмъ для студентовъ, которые его не видали. То, что мы сдѣлали, тѣ отношенія, которыя сложились между нами, сдѣлали невозможной эту бюрократическую организацію. Въдъ, это чего-нибудь да стоитъ!... Но мало этого. Была создана автономная университетская комиссія съ выборнымъ составомъ для завѣдыванія студенческими учрежденіями. Она до сихъ поръ не проявляла своей дѣятельности потому, что она никому не хочетъ навязываться. Я самъ близко знаю нѣкоторыхъ членовъ комиссіи²⁾ и скажу, что она призвана служить процвѣтанію, а не тормозомъ для всѣхъ студенческихъ учреждений. Въ борьбѣ за эту комиссію мы лишились одного изъ лучшихъ нашихъ профессоровъ³⁾, котораго нашъ факультетъ и студенчество оплакиваютъ до сихъ поръ. Я не хочу сказать, что эта комиссія разрѣшила всѣ вопросы университетской жизни. Нѣтъ, и тутъ еще будетъ много борьбы. Является вопросъ, насколько прочно это учрежденіе. Я не хочу, чтобы вы обманывались, но все-таки это первый разъ, что является

¹⁾ При этомъ С. Н. показалъ аудиторіи экземпляръ разложенныхъ по скамьямъ прокламаций.

²⁾ Р. Ю. Випперъ, М. К. Любавскій, А. А. Мануиловъ, В. М. Хвостовъ, В. И. Вернадскій, Церасскій, Дьяконовъ (хир.), Фохтъ; предсѣдательствовала Фохтъ.

³⁾ П. Г. Виноградовъ.

въ исторіи университета фактъ такого рода, и это не пройдетъ безслѣдно. Это указываетъ намъ путь, по которому мы, для рѣшенія нашихъ чисто университетскихъ дѣлъ, можемъ идти. Я не хочу увѣрять васъ, что этимъ все достигнуто. Это только намекъ на то, что мы должны дѣлать, опять-таки для рѣшенія чисто университетскихъ вопросовъ. Я буду говорить не свое мнѣніе. Я укажу, чего добиваются, за рѣдкими и печальными исключеніями, университетскіе дѣятели. Во-первыхъ, преобразованія университета на началахъ автономіи. Во-вторыхъ, довольно щекотливый вопросъ, — я буду откровененъ, — вопросъ объ инспекціи. Въ-третьихъ, вопросъ объ уничтоженіи курсовыхъ дѣленій и развитіи свободнаго преподаванія. И мнѣ кажется, во всѣхъ этихъ трехъ направленіяхъ наше общество должно работать. Чѣмъ болѣе университетская жизнь будетъ приобретать характеръ автономіи, тѣмъ прочнѣе будутъ заложены основанія автономіи университета, — и это будетъ реформа дѣйствительно органическая, съ которой правительству придется, въ концѣ концовъ, считаться. Это есть самый надежный путь къ достиженію цѣли, и потому, чѣмъ шире мы разовьемъ нашу дѣятельность, тѣмъ лучше не только для насъ, но и для университета. Далѣе, вопросъ объ инспекціи, этой ахиллесовой пятѣ, которая щекотлива, какъ всякая пята. Чтобы не сказать лишняго, я предлагаю кому-нибудь вступить со мной въ сократическій діалогъ и отвѣчать „да“ или „нѣтъ“.

С. Н. Александръ Ивановичъ¹⁾), что, мы видимъ инспекцію въ нашихъ собраніяхъ?

Ан. Нѣтъ.

С. Н. Что, возможно существованіе университетскихъ обществъ съ участіемъ инспекціи?

Ан. Нѣтъ.

Довольно, этимъ все сказано. Въ университетѣ, гдѣ царствуетъ большая принужденность, мы инспекціи не видимъ: мы видимъ ее только въ часы „обязательныхъ“ занятій. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ, и мы будемъ въ правѣ спросить: зачѣмъ она нужна и не представляется ли она инороднымъ тѣломъ въ университетѣ? Пойдемъ далѣе. Вопросъ объ организаціи свободнаго университетскаго преподаванія. Здѣсь, господа, мы можемъ сдѣлать всего болѣе. Здѣсь мы можемъ специализироваться, какъ мы желаемъ; здѣсь мы можемъ достигнуть и крупныхъ результатовъ въ смыслѣ расширенія обще-

¹⁾ Сергій Николаевичъ обратился къ подавшему въ отставку секретарю бюро — Ал. Ив. Анисимову.

образовательнаго значенія университета. Мы уже это доказали на такомъ примѣрѣ, какъ устройство экскурсій, въ которой могли участвовать студенты всѣхъ факультетовъ. Мы надѣемся, что возникнетъ еще нѣсколько обществъ, подобныхъ нашему, и всѣ общества въ Россіи будутъ устраивать подобныя экскурсіи, исправивши тѣ промахи, какіе были сдѣланы въ нашемъ первомъ опытѣ. Далѣе, организація общихъ публичныхъ лекцій, какія существуютъ въ германскихъ университетахъ, гдѣ на ряду съ такими лекціями, какія есть у насъ, и которыя всего болѣе подходятъ подъ рубрику *privata, privatissima*, существуютъ еще публичныя лекціи на общеобразовательныя темы, которыя имѣютъ значеніе для всего университета. Въ прошломъ году, однимъ изъ нашихъ сочленовъ, кажется, медицинскаго факультета, возбуждался вопросъ объ учрежденіи серіи такихъ чтеній для всего университета. При извѣстной доли энергіи мы, конечно, можемъ этого достигнуть и организовать такія чтенія. Я самъ предлагаю свои услуги, но на будущій годъ.

Вотъ задачи, которыя предстоятъ намъ, и которымъ мы можемъ и должны, по моему мнѣнію, посвятить наши силы. Но, вѣдь, есть много и другихъ, которыя были намѣчены, но не были достигнуты, отчасти, вслѣдствіе недостатка солидарности, раздоровъ, которые парализовали нашу дѣятельность. Я указалъ бы здѣсь на злополучный сборникъ: матеріалъ готовъ, но нѣтъ редакціонной комиссіи. Вначалѣ былъ широкій планъ, который представлялся осуществимымъ, превратить такой сборникъ въ періодическій органъ университетскаго общества, который служилъ бы объединительнымъ цѣлямъ. Мало ли другихъ задачъ, которыя сами явятся! и, господа, я отъ всей души желаю, чтобы вы трудились дружно и энергично. Для этого нужны не игра въ пустыя словопренія, не громкія слова, не игра въ „запросы“, не устройство „инцидентовъ“ въ бюро съ цѣлью бросать тѣнь на дѣятельность общества, возбудить подозрѣніе въ студенчествѣ... Въ комъ и противъ кого? Въ насъ самихъ, противъ насъ самихъ! Господа, для этого нужна солидарность, нужно довѣріе, нужна общественная дисциплина. Выберите теперь бюро, которому вы могли бы довѣрять, и окажите ему должную поддержку. Это совершенно необходимо для того, чтобы оно не погибло отъ печальныхъ и праздныхъ раздоровъ. Отнеситесь къ этой задачѣ съ должнымъ вниманіемъ и строгостью, но избранникамъ вашимъ дайте и вашу поддержку. (*Бурныя оваціи.*)

Москва. 9 октября 1903 г.

Татьянинъ день.

Сегодня — Татьянинъ день, годовщина нашего университета. Отъ Москвы до отдаленныхъ сибирскихъ тундръ всюду празднуется этотъ день столькими различными людьми, представителями столь различныхъ убѣжденій и общественныхъ воззрѣній. Для однихъ этотъ день есть праздникъ воспоминаній прошлаго, лучшихъ дней молодости съ ея весельемъ, надеждами, идеалами; для другихъ это — праздникъ настоящаго, праздникъ студенчества, которое встрѣчаетъ его въ радостномъ сознаніи переживаемой молодости, въ сознаніи своей товарищеской солидарности, съ вѣрою въ свою молодую силу; для третьихъ, наконецъ, это — праздникъ чаемаго будущаго, грядущаго торжества свѣтлыхъ идеаловъ, вынесенныхъ изъ университетской среды.

Для насъ, университетскихъ дѣятелей, Татьянинъ день есть прежде всего праздникъ университета, съ которымъ такъ связано прошлое и настоящее нашего просвѣщенія и въ которомъ мы видимъ залогъ лучшаго будущаго. Много бурь пронеслось надъ университетомъ, и хотя каждый изъ насъ сознаетъ, что дѣло, надъ которымъ мы работаемъ, не умереть и пережить непогоду, но все же и намъ нуженъ этотъ праздникъ хотя бы разъ въ годъ въ наши тяжелыя, трудныя времена. И если разъ въ году университетскій праздникъ празднуется по всей Россіи и пробуждаетъ теплое чувство къ университету, благодарныя воспоминанія о немъ и лучшія сердечныя пожеланія ему, то мы видимъ въ этомъ осязательное напоминаніе того, что русское общество дорожитъ нашимъ именинникомъ, любить и чтить его и сумѣетъ его сохранить. И мы желали бы, чтобы этотъ праздникъ былъ еще веселѣе и радостнѣе и вмѣстѣ чтобы онъ былъ осмысленнѣе, чтобы общество, которое его празднуетъ, глубже прониклось сознаніемъ того, что, собственно, оно имѣетъ въ университетѣ, какою великою и свѣтлою культурно-общественною силою онъ можетъ и долженъ стать въ Россіи...

Если бы только это сознаніе было глубоко и укоренилось во всѣхъ слояхъ нашего образованнаго общества! Тогда внутренняя органическая реформа университетской жизни совершилась бы сама собою и университетъ исполнилъ бы свое великое призваніе. Если бы только сознаніе это было жизненно, посягательства на университетъ стали бы у насъ такимъ же немыслимымъ дѣломъ, какъ въ Германіи, гдѣ нельзя представить себѣ такого измѣненія, такого пере-

ворота, государственного или общественного, который могъ бы угрожать независимости, неприкосновенности университета. Какъ „охранители“, такъ и поборники свободы одинаково сознають тамъ, что въ университетахъ хранится древній и священный палладіумъ Германіи, залогъ ея преусиѣянія и крѣпости, ея духовнаго роста, здоровья и свободы.

Что наука есть могущественный факторъ общественнаго развитія, это—прописная истина, которую признають и у насъ; но ее исповѣдуютъ лишь устами, ее еще не чувствуютъ осязательно, она еще не составляетъ жизненнаго убѣжденія, проникшаго въ плоть и кровь нашего общества. Что университетъ есть разсадникъ высшаго научнаго образованія, это опять-таки признается на словахъ и у насъ, хотя мало кто сознаетъ, какъ много это значить, и со всѣхъ сторонъ хотять навязать университету внѣшнія чуждыя ему цѣли, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что этимъ унижается университетъ и умаляется его значеніе. Университетъ можетъ быть только университетомъ и, оставаясь вѣрнымъ себѣ, онъ дѣлаетъ великое общественное и государственное культурное дѣло, котораго кромѣ его некому дѣлать. Онъ не можетъ, не долженъ служить двумъ господамъ. Онъ имѣетъ свою самостоятельную цѣль и тамъ, гдѣ онъ свободно и безпрепятственно преслѣдуетъ только ее, — тамъ просвѣтительное дѣйствіе его растетъ въ ширь и глубь, и общественное значеніе его становится могущественнымъ.

Цѣль университета довлѣетъ себѣ, она въ полномъ смыслѣ этого слова самостоятельна, автономна, и вотъ почему автономія составляетъ какъ бы *естественное право* университета, при нарушеніи котораго онъ процвѣтать не можетъ и по необходимости колеблется между противоположными и одинаково чуждыми ему внѣшними стремленіями.

Университетъ не можетъ процвѣтать на всякой почвѣ и во всякой атмосферѣ. Чтобы привлекать къ себѣ лучшія силы страны и развить всю свою мощь, онъ нуждается прежде всего въ нравственномъ уваженіи со стороны общества и признаніи его самостоятельности.

Мы должны собственнымъ примѣромъ внушать нашимъ дѣтямъ уваженіе къ университету, чтобы требовать его отъ нихъ. Мы въ правѣ ждать его отъ студенчества, но не отъ одного студенчества. Намъ могутъ указать за послѣдніе годы на отдѣльныя прискорбныя проявленія неуваженія къ университету со стороны его питомцевъ. Эти проявленія намъ всего больѣе, и оправдывать ихъ

мы не будемъ и не хотимъ. Но, предъявляя требованія „дѣтямъ“, мы ждемъ, чтобы и „отцы“ показали имъ дѣятельный примѣръ уваженія къ университету, уваженія къ его самостоятельности и къ его самодовлѣющимъ цѣлямъ.

Этотъ примѣръ такъ нуженъ и былъ бы такъ своевремененъ!

Пусть *старшіе* уничтожатъ послѣдствія погрома, который въ корнѣ расшаталъ уваженіе къ университету, и пусть они возстановятъ и признаютъ его поколебленный авторитетъ!

Урокъ 1884 г. не можетъ пройти даромъ. Теперь всѣмъ стало ясно, что авторитетомъ университета надо дорожить, что его попираеть нельзя, что одна внѣшняя учебно-административная власть, какъ бы сильна она ни была, не въ состояніи замѣнять собою *авторитетъ* самостоятельной ученой коллегіи университета.

Мы хотимъ вѣрить что часъ обновленія нашихъ университетовъ приближается. Честь и слава тѣмъ, черезъ кого оно воистину совершится!... Встрѣтимъ же радостно университетскій праздникъ.

Vivat Academia, — pereat diabolus!

Дрезденъ. 1904 г. 12 января.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Россія — на рубежѣ.

„Русскому могуществу и русскому престижу на Востокъ долженъ быть нанесенъ тяжкій ударъ посредствомъ войны или посредствомъ запугиванья. Нечего скрывать отъ себя, — въ настоящую минуту миръ можетъ быть сохраненъ лишь подъ условіемъ отступленія Россіи, послѣдствія котораго для ея мірового положенія должны быть несравненно тяжелѣе, нежели была Крымская кампанія для ея положенія въ Европѣ“.

Эти слова, взятые мною изъ одной нѣмецкой газеты, представляютъ собою точную передачу того мнѣнія, которое господствуетъ въ англійской печати, и правильное объясненіе ея тактики.

Намъ легко негодовать на англійскую печать, ея организованный, рассчитанный обманъ — ея военные хитрости. Но мы не можемъ не удивляться ея дисциплинированности и ея боевой силѣ. Мы хотѣли бы, чтобы наша русская печать съ такою же ясностью сознавала бы все значеніе для Россіи настоящаго момента. „Русскому престижу, русской мощи въ Азіи долженъ быть нанесенъ ударъ,

болѣе тяжкій для ея мірового положенія, нежели была Крымская кампанія для ея положенія въ Европѣ“. Такъ мечтаютъ англійскіе патріоты, и этотъ замыселъ — не пустыя слова. Англійскіе патріоты знаютъ, что власть Россіи на Востокѣ держится исключительно ея престижемъ. Они знаютъ, чего стоитъ на Востокѣ престижъ и что значитъ ударъ, нанесенный престижу. И они заранѣе учитываютъ тѣ колоссальныя жертвы, то напряженіе финансовыхъ и боевыхъ силъ, на какія Россія будетъ обречена на неисчислимые годы, чтобы оборонять свои азіатскія границы отъ наступающей монгольской силы, если только мечты ихъ осуществятся, если Россія отступитъ передъ англійской печатью и японскимъ оружіемъ. Англія японская сила не страшна; она будетъ попрежнему царицей морей и вершительницей судебъ Востока, искусно лавируя между враждующими противниками.

Здѣсь только расчетъ англійской печати недалководенъ и близорукъ, такъ какъ онъ не идетъ далѣе ближайшаго будущаго. Догматъ о вѣчномъ господствѣ европейцевъ въ Азіи слишкомъ вкоренился въ умы, точно такъ же, какъ и догматъ о вѣчномъ снѣ Китая.

Мы говорили объ этомъ въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ еще три года тому назадъ, и наши слова вызывали протестъ или насмѣшки. „Когда наступитъ день, въ который десять китайцевъ будутъ въ состояніи встать противъ одного европейца, участь Россіи, участь Европы въ Азіи будетъ рѣшена“. Намъ думалось уже тогда, что, кромѣ раздѣла Китая или полного отступленія, не было выхода изъ положенія. Что всякій иной выходъ, традиціонная политика европейскихъ державъ по отношенію къ азіатскимъ народамъ, въ концѣ концовъ, приведетъ къ опасному и роковому кризису, это было ясно уже тогда.

Японія страшна Россіи не сама по себѣ, хотя и сама по себѣ грозитъ ей разорительной войною. Она должна быть страшна намъ, и не намъ однимъ, какъ передовой постъ монгольского, азіатскаго міра. Теперь она беретъ Китай, — истерзаннй, полуразрушенный и разслабленный Китай, — подъ свою защиту противъ Россіи. Она дѣлаетъ условіемъ мира, вопросомъ жизни и смерти для себя неприкосновенность Китая, неприкосновенность его верховныхъ правъ на его владѣнія. Неужели же послѣ этого, при такихъ условіяхъ побѣда Японіи, ударъ, нанесенный престижу Россіи, не послужитъ основой японско-китайскаго союза и началомъ организаціи военной силы Китая?

Вотъ въ чемъ значеніе настоящаго момента. Великая и отвѣтственная задача стоитъ передъ русской дипломатіей и русской политикой, — задача, отъ рѣшенія которой зависить судьба многихъ поколѣній. Мы присутствуемъ при завязкѣ великой всемірно-исторической драмы, и все русское общество, безъ различія партій, должно сознать, что въ настоящую минуту выясняется направленіе, какое получаютъ силы Россіи въ теченіе вѣка. Не мелкіе трусливые расчеты, не сентиментальныя или корыстныя соображенія, а исключительно любовь къ Россіи, сознаніе долга передъ нею и ясное сознаніе настоящаго положенія и неизбежнаго будущаго должны опредѣлить собою наше отношеніе къ этой задачѣ, которая ставится намъ исторіей.

Великая задача стоитъ не передъ нами одними, но и передъ Европой, передъ Англіей прежде всего: желтая опасность грозитъ не намъ однимъ, и англійскіе патріоты, которые стремятся доставить первую реальную побѣду японскому лозунгу „Азія для азіатовъ“, скоро поймутъ свое ослѣпленіе. Они почувствуютъ, что значить такая побѣда и что значить этотъ лозунгъ. И они поймутъ, что рознь европейскихъ народовъ въ этой завязывающейся послѣдней великой борьбѣ Запада съ Востокомъ можетъ быть пагубна не одной Россіи...

Пророчества умирающаго Соловьева начинаютъ сбываться... Неужели къ его извѣстнымъ стихотворнымъ строкамъ о панмонголизмѣ, можно было бы когда-нибудь, при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ добавить слова:

О Русь! Забудь былую славу,
Орелъ двухглавый посрамленъ
И желтымъ дѣтямъ на забаву
Даны клочки твоихъ знаменъ...

— Да не будетъ!

Дрезденъ. 24 января 1904 г.
(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Изъ писемъ въ редакцію.

Изъ Петербурга давно и систематически распускались слухи о нездоровьи генерала Куропаткина и его предстоящемъ отъѣздѣ съ театра войны, — слухи, которые были официально признаны не

только живыми, но и злонамѣренными. Недавно на столбцахъ „Новаго Времени“ г. Суворинъ писалъ о „маленькихъ Наполеонахъ, которые, никого не побѣдивъ и даже ни съ кѣмъ не сражавшись, позволяютъ себѣ въ клубахъ и гостиныхъ Петербурга походы противъ командующаго манчжурской арміи.

Извѣстія о военныхъ операціяхъ этихъ маленькихъ Наполеоновъ передавались по всей Россіи изъ устъ въ уста, и послѣ битвы подъ Ляояномъ сдѣлались особенно тревожными. Даже Высочайшая телеграмма на имя А. К. Куропаткина, въ которой выражалось одобреніе совершенному имъ отступленію, — даже эта телеграмма и самый подвигъ нашего вождя, вызвавшій общее изумленіе, не обезоружили, повидимому, петербургскихъ Наполеоновъ.

Эти господа, повидимому, недостаточно отдають себѣ отчетъ въ томъ отношеніи со стороны русскаго народа и русскаго общества, какое возбуждаютъ ихъ происки. И они не отдають себѣ отчета въ той моральной величинѣ, какую въ настоящую минуту представляетъ собою имя Куропаткина! Нравится это имъ или нѣтъ, это — первое имя въ нашей арміи. Ту вѣру, какую онъ сумѣлъ внушить къ себѣ въ народъ и въ войскъ, не могли поколебать вынужденныя отступленія и неудачи; ея не поколеблѣютъ и происки завистниковъ, происки пагубныхъ стратеговъ и дилетантовъ военнаго спорта. Но все же зло, которое они дѣлають, не мало: престижа Куропаткина, въ котораго Россія вѣритъ и въ которомъ она видитъ призваннаго вождя своего воинства, они подорвать не могутъ, какъ не могутъ они противопоставить другого военнаго имени; но они сѣютъ ожесточеніе и деморализацію, о какой и не догадываются.

Въ сегодняшнихъ депешахъ „Новаго Времени“ значится: „Организованіе второй манчжурской арміи встрѣчено германскою печатью сочувственно. Печать руководствуется предположеніемъ, что главное командованіе останется всецѣло въ рукахъ Куропаткина“. Всякое другое предположеніе считается совершенно недопустимымъ и притомъ не въ одной нѣмецкой печати.

Меньшово. 19 сентября 1904 г.

(„С.-Петербургскія Вѣдомости“.)

Письмо къ редактору.

М. Г. Не откажите дать мѣсто въ вашей уважаемой газетѣ ниже-слѣдующимъ строкамъ.

Московскія Вѣдомости (№ 287) объявили „слово и дѣло“ на моего брата Евгенія за статью его въ *Правдѣ*¹⁾, требуютъ удаленія его съ кафедры университета св. Владимира за государственную измѣну и призываютъ „другаго адмирала Рождественскаго“, который расправился бы съ нимъ, какъ съ союзникомъ японцевъ... Случай не новый; вѣдь еще не такъ давно, по поводу убійства

Б. фонъ-Плеве, та же газета обвиняла въ этомъ преступленіи одного изъ самыхъ уважаемыхъ общественныхъ дѣятелей русскихъ, Д. Н. Шипова!...

Полемизировать съ сикофантами представляется невозможнымъ. Есть морскія животныя, которыя ограждаютъ себя отъ всякаго преслѣдованія, окружая себя такою грязною и смрадною жидкостью, что самый небрезгливый противникъ останавливается. Но всему есть предѣлъ и всему время. Четверть вѣка свободно, безпрепятственно говорили одни гаеры слова, доноски и юродивые; и вотъ теперь, когда честнымъ, независимымъ русскимъ людямъ открывается пока еще маленькая возможность высказаться, вся та нечисть, которая гнѣздилась въ нашей печати и плодилась въ ней въ отсутствіи свѣта и воздуха, закопошилась въ испугѣ. Вѣрныя традиціямъ, *Московскія Вѣдомости* кричатъ свое „слово и дѣло“ въ тоскѣ по Бирону, который бы ихъ услышалъ...

Политическіе проходимцы и наушники, которые четверть вѣка эксплуатировали и подрывали русскій патріотизмъ, смѣютъ произносить слово „измѣна“, говоря о честныхъ и порядочныхъ русскихъ людяхъ, клеветать на общественныхъ дѣятелей, имена которыхъ и враги произносятъ съ уваженіемъ. Люди, которые подъ предлогомъ охраненія „основъ“ умѣютъ писать только доносы, смѣютъ выдавать себя за вѣрныхъ слугъ Престола. Они, всю жизнь проповѣдывавшіе систематическое отрицаніе права, стремившіеся замѣнить власть произволомъ и законъ — самовластіемъ кромѣшниковъ, смѣютъ называть измѣнниками истинно-русскихъ людей, которые вѣрятъ, что Престоль долженъ быть „славеиъ, великъ и силенъ“, не въ разрушеніи, а въ созиданіи, не въ угнетеніи народно-обществен-

¹⁾ Война и Бюрократія.

ныхъ силъ, а въ живомъ и дѣйствительномъ общеніи, единеніи, сближеніи съ землей, смѣютъ обвинять въ измѣнѣ людей, которые не хотятъ допускать, чтобы изъ основного закона имперіи дѣлали орудіе полицейскаго абсолютизма, враждебнаго личности и обществу, праву, просвѣщенію и культурѣ.

Четверть вѣка организованнаго, систематическаго провокаторства, систематическаго издругательства надъ русскимъ обществомъ не остались безъ слѣда, воспитывая чувства ненависти и злобы; и вотъ теперь, провокаторы, видя смуту, посѣянную ими, обвиняютъ въ „развращеніи молодежи“ людей, отдавшихъ жизнь служенію академическимъ идеаламъ.

„Ложь, возмутительная ложь, мы обличили ложь!“ — кричатъ они. — Въ чемъ ложь и какую ложь вы обличили? — „У насъ двадцать лѣтъ не было „дортюара въ участкѣ“, и кто утверждаетъ противное, тотъ — союзникъ японцевъ. Всевластная бюрократія не проглядыла японской опасности и ни за какіе „сюрпризы“ отвѣтственности возлагать на нее нельзя, — виноваты во всемъ японцы. и кто утверждаетъ противное, тотъ лжетъ и ставитъ мины нашему государственному кораблю. Мы никогда не мѣшали независимымъ общественнымъ дѣтелямъ свободно высказывать свое мнѣніе, не видѣли нарушенія общественной безопасности въ попыткѣ сказать человеческое слово, не кричали: „Молчать! Лежать смирно!“; когда поднимался голосъ, не пѣвшій съ нами въ унисонъ. Тотъ, кто изображаетъ насъ башни-бузуками, — измѣнникъ отечеству.

И чтобы окончательно доказать свою „истину“, *Московскія Вѣдомости* требуютъ, чтобы „кѣвскаго профессора“ заставили замолчать, чтобы отъ него оградилъ „беззащитное“ общество и несчастную молодежь. Они приглашаютъ его въ тотъ самый „дортюаръ“, существованіе котораго они отрицаютъ. Этого мало, — они зываютъ къ „новому адмиралу Рождественскому“, который уничтожилъ бы въ лицѣ „профессора“ союзника японцевъ...

И всѣ эти безумныя вещи говорятся въ такое серьезное, отвѣтственное время... Довольно!... Опомнитесь, господа!... „Встаньте! Судъ идетъ!“

20 октября 1904 г. Москва.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Быть или не быть университету?

Однимъ изъ древнихъ мудрецовъ замѣчено было, что люди, уступая неразумному страху, постоянно совершаютъ поступки, которые ведутъ ихъ какъ разъ къ тому самому, чего они боятся, и превращаютъ мнимую опасность въ дѣйствительную.

Вся исторія просвѣщенія въ Россіи, вся исторія русской школы за послѣдніе годы служить лучшею иллюстраціей этого положенія. Высшую и среднюю школу захотѣли оградить отъ внутренняго врага и спасти отъ гибельной смуты, и съ этою цѣлью дезорганизовали университеты, разрушили среднюю школу и привели всѣ просвѣтительныя учрежденія страны въ хаотическое состояніе. Всю школу высшую, среднюю и низшую подчинили полицейскому режиму, который еще такъ недавно считался единымъ спасительнымъ и который разложилъ и растлилъ ее точно такъ же, и даже въ еще большей мѣрѣ, нежели все остальное. Надо удивляться не тому, что наша школа разсыпалась, а тому, что она держалась кое-какъ столько времени, несмотря на этотъ разрушительный, бессмысленный режимъ и на одіумъ всего русскаго общества. Результатъ — палицо, и спорить противъ очевидности болѣе невозможно. Жандармократія, полицейское управленіе школой замѣнилось анархической *недократіей*, вольницей студентовъ и гимназистовъ.

Мы видѣли это годами, мы присутствовали при разгромѣ просвѣщенія, разгромѣ университетовъ, разрушеніи и растленіи средней школы. Мы говорили объ этомъ съ ужасомъ, болью, отчаяніемъ и негодованіемъ въ статьяхъ и запискахъ. Всѣ университеты высказались единогласно, единодушно. Намъ не слушали и заставляли молчать. Подъ конецъ намъ сулили реформы, но на самомъ дѣлѣ вмѣсто реформъ являлись ежегодно новыя и новыя, часто противорѣчивыя „временныя правила“ и циркуляры, проникнутые однимъ и тѣмъ же основнымъ полицейскимъ духомъ, иногда сопровождаемые поученіями профессорамъ о томъ, какъ любить науку. Говорили объ „отеческомъ попеченіи“ и для успокоенія дѣтей совершали массовыя расправы...

Неужели же и теперь въ отвѣтъ на событія, которыя указываютъ на полный крахъ, полную несостоятельность всей системы, намъ надо ждать новыхъ циркуляровъ о любви къ наукамъ?...

Вѣдь это уже издѣвательство!

Всѣ вѣдомства въ Россіи имѣютъ свои школы и, за исключеніемъ, *можетъ-быть*, духовнаго вѣдомства, всѣ эти школы поставлены

лучше, нежели школы вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія. Во всѣхъ другихъ вѣдомствахъ проглядываетъ болѣе вдумчивое, сознательное отношеніе къ условіямъ правильной академической жизни, къ самостоятельнымъ задачамъ школы, образованія, учебнаго дѣла. Нигдѣ нѣтъ той узкой, исключительно полицейской точки зрѣнія, которая со времени гр. Д. А. Толстого вошла въ традицію министерства народнаго просвѣщенія, которая стала въ немъ независимой отъ лицъ, сдѣлалась какъ бы его „второю натурой“ и обратила его въ учрежденіе чисто полицейское, какъ бы особый департаментъ государственной полиціи, завѣдующій просвѣтительными учрежденіями страны.

Есть мѣры неотложныя, которыя надо принять немедленно, есть реформы неотложныя, которыя можно ввести немедленно въ высшія учебныя заведенія, — реформы, которыя въ министерствѣ „народнаго просвѣщенія“ встрѣчали до сихъ поръ лишь противодѣйствіе...

Совѣты всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній имперіи, совѣты университетовъ въ особенности, много потрудились за послѣдніе годы надъ вопросомъ реформы высшей школы. Всякій сколько-нибудь близко знакомый съ дѣломъ знаетъ, какъ тщательно и всесторонне былъ разработанъ этотъ вопросъ, какъ согласно приходили работавшіе къ общимъ результатамъ и какъ всѣ эти труды, плодъ совокупныхъ усилій лучшихъ университетскихъ дѣятелей нашихъ, были похоронены въ архивахъ министерства „народнаго просвѣщенія“.

Но время не терпитъ. Возстановленіе правильнаго автономнаго академическаго строя есть *первое* условіе возстановленія правильнаго теченія академической жизни. *Сразу* въ тѣ смутныя времена, которыя мы переживаемъ, и эта мѣра, разумѣется, не исцѣлитъ всѣхъ глубокихъ язвъ, не исправитъ все нестроеніе, унаслѣдованное отъ прошлаго. Она не устранитъ общія, виѣуниверситетскія причины волненій среди молодежи, но тѣмъ не менѣе она совершенно необходима и именно теперь можетъ сдѣлать чрезвычайно многое. Безъ нея немыслимо открывать университеты. Отнявши у совѣтовъ всякую власть и систематически подрывая ихъ авторитетъ, министерство неизбѣжно создавало ту педократію, которая въ нихъ нынѣ господствуетъ и съ которой оно полицейскими мѣрами бороться не можетъ. Сваливая съ себя вину на отдѣльныхъ наиболѣе вліятельныхъ и авторитетныхъ профессоровъ, оно можетъ лишитъ университеты еще нѣсколькихъ выдающихся дѣятелей, но *самыхъ элементовъ* академическаго порядка, нарушеннаго столь глубоко, нельзя замѣнить полицейско-бюрократической системой упра-

вленія. Высшая административная власть не может замѣнить авторитета, особенно тогда, когда сама она упорно не хочет его признавать. Теперь положеніе ясно: студенчество организовано болѣе чѣмъ когда-либо, а совѣты дезорганизованы и парализованы, и это въ тотъ самый моментъ, когда имъ нужнѣе всего и организація и полнота авторитета и власти. Случайное „правленіе“, назначенное министерствомъ и являющееся его послушнымъ органомъ, не облеченное довѣріемъ совѣта, не имѣетъ ни авторитета, ни власти и играетъ жалкую роль, внося въ университетъ расколъ и нестроеніе, не будучи способно вселять „академическимъ гражданамъ“ ни довѣрія ни уваженія. И, наконецъ, послѣдній оплотъ порядка, университетская полиція или инспекція, не подчиненная ни совѣту, ни въ сущности даже назначенному ректору, доказала ли она за все время своего существованія что-нибудь другое, кромѣ своей совершенной бесполезности, мало того, своего положительнаго вреда?

Пора покончить со всей этой гнилью и покончить немедленно. Этого требуютъ интересы просвѣщенія, государственные интересы Россіи.

Высочайше учрежденное совѣщаніе министровъ и предсѣдателей департаментовъ Государственнаго Совѣта, разсматривая вопросъ о скорѣйшемъ установленіи правильнаго теченія академической жизни, съ Высочайшаго одобренія постановило предложить министрамъ, въ вѣдѣніи которыхъ состоятъ высшія учебныя заведенія, возложить заботы о возстановленіи правильнаго теченія академической жизни въ возможно кратчайшій срокъ на учебныя начальства и профессорскія collegіи, которыя должны быть для этого снабжены необходимыми полномочіями. По истеченіи извѣстнаго краткаго срока учебныя начальства и профессорскія collegіи должны представить заключенія свои о способахъ возстановленія занятій и о *дальнѣйшихъ мѣропріятіяхъ къ обезпеченію въ будущемъ правильнаго теченія жизни въ учебныхъ заведеніяхъ.*

Первой внутренне-университетской мѣрой является возстановленіе попорнаго авторитета университета, — возстановленіе совѣта, возстановленіе университетской автономіи. Самостоятельность университета, университетъ для университета, — вотъ что нужно намъ, что должно заключаться въ самомъ строѣ университета, если мы хотимъ, чтобы питомцы его *жизненно* понимали его дѣйствительное назначеніе и чтобы учащая collegія въ сознаніи своего служенія самостоятельной и самоцѣльной цѣли университета имѣла на будущее время *силу и право* свободно осуществлять эту цѣль и *властно требовать* ея признанія отъ общества и учащейся молодежи.

ныхъ силъ, а въ живомъ и дѣйствительномъ общеніи, единеніи, сближеніи съ землей, смѣютъ обвинять въ измѣнѣ людей, которые не хотятъ допускать, чтобы изъ основного закона имперіи дѣлали орудіе полицейскаго абсолютизма, враждебнаго личности и обществу, праву, просвѣщенію и культурѣ.

Четверть вѣка организованнаго, систематическаго провокаторства, систематическаго надругательства надъ русскимъ обществомъ не остались безъ слѣда, воспитывая чувства ненависти и злобы; и вотъ теперь, провокаторы, видя смуту, посѣянную ими, обвиняютъ въ „развращеніи молодежи“ людей, отдавшихъ жизнь служенію академическимъ идеаламъ.

„Ложь, возмутительная ложь, мы обличили ложь!“ — кричатъ они. — Въ чемъ ложь и какую ложь вы обличили? — „У насъ двадцать лѣтъ не было „дортюара въ участкѣ“, и кто утверждаетъ противное, тотъ — союзникъ японцевъ. Всевластная бюрократія не проглядѣла японской опасности и ни за какіе „сюрпризы“ отвѣтственности возлагать на нее нельзя, — виноваты во всемъ японцы. и кто утверждаетъ противное, тотъ жметъ и ставитъ мины нашему государственному кораблю. Мы никогда не мѣшали независимымъ общественнымъ дѣателямъ свободно высказывать свое мнѣніе, не видѣли нарушенія общественной безопасности въ попыткѣ сказать человеческое слово, не кричали: „Молчать! Лежать смирно!“; когда поднимался голосъ, не пѣвшій съ нами въ унисонъ. Тотъ, кто изображаетъ насъ башни-бузуками, — измѣнникъ отечеству.

И чтобы окончательно доказать свою „истину“, *Московскія Вѣдомости* требуютъ, чтобы „киевского профессора“ заставили замолчать, чтобы отъ него оградили „беззащитное“ общество и несчастную молодежь. Они приглашаютъ его въ тотъ самый „дортюаръ“, существованіе котораго они отрицаютъ. Этого мало, — они вызываютъ къ „новому адмиралу Рождественскому“, который уничтожилъ бы въ лицѣ „профессора“ союзника японцевъ...

И всѣ эти безумныя вещи говорятся въ такое серьезное, отвѣтственное время... Довольно!... Опомнитесь, господа!... „Встаньте! Судъ идетъ!“

20 октября 1904 г. Москва.

(„Русскія Вѣдомости“.)

обществѣ. Не забудемъ, что при перемѣнѣ устава въ 1884 г. большинство членовъ правленій, избранныхъ при дѣйствіи предшествовавшего устава, остались на своихъ постахъ и продолжали служить университету, точно такъ же, какъ и всѣ тѣ профессора, которые не покинули тогда университета. При обсужденіи вопроса о реформѣ университетовъ многіе изъ членовъ правленія являлись горячими сторонниками автономіи. Отъ меня во всякомъ случаѣ далека была мысль, среди общаго нашего горя и заботы, бросать упрекъ отдѣльнымъ товарищамъ, когда всѣ мы направляемъ наши мысли на то, чтобы найти всѣмъ желательный выходъ изъ теперешняго тяжелаго положенія.

Москва, 1905, 4 марта.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Современное положеніе нашей печати.

Высочайшимъ указомъ 12 декабря 1904 г. Государь Императоръ повелѣлъ соизволилъ, дабы русская печать была освобождена отъ излишнихъ стѣсненій.

Съ тѣхъ поръ нѣсколько газетъ были воспрещены, и за рѣдкими исключеніями всѣ сколько-нибудь независимые органы печати изъяты изъ розничной продажи. Зато для облегченія участи печати оздана была подъ предѣлательствомъ члена Государственнаго Совета Кобеко особая коммиссія, въ составъ которой были приглашены гг. Суворинъ, кн. Мещерскій, кн. Цертелевъ, Сонинъ, Голицынъ-Муравлинъ, Юзефовичъ, — почтенное общество, въ которомъ недостаетъ только Грингмута...

Русскій читатель, какъ бы оптимистически ни смотрѣлъ онъ на будущее русской печати при грядущемъ „участіи свободно избранныхъ представителей“, не можетъ однако смотрѣть безъ крайняго смущенія и скорби на настоящее. Во всякомъ случаѣ въ именахъ вышеперечисленныхъ потрясателей основъ, работающихъ надъ облегченіемъ печати, „другъ-читатель“ усматриваетъ скорѣе... насмѣшку, чѣмъ доброе предзнаменованіе. И онъ не можетъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія совершенно недопустимаго противорѣчія между категорически выраженной Высочайшею волей и ея исполненіемъ: съ одной стороны освобожденіе печати, съ другой — Юзефовичъ, кн. Цертелевъ, Мещерскій и прещенія на всѣ маломальски независимые органы печати. Правда, по газетнымъ извѣстіямъ, благодаря голосамъ нѣ-

которыхъ почтенныхъ представителей духовенства и самого председателя совѣщанія, предполагено внести въ комитетъ министровъ нѣкоторые освободительные проекты, при чемъ, какъ высказано было въ числѣ мотивовъ въ томъ же совѣщаніи, уже сами гг. министры позаботятся объ урѣзкѣ этихъ проектовъ... Но даже и въ наиболѣе благопріятномъ случаѣ, пока дѣло дойдетъ до конца, пока названная комиссія будетъ продолжать свои плодотворныя занятія, скоро вмѣсто газетъ останется только та специфическая пресса, которая называется *Новымъ Временемъ* или *Московскими Вѣдомостями*...

Въ концѣ концовъ совершенно непонятно, для чего и для кого дѣлается вся эта комедія и кому нужно отводить глаза? Если рѣчь идетъ о дѣйствительномъ освобожденіи печати, то къ чему здѣсь Юзефовичи и кн. Цертелевы и почему совѣсть не заставляетъ ихъ отказаться отъ содѣйствія дѣлу, коего они являлись до сихъ поръ принципиальными врагами? А если рѣчь идетъ о томъ, какъ не освободить печать и обойти Высочайшій указъ, то къ чему самая комиссія? Вѣдь совершенно ясно, что въ ближайшемъ будущемъ ее ждетъ участь всѣхъ бумажныхъ комиссій, создаваемыхъ въ видѣ отписки на общественный запросъ не для удовлетворенія назрѣвшей общественной нужды, а скорѣе для того, чтобы не дать ей немедленнаго и необходимаго удовлетворенія.

Но почему бы собственно этой нужды теперь не удовлетворить? И какія такія государственныя соображенія могли бы требовать теперь, чтобы русская печать, опять-таки вопреки ясно выраженной Высочайшей волѣ, не освободилась безотлагательно отъ полицейскихъ тисковъ?

Прежде иные изъ членовъ теперешней „освободительной“ комиссіи могли требовать, чтобы печать безмолвствовала подъ усиленной охраной полиціи, дабы не растлѣить общества вредными идеями. Но теперь ясно, что полицейская охрана помогла здѣсь менѣе, чѣмъ гдѣ-либо: „вредныя идеи“ проникли всюду, охватили общество съ верха до низа и показали всю несостоятельность „излишнихъ стѣсненій“; этого мало, если „вредныя идеи“ распространились несмотря на всѣ стѣсненія, то многія полезныя и здравыя идеи несомнѣнно задерживались въ несравненно большей мѣрѣ, и теперь, когда пробила часъ, когда русскимъ людямъ, подобно дѣвамъ евангельскимъ, приходится зажигать свои свѣтильники, — сколь многіе оказываются безъ едеи и только чадятъ безъ толка, когда надобно свѣтить!...

Пора, наконецъ, посчитаться съ условіями, при которыхъ мы живемъ, отнестись къ современнымъ событіямъ съ каплей здраваго

смысла. Может ли воспрещение *Нашихъ Дней* остановить ростъ общественнаго сознанія? Может ли ежедневное кромсаніе *Сына Отечества* въ цензурской цырюльнѣ пресѣчь смуту, умиротворить общество? Может ли воспрещение розничной продажи какой-либо газеты, за которою „другъ-читатель“ посылаетъ теперь въ лавку, а не къ разносчику, запрудить напоръ общественнаго мнѣнія, общественныхъ силъ? Да или нѣтъ?...

Г-нъ Юзефовичъ! Кн. Цертелевъ! Вѣрите ли вы попрежнему въ неплѣнныя цензурскія пробки и въ чудотворныя цензурскія ножницы? Не думаю. Но если вы и продолжаете вѣрить во всю эту ветошь, то вѣра ваша горь не передвинетъ, какъ не передвинула она ихъ доселѣ. Ваши „предостереженія“ болѣе не пугаютъ печати, они могутъ только раздражать печать. Теперь послѣ Портъ-Артура, послѣ Мухоморова камни вопіютъ! Вѣдь камни-то, камни въ участокъ забрать нельзя! Цензурѣ вашей голосъ ихъ не подлежитъ, и третье предостереженіе опасно не имъ, а тому, противъ чего они вопіютъ!

Гг. члены комиссіи по дѣламъ печати! Не торгуйтесь, не упирайтесь долѣе и, *главное, не мѣшайте подъ предлогомъ изобрѣтенія всякаго рода широкихъ законопроектвъ*. Вы оповѣщали общество о многихъ хорошихъ словахъ и благихъ пожеланіяхъ, которыми вы обмѣнивались по поводу печати; и если вамъ удастся выработать законопроектъ, который будетъ въ послѣдствіи одобренъ и принятъ въ новомъ законодательномъ порядкѣ, возвышенномъ рескриптомъ 18-го февраля, — честь вамъ и слава! Но прежде этого, если вы хотите, чтобы общество и печать съ довѣріемъ смотрѣли на вашу работу и видѣли въ ней не коверъ Пенелопы, то начните съ дѣйствительнаго исполненія Высочайшей воли и на дѣлѣ немедленно же докажите осязательно, что вы работаете не для отвода глазъ. Русское общество и печать отнеслись бы къ вамъ съ величайшею благодарностью, если бы вы сочли возможнымъ теперь же, до окончательной разработки вашихъ проектовъ, войти въ комитетъ министровъ съ представленіемъ о тѣхъ мѣрахъ, которыя могли бы быть приняты *безотлагательно* для облегченія нашей печати и освобожденія ея отъ раздражающихъ и тщетныхъ стѣсненій и административныхъ каръ, временныхъ правилъ и произвольныхъ циркулярвъ. Право же, эти мѣры можно было бы наметить въ полчаса времени, примѣнивъ къ цензурному уставу, циркулярамъ и правиламъ — цензурныя ножницы и цензурную икру...

Вѣдь всѣ хорошія слова о свободѣ печати сказаны давно, и

повторять ихъ какъ-то совѣстно... Прежде ихъ говорила печать, теперь и вы повторяете ихъ,

А Васьян слушаетъ да ѣстъ

и пишетъ новые циркуляры...

И вотъ, мы обращаемся къ вамъ съ послѣднею просьбой: господа, сдѣлайте что-нибудь *сейчасъ*, пока еще не поздно! И пусть тѣ изъ васъ, которые являются принципиальными противниками свободы печати, уйдутъ изъ коммисіи, которую они компрометируютъ своимъ присутвіемъ, памятуя, что промедленіемъ въ исполненіи Высочайшей воли они не содѣйствуютъ укрѣпленію престижа правительственной власти.

Москва. 1905 г. 11 марта.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Вчера появилась странная телеграмма: „Петербургъ 19-го марта. (Официально.) По свѣдѣніямъ *С.-Петербургскаго Агентства*, въ особомъ совѣщаніи комитета министровъ въ засѣданіи 18-го марта продолжалось разсмотрѣніе вопроса о положеніи учебныхъ заведеній“... Въ этой телеграммѣ поражаетъ прежде всего то, что она начинается словомъ „официально“, а затѣмъ сообщаетъ о томъ, что происходило въ особомъ совѣщаніи, „по свѣдѣніямъ *С.-Петербургскаго Агентства*“.

Если сообщеніе официально, то при чемъ тутъ „свѣдѣнія“ телеграфнаго агентства? А если это только агентскія свѣдѣнія, то насколько они „официальны“ и точны? Этотъ вопросъ невольно возникаетъ при чтеніи дальнѣйшаго текста телеграммы: „Предположено, не примѣняя карательныхъ мѣръ, открыть учебныя заведенія осенью; если же и тогда учебныя занятія не возобновятся или возобновятся на короткое время, то уволить всѣхъ студентовъ, отставить всѣхъ профессоровъ и приступить къ полной реорганизациі дѣла на основаніяхъ, отвѣчающихъ государственнымъ нуждамъ, выработавъ новый университетскій уставъ“.

Такое сообщеніе вызываетъ естественное недоумѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, насколько извѣстно, большинство совѣтовъ высшихъ учебныхъ заведеній въ теченіе многихъ лѣтъ высказывалось за необходимость коренного измѣненія устава, а въ послѣднее время вся несостоятельность полицейско-бюрократическаго управленія университетами выяснилась вполнѣ. Въ трудное переходное время, предстоящее русскому обществу, совѣты высшихъ учебныхъ заведеній

болѣе чѣмъ когда-либо должны обладать полной самостоятельностью, чтобы принимать всѣ зависящія мѣры для возможнаго внутренняго упорядоченія академической жизни. Конечно, теперешнія волненія вызваны общими причинами, и броженіе среди молодежи успокоится не ранѣе, чѣмъ общественная жизнь приметъ нормальное теченіе. Но именно въ такое тревожное время университеты не могутъ существовать при прежнихъ условіяхъ и нуждаются въ скорѣйшемъ осуществленіи той реформы, которая была возвѣщена три года тому назадъ.

Почему же теперь она откладывается лишь на тотъ случай, если осенью придется „уволить всѣхъ студентовъ и отставить всѣхъ профессоровъ“, т.-е., попросту, упразднить всѣ высшія учебныя заведенія? Или министерство народнаго просвѣщенія слишкомъ возволновано, чтобы приступить къ этому дѣлу до 1-го сентября? Явная несообразность агентскаго сообщенія невольно заставляетъ заподозрѣть его точность. Если бы правительство дѣйствительно рѣшило не предпринимать до осени никакихъ серіозныхъ реформъ, то въ интересахъ казны было бы теперь же упразднить дорого стояшіе университеты... А потому нельзя не пожелать, чтобы агентскія свѣдѣнія были дополнены дѣйствительно официальнымъ авторитетнымъ разъясненіемъ.

Москва, 1905 г. 20 марта.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Въ 1905 году въ одномъ изъ Мартовскихъ номеровъ „Русскихъ Вѣдомостей“ должна была появиться слѣдующая замѣтка князя С. Н. Трубецкаго:

Въ одномъ изъ №№ „Русскаго Слова“ появилось такого рода заявленіе: „Педагогическое Общество, въ засѣданіи 12-го марта, приняло рядъ постановленій, которыя оно признало нравственно обязательными для всѣхъ своихъ членовъ“. Не входя въ оцѣнку этихъ постановленій, многія изъ которыхъ представляются намъ неправильными и антипедагогическими, мы, нижеподписавшіеся, считаемъ самую форму пятихъ постановленій совершенно недопустимой, поскольку мы не признаемъ ни за какимъ общественнымъ собраніемъ права замѣнять намъ разсудокъ и совѣсть, устанавливая то, что должно или не должно быть для насъ нравственно обязательнымъ. Въ виду этого, мы не видимъ болѣе возможности оставаться членами Педагогическаго Общества.

(Слѣдуютъ 23 подписи, между которыми стоитъ и кн. С. Н. Трубецкой.)

Одновременно должно было появиться въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ письмо слѣдующаго содержанія:

Письмо въ редакцію.

Милостивый Государь г. Редакторъ!

На-дняхъ, на столбцахъ „Русскаго Слова“ Совѣтъ Педагогическаго Общества счелъ нужнымъ дать „необходимыя разясненія по поводу постановлений названнаго Общества, вызвавшихъ нашъ выходъ и протесты другихъ членовъ. „По глубокому убѣжденію „Совѣта“, всякое общество, принимающее своихъ членовъ по баллотировкѣ, имѣетъ право устанавливать извѣстныя нравственныя нормы (!) когда того требуетъ характеръ обсуждаемаго вопроса и особенности момента“. Предоставляя другимъ судить о правильности этого страннаго „глубокаго убѣжденія“, я тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ томъ, что, разъ общество признаетъ за собою право издавать „нравственныя нормы“, обязательныя для своихъ членовъ, то тѣмъ изъ нихъ, которымъ эти „нормы“ являются болѣе чѣмъ проблематичными, остается только уходить.

Совѣтъ „тщетно старается понять“, почему, въ числѣ лицъ, заявившихъ о своемъ выходѣ изъ Педагогическаго Общества, находятся и такія, которыя всегда заявляли себя сторонниками политически-прогрессивной программы“, но которыя своимъ уходомъ будто бы оказали поддержку „реакціонному направленію“. Политически-прогрессивная программа тутъ ровно ни при чемъ и не составляетъ монополіи уважаемыхъ членовъ Совѣта Педагогическаго Общества. На собраніи 12-го марта Педагогическое Общество почтило меня избраніемъ въ комиссію для выработки видовъ и предположеній по усовершенствованію Государственнаго порядка (согласно указу 18-го февраля), при чемъ, въ числѣ другихъ избранныхъ, я встрѣтилъ имена нѣсколькихъ уважаемыхъ товарищей, съ которыми я и раньше сотрудничалъ и продолжаю сотрудничать въ аналогичныхъ цѣляхъ. А что касается до печальнаго раскола въ средѣ Педагогическаго Общества, и вытекающей изъ него „поддержки реакціонному направленію“ по отношенію къ обществу, то это еще большой вопросъ, кто повиненъ въ немъ болѣе — тѣ члены, которые сочли себя вынужденными уйти, или то нравственное насиліе, которое ихъ къ этому вынудило.

Къ сожалѣнію, пріостановка дѣятельности Общества, прискорбная не для однихъ его членовъ, мѣшаетъ мнѣ высказаться по существу

относительно „известных нравственных норм“, обязательность которых гг. члены Совета отстаиваютъ, несмотря на нашъ выходъ и на протестъ нѣкоторыхъ изъ оставшихся. *Отчасти* это сдѣлалъ проф. Д. Н. Анучинъ, который, находя ихъ неправильными формѣ и по существу, полагаетъ однако, что „при ненормальныхъ условіяхъ жизни общества приходится мириться со многими такими явленіями, которыя при нормальномъ ходѣ вещей были бы невозможны“.

Въ заключеніе не могу не выразить искренняго и нелицемѣрнаго пожеланія, чтобы дѣятельность Педагогическаго Общества возобновилась возможно скорѣе, при нормальныхъ условіяхъ общественной жизни.

Князь С. Н. Трубецкой имѣлъ въ виду напечатать въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ еще слѣдующее открытое письмо къ проф. Анучину. Но онъ не сдѣлалъ этого изъ опасенія упрековъ со стороны учредителей и членовъ Педагогическаго Общества, которые могли заподозрить его въ желаніи повредить имъ. Выходъ нѣсколькихъ членовъ и самого князя изъ Общества, вѣроятно, дѣйствительно способствовалъ его закрытію, послѣ чего С. Н. тѣмъ болѣе казалось невозможнымъ критиковать его дѣятельность.

Приводятся же оба письма здѣсь потому, что чувство и убѣжденія князя, какъ педагога и друга молодежи настолько опредѣленны и характерны, что намъ казалось цѣннымъ воспроизвести ихъ въ этомъ собраніи его публицистическихъ статей.

Письмо къ проф. Д. Н. Анучину.

Многоуважаемый Дмитрій Николаевичъ!

Подобно вамъ, я прекрасно сознаю, что въ средѣ членовъ Педагогическаго Общества есть не мало въ высшей степени почтенныхъ дѣятелей, съ которыми я не расхожусь въ вопросахъ общественныхъ и педагогическихъ. Я думаю также, что въ вопросахъ общественныхъ и политическихъ я не разошелся бы съ Педагогическимъ Обществомъ, которое на собраніи 12-го марта почтило меня избраніемъ въ комиссію для выработки видовъ и предположеній по усовершенствованію государственнаго порядка и народнаго благосостоянія, — комиссію, которую оно, несомнѣнно имѣло право избрать на основаніи Указа 18-го февраля. Въ эту комиссію избранъ былъ рядъ лицъ, съ которыми я работалъ и продолжаю работать въ тѣхъ же цѣляхъ. Но, къ сожалѣнію, однако, я кореннымъ образомъ расхожусь съ постановленіями Педагогическаго Общества по вопросамъ педагогическимъ, — постановленіями, которыя оно признало нравственно обязательными для

всѣхъ своихъ членовъ и которымъ, повидимому, не сочувствуете и Вы, присоединяясь къ протесту гг. Смирнова, Алферова и др. Вы находите, что 12-го марта были сдѣланы постановленія, которыя были бы „невозможны“ при нормальныхъ условіяхъ; такъ: требованіе отмѣны всякаго рода дисциплинарныхъ взысканій, налагаемыхъ на учащихся учебной администраціей, и мнѣніе о необходимости поддержки пожеланій учащихся, направленныхъ къ устраненію недостатковъ школы, при нормальныхъ условіяхъ „не могло бы разсчитывать на сочувствіе педагоговъ, которымъ извѣстно, что въ школѣ необходима разумная дисциплина и что устраненіе школьныхъ недостатковъ есть дѣло, требующее педагогическихъ знаній и опыта“ — т.-е. дѣло педагоговъ, общества и правительства, а не учащихся. Вы полагаете, однако, что „при ненормальныхъ условіяхъ жизни общества приходится мириться со многими такими явленіями, которыя при нормальномъ ходѣ вещей были бы невозможны“. Не отрицая, въ общемъ, справедливости и этого замѣчанія, я нахожу, однако, въ частности, что именно въ настоящую минуту требованіе „разумной дисциплины“ въ школѣ умѣстнѣе, чѣмъ когда-либо, хотя бы въ виду огражденія учащихся отъ тѣхъ уличныхъ избиеній, о которыхъ Вы упоминаете дальше, и которыя, несомнѣнно, „при нормальномъ ходѣ вещей“, мѣсто имѣть не могутъ. Въ этомъ смыслѣ я и не могу мириться съ постановленіями Педагогическаго Общества и не нахожу ни нормальнымъ, ни желательнымъ, чтобы „будущіе граждане“ подражали настоящимъ „зрѣлымъ гражданамъ“. Когда дѣти дѣлаютъ это въ другое время, это можетъ быть нелѣпо или смѣшно, теперь это опасно.

Мы всѣ глубоко сознаемъ коренные недостатки нашего школьнаго режима, о которыхъ намъ перѣдко, и самымъ рѣшительнымъ образомъ, приходилось высказываться. Мы считаемъ обязанностью зрѣлыхъ русскихъ гражданъ всѣми законными путями бороться съ недугами государственными и общественными. Но мы рѣшительно не признаемъ за учащимися въ средней школѣ права голоса по вопросамъ школьнымъ или общественнымъ — именно потому, что мы сознаемъ всю важность и значеніе этихъ вопросовъ и всю мѣру нашей отвѣтственности передъ нашими дѣтьми. Смѣю думать, что самое вдумчивое и любовное отношеніе къ нравственному міру учащихся не должно заставить насъ отступить отъ элементарныхъ требованій школьной дисциплины и простого здраваго смысла. Вотъ почему я не только признаю возможнымъ заранее слагать съ учащихся въ средней школѣ какую бы то ни было отвѣтственность

за производимыя ими волненія и заявлять объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе, но счесть долгомъ, въ самой рѣшительной, если хотите демонстративной формѣ заявить о своемъ несогласіи. Думаю, что аналогичными соображеніями руководились и другія лица, подписавшія наше общее заявленіе.

Медлить нельзя.

Нѣсколько дней тому назадъ русское общество прочитало выдержки изъ японской „Бѣлой книги“ о переговорахъ нашего правительства съ японскимъ, — переговорахъ, которые привели къ настоящей войнѣ.

Въ теченіе долгихъ и долгихъ мѣсяцевъ, когда Японія усиленно вооружалась и національное одушевленіе охватывало ее неудержимо, а мы, повидимому, и не подозрѣвали объ опасности, велись эти „бессодержательные переговоры“, со дня на день оттягивавшіе нашъ отвѣтъ подъ пустячными предлогами, которые показывали всю мѣру нашего пренебреженія и непониманія. Напрасно японскій посланникъ предупреждалъ о всей серіозности, объ опасности положенія: ему отвѣчали, что важность его вполне сознается, но что вопросъ серіозенъ и требуетъ обсужденія и что тѣ или другія случайности, празднества, текуція дѣла и другія обстоятельства мѣшаютъ немедленно его разрѣшить. Такъ продолжалось до той минуты, когда японское правительство, убѣдившись въ тщетѣ своихъ попытокъ, прекратило эти „*futiles négociations*“ и начало войну, къ которой мы не готовились.

Урокъ былъ грозный и внушительный. Казалось бы, онъ долженъ былъ показать всю опасность промедленій въ рѣшительныя историческія минуты, когда на карту ставятся жизненные требованія народа и высшіе государственные интересы. Попытка затягивать мирный исходъ волокитой, бессодержательными переговорами и отписками не укрѣпляетъ престижа власти; она подкапываетъ его глубже всякой агитаціи и пропаганды, она обостряетъ кризисъ и ведетъ къ роковымъ послѣдствіямъ.

Но, видимо, и этотъ урокъ прошелъ даромъ. Теперь уже не Японія, а русская земля, русское общество стоитъ передъ правящей бюрократіей, и на нашихъ глазахъ вновь повторяется та же страшная ошибка: тѣ же „*futiles négociations*“ разныхъ бюрократическихъ комиссій и учрежденій, то же стремленіе отдѣлаться отъ дѣла проволочками. Мы встрѣчаемся съ тѣмъ же роковымъ непониманіемъ

Одновременно должно было появиться въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ письмо слѣдующаго содержанія:

Письмо въ редакцію.

Милостивый Государь и. Редакторъ!

На-дняхъ, на столбцахъ „Русскаго Слова“ Совѣтъ Педагогическаго Общества счелъ нужнымъ дать „необходимыя разясненія по поводу постановлений названнаго Общества, вызвавшихъ нашъ выходъ и протесты другихъ членовъ. „По глубокому убѣжденію „Совѣта“, всякое общество, принимающее своихъ членовъ по баллотировкѣ, имѣетъ право устанавливать извѣстныя нравственныя нормы (!) когда того требуетъ характеръ обсуждаемаго вопроса и особенности момента“. Предоставляя другимъ судить о правильности этого страннаго „глубокаго убѣжденія“, я тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ томъ, что, разъ общество признаетъ за собою право издавать „нравственныя нормы“, обязательныя для своихъ членовъ, то тѣмъ изъ нихъ, которымъ эти „нормы“ являются болѣе чѣмъ проблематичными, остается только уходить.

Совѣтъ „тщетно старается понять“, почему, въ числѣ лицъ, заявившихъ о своемъ выходѣ изъ Педагогическаго Общества, находятся и такія, которыя всегда заявляли себя сторонниками политически-прогрессивной программы“, но которыя своимъ уходомъ будто бы оказали поддержку „реакціонному направленію“. Политически-прогрессивная программа тутъ ровно ни при чемъ и не составляетъ монополіи уважаемыхъ членовъ Совѣта Педагогическаго Общества. На собраніи 12-го марта Педагогическое Общество почтило меня избраніемъ въ комиссію для выработки видовъ и предположеній по усовершенствованію Государственнаго порядка (согласно указу 18-го февраля), при чемъ, въ числѣ другихъ избранныхъ, я встрѣтилъ имена нѣсколькихъ уважаемыхъ товарищей, съ которыми я и раньше сотрудничалъ и продолжаю сотрудничать въ аналогичныхъ цѣляхъ. А что касается до печальнаго раскола въ средѣ Педагогическаго Общества, и вытекающей изъ него „поддержки реакціонному направленію“ по отношенію къ обществу, то это еще большой вопросъ, кто повиненъ въ немъ болѣе — тѣ члены, которые сочли себя вынужденными уйти, или то нравственное насилие, которое ихъ къ этому вынудило.

Къ сожалѣнію, пріостановка дѣятельности Общества, прискорбная не для однихъ его членовъ, мѣшаетъ мнѣ высказаться по существу

долженъ быть представителемъ въ особомъ совѣщаніи подъ предѣтельствомъ министра“. Мы не знаемъ, кто будутъ эти дѣятели и что они отвѣтятъ; мы знаемъ, что они должны отвѣтить, что говорить все общество, вся разумная часть печати: они должны сказать, что медлить нельзя, что надо дѣйствовать и совершить дѣло мира, что въ особое совѣщаніе, которому предстоитъ рѣшить жизненный вопросъ земли, должны быть теперь же призваны представители, избранные всѣмъ населеніемъ. Этого требуетъ государственный интересъ, истинно понятый интересъ правительственной власти; этого требуетъ благо, спокойствіе, спасеніе Россіи... Это — право и обязанность русскихъ гражданъ, русскаго патріотизма.

Все это уже сказано, все это уже сознано. Тревога растетъ съ каждымъ днемъ.

Москва 1905 г., 9 апрѣля.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Слѣдующія статьи взяты изъ „Московской Недѣли“, этого аполучнаго журнала, редакторомъ котораго былъ князь С. Н. Трубецкой, и которому не суждено было увидать свѣтъ при его жизни. Эти статьи всего умѣстѣ именно тутъ, во-первыхъ, потому, что онѣ были написаны послѣ только что приведенныхъ, а во-вторыхъ, потому что онѣ служатъ какъ бы иллюстраціей переживавшихся тогда событій. Приведенныя отдѣльно, онѣ потеряли бы свое непосредственное значеніе.

Отъ редакціи.

Среди военной грозы, среди тяжкихъ внутреннихъ потрясеній возшла заря нашего обновленія, — заря великихъ и трудныхъ дней. Трудно и радостно вмѣстѣ жить въ эти дни! Встрѣтимъ ихъ бодро и безъ малодушныхъ страховъ, зная, что много бурь впереди, много работы и что расплата за грѣхи нашего прошлаго неизбежна и велика. Но есть сознаніе, что необъятное поле раскрывается передъ нами все шире и шире, что оно зоветъ работниковъ, что теперь можно жить и умереть для великаго и свѣтлаго дѣла. Есть сознаніе, что трудъ нашъ не пропадетъ, и много насъ выйдетъ въ поле.

То, что еще недавно было такъ сильно, что казалось столь непреодолимо-могущественнымъ и сковывало насъ ледяною корою, распадается само собою, является немощнымъ и безпомощнымъ. Ледъ таетъ, ледъ тронулся, и волны его унесутъ. Мы не знаемъ еще, каковъ будетъ разливъ, но мы знаемъ, что и воды разлива сойдутъ. Мы знаемъ, что время работы, великой созидательной работы наступаетъ и наступило уже. Никогда еще не было большей

потребности въ работахъ, дѣлателяхъ, созидателяхъ; никогда не было труда болѣе благодарнаго, общественно-государственныхъ задачъ болѣе широкихъ, возвышенныхъ и отвѣтственныхъ. Всѣ вопросы государственной и общественной жизни разомъ встали передъ нами — вопросъ коренной политической реформы и съ нимъ вмѣстѣ національные, соціальные, экономическіе вопросы, вопросы церкви и народнаго просвѣщенія.

Велика и отвѣтственная задача русской печати въ настоящую историческую минуту. Она должна служить принципиальному и всестороннему освѣщенію и разработкѣ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ будетъ отнынѣ завистъ отъ политически-организованныхъ общественныхъ силъ. Она должна способствовать не только выраженію, но и организации общественнаго мнѣнія, и она пріобрѣтаетъ новое политическое значеніе, какого она ранѣе не имѣла. Мы сознаемъ всю трудность нашихъ задачъ при неимоверной сложности и запутанности современнаго положенія, при глубинѣ ставящихся вопросовъ, при необходимости коренныхъ реформъ во всѣхъ областяхъ жизни народной.

Широкая и вмѣстѣ дѣловая программа, твердые и опредѣленные принципы при отсутствіи нетерпимаго и отвлеченнаго догматизма, добросовѣстное и всестороннее изученіе обсуждаемыхъ вопросовъ — вотъ требованія, которыя общество болѣе чѣмъ когда-либо должно предъявлять къ публицисту.

Печать должна, прежде всего, по мѣрѣ силъ служить дѣлу мира — внѣшняго и внутренняго.

Земля жаждетъ мира. Мы сознаемъ не менѣе другихъ все мировое значеніе настоящей войны. Безумная политика вовлекла насъ въ нее, и неизбежныхъ, роковыхъ послѣдствій нашихъ ошибокъ предотвратить уже нельзя... Преобладаніе Японіи на Дальнемъ Востоцѣ, ея сближеніе съ Китаемъ, вооруженіе Китая въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ — всему этому мы помѣшать уже не можемъ. Намъ нуженъ миръ хотя бы для того, чтобы собрать свои силы для огражденія себя отъ неизбежныхъ опасностей будущаго. Намъ нуженъ миръ хотя бы для реорганизации нашей национальной обороны. Но прежде всего онъ необходимъ для всесторонняго обновленія нашего, безъ котораго мы будемъ безсильны, и судьба Россіи останется игрушкой слѣпного случая и произвола.

Намъ нуженъ внѣшній и внутренній миръ, миръ центра и миръ окраинъ, миръ политическій и соціальный. И во главѣ

вопросовъ внутренней жизни сталъ вопросъ о коренной политической реформѣ, объ устроении политической свободы Россіи на началахъ народного представительства.

Какъ бы высоко ни цѣнили мы свободу въ обнаруженіяхъ духовной жизни личности и общества — свободу слова и совѣсти, свободу союзовъ, свободу и автономію церкви и школы, какое бы значеніе ни придавали мы экономическимъ, аграрнымъ реформамъ для общаго культурнаго подъема массъ, мы всѣ одинаково сознаемъ, что безъ коренной политической реформы всѣ прочія или неосуществимы, или безпочвенны. Только такая реформа выведетъ насъ изъ того состоянія анархіи и смуты, въ которомъ мы живемъ, дастъ намъ истинный, прочный государственный порядокъ и сильную, авторитетную правительственную власть, столь необходимую для осуществленія всѣхъ прочихъ неотложныхъ реформъ.

Мы не закрываемъ глазъ на сложность и практическія трудности этой реформы, которую немислимо выработать и провести старымъ бюрократическимъ путемъ и которую столь же немислимо создать при помощи однихъ ходячихъ отвлеченныхъ формулъ, нынѣ всѣми повторяемыхъ. Общество слишкомъ заинтересовано въ этой реформѣ, чтобы голосъ его не былъ услышанъ при ея разработкѣ, или чтобы она могла быть разработана безъ его дѣятельнаго участія — иначе при первомъ же представительномъ собраніи придется начать всю работу сначала и начать при обстоятельствахъ несравненно болѣе неблагоприятныхъ, чѣмъ это можно было бы сдѣлать теперь.

Первымъ условіемъ успѣшности и прочности реформы мы ставимъ, такимъ образомъ, участіе общества въ ея разработкѣ и осуществленіе — въ лицѣ выборныхъ представителей отъ всего населенія. Народное представительство должно обезпечить внутренній миръ страны, столь глубоко возмущенный, и скрѣпить внутренними узами единство разнообразныхъ частей великой имперіи; оно должно обезпечить прочный государственный порядокъ, свободу и право всѣхъ гражданъ, безъ различія племени и вѣроисповѣданія, и оно должно служить залогомъ широкаго развитія мѣстнаго и областного самоуправленія. Чтобы удовлетворить этимъ требованіямъ, необходима, во-первыхъ, широкая демократическая основа представительства: оно должно быть истинно всенароднымъ, опираясь на всеобщее избирательное право, равное для всѣхъ подданныхъ; во-вторыхъ, въ самой организаціи центрального представительства должны заключаться гарантіи безпрепятственнаго и свободнаго развитія мѣстнаго и областного самоуправленія; скрѣпляя единство частей

серіозности положенія, непониманіємъ историческихъ силъ, дѣйствительныхъ нуждъ русскаго государства и народа.

Всѣ „люди порядка“, всѣ, кому дорога „безопасность отечества“, мало того — личная безопасность, должны сознать, что надо дѣйствовать *сейчасъ*, что *больше медлить нельзя*, что одними посулами, безъ рѣшительнаго шага въ смыслъ исполненія Высочайшихъ предначертаній и законныхъ требованій общества, — шага достаточно смѣлаго и энергичнаго, чтобы завоевать общее довѣріе и признаніе, — нельзя будетъ избѣжать новыхъ неисчислимыхъ жертвъ и гибельныхъ катастрофъ.

Довольно съ насъ той чаши, которую мы пьемъ теперь на поляхъ Маньчжуріи, этихъ небывалыхъ человѣческихъ гекатомбъ, которыя приносятся тамъ въ расплату за наши вѣковые грѣхи и ошибки! Теперь дѣло идетъ о коренной Россіи, объ ея внутреннемъ мирѣ и безопасности. Общество не можетъ, не должно оставаться безучастнымъ въ минуту, когда Россія въ опасности.

Прежній строй осужденъ безвозвратно нашими внѣшними пораженіями и собственнымъ распаденіемъ. Его обличилъ страшный судъ исторіи, его осудила Россія, и Верховная власть скрѣпила этотъ приговоръ. Но онъ еще ничѣмъ не замѣненъ, и первый камень новаго порядка все еще не заложенъ. Старый порядокъ быстро и неудержимо распадается у всѣхъ на глазахъ, и на мѣсто его водворяется анархія, которая надвигается на насъ сверху и снизу, принимая грозные размѣры. Вчера намъ говорили о революціонерахъ, призывающихъ народныя массы къ грабежу и поджогамъ; сегодня охранители „основъ“, ревнители реакціи обнажаютъ свое истинное существо, проповѣдуя гражданскую войну, народный самосудъ и массовыя избіенія интеллигенціи...

Можно радоваться крушенію стараго режима, его банкротству, но полному крушенію порядка въ странѣ радоваться нельзя; а между тѣмъ оно совершается явно и быстро, и судорожныя реакціонныя мѣры, являющіяся лишь признакомъ растерянности и внутреннего безсилія, могутъ только ускорить такое крушеніе. Нужна созидательная дѣятельность, и, среди общаго разложенія, начала новаго порядка должны быть заложены безъ промедленія, не на словахъ, а на дѣлѣ.

Газеты принесли извѣстіе, что „министръ А. Г. Булыгинъ рѣшилъ до созыва особаго совѣщанія, предполагаемаго на іюнь-мѣсяцъ, организовать въ Петербургѣ собраніе столичныхъ и провинціальныхъ земскихъ и городскихъ дѣятелей для рѣшенія вопроса, кто

пальное недомыслие — вотъ съ чѣмъ придется еще долгое время бороться зрѣлой политической мысли.

Но мы не хотѣли бы борьбы съ людьми, которые заявляютъ себя рѣшительными сторонниками народнаго представительства, не смотря на разногласіе съ нами. Если ихъ точка зрѣнія представляется намъ теоретически неясной и несостоятельной, то на практикѣ очень многіе изъ нихъ явятся нашими желанными союзниками и придутъ къ тѣмъ же результатамъ, къ какимъ приходимъ и мы — въ силу логики вещей, если не въ силу логики разсужденія. Предразсудки разбьются въ самой работѣ, а если только эти друзья представительства искренно будутъ стремиться къ тому, чтобы при помощи представительства обезпечить свободу и право какъ частныхъ лицъ, такъ и органовъ мѣстнаго самоуправленія и вмѣстѣ утвердить внутренній міръ и прочный правопорядокъ, жизнь приведетъ ихъ къ той же цѣли, къ которой мы идемъ прямо и сознательно. Иначе имъ придется повернуть назадъ.

Мы высказываемся противъ идеи „совѣщательнаго“ собранія не только потому, что оно не удовлетворяетъ цѣли народнаго представительства, но также и потому, что самая идея его есть ложная и неосуществимая идея, а попытка осуществить ее при условіяхъ настоящаго времени была бы опасной и равно нежелательной и въ интересахъ правильнаго представительства, и въ интересахъ власти, и въ интересахъ внутренняго мира, къ которому мы обязаны стремиться прежде всего. Наша цѣль не въ томъ, чтобы созвать новый всероссійскій съѣздъ, который, подобно прочимъ съездамъ, будетъ протестовать противъ бюрократіи и постановлять резолюціи, ни для кого не обязательныя. Намъ нужно собраніе, дѣйствующее въ сознаніи своихъ правъ и своихъ обязанностей, своей отвѣтственности передъ закономъ.

Безправное представительное собраніе не можетъ служить гарантіей правопорядка, положить конецъ бюрократическому режиму и контролировать управленіе. Оно представляется намъ практически неосуществимымъ, поскольку организованное представительство есть политическая сила, которая не можетъ оставаться безправной. И, наконецъ, попытка провести въ жизнь такого рода представительство является намъ безцѣльной и опасной, какъ на основаніи уроковъ исторіи, такъ и по соображеніямъ простаго здраваго смысла, поскольку въ моментъ величайшаго внутренняго броженія подобная попытка, вмѣсто необходимой организаціи свободы и правопорядка, создавала бы лишь организованное неудовольствіе и вмѣсто „сбли-

женія царя съ народомъ“ учреждала бы борьбу около самого престола. Все это старыя истины, которыя такъ хорошо и краснорѣчиво были высказаны покойнымъ Б. Н. Чичеринымъ: „Организовать разсѣянную силу, удесятерять ее такимъ образомъ, поставить передъ нею самую заманчивую задачу, а между тѣмъ лишить ее всякихъ правъ, оставить ее въ совершенно неопредѣленномъ положеніи — значить поступать наперекоръ здравому политическому смыслу. Правительство, дѣйствующее такимъ образомъ, впадо бы въ противорѣчіе съ собою. Оно устроило бы громадную машину съ тѣмъ, чтобы произвести самое слабое дѣйствіе, сгущало бы паръ, не давая ему надлежащаго исхода. Оно все дѣлало бы для достиженія результата, котораго вовсе не желало и не предвидѣло. Лучше вовсе не созывать представительства, нежели, собравши его, устранять неизбежныя его послѣдствія“ („О народномъ представительствѣ“, 144).

Не дай Богъ, чтобы Б. Н. Чичеринъ оказался пророкомъ! Мы знаемъ, что сторонники совѣщательнаго представительства имѣютъ въ виду неизбежность монархической власти, огражденіе ея отъ того, что могло бы умалить ея авторитетъ. Но по нашему крайнему разумѣнію, они рекомендуютъ такую форму представительства, которая болѣе способна служить подрыву ея авторитета, нежели представительство, облеченное необходимыми правомочіями. Отнимите рѣшающій голосъ у присяжныхъ и предоставьте имъ лишь право совѣщательнаго голоса — вы уроните авторитетъ и судей и суда, испортите самый институтъ присяжныхъ, отнявъ у него его живой нравственный смыслъ; такъ точно, ограничивъ народныхъ представителей однимъ совѣщательнымъ голосомъ, вы не усилите ни законодательной, ни исполнительной власти и подорвете авторитетъ какъ представительства, такъ и правительства. Отнимите у суда независимость — вы не поднимете этимъ престижа правительственной власти. Но если независимость суда еще не уничтожаетъ права апелляціи и кассаціи его приговоровъ или права помилованія, всюду принадлежащаго верховной власти, то и правомочія представительныхъ палатъ не лишаютъ главу государства ея права *velo*.

Правительственная власть усиливается, и авторитетъ ея растетъ въ той мѣрѣ, въ какой она удовлетворяетъ назрѣвшимъ государственнымъ и общественнымъ потребностямъ; она умалается тамъ, гдѣ эти потребности не удовлетворяются, гдѣ государственному интересу противопоставляются интересы правящихъ классовъ. При громадности нашей территоріи, при томъ широкомъ развитіи мѣстнаго и областного самоуправленія, которому мы идемъ навстрѣчу, нако-

пецъ, при неизбежномъ напряженіи нашихъ военныхъ силъ въ интересахъ національной обороны, верховная власть въ Россіи должна быть не только внѣшнимъ образомъ сильной, но и авторитетной. И ея сила и авторитетъ будутъ расти въ правовомъ государствѣ, при режимѣ народнаго представительства и демократическихъ учрежденій. Ея сила въ свободѣ и правѣ гражданъ, не въ отсутствіи права и произволѣ. И вотъ почему мы считаемъ догматъ политическаго безправія подданныхъ ложнымъ догматомъ, ослабляющимъ не только страну въ ея цѣломъ, но и самую правительственную власть. И если мы хотимъ выйти изъ нашего нестроения и обезпечить странѣ прочный правовой порядокъ, мы должны прежде всего позаботиться о томъ, чтобы внести его въ самый строй нашей государственности, а не о томъ, чтобы и самое народное представительство, отнынѣ признанное необходимымъ, сдѣлать безправнымъ.

Разъ оно требуется страной и признано необходимымъ самою верховною властью, нужно создать прочныя и устойчивыя формы представительнаго правленія. Государственные дѣятели, которые захотѣли бы въ настоящую минуту поднять пошатнувшійся авторитетъ и обаяніе правительственной власти, должны имѣть въ виду именно эту цѣль — стать впереди общественнаго, патріотическаго движенія, къ ней направленнаго. Только тогда реформа придетъ мирнымъ путемъ.

Разработка вопроса о желательной организаціи народнаго представительства въ Россіи составляетъ одну изъ главныхъ задачъ нашего органа. Ниже мы помѣщаемъ обширную статью по этому предмету¹⁾, и предполагаемъ еще вернуться къ обсуждаемымъ въ ней вопросамъ.

„Усовершенствованіе государственнаго порядка“ есть задача сегоднешняго дня, — задача, къ рѣшенію которой нынѣ привлекается общественная мысль. Вторая задача, которая ей ставится, есть „улучшеніе народнаго благосостоянія“ — задача, практически неразрѣшимая помимо общей политической реформы, но требующая немедленной и всесторонней разработки. Каковы бы ни были наши различные конечныя экономическіе идеалы, мы разсматриваемъ здѣсь эту задачу прежде всего съ реально-политической точки зрѣнія. Приступая къ рабочему и крестьянскому вопросу и настаивая на дѣятельной и широкой социальной и экономической политикѣ, мы исходимъ прежде всего изъ соображеній государственной необходимости.

¹⁾ Статья *О. О. Кокошкина*: „объ основаніяхъ желательной организаціи народнаго представительства въ Россіи“, появившаяся въ Русскихъ Вѣдомостяхъ 24 въ выходомъ въ свѣтъ „Московской Недѣли“.

За послѣднее время въ общественномъ сознаниі силою вещей выдвинулся на первый планъ *аграрный вопросъ*, столь тѣсно связанный въ одно цѣлое съ крестьянскимъ вопросомъ, составною частью коего онъ является. Помимо всякихъ теоретическихъ споровъ, онъ бесконечно осложняется въ настоящую минуту неустойчивостью юридическимъ, полнымъ отсутствіемъ правопорядка и правосознанія въ крестьянской массѣ, анархіей и произволомъ, которые въ ней царятъ. Съ тѣхъ поръ какъ совершилось освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, ничего существеннаго не было сдѣлано ни для устройства ихъ гражданскаго быта, ни для подъема ихъ матеріальнаго благосостоянія, а народное просвѣщеніе не только не было признано дѣломъ первой государственной необходимости, но тормозилось искусственно. Въ теченіе почти полулѣта правительство не сдѣлало ни шагу въ смыслѣ активной и раціональной аграрной политики, въ смыслѣ широкой и правильной постановки переселенческаго дѣла, мелкаго кредита, аренднаго законодательства. Податная система въ основаніяхъ своихъ остается безъ измѣненія, и, по удачному выраженію Вл. Соловьева, „краеугольнымъ камнемъ государственнаго хозяйства“ остается кабакъ. Благодаря политикѣ бездѣйствія, благодаря органической неспособности бюрократическаго строя справиться съ жизненными задачами новой Россіи или хотя бы даже понять все ихъ дѣйствительное значеніе, аграрный кризисъ и получилъ свою настоящую остроту, грозя странѣ голодомъ и пожаромъ.

Абсолютнаго и окончательнаго рѣшенія аграрнаго вопроса мы не знаемъ и не ищемъ выхода изъ современнаго кризиса ни въ отвлеченныхъ идеалахъ болѣе или менѣе далекаго будущаго, ни еще менѣе — въ возбужденіи массъ съ цѣлью немедленнаго и насильственнаго примѣненія этихъ идеаловъ къ дѣйствительности. Мы будемъ имѣть въ виду реальную цѣль и реальныя средства. И мы полагаемъ, что всѣ классы, все русское землевладѣніе въ его цѣломъ, все государство, непосредственно и прежде всего заинтересованы не въ томъ, чтобы найти конечное разрѣшеніе соціальнаго вопроса, а въ томъ, чтобы найти выходъ изъ настоящаго аграрнаго кризиса и отнять у него его гибельную остроту, которая въ нашихъ глазахъ еще нисколько не предвѣщаетъ быстрого и благопріятнаго исхода. И для того, чтобы достигнуть этой ближайшей практически достижимой цѣли, потребуются громадныя усилія и несомнѣнныя жертвы со стороны государства и наиболѣе заинтересованныхъ классовъ; но такія усилія и жертвы и неизбѣжное

государственное вмешательство, по нашему мнѣнію, несомнѣнно, оправдываются не только общимъ государственнымъ интересомъ и требованіями соціальной справедливости, не только бѣдствіями массъ, но правильно понятыми интересами частнаго землевладѣнія, крупнаго и мелкаго. Ибо только такую цѣною можно придать ему должную устойчивость, обезпечить правильное и мирное теченіе хозяйственной эволюціи и оградить землевладѣніе отъ стихійныхъ потрясеній и распаденія.

Для „улучшенія народнаго благосостоянія“ и мирнаго разрѣшенія аграрнаго кризиса необходима не одна какая-нибудь мѣра, а цѣлая система мѣръ. Каждая изъ нихъ въ отдѣльности, какъ бы хороша и цѣлесообразна она ни была, сама по себѣ безъ совокупности другихъ будетъ недостаточной. Нужна податная реформа, но она не устранитъ малоземелья тамъ, гдѣ оно имѣетъ мѣсто; нужно переселеніе и расселеніе, но и эта мѣра, взятая въ отдѣльности, можетъ имѣть лишь весьма ограниченное значеніе; нужна правильная постановка аренднаго законодательства, широкая организація мелкаго кредита, кооперативныхъ товариществъ, кустарныхъ промысловъ, на ряду съ совокупностью мѣръ, направленныхъ къ введенію въ деревню общегражданскаго правопорядка и всеобщему распространенію и развитію народнаго образованія, столь существеннаго для матеріальнаго и культурнаго подъема страны. И, наконецъ, необходимо увеличеніе площади крестьянскаго землевладѣнія, о чемъ приходится говорить прежде всего при обсужденіи „аграрнаго“ или земельного вопроса. Правда, и этой мѣрѣ безъ совокупности прочихъ нельзя придавать исключительнаго значенія. Безъ соединенныхъ энергическихъ усилій правительства и земствъ, направленныхъ къ интенсификаціи сельскаго хозяйства, крестьянство будетъ голодать на увеличенныхъ надѣлахъ, какъ оно голодаетъ и теперь на крупныхъ надѣлахъ въ Самарской губерніи. Интенсификація культуры — вотъ, по нашему мнѣнію, главное средство, безъ котораго нѣтъ выхода изъ экономическаго кризиса; но переходъ къ интенсивному хозяйству можетъ совершиться лишь постепенно, и онъ не подъ силу разоренному и малокультурному малоземельному населенію. Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ заработковъ, гдѣ населеніе вынуждено жить почти исключительно земледѣльческимъ трудомъ и гдѣ оно страдаетъ острымъ малоземельемъ, въ особенности при дарственныхъ надѣлахъ, необходимо прежде всего озаботиться надѣленіемъ крестьянъ землею посредствомъ отвода земель изъ государственнаго земельного фонда, который долженъ

быть поставленъ на первую очередь, посредствомъ *систематическихъ* покупокъ и, наконецъ, при помощи *выкупа* части земель частно-владѣльческихъ. Тамъ, гдѣ за недостаткомъ земель это окажется невозможнымъ, гдѣ самый выкупъ нарушалъ бы цѣльность хозяйственныхъ единицъ, необходимо будетъ прибѣгать къ переселенію, которое не можетъ и не должно быть мѣрою, примѣняемой повсемѣстно.

Во всякомъ случаѣ, для разработки и практическаго осуществленія въ высшей степени сложныхъ реформъ, направленныхъ къ оздоровленію, упорядоченію и укрѣпленію крестьянскаго землевладѣнія, потребуется огромная мѣстная и общественная работа. Но, повторяемъ, при условіяхъ настоящаго режима такая широкая реформа, предполагающая нормальное взаимодействіе общества и правительственной власти, является немыслимой: она никогда не получитъ достаточной широты и прочности, не будетъ тѣмъ земскимъ всенароднымъ и обще-государственнымъ дѣломъ, каковымъ она должна быть. И тѣмъ не менѣе, она необходима, она составляетъ потребность, насущное требованіе земли — и это одно уже должно служить залогомъ осуществленія той политической реформы, безъ которой немыслимо наше дальнѣйшее народно-государственное существованіе.

На ряду съ аграрнымъ вопросомъ стоять въ нашей жизни болѣе молодой, но уже рѣзко и ярко заявившій о себѣ рабочій вопросъ, который, при всей ограниченности размѣровъ нашей фабричной и заводской промышленности, представляетъ для своего разрѣшенія почти такія же трудности, какъ крестьянскій. Мы считаемъ съ своей стороны безусловно желательнымъ прочное улучшеніе въ положеніи рабочихъ всѣхъ производствъ и признаемъ единственнымъ реально-осуществимымъ путемъ къ этому въ нынѣшнемъ общественномъ строѣ, — законодательное регулированіе продолжительности рабочаго времени, отмѣну сверхурочныхъ работъ, развитіе охраны труда женщинъ и дѣтей, обезпеченіе рабочимъ полного вознагражденія отъ предпринимателей за утраченную трудоспособность вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ и профессиональной болѣзни, оздоровленіе условій фабричнаго и заводскаго труда, обязательное обученіе дѣтей рабочихъ на счетъ фабрикантовъ и введеніе государственнаго страхованія на случай болѣзни, старости, неспособности къ труду и смерти. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы признаемъ необходимой реформу рабочаго законодательства и фабричной инспекціи въ смыслѣ уничтоженія присущаго имъ въ настоящее время бюрократическаго характера, и распространенія ихъ на всѣ виды наемнаго труда.

Для насъ въ это же время очевидна тѣсная зависимость въ судьбѣ обоихъ вопросовъ — крестьянскаго и рабочаго, и мы убѣждены, что на пути къ рѣшительнымъ реформамъ въ области рабочаго законодательства немалымъ тормозомъ является плохое состояніе нашего внутренняго рынка, зависящее прежде всего отъ печальнаго положенія крестьянства, улучшеніе благосостоянія котораго составляетъ необходимое условіе для нормальнаго развитія фабрично-заводской промышленности, а между тѣмъ наличность послѣдняго обуславливаетъ въ значительной мѣрѣ практическую выполнимость нѣкоторыхъ изъ преобразованій, направленныхъ къ улучшенію въ положеніи рабочаго класса.

Мы сознаемъ всю сложность и трудность социальныхъ задачъ — положеніе не изъ легкихъ, и, повторяемъ, нормальный и мирный выходъ изъ него мы видимъ лишь при условіи осуществленія политической реформы. Во всякомъ случаѣ, въ интересахъ всесторонняго обсужденія намѣченныхъ вопросовъ мы предоставляемъ себѣ дать мѣсто выраженію *различныхъ* взглядовъ на мѣры, предлагаемыя для практическаго ихъ разрѣшенія.

Въ связи съ политическимъ и экономическимъ освобожденіемъ Россіи стоитъ вопросъ объ обезпеченіи личныхъ правъ, личной неприкосновенности и неприкосновенности жилища, о свободѣ общественныхъ собраній и союзовъ, о возстановленіи въ ихъ полномъ объемѣ и силѣ началъ судебныхъ уставовъ императора Александра II, которые уже сами по себѣ имѣли величайшее значеніе для устроенія земли и внесли впервые начатки права въ темную безсудную крестьянскую массу. И, наконецъ, поднимается совокупность вопросовъ, связанныхъ съ *духовнымъ* освобожденіемъ Россіи — о свободѣ слова и совѣсти, свободѣ печати, вѣроисповѣданія, церкви, школы.

По счастью, мы не имѣемъ нужды доказывать необходимость этихъ свободъ; разсужденія и декламации на эти темы уже давно представляются излишними, какъ для убѣжденныхъ сторонниковъ духовнаго освобожденія, такъ и для закоренѣлыхъ противниковъ его, какъ для враговъ общества, такъ и для самого общества, въ сознаніи котораго вопросъ рѣшенъ безповоротно въ положительномъ смыслѣ.

Указъ 17-го апрѣля, подробный разборъ котораго мы помѣщаемъ *ниже*, несмотря на свою неполноту, есть первый осязательный

результатъ русскаго освободительнаго движенія, первый дѣйствительный шагъ на новомъ пути, знаменующій переходъ *слова* въ *дѣло*. Въ этомъ смыслѣ мы привѣтствуемъ его съ радостнымъ чувствомъ и вѣримъ, что благія его послѣдствія отразятся на умиротвореніи и подъемѣ всей духовной жизни страны, въ частности же на православнои церкви, которая не можетъ оставаться запечатанной внѣшнею властью, когда печати сняты, наконецъ, и съ храмовъ старообрядцевъ, и начала религіозной свободы впервые получаютъ признаніе...

Указъ 17-го апрѣля есть первое *доброе дѣло* современнаго движенія, — дѣло, на которое мы можемъ указать всѣмъ тѣмъ, кто не хотятъ видѣть положительнаго значенія этого движенія. Много хорошихъ словъ о свободѣ совѣсти слышали мы отъ старыхъ славянофиловъ, которые были такъ проникнуты сознаніемъ святости вѣры и святости церкви. Они желали этой свободы прежде всего для очищенія и возрожденія самой церкви, для духовнаго возрожденія русскаго общества и народа — они не отдернули бы руку отъ тѣхъ русскихъ людей, которые привѣтствуютъ въ пасхальномъ указѣ 17-го апрѣля первый осязательный успѣхъ своихъ стремленій.

Теперь мы ждемъ давно обѣщаннаго освобожденія печати и раскрѣпощенія университетовъ. Правда, наканунѣ благотѣльнаго указа получили утвержденіе заключенія совѣта министровъ о высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя не соотвѣтствуютъ этимъ ожиданіямъ. Но утренникъ 16-го апрѣля не побѣтъ наши всходы.

Мы двинулись... И какъ ни недостаточны еще достигнутые результаты для насъ, коренныхъ русскихъ людей, мы не можемъ не констатировать, что великій принципъ вѣротерпимости впервые получилъ реальное, хотя все еще не совершенное признаніе для инославныхъ, что политика агрессивнаго реакціоннаго націонализма и національной вражды на окраинахъ измѣнилась, или, точнѣе, измѣняется на нашихъ глазахъ; политика Бобрикова въ Финляндіи, политика кн. Голицына на Кавказѣ потерпѣли крушеніе; Высочайшій манифестъ 16-го марта (о воинской повинности въ Финляндіи), указъ 1-го мая о западныхъ губерніяхъ и нѣкоторые другіе правительственные акты и мѣропріятія служатъ яркими признаками совершающагося внутренняго поворота къ политикѣ умиротворенія, къ признанію права языковъ и національностей, входящихъ въ составъ имперіи. Дѣло права, мира и освобожденія не можетъ коснуться однихъ окраинъ, — иначе и тамъ оно будетъ безпочвенно и непрочно. Мы вѣримъ въ непреложное и близкое осуществленіе началъ народ-

наго представительства, впервые торжественно признанных въ рескриптѣ 18-го февраля. Мы вѣримъ, что освобожденная Россія воспринять въ новомъ величїи и силѣ, и дѣти наши будутъ вспоминать, какъ

...въ искушеньяхъ Божьей кары,
Перетерпѣвъ судьбы удары,
Окрѣпла Русь.

Москва. 12 мая 1905 г.

(„Московская Недѣля“.)

Отъ редакціи.

Въ 1—2 номерѣ „Московской Недѣли“ мы писали, что время декламаций и разсужденій о свободѣ печати миновало.

1—2 номеръ „Московской Недѣли“ былъ арестованъ до отпечатанія, черезъ $\frac{3}{4}$ часа послѣ выпуска перваго экземпляра изъ типографскаго станка.

Онъ былъ задержанъ внѣ закона. Совѣту Главнаго Управленія и Цензурнымъ Комитетамъ предоставляется право немедленно останавливать выпускъ въ свѣтъ повременнаго изданія лишь „въ тѣхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда по значительности вреда, предусматриваемаго отъ распространенія противозаконнаго изданія, наложеніе ареста не можетъ быть отложено до судебного о семъ приговора... не иначе, впрочемъ, какъ начавъ *въ то же самое время* судебное преслѣдованіе противъ виновнаго“.

Между тѣмъ судебного преслѣдованія противъ редактора „Московской Недѣли“ пока начато не было, да едва ли и могло быть начато какъ по существу, такъ и по чисто формальному основанію, поскольку номеръ не только не былъ опубликованъ, т.-е. пущенъ въ обращеніе, но не успѣлъ даже быть оттиснутымъ (см. *Рѣш. упол. Кассац. Деп. 1869 г. по дѣлу Павленкова*).

Первый номеръ, поздно или рано, увидитъ свѣтъ — хотя бы въ качествѣ историческаго документа, — и читатели оцѣнятъ по достоинству тотъ актъ вопіющей несправедливости, какой былъ допущенъ по отношенію къ намъ. Въ задержанномъ номерѣ не было ничего такого, что не допускалось бы цензурой ежедневно *во всѣхъ изданіяхъ*, не исключая даже подцензурныхъ. Приходится думать, что „Московская Недѣля“ еще до выхода своего въ свѣтъ уже навлекла на себя чѣмъ-то неблагосклонное вниманіе цензуры.

Одною и при этомъ разнѣею мы не могли ограничиться отъ индѣи, въ твердой увѣренности, что общественность измѣнится въ сторону времени не только для всѣхъ индѣи вообще, но даже и для „Московской Недѣли“.

При этомъ мы подливаемъ индѣи не по толканию Кобене, а уносимъ на Божій судъ, который расудитъ, виновна ли между русскими словоохотливая и наивная цензура. Мы апеллируемъ къ общественному мнѣнію.

Среди многихъ причинъ, вызвавшихъ наши пережитія, среди великихъ и малыхъ государственныхъ преступленій, приведшихъ нашу государственную корабль въ теверенному крушенію, дѣятельность нашей цензуры, деспотическое угнетеніе русскаго слова занимаетъ не послѣднее мѣсто. Будь у насъ свободная печать, у насъ были бы теперь и флотъ и военнопочальники и, не было бы всего этого національнаго стыда и горя...

Редакция „Московской Недѣли“ выражаетъ твердую увѣренность въ томъ, что наступаютъ дни, когда мы получимъ возможность говорить съ русскимъ обществомъ не чрезъ рѣшетку, какъ теперь, не подъ униженнымъ и недостойнымъ насъ надзоромъ агентовъ цензуры, а какъ граждане съ гражданами.

Русское общество, русскій народъ имѣютъ право на правду.

Москва, 23 мая.

Какъ ни тяжки были до сихъ поръ наши потери, ни одна не потрясла насъ такъ глубоко.

Мы пережили уничтоженіе тихоокеанской эскадры, но у насъ оставался еще нашъ флотъ. Мы пережили Ляоянь, но у насъ осталась наша армія. Когда палъ Портъ-Артуръ, русскимъ людямъ стало ясно, что этихъ пораженій мы себѣ не простимъ, что мы должны искупить ихъ, что Россія должна стать иною или она прекратитъ свое историческое существованіе, будетъ недостойной существованія... И затѣмъ произошелъ разгромъ нашей арміи подъ Мукденомъ, — разгромъ, подробности котораго продолжаютъ доходить до насъ во всемъ своемъ потрясающемъ значеніи... Теперь совершилось послѣднее: у Россіи нѣтъ флота, онъ уничтоженъ, погибъ весь въ безумномъ предпріятіи, исходъ котораго былъ ясенъ заранее всѣмъ.

Умеръ ли русскій патриотизмъ, умерла ли Россія? Гдѣ ея живыя силы, ея исполнискія силы, ея гнѣвъ и негодованіе? Или она — раз-

загающийся трупъ, падалъ, раздираемая хищниками и червями? Часъ пробилъ. И если Россія не восприняетъ теперь, она никогда не поднимется, потому что нельзя жить народу равнодушному къ ужасу и позору!

Полгода тому назадъ еще раздавались голоса, говорившіе, что пораженія на Дальнемъ Востока — не наши пораженія, а пораженія нашей „бюрократіи“. Но можемъ ли мы, имѣемъ ли мы право успокоиваться на этомъ, особенно теперь, когда наша армія разбита, когда русскій флотъ уничтоженъ, когда сотни тысячъ людей погибли и гибнутъ? Мы-то — русскіе, или нѣтъ? Армія наша — русская, или нѣтъ? И, наконецъ, милліарды, которые тратятся, принадлежать Россіи, или „бюрократіи“? И, наконецъ, самая „бюрократія“, самый строй нашъ, который во всемъ обвиняютъ, есть ли онъ нѣчто случайное и внѣшнее намъ, независящее отъ насъ приключеніе? Если причина въ немъ, то снимаетъ ли это съ насъ нашъ стыдъ, нашу вину, наше горе, нашъ долгъ и отвѣтственность?

Намъ говорили, что въ Манчжуріи у насъ не было реальныхъ интересовъ, за которые намъ стоило умирать и сражаться. Но у насъ есть интересы, у насъ есть интересъ здѣсь, въ Россіи, — это сама Россія, это отечество, за которое мы здѣсь можемъ и должны быть готовы умереть все до единого, чтобы освободить его отъ позорнаго ига, возстановить его величіе и силу и дать ему тотъ строй, безъ котораго оно будетъ трупомъ. Такъ, какъ мы жили до сихъ поръ, мы больше не можемъ, не должны, не хотимъ жить. Теперь всякое промедленіе въ созывѣ народныхъ представителей было бы не ошибкой, а преступленіемъ.

Именной Высочайшій указъ о реорганизаціи министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ, опубликованный 6-го мая, произвелъ большую сенсацію въ бюрократическихъ сферахъ и вызвалъ немалое недоумѣніе въ обществѣ. Реформа эта явилась для всѣхъ неожиданной. Многіе связывали ее съ мотивами личнаго характера, приписывая инициативу внезапнаго упраздненія министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ лицамъ, желавшимъ, во что бы то ни стало, отставки министра земледѣлія А. С. Ермолова, который, повидимому, попалъ на дурной счетъ въ извѣстныхъ сферахъ, быть можетъ, именно благодаря тому „истинному прямоту“, о которомъ упомянуто въ Высочайшемъ рескриптѣ, данномъ на его имя. На такія именно предположенія могутъ привести и тѣ напутственныя соображенія, которыя высказалъ по поводу слуховъ о пред-

результатъ русскаго освободительнаго движенія, первый дѣйствительный шагъ на новомъ пути, знаменующій переходъ *слова* въ *дѣло*. Въ этомъ смыслѣ мы привѣтствуемъ его съ радостнымъ чувствомъ и вѣримъ, что благія его послѣдствія отразятся на умиротвореніи и подъемѣ всей духовной жизни страны, въ частности же на православнои церкви, которая не можетъ оставаться запечатанной внѣшнюю властью, когда печати сняты, наконецъ, и съ храмовъ старообрядцевъ, и начала религіозной свободы впервые получаютъ признаніе...

Указъ 17-го апрѣля есть первое *доброе дѣло* современнаго движенія, — дѣло, на которое мы можемъ указать всѣмъ тѣмъ, кто не хотятъ видѣть положительнаго значенія этого движенія. Много хорошихъ словъ о свободѣ совѣсти слышали мы отъ старыхъ славянофиловъ, которые были такъ проникнуты сознаніемъ святости вѣры и святости церкви. Они желали этой свободы прежде всего для очищенія и возрожденія самой церкви, для духовнаго возрожденія русскаго общества и народа — они не отдернули бы руку отъ тѣхъ русскихъ людей, которые привѣтствуютъ въ пасхальномъ указѣ 17-го апрѣля первый осязательный успѣхъ своихъ стремленій.

Теперь мы ждемъ давно обѣщаннаго освобожденія печати и раскрышенія университетовъ. Правда, наканунѣ благотѣтельнаго указа получили утвержденіе заключенія совѣта министровъ о вышнихъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя не соотвѣтствуютъ этимъ ожиданіямъ. Но утренникъ 16-го апрѣля не побьетъ наши всходы.

Мы двинулись... И какъ ни недостаточны еще достигнутые результаты для насъ, коренныхъ русскихъ людей, мы не можемъ не констатировать, что великій принципъ вѣротерпимости впервые получилъ реальное, хотя все еще не совершенное признаніе для инославныхъ, что политика агрессивнаго реакціоннаго націонализма и національной вражды на окраинахъ измѣнилась, или, точнѣе, измѣняется на нашихъ глазахъ; политика Бобрікова въ Финляндіи, политика кн. Голицына на Кавказѣ потерпѣли крушеніе; Высочайшій манифестъ 16-го марта (о воинской повинности въ Финляндіи), указъ 1-го мая о западныхъ губерніяхъ и нѣкоторые другіе правительственные акты и мѣропріятія служатъ яркими признаками совершающагося внутренняго поворота къ политикѣ умиротворенія, къ признанію права языковъ и національностей, входящихъ въ составъ имперіи. Дѣло права, мира и освобожденія не можетъ коснуться однихъ окраинъ, — иначе и тамъ оно будетъ безпочвенно и непрочно. Мы вѣримъ въ непреложное и близкое осуществленіе началъ народ-

земельнымъ дѣламъ, — остается пока невыясненнымъ. Упраздненъ лишь образованный по повелѣнію 11 іюля 1903 года комитетъ по дѣламъ земельного кредита.

Указъ 6-го мая, какъ и рескриптъ 30-го марта, данный на имя члена Государственного Совѣта И. Л. Горемыкина, изданъ подъ несомнѣннымъ вліяніемъ того тревожнаго настроенія, которое внушается возбужденнымъ состояніемъ сельскаго населенія во многихъ мѣстностяхъ имперіи. Обстоятельства, при которыхъ въ настоящее время выдвигается на сцену грозный аграрный вопросъ, во многомъ напоминаютъ собою эпоху крымской войны. Но нельзя не видѣть той разницы во взглядахъ на этотъ вопросъ правительства и общества тогда и теперь, которая бросается въ глаза и составляетъ, быть можетъ, характернѣйшее отличіе переживаемой нами эпохи. Тогда императору Александру II пришлось убѣждать дворянство въ необходимости реформы и высказать ему даже извѣстное предостереженіе, что если освобожденіе крестьянъ не будетъ дано сверху, то оно можетъ начаться само собой снизу. Теперь убѣжденіе въ необходимости широкой аграрной реформы высказано земствомъ, которое въ цѣломъ рядѣ резолюцій, принятыхъ въ сельскохозяйственныхъ комитетахъ, въ собраніяхъ и сѣздахъ, состоящихъ, главнымъ образомъ, изъ помѣщиковъ, провозгласило необходимость прежде всего прійти на помощь устраненію малоземелья крестьянъ тамъ, гдѣ оно дѣйствительно существуетъ, не останавливаясь при этомъ передъ такими рѣшительными мѣрами, какъ обязательный выкупъ части помѣщичьей земли... Правительство же, наоборотъ, даже въ послѣднихъ волеизъявленіяхъ по аграрной части старается удержаться въ области палліативовъ, въ значительной мѣрѣ уже исчерпанныхъ, какъ переселенія, или слишкомъ ненадежныхъ, какъ крестьянскій банкъ. Своей программы по аграрному вопросу правительство не формулировало; можно думать, что ея и не существуетъ. Во всякомъ случаѣ и въ рескриптѣ 30-го марта и въ указѣ 6-го мая на ряду съ тревогой по поводу неспокойнаго настроенія крестьянъ, ясно чувствуется отсутствіе не только опредѣленнаго плана дѣйствій, но и вообще какихъ бы то ни было государственныхъ соображеній, могущихъ вести къ дѣйствительному выходу изъ существующаго невыносимаго положенія.

„Частновладѣльческія земли должны остаться неприкосновенны“, а новыя учрежденія по землеустроительной части уладить при помощи переселеній и крестьянскаго банка всѣ затрудненія и недоразумѣнія. Къ этому сводится вся реформаторская мудрость нашей

бюрократіи, и это говорится въ то время, когда ограниченность и недостаточность обоихъ этихъ „испытанныхъ“ средствъ вполне выяснена въ глазахъ каждаго человѣка, сколько-нибудь посвященнаго въ исторію крестьянскаго дѣла на Руси.

Въ настоящее время всѣмъ извѣстно, что вопросъ объ оскудѣніи крестьянства отнюдь не сводится къ одному малоземелью, которое является наиболѣе серіозной его причиной лишь въ чисто земледѣльческихъ (черноземныхъ) губерніяхъ. Въ цѣломъ рядъ другихъ мѣстъ важнѣе малоземелья тотъ гнетъ, который испытываетъ населеніе отъ существующей податной системы и отъ общихъ культурно-правовыхъ условий. Дѣйствіе обоихъ этихъ факторовъ, можно сказать, универсально въ Россіи. По отношенію къ послѣднему изъ нихъ правительство, въ лицѣ бывшаго министра финансовъ и руководимаго имъ особаго совѣщанія (нынѣ уже упраздненнаго), было, повидимому, готово признать нестложность его устраненія; по крайней мѣрѣ соотвѣтствующія преобразованія были возвышены и даже выдвинуты на первый планъ указомъ 12 декабря 1904 г.

Впослѣдствіи однако и въ этомъ отношеніи пошли опять колебанія, и министръ внутреннихъ дѣлъ кн. Святополкъ-Мирскій уже пытался доказать въ извѣстномъ своемъ циркулярѣ, что между указомъ 12-го декабря и предположеніями В. К. Плеве, нашедшими себѣ выраженіе въ указѣ 8 января 1904 г., нѣтъ будто бы принципиальной разницы. Вопросъ объ уравненіи крестьянъ въ правахъ съ прочимъ населеніемъ имперіи остался, такимъ образомъ, открытымъ и до настоящаго времени.

Что же касается податного вопроса, то самъ статсъ-секретарь Витте старательно подчеркивалъ въ своихъ докладахъ и заключеніяхъ, что этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ лишь въ тиши высшихъ бюрократическихъ канцелярій и комитетовъ, которые одни, по его мнѣнію, компетентны въ рѣшеніи вопросовъ государственнаго хозяйства и финансовой политики. Между тѣмъ лучшая часть земства давно уже высказала свой взглядъ на это дѣло. Еще до образованія земскихъ учреждений тверское дворянское собраніе 1862 г. въ замѣчательномъ адресѣ, представленномъ тогда государю, выразило свое мнѣніе объ этомъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Мы считаемъ кровнымъ грѣхомъ жить и пользоваться благами общественнаго порядка на счетъ другихъ сословій. Не праведенъ тотъ порядокъ вещей, при которомъ бѣдный платитъ рубль, а богатый не платитъ и копейки. Это могло быть терпимо только при крѣпостномъ правѣ, но теперь ставить насъ въ положеніе тунеядцевъ,

совершенно бесполезныхъ своей родинѣ. Мы не желаемъ пользоваться такимъ позорнымъ преимуществомъ, и дальнѣйшее существованіе его не принимаемъ на свою отвѣтственность. Мы всеподданнѣйше просимъ Ваше Императорское Величество разрѣшить намъ принять на себя часть государственныхъ податей и повинностей *соотвѣтственно состоянію каждаго...*“

Обсуждая труды податной комиссіи въ 1870 г., земства единодушно высказались за немедленное введеніе подоходнаго налога. обстоятельную критику дѣйствующей у насъ финансовой системы представили и комитеты о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, какъ ни старался статсъ-секретарь Витте изъять этотъ вопросъ изъ ихъ компетенціи.

Между тѣмъ министерство финансовъ съ замѣчательною косою и упорствомъ держалось за старую податную систему. Даже тотъ министръ финансовъ, который, повидимому, хорошо понималъ необходимость подъема благосостоянія народныхъ массъ и искренно къ этому стремился (Н. Х. Бунге), могъ провести при существующемъ государственномъ строѣ лишь жалкіе палліативы. Онъ отмѣнилъ, правда, подушную подать; но на кого было возложено возмѣщеніе соотвѣтствующихъ суммъ государственнаго бюджета? На крестьянъ же: въ видѣ усиленнаго налога на спиртъ и введенія повышенныхъ выкупныхъ платежей государственныхъ крестьянъ. Онъ понизилъ выкупные платежи; но это пониженіе возмѣщало лишь отчасти переплаченные крестьянами деньги, возмѣщало изъ чистаго дохода выкупной операціи. Затѣмъ все пошло по старому, а питейная реформа, проведенная С. Ю. Витте, не только оставила краеугольнымъ камнемъ нашего бюджета кабакъ, но еще отняла у крестьянъ тѣ доходы, которые имѣли отъ этой статьи крестьянскія общества. И вотъ теперь, когда нужда въ деньгахъ заставила правительство опять поднять вопросъ о подоходномъ налогѣ, онъ выдвигается министерствомъ финансовъ не взамѣнъ тѣхъ налоговъ, которые выплачиваетъ крестьянство и которые его изнурили до крайности, а въ дополненіе къ существующимъ уже налогамъ, потому что и министерству финансовъ ясно, что съ мужика уже болѣе взять нечего...

Не нынѣшнему бюрократическому правительству рѣшить аграрную проблему, которая возстаетъ теперь передъ нами во всей ея широтѣ и сложности. Тутъ требуется не замазка щелей и не палочное заплатъ, а радикальное исцѣленіе народныхъ язвъ и полное удовлетвореніе вопіющихъ народныхъ нуждъ. Только свободно избранные представители народа сумѣютъ справиться съ этой задачей.

По слухамъ Государственнымъ Совѣтомъ уже принять законопроектъ, по которому прекращеніе періодическихъ изданій должно отнынѣ зависѣть отъ единоличнаго распоряженія министра внутреннихъ дѣлъ, утверждаемаго правительствующимъ сенатомъ. Въ настоящее время, какъ извѣстно, періодическое изданіе можетъ быть приостановлено министромъ лишь послѣ трехъ предостереженій, окончательное же прекращеніе его можетъ последовать лишь по постановленію совѣщанія, состоящаго изъ министровъ внутреннихъ дѣлъ, юстиціи и народнаго просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. Синода.

О мотивахъ, служащихъ основаніемъ къ установленію новаго порядка, *Русь* сообщаетъ слѣдующее:

2-го мая въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта разсматривался проектъ А. Г. Булыгина, сущность котораго въ общихъ чертахъ сводится къ предоставленію министру внутреннихъ дѣлъ права приостанавливать выпускъ періодическихъ изданій, при чемъ дѣло о прекращеніи должно быть передано на разсмотрѣніе правительствующаго сената, которому надлежитъ утвердить или отвергнуть постановленіе министра внутреннихъ дѣлъ. Обсужденіе проекта привело къ нѣкоторому разногласію по отношенію къ подробностямъ. Большинство членовъ Государственнаго Совѣта однако не оспаривало главнаго принципа проекта, — предоставленіе права прекращенія изданія одному министру. Нѣкоторые высказались въ томъ смыслѣ, что этотъ проектъ можно разсматривать, какъ улучшеніе положенія печати. То обстоятельство, что вмѣсто соглашенія 4 министровъ прекращеніе будетъ зависѣть отъ одного министра, по мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ, не существенно въ виду того, что на практикѣ, какъ доказалъ опытъ, это соглашеніе легко достижимо. Наконецъ, если соглашенія по какому-либо причинамъ достигнуть не удастся, то у министра внутреннихъ дѣлъ остается въ распоряженіи еще одинъ путь прекратить изданіе, это — 3 предостереженія, и такимъ образомъ дѣло сводится къ отдаленію срока прекращенія изданія на 3 дня или выпуска. Улучшеніе же положенія печати усматривается въ той части проекта, гдѣ предполагается поступленіе дѣла на разсмотрѣніе сената. Такой порядокъ, съ одной стороны, дастъ возможность возстановить изданіе въ случаѣ неправильнаго закрытія, а съ другой — такое положеніе вещей приведетъ къ тому, что министры будутъ осторожно относиться къ своему праву.

Извѣстіе это, если оно достовѣрно, является въ высшей степени характеристичнымъ какъ для положенія нашей печати, такъ и для нравовъ и обычаевъ бюрократіи.

Прежде всего весьма интересно признание, что требование соглашения 4 министровъ нисколько не гарантируетъ болѣе объективнаго и всесторонняго разсмотрѣнія дѣла, ибо, „какъ показалъ опытъ, это соглашеніе легко достижимо“. Другими словами, представленія министра внутреннихъ дѣлъ въ совѣщаніи обыкновенно не встрѣчаютъ возраженій. Такое положеніе вещей, нынѣ констатируемое съ весьма авторитетной стороны, можно было предугадать и ранѣе. Правило *do ut des* должно, конечно, имѣть большое значеніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда соглашеніе нѣсколькихъ министровъ требуется по дѣламъ, не затрагивающимъ внутреннихъ интересовъ различныхъ вѣдомствъ. И потому, дѣйствительно, требование такого рода соглашеній едва ли можетъ имѣть существенное значеніе въ смыслѣ охраны личныхъ и общественныхъ интересовъ.

Не менѣе характерно и то соображеніе, что „если соглашенія по какимъ-либо причинамъ достигнуть не удастся, то у министра внутреннихъ дѣлъ остается еще одинъ путь прекратить изданіе, это — 3 предостереженія, и такимъ образомъ дѣло сводится къ отдаленію прекращенія изданія на 3 дня или выпуска“. Это разсужденіе напоминаетъ намъ діалогъ римскихъ сенаторовъ въ трагедіи „Сеянъ“. Враги Сеяна, не довольствуясь его осужденіемъ, хотѣли предать смерти и его малолѣтнюю дочь. Имъ напоминаютъ о существованіи закона, воспреещающаго приговаривать къ смерти дѣвушекъ. „Казнить ее не можемъ мы, коль дѣва она еще“, говоритъ одинъ сенаторъ. „Но устранить препятствіе легко...“, возражаетъ другой. Если вѣрить вышепомѣщенному извѣстію, столь же легко устранить и дѣвственную неопороченность газеты, составляющую формальное препятствіе къ совершенію надъ ней казни. Стоитъ только въ теченіе 3 дней сдѣлать ей 3 предостереженія, какъ бы невинно ни было содержаніе соответствующихъ нумеровъ. И такой образъ дѣйствій, представляющій явный обходъ закона, признается какъ бы нормальнымъ, законнымъ средствомъ, „имѣющимся въ распоряженіи министра внутреннихъ дѣлъ“. Любопытно было бы знать, протестовалъ ли министръ внутреннихъ дѣлъ противъ допущенія возможности столь упрощеннаго отношенія къ закону съ его стороны. Но еще замѣчательнѣе, что изъ возможности обхода административной властью стѣснительнаго для нея закона выводится необходимость отмены всякихъ стѣсненій и расширенія области административнаго усмотрѣнія. Что касается улучшенія, которое, по мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ Государственнаго Совѣта, вносится въ положеніе печати, представленіемъ распоряженій министра внутреннихъ дѣлъ на утвер-

бюрократіи, и это говорится въ то время, когда ограниченность и недостаточность обоихъ этихъ „испытанныхъ“ средствъ вполне выяснена въ глазахъ каждаго человека, сколько-нибудь посвященнаго въ исторію крестьянскаго дѣла на Руси.

Въ настоящее время всѣмъ извѣстно, что вопросъ объ оскудѣніи крестьянства отнюдь не сводится къ одному малоземелью, которое является наиболѣе серіозной его причиной лишь въ чисто земледѣльческихъ (черноземныхъ) губерніяхъ. Въ цѣломъ рядъ другихъ мѣстъ важнѣе малоземелья тотъ гнетъ, который испытываетъ населеніе отъ существующей податной системы и отъ общихъ культурно-правовыхъ условій. Дѣйствіе обоихъ этихъ факторовъ, можно сказать, универсально въ Россіи. По отношенію къ послѣднему изъ нихъ правительство, въ лицѣ бывшаго министра финансовъ и руководимаго имъ особаго совѣщанія (нынѣ уже упраздненнаго), было, повидимому, готово признать неотложность его устраненія; по крайней мѣрѣ соотвѣтствующія преобразованія были возвышены и даже выдвинуты на первый планъ указомъ 12 декабря 1904 г.

Впослѣдствіи однако и въ этомъ отношеніи пошли опять колебанія, и министръ внутреннихъ дѣлъ кн. Святополкъ-Мирскій уже пытался доказать въ извѣстномъ своемъ циркулярѣ, что между указомъ 12-го декабря и предположеніями В. К. Плеве, нашедшими себѣ выраженіе въ указѣ 8 января 1904 г., нѣтъ будто бы принципиальной разницы. Вопросъ объ уравниеніи крестьянъ въ правахъ съ прочимъ населеніемъ имперіи остался, такимъ образомъ, открытымъ и до настоящаго времени.

Что же касается податного вопроса, то самъ статсъ-секретарь Витте старательно подчеркивалъ въ своихъ докладахъ и заключеніяхъ, что этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ лишь въ тиши высшихъ бюрократическихъ канцелярій и комитетовъ, которые одни, по его мнѣнію, компетентны въ рѣшеніи вопросовъ государственнаго хозяйства и финансовой политики. Между тѣмъ лучшая часть земства давно уже высказала свой взглядъ на это дѣло. Еще до образованія земскихъ учрежденій тверское дворянское собраніе 1862 г. въ замѣчательномъ адресѣ, представленномъ тогда государю, выразило свое мнѣніе объ этомъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Мы считаемъ кровнымъ грѣхомъ жить и пользоваться благами общественнаго порядка на счетъ другихъ сословій. Не праведенъ тотъ порядокъ вещей, при которомъ бѣдный платитъ рубль, а богатый не платитъ и копейки. Это могло быть терпимо только при крѣпостномъ правѣ, но теперь ставить насъ въ положеніе тунеядцевъ,

ролей различных вѣдомствъ и учреждений, существеннаго улучшенія этимъ достигнуто не будетъ. Печать получить дѣйствительную возможность быть выразительницей „разумныхъ стремленій страны“ только тогда, когда она будетъ подчинена исключительно закону и когда нарушенія ею закона будутъ подлежать лишь вѣдѣнію общихъ судебныхъ учреждений.

Опять заемъ. Не успѣли еще покончить съ внутренними займами, какъ въ газетахъ появилось лаконическое извѣстіе, что комитетъ финансовъ еще въ началѣ апрѣля утвердилъ представленіе министра финансовъ о внѣшнемъ займѣ на 200 мил. руб. Мало того, объ этомъ сообщено какъ о совершившемся фактѣ: изъ 200 мил. 150 мил. уже реализовано въ Германіи въ формѣ краткосрочныхъ обязательствъ государственнаго казначейства. При какихъ условіяхъ, въ какой обстановкѣ, когда велись переговоры о займѣ, намъ неизвѣстно; предъ нами онъ предсталъ какъ совершенно законченная операція. Что же это за краткосрочныя обязательства государственнаго казначейства, по которымъ проценты удержаны при самомъ выпускѣ, при томъ на весь срокъ займа? До послѣдняго времени наша финансовая практика знала два вида краткосрочныхъ свидѣтельствъ или обязательствъ государственнаго казначейства. Первый видъ — это 3 и 3,6% билеты казначейства, извѣстные подъ названіемъ серій, которыя выпускались на четыре года, по окончаніи срока замѣнялись новыми на такой же срокъ или погашались съ купонами; въ послѣдній разъ серіи были выпущены лѣтомъ прошлаго года для внутренняго обращенія единовременно на сумму 150 мил. руб. Второй видъ — это 5% свидѣтельства казначейства, выпущенныя во Франціи въ началѣ прошлаго года, непосредственно послѣ объявленія войны, на 800 мил. фр. Новыя краткосрочныя обязательства, не подходятъ ни подъ одинъ изъ этихъ типовъ; это что-то совершенно своеобразное, мало на первый взглядъ понятное. Предъ нами не обычная финансовая операція, рассчитанная на опредѣленный срокъ, а что-то въ родѣ аванса, при которомъ проценты сразу удерживаются изъ капитальной суммы. Изъ какихъ процентовъ произведенъ учетъ, какое уплачено комиссіонное вознагражденіе, объ этомъ министерство финансовъ умалчиваетъ, предоставляя интересующимся догадываться. И если догадка окажется не вполнѣ удачною, органъ министерства финансовъ не замедлитъ помѣстить оправданіе, появится стереотипное заявленіе, что „слухи

По слухамъ Государственнымъ Совѣтомъ уже принять законопроектъ, по которому прекращеніе періодическихъ изданій должно отнынѣ зависѣть отъ единоличнаго распоряженія министра внутреннихъ дѣлъ, утверждаемаго правительствующимъ сенатомъ. Въ настоящее время, какъ извѣстно, періодическое изданіе можетъ быть приостановлено министромъ лишь послѣ трехъ предостереженій, окончательное же прекращеніе его можетъ послѣдовать лишь по постановленію совѣщанія, состоящаго изъ министровъ внутреннихъ дѣлъ, юстиціи и народнаго просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. Синода.

О мотивахъ, служащихъ основаніемъ къ установленію новаго порядка, *Русь* сообщаетъ слѣдующее:

2-го мая въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта разсматривался проектъ А. Г. Булыгина, сущность котораго въ общихъ чертахъ сводится къ предоставленію министру внутреннихъ дѣлъ права приостанавливать выпускъ періодическихъ изданій, при чемъ дѣло о прекращеніи должно быть передано на разсмотрѣніе правительствующаго сената, которому надлежитъ утвердить или отвергнуть постановленіе министра внутреннихъ дѣлъ. Обсужденіе проекта привело къ нѣкоторому разногласію по отношенію къ подробностямъ. Большинство членовъ Государственнаго Совѣта однако не оспаривало главнаго принципа проекта, — предоставленіе права прекращенія изданія одному министру. Нѣкоторые высказались въ томъ смыслѣ, что этотъ проектъ можно разсматривать, какъ улучшеніе положенія печати. То обстоятельство, что вмѣсто соглашенія 4 министровъ прекращеніе будетъ зависѣть отъ одного министра, по мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ, не существенно въ виду того, что на практикѣ, какъ доказалъ опытъ, это соглашеніе легко достижимо. Наконецъ, если соглашенія по какимъ-либо причинамъ достигнуть не удастся, то у министра внутреннихъ дѣлъ остается въ распоряженіи еще одинъ путь прекратить изданіе, это — 3 предостереженія, и такимъ образомъ дѣло сводится къ отдаленію срока прекращенія изданія на 3 дня или выпуска. Улучшеніе же положенія печати усматривается въ той части проекта, гдѣ предполагается поступленіе дѣла на разсмотрѣніе сената. Такой порядокъ, съ одной стороны, дастъ возможность возстановить изданіе въ случаѣ неправильнаго закрытія, а съ другой — такое положеніе вещей приведетъ къ тому, что министры будутъ осторожно относиться къ своему праву.

Извѣстіе это, если оно достовѣрно, является въ высшей степени характеристичнымъ какъ для положенія нашей печати, такъ и для нравовъ и обычаевъ бюрократіи.

Прежде всего весьма интересно признание, что требованіе соглашения 4 министровъ нисколько не гарантируетъ болѣе объективнаго и всесторонняго разсмотрѣнія дѣла, ибо, „какъ показалъ опытъ, это соглашеніе легко достижимо“. Другими словами, представленія министра внутреннихъ дѣлъ въ совѣщаніи обыкновенно не встрѣчаютъ возраженій. Такое положеніе вещей, нынѣ констатируемое съ весьма авторитетной стороны, можно было предугадать и ранѣе. Правило *do ut des* должно, конечно, имѣть большое значеніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда соглашеніе нѣсколькихъ министровъ требуется по дѣламъ, не затрагивающимъ внутреннихъ интересовъ различныхъ вѣдомствъ. И потому, дѣйствительно, требованіе такого рода соглашеній едва ли можетъ имѣть существенное значеніе въ смыслѣ охраны личныхъ и общественныхъ интересовъ.

Не менѣе характерно и то соображеніе, что „если соглашенія по какимъ-либо причинамъ достигнуть не удастся, то у министра внутреннихъ дѣлъ остается еще одинъ путь прекратить изданіе, это — 3 предостереженія, и такимъ образомъ дѣло сводится къ отдаленію прекращенія изданія на 3 дня или выпуска“. Это разсужденіе напоминаетъ намъ діалогъ римскихъ сенаторовъ въ трагедіи „Сеянъ“. Враги Сеяна, не довольствуясь его осужденіемъ, хотятъ предать смерти и его малолѣтнюю дочь. Имъ напоминаютъ о существованіи закона, воспреещающаго приговаривать къ смерти дѣвушекъ. „Казнить ее не можемъ мы, коль дѣва она еще“, говоритъ одинъ сенаторъ. „Но устранить препятствіе легко...“, возражаетъ другой. Если вѣрить вышепомѣщенному извѣстію, столь же легко устранить и дѣйственную неопороченность газеты, составляющую формальное препятствіе къ совершенію надъ ней казни. Стоитъ только въ теченіе 3 дней сдѣлать ей 3 предостереженія, какъ бы невинно ни было содержаніе соотвѣствующихъ нумеровъ. И такой образъ дѣйствій, представляющій явный обходъ закона, признается какъ бы нормальнымъ, законнымъ средствомъ, „имѣющимъ въ распоряженіи министра внутреннихъ дѣлъ“. Любопытно было бы знать, протестовалъ ли министръ внутреннихъ дѣлъ противъ допущенія возможности столь упрощеннаго отношенія къ закону съ его стороны. Но еще замѣчательнѣе, что изъ возможности обхода административной властью стѣснительнаго для нея закона выводится необходимость отмены всякихъ стѣсненій и расширенія области административнаго усмотрѣнія. Что касается улучшенія, которое, по мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ Государственнаго Совѣта, вносится въ положеніе печати, представленіемъ распоряженій министра внутреннихъ дѣлъ на утвер-

краткосрочный, въ формѣ билетовъ государственнаго казначейства. Органъ министерства финансовъ старался убѣдить, что серіи казначейства заслуживаютъ предпочтенія передъ другими видами займовъ. Можно ли придумать что-нибудь болѣе удобное, какъ выпускъ въ обращеніе бумагъ, которыя обладаютъ всѣми свойствами денегъ и въ то же время приносятъ проценты? Для внутренняго рынка 150 мил. представляютъ небольшую сумму, въ торговыхъ оборотахъ билеты казначейства хорошо извѣстны, въ обращеніи ихъ было въ прежнее время значительно больше и т. д. Однако эти рѣчи не ввели никого въ заблужденіе именно потому, что серіи хорошо извѣстны торговымъ классамъ, особенно въ Москвѣ. Всѣмъ извѣстно, что благодаря серіямъ прочно свили себѣ гнѣздо злоупотребленія, очень тяжело ложащіяся на всемъ внутреннемъ денежномъ обращеніи, что серіями безъ текущихъ купоновъ пользуются для того, чтобы расплачиваться вмѣсто наличныхъ денегъ. Но какое дѣло министру финансовъ до интересовъ торговли? На него возложена обязанность добыть деньги, — и онъ ихъ добываетъ, гдѣ и какъ можетъ.

За выпускомъ серіи пришлось опять обратиться къ иностранцамъ. На этотъ разъ мы обратились къ Германіи. Плательщикамъ налоговъ относительно этого займа сообщено, что онъ заключенъ на продолжительный срокъ изъ $4\frac{1}{2}\%$ и что кредиторамъ предоставлены преимущества, въ силу которыхъ имъ предоставляется чрезъ 6 или чрезъ 9 лѣтъ предъявить облигаціи къ оплатѣ по нарицательной цѣнѣ. Намъ извѣстна и офиціальная выпускная цѣна, но какова выручка отъ займа, сколько уплачено комиссіонныхъ, обусловленъ ли заемъ правительственными заказами или обязательствами оставить у иностранныхъ банкировъ часть выручки для поддержанія курса нашихъ бумагъ, какъ настойчиво утверждала пресса, этого мы, конечно, не знаемъ. Знаемъ мы еще и то, что торговый договоръ съ Германіей открываетъ невеселыя перспективы нашему сельскому хозяйству. Такъ закончился первый годъ войны. Война безжалостна, она не даетъ передышки, расходы растутъ, и непосредственно послѣ каждаго займа приходится думать уже о дальнѣйшихъ займахъ. И вотъ мы обратились къ нашимъ друзьямъ, къ французскимъ банкирамъ. Помимо дружбы, мы возлагали еще надежду на то, что Франція, всего болѣе заинтересованная въ поддержаніи нашихъ бумагъ, не откажетъ намъ въ займѣ, особенно если будутъ предложены выгодныя условія. Надежда эта не оправдалась; французскіе банкиры заявили, что на войну они денегъ не дадутъ.

ролей различных вѣдомствъ и учреждений, существеннаго улучшенія этимъ достигнуто не будетъ. Печать получить дѣйствительную возможность быть выразительницей „разумныхъ стремленій страны“ только тогда, когда она будетъ подчинена исключительно закону и когда нарушенія ею закона будутъ подлежать лишь вѣдѣнію общихъ судебныхъ учреждений.

Опять заемъ. Не успѣли еще покончить съ внутренними займами, какъ въ газетахъ появилось лаконическое извѣстіе, что комитетъ финансовъ еще въ началѣ апрѣля утвердилъ представленіе министра финансовъ о выѣшнемъ займѣ на 200 мил. руб. Мало того, объ этомъ сообщено какъ о совершившемся фактѣ: изъ 200 мил. 150 мил. уже реализовано въ Германіи въ формѣ краткосрочныхъ обязательствъ государственнаго казначейства. При какихъ условіяхъ, въ какой обстановкѣ, когда велись переговоры о займѣ, намъ неизвѣстно; предъ нами онъ предсталъ какъ совершенно законченная операція. Что же это за краткосрочныя обязательства государственнаго казначейства, по которымъ проценты удержаны при самомъ выпускѣ, при томъ на весь срокъ займа? До послѣдняго времени наша финансовая практика знала два вида краткосрочныхъ свидѣтельствъ или обязательствъ государственнаго казначейства. Первый видъ — это 3 и 3,6% билеты казначейства, извѣстные подъ названіемъ серій, которыя выпускались на четыре года, по окончаніи срока замѣнялись новыми на такой же срокъ или погашались съ купонами; въ послѣдній разъ серіи были выпущены лѣтомъ прошлаго года для внутренняго обращенія одновременно на сумму 150 мил. руб. Второй видъ — это 5% свидѣтельства казначейства, выпущенныя во Франціи въ началѣ прошлаго года, непосредственно послѣ объявленія войны, на 800 мил. фр. Новыя краткосрочныя обязательства, не подходятъ ни подъ одинъ изъ этихъ типовъ; это что-то совершенно своеобразное, мало на первый взглядъ понятное. Предъ нами не обычная финансовая операція, рассчитанная на опредѣленный срокъ, а что-то въ родѣ аванса, при которомъ проценты сразу удерживаются изъ капитальной суммы. Изъ какихъ процентовъ произведенъ учетъ, какое уплачено коммисіонное вознагражденіе, объ этомъ министерство финансовъ умалчиваетъ, предоставляя интересующимся догадываться. И если догадка окажется не вполне удачною, органъ министерства финансовъ не замедлитъ помѣстить оправданіе, появится стереотипное заявленіе, что „слухи

лишены всякаго основанія“. Въмѣсто того, чтобы открыто признать фактъ и тѣмъ предупредить слишкомъ пессимистическія предположенія, министерство финансовъ предпочитаетъ хранить глубокое молчаніе. Можно было бы думать, что заключеніе займа составляетъ тяжкій грѣхъ, за который долженъ нести отвѣтственность самъ министръ. Но, странное дѣло — попытки пролить свѣтъ въ эту темную область приводятъ къ еще большей путаницѣ: какъ только появляется опроверженіе какого-нибудь слуха о займѣ, чрезъ двѣ три недѣли все-таки появляется объявленіе о займѣ.

Какъ примирить самоувѣренный тонъ разъясненій и опроверженій съ дѣйствительностью, не беремся рѣшить, но въ биржевыхъ сферахъ, да и среди публики давно уже укрѣпилось убѣжденіе, что чѣмъ рѣзче министерство опровергаетъ какой-нибудь слухъ, тѣмъ больше шансовъ на его осуществленіе.

Что же такое представляютъ краткосрочныя обязательства, выпущенныя на германскомъ рынкѣ? Это простые векселя, выданные Россіею иностраннымъ банкирамъ, ничѣмъ не отличающіеся отъ векселей, которые выдаетъ торговецъ или фабрикантъ. Вотъ почему проценты удержаны полностью за все время при самомъ займѣ. Обычныя долгосрочныя займы сдѣлались, повидимому, невозможными, пришлось прибѣгнуть къ совершенно новому, по крайней мѣрѣ для насъ, средству — къ займу у банкировъ на нѣсколько мѣсяцевъ съ обязательствомъ погасить долгъ по окончаніи срока. Говорятъ, что обязательства выданы на 9 мѣсяцевъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы они были выкуплены къ концу года. Не слишкомъ ли опрометчиво поступаетъ министерство, выдавая такіе векселя? Что изъ бюджета невозможно будетъ погасить сразу 200 мил., въ этомъ, думаемъ, никто не сомнѣвается; придется, слѣдовательно, замѣнить краткосрочныя обязательства долгосрочными именно тогда, когда условія могутъ еще болѣе ухудшиться, не говоря уже о томъ, что придется опять понести одновременно крупную потерю. Говорятъ, что, кромѣ 5% роста, было уплачено коммисіонное вознагражденіе въ 2%. Вѣрны ли эти извѣстія, мы не знаемъ, не они во всякомъ случаѣ вполне правдоподобны.

Мало того, иностранныя газеты утверждаютъ, что мы и денегъ не получили, что вся выручка осталась будто бы за границей въ уплату процентовъ по прежнимъ займамъ, отчасти въ расчетъ по правительственнымъ заказамъ. Это значитъ, что мы уподобились купцу, у котораго исчерпаны всѣ наличныя средства и не хватаетъ уже денегъ на уплату процентовъ; приходится, слѣдовательно, вмѣсто

ковъ нашихъ, какъ она существуетъ для произведеній печати... грѣха не было бы!

— Мало съ тебя циркулярѣвъ, — злобно шипѣлъ Вася.

— Въ раю былъ всего одинъ циркулярѣвъ, — задумчиво продолжалъ Сеня: — яблока не касаться... такъ и то прародители нарушили. Подумай, братецъ! Чтѣ такое яблоко? Вѣдь это — не съѣздъ, не присяжные повѣренные какіе-нибудь, это меньше допинга... а коснулись! И все оттого, что предварительной цензуры не было... Съ тѣхъ поръ сколько циркулярѣвъ, сколько каръ...

— А все касаются... — прервалъ Вася.

— Да, нарушаютъ!... Вотъ, говорятъ, скоро опять будетъ одинъ циркулярѣвъ, какъ у прародителей въ раю: добра и зла не касаться... Все прочее можно, а добра и зла нельзя... Дай Богъ, чтобы не касались...

— Да ну тебя... къ прародителямъ! — кричалъ Вася и гектографировалъ свои писанія.

Годы шли; мальчики получили дипломы. Вася сталъ извѣстнымъ публицистомъ и продолжалъ сквернословить. А Сеня сдѣлался цензоромъ, предостерегалъ Васю, останавливалъ Васю, зачеркивалъ Васю, запрещалъ Васю и по мѣрѣ силъ исправлялъ и сокращалъ Васины сочиненія. Вася жилъ распутно, а Сеня женился. Онъ былъ примѣрнымъ семьяниномъ, и дѣтей у него была куча, такъ что цензорскаго жалованья ему не хватало и приходилось иной разъ брать у Васи взаймы, чтѣ онъ дѣлалъ скрѣпя сердце, когда Вася бывалъ умытъ и причесанъ болѣе обыкновеннаго и сквернословилъ менѣе обыкновеннаго.

И вотъ Вася умеръ и попалъ на тотъ свѣтъ, существованіе котораго было для него совершенной неожиданностью. По обычаю, онъ однако не смутился и увѣренною поступью направился въ рай, какъ былъ: невымытый, въ смазныхъ сапогахъ, съ дубинкой и въ папахѣ. Нужно ли говорить, что онъ ввергнуть былъ въ геену?

Умеръ и Сеня — бояринъ Симеонъ — и со смиренною улыбкой, скромно, степенными шагами тоже направился „въ мѣсто злочно, мѣсто покойно“, съ твердой увѣренностью быть представленнымъ къ наградѣ за усердную службу. Каково же было его удивленіе, когда и онъ очутился въ геенѣ, рядомъ съ Васей, тщетно протестовавшимъ противъ мѣстныхъ порядковъ и адскихъ злоупотребленій. Въ первый разъ Сеня присоединился къ протесту брата и потребовалъ объясненій, указывая, что онъ всю жизнь боролся противъ отрицательнаго направленія, за которое праведно терпѣть муку

краткосрочный, въ формѣ билетовъ государственнаго казначейства. Органъ министерства финансовъ старался убѣдить, что серіи казначейства заслуживаютъ предпочтенія передъ другими видами займовъ. Можно ли придумать что-нибудь болѣе удобное, какъ выпускъ въ обращеніе бумагъ, которыя обладаютъ всѣми свойствами денегъ и въ то же время приносятъ проценты? Для внутренняго рынка 150 мил. представляютъ небольшую сумму, въ торговыхъ оборотахъ билеты казначейства хорошо извѣстны, въ обращеніи ихъ было въ прежнее время значительно больше и т. д. Однако эти рѣчи не ввели никого въ заблужденіе именно потому, что серіи хорошо извѣстны торговымъ классамъ, особенно въ Москвѣ. Всѣмъ извѣстно, что благодаря серіямъ прочно свили себѣ гнѣздо злоупотребленія, очень тяжело ложащіяся на всемъ внутреннемъ денежномъ обращеніи, что серіями безъ текущихъ купоновъ пользуются для того, чтобы расплачиваться вмѣсто наличныхъ денегъ. Но какое дѣло министру финансовъ до интересовъ торговли? На него возложена обязанность добыть деньги, — и онъ ихъ добываетъ, гдѣ и какъ можетъ.

За выпускомъ серіи пришлось опять обратиться къ иностранцамъ. На этотъ разъ мы обратились къ Германіи. Плательщикамъ налоговъ относительно этого займа сообщено, что онъ заключенъ на продолжительный срокъ изъ $4\frac{1}{2}\%$ и что кредиторамъ предоставлены преимущества, въ силу которыхъ имъ предоставляется чрезъ 6 или чрезъ 9 лѣтъ предъявить облигаціи къ оплатѣ по нарицательной цѣнѣ. Намъ извѣстна и офиціальная выпускная цѣна, но какова выручка отъ займа, сколько уплачено комиссіонныхъ, обусловленъ ли заемъ правительственными заказами или обязательствами оставить у иностранныхъ банкировъ часть выручки для поддержанія курса нашихъ бумагъ, какъ настойчиво утверждала пресса, этого мы, конечно, не знаемъ. Знаемъ мы еще и то, что торговый договоръ съ Германіей открываетъ невеселыя перспективы нашему сельскому хозяйству. Такъ закончился первый годъ войны. Война безжалостна, она не даетъ передышки, расходы растутъ, и непосредственно послѣ каждаго займа приходится думать уже о дальнѣйшихъ займахъ. И вотъ мы обратились къ нашимъ друзьямъ, къ французскимъ банкирамъ. Помимо дружбы, мы возлагали еще надежду на то, что Франція, всего болѣе заинтересованная въ поддержаніи нашихъ бумагъ, не откажетъ намъ въ займѣ, особенно если будутъ предложены выгодныя условія. Надежда эта не оправдалась; французскіе банкиры заявили, что на войну они денегъ не дадутъ.

Тогда пришлось опять попробовать, не удастся ли заключить внутренний заемъ. Изъ выпущенныхъ въ мартѣ 200 мил. реализовано только 100 мил., а 10-го апрѣля уже утверждено было постановленіе комитета министровъ о краткосрочномъ займѣ въ Германіи на 200 мил. рублей.

За какихъ-нибудь 15 мѣсяцевъ предъ нами прошли и внутренние займы, и виѣшніе, и краткосрочные, и долгосрочные, мы выпустили обязательства на 5 лѣтъ, на 4 года, на 9 мѣсяцевъ, платимъ проценты по купонамъ по истеченіи полугодичнаго срока, платимъ и впередъ, учитывая свои обязательства, занимаемъ деньги, не получая ихъ на руки, а оставляя въ уплату по прежнимъ долгамъ, — словомъ, перепробовали все, до чего додумалась богатая западно-европейская финансовая практика.

Что же будетъ дальше? Какъ будемъ мы добывать деньги, безъ которыхъ нельзя продолжать войны? Какъ возстановить довѣріе къ нашимъ финансамъ? Если вѣрить публицисту, часто обогащающему міръ своими произведеніями, все зло заключается въ томъ, что въ комитетѣ финансовъ нѣтъ представителей науки. Мы не раздѣляемъ этой иллюзіи: профессорамъ не распутать этого узла и не возстановить довѣрія къ нашимъ платежнымъ силамъ.

Чтобы возстановить довѣріе къ нашимъ финансамъ, нужны двѣ вещи: нуженъ, во-первыхъ, миръ, на что неоднократно указывала пресса и у насъ, и за границей, на чемъ особенно настаиваетъ иностранная биржа; во-вторыхъ, что еще важнѣе, нужна увѣренность, что прекратится, наконецъ, безконтрольное хозяйничанье бюрократіи, что старый, отжившій, разлагающійся, потерявшій всякій кредитъ и внутри страны, и за границей режимъ уступить, наконецъ, мѣсто представительному образу правленія и финансы страны будутъ находиться подъ контролемъ плательщиковъ налоговъ, что ихъ перестанутъ третировать, какъ стадо барановъ, которое можно только стричь.

Москва. 24 мая 1905 г.

(„Московская Недѣля“.)

Сказка о Сенѣ и Васѣ или благонамѣренность не всегда помогаетъ.

Жили были два мальчика, Сеня и Вася.

Сеня былъ умный мальчикъ, благонравный, послушный и смирный; каждый день хорошо умывался и причесывался, молился Богу и кушалъ супъ; не дѣлалъ пятенъ даже на передникѣ; со стар-

его братъ, и что онъ уничтожалъ Васицы произведенія во имя началъ положительныхъ.

Но черти загоготали, хлопая въ ладоши:

— Плюсь на минусъ даетъ минусъ, плюсь на минусъ даетъ минусъ! Ты жилъ на его счетъ, ты жилъ на его счетъ!

— Не понимаю, — горячился Сеня, это — безправіе и произволь... это — адскій произволь!

— ...бюрократія... — злорадствовалъ Вася.

Сатана обидѣлся.

— Здѣсь вамъ не комитетъ, — строго сказалъ онъ, — и прошу меня не оскорблять при отправленіи моихъ служебныхъ обязанностей. Ты, бояринъ Семенъ, всю твою жизнь служилъ отрицательному направленію во сто разъ хуже всякаго Васи; ты дѣлалъ ему рекламу, безъ которой его, можетъ быть, и читать бы не стали; ты обижалъ его безъ толку, раздражалъ его безъ толку да вдобавокъ еще жилъ на его счетъ, потому что, не будь его, за что бы ты, дуракъ, жалованье получалъ и кто бы тебѣ помогалъ? Ты не только своего таланта не соблюлъ, а чужіе портилъ. Лучше бы ты въ чистописаніи упражнялся! Какому злу ты помѣшалъ? Какого зла не разжегъ, не усилилъ твоею дѣятельностью и сколькихъ порядочныхъ людей ты до грѣха довелъ и избидѣлъ заодно съ этимъ глупымъ Васькой. А потому знай: онъ выйдетъ отсюда раньше тебя.

И съ этими словами сатана приказалъ принести полное собраніе Васиныхъ сочиненій, заарестованныхъ Сеней, разложилъ изъ нихъ костеръ и, подвѣсивъ надъ нимъ Сеню на крючкѣ, приказалъ прокоптить себѣ на закуску.

А черти прыгали и плясали, хлопая въ ладоши, и гоготали съ топотомъ и свистомъ:

„Плюсь на минусъ даетъ минусъ!“

Меньшово. 25 мая 1905 г.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Кв. С. Н. Трубецкой, только что переѣхавшій въ деревню, гдѣ онъ и написалъ вышеприведенную сказку, былъ вызванъ въ концѣ мая въ Москву товарищами, принадлежащими къ партіи земцевъ (къ которой примыкалъ и онъ), на коллективный сѣздъ всѣхъ либеральныхъ партій, для участія въ составленіи такого адреса Государю, подъ которымъ могли бы подписаться люди всѣхъ направленій, соединенные единымъ духомъ патріотическаго горя по поводу Цусимскаго боя и сознанія грозящей гибели родины, если она не попытается энергично добиться, наконецъ, народнаго представительства и крушенія стараго бюрократическаго режима. Этотъ адресъ составленъ почти исключительно княземъ, если не считать буквально вѣсколькихъ словъ, вставленныхъ присутствующими членами разнородныхъ группъ, которыхъ было крайне трудно удовлетворить въ виду ихъ партійнаго разномыслія.

ковъ нашихъ, какъ она существуетъ для произведеній печати... грѣха не было бы!

— Мало съ тебя циркулярѣвъ,— злобно шипѣлъ Вася.

— Въ раю былъ всего одинъ циркулярѣвъ,— задумчиво продолжалъ Сеня:— яблока не касаться... такъ и то прародители нарушили. Подумай, братецъ! Чтѣ такое яблоко? Вѣдь это — не съѣздъ, не присяжные повѣренные какіе-нибудь, это меньше допинга... а коснулись! И все оттого, что предварительной цензуры не было... Съ тѣхъ поръ сколько циркулярѣвъ, сколько каръ...

— А все касаются...— прервалъ Вася.

— Да, нарушаютъ!... Вотъ, говорятъ, скоро опять будетъ одинъ циркулярѣвъ, какъ у прародителей въ раю: добра и зла не касаться... Все прочее можно, а добра и зла нельзя... Дай Богъ, чтобы не касались...

— Да ну тебя... къ прародителямъ!— кричалъ Вася и гектографировалъ свои писанія.

Годы шли; мальчики получили дипломы. Вася сталъ извѣстнымъ публицистомъ и продолжалъ сквернословить. А Сеня сдѣлался цензоромъ, предостерегалъ Васю, останавливалъ Васю, зачеркивалъ Васю, запрещалъ Васю и по мѣрѣ силъ исправлялъ и сокращалъ Васины сочиненія. Вася жилъ распутно, а Сеня женился. Онъ былъ примѣрнымъ семейниномъ, и дѣтей у него была куча, такъ что цензорскаго жалованья ему не хватало и приходилось иной разъ брать у Васи взаймы, чтѣ онъ дѣлалъ скрѣпя сердце, когда Вася бывалъ умытъ и причесанъ болѣе обыкновеннаго и сквернословилъ менѣе обыкновеннаго.

И вотъ Вася умеръ и попалъ на тотъ свѣтъ, существованіе котораго было для него совершенной неожиданностью. По обычаю, онъ однако не смутился и увѣренною поступью направился въ рай, какъ былъ: невымытый, въ смазныхъ сапогахъ, съ дубинкой и въ папахѣ. Нужно ли говорить, что онъ ввергнуть былъ въ геену?

Умеръ и Сеня — бояринъ Симеонъ — и со смиренною улыбкой, скромно, степенными шагами тоже направился „въ мѣсто злачно, мѣсто покойно“, съ твердой увѣренностью быть представленнымъ къ наградѣ за усердную службу. Каково же было его удивленіе, когда и онъ очутился въ геенѣ, рядомъ съ Васей, тщетно протестовавшимъ противъ мѣстныхъ порядковъ и адскихъ злоупотребленій. Въ первый разъ Сеня присоединился къ протесту брата и потребовалъ объясненій, указывая, что онъ всю жизнь боролся противъ отрицательнаго направленія, за которое праведно терпитъ муку

его братъ, и что онъ уничтожалъ Васины произведенія во имя началъ положительныхъ.

Но черти загоготали, хлопая въ ладоши:

— Плюсъ на минусъ даетъ минусъ, плюсъ на минусъ даетъ минусъ! Ты жилъ на его счетъ, ты жилъ на его счетъ!

— Не понимаю,— горячился Сеня, это — безправіе и произволь... это — адскій произволь!

— ...бюрократія... — злорадствовалъ Вася.

Сатана обидѣлся.

— Здѣсь вамъ не комитетъ,— строго сказалъ онъ,— и прошу меня не оскорблять при отправленіи моихъ служебныхъ обязанностей. Ты, бояринъ Семень, всю твою жизнь служилъ отрицательному направленію во сто разъ хуже всякаго Васи; ты дѣлалъ ему рекламу, безъ которой его, можетъ быть, и читать бы не стали; ты обижалъ его безъ толку, раздражалъ его безъ толку да въдобавокъ еще жилъ на его счетъ, потому что, не будь его, за что бы ты, дуракъ, жалованье получалъ и кто бы тебѣ помогалъ? Ты не только своего таланта не соблюлъ, а чужіе портилъ. Лучше бы ты въ чистописаніи упражнялся! Какому злу ты помѣшалъ? Какого зла не разжегъ, не усилилъ твоею дѣятельностью и сколькихъ порядочныхъ людей ты до грѣха довелъ и избилъ заодно съ этимъ гаунымъ Васькой. А потому знай: онъ выйдетъ отсюда раньше тебя.

И съ этими словами сатана приказалъ принести полное собраніе Васиныхъ сочиненій, заарестованныхъ Сеней, разложилъ изъ нихъ костеръ и, подвѣсивъ надъ нимъ Сеню на крючкѣ, приказалъ прокоптить себѣ на закуску.

А черти прыгали и плясали, хлопая въ ладоши, и гоготали съ топотомъ и свистомъ:

„Плюсъ на минусъ даетъ минусъ!“

Меньшово. 25 мая 1905 г.

(„Русскія Вѣдомости“.)

Кн. С. Н. Трубецкой, только что переѣхавшій въ деревню, гдѣ онъ и написалъ вышеприведенную сказку, былъ вызванъ въ концѣ мая въ Москву товарищами, принадлежащими къ партіи земцевъ (къ которой примыкалъ и онъ), на коллективный сѣздъ всѣхъ либеральныхъ партій, для участія въ составленіи такого адреса Государю, подъ которымъ могли бы подписаться люди всѣхъ направленій, соединенные единымъ духомъ патріотическаго горя по поводу Цусимскаго боя и сознанія грозящей гибели родины, если она не попытается энергично добиться, наконецъ, народнаго представительства и крушенія стараго бюрократическаго режима. Этотъ адресъ составленъ почти исключительно княземъ, если не считать буквально нѣсколькихъ словъ, вставленныхъ присутствующими членами разнородныхъ группъ, которыхъ было крайне трудно удовлетворить въ виду ихъ партійнаго разномыслія.

Послѣ составленія этого адреса, сѣздъ послалъ своихъ уполномоченныхъ въ Петербургъ, въ надеждѣ, что они удостоятся Высочайшаго пріема и лично передадутъ свой адресъ Государю Императору. По прошествіи 3—4 дней эти уполномоченные вытребовали въ Петербургъ и князя Сергѣя Николаевича, такъ какъ Государь, согласился принять депутацію, и поручили ему прочесть адресъ и высказать передъ Государемъ то, что представители всероссійскаго сѣзда имѣли сказать ему.

Приводимъ цѣликомъ выписку изъ газетъ, описывающую пріемъ депутаціи и дающую текстъ адреса и рѣчей.

Высочайшій пріемъ делегатовъ отъ земствъ и городовъ.

5-го іюня, вечеромъ, московскіе делегаты Ф. И. Родичевъ, И. И. Петрункевичъ, Н. Н. Львовъ, кн. Г. Е. Львовъ, кн. С. Н. Трубецкой, графъ П. А. Гейденъ, кн. Д. И. Шаховской, Ю. А. Новосильцевъ, кн. Пав. Д. Долгоруковъ, Ѳ. А. Головинъ и представители города Петербурга: бар. П. Л. Корфъ, М. П. Федоровъ и А. Н. Никитинъ получили приглашеніе явиться въ Петергофъ на дачу Ея Величества „Александрія“ на Высочайшую аудіенцію. Въ 11 часовъ утра, 6-го іюня, всѣ названныя лица отбыли по Балтійской ж. д. въ Петергофъ; въ Петергофѣ съ вокзала въ придворныхъ каретахъ они были отвезены во дворецъ.

По пріѣздѣ делегаты передали Государю черезъ графа П. А. Гейдена извѣстную петицію, составленную въ Москвѣ:

Ваше Императорское Величество!

Въ минуту величайшаго народнаго бѣдствія и великой опасности для Россіи и самого Престола Вашего мы рѣшаемся обратиться къ Вамъ, отложивъ всякую рознь и всѣ различія, насъ раздѣляющія, движимые одной пламенной любовью къ отечеству. Государь, преступнымъ небреженіемъ и злоупотребленіями Вашихъ совѣтниковъ Россія ввергнута въ гибельную войну. Наша армія не могла одолѣть врага, нашъ флотъ уничтоженъ и, грознѣе опасности внѣшней, разгорается внутренняя усобица.

Увидавъ вмѣстѣ со всѣмъ народомъ Вашимъ всѣ пороки ненавистнаго и пагубнаго приказнаго строя, Вы положили измѣнить его и предназначали рядъ мѣръ, направленныхъ къ его преобразованію. Но предназначенія эти были искажены и ни въ одной области не получили надлежащаго исполненія. Угнетеніе личности и общества, угнетеніе слова и всякій произволъ множатся и растутъ. Вмѣсто предуказанной Вами отмѣны усиленной охраны и административнаго произвола полицейская власть усиливается и получаетъ

неограниченныя полномочія, а поданнымъ Вашимъ преграждается путь, открытый Вами, дабы голосъ правды могъ восходить до Васъ.

Вы положили созвать народныхъ представителей для совмѣстнаго съ вами строительства земли, и слово Ваше осталось безъ исполненія донинѣ, несмотря на все грозное величіе совершающихся событій; а общество волнуется слухи о проектахъ, въ которыхъ обѣщанное Вами народное представительство, долженствовавшее упразднить приказный строй, замѣняется сословнымъ совѣщаніемъ.

Государь, пока не поздно, для спасенія Россіи, во утвержденіе порядка и мира внутренняго, повелите безъ замедленія созвать народныхъ представителей, избранныхъ для сего равно и безъ различія всѣми поданными Вашими. Пусть рѣшатъ они, въ согласіи съ Вами, жизненный вопросъ государства, вопросъ о войнѣ и мирѣ, пусть опредѣляютъ они условія мира, или, отвергнувъ его, превратятъ эту войну въ войну народную. Пусть явятъ они всѣмъ народамъ Россію не раздѣленную болѣе, не изнемогающую во внутренней борьбѣ, а исцѣленную, могущественную въ своемъ возрожденіи и сплотившуюся вокругъ единого стяга народнаго. Пусть установятъ они въ согласіи съ Вами обновленный государственный строй.

Государь! Въ рукахъ Вашихъ честь и могущество Россіи, ея внутренній миръ, отъ котораго зависитъ и внѣшній миръ ея, въ рукахъ Вашихъ держава Ваша, Вашъ престолъ, унаслѣдованный отъ предковъ.

Не медлите, Государь. Въ страшный часъ испытанія народнаго велика отвѣтственность Ваша предъ Богомъ и Россіей.

Въ 12 ч. 40 мин. делегаты были приняты Государемъ.

Ки. С. Н. Трубецкой произнесъ отъ имени депутаціи съѣзда при вѣствіе слѣдующаго содержанія:

Ваше Императорское Величество.

Позвольте выразить Вашему Величеству нашу глубокую искреннюю благодарность за то, что Вы приняли насъ послѣ нашего къ Вамъ обращенія. Вы поняли тѣ чувства, которыя руководили нами, и не повѣрили тѣмъ, кто представлялъ насъ — общественныхъ и земскихъ дѣятелей — чуть ли не измѣнниками престола и врагами Россіи. Насъ привело сюда одно чувство — любви къ Отечеству и сознаніе долга передъ Вами.

Мы знаемъ, Государь, что въ эту минуту Вы страдаете больше всѣхъ насъ. Намъ было бы отрадно сказать Вамъ слово утѣшенія, и если мы обращаемся къ Вашему Величеству теперь въ такой необычной формѣ, то вѣрьте, что къ этому побуждаетъ насъ

чувство долга и сознание общей опасности, которая велика, Государь.

Въ смутѣ, охватившей все государство, мы разумѣемъ не крамолу, которая сама по себѣ, при нормальныхъ условіяхъ, не была бы опасна, а общій разладъ и полную дезорганизацію, при которой власть осуждена на безсиліе.

Русскій народъ не утратилъ патріотизма, не утратилъ вѣры въ Царя и въ несокрушимое могущество Россіи; но именно поэтому онъ не можетъ уразумѣть наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу; онъ чувствуетъ себя обманутымъ, и въ немъ зарождается мысль, что обманываютъ Царя. И когда народъ видитъ, что Царь хочетъ добра, а дѣлается зло, что Царь указываетъ одно, а творится совершенно другое, что предначертанія Вашего Величества урѣзываются и нерѣдко проводятся въ жизнь людьми завѣдомо враждебными преобразованіямъ, то такое убѣжденіе въ немъ все болѣе растетъ. Страшное слово „измѣна“ произнесено, и народъ ищетъ измѣнниковъ рѣшительно во всѣхъ — и въ генералахъ, и въ совѣтчикахъ Вашихъ, и въ насъ, и во всѣхъ господахъ вообще. Это чувство съ разныхъ сторонъ эксплуатируется. Одни направляютъ народъ на помѣщиковъ, другіе на учителей, земскихъ врачей, на образованные классы. Однѣ части населенія возбуждаются противъ другихъ.

Ненависть неумолимая и жестокая, накопившаяся вѣками обидъ и утѣсненій, обостряемая нуждой и горемъ, безправіемъ и тяжкими экономическими условіями, подымается и растетъ, и она тѣмъ опаснѣе, что въ началѣ облекается въ патріотическія формы: — тѣмъ болѣе она заразительна, тѣмъ легче она зажигаетъ массы. Вотъ грозная опасность, Государь, которую мы, люди, живущіе на мѣстахъ, измѣрили до глубины во всемъ ея значеніи и о которой мы сочли долгомъ довести до свѣдѣнія Вашего Императорскаго Величества.

Единственный выходъ изъ всѣхъ этихъ внутреннихъ бѣдствій — это путь, указанный Вами, Государь, — созывъ избранниковъ народа. Мы все вѣримъ въ этотъ путь, но сознаемъ однако, что не всякое представительство можетъ служить тѣмъ благимъ цѣлямъ, которыя Вы ему ставите. Вѣдь оно должно служить водворенію внутреннего мира, созиданію, а не разрушенію, объединенію, а не раздѣленію частей населенія и, наконецъ, оно должно служить „преобразованію государственному“, какъ сказано было Вашимъ Величествомъ. Мы не считаемъ себя уполномоченными говорить

здѣсь ни о тѣхъ окончательныхъ формахъ, въ которыя должно вылиться народное представительство, ни о порядкѣ избранія. Если позволите, Государь, мы можемъ сказать только, что объединяетъ большинство русскихъ людей, искренно желающихъ идти по намѣченному Вами пути.

Нужно, чтобы всѣ Ваши подданные — равно и безъ различія — чувствовали себя гражданами русскими, чтобы отдѣльныя части населенія и группы общественныя не исключались изъ представительства народнаго, — не обращались бы тѣмъ самымъ во враговъ обновленнаго строя; нужно, чтобы не было безправныхъ и обездоленныхъ. Мы хотѣли бы, чтобы всѣ Ваши подданные, хотя бы чуждые намъ по вѣрѣ и крови, видѣли въ Россіи свое отечество, — въ Васъ своего Государя; чтобы они чувствовали себя сынами Россіи и любили Россію такъ же, какъ мы ее любимъ. Народное представительство должно служить дѣлу объединенія и мира внутренняго. Поэтому такъ же нельзя желать, чтобы представительство было сословнымъ: какъ Русскій Царь — не Царь дворянъ, не Царь крестьянъ или купцовъ, не Царь сословій, а Царь всея Руси, такъ и выборные люди отъ всего населенія, призываемые, чтобы дѣлать совместно съ Вами Ваше Государево дѣло, должны служить не сословнымъ, а общегосударственнымъ интересамъ. Сословное представительство неизбежно должно породить сословную рознь тамъ, гдѣ ея не существуетъ.

Далѣе, народное представительство должно служить дѣлу „преобразования государственнаго“. Бюрократія существуетъ вездѣ, во всякомъ государствѣ. Но въ обновленномъ строѣ она должна занять подобающее ей мѣсто. Она не должна узурпировать Вашихъ государственныхъ правъ, она должна стать отвѣтственной. Вотъ дѣло, которому должно послужить собраніе выборныхъ представителей. Оно не можетъ быть заплатой къ старой системѣ бюрократическихъ учреждений. А для этого оно должно быть поставлено самостоятельно, и между нимъ и Вами не можетъ быть воздвигнута новая стѣна въ лицѣ высшихъ бюрократическихъ учреждений имперіи. Вы сами убѣдитесь въ этомъ, Государь, когда призовете избранниковъ народа и встанете съ ними лицомъ къ лицу, какъ мы стоимъ передъ Вами.

Наконецъ, предназначенныя Вами преобразованія столь близко касаются русскаго народа и общества, нынѣ призываемаго къ участию въ государственной работѣ, что русскіе люди не только не могутъ, но не должны оставаться къ нимъ равнодушны. Посему

необходимо открыть самую широкую возможность обсуждения государственнаго преобразованія не только на первомъ собраніи выборныхъ, но нынѣ же въ печати и въ общественныхъ собраніяхъ. Было бы пагубнымъ противорѣчіемъ призывать общественныя силы къ государственной работѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ не допускать свободнаго сужденія. Это подорвало бы довѣріе къ осуществленію реформъ, мѣшало бы успѣшному проведенію ихъ въ жизнь“.

Затѣмъ говорилъ отъ имени города М. П. Федоровъ:

„Позвольте, Ваше Величество, присоединить къ тому, что сейчасъ было высказано княземъ Трубецкимъ, еще и то, что тревожитъ и волнуетъ города. Городъ и деревня такъ близки другъ къ другу, что всякая невзгода деревни отражается и на благосостояніи города — и бѣднѣютъ деревни, и мы страдаемъ. Мы не можемъ не беспокоиться о задачахъ ближайшаго будущаго.

Какъ бы Ваше Величество не разрѣшили вопроса войны и мира, война все-таки когда-нибудь кончится и тогда настанетъ необходимость залѣчивать нанесенныя ею раны экономическія и финансовыя. Мы предвидимъ, что бюджетъ долженъ будетъ увеличиться ради этого на 300—400 милліоновъ въ годъ. Чтобы достать эти милліоны, чтобы найти источникъ для покрытія этихъ расходовъ, нужно начать огромную культурную работу и позаботиться о подъемѣ производительныхъ силъ страны; а это возможно только тогда, когда будетъ призвано къ жизни все, что есть даровитаго и талантливаго въ народѣ и возбуждена широкая самодѣятельность общества.

У Вашего Величества есть, правда, люди и люди талантливые, но ихъ немного, и они могутъ присматриваться къ потребностямъ и нуждамъ народнымъ только изъ своихъ кабинетовъ и канцелярій, тогда какъ предстоящая работа потребуетъ людей, стоящихъ у самой жизни. Вотъ почему и города всецѣло присоединяются къ голосу земскихъ людей, мысль которыхъ передалъ здѣсь князь Трубецкой“.

Въ отвѣтъ на это Государь произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ благодарность депутатамъ за тѣ чувства, которыя привели ихъ сюда, и вѣру въ готовность ихъ содѣйствовать основанію новаго порядка. Рѣчь свою Государь закончилъ слѣдующими словами:

„Я вмѣстѣ съ вами и со всѣмъ народомъ моимъ всею душою скорбѣлъ и скорблю о тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя принесла Россіи война и которыя необходимо еще предвидѣть, и о всѣхъ внутреннихъ нашихъ неурядицахъ.

Отбросьте ваши сомнѣнія. Моя воля — воля Царская созывать выборныхъ отъ народа — непреклонна. Привлеченіе ихъ къ работѣ государственной будетъ выполнено правильно. Я каждый день слѣжу и стою за этимъ дѣломъ.

Вы можете объ этомъ передать всѣмъ вашимъ близкимъ, живущимъ какъ на землѣ, такъ и въ городахъ.

Я твердо вѣрю, что Россія выйдетъ обновленною изъ постигшаго ея испытанія.

Пусть установится, какъ было встарь, единеніе между Царемъ и всею Русью, общеніе между Мною и земскими людьми, которое ляжетъ въ основу порядка, отвѣчающаго самобытнымъ русскимъ началамъ.

Я надѣюсь, вы будете содѣйствовать Мнѣ въ этой работѣ^{*)}.

Послѣ этого Государь разговаривалъ лично съ кн. С. Н. Трубецкимъ^{*)}, кн. Д. И. Шаховскимъ и другими.

Въ 1 ч. 50 м. приемъ окончился¹⁾.

Послѣдняя статья князя С. Н. Трубецкого.

Передъ рѣшеніемъ.

Съ тѣхъ поръ какъ защитникамъ Портъ-Артура мѣсяцъ службы сталъ зачитываться за годъ, все русское общество живетъ по цѣлому году въ мѣсяцъ. Никогда еще оно не жило столь напряженною жизнью, не думало, не чувствовало столь напряженно. Когда всѣ благомыслящіе, благоразумные люди предупреждали, что медлить нельзя, что каждый часъ дорогъ, они не ошибались. И голоса ихъ раздаются еще до сихъ поръ, и до сихъ поръ они съ ужасомъ видятъ, какъ проходятъ часы, дни, недѣли, мѣсяцы, — тѣ долгіе мѣсяцы, которые зачитываются за годы.

Однако, говорятъ намъ, на промедленіе жаловаться нельзя. Булыгинская комиссія работала съ поразительной быстротою, и

^{*)} Князя Трубецкого Государь между прочимъ разспрашивалъ о дѣлахъ университета и поручилъ ему составить докладную записку о томъ, что можно, по его мнѣнію, сдѣлать для реформы высшихъ учебныхъ заведеній. Въ заключеніе Государь просилъ князя представить ему эту записку не черезъ министерство народнаго просвѣщенія, а черезъ министра двора, барона Фредерикса, присутствовавшего при приемѣ депутаціи. Докладная записка князя печатается ниже въ этомъ же томѣ.

¹⁾ („Русь“).

совѣтъ министровъ работаетъ еще быстрѣе. На-дняхъ результаты этихъ работъ будутъ опубликованы, и Россія получить тѣ представительныя учрежденія, въ которыхъ она такъ нуждается... Если бы булыгинская коммиссія была построена на иныхъ началахъ, если бы многочисленныя ходатайства земствъ и городовъ о допущеніи ихъ представителей въ названную коммиссію были удовлетворены, — работа ея затянулась бы на болѣе продолжительный срокъ и не была бы еще законченной...

Но самое участіе представителей земствъ и городовъ дало бы возможность менѣе спѣшить; оно успокоило бы страну и послужило бы гарантіей того, что представительныя учрежденія и избирательный законъ будутъ дѣйствительно соответствовать нуждамъ страны. Призывать народно-общественныя силы къ законодательной работѣ и отстранять ихъ отъ участія въ самомъ важномъ изъ всѣхъ законодательныхъ актовъ — не есть ли это противорѣчіе? Вѣдь не только передъ освобожденіемъ крестьянъ, но и теперь, въ виду предстоящей крестьянской реформы силы общественныя, хотя и въ недостаточной степени, привлекались къ обсужденію и разработкѣ этой реформы. Къ дѣлу „преобразованія государственнаго“ эти силы не привлекаются; мало того, всѣ естественныя попытки объединенія земскихъ и общественныхъ силъ съ цѣлью совмѣстнаго обсуждения этого дѣла, — вопроса жизни и смерти русскаго общества, — встрѣчаютъ со стороны администраціи упорное противодѣйствіе, которое не прекращается и донинѣ, даже послѣ пріема Государемъ московской депутаціи и милостивыхъ словъ, къ ней обращенныхъ. Неужели же такимъ путемъ думаютъ успокоить общество, вселить довѣріе къ власти и дать странѣ внутренній миръ, въ которомъ она такъ нуждается? Не заключается ли въ такомъ образѣ дѣйствій величайшая опасность для настоящаго и угроза для ближайшаго будущаго?

Пріемъ депутаціи коалиціоннаго съѣзда земскихъ и городскихъ общественныхъ дѣятелей есть, несомнѣнно, событіе большой политической важности: впервые дѣятели, общественнымъ довѣріемъ обремененные, получили возможность непосредственнаго общенія съ Государемъ Императоромъ. Въ сознаніи ответственности, которая возлагалась на нихъ самымъ историческимъ моментомъ, самымъ фактомъ Высочайшаго пріема, они не сочли себя въ правѣ говорить о своихъ партійныхъ взглядахъ, о мнѣніи земскаго „большинства“ или меньшинства. Они указали лишь на тѣ пункты, которые являются, безусловно, существенными и объединяютъ всѣхъ русскихъ общественныхъ дѣятелей, видящихъ въ народномъ пред-

ставительствъ дѣйствительный исходъ изъ смутъ и нестроенія и искренно желающихъ идти путемъ, указаннымъ Высочайшимъ рескриптомъ 18-го февраля. Поэтому депутаты не говорили ни о тѣхъ окончательныхъ формахъ, въ какія, по ихъ убѣжденію, должно вылиться народное представительство, ни даже о способѣ избранія представителей. Они указали лишь на тѣ необходимыя минимальныя условія, при которыхъ народное представительство можетъ выполнить задачу умиротворенія страны и „преобразования государственнаго“ и безъ наличия которыхъ оно можетъ служить только смутѣ и раздѣленію. Оно предполагаетъ равноправность, оно не должно исключать обширныя группы и части населенія, дабы не было безправныхъ и обездоленныхъ; оно должно быть общегосударственнымъ, общегражданскимъ, а не сословнымъ; оно должно быть постановлено не ниже, а выше бюрократическихъ учреждений, дабы служить дѣлу контроля надъ управленіемъ; и, наконецъ, необходимымъ условіемъ плодотворной работы и правильного выраженія народно-общественнаго сознанія является свобода слова и печати, свобода совмѣстнаго обсужденія реформъ и правительственныхъ дѣйствій, — свобода общественныхъ собраний. Иначе какое-либо участіе народно-общественныхъ силъ въ дѣлѣ государственнаго строительства представляется немыслимымъ. Окончательный законопроектъ доселѣ въ точности неизвѣстенъ. Но каковы бы ни были его неизбѣжныя несовершенства, они могутъ быть исправлены самими избранниками народными при возможности его свободного обсужденія и при наличии достаточно широкаго избирательнаго права, которое обезпечивало бы первому собранію выборныхъ должный авторитетъ въ глазахъ страны, дѣлало бы ихъ представителями не отдѣльныхъ группъ или сословій, а всей земли русской. Минимальныя требованія, которыя въ силу вещей, въ силу особенностей переживаемаго историческаго момента предъявляются вырабатываемому законопроекту, состоятъ въ томъ, чтобы онъ создавалъ русло, по которому могло бы направиться существующее народно-общественное движеніе, властно требующее себѣ выхода. Пойдетъ ли оно *черезъ* это русло, или проложитъ себѣ путь *внѣ* его, *помимо* и *поверхъ* него, разрушая на своемъ пути всѣ искусственныя преграды, — въ этомъ жизненный вопросъ нашего ближайшаго будущаго, и усилія всѣхъ людей благомыслящихъ, жаждущихъ порядка и мира, должны быть направлены, прежде всего, къ достиженію тѣхъ минимальныхъ условій, безъ которыхъ вся проектируемая реформа только усилитъ опасность и послужитъ общему разрушенію.

Въ этомъ смыслѣ и было понято русскимъ обществомъ заявленіе московской депутаціи, которая получила столько привѣтствій отъ разнообразныхъ общественныхъ группъ, союзовъ и учреждений, отъ земскихъ собраній и городскихъ учреждений, послѣдовавшихъ за петербургской Думой. Въ этомъ смыслѣ было понято заявленіе и гг. губерискими предводителями, собравшимися въ Петербургѣ, которые, согласно сообщенію *Правительственнаго Вѣстника*, въ своемъ заявленіи поддержали заявленіе земскихъ и городскихъ дѣятелей, что является особенно знаменательнымъ, поскольку гг. предводители представляютъ наиболѣе сплоченную и консервативно настроенную сословную организацію. Конечно, при отсутствіи правильного представительства, всякій иномыслящій воленъ называть „самозванцами“ членовъ депутаціи 6-го іюня. Но вышеуказанныя заявленія, исходящія отъ всѣхъ классовъ общества и признанныхъ общественныхъ учреждений, не позволяютъ сомнѣваться въ томъ, что эти „самозванцы“ представляли не только земскій съѣздъ или, какъ выражаются иные, „случайное собраніе“, ихъ уполномочившее. Представители городскихъ общественныхъ управленій, собравшіеся въ Москвѣ на первое частное совѣщаніе, въ своемъ единогласномъ постановленіи свидѣлствуютъ, что мысли, выраженные депутаціей передъ Государемъ „въ возможной при данныхъ условіяхъ формѣ, вполнѣ отвѣчаютъ душевнымъ желаніямъ собравшихся и всей мыслящей Россіи“.

Конечно, при настоящемъ состояніи русскаго общества полного согласія быть не можетъ. Вспомнимъ, какъ недавно еще, почти наканунѣ рескрипта 18-го февраля, отдѣльныя группы лицъ агитировали въ дворянскихъ собраніяхъ въ пользу реакціонныхъ адресовъ, гдѣ отвергалась мысль о какомъ бы то ни было представительствѣ. Составители этихъ адресовъ остались вѣрными себѣ и донынѣ, требуя диктатуры вмѣсто представительства: „нужна сильная единоличная власть, а не палата представителей“, — такъ пишутъ въ *Русскомъ Листкѣ* гг. Самарины и кн. А. Г. Щербатовъ. Другіе единомышленники ихъ, убѣдившись въ необходимости частичнаго отступленія, перемѣнили тактику и, забывъ, что вчера еще они противились *всякому* представительству, рекомендуютъ сегодня особую форму извращеннаго представительства — „сословно-бытовую“. Будучи принципиальными противниками народнаго представительства, которое они считаютъ изобрѣтеніемъ гнилого Запада, чуждымъ русскому народу, они стремятся подмѣнить его якобы самобытнымъ „сословнымъ совѣщаніемъ“, политически безправнымъ, никому не

нужнымъ и не могущимъ имѣть авторитета ни въ глазахъ правительства, ни въ глазахъ страны. Въ то самое время, когда нужна полнота авторитета, чтобы успокоить страну и облечь имъ обновленное правительство, они создаютъ учрежденіе, заведомо безсильное, исключаящее народное представительство, но сохраняющее его вывѣску; оно должно послужить ширмами бюрократическаго абсолютизма, за которыми все останется постарому. Въ тотъ моментъ, когда люди, обладающіе государственнымъ смысломъ, прилагаютъ усилія къ тому, чтобы найти нормальное русло для политической жизни страны и объединить ея силы, мнимые охранители думаютъ о томъ, какъ разъединить ихъ, какъ запрудить народно-общественное движеніе обветшалыми искусственно поддерживаемыми „сословно-бытовыми“ перегородками. Чтобы спасти отечество отъ потопа, они проектируютъ государственный новѣй ковчегъ для нѣсколькихъ избранныхъ дворянъ, купцовъ, крестьянъ, рабочихъ и фабрикантовъ. Но если дѣло сводится къ опросу сословій и группъ, то къ чему все это громоздкое, допотопное сооруженіе, и почему не обратиться прямо къ существующимъ сословнымъ учрежденіямъ и групповымъ союзамъ? Не потому ли, что столь многіе изъ нихъ уже высказались въ пользу *народнаго* представительства? Но можно опасаться, что и нѣкоторые изъ представителей сословныхъ группъ послѣдуютъ благому примѣру гг. губернскихъ предводителей и выскажутся противъ начала сословности въ Государственной Думѣ. Признавая за всѣмъ населеніемъ право выбирать „достоинѣйшихъ“, къ какому бы сословію они ни принадлежали, гг. губерніскіе предводители стали на точку зрѣнія общегосударственную и общеземскую и тѣмъ самымъ всего лучше послужили истиннымъ интересамъ „первенствующаго“ сословія, которое они представляютъ.

Нужно быть ослѣпленнымъ, чтобы не видѣть всей несостоятельности проектовъ сословнаго представительства и вмѣстѣ той возможной опасности, какую они представляютъ для ближайшаго будущаго. Уже теперь въ газеты проникло извѣстіе, будто въ виду нѣкоторыхъ „общественныхъ заявленій“ проектъ „безсословной системы выборовъ“, принятой Булыгинской комиссіей, будетъ подвергнутъ самому „тщательному пересмотру“. Если это извѣстіе вѣрно, если въ правительственныхъ сферахъ существуетъ дѣйствительное намѣреніе принять во вниманіе „общественныя заявленія“, то неужели же и теперь, при выработкѣ избирательнаго закона, не будетъ услышанъ голосъ земствъ и городовъ, такъ настойчиво и единодушно просившихъ, чтобы ихъ представители вошли въ со-

ставъ комисіи? Вѣдь то будутъ уже не „самозванцы“. Вѣдь сами противники народнаго представительства, защищая сословное начало (въ только что опубликованной запискѣ, подписанной въ числѣ прочихъ и гг. Самариными и кн. Щербатовымъ), ссылаются на теперешнее земство (по закону 1890 г.), какъ на примѣръ „общественныхъ учрежденій, состоящихъ изъ выборныхъ отъ сословій“ и вмѣстѣ служащихъ „интересамъ общегосударственнымъ, не внося въ Государево дѣло никакой розни и никакихъ своекорыстныхъ стремленій“.

Повторяемъ, при правильной системѣ выборовъ недостатки бюрократическаго проекта могутъ быть исправлены самими выборными. При ложной системѣ, не соответствующей дѣйствительнымъ нуждамъ страны, на такое исправленіе нельзя рассчитывать: не имѣя ни должной компетентности, ни достаточнаго авторитета, выборные не придадутъ правительству ни того, ни другого и будутъ безсильны измѣнить положеніе. *Черезъ Государственную Думу или помимо нея*, — вотъ грозная дилемма, которая ставится передъ Россіей, передъ всѣми русскими людьми, за исключеніемъ тѣхъ, кто способны вѣровать въ полицейскую диктатуру послѣ фонъ Плеве и въ „сословно-бытовые“ перегородки среди общаго крушенія. *Caveant consules!*

Меньшово, 12 іюля 1905 г.

(„Русскія Вѣдомости“.)

3 сентября 1905 г. въ совѣтъ Московскаго университета орд. профессоръ кн. С. Н. Трубецкой былъ избранъ ректоромъ. Оглашеніе этого извѣстія вызвало шумныя и продолжительныя рукоплесканія. Князь С. Н. Трубецкой отвѣтилъ на это выраженіе сочувствія рѣчью, приблизительно, слѣдующаго содержанія:

Вы оказали, господа, мнѣ великую честь и возложили на меня великую обязанность, избравъ меня ректоромъ въ такой тяжелый и трудный моментъ. Я высоко цѣню эту честь, понимаю всю возлагаемую на меня отвѣтственность и сознаю всѣ трудности, выпадающія на мою долю. Двадцать человѣкъ, которые положили мнѣ нагѣво, имѣли всѣ основанія такъ сдѣлать, и я, если бы могъ участвовать въ баллотировкѣ, положилъ бы себѣ также нагѣво. Предо мною стоятъ люди, много болѣе меня заслуженные, опытные и имѣющіе гораздо болѣе правъ на такой выборъ, чѣмъ я. Я сознаю все это, но я надѣюсь, что тѣ, которые положили мнѣ нагѣво и считаютъ меня неспособнымъ къ такой должности, окажутъ мнѣ тѣмъ болѣе дѣятельную, активную поддержку. Въ эту минуту не только люди разномыслящіе, но и заклятые враги

(которыхъ, я надѣюсь, у меня нѣтъ) должны поддерживать другъ друга, работать вмѣстѣ для спасенія дорогаго намъ всѣмъ университета. Помните, теперь положеніе измѣнилось. Власть и отвѣтственность за университетъ лежатъ теперь на всѣхъ насъ въ равной мѣрѣ. Положеніе въ высшей степени трудное, но оно не безнадежное. Мы должны вѣрить въ то дѣло, которому служимъ. Мы отстоимъ университетъ, если мы сплотимся. Чего бояться намъ? Университетъ одержалъ великую, нравственную побѣду. Мы получили разомъ то, чего желали; мы побѣдили силы реакціи. Неужели бояться намъ общества, нашей молодежи? Вѣдь не останутся же они слѣпыми къ торжеству свѣтлаго начала въ университетѣ? Правда, все бушуетъ вокругъ, волны захлестываютъ; мы ждемъ, чтобы они успокоились. Мы можемъ пожелать, чтобы разумныя требованія русскаго общества получили желательное удовлетвореніе. Будемъ вѣрить въ наше дѣло и въ нашу молодежь. Та преграда, которая намъ раньше мѣшала дать молодежи свободно организоваться и войти съ ней въ правильныя сношенія, теперь пала. Тотъ порядокъ, который нельзя было ранѣе осуществить, получилъ возможность осуществленія. Мы должны осуществить его совокупными нашими усиліями. Намъ надо быть солидарными и вѣрить въ себя, въ молодежь и въ святое дѣло, которому мы служимъ. Я прошу, я требую отъ васъ дѣятельной мнѣ помощи. Совѣтъ нынѣ есть хозяинъ университета!

Городской голова кн. Вл. Мих. Голицынъ прислалъ кн. С. Н. Трубецкому отъ Думы и отъ себя лично письмо, въ которомъ онъ его привѣтствовалъ, какъ перваго выборнаго ректора автономнаго университета. Князь С. Н. послалъ ему въ отвѣтъ письмо слѣдующаго содержанія:

Совѣтъ Императорскаго Московскаго университета поручилъ мнѣ въ Вашемъ лицѣ выразить свою глубокую признательность городской Думѣ за ея сердечное привѣтствіе, столь отрадное для насъ въ переживаемое трудное время. Велика и тѣсна связь университета со всѣмъ русскимъ обществомъ, и никогда еще связь эта не была такъ ощутима, какъ въ наши дни, когда мы всѣ болѣемъ одними общими недугами, живемъ одними стремленіями, мыслями и чувствами. Въ академической автономіи, къ которой мы такъ долго стремились, которую мы получили въ послѣдній часъ, мы видимъ не только нравственную побѣду университета, но и торжество всего русскаго общества. И какъ ни цѣнимъ мы это первое и основное условіе академической свободы и порядка, мы не можемъ не сознать болѣе, чѣмъ когда-либо, что упорядоченіе,

упроченіе истинно-академическаго строя и все преуспѣяніе университета зависить отнынѣ отъ единодушныхъ условій, отъ правдивой поддержки общества, его любовнаго и бережнаго отношенія къ университету. Вотъ почему намъ столь дорого привѣтствіе Москвы, подъ сѣнью которой выросъ родной университетъ. Тяжки были удары, которые обрушивались на него за послѣднюю четверть вѣка, но сочувствіе и уваженіе русскаго общества не порывалось и тогда, когда между нимъ и университетомъ воздвигались искусственныя преграды. Теперь, когда онѣ пали, когда университетъ выѣстъ со всей Россіей возрождается къ новой жизни, мы твердо вѣримъ, что русское общество сумѣетъ его сохранить среди грядущихъ опасностей. Какъ бы ни были велики испытанія, которыя насъ ожидаютъ, мы вѣримъ, что Москва не дастъ заглухнуть своему университету, старѣйшему и славнѣйшему изъ разсадниковъ высшаго научнаго образованія въ Россіи. Въ величайшій моментъ нашей исторіи, когда отъ всего народа русскаго требуется небывалый подъемъ умственныхъ и культурныхъ просвѣтительныхъ силъ, прекращеніе всякой научной работы, крушеніе университета въ разгарѣ политической борьбы было бы величайшимъ пораженіемъ русскаго просвѣщенія, нравственнымъ пораженіемъ освободительнаго движенія, пораженіемъ народнымъ и общественнымъ. Проникнутый этимъ сознаніемъ, совѣтъ Московскаго университета благодарить Московскую городскую Думу за ея привѣтъ“.

Москва. 21 сентября 1905 г.

(„Русскія Вѣдомости“.)

21-го сентября вечеромъ, въ зданіи университета происходила студенческая сходка при участіи многочисленной и совершенно посторонней публики.

Вслѣдствіе этого явнаго нарушенія одного изъ выставленныхъ ректоромъ условій и во избѣжаніе конфликта съ администраціей, совѣтъ, съ ректоромъ во главѣ, порѣшили временно закрыть университетъ. 23-го сентября на столбцахъ „Русскихъ Вѣдомостей“ появилось слѣдующее сообщеніе, которое приводится здѣсь цѣликомъ.

Въ университетѣ.

Вчера, 22-го сентября, съ утра, на Моховой улицѣ, у университетскихъ воротъ стали собираться группы студентовъ, число которыхъ у стараго зданія университета достигло около 12½ час. нѣсколькихъ сотенъ. Когда къ университету подъѣхалъ ректоръ кн. Трубецкой, студенты обратились къ нему съ просьбой разрѣшить имъ собраться въ одной изъ аудиторій для обсужденія положенія университета. Ректоръ далъ на это свое разрѣшеніе, но

подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы доступъ въ университетъ былъ открытъ исключительно студентамъ. На основаніи этого разрѣшенія въ аудиторіи № 1-й юридическаго корпуса собралось 700—800 студентовъ, къ которымъ около двухъ часовъ явились ректоръ и его помощникъ. Появленіе профессоровъ въ аудиторіи встрѣчено было единодушными и громкими рукоплесканіями. Взойдя на кафедру, кн. Трубецкой сказалъ слѣдующее:

„Мнѣ очень грустно, господа, что мы сошлись съ вами при такихъ обстоятельствахъ. Я хотѣлъ бы привѣтствовать васъ въ стѣнахъ автономнаго университета. Теперь же я долженъ объяснить вамъ причину закрытія университета. Совѣтъ вамъ далъ право собираться и обезпечилъ вамъ полную свободу студенческихъ собраній, безъ всякаго внѣшняго полицейскаго вмѣшательства. Онъ поставилъ вамъ только два условія, безусловно необходимыя для охраненія порядка: во-первыхъ, эти собранія не должны мѣшать правильному теченію занятій; они назначаются явочнымъ порядкомъ по соглашенію со мною или моимъ помощникомъ въ свободные часы и въ помѣщеніяхъ по нашему указанію, что необходимо во избѣжаніе всякихъ столкновеній. И это элементарное условіе съ первыхъ же дней систематически нарушалось въ стѣнахъ этой аудиторіи, на что слышались многочисленныя жалобы со стороны профессоровъ и студентовъ, такъ какъ многія лекціи вслѣдствіе этого не могли состояться. Вторымъ условіемъ было недопущеніе на эти собранія постороннихъ лицъ. Вы отлично понимаете, что совѣтъ не могъ обезпечить свободу политическихъ митинговъ и не считалъ ихъ допустимыми въ стѣнахъ университета. И это второе условіе такъ же систематически нарушалось съ перваго дня. Вчера вечеромъ въ университетѣ состоялось многочисленное собраніе отъ 3000 до 4000 человекъ, въ числѣ которыхъ студенты Московскаго университета составляли меньшинство. При этомъ я получилъ офиціальное уведомленіе, что общая администрація, предувѣдомленная о характерѣ этого собранія, вызвала въ манежъ войска, которыя должны были прибѣгнуть къ самымъ рѣшительнымъ мѣрамъ и къ дѣйствию оружіемъ въ случаѣ, если бы участниками собранія былъ нарушенъ внѣшній порядокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я былъ освѣдомленъ и о томъ, что въ Москвѣ существуетъ партія, желающая такого конфликта. Изъ этого мы усмотрѣли, что систематическое нарушеніе совѣтскихъ постановленій представляетъ реальную угрозу не только для академическаго порядка, безъ котораго правильныя занятія немыслимы, но и для внѣшней безопасности университета и личной безопасности каж —

даго изъ васъ. Я не хотѣлъ принимать отвѣтственность за подобное положеніе вещей, а совѣтская коммиссія, которой отнынѣ ввѣрено управленіе университетомъ, не нашла возможнымъ оставаться долѣе пассивной и ожидать неизбѣжной катастрофы. Она признала необходимымъ временно закрыть университетъ, и я своею властью привелъ ее рѣшеніе въ исполненіе. Эта мѣра была вынуждена не въ томъ смыслѣ, что на меня было оказано какое-либо давленіе извнѣ: и коммиссія и я приняли ее совершенно самостоятельно; она была вынуждена самымъ положеніемъ, которое было создано систематическимъ нарушеніемъ совѣтскихъ постановленій. Вы видите, что эти постановленія не были простою прихотью совѣта: мы все желаемъ скорѣйшаго открытія университета. Но для этого мы требуемъ соблюденія элементарныхъ условій академическаго порядка и самой внѣшней безопасности университета. Въ рядѣ своихъ постановленій за истекшіе годы совѣтъ высказался противъ внутреннихъ полицейскихъ мѣръ, которыя онъ признавалъ ненужными, бесплодными и недостойными университета. Теперь единственная наша надежда на васъ, на то, что вы окажете дѣятельную поддержку университету. Вы не можете не сознавать, что неисполненіе постановленій совѣта угрожаетъ самому существованію университета. Теперь мы были вынуждены закрыть университетъ на нѣсколько дней, но если явленія, подобныя вчерашнему, будутъ повторяться, это приведетъ къ неизбѣжному закрытію университета на продолжительный срокъ, а при теперешнихъ условіяхъ это будетъ разгромомъ университета, — разгромомъ русскаго просвѣщенія, и это будетъ вызвано не только дѣйствіями, направленными противъ университета, но самымъ отсутствіемъ поддержки съ вашей стороны, и вы отвѣтите за это передъ русскимъ обществомъ. Я призываю васъ исполнить здѣсь вашъ первый и прямой гражданскій долгъ въ качествѣ студентовъ. Сплотитесь, соединитесь дружно, организуйтесь свободно, чтобы отстоять университетъ и создать тѣ условія, безъ которыхъ университетъ не можетъ существовать. Помните, что отнынѣ совѣтъ автономенъ. Въ прежнее время отъ насъ требовалось иногда, чтобы мы читали вамъ лекціи при всякихъ условіяхъ, и вы первые протестовали противъ такихъ требованій. Теперь, надѣюсь, и вы намъ такихъ требованій представлять не будете. Во всякомъ случаѣ, господа, помните, что если вы нарушеніемъ совѣтскихъ постановленій можете привести къ закрытію университета, вы не можете заставить автономный совѣтъ открыть его и читать вамъ лекціи при такихъ условіяхъ,

которыя онъ не считаетъ совмѣстимыми съ достоинствомъ университета и при которыхъ не существуетъ никакого обезпеченія внутреннего порядка и самой внѣшней безопасности университета. Какъ общественный дѣятель, я подвергался многимъ нареканіямъ, и притомъ съ противоположныхъ сторонъ, но одно вы знаете, что за безусловную свободу общественныхъ политическихъ собраній я стоялъ всегда и вездѣ: въ печати, въ постановленіяхъ той партіи, къ которой я имѣю честь принадлежать, и предъ лицомъ самого Государя, и тѣмъ не менѣе я скажу вамъ здѣсь не только какъ ректоръ и профессоръ, но какъ общественный дѣятель, — что университетъ не есть мѣсто для политическихъ собраній, что университетъ не можетъ и не долженъ быть народной площадью, какъ народная площадь не можетъ быть университетомъ, и всякая попытка превратить университетъ въ такую площадь или превратить его въ мѣсто народныхъ митинговъ неизбѣжно уничтожить университетъ, какъ таковой. Я взываю ко всему вашему здравому смыслу. Подумайте, какъ много даетъ вамъ университетъ, и не требуйте отъ насъ невозможнаго. Еще разъ, господа, поддержите университетъ и помните, что онъ принадлежитъ русскому обществу, что вы дадите отвѣтъ за него“.

Рѣчь кн. Трубецкаго вызвала громъ рукоплесканій, долго не смолкавшихъ.

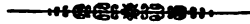
Нижеслѣдующая замѣтка — послѣдняя, которую написалъ князь С. Н. Трубецкой. Будучи боленъ съ 18-го сентября, онъ перемогалъ себя, посѣщая университетскіе совѣты и студенческія сходки. Имѣя въ виду поѣздку въ Петербургъ по дѣламъ службы и намѣреваясь ходатайствовать тамъ объ отведеніи зданій и залъ подъ собранія и митинги внѣ стѣнъ университетовъ, онъ рѣшился объявить о своемъ нездоровьи, дабы заручиться отдыхомъ на нѣсколько дней. Тотчасъ же появилась недоброжелательная инсинуація на столбцахъ одной изъ московскихъ газетъ, которая его настолько неприятно поразила, что онъ отозвался на нее слѣдующимъ образомъ:

„Я пользуюсь этимъ незначительнымъ случаемъ, чтобы черезъ посредство Вашей уважаемой газеты обратиться и къ другимъ органамъ печати съ покорнѣйшею просьбою — относиться съ особою осторожностью къ сообщаемымъ слухамъ о томъ, что происходитъ въ стѣнахъ высшихъ учебныхъ заведеній, которыя переживаютъ столь трудное и тревожное время. Мнѣ пришлось не разъ уже читать въ газетахъ совершенно неточныя извѣстія о томъ, что происходило у насъ, и получать по этому поводу запросы отъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній; и, наоборотъ, я былъ вводимъ въ заблужденіе неточными газетными сообщеніями о поста-

новленіяхъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Мы всѣ въ настоящую минуту нуждаемся въ единодушной поддержкѣ общества и печати, мало того, имѣемъ право на нее рассчитывать, и потому распространеніе невѣрныхъ или тенденціозныхъ слуховъ, иногда внушенныхъ прямымъ недоброжелательствомъ (напр. будто такой-то ректоръ „кстати заболѣлъ“ и т. д.) не должно, казалось бы, находить поддержки въ почтенныхъ органахъ печати.

Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи.

Москва, 23-го сентября.



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

и

ДОКЛАДНЫЕ ЗАПИСКИ.

Мнимое язычество или ложное христианство?

Отвѣтъ о. Буткевичу.

Въ № 23 харьковского духовнаго журнала „Вѣра и разумъ“ 1890 г. появилась рецензія на мою книгу „Метафизика въ древней Греціи“ подъ заглавіемъ „Метафизическія воззрѣнія князя Сергія Трубецкаго“ о. Буткевича. Прочитавъ эту рецензію, тинувшуюся въ нѣсколькихъ книжкахъ текущаго года, я убѣдился, что она составлена болѣе чѣмъ странно: полемическій пріемъ о. Буткевича заключается въ томъ, что мнѣ приписываются опровергаемыя мною мнѣнія и нелѣпости, не заслуживающія опроверженія; цитаты изъ моей книги приводятся умышленно въ такомъ порядкѣ, чтобы совершенно извратить тенденцію моего труда; наконецъ все это пересыпано столь грубыми и наивными ошибками, столь недостойными и лживыми подозрѣніями, что я счелъ бы за лучшее воздержаться отъ отвѣта, предоставивъ всякому образованному читателю разсудить между мною и моимъ критикомъ.

Но вотъ я читаю въ газетахъ, что преосвященный Амвросій архіепископъ харьковскій въ присутствіи многочисленнаго собранія во главѣ котораго находилось нѣсколько іерарховъ нашей церкви, повторилъ обвиненія харьковского духовнаго журнала, сославшись на статью о. Буткевича¹⁾. Меня обвиняютъ въ томъ, что я произвожу христианскую религію изъ древнихъ языческихъ религій и философій, ученіе о воплощеніи Сына Божія — „отъ языческихъ мифовъ о превращеніи боговъ“, культъ Богородицы — „отъ чествованія Афродиты или Венеры“, богослуженіе — отъ языческихъ культовъ, таинства — отъ мистерій, иконы — отъ идоловъ. Обвиненія о. Бутке-

¹⁾ Рѣчь преосвященнаго Амвросія „о причинахъ отчужденія отъ церкви нашего образованнаго общества“, читанная 5-го февраля въ собраніи С.-Петербургскаго братства Пресв. Богородицы (см. прибавленія къ „Церковнымъ Вѣдомостямъ“ № 6 (9 февр. 1891) с. 170.

вича, повторенныя устами православнаго іерарха предъ цѣлымъ собраніемъ епископовъ и священниковъ, налагають на меня, какъ на христіанина, увѣреннаго въ своемъ православіи, нравственную обязанность отвѣчать.

Мнѣ пришлось бы писать цѣлый трактатъ, еслибы я задался благодарной задачей полемизировать съ о. Буткевичемъ и спорить съ нимъ о начаткахъ міеологій, археологій, исторіи греческой литературы. Но моя цѣль не полемика, а возстановленіе истины. Рецензія о. Буткевича представляетъ изъ себя такое сложное сплетеніе всевозможныхъ искаженій, ошибокъ и недоразумѣній, что я поневолѣ отказываюсь отъ подробнаго ея разсмотрѣнія, ограничиваясь существеннымъ. Я попытаюсь выяснитъ здѣсь съ одной стороны полемическіе приемы отца Буткевича, съ другой — основные принципы моего труда, которые онъ не понялъ или не хотѣлъ понять.

I.

Я гегельянецъ, слѣпой послѣдователь Гегеля. Я усвою себѣ его методъ съ безграничнымъ довѣріемъ (№ 23, 448) и не только методъ, но и самую метафизику Гегеля (с. 451). Вмѣстѣ съ этимъ я естественно „позаимствовалъ у Гегеля и взглядъ на религію, какъ на одну изъ низшихъ ступеней метафизическаго знанія“. Такъ говорить о. Буткевичъ и отсюда легко объясняетъ мое отрицательное отношеніе къ религіи и христіанству.

Полемизируя противъ меня, онъ выдвигаетъ конечно совершенно другія положенія. Діалектика Гегеля является ему сплетеніемъ софизмовъ. Открытый Гегелемъ законъ развитія въ своемъ отвлеченномъ приложеніи къ дѣйствительности ведетъ къ грубымъ натяжкамъ и заблужденіямъ. Повидимому (с. 449) о. Буткевичъ признаетъ ложнымъ и самое Гегелевское понятіе развитія, превращеннаго въ какую-то безсодержательную форму. Гегель ложнымъ образомъ понимаетъ тожество мышленія и бытія, ложнымъ образомъ отождествляетъ свой діалектическій методъ съ истиннымъ порядкомъ бытія. Отсюда же зависитъ и ложный взглядъ на религію, какъ на какую-то несовершенную ступень вѣдѣнія. Гипотеза естественной религіи также недостаточна и ненаучна. Религія предполагаетъ откровеніе истиннаго Бога.

Я, князь Трубецкой, подписываюсь подъ всѣми этими тезисами. И не потому, чтобы я находилъ особенно убѣдительными аргументы

о. Буткевича; а потому что это мои положенія, которыя я собственно защищалъ въ моемъ „Введеніи“ и въ тѣхъ „общихъ замѣчаніяхъ“ къ греческой религіи, на которыя ссылается мой критикъ, точно такъ же, какъ и въ другихъ мѣстахъ, на которыя онъ не ссылается.

Это можетъ показаться страннымъ. Правда, въ книгѣ о греческой метафизикѣ я не могъ слишкомъ углубляться въ философію откровенія или въ разборъ Гегелевской діалектики; но я позволю себѣ привести здѣсь нѣкоторыя параллельныя мѣста изъ моей книги и рецензіи о. Буткевича.

Такъ на стр. 34 непосредственно между двумя мѣстами, выписанными о. Буткевичемъ, я утверждаю, что Гегель впалъ въ „ошибку отвлеченнаго раціонализма“: „вѣруя въ мысль, въ разумъ, какъ въ единое абсолютное, онъ на дѣлѣ отвлекся отъ позитивнаго, абсолютнаго *содержанія* этого разума“, т.-е. отъ подлиннаго бытія, познаваемаго въ опытѣ и откровеніи. Я признаю далѣе вѣрность Шеллинговой критики этого раціонализма, утверждаю что „абсолютный духъ“ превратился у Гегеля въ безсодержательную отвлеченность. На стр. 35—6 я указываю на ложность самаго понятія развитія у Гегеля: „исходя изъ началъ своей философіи, Гегель не можетъ собственно указать на дѣйствительный развивающійся субъектъ, отличный отъ процесса развитія“. Для Гегеля все сущее есть „только процессъ“ безсодержательной діалектики, „*Werden ohne Sein*“ — развитіе, въ которомъ въ сущности ничто не развивается.

О. Буткевичъ, критикуя Гегеля, хочетъ сказать то же самое (напр. 449): зачѣмъ же онъ утверждаетъ, будто я „несомнѣнно признаю“ дѣйствительность діалектическаго процесса „не только въ области мышленія, но и въ области бытія“ (см. с. 451)?

Замѣчательно, что при этомъ о. Буткевичъ признаетъ тѣ же метафизическіе недостатки Гегелевскаго метода, что и я, и вмѣстѣ сходится со мною въ признаніи относительныхъ достоинствъ Гегелевскаго закона развитія:

Я.

стр. 35. Во всякомъ процессѣ познанія истины мы находимъ эти же три момента (непосредственнаго воспріятія, анализа и синтеза)... Ошибка Гегеля состоитъ въ томъ, что онъ слиш-

о. Буткевичъ.

стр. 451. Гегель вѣрно указалъ моменты нашего познанія; но самый выводъ этихъ моментовъ одного изъ другого онъ опредѣлилъ невѣрно и не въ той послѣдовательности, въ какой онъ

комъ отвлеченно понимаетъ эти моменты... (Такъ какъ для Гегеля все сущее разрѣшается въ діалектический процессъ, то) онъ не можетъ допустить, чтобы различные моменты этого процесса могли сосуществовать одновременно другъ съ другомъ, но каждый изъ нихъ непременно *слѣдуетъ* за другимъ и вытѣсняетъ первый. На самомъ дѣлѣ развитіе предполагаетъ развивающееся, конкретное существо; потому оно есть процессъ безконечно сложный, всѣ моменты котораго взаимно проникаютъ другъ друга. Въ дѣйствительности нѣтъ ни чистаго анализа, ни чистаго синтеза, ни чистаго безразличія... никакой анализъ невозможенъ безъ нѣкотораго скрытаго синтеза и никакой синтезъ невозможенъ безъ аналитическаго различія.

совершается въ дѣйствительности. Онъ не обратилъ вниманіе на то, что три момента его метода — интуиція, анализъ и синтезъ — въ дѣйствительности вовсе не являются въ томъ порядкѣ, какой онъ указываетъ теоретически въ своей логикѣ ...и никогда ни одинъ изъ этихъ моментовъ не проявляется въ своемъ чистомъ видѣ: синтезъ немыслимъ безъ предварительнаго анализа частей но и анализъ возможенъ лишь тамъ, гдѣ предварительно дано синтетически мыслимое цѣлое, подлежащее разложенію въ частяхъ.

Вся рецензія о. Буткевича построена подобнымъ же образомъ. Признавъ меня гегеліанцемъ на основаніи моего *изложенія* Гегелевскаго закона, онъ полемизируетъ съ Гегелемъ, перефразируя мои же аргументы. По его словамъ я съ безграничнымъ, слѣпымъ довѣріемъ усвою себѣ діалектику Гегеля и, слѣдуя за „этимъ нѣмецкимъ софистомъ, прилагаю его методъ къ изслѣдованію развитія греческой философіи“, воспѣвъ ему предварительно хвалебный гимнъ. Читатель удивится, когда на стр. 37-й моей книги онъ прочтетъ слѣдующія слова: „ничто не можетъ быть противнѣе историческому изученію, какъ предвзятое апріорное, діалектическое построеніе „плана“ исторіи философіи. Такой планъ несомнѣнно существуетъ..., но его нельзя построить а priori, какъ это дѣлаютъ иные гегеліанцы: его надо выслѣдить, изучить, открыть въ дѣйствительности“¹⁾.

¹⁾ На стр. 452 о. Буткевичъ утверждаетъ что я, слѣдуя Гегелю, выдаю ученіе элеатовъ за тезисъ, ученіе Гераклита за антитезисъ, ученіе пифагорейцевъ

Въ моей книгѣ я могъ говорить о Гегелѣ ровно на трехъ страницахъ. Изъ приведенныхъ выписокъ ясно, какой я гегельянецъ. Но ужъ если о. Буткевичъ пишетъ о моихъ, „метафизическихъ воззрѣнiяхъ“ и дѣлаетъ выводы относительно вещей, которыхъ я въ своей книгѣ о греческой метафизикѣ не могъ и коснуться, то онъ могъ бы, кажется, справиться, не писалъ ли я чего-нибудь еще, кромѣ этой книги? Это избавило бы его можетъ-быть отъ труда писать свою статью. Отсылаю его къ моимъ этюдамъ „о природѣ человѣческаго сознанiя“, изъ которыхъ первый появился раньше моей книги, а второй — вскорѣ вслѣдъ за нею въ журналѣ „Вопросы философи и психологiи“ 1889 и 1890 г. Въ этомъ второмъ этюдѣ, подъ общимъ заглавiемъ „Критика идеализма“, о. Буткевичъ найдетъ во всякомъ случаѣ *рѣшительную* критику Гегеля. Въ противность ему я признаю, что „понятiе саморазвитiя, развитiя вообще — въ приложенiи къ абсолютному есть явно ложное понятiе; ибо ничто развивающееся не есть истинное абсолютное“. Поэтому на ряду съ тѣмъ, что развивается, что еще не дошло до своей цѣли — стоитъ абсолютное отъ вѣка совершенное, довлѣющее себѣ и заключающее въ себѣ цѣль и норму всякаго возможнаго развитiя (Вопр. филос. и псих. годъ I, кн. 3, стр. 191—2).

II.

Эти слова послужатъ мнѣ переходомъ къ второй части рецензiи о. Буткевича — къ его разбору моихъ мнѣнiй о религiи вообще, на которую я вмѣстѣ съ „моимъ учителемъ“ Гегелемъ долженъ смотрѣть какъ на продуктъ естественнаго развитiя или „какъ на одну изъ низшихъ ступеней метафизическаго знанiя“ (453). Но если я не гегельянецъ, то и взглядъ мой на религiю отличенъ отъ того, который мнѣ приписываютъ.

Что „первоначальная метафизика всѣхъ народовъ заключается въ ихъ религiозныхъ понятiяхъ и представленiяхъ“ — это очевидная историческая истина, противъ которой нельзя спорить. Метафизическое значитъ сверхъ-чувственное, „за-природное“, и очевидно, что первыя представленiя и понятiя всякаго человѣка о сверхъ-чувственномъ мiрѣ, о душѣ, о Богѣ, о скрытой первой причинѣ вещей — суть религiозныя представленiя. Въ этомъ смыслѣ „религiя есть

за синтезисъ. Смѣю увѣрить читателя, что 1) ни у Гегеля, ни у меня нѣтъ ничего подобнаго, 2) что моя историческая конструкцiя древне-греческой философи не имѣетъ ничего общаго съ тою, которую далъ Гегель.

до-историческая метафизика, на почвѣ которой вырастаетъ со временемъ историческое, философское умозрѣніе^а. Поэтому, какъ показываетъ исторія философіи, начала умозрѣнія имѣютъ всегда религіозный характеръ. Но отсюда еще далеко до утвержденія, что религія есть *только* философія особаго рода. — Такого утвержденія я не дѣлалъ нигдѣ, и оно приписывается мнѣ ложно.

„Первая философія всѣхъ народовъ заключается въ ихъ священныхъ книгахъ“. Любовь къ мудрости, къ мудрости высшей находитъ отъ начала свое удовлетвореніе въ религіи. Но это еще не значитъ, чтобы эти священные книги были философскими трактатами, чтобы религіи были философскими школами. Объ отношеніи религіи и философіи я могъ говорить очень мало; однако я посвятилъ этому вопросу пять страницъ (48—53) моихъ вступительныхъ „общихъ замѣчаній“, именно съ тою цѣлью, чтобы читатель не подумалъ, будто я хочу искать въ религіи одну философію. „Что всего важнѣе, писалъ я, религія порождаетъ не одни метафизическія представленія и понятія“ (с. 49). Но это не помѣшало о. Буткевичу приписать мнѣ какъ разъ тѣ взгляды, противъ которыхъ я говорю, утверждать, что я отрицаю откровеніе, Бога, вѣру, вижу въ религіяхъ созданія одной фантазіи или разсудка человѣка¹⁾.

Пусть читатель имѣетъ въ виду, что я писалъ не богословское, а философское разсужденіе и простить мнѣ нѣкоторую отвлеченность моихъ разсужденій. Въ числѣ немногихъ комплиментовъ, которые мнѣ дѣлаетъ мой противникъ, находится тотъ, что я пишу тѣмъ лучше и проще, чѣмъ отвлеченнѣе затрогиваемый мною предметъ (с. 445). Тѣмъ менѣе извинительно извращеніе моей мысли, которую я попытаюсь здѣсь вкратцѣ возстановить.

„Истина есть не только нѣчто мыслимое; она безусловно положительна; она есть, она дана или дается нашей мысли, а не создается ею (Метаф. въ древн. Греціи, стр. 50)“. Она дана ему въ опытѣ, она дается ему сама въ откровеніи. Сверхъ-чувственная, абсолютная истина не можетъ быть дана человѣческому разуму внѣшнимъ образомъ, какъ простой чувственный эмпирический фактъ; и вмѣстѣ человѣкъ не можетъ ея выдумать: „самъ по себѣ разумъ не могъ бы выдумать сущее, положительное, абсолютное; самъ по себѣ... онъ не могъ бы прійти ни къ чему универсальному“... Но если человекъ можетъ воспринимать вселенскую и положительную Истину, то нужно, чтобы и она была такъ или иначе

¹⁾ „Вѣра и разумъ“ № 23 с. 457.

дана намъ; и она „должна извѣстнымъ образомъ дѣйствовать на насъ, идти на встрѣчу нашего познанія“ (51).

„Абсолютное метафизическое не можетъ быть дано какъ внѣшній частный фактъ; всеобщая безусловная истина не можетъ быть дана эмпирически (т.-е. посредствомъ одного внѣшняго дѣйствія на наши чувства). Метафизическое, какъ сверхъ-чувственное, не можетъ быть дано чувственно; но оно можетъ *открываться* въ чувственномъ“. Абсолютное „не можетъ являться, какъ эмпирическія вещи чисто внѣшнимъ и необходимымъ образомъ; но всякое его проявленіе есть откровеніе“. „Въ нѣкоторомъ смыслѣ весь міръ есть такое откровеніе, и въ нѣкоторомъ смыслѣ онъ есть лишь возможный воспріимникъ откровенія, поскольку онъ не тождественъ съ тѣмъ, что въ немъ является“.

„Итакъ, логически метафизика предполагаетъ самораскрытіе абсолютнаго, его универсальное откровеніе, исторически — какую-либо частную форму такого откровенія, т.-е. извѣстную религію“. Религіозныя представленія (напр. въ политеистическихъ религіяхъ) могутъ быть весьма грубы, „но самыя идеи абсолютнаго, божественнаго — не самодѣльны, никѣмъ не изобрѣтаются, и онѣ то должны быть непремѣнно *даны* начинающей метафизикѣ“, какъ нѣчто объективное и безусловно положительное. „Всякая религія имѣетъ для метафизики именно то важное значеніе, что она *позитивна*“ (ст. 52). „До начала умозрѣнія она уже свидѣтельствуетъ съ безусловной авторитетностью и съ полнотою убѣжденія, что *есть* метафизическій (сверхъ-чувственный) міръ и метафизическое существованіе“ (49). Поэтому метафизика сходится съ религіей, признавая нѣкоторое сверхъ-чувственное, положительное бытіе, котораго она само-собою, очевидно, не можетъ ни найти, ни засвидѣтельствовать (52).

Отсюда вытекала для меня необходимость изслѣдовать позитивно-религіозныя идеи грековъ, въ которыхъ заключалась „общая традиціонная основа философіи грековъ и вмѣстѣ ея естественныя границы“. Всякая религія извѣстнымъ образомъ представляетъ и опредѣляетъ абсолютный идеалъ, составляющій предметъ откровенія“ (53); „каждая... по своему опредѣляетъ Божество“ (49). И потому „каждая религія *ограничиваетъ* его по своему, преломляетъ и раздробляетъ его лучи — за исключеніемъ единой, истинной вселенской религіи, которая можетъ вмѣстить совершенное откровеніе“, — религіи, которую я вижу въ христіанствѣ (напр. 146—7, 45 и др.). „Всякая иная религія необходимо ограничена по своему содержанію, относительна, условна, какъ временная языческая форма“ (147).

Я изложилъ и выписалъ почти все, что у меня сказано объ отношеніи религіи къ философіи. Это, разумѣется, не богословскія разсужденія. Пускаясь въ философію, я не могъ предполагать богословскихъ посылокъ. Но во всякомъ случаѣ, видно ли, чтобы я отрицалъ откровеніе, или смѣшивалъ религію съ метафизикой?¹⁾ Въ своей полемикѣ противъ меня о. Буткевичъ прибѣгаетъ къ совершенно неслыханнымъ приемамъ. Такъ какъ на пяти страницахъ моихъ „общихъ замѣчаній“, въ которыхъ я говорю о необходимости откровенія, онъ можетъ найти весьма немного въ доказательство моего безбожія, то онъ *дважды* приводитъ одну и ту же длинную цитату изъ моей книги (с. 49): въ первый разъ (455) изъ этой цитаты „читатель легко можетъ увидѣть“, насколько я остаюсь вѣрнымъ „своимъ наставникамъ — Гегелю и Фейербаху“; во второй разъ (461) то же самое мѣсто должно доказать читателю, что „по сознанію самого князя Трубецкого, религія обнимаетъ собою большую область, чѣмъ метафизика, а потому она уже не то же, что метафизика... она захватываетъ всю область жизни... и сверхъестественный міръ бытія знаетъ не по выводамъ разсудка, а по непосредственному откровенію“. Совершенно такъ, о. Буткевичъ!

III.

„Впрочемъ, правду сказать, самъ Трубецкой только въ „предисловіи“ своемъ высказалъ такой (т.-е. гегеліанскій) взглядъ на религію. При самомъ же разсмотрѣніи религіи грековъ, онъ, какъ сейчасъ увидимъ, словно позабылъ объ этомъ взглядѣ (!) и въ религіи грековъ, собственно говоря, онъ не ищетъ никакой метафизики, — на умѣ у него совершенно иное“... Черезъ мѣсяцъ, изъ первой январской книжки (1—34) Вѣры и разума, я увидѣлъ, что на умѣ у меня: „дѣло идетъ о превращеніи (sic) христіанства въ язычество“, точнѣе о выведеніи христіанства изъ язычества. Я маскирую свой взглядъ на древне-греческую религію: я думаю вести борьбу съ „господствомъ субъективнаго протестантскаго рачіонализма и спиритуалистическаго иконоборства“; на дѣлѣ — я иконо-

¹⁾ Если есть между нами существенная разница, такъ это та, что я, въ отличіе отъ о. Буткевича, отрицаю возможность чисто рачіональной метафизики, между тѣмъ какъ онъ утверждаетъ, что „всякое философское знаніе обязано своимъ происхожденіемъ исключительно одному разсудку человѣка“ (457). Я полагаю, что разсудокъ не можетъ и не долженъ ткать изъ себя метафизическую паутину; онъ познаетъ метафизическія *данныя*, а не построитъ ихъ рачіональнымъ путемъ.

борецъ и рационалистъ, который лишь на словахъ хочетъ выдать себя за защитника истинъ Христовой религіи (стр. 4).

Дальнѣйшія обличенія о. Буткевича представляютъ изъ себя, по истинѣ, чудовищное сочетаніе недоразумѣнія съ недобросовѣстностью. Если разсужденія о моемъ гегельянствѣ и объ отрицаніи мною откровенія были сплошнымъ вымысломъ, то я хочу думать, что въ этой 2-й части своей статьи о. Буткевичъ искренно ошибается на мой счетъ и только, признавъ во мнѣ „новое испытаніе“, посылаемое Господомъ Церкви (стр. 3), счелъ всякія средства позволительными въ борьбѣ противъ меня.

Итакъ, прежде чѣмъ перейти къ разбору частныхъ обвиненій, я постараюсь въ краткихъ словахъ выяснитъ мою мысль объ отношеніи христіанства къ язычеству.

Сущность христіанства, какъ я полагалъ до сихъ поръ, заключается прежде всего и главнымъ, можно сказать, совершеннымъ образомъ, въ Личности Христа. Сама христіанская церковь есть лишь откровеніе этой Личности въ человѣческомъ обществѣ, — Ея социальное тѣло. Выводить Личность Христа откуда бы то ни было — я не покушался; я вижу въ Ней божественное откровеніе и говорилъ это. Правда, „сердце“ о. Буткевича чуждо при этомъ недоброе... (стр. 3); но предъ судомъ такого сердца никакое православіе не устоитъ. Поэтому я долженъ сказать, что если бы я даже не вѣрилъ въ Христа, какъ въ совершенное откровеніе Отца, какъ въ Сына Божія, если бы я видѣлъ въ Немъ только великую историческую Личность, проповѣдавшую людямъ спасеніе, прощеніе грѣховъ и вѣру любви, — и тогда бы я не дерзнулъ „превращать“ христіанство въ язычество или „выводить“ Личность Христа откуда бы то ни было. Эта личность царствуетъ въ человѣчествѣ и будетъ царствовать послѣ насъ, какъ Она царствовала за вѣки до насъ. И по моему глубокому убѣжденію, самая исторія древняго міра можетъ быть разумно понята и философомъ, и христіаниномъ, лишь какъ постепенное подготовленіе человѣчества къ явленію этого царства. Въ этомъ смыслѣ, въ постепенномъ развитіи и очищеніи греческой религіи и греческой философіи я, съ большинствомъ христіанскихъ ученыхъ, видѣлъ подготовленіе языческаго общества къ воспріятію истинной „вселенской религіи, которая одна можетъ вмѣстить совершенное откровеніе“ (53). По ученію православной церкви, Слово Отчее царствовало и до Своего вочеловѣченія; и язычники, философы, познававшіе единство Божества, сверхъ-чувственную правду, были изнутри просвѣщаемы этимъ Словомъ, безъ котораго нельзя по-

знать истины. Въ этомъ смыслѣ св. Іустинъ признавалъ христіанами Сократа и Гераклита, жившихъ до Христа¹⁾. Въ этомъ смыслѣ св. Климентъ Александрійскій признавалъ, что философія была дѣтководителемъ ко Христу для эллиновъ, какъ законъ для іудеевъ²⁾. Ибо разсматривая греческую философію, какъ законченное цѣлое и спрашивая себя, къ какимъ историческимъ результатамъ она привела (помимо своего внутреннего теоретическаго значенія) — мы находимъ, что она есть тотъ „мостъ, посредствомъ котораго культурное, образованное язычество перешло къ христіанству“ (стр. 169).

О. Буткевичъ вмѣстѣ со мною отрицаетъ возможность такой религіи, которая была бы всецѣло продуктомъ человѣческой фантазіи или разсудка (№ 23, 457). Вмѣстѣ со мною онъ признаетъ *откровеніе* самой религіозной Истины необходимымъ условіемъ всякой положительной религіи. Идеи Бога, божественнаго, души и безсмертія не самодѣльны и не могутъ быть выдуманы человѣкомъ. И если всякая религія, „за исключеніемъ единой, истинной“, „ограничивается и опредѣляется по своему“ то, что составляетъ истинный предметъ откровенія; если всякая языческая религія ограничивается и „замѣщаетъ“ Божество (Метаф. 49, 53), „преломляетъ и раздробляетъ лучи“ Истины, то, по справедливому замѣчанію моего критика, это не вина откровенія и нисколько противъ него не свидѣтельствуетъ.

Но если такъ, то неужели попытка собрать эти преломленные лучи въ одинъ фокусъ, уловить ихъ сіяніе въ самихъ языческихъ религіяхъ — можетъ быть признана нечестивой? Если о. Буткевичъ признаетъ, что нѣтъ религіи безъ откровенія, то какъ онъ думаетъ: что случилось съ этимъ основнымъ откровеніемъ, съ истинно-религіозными элементами древнихъ религій, когда пришло христіанство и когда эти ложныя религіи были упразднены? И думаю, что все хорошее, истинное, что въ нихъ было — должно было впервые очиститься отъ своей естественной нечистоты, омыться въ благодат-

¹⁾ I Apol. c. 46 ep. I, 5 и др.

²⁾ Clem. Strom. I, 5, 28—32: „ἐπαιδαγωγует γὰρ καὶ αὐτὴ (ἡ φιλοσοφία) τὸ Ἑλληνικὸν ὡς ὁ νόμος τοὺς Ἑβραίους εἰς Χριστόν“. I, 13, 57, 58, или еще сильнѣе VI, 17, 30: „εἰκότως Ἰουδαίους μὲν νόμος Ἕλλησι δὲ φιλοσοφία μέχει τῆς παρουσίας, ἐντεῦθεν ἡ κλήσις ἡ καθολικὴ εἰς περιούσιον δικαιοσύνης λαὸν κατὰ τὴν ἐκ πίστεως διδασκαλίαν συναγόντο; δι' ἐνὸς τοῦ κυρίου τοῦ μόνου ἐνὸς ἀποφύτου Θεοῦ, Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων μᾶλλον δὲ πάντος τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους“. Въ своей рѣчи преосвященный Амвросій именно и рекомендуетъ „усвоить взглядъ древней вселенской церкви на отношеніе философіи къ древней христіанской религіи“ (Ц. Вѣд. № 6, стр. 175).

ныхъ водахъ христіанства, чтобы ожить новою жизнью (ср. М. въ др. Гр. 146, 134). Въ древнихъ религіяхъ, особенно въ послѣднюю эпоху ихъ существованія — было стремленіе къ искупленію, очищенію отъ чувственности, потребность къ аскезу, было исканіе истинной, угодной Богу жертвы, была вѣра въ загробную жизнь и загробное возмездіе. Христіанство нашло эти представленія и стремленія существующими: оно лишь очистило, развило, освятило ихъ. Я не хочу сказать, чтобы оно *заимствовало* ихъ: оно *пресуществовало* ихъ въ себя, потому что въ немъ лишь они получили новый полный смыслъ и значеніе.

Возьмемъ примѣръ. Въ послѣдніе вѣка язычества, подъ вліяніемъ философіи, а также и религіознаго развитія въ Греціи распространяются монотеистическія тенденціи¹⁾; просвѣщенные греки часто отвергали грубые мѣны о богахъ и смотрѣли на этихъ боговъ, какъ на слугителей Единаго Божества, посредствующихъ между Нимъ и людьми. Пусть они представляли себѣ это Божество слишкомъ отвлеченнымъ образомъ и совершенно заблуждались относительно природы подчиненныхъ ему духовъ: — несомнѣнно, что язычники, имѣвшіе такое представленіе, были ближе къ истинному монотеизму, чѣмъ грубые политеисты. Сказать, что въ древнемъ мірѣ такой идеи вовсе не было, значить впасть въ историческую ошибку; сказать, что въ этой идеѣ не было ничего истиннаго — значило бы впасть въ религіозное заблужденіе. А гдѣ есть какая бы то ни было религіозная истина, тамъ съ одной стороны есть вѣра, съ другой — откровеніе. Ниже, разбирая отдѣльные обвиненія о. Буткевича, мы увидимъ другіе примѣры.

Далѣе, я вижу въ религіозномъ творествѣ эллиновъ, точно такъ же, какъ и въ ихъ философіи, проявленіе истинныхъ и сильныхъ религіозныхъ *потребностей*. По всему видно, что эллины были *весьма набожны* — какъ сказалъ ап. Павелъ (Д. 17, 22), и потому они не могли удовлетворяться культомъ своихъ боговъ. Они украсили, очеловѣчили ихъ; они пытались мистически приобщиться ихъ жизни, ихъ страстямъ; они нерѣдко измѣняли имъ для другихъ, болѣе могучихъ восточныхъ боговъ; наконецъ умозрѣніемъ, просвѣтленнымъ истинной мудростью, они возвышались до признанія сверхъ-природнаго Божества.

Значить ли это, чтобы христіанство развилось изъ язычества? Я позволю себѣ, въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, привести два мѣста

¹⁾ Ср. главу о богословіи Сократа въ моей „Метафизикѣ“.

изъ моей книги. Одно, (с. 45) въ концѣ моего введенія, объясняетъ цѣль моего изслѣдованія греческой религіи, другое (147) — суммируетъ общіе выводы этого изслѣдованія:

„Вся греческая мысль страдала отсутствіемъ высшаго абсолютнаго — всеобъемлющаго идеала, и самое большее, чего она могла достигнуть — было признаніе безусловной необходимости такого идеала, подготовленіе культурнаго человѣчества къ воспріятію, постиженію и усвоенію его. Самый же этотъ идеаль, начало абсолютнаго синтеза и примиренія, явился за предѣлами эллинизма — въ христіанствѣ. Греческая мысль, греческая философія, направленная на сознаніе этого новаго идеала, перестала быть греческой, стала христіанской. Здѣсь началась совершенно новая религіозная философія, по всему отличная отъ предыдущей, а для греческой философіи настала конецъ — періодъ медленнаго умиранія. Причина такой основной ограниченности греческой мысли заключается... въ ограниченности ея религіознаго идеала“, который я и разсматриваю въ слѣдующей главѣ. Общій выводъ ея таковъ: „Религія и философія грековъ имѣютъ свой естественный предѣлъ въ своемъ исходномъ натурализмѣ, въ первоначальной языческой ограниченности своихъ боговъ“. Отсюда рождается многобожіе въ религіи и дуализмъ въ философіи. „Отъ теогоніи Гезіода до онтологіи Платона, грекъ не знаетъ *свободнаго Бога*...“ — „Понятіе свободы въ высшемъ смыслѣ неизвѣстно ни въ религіи, ни въ морали“.

IV.

Мнѣ кажется, еще разъ, я достаточно выяснилъ мою религіозную, не только мою философскую, точку зрѣнія. Заподозрить меня въ язычествѣ, въ идолопоклонствѣ врядъ ли рѣшится самъ о. Буткевичъ. Но отъ протестантскаго отношенія къ католической церкви я можетъ-быть еще болѣе далекъ. Какъ извѣстно, современные протестантскіе богословы доказываютъ, что всѣ отвергаемые ими элементы католичества имѣютъ языческое происхожденіе; нѣкоторые изъ нихъ послѣдовательнѣе другихъ, проводя свой основной антицерковный принципъ, видятъ язычество во всѣхъ мистическихъ элементахъ христіанства, въ его культѣ, таинствахъ, его глубоко-мысленной догмѣ. Моя тенденція совершенно противоположная: находя въ философіи и мистикѣ грековъ много такого, что было впоследствии освящено, развито, сохранено навсегда, я не думаю обличать христіанства, наоборотъ, я хочу разсмотрѣть при свѣтѣ христіанства, что было въ самой греческой религіи и въ фило-

софіи здороваго, истинно-религіознаго; какія истинныя религіозныя потребности въ нихъ сказывались и наоборотъ, что въ нихъ было ложнаго и несовершеннаго. Дѣло въ томъ, что религія грековъ была въ свое время *религіей*, а не простымъ собраніемъ басенъ и обрядовъ.

О. Буткевичъ совершенно не понялъ меня, приписалъ мнѣ мысли и тенденціи, которыя никогда не приходили мнѣ въ голову, и нашелъ въ моемъ изложеніи греческой религіи чуть ли не всю догматику, весь культъ православной церкви, вѣру въ единство Божіе и Пресвятую Троицу, почитаніе Богоматери, ангеловъ и святыхъ, вѣру въ искупленіе посредствомъ страданія и смерти Сына Божія, евхаристію, исповѣдь и т. д.

Въ цѣлыхъ трехъ книжкахъ „Вѣры и Разума“ о. Буткевичъ побѣдоносно опровергаетъ такое нечестіе, громить меня анаемами вселенскихъ соборовъ и раскрываетъ всѣ мои міеологическія и историческія познанія. То на нѣсколькихъ страницахъ онъ упорно отрицаетъ, чтобы Діонисъ и Гераклъ считались сынами Зевса, то вдругъ оказывается „несомнѣннымъ“, будто культъ демоновъ у грековъ обязанъ своимъ происхожденіемъ позднѣйшему времени (стр. 27), то вся орфическая литература внезапно лишается всякаго кредита и чуть ли не цѣлкомъ относится къ христіанской эпохѣ (30—1), то ссылка моя на Павсанія возбуждаетъ недоумѣніе: „Кто этотъ Павсаній?“ спрашиваетъ мой ученый критикъ и, открывъ словарь Любкера, находитъ тамъ двѣнадцать Павсаніевъ „и даже болѣе того“! (стр. 86). На счетъ цитатъ моихъ, о. Буткевичъ также очень строгъ: то я не достаточно опираюсь на Гомера и на Гезіода, то оказывается, что Гезіодъ и Гомеръ собственно и исказили первоначальное откровеніе — „первоначально болѣе чистую религію пеласговъ“ (стр. 467, о. Буткевичъ, повидимому, слабъ по части археологій)! Когда я ссылаюсь на позднѣйшихъ писателей въ доказательство суевѣрій, развившихся въ позднѣйшую эпоху, отъ меня требуютъ болѣе раннихъ свидѣтельствъ. Французскіе ученые труды не заслуживаютъ вниманія, ибо всѣ французы легкомысленны. Если даже рядомъ съ французомъ стоитъ какойнибудь нѣмецкій сборникъ текстовъ, такъ и онъ въ расчетъ не принимается. Греческіе тексты тоже, не извѣстно почему, оставляются безъ вниманія¹⁾. Но я не могу составлять здѣсь каталогъ всѣхъ

¹⁾ Увѣряя читателей, что я работаю не по источникамъ, а исключительно по историческимъ руководствамъ, о. Буткевичъ выдаетъ себя, причисляя *издателей* текстовъ (напр. Дильса) къ *историкамъ* древней философіи (стр. 447).

рѣдкостей, которыми пестрить рецензія о. Буткевича, и я перейду къ его обвиненіямъ.

Первое изъ нихъ то, что я усматриваю въ религіи грековъ идею о единствѣ Божества. Зло это еще не столь большой руки; о. Буткевичъ ссылается на память о первоначальномъ откровеніи, на „болѣе чистую религію пеласговъ“, затемненную будто бы Гомеромъ и Гезіодомъ. Я сказалъ бы (и даже я просто сказалъ это), что самая идея Божества позитивна, откровенна всегда и вездѣ; представленіе о множествѣ боговъ настолько противорѣчитъ этой идее Божества, что какъ только развивается религіозная мысль и религіозныя потребности, человекъ все болѣе и болѣе начинаетъ сознать единство Божества, которое онъ сначала только предчувствуетъ смутно, а затѣмъ ясно познаетъ. (И познаетъ, какъ откровенную истину, столь же позитивную, какъ и самое бытіе Божества.) Все это такъ; но сравнительное языковѣдѣніе и сравнительное народовѣдѣніе указываютъ намъ, что греки были политеистами не только въ пеласгической, микенской періодъ (извѣстный намъ по раскопкамъ), но и въ про-этнической (до-народный) періодъ своего существованія, когда они еще имѣли общихъ боговъ и общіе обряды съ другими членами индогерманской семьи¹⁾. Поэтому уже одному я никогда не могъ утверждать, чтобы греки „приписывали своимъ богамъ единое существо“ или, чтобы ихъ религія была монотеистичною. Я говорилъ совершенно противное (стр. 73—4):

„Греческая религія есть совершенное конкретное многобожіе, исключающее всякое возможное единство, ибо всѣ боги неба и земли сознаются въ немъ лишь третьимъ или вторымъ поколѣніемъ боговъ; всѣ они боги рожденные (*Θεοὶ γεννητοί*), и господство ихъ основывается на цѣломъ рядѣ богоубійствъ... Боги дѣлятся на три царства, изъ коихъ царство Зевса только относительно сильнѣе другихъ... Зевсъ, какъ и всѣ боги, подверженъ страстямъ и слабостямъ людскимъ, безсиленъ противъ судьбы, противъ Сна, брата Смерти... (я ссылаюсь на гомеровское представленіе о богахъ). Самая смерть побѣждена богами далеко не безусловнымъ образомъ (боги трепещутъ предъ Стиксомъ, предъ возможнымъ низверженіемъ въ Тартаръ). Тѣ боги, отъ которыхъ произошли боги грековъ —

¹⁾ Какъ извѣстно, въ теперешнемъ своемъ состояніи наука еще не въ силахъ раскрыть лингвистическое сродство между языками индогерманской группы и языками другихъ группъ. Поэтому мы не имѣемъ возможности судить и о тѣхъ представленіяхъ, которыя были общими до раздѣленія этихъ великихъ группъ.

ное сознание „никогда не может остаться при одномъ *ограниченномъ* божествѣ и непременно требуетъ осуществленія того многобожія, которое потенциально заключается въ самой ограниченности божества... Богъ ограниченный не можетъ утверждать себя, какъ единый; религиозное сознание требуетъ его восполненія: если онъ, въ силу присущей ему границы, не можетъ стать вселенскимъ (истиннымъ Богомъ), онъ долженъ рождать другихъ боговъ въ восполненіе себя“. Эта мысль развивается мною подробно, и отсюда объясняется мною судьба греческой религіи. „Отсюда возникаетъ сначала тревожное стремленіе религиознаго сознанія рождать новыхъ и новыхъ боговъ, а затѣмъ стремленіе прійти къ божеству истинному, вселенскому... Отсюда же объясняется и религиозное, освобождающее значеніе греческой философіи“, которая „подкопала владычество Олимпійцевъ“ (72).

Въ этомъ исканіи истинной Матери, въ этомъ исканіи новаго, свободнаго Бога, который освободилъ бы природу отъ мукъ рожденія и смерти, вернулъ бы Деметръ (*γῆ μήτηρ*)¹⁾ — Матери Земль ея чадо — душу живую, похищенную смертью, сказалось истинное религиозное стремленіе, глубочайшая потребность человеческого духа — самой природы, которая „тяготится въ работѣ истлѣнія“. Въ этомъ смыслѣ я вижу въ *мистеріяхъ* древняго міра, которыя развились и расширились въ послѣдніе вѣка язычества, несомнѣнное развитіе религиозныхъ потребностей, религиознаго сознанія вообще. Но эти мистеріи грековъ были „тайнствами натурализма“ — производящихъ силъ природы. Въ самыхъ лучшихъ и чистыхъ изъ нихъ, въ элевсинскихъ мистеріяхъ Деметры и Діониса, боговъ хлѣба и вина, грекъ стремился пріобщиться непосредственно самымъ производящимъ силамъ природы и думалъ жить и возрождаться ихъ внутреннею силою (134)²⁾. „Боги хлѣба и вина, чтимые, въ (элевсин-

¹⁾ Отецъ Буткевичъ отрицаетъ и это; но, повторяю, я не намѣренъ спорить съ нимъ объ археологіи и исторіи, отсылая его къ учебникамъ или къ источникамъ, указаннымъ мною. Читателю могу особенно рекомендовать классическій трудъ Лобека съ его громаднымъ матеріаломъ, „Греческія древности“ Шѣмана (Gr. Alt. II, 337 и слѣд.). Wilamowitz Homerische Unters. 208. Hermann Gottesdienstl. Alt. § 32 и др.

²⁾ Такъ св. мученикъ Іустинъ (dial. с. Tryph. стр. 69) говоритъ: демоны утверждаютъ, что Діонисъ сынъ Зевса, родился отъ союза, который Зевсъ имѣлъ съ Семелой; о Діонисѣ же повѣствуютъ, что онъ изобрѣлъ виноградъ и, будучи растерзанъ, умеръ, воскресъ и взомель на небеса и т. д. Ср. I Apol. с. 54: услышавъ о пророчествѣ Моисея, демоны распустили такіе слухи о Діонисѣ. Изъ боязни соблазнить о. Буткевича, не приводимъ 21 и 22 главы о вѣдѣніяхъ аналогіяхъ христіанства и язычества. Ср. также гл. 66, 3 и 4 о *хлѣбѣ и винѣ* въ мистеріяхъ Митры.

кевичу, разумеется, легко доказать различіе между пресв. Маріей и языческими богинями. Ему не нужно было бы для этого такъ напирать на то, что всѣ богини были *дочерьми*, ибо это не мѣшало имъ быть матерями въ то же самое время. Курціусъ утверждаетъ даже, что въ основаніи всѣхъ женскихъ божествъ (не исключая ни Аины, ни Артемиды) лежитъ идея богини матери, рождающей силы — природы ¹⁾. Но о. Буткевичу слѣдовало бы не искать у меня несуществующихъ намековъ, а посмотреть, какъ опредѣляется мною значеніе этой богини — Матери въ греческой религіи? На стр. 55, 58, 60, 61, 68, особенно 72, 82—3, 118, 119, 121—8, 131, 135—141, 142—3 и *множество другихъ*, я вижу въ ней обожествленіе Матери земли, Матери природы — Души міра позднѣйшихъ философовъ „двойственной по существу, и доброй и злой“ (стр. 504) гнѣвной и милостивой, колеблющейся между свѣтомъ и тѣнью, жизнью и смертью, подверженной роковому круговороту генезиса и разрушенія. Въ этомъ образѣ богини, Матери боговъ, или Супруги — наложницы бога, я вижу „роковую границу“ греческой религіи и греческой философіи. Божество *ограничивается* этой женственной, пассивной силой, — природой, которая противопологается ему въ религіи — въ образѣ богини, въ философіи — какъ темное матеріальное начало (*ύλη*), на что я указывалъ несчетное число разъ (см. особенно 147). Въ этомъ языческомъ „натурализмѣ“ — предѣлъ греческой религіи и философіи. Поэтому всѣ боги являются подверженными естественному, природному, роковому закону (64—5, 72 и др.), поэтому ни одинъ изъ нихъ не обладаетъ истинной, безсмертной жизнью, но всѣ они колеблются между смертью и возрожденіемъ, зимою и лѣтомъ, обновляясь вмѣстѣ съ природою въ годовомъ круговоротѣ (стр. 98, 134, 137, и слѣд. 147) ²⁾. Этимъ натурализмомъ обуславливается и все многобожіе грековъ. Замѣчательно, что евреи, народъ монотеизма, не имѣютъ на *своемъ* языкѣ слова для обозначенія *богини* ³⁾. Но тамъ, гдѣ „божество не есть истинное, абсолютное“, тамъ, гдѣ оно является какъ „рожденное природой, языческое, ограниченное“, тамъ, „будь оно одно — на ряду съ нимъ всегда существуетъ возможность, потенція многобожія — Матерь боговъ“ (стр. 72)... Ибо религіоз-

¹⁾ *Ζωογόνος Θεά* Curtius Alterthum u. Gegenwart II, 50.

²⁾ Ср. все мое изложеніе философіи Гераклита и Парменида. На основаніи № 23 и 1, 2, 3 ж. Вѣры и разума, я утверждаю, что о. Буткевичъ не читалъ моего изложенія исторіи философіи грековъ, т.-е. важнѣйшей части моего труда.

³⁾ Ср. Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888.

ное сознание „никогда не может остаться при одномъ *ограниченномъ* божествѣ и непремѣнно требуетъ осуществленія того многобожія, которое потенциально заключается въ самой ограниченности божества... Богъ ограниченный не можетъ утверждать себя, какъ единый; религиозное сознание требуетъ его восполненія: если онъ, въ силу присущей ему границы, не можетъ стать вселенскимъ (истиннымъ Богомъ), онъ долженъ рождать другихъ боговъ въ восполненіе себя“. Эта мысль развивается мною подробно, и отсюда объясняется мною судьба греческой религіи. „Отсюда возникаетъ сначала тревожное стремленіе религиознаго сознанія рождать новыхъ и новыхъ боговъ, а затѣмъ стремленіе прійти къ божеству истинному, вселенскому... Отсюда же объясняется и религиозное, освобождающее значеніе греческой философіи“, которая „подкопала владычество Олимпійцевъ“ (72).

Въ этомъ исканіи истинной Матери, въ этомъ исканіи новаго, свободнаго Бога, который освободилъ бы природу отъ мукъ рожденія и смерти, вернулъ бы Деметрѣ (*γῆ μήτηρ*)¹⁾ — Матери Землѣ ея чадо — душу живую, похищенную смертью, сказалось истинное религиозное стремленіе, глубочайшая потребность человѣческаго духа — самой природы, которая „тяготится въ работѣ истлѣнія“. Въ этомъ смыслѣ я вижу въ *мистеріяхъ* древняго міра, которыя развились и расширились въ послѣдніе вѣка язычества, несомнѣнное развитіе религиозныхъ потребностей, религиознаго сознанія вообще. Но эти мистеріи грековъ были „тайнствами натурализма“ — производящихъ силъ природы. Въ самыхъ лучшихъ и чистыхъ изъ нихъ, въ элевсинскихъ мистеріяхъ Деметры и Діониса, боговъ хлѣба и вина, грекъ стремился приобщиться непосредственно самимъ производящимъ силамъ природы и думалъ жить и возрождаться ихъ внутренней силою (134)²⁾. „Боги хлѣба и вина, чтимые, въ (элевсин-

¹⁾ Отецъ Буткевичъ отрицаетъ и это; но, повторяю, я не намѣренъ спорить съ нимъ объ археологіи и исторіи, отсылая его къ учебникамъ или къ источникамъ, указаннымъ мною. Читателю могу особенно рекомендовать классическій трудъ Лобека съ его громаднымъ матеріаломъ, „Греческія древности“ Шёмана (Gr. Alt. II, 337 и слѣд.). Wilamowitz Homerische Unters. 208. Hertmann Gottesdienstl. Alt. § 32 и др.

²⁾ Такъ св. мученикъ Іустинъ (dial. с. Tryph. стр. 69) говоритъ: демоны утверждаютъ, что Діонисъ сынъ Зевса, родился отъ союза, который Зевсъ имѣлъ съ Семелой; о Діонисѣ же повѣствуютъ, что онъ изобрѣлъ виноградъ и, будучи растерзанъ, умеръ, воскресъ и взомель на небеса и т. д. Ср. I Apol. с. 54: услышавъ о пророчествѣ Моисея, демоны распустили такіе слухи о Діонисѣ. Изъ боязни соблазнить о. Буткевича, не приводимъ 21 и 22 главы о вѣдѣніяхъ аналогіяхъ христіанства и язычества. Ср. также гл. 66, 3 и 4 о *хлѣбѣ и винѣ* въ мистеріяхъ Митры.

ских) мистеріяхъ, суть тѣ же боги крови и сѣмени, которые читались въ столь ужасающей формѣ на востокѣ“. „Въ самомъ аттическомъ культѣ Діониса и Деметры сохранились половые атрибуты“ (133) и слѣды возмутительныхъ, кровавыхъ и развратныхъ обрядовъ. „Правда, что древній характеръ этихъ мистерій просвѣтился“, но мистеріи сохраняютъ всегда извѣстную оргіастическую окраску — ибо ихъ цѣль есть въ сущности интимное соединеніе съ природой. „Въ языческихъ мистеріяхъ человѣкъ стремится интимно соединиться съ природой, чтобы съ нею умирать и съ нею оживать ея вѣчно юными, вѣчными силами“ (135).

„Несмотря на нѣкоторую внѣшнюю аналогію, было бы однако весьма ошибочно искать христіанства въ этихъ языческихъ таинствахъ (133)“. Какъ извѣстно, подобныя попытки были сдѣланы не разъ и въ древнее и въ новое время, при чемъ упускалось изъ виду „совершенная противоположность“ (134) христіанскихъ таинствъ, христіанскаго упованія. Эта противоположность между христіанской и языческой идеей столь велика, что многіе отцы Церкви, благосклонные къ философіи грековъ, не могли объяснить себѣ иначе упомянутыхъ внѣшнихъ аналогій въ представленіяхъ и культѣ язычниковъ, — какъ посредствомъ вмѣшательства демоновъ-дьяволовъ, вдохновлявшихъ жрецовъ¹⁾ Подобное мнѣніе, какъ нельзя лучше выражаетъ всю глубину той бездны, которая раздѣляла зарождающееся христіанство отъ выродившагося, умирающаго язычества. „Не хлѣбомъ и виномъ живъ будетъ человѣкъ, не стихійными силами земли, не естественными производящими силами природы, ея сѣменемъ и кровью“ (134); но человѣкъ будетъ жить Словомъ Божиимъ, которое *пресуществляетъ* этотъ хлѣбъ и это вино въ свое мистическое, божественное тѣло (ib). Это ли не различіе? Не вѣчный, измѣнчивый генезисъ природы, не естественное возрожденіе чувственной жизни въ непрестанномъ круговоротѣ времени, но совершенное погашеніе „воспаленнаго круговорота“ этой жизни (*τὸ ὄχι γενέσθαι*), сверхъ-природное преображеніе твари и совершенное пресуществленіе ея въ божественное тѣло (135) — есть цѣль и упованіе христіанства. И не оргія, не упоеніе чувственности, — а крестъ есть путь къ спасенію.

Здѣсь, оказывается, „Трубецкой самымъ беззастѣнчивымъ образомъ клеветаетъ на христіанское вѣроученіе“, которое онъ хочетъ

¹⁾ Какъ извѣстно въ гомерическую эпоху идолопоклонство было во всякомъ случаѣ слабо развито. Метаф. въ др. Гр. с. 114 (ср. *Stengel Die gr. Cultusalt* 1890, § 10, *Gellig das hom. Epos* 422 и слѣд. и прекрасное сочиненіе „легкомысленнаго француза“ Мори).

превратить въ пантеизмъ гегелевой философіи. Оказывается христіанство не знаетъ ничего „о конечномъ прекращеніи мірового процесса“ (?), или о „совершенномъ пресуществленіи“ воскресшихъ святыхъ „въ божественное тѣло“. Христіанство такого пресуществленія „не знало, не знаетъ и не будетъ знать уже потому, что Богъ есть чистѣйшій и совершеннѣйшій *духъ*“ (№ 3, стр. 131). Здѣсь, кажется моя очередь возревновать о православіи; обличая мнимую ересь, о. Буткевичъ близокъ къ дѣйствительной. Я полагалъ, что Церковь есть реальное *тѣло* Христово и что это тѣло, нераздѣльное и неслиянное съ Духомъ Божіимъ, имѣетъ объять всю вселенную, какъ единый живой храмъ славы. Я полагалъ также, что можно говорить о реальномъ пресуществленіи твари, хлѣба и вина — въ божественное тѣло, не подвергаясь упрекамъ въ „гегельянскомъ пантеистическомъ туманѣ“ и не отрицая духовности божества.

Но оставимъ это. Читатель видитъ, что я нахожу истиннаго и ложнаго въ этой религіи натурализма, въ этомъ культѣ Великой Матери. Истина — глубокая потребность въ избавленіи отъ смерти, надежда на будущую жизнь, сознаніе того, что человекъ не можетъ спастись собственными силами и долженъ искать помощи свыше; истинно — исканіе благой Матери, приносящей безсмертіе, исканіе совершенной всецѣльной жертвы и упованіе на то, что въ природѣ долженъ родиться Избавитель. Ложь въ томъ, что всѣ эти боги были ложными богами, обожествленіемъ природы, ея производящихъ растительныхъ силъ, ложно то, что люди думали ожить силами Матери природы; ложно самое представленіе о будущей жизни, какъ о безконечныхъ возрожденіяхъ или о чувственной жизни небожителей; ложны самыя чувственные оргіи съ ихъ мерзкими символами. Итакъ греческій натурализмъ представляется намъ смѣшеніемъ относительной истины съ ложью. Религія, породившая столь прекрасное, истинное искусство, столь возвышенную философію не могла быть одною сплошною ложью.

Поклоненіе солнцу и звѣздамъ есть очевидная ложь; но пусть о. Буткевичъ вспомнитъ ту пѣсню о волхвахъ, которую онъ поетъ на Рождествѣ, — о томъ, какъ „звѣздамъ служащія звѣздою учасуся кланяться Солнцу Правды“. Поклоненіе природѣ и богамъ растительности есть столь же грубая ложь; но если вся природа ожидаетъ избавленія, если вся она есть несовершенное откровеніе силъ и мудрости Божества, то почему не допустить, что и тѣмъ, кто поклонялись ей, ея растительнымъ силамъ, она въ силу того,

что въ ней открывалось, предуказывала людямъ — истинную Лозу виноградную и внушала имъ „лучшія надежды“ на истиннаго Испытателя?

Изъ сказаннаго ясно, какъ я отношусь и къ „страстямъ“ тѣхъ сыновъ Зевса, боговъ растительности и солнца, культъ которыхъ процвѣталъ по всему побережью Средиземнаго моря. Я не считаю нужнымъ останавливаться долѣе на этой части обвиненій о. Буткевича и отъ натурализма перехожу къ *антропоморфизму* грековъ, — второму, важнѣйшему элементу ихъ религіи, которому обязано своимъ существованіемъ все классическое искусство, лучший, чистѣйшій даръ, завѣщанный древними всему человѣчеству. Читатель догадается, что и въ немъ я вижу смѣшеніе истины съ ложью. Красота есть чувственное воплощеніе идеала и вмѣстѣ просвѣтленіе чувственности. Тотъ, кто знакомъ съ искусствомъ и поэзіей грековъ, кто читалъ вдохновенныя страницы Платона о красотѣ, тотъ понимаетъ вѣчное воспитательное значеніе классицизма. Въ его красотѣ была проповѣдь лучшаго, идеальнаго міра. Она облагораживала души. Она идеализировала человѣка, просвѣтляла, преображала самое тѣло его, возвышая его надъ грубою чувственностью. Она учила его тому, что самый образъ человѣка сообразенъ божеству и что истина сообразна человѣку (с. 95, 145 и др.), что божественное можетъ явиться въ человѣческомъ образѣ. „Вѣра въ существенную вообразимость божескаго въ человѣческомъ, составлявшая силу греческаго искусства, составляетъ и силу греческой философіи“, смѣло направлявшей на познаніе сверхчувственного идеальнаго міра (с. 116). „Глубокая идея“, лежавшая въ основаніи греческаго антропоморфизма, знаменуетъ собою несомнѣнный прогрессъ надъ звѣропоклонствомъ египтянъ, или пеласговъ. Ложь греческаго антропоморфизма заключалась *прежде всего* въ томъ, что греческіе боги были ложными. Ложь кумировъ была не въ томъ, чтобы греки смѣшивали Зевса или Аѳину со множествомъ ихъ каменныхъ изваяній, какъ это случалось развѣ во времена крайняго упадка; кумиры были ложными, какъ изображенія ложныхъ боговъ (114). Отецъ Буткевичъ добавляетъ отъ себя текстъ моей книги, чтобы доказать, будто я приписываю христіанству простое довершеніе „греческаго язычества“ и признаю однородность греческаго антропоморфизма съ христіанскимъ (с. 8, ссылка на мою с. 145). Я не могу привести цѣликомъ стр. 145—6, гдѣ все различіе между ними выяснено мною самымъ яснымъ и недвусмысленнымъ образомъ. Оборвавъ произвольно цитату, искаженную его вставкой, о. Буткевичъ самъ

не находить сказать ничего иного о догматѣ Богочеловѣчества, кромѣ того, что сказано мною. Судите читатель!

Метаф. въ древн. Греціи 145. Впра и Разумъ 1891, I с. 9.

Христіанство различаетъ между божескимъ и человѣческимъ естествомъ Христа, соединяя ихъ упо-стасно въ Его Лицѣ, между тѣмъ какъ язычество не различаетъ божескаго естества отъ человѣческаго, и даже христіанскія секты, возникшія изъ язычества смѣшиваютъ ихъ.

Ученіе христіанской Церкви о Богочеловѣчествѣ состоитъ въ томъ, что дѣйствительно истинный Богъ не переставая быть Богомъ, въ тоже время принялъ и дѣйствительную человѣческую плоть (*не плоть только но и естество, о. Буткевичъ!*) У грековъ же рѣчь шла только о человѣческомъ образѣ боговъ.

Воля ваша, моя формула, тождественная по смыслу, гораздо точѣе, ибо во всякомъ случаѣ у грековъ шла рѣчь не только объ образѣ человѣческомъ, но о природѣ, о плотской чувственности боговъ, какъ самъ о. Буткевичъ это далѣе развиваетъ, и на что я указывалъ несчетное число разъ. На стр. 146 я снова объясняю, какъ я понимаю *истинный* „абсолютный“ антропоморфизмъ: онъ заключается въ идеѣ вселенскаго, сверхъ-природнаго Бога, который есть вмѣстѣ съ тѣмъ и человѣкъ; Бога, по образу котораго созданъ самъ человѣкъ, въ которомъ Онъ воплотился. Въ такомъ вселенскомъ Богочеловѣчествѣ—все естественное, непосредственно человѣческое всецѣло приносится въ жертву, умираетъ въ себѣ, чтобы ожить въ Богѣ и соединить человѣчество съ Божествомъ. Греческая религія не могла дать философіи положительнаго откровенія такого Богочеловѣчества, но въ самомъ *относительномъ* антропоморфизмѣ заключалась (*относительная*) истина, подготовившая человѣчество“ къ воспріятію христіанства. Въ связи съ такимъ истиннымъ антропоморфизмомъ поставленъ мной и истинный принципъ христіанскаго иконопочитанія, при свѣтѣ котораго я разсматриваю языческій культъ и критикую его суевѣрія.

„Читатель можетъ недоумѣвать, пишетъ о. Буткевичъ, какимъ образомъ мы не соглашаемся съ Трубецкимъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ говоритъ, повидимому, въ пользу богооткровенныхъ истинъ“ (№ 3, с. 140). Надѣюсь, читатель можетъ недоумѣвать по многимъ причинамъ. Я не могу и не хочу продолжать

долѣ этого тяжелаго разбора, недоразумѣній, ошибокъ и ложныхъ подозрѣній¹⁾. Я полагаю, что достаточно выяснилъ приемы моего критика и мою основную религіозно-философскую идею. Полемизировать съ о. Буткевичемъ по поводу археологическихъ и мнѳологическихъ фактовъ я не считаю нужнымъ и потому предоставляю ему спокойно продолжать свою рецензію на гостепріимныхъ страницахъ „Вѣры и Разума“: все напечатанное имъ *послѣ* рѣчи высокопреосвященнаго Амвросія не имѣетъ для меня ровно никакого интереса.

V.

Въ заключеніе не могу не сказать, что я по чистой совѣсти считаю полемическіе приемы отца Буткевича глубоко несогласными съ требованіями общественной нравственности и съ церковно-общественными интересами. Издавая мою книгу, я чистосердечно думалъ, что служу этимъ интересамъ. И вотъ меня объявляютъ богохульникомъ, отступникомъ, соблазномъ Церкви.

Я принять какъ злѣйшій врагъ людьми, которые должны были бы подать мнѣ руку! И если бы даже я дѣйствительно былъ врагомъ Церкви, православный богословъ долженъ былъ бы сражаться со мною истиной, а не ложью; и если бы я дѣйствительно училъ всѣ тѣ странныя вещи, которыя мнѣ приписываютъ, то познанія о. Буткевича и словарь Любкера еще не достаточны для того, чтобы опровергнуть ихъ какъ слѣдуетъ. Пусть подумаетъ о. Буткевичъ о поучительныхъ словахъ своего епископа, высокопреосвященнаго Амвросія²⁾. „Мы упустили изъ виду, что дур-

¹⁾ Упомяну вскользь еще объ одномъ обвиненіи, будто я нахожу у грековъ культъ ангеловъ. О понятіи „посредствующихъ“ духовъ я уже говорилъ выше. Я говорилъ также (49, 52) о томъ, что познаніе и даже понятіе о сверхъ-чувственномъ мірѣ предполагаетъ откровеніе. Затѣмъ, ангеловъ въ нашемъ смыслѣ и у грековъ разумѣется нигдѣ не нахожу: это такой же вымыселъ о. Буткевича, какъ и все остальное. На стр. 69 у меня правда сказано, что Гермесъ часто является „какъ вѣстникъ“, ангель олимпійскихъ боговъ (*ἄγγελος* — что значитъ вѣстникъ). Такъ его дѣйствительно называли отъ Гомера до позднѣйшаго времени. Прошу о. Буткевича обратить вниманіе на первую апологію св. Іустина с. 22, 2 *εἰ δὲ ὑπενηήσθαι αὐτόν ('Ιησοῦν) ἐκ θεοῦ λέγομεν λόγον θεοῦ, ὡς προφητεῖαν, κοινὸν τοῦτο ἔστω ὅμιν τοῖς τὸν Ἑβραῖον λόγον τὸν παρὰ θεοῦ ἀγγελικὸν λέγουσιν*. Но какъ справедливо замѣчаетъ о. Буткевичъ (с. 25) „изъ собственныхъ словъ Трубецкого читатель можетъ видѣть, что греческая религія не могла дать почвы для христіанскаго ученія объ ангелахъ“. Разсужденія о. Буткевича о моей теоріи жертвы, культа „святыхъ“, „иконопочитанія“ и священства у грековъ опровергаются наиболѣе нагляднымъ и убѣдительнымъ образомъ посредствомъ сличенія ихъ съ моей книгой.

²⁾ „Церковныя Вѣдомости“ (прибавленія) с. 183.

ные примѣры вредятъ народу еще больше, чѣмъ ложныя мысли, и мы забыли какое строгое наблюденіе за общественными нравами имѣли наши до-петровскіе предки“. „Ни цензура, ни полиція, замѣтилъ преосвященный, не сдѣлаютъ того, что сдѣлаютъ истинныя христіане-философы, если будетъ для нихъ расчищено поприще дѣятельности... Ихъ мало, это правда. „Но скажемъ современнымъ языкомъ: когда рынокъ заваленъ дряннымъ товаромъ, а требуется лучший и когда послѣдняго мало, улучшаютъ и усиливаютъ фабричное производство“. Отъ души пожелаемъ и мы, чтобы „фабричное производство“ улучшилось!

Я боюсь однако, чтобы прочитавъ мою маленькую апологію, читатель не подумалъ, что мы ужъ слишкомъ сходимся съ о. Буткевичемъ въ нашихъ богословскихъ воззрѣніяхъ. Не говоря объ указанныхъ различіяхъ во взглядѣ на природу метафизики, не говоря объ опущенныхъ мною мнѳологическихъ ошибкахъ моего критика, насъ раздѣляетъ очень многое. Мнѣ кажется, что все отношеніе къ откровенію и къ исторіи у насъ разное. Попытаюсь выяснитъ вкратцѣ это различіе.

Относительно откровенія я думаю такъ. Тѣ истины которыя составляютъ предметъ откровенія, никогда не могутъ утратить откровеннаго характера и превратиться въ простыя воспоминанія и знанія, усвояемыя эмпирически. Передаются ли истины откровенія отъ человѣка къ человѣку, или же онѣ сами открываются его любящему, жаждущему духу—онѣ суть всегда откровеніе. Если мы просто запоминаемъ ихъ внѣшнимъ образомъ, мы еще не знаемъ ихъ. Такъ бытіе Бога есть истинное, спеціальное откровеніе для всякаго, кто въ Него вѣритъ; тотъ, для кого Богъ не есть откровеніе,—тотъ вовсе не знаетъ Его, иногда даже не знаетъ *о Немъ*. Поэтому, когда я въ данный историческій моментъ признаю въ какомъ-либо народѣ религіозное развитіе, я въ истинныхъ, здоровыхъ началахъ его религіи вижу прежде всего не воспоминанія о неизвѣстномъ намъ порядкѣ вещей, существовавшемъ до „столпотворенія вавилонскаго“ (Вѣра и Разумъ № 23, 472), а нѣкоторое *движеніе въры къ Богу и откровеніе*, хотя бы частное, неполное, искаженное даже, но тѣмъ не менѣе понятное вѣрующему при свѣтѣ христіанства. Воспоминанія разумѣется возможны, хотя прослѣдить ихъ нельзя и наука не можетъ о нихъ разговаривать. Но суть не въ памяти о прошломъ, а въ откровеніи, которое имѣетъ пребывающее значеніе: ибо не воспоминаніями освѣщается откровеніе, но откровеніемъ свѣтится преданіе.

Поэтому и взгляд мой на исторію отличается отъ воззрѣній о. Буткевича. Твердо убѣжденный въ томъ, что откровеніе никогда не можетъ перестать быть откровеніемъ, я не боюсь исторіи и не поворачиваюсь къ ней спиною. Какъ бы ни былъ сложенъ и запутанъ ходъ исторіи, какими бы путями ни доходили люди до познанія истины, откровеніе остается откровеніемъ и не можетъ быть выведено изъ какихъ бы то ни было внѣшнихъ источниковъ.

Христосъ, какъ мы вѣруемъ, есть истинный Богъ и совершенный человѣкъ по тѣлу, душѣ и духу. Всякое отрицаніе или умаленіе его человѣческаго естества, какими бы благочестивыми намѣреніями оно ни прикрывалось, какъ бы ни было оно замаскировано, — есть докетизмъ, — ересь, осужденная Церковью. Евангеліе сообщаетъ много чудеснаго про земную жизнь Спасителя, Его рожденіе и воскресеніе, про то, какъ Онъ исцѣлялъ больныхъ, воскрешалъ умершихъ, ходилъ по водамъ, умножалъ хлѣбы: Онъ могъ бы сдѣлать и безконечно больше. Но всего чудеснѣе для насъ то, что Онъ алкалъ и жаждалъ, томился и страдалъ; что Онъ имѣлъ друзей между людьми и прослезился надъ умершимъ другомъ, котораго Онъ, какъ Богъ, былъ въ силахъ воскресить; что Онъ тосковалъ въ смертныхъ мукахъ. Всего чудеснѣе во всемъ Евангеліи чудо, обнимающее всѣ чудеса и заключающее въ себѣ всю нашу надежду, тайну спасенія нашего, это — то, что *Онъ былъ человѣкъ*. И потому всякое умаленіе или отрицаніе человѣческаго естества во Христѣ, всякая тѣнь докетизма — является христіанину ложью и маловѣріемъ, грѣхомъ противъ вѣры и противъ Христа.

То же самое слѣдуетъ сказать и о докетизмѣ въ исторіи церкви — тѣла Христова и въ исторіи религіи, которая есть въ корнѣ своемъ исторія христіанства. Ибо и въ этой сферѣ возможенъ докетизмъ. Противуполагая другъ другу откровеніе и естественное развитіе человѣчества и отрицая это послѣднее въ пользу перваго, мы впадаемъ не только въ историческое, но и въ религіозное заблужденіе. Напрасно думаемъ мы оградить христіанство, выдѣляя его изъ исторіи: мы можемъ такимъ путемъ только соблазнить тѣхъ, которые обратятся къ фактамъ и увидятъ, что оно есть средоточіе исторіи. Христіанство живетъ и дѣйствуетъ на землѣ, оно выросло на землѣ изъ сѣмени горьчнаго; оно росло и будетъ развиваться, доколѣ не придетъ въ полноту возраста Христова. Оно, слѣдовательно, имѣетъ исторію въ человѣчествѣ и горе тому богослову, который захочетъ отрицать или умалять *человѣчество* въ этой исторіи до какой-то призрачной дѣйствительности! И стыдъ тому историку, ко-

торый въ области религіи уклонится отъ своей прямой, высокой задачи — понять человѣческую дѣйствительность въ ея прошломъ. Такой историкъ измѣнитъ наукѣ и не послужитъ вѣрѣ, ибо ей можно служить только въ правдѣ. И какъ въ Евангеліи вся наша надежда — въ человѣчествѣ Бога нашего, такъ и въ исторіи предметомъ нашего изумленія должно быть совершенно естественное, *человѣческое* теченіе событій, сосредоточивающихся вокругъ столь чудесной тайны. Ибо въ этомъ полная правда христіанства.

Проникнутый такими убѣжденіями, я изучалъ религію и философію грековъ. И еслибы даже я нашелъ въ нихъ гораздо болѣе истинно-религіозныхъ началъ, или еслибы мнѣ пришлось въ частностяхъ значительно измѣнить свои взгляды относительно нѣкоторыхъ историческихъ фактовъ, мое основное религіозно-философское воззрѣніе остается тѣмъ же. Думаю, что оно православное.

Берлинъ, 27 февраля 1891 г.

(Изъ „Православнаго Обзорія“, № 3 за 1891 г.)

Разочарованный славянофилъ.

— Востокъ, Россія и Славянство. Сборникъ статей К. Леонтьева, т. I и II. Москва, 1885—86.

— К. Леонтьевъ, Національная политика какъ оружіе всемірной революціи. Москва, 1889.

К. Леонтьевъ — писатель недавно умершій — пользовался при жизни не большою извѣстностью, какъ и его предшественникъ Данилевскій — авторъ „Россіи и Европы“ и „Дарвинизма“. Теперь о немъ много пишутъ нѣкоторыя газеты извѣстнаго направленія и сilyтся доставить ему посмертные лавры. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ имя Леонтьева было поставлено даже на ряду съ именами Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого и Достоевскаго — вмѣстѣ съ именемъ Данилевскаго. Мы не думаемъ, однако, чтобы поклонникамъ Леонтьева удалось поставить его хотя бы на временный пьедесталъ Данилевскаго; мы не думаемъ даже, чтобы наша „охранительная“ пресса, или остатки нашихъ славянофиловъ, могли особенно желать апофеоза Леонтьева. И это не потому, чтобы онъ уступалъ Данилевскому въ талантѣ. Намъ кажется, напротивъ, что онъ былъ значительно оригинальнѣе. Но по своей страсти къ па-

радоксу, по цинической откровенности своей проповѣди, этотъ убѣжденный сотрудникъ „Гражданина“ и „Варшавскаго Дневника“ не совсѣмъ удобенъ для своихъ единомышленниковъ. Въ то же время онъ неудобенъ и для нынѣшнихъ ветерановъ славянофильства: Леонтьевъ — разочарованный славянофилъ, пессимистъ славянофильства.

Эти двѣ черты Леонтьева — его крайняя послѣдовательность въ проповѣди реакціи и мракобѣсія и его реалистическій пессимизмъ, столь отличный отъ радужнаго идеализма славянофиловъ — дѣлаютъ этого „enfant terrible“ его партіи весьма любопытнымъ для критическаго изученія. Среди сторонниковъ идей „Гражданина“ онъ едва ли не одинъ — человекъ мыслящій и убѣжденный въ одно и то же время: онъ имѣетъ нѣчто въ родѣ своей собственной политической философіи — совершенно своеобразной, слишкомъ даже своеобразной. Во всякомъ случаѣ уже одно это его качество — въ нашей прессѣ находка, которая привлекаетъ вниманіе, какъ случайный камень въ кучѣ песка. Каковы бы ни были воззрѣнія Леонтьева, они поддаются критикѣ, допускаютъ ее. И какъ ни причудлива его система, она имѣетъ общій интересъ, соответствующій нѣкоторымъ господствующимъ теченіямъ общественнаго сознанія. Во-первыхъ, она заключаетъ въ себѣ убѣжденную и продуманную политическую апологію реакціи. Во-вторыхъ, она представляется новымъ фазисомъ въ развитіи славянофильскаго ученія: въ извѣстномъ смыслѣ, это — послѣднее слово славянофильства. Потому-то мы и считаемъ разборъ произведеній Леонтьева интересною задачею, несмотря на ихъ малую извѣстность.

I.

Тѣ немногіе изъ нашихъ читателей, которые знакомы съ произведеніями Леонтьева, спросятъ, быть можетъ, можно ли вообще считать его славянофиломъ, при его крайне отрицательномъ отношеніи къ славянству, при полномъ отсутствіи вѣры въ самобытность русскаго духа и того политическаго и религіознаго идеализма, который отличалъ первыхъ славянофиловъ? Онъ сходилъ съ ними въ безусловномъ признаніи консервативныхъ устоевъ Россіи, но понималъ ихъ значительно иначе, оцѣнивъ съ большою проницательностью *византійскій* характеръ этихъ началъ. Быть можетъ, онъ былъ ближе къ Каткову, чѣмъ къ Хомякову и Аксаковымъ.

Но самъ онъ говорить про себя, что его „литературная жизнь, подобно блѣдной лунѣ, освѣщена солнечнымъ сіяніемъ „Русскаго Вѣстника“ только съ одной стороны“: другую сторону, оригинальную и „погруженную въ безысходный мракъ“, онъ считалъ самъ „гораздо лучше“ (II, 212). Онъ считалъ Каткова, „нашимъ политическимъ Пушкинымъ“ и предлагалъ „за живо политически канонизировать его“, воздвигнувъ ему „мѣдную хвалу“ на Страстномъ бульварѣ — противъ новооткрытаго памятника великаго поэта (II, 152). Но въ то же время онъ заявляетъ не разъ о своемъ разногласіи съ Катковымъ и прибавляетъ тутъ же: *„которыя мнѣнія его (слишкомъ „европейскія“ по стилю) мнѣ невыносимы и сильно раздражаютъ меня“*. Къ тому же консерватизмъ Каткова повидимому казался ему недостаточно крайнимъ и послѣдовательнымъ („Нац. Пол.“ 24).

Леонтьевъ сходилъ съ славянофилами въ глубокой ненависти къ „гнилому“ Западу и его культурѣ. Но и тутъ, какъ увидимъ, ихъ раздѣляетъ довольно существенная разница: Леонтьевъ относится съ нескрываемымъ сочувствіемъ къ консервативнымъ устоямъ Запада — папству, католицизму, остаткамъ феодализма, монархіи и аристократіи Запада, къ развитію семейнаго начала на западѣ, — даже къ индивидуализму въ его первоначальной аристократической формѣ. Онъ ненавидитъ лишь новую, либеральную Европу, съ ея эгалитарнымъ прогрессомъ, буржуазнымъ конституціонализмомъ, съ ея мѣщанскимъ идеаломъ и безбожными анархическими тенденціями; онъ ненавидитъ ея всеуравнивающую, космополитическую цивилизацію, надвигающуюся во всеоружіи техники и милитаризма и разрушающую всѣ охранительныя традиціонныя начала прежней политической жизни человѣчества. Леонтьевъ — романтикъ, грезящій средневѣковымъ рыцарствомъ, замками, средневѣковымъ папствомъ, монархической Франціей.

Европа „гніетъ“ сравнительно съ недавняго времени — собственно съ конца прошлаго вѣка. И Россія противопоставляется этой гнилой либеральной Европѣ лишь какъ носительница консервативнаго византизма. Какъ громадная консервативная сила, какъ колоссальный тормазъ, она можетъ сыграть мировую роль, пріостановивъ на время теченіе европейскаго прогресса, „подморозивъ“ ея полусгнившій организмъ. Для этого ей нужно лишь блюсти себя отъ западнаго просвѣщенія и отъ грамотности (II, 9), хранить свое „варварство“, свою „спасительную грубость“ (II, 88) и, тамъ, гдѣ это возможно, поддерживать консервативныя начала

Европы — не только въ иностранной политикѣ, но даже у себя на окраинахъ.

Такой идеалъ несомнѣнно отличается отъ славянофильскаго. Если славянофиловъ называли русскими романтиками, то Леонтьевъ еще болѣе, чѣмъ они, западный романтикъ. Но зато онъ совершенно свободенъ отъ гегеліанскаго воззрѣнія на исторію, отъ оптимистической теоріи прогресса, которую такъ или иначе раздѣляли славянофилы 50-хъ годовъ. Онъ не вѣрилъ въ исторію и прогрессъ, не вѣрилъ въ человечество и счумѣлъ дать определенное выраженіе этому невѣрію. Далѣе, въ христіанствѣ Леонтьева мы вовсе не находимъ того идеализма, той универсально-каеолической тенденціи, которая составляла столь симпатичную сторону ранняго славянофильства, той живой вѣры въ торжество вселенскаго православнаго христіанства, въ соединеніе всѣхъ христіанъ, которая вдохновляла проповѣдь Хомякова. Но зато православіе Леонтьева было болѣе свободно отъ протестантскихъ элементовъ; въ извѣстномъ смыслѣ оно было коррективъ: воспитанное афонскими монахами, оно менѣе походило на „розовое христіанство“, въ которомъ Леонтьевъ справедливо упрекалъ нѣкоторыхъ нашихъ „новыхъ христіанъ“.

Итакъ, Леонтьевъ сходится съ славянофилами въ своихъ началахъ: вмѣстѣ съ ними онъ противопоставляетъ Россію „гнилому Западу“, какъ носительницу православія и самодержавія — христіанской и монархической идеи. Правда, самая оцѣнка этихъ началъ и политическія надежды Леонтьева — нѣсколько иные, чѣмъ у славянофиловъ. Но самое это различіе является результатомъ внутренняго развитія или, точнѣе, внутренняго саморазложенія славянофильскаго ученія, ибо это ученіе въ самомъ началѣ своемъ заключало нѣкоторую неопредѣленность и противорѣчія, выяснившіяся впоследствии по мѣрѣ его развитія.

Въ чемъ же заключаются эти противорѣчія?

Въ Леонтьевѣ насъ интересуетъ главнымъ образомъ саморазложеніе славянофильства, этого ученія, которое составляетъ первую попытку нашего общественнаго самосознанія, и которое продолжаетъ еще служить предметомъ оживленныхъ споровъ. Поэтому мы и остановимся подробнѣе на этомъ ученіи, какъ на исходной точкѣ Леонтьева, и посмотримъ, что привело его къ разочарованію въ славянофильствѣ и своеобразной метаморфозѣ его.

Первоначальныя славянофилы совмѣшали въ своемъ міросозерцаніи нѣсколько разнородныхъ началъ — элементы нѣмецкой философіи

націоналізма и православія. „Благородные москвичи, европеизмомъ пресыщенные“¹⁾, эти романтики нашего до-Петровскаго прошлаго, соединяли разочарованіе во всей культурѣ современной Европы съ вѣрой въ самобытную грядущую русскую культуру. Въ патріотическому романтизму ихъ присоединялось сильное религіозное вліяніе²⁾.

Изслѣдуя причину духовнаго разобщенія Россіи и западной Европы, имѣвшей единую культуру, наши мыслители сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ справедливо находили ее главнымъ образомъ въ раздѣленіи церквей. Средневѣковая культура была католической въ Европѣ, православно-византійской въ Россіи. Глубокая религіозная и культурная реформа протестантизма была также обще-европейскимъ движеніемъ, которое прошло безслѣдно для Россіи. Все умственное, соціальное, политическое развитіе Европы имѣло существенно другую основу, чѣмъ развитіе Россіи. Поэтому, естественно, западно-европейская цивилизація могла быть привита къ намъ лишь извнѣ, насильственно, желѣзной рукою Петра. Эта цивилизація у насъ не была оригинальной: мы могли лишь внѣшнимъ образомъ усвоивать себѣ „плоды“ западно-европейскаго просвѣщенія, рабски подражать „западнымъ образцамъ“. Поэтому мы либо ограничивались заимствованіемъ внѣшней культуры — техническихъ, индустріальныхъ открытій Запада; или же, тамъ гдѣ, мы хотѣли глубже проникнуть въ цивилизацію Запада, мы невольно подчинялись ей настолько, что сознательно или безсознательно отрывались отъ родной почвы, ассимилировались Западу, воспринимая въ себя самыя основы, духовныя начала его культуры. Неизбѣжно долженъ былъ наступить моментъ, когда это противорѣчіе выяснилось въ нашемъ общественномъ сознаніи. Мы ощутили въ себѣ самихъ это вѣковое, непримиренное противорѣчіе Запада съ Востокомъ, и должны были — либо сознательно отречься отъ православно-византійскихъ основъ нашей жизни во имя западнаго просвѣщенія, либо, наоборотъ, противопоставить эти основы всей культурѣ Запада, зараженной дыханіемъ ереси.

¹⁾ Леонтьевъ, I, 266.

²⁾ Вѣрную и вполнѣ объективную характеристику этого романтизма нашихъ славянофиловъ даетъ П. Г. Виноградовъ въ своей статьѣ о Кирѣевскомъ и началахъ московскаго славянофильства („Вопросы философіи и психологіи“, кн. XI). Осужденіе рационализма, исканіе непосредственнаго мистически пѣльнаго знанія, культъ народности въ непочатыхъ слояхъ ея первобытной жизни, религіозно-церковный позитивизмъ — все это характерныя черты того міросозерцанія, которое извѣстно подъ именемъ романтики и нашло одно изъ типичнѣйшихъ выраженій своихъ въ школѣ Шеллинга. Славянофилы отыскиали въ русскомъ народѣ то, что, по ихъ мнѣнію, нѣмецкіе мыслители тщетно искали у себя.

Чаадаевъ призналъ въ „византизмѣ“ корень русскаго застоя, отсталости, русскаго отчужденія отъ Запада; онъ видѣлъ въ немъ роковой жребій Россіи. Но замѣчательно, что славянофилы не рѣшились противоположить западной культурѣ — византизмъ, какъ культурное начало Россіи. По многимъ причинамъ они не могли и не хотѣли этого сдѣлать. Первый попытка на это Леонтьевъ, и это одно уже заслуживаетъ вниманія.

Конечно, прежде чѣмъ придти къ мертвенному, отжившему византизму, наши славянофилы должны были обратиться къ самой Россіи, къ самому русскому православному народу преимущественно въ его до-реформенный періодъ, не тронутый западной цивилизаціей. И они находили въ немъ богатые залоговъ развитія. Они видѣли ихъ, во-первыхъ, въ его чистомъ, древнемъ вселенскомъ православіи, носителемъ котораго онъ является, въ прекрасныхъ нравственныхъ дарованіяхъ, воспитанныхъ въ немъ его долгой и многотрудной христіанской жизнью. Во-вторыхъ, — въ силѣ и величіи русскаго народа и славянскаго племени, связаннаго съ нимъ историческими, кровными узами. Славяне, не знавшіе еще самобытной политической жизни, подчиненные иновѣрному Западу и невѣрному Востоку, славяне, угнетенные иноплемениками и тяготящіе къ Россіи, — являются живымъ залогомъ исторической миссіи Россіи. Освободивъ славянство, объединивъ его подъ знаменемъ православія и самодержавія, Россія должна открыть новую эру всемірной культуры. Наконецъ, самый политическій и земскій строй древней Руси — самодержавіе съ широкимъ развитіемъ земскаго самоуправленія и соборнаго представительства, общинный социализмъ русскаго народа — вотъ тѣ начала, на которыя славянофилы возлагали свои надежды.

Славянофилы отличались отъ западныхъ романтиковъ весьма существенно въ томъ отношеніи, что ихъ идеаль лежалъ столько же въ будущемъ, сколько и въ прошедшемъ, и въ томъ, что европейская культура, противъ которой они возставали, была не самобытной, своею, а чужою и плохо усвоенною. Въ Россіи, въ ея непочатыхъ силахъ, они видѣли источникъ живой воды, долженствовавшей обновить міръ.

Поэтому въ мечтаніяхъ славянофиловъ заключалась нѣкоторая двойственность: въ ихъ ученіи были прогрессивныя, высоко гуманныя, универсалистическія тенденціи — и консервативный, ретроградный націонализмъ. Идеаль славянофиловъ — всеславянская православная культура будущаго, обновляющая міръ, и въ то же

время — до-Петровская Русь въ ея своеобразномъ костюмѣ, въ ея бытѣ, вѣрованіяхъ, въ ея отчужденіи отъ Европы. Культурныя начала обособляли до-Петровскую Русь отъ Европы, даже отъ западныхъ славянъ, и потому эти же самыя культурныя начала должны были послужить основаніемъ для новой всеславянской и всемірной культуры.

Отсюда естественно вытекали многія противорѣчія и несообразности, которыя не замедлили выступить наружу — противорѣчія между универсализмомъ и націонализмомъ, между прогрессивными, гуманитарно-либеральными тенденціями новой всеславянской культуры — и консервативнымъ старовѣрствомъ московской Руси. Эти противорѣчія указывали славянофиламъ уже ихъ современники; имъ указывали ихъ вполнѣдствіи и позднѣйшіе славянофилы, сознательно избравшіе между консервативнымъ націонализмомъ или византизмомъ древней Руси и идеальнымъ универсализмомъ Россіи грядущаго.

Подъ вліяніемъ первоначальнаго недоразумѣнія первые славянофилы судили ошибочно не только о западной культурѣ, но и о тѣхъ началахъ, на которыхъ они строили свои чаянія.

Прежде всего богословскія теоріи славянофиловъ, при всей несомнѣнной заслугѣ Хомякова и Самарина, столь энергично возбудившихъ церковный вопросъ и выяснившихъ его первостепенное, принципиальное значеніе, — богословскія теоріи славянофиловъ заключали въ себѣ довольно существенное и характерное недоразумѣніе. Православіе, въ теченіе столькихъ вѣковъ обособлявшее христіанскій Востокъ отъ христіанскаго Запада, является въ ихъ глазахъ новымъ принципомъ всечеловѣческой, всемірной культуры. Съ точки зрѣнія Хомякова оно гармонически примиряетъ въ себѣ противоположныя крайности католицизма и протестантизма, единства и множества, авторитета и свободы. И въ то же время, въ противность исторіи и несогласно ни съ практикой нашей церкви, ни съ авторитетными мнѣніями ея выдающихся богослововъ, — римская церковь и протестантскія церкви не признаются церквами вовсе.

Въ официальномъ ученіи нашей церкви, и въ особенности въ ея практикѣ, мы не находимъ ни такого остраго, наступательнаго отношенія къ западному христіанству, ни такихъ широкихъ культурныхъ замысловъ. Римская церковь, сохранившая преемство апостольское, признается во всякомъ случаѣ за церковь, разъ что дѣйствительность ея не подлежащихъ повторенію таинствъ (крещенія, муропомазанья, иногда и священства) на практикѣ при-

знается¹⁾. Съ большой принципиальной терпимостью, съ болѣе глубокимъ мистическимъ взглядомъ на божественный характеръ таинствъ, наша церковь видитъ въ западныхъ христіанахъ крещенныхъ членовъ церкви Христовой, предоставляя Христу судить ихъ. Но въ то же время восточная церковь отличается, обособляется отъ западныхъ гораздо болѣе, чѣмъ это думали славянофилы. Противопоставляя себя имъ какъ единую православную, она твердо и неизменно хранитъ свои преданія въ ученіи и богослуженіи, и принципиально чуждается всякаго „прогрессивнаго движенія“, всякаго „развитія“ въ области догматовъ культа или въ соціальной сферѣ своей дѣятельности. Она такова теперь, какъ за тысячу лѣтъ. Церковь консервативная по преимуществу, церковь преданія, она и въ мірскомъ человѣчествѣ всего болѣе способствовала росту и укорененію охранительныхъ началъ, будучи сама тѣсно связана въ своемъ историческомъ существованіи сперва съ византійскимъ, затѣмъ съ русскимъ самодержавіемъ. Идеалъ восточной церкви — не въ развитіи земной культуры, не въ мірѣ вообще. Высшее выраженіе ея духа — въ монастыряхъ и монашествѣ. По выраженію Леонтьева, она не вѣритъ въ гуманитарный прогрессъ, не вѣритъ въ торжество всечеловѣческой культуры.

Поэтому, естественно, чтобы сдѣлать ее знаменемъ такой культуры и прогресса, славянофилы должны были значительно обезличить ее, идеализировать ее по-своему или предъявить ей новыя, совершенно несообразныя требованія. Поэтому мы встрѣчаемъ у славянофиловъ — то увѣренія, что наша церковь представляетъ изъ себя совершенное осуществленіе церкви Божіей на землѣ, внутренній синтезъ, гармоническое сочетаніе единства и свободы въ совершенной любви, — то, наоборотъ, самую рѣзкую и жестокую критику всего нашего церковнаго и іерархическаго строя, какъ, напр., у покойнаго Ив. С. Аксакова. Вопреки исторіи, вопреки дѣйствительности, нашъ іерархическій строй разсматривался, какъ какая-то случайная аномалія. Инсинуируются упреки въ „цезаро-папизмѣ“, и предлагаются реформы всего церковнаго строя въ крайне либеральномъ демократическомъ духѣ, — реформы, болѣе подходящія къ какимъ-нибудь индипендентскимъ общинамъ, чѣмъ къ православной церкви. Эти преобразованія — демократизація церкви, выборное священство, выборная іерархія, женатые архіереи, серьезно предлагавшіяся въ сла-

¹⁾ Известно, что греки въ этомъ отношеніи неоднократно измѣняли свой взглядъ, и главнымъ образомъ по политическимъ соображеніямъ.

вянофильскомъ лагерѣ, несомнѣнно, свидѣтельствуютъ о недостаточномъ пониманіи духа православной церкви, ея прошлаго, ея будущихъ задачъ. Равнымъ образомъ и въ другихъ подробностяхъ славянофильскаго богословія, даже въ его полемикѣ противъ западныхъ исповѣданій, сказались протестантскія вліянія. Такъ, напр., въ полемикѣ противъ католицизма православіе чуть ли не отождествлялось съ принципомъ свободнаго изслѣдованія, а начало іерархическаго авторитета, на которомъ зиждется римская церковь, представлялось чѣмъ-то ложнымъ, не долженствующимъ быть въ церкви. Въ то же время, въ силу своей универсалистической тенденціи, славянофилы силились превратить православіе въ какой-то идеальный католицизмъ — безъ реальной вселенской іерархіи — нѣчто въ родѣ того идеализованнаго католицизма, который проповѣдовалъ извѣстный католическій богословъ Мёлеръ въ своей „Символикѣ“¹⁾.

Такимъ образомъ, противорѣчіе славянофильскаго ученія о церкви формулировалось съ такою опредѣленностью, что возвращеніе къ первоначальному славянофильству здѣсь немыслимо. Оно пришло къ дилеммѣ: или православіе, какъ оно въ дѣйствительности есть, т.-е. греко-россійское православіе, съ его византійскими преданіями и стремленіями, съ его дѣйствительными учрежденіями и строемъ, или — новое, универсально-католическое, не существовавшее до сихъ поръ культурное православіе, съ соотвѣтствующей ему реальной вселенской іерархіей. Таковъ былъ, думается намъ, тотъ естественный ходъ мыслей, который привелъ Вл. С. Соловьева къ его ученію о вселенскомъ католицизмѣ будущаго, соединяющемъ христіанскія церкви, о будущей русско-римской теократіи. Съ другой стороны, та же логическая необходимость привела „реалиста“ Леонтьева къ другой альтернативѣ той же дилеммы. „Славяно-англиканское ново-православіе“ кажется ему опаснѣе и бесплоднѣе всякаго скопчества и хлыстовщины²⁾. Разбирая рѣчь Достоевскаго, произнесенную на Пушкинскомъ праздникѣ, Леонтьевъ отвергаетъ его „розовое“ христіанство, его мечтательный „всечеловѣчскій“ уни-

¹⁾ Эта замѣчательная книга имѣетъ большой интересъ для критической оцѣнки славянофильскаго ученія. Möhler, „Symbolik oder Darstellung d. dogmatischen Gegensätze der Katholiken u. Protestanten“. Первые четыре изданія разошлись еще при жизни автора († 1838), десятое изданіе появилось въ 1888 году.

²⁾ По поводу женатыхъ архіереевъ Леонтьевъ замѣчаетъ: „Для кого же и для чего нужно, чтобы какая-нибудь мадамъ Благовѣщенская или Успенская сидѣла около супруга своего на ступеняхъ епископскаго трона? Для чего? Для спасенія души? — Спасался безъ всякихъ дамъ съ одними монахами... Для культуры? — Слишкомъ похоже на англичанъ и не особенно красиво“ (II, 251).

версализмъ, въ которомъ онъ видѣлъ верховную идею православной Россіи, и противопоставляетъ ему „смиреніе *передъ тою церковью, которую советуетъ любить г. Побѣдоносцевъ*“ (II, 305)¹⁾.

Православная церковь „выпѣствовала“ сильное и крѣпкое русское государство, по выраженію одного изъ духовныхъ писателей нашихъ; византизмъ „высворилъ насъ крѣпко и умно“, по выраженію Леонтьева (I, 188). Одного этого уже достаточно, чтобы всякій русскій сугубо любилъ государство, скрѣпленное священными узами церкви, и вмѣстѣ ощущалъ благодарность къ церкви, вдохнувшей такую силу въ его государство, сплотившей его родину! Обширѣйшее изъ государствъ земли, Россія имѣетъ, несомнѣнно, свое призваніе, свою миссію въ исторіи. Во всякомъ случаѣ, на ея долю выпали самыя тяжкія и сложныя политическія задачи, какъ внутри ея, такъ и въ международныхъ отношеніяхъ. Каковъ же долженъ быть основной принципъ ея внутренней и внѣшней политики?

Отвѣчая на этотъ вопросъ, славянофилы естественно впади въ то же противорѣчіе между націонализмомъ и универсализмомъ, между русскимъ консерватизмомъ и прогрессивнымъ либерализмомъ — эмансипаціонной политикой. Съ одной стороны — руссификація окраинъ, дѣятельная борьба съ католицизмомъ и лютеранствомъ, охраненіе политическихъ и религіозныхъ основъ, протестъ противъ всей западной культуры; съ другой стороны — освобожденіе крестьянъ, земское самоуправленіе, широкое развитіе народнаго образованія и цѣлый рядъ либеральныхъ демократическихъ реформъ, задуманныхъ чрезвычайно смѣло и радикально. Съ одной стороны — призывъ „домой“, въ до-петербургскую Москву; съ другой — либеральныя реформы въ духѣ современнаго государства. Словомъ, значительная неопредѣленность, я не скажу — политики, а политическаго міросозерцанія. Чѣмъ должна руководствоваться Россія въ своей внутренней политикѣ? Національными преданіями или обще-культурными принципами; обычаемъ или правомъ и справедливостью? Наше крестьянское положеніе, быть можетъ, страдаетъ отъ этой роковой нерѣшенной задачи, которую теперь разрubaютъ земскіе начальники — каждый по-своему въ своемъ участѣ. Нынѣшніе славянофилы-„реалисты“, отвергающіе „такъ называемую справедливость“, не безъ основанія упрекаютъ прежнихъ въ томъ, что они въ своемъ патріотическомъ идеализмѣ смѣшивали начала совершенно разно-

¹⁾ Въ этой, какъ и во всѣхъ дальнѣйшихъ выдержкахъ изъ Леонтьева, я неизмѣнно соблюдаю *курсивы подлинника*.

родныя, измѣняя націонализму во имя отвлеченныхъ принциповъ права и гуманности¹⁾.

Еще яснѣе становится это противорѣчіе въ области внѣшней политики. Чѣмъ должна руководиться она — національнымъ своекорыстіемъ, или идеей безкорыстнаго служенія человѣчеству? Должна ли политика Россіи быть прежде всего *христіанской*, какъ утверждалъ Достоевскій, Вл. Соловьевъ, — или же она должна быть лукавой, какъ утверждалъ иногда реалистъ Леонтьевъ, признавшій самый принципъ христіанской политики — ложью и самообманомъ?

Никто не станетъ спорить, что въ первоначальномъ славянофильствѣ былъ во всякомъ случаѣ *возможенъ* и тотъ и другой отвѣтъ; и на самомъ дѣлѣ — и тотъ и другой отвѣтъ въ дѣйствительности встрѣчается. Идея универсальнаго христіанства руководила славянофилами въ ихъ благородной защитѣ славянства, чуждой тѣхъ корыстныхъ политическихъ интересовъ, которые имъ иногда приписываютъ. И въ то же время ихъ „борьба съ Западомъ“ могла совершенно невольно принимать иногда характеръ далеко нехристіанскаго, фанатическаго возбужденія народныхъ и народническихъ инстинктовъ. „Вы хотите принужденіемъ, силою сдѣлать изъ нѣмцевъ русскихъ, съ мечомъ въ рукахъ, какъ Магометъ; — но мы этого не должны, именно потому, что мы—христіане“: такъ говорилъ императоръ Николай I, „нашъ великій охранитель“, какъ его называетъ Леонтьевъ, самому Ю. О. Самарину по поводу его „Писемъ изъ Риги“²⁾. Упрекъ, не заслуженный лично Самаринымъ, но имѣющій въ себѣ нѣкоторую долю правды по отношенію ко всему направленію.

Въ своихъ страстныхъ, не всегда справедливыхъ нападкахъ на почтенныхъ родоначальниковъ славянофильства, Вл. Соловьевъ вѣрно указалъ на фактъ, обидный самъ по себѣ для этихъ столь почтенныхъ идеалистовъ — на несомнѣнную филиацію, существующую между ихъ ученіемъ и безнравственными воззрѣніями нынѣшняго газетнаго славянофильства, перекувыркнушагося реакціоннаго нигилизма нашей прессы. Другая идеалистическая сторона славянофильскаго ученія — его мечтательный универсализмъ — представляется въ наши дни самимъ Вл. Соловьевымъ, что придаетъ особую пикантность направленной противъ него полемики и въ то же время по необхо-

¹⁾ Истинные славянофилы, по мнѣнію Леонтьева, не должны повторять „эмансипаціонныя заблужденія своихъ знаменитыхъ учителей“, а служить имъ главному, высшему идеалу, а именно — истинному націонализму (Нап. Пол., 45).

²⁾ См. Соч., т. VII, с. XCI.

димости упускается изъ виду имъ самимъ, при его критикѣ прежняго и нынѣшняго славянофильства¹⁾.

Всѣ эти соображенія представляются далеко не лишними для критической оцѣнки взглядовъ Леонтьева, которые, какъ я уже сказалъ, интересуютъ насъ всего болѣе именно въ ихъ отношеніи къ развитію нашего общественнаго самосознанія.

Переходимъ, наконецъ, къ послѣднему существенному элементу славянофильства, его *славянолюбію*, критикѣ котораго отводится столь существенное мѣсто въ сочиненіяхъ Леонтьева. Нигдѣ внутреннее противорѣчіе славянофильскаго ученія не выступало такъ ярко, какъ въ славянскомъ вопросѣ. Нигдѣ разочарованіе въ славянофильствѣ не было такъ сильно, такъ оправдано событіями, какъ именно здѣсь, въ области славянскаго вопроса. Леонтьевъ правъ, говоря объ *ошибкахъ* первыхъ славянофиловъ по этому поводу.

Прежде всего, чего хотѣли достигнуть славянофилы, по освобожденіи славянъ, и на чемъ думали они обосновать всеславянское единство? — На православіи? — но западные славяне — католики, при чемъ поляки не любятъ насъ болѣе всѣхъ другихъ народовъ, также и во имя католицизма. Единственное славянское племя, которое мы соединили съ собой, приняли въ составъ нашего государства, и то не можетъ примириться съ этимъ соединеніемъ. Славянскій вопросъ, съ разрѣшеніемъ котораго связано осуществленіе всемірной русской монархіи, усложняется церковною рознью — раздѣленіемъ церквей. Нужно обратить Западъ въ православіе, какъ хотѣлъ Хомяковъ, или привести православіе въ зависимость отъ папы, какъ могли хотѣть другіе — два крайне трудныхъ предпріятія во всякомъ случаѣ!

Повидимому, дѣло обстоило значительно лучше съ южными, православными славянами, столь тяготѣвшими къ Россіи. Стоило только освободить ихъ — и мы ихъ освободили. Что же оказалось? Явилось ли православіе живою духовною связью между нами? Существуютъ ли

¹⁾ Писатель, полагающій „ближайшую естественную цѣль“ русской политики въ объединеніи славянскихъ народовъ (Над. вопросъ, с. V), видящій призваніе Россіи въ соединеніи церквей и созданіи всемірной монархіи, — стоитъ въ несомнѣнной связи съ славянофилами, признавая вмѣстѣ съ ними *универсальную* миссію Россіи. „L'idée russe n'a rien d'exclusif ni de particulariste, si elle n'est qu'un nouvel aspect de l'idée chrétienne elle-même, si pour accomplir cette mission nationale il ne nous faut pas agir contre les autres nations, mais avec elles et pour elles; c'est la grande preuve que cette idée est vraie. Car la vérité n'est que la forme du Bien et le Bien ne connaît pas d'envie“ (L'idée Russe — заключительныя слова).

какія-либо духовныя связи между нами вообще? Есть ли у насъ что-либо общее въ сферѣ политическихъ интересовъ, кромѣ развѣ ненависти къ австрійцамъ, но и то только тамъ, гдѣ ихъ боятся больше насъ? И какому государственному строю балканскіе славяне выказываютъ болѣе симпатіи: нашему ли самодержавію, или австрійской конституціонной монархіи, которая съ притокомъ новыхъ славянскихъ элементовъ приметъ характеръ еще болѣе федеративный?...

Наша освободительная политика облекалась въ славянофильскія формы и принимала крайне грозный воинственный видъ, заставившій сплотиться нашихъ враговъ. Разрушеніе Турціи, разрушеніе Австріи, окончательное рѣшеніе Восточнаго вопроса въ смыслѣ подчиненія всего Востока Россіи — весь этотъ кровавый миражъ ужасалъ Европу и наполнялъ насъ энтузіазмомъ, отъ котораго остались тяжкія разочарованія, начавшіяся съ конца прошлой войны. Самые успѣхи нашей славянофильской политики, точно такъ же, какъ и ея пораженія и внѣ и внутри Россіи, усугубили это разочарованіе. И если теперь еще въ насъ не совсѣмъ умерла мечта „водрузить крестъ на св. Софіи“, то можно сказать, что сознаніе нашей миссіи въ Восточномъ вопросѣ стало менѣе опредѣленнымъ, чѣмъ когда-либо. У насъ осталось представленіе о томъ, что мы должны разрушить, — и нѣтъ ни малѣйшаго представленія о томъ, какъ и что создать на мѣсто разрушеннаго, какъ и въ чемъ мы можемъ сойтись съ освобожденными нами славянами.

Въ этомъ отношеніи воззрѣнія Леонтьева, основанныя на близкомъ знакомствѣ съ славянами Балканскаго полуострова и съ нашей восточной политикой, особенно поучительны. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, онъ является *славянофиломъ разочарованнымъ* и, что всего любопытнѣе, — напередъ разочарованнымъ, такъ какъ взгляды его выработались гораздо ранѣе Восточной войны.

Такимъ образомъ, несмотря на значительныя отклоненія отъ первоначальнаго славянофильства, мы причисляемъ Леонтьева къ *новѣйшимъ* славянофиламъ, такъ какъ указанныя отклоненія вполнѣ оправдываются внутреннимъ развитіемъ или разложеніемъ первоначальнаго ученія и неизбѣжными разочарованіями, послѣдовавшими отъ его столкновенія съ дѣйствительностью.

II.

Ученіе Леонтьева не легко изложить, такъ какъ онъ самъ нигдѣ не излагалъ его въ связной формѣ и, не обладая способностью

систематическаго построения, писалъ лишь газетныя и журнальныя статьи. Самое „ученіе“, къ тому же весьма односложное и сбивчивое, врядъ ли могло вмѣститься въ другія рамки. Поэтому, хотя онъ написалъ сравнительно немного, — два тома его произведеній читаются съ трудомъ вслѣдствіе многочисленныхъ своихъ повтореній. Журналистъ съ идеей, Леонтьевъ изъ году въ годъ повторялся, пытаясь воздѣйствовать на общественное мнѣніе, какъ капля воды, падающая на камень неизмѣнно въ одномъ направленіи.

Мы уже указали основную идею его литературной дѣятельности: это — византизмъ, какъ совокупность принудительныхъ началъ въ общественной жизни, возведенный въ принципъ охранительной политики; византизмъ, какъ принципъ русскій, а затѣмъ, *можетъ быть*, и всемірной реакціи. Мы сказали уже, что Леонтьевъ былъ романтикомъ средневѣковаго строя ¹⁾. Теперешній Западъ „гніетъ“, потому что всѣ средневѣковыя формы его жизни быстро разлагаются, уступая мѣсто новымъ всюду отчасти однороднымъ формамъ жизни, которыя кажутся Леонтьеву совершенно неорганическими. Стоитъ перелистовать любой историческій атласъ Европы, чтобы видѣть, какъ бывшая пестрота и сложность, характеризовавшая собою „цвѣтеніе“ Европы, постепенно исчезаетъ, сглаживается, какъ политическая система ея упрощается. То же наблюдается и во внутренней жизни отдѣльныхъ государствъ, которая характеризуется, какъ прогрессивная дезорганизация прежнихъ учреждений, сословій, нравовъ, вѣрованій. Разрушеніе всѣхъ неравенствъ, всѣхъ феодальныхъ, аристократическихъ особенностей европейскаго строя, всѣхъ охранительныхъ началъ его, ведетъ постепенно къ полной демократизации этого строя, въ которой европейское общество должно рассыпаться на свои составныя атомы, сливаясь въ одномъ космополитическомъ, анархическомъ хаосѣ. Общественныя формы становятся всюду все болѣе и болѣе сходными: всюду тѣ же либеральныя эгалитарныя тенденціи, та же буржуазія и тотъ же буржуазный идеалъ всеобщаго земного благоденствія; всюду тѣ же юридическіе и политическіе принципы. Самая наука и внѣшняя культура содѣйствуютъ этому всеобщему уравниенію людей и об-

¹⁾ Трудно понять, какой эпохи. Совершенный диллетантъ по своему историческому образованію, онъ самъ затруднился бы дать отвѣтъ на этотъ вопросъ. Такъ (I, 151) онъ говоритъ: „до времени Цезаря, Августа, св. Констанція, Франциска I, Людовика XIV, Вильгельма Оранскаго, Питта, Фридриха II, Перикла, до Кира или Дарія Гистаспа и т. п. *есть прогрессисты правы, есть охранители неправы*. Прогрессисты тогда ведутъ націю и государство къ цвѣтенію и росту. Охранители тогда (когда?) ошибочно не вѣрятъ ни въ ростъ, ни въ цвѣтеніе, или не любятъ, не понимаютъ ихъ“.

щество. Тотъ же эмпирический реализмъ въ искусствѣ и наукѣ, тѣ же фабрики и машины приводятъ людей повсемѣстно къ одному и тому же мѣщански утилитарному матеріализму. Личность нивелируется, какъ и общество: изъ органической клѣтки сложнаго живого тѣла она превращается въ неорганическую частицу социального агрегата, въ которомъ всѣ индивидуальныя различія должны стереться въ всеобщей сѣрой, пошлой посредственности. Леонтьевъ истощается въ нескончаемыхъ повтореніяхъ по этому поводу. Всякая новая машина, новое открытіе, новый каналъ, сближающій людей между собою, приводятъ его въ ужасъ за будущее человечества. Вооруженный всеми открытіями техники, надвигается социализмъ, неизбежный и неотвратимый, по крайней мѣрѣ для западно-европейскаго человечества (II, 291).

Этотъ космополитическій миражъ страшитъ Леонтьева. Во-первыхъ, потому, что во всеобщемъ разрушеніи всѣхъ политическихъ основъ современнаго строя онъ не различаетъ зыбущихъ, охранительныхъ началъ будущаго общества. Никакая изъ существующихъ въ человечествѣ формъ власти не можетъ устоять противъ революціоннаго потока, не въ силахъ овладѣть имъ. Въ своемъ крайнемъ послѣдовательномъ развитіи демократія представляется ему *анархической*. Во-вторыхъ, космополитическій идеалъ всеобщаго земнаго благоденствія представляется ему призрачной, неосуществимой утопіей ложнаго, матеріалистическаго оптимизма. Въ-третьихъ, наконецъ, во всеобщей демократической нивелляціи обществъ и личностей, въ этомъ приведеніи всѣхъ подъ одинъ общій средний уровень Леонтьевъ видитъ окончательную гибель не только всякаго индивидуальнаго разнообразія, самобытности, творчества, но и самой индивидуальной свободы человѣка, которая уживается легче съ самымъ жестокимъ деспотизмомъ, чѣмъ съ этимъ всеобщимъ демократическимъ равенствомъ.

И тѣмъ не менѣе, всѣ историческія событія вѣка, войны, междоусобія и союзы народовъ, ихъ государственныя реформы, точно такъ же, какъ и все движеніе идей, роковымъ образомъ, ведутъ всѣ народы къ этому новому космополитическому строю. У Леонтьева есть своя историческая теорія роста, „сложнаго цвѣтенія“, и разложенія или гніенія государствъ. Государства живутъ не болѣе тысячи, много тысячи-двухсотъ лѣтъ (?), и вотъ, Леонтьевъ съ ужасомъ думаетъ о минувшемъ тысячелѣтіи Россіи... За періодомъ „цвѣтущей сложности“ или „обособленія“ государственной формы, которая возникаетъ изъ „первоначальной простоты“, наступаетъ

періодъ „вторичнаго смѣсительнаго упрощенія“. Наступаетъ моментъ, когда „общественный матеріалъ“, нѣкогда сдерживаемый въ „организующихъ деспотическихъ объятіяхъ“ формы, освобождается отъ деспотизма этой „формы“; части его разлагаются, „разбѣгаются“, смѣшиваются между собою и съ окружающей средою (I, 136—158).

Въ такомъ именно состояніи разложенія и „гніенія“ находится Западъ. Симптомы ясны и грозны. Болѣзнь смертельна и заразна. Это — „холера всеобщаго блага и демократіи“ (I, 179). И Леонтьевъ съ ужасомъ видитъ, что она постепенно проникаетъ въ Россію, не возбуждая въ ея тысячелѣтнемъ организмѣ достаточно сильной реакціи.

Многія статьи Леонтьева написаны съ неподдѣльнымъ страхомъ, ненавистью и скорбью. Несравненно болѣе проникательный, чѣмъ многіе изъ его единомышленниковъ, онъ сознаетъ чрезвычайно живо, что *все* европейское человѣчество вступаетъ въ самый сильный, рѣшительный кризисъ, какой оно переживало. Причины этого кризиса для него столь же непонятны, какъ и его конецъ. Но онъ сознаетъ его неизбежнымъ, неотвратимымъ. Онъ ненавидитъ равенство, боится свободы, не вѣритъ въ братство; но онъ видитъ, что весь провиденціальныи ходъ исторіи ведетъ человѣчество къ какой-то новой сверхъ-народной формѣ политической жизни, къ какому-то универсальному единству.

И онъ имѣетъ мужество проповѣдовать *реакцію*, отчаянную, слѣпую борьбу не только противъ всякаго рода либерализма, противъ обще-европейскаго „прогресса“, но противъ грамотности, техники, противъ всего, что называется цивилизаціей. Ибо вся цивилизація Европы идетъ къ одной роковой универсальной цѣли. Онъ сознаетъ прекрасно, что въ исторіи нѣтъ возврата къ прошлому (I, 184 и др.), что реакція никогда не можетъ помѣшать окончательно осуществленію разъ начавшагося движенія. Онъ пророчитъ Россіи успѣхъ только тамъ, гдѣ она будетъ слѣдовать „освободительной“ политикѣ (Нац. Пол., 39). Во всѣхъ другихъ случаяхъ ее ждутъ лишь пораженія и неудачи (ib.). Онъ убѣжденно доказываетъ, что въ современномъ европейскомъ движеніи сказывается „какая-то таинственная сила, стоящая *внѣ* *человѣческихъ* *соображеній* и *несравненно* *выше* *ихъ*“ (Нац. Пол., с. 24). И тѣмъ не менѣе, объятый страхомъ, онъ проповѣдуетъ борьбу съ этой провиденціальной силой, борьбу, въ успѣхъ которой онъ самъ не вѣритъ (I, 151—2 и др. passim), хотя и возлагаетъ

нѣкоторыя слабыя надежды на Россію и „на ея современную реакцію“. Какъ врачъ у постели безнадежнаго больного, онъ желаетъ хотя бы только отдалить роковую развязку ¹⁾).

Поддерживать существующія государственныя начала въ Европѣ, соблюдая европейскій status quo и усиливая рознь и раздѣленіе европейскихъ державъ всей политикой Россіи; ревниво охранять въ самой Россіи всѣ существующія неравенства, неправоправности, поддерживать самое безграмотство, старовѣрчество, „варварство“ — все, что обособляетъ ее отъ Европы, все, что мѣшаетъ ея сліянію съ нею — таковъ политическій рецептъ, посредствомъ котораго Леонтьевъ надѣется если не побѣдить, то по крайней мѣрѣ остановить на время универсальное движеніе.

„Патріотическіе“ консерваторы врядъ-ли останутся вполне довольны этимъ рецептомъ, не видя въ немъ любимаго своего средства — націонализма, національной политики. Имъ не понравится также сочувствіе консервативнымъ началамъ Запада и простое охраненіе status quo въ Европѣ и въ Россіи. Въ программѣ Леонтьева они не найдутъ ни объединенія славянъ, ни руссификаціи окраинъ, ни даже отрицательнаго уравниенія всѣхъ общественныхъ группъ въ всеобщемъ лишеніи всякихъ правъ и всякой „такъ называемой свободы“. Совершенно напротивъ! Леонтьевъ считалъ національную политику „орудіемъ всемірной революціи“; націонализмъ — замаскированнымъ выраженіемъ ложной демократической идеи, возведенной въ абсолютный принципъ политики. Болѣе послѣдовательный, чѣмъ его единомышленники, онъ считалъ націонализмъ ложнымъ принципомъ не только у финляндцевъ, нѣмцевъ или у мадьяръ, но и у славянъ, и у насъ. Поэтому онъ возставалъ и противъ панславизма, и противъ „руссификаціи окраинъ“, — видя въ національной политикѣ лишь орудіе космополитической нивелляціи европейскихъ народовъ, крайней, чисто отрицательной демократизаціи общества. Недаромъ же Леонтьевъ находилъ Каткова недостаточно консервативнымъ!

Намъ кажется, Леонтьевъ понималъ иногда подъ національной политикой вещи довольно разнородныя. Но это не помѣшало ему — одному изъ нашихъ консерваторовъ — разгадать сущность современнаго націонализма. Въ этомъ отношеніи воззрѣнія его чрезвы-

¹⁾ II, 215. „Всякая реакція есть лѣченіе не радикальное, а лишь временная поддержка организма, чѣмъ-нибудь уже неизлечимо разстроеннаго. — Ib. 135. Быть просто консерваторомъ въ наше время было бы трудомъ напраснымъ. Можно любить прошлое, но нельзя *впритъ* въ его даже приблизительное возрожденіе“.

чайно любопытны. На первый взглядъ они прямо противоположны теоріямъ славянофиловъ, ибо Леонтьевъ возстае не только противъ „универсальнаго всечеловѣческаго братства“, но и противъ всеславянскаго единенія — и даже противъ руссификаціи окраинъ. На самомъ дѣлѣ, однако, онъ не такъ далекъ отъ нихъ, какъ это кажется, преслѣдуя строго консервативную цѣль.

„Руссификація окраинъ, — говоритъ Леонтьевъ (II, 182), — есть ни что иное, какъ демократическая европеизація ихъ“. „Для нашего, слава Богу, еще пестраго государства полезны своеобразныя окраины, полезно упрямое иновѣрчество: слава Богу, что *нынешней руссификаціи* дается отпоръ“. Въмѣсто того, чтобы вводить насильственно наше демократическое земство и наши новые суды, которые мы почему-то считаемъ русскими, мы бы должны ревниво оберегать существующія „неравенства и неправоправности, которыя еще можно сохранить дружными усиліями“ (186). Пока въ насъ самихъ не взяли окончательно верха охранительныя, дисциплинирующія начала византизма, интеллигенцію собственно русскую не слѣдуетъ предпочитать иновѣрцамъ и инородцамъ нашимъ“ (183)... „не только старовѣры и паписты, но и буддисты, астраханскіе мусульмане и скопцы — дороже намъ русскихъ либераловъ“ (181)... Брѣвкіе католики — „весьма полезны не только для Европы (Богъ съ ней съ Европой), но и для Россіи“¹⁾.

Въ своей брошюркѣ: „Національная политика, какъ орудіе всемірной революціи“ (Москва 1889), Леонтьевъ доказываетъ слѣдующій общій тезисъ: „движеніе современнаго политическаго націонализма есть ни что иное, какъ видоизмѣненное, только въ пріемахъ, распространеніе космополитической демократизаціи“ (Нац. Пол., с. 6). „У многихъ вождей и участниковъ этихъ движеній XIX вѣка цѣли дѣйствительно были національныя, обособляющія, иногда даже культурно своеобразныя, но результатъ до сихъ поръ у всѣхъ былъ одинъ — космополитическій. Почему это такъ — не берусь еще сообразить“ (с. 7)... „Когда мы видимъ, что побѣды и пораженія, воору-

¹⁾ Пока мы будемъ въ остзейскомъ краѣ, „вмѣсто европеизма феодальнаго, который далъ парамъ русскимъ столько хорошихъ полководцевъ и политиковъ, вводить европеизмъ эгалитарно-либеральный“, мы будемъ служить космополитическому дѣлу „всеобщаго уравненія“, а никакъ не русскому дѣлу, которому лучше служили остзейцы. („Я впрочемъ не знаю навѣрное, какія реформы предстоятъ остзейскому краю, — пишетъ Леонтьевъ въ 1882 г., — но и не знаю, боюсь ихъ“. II, 189). „Одинъ породистый остзейскій баронъ самъ по себѣ стѣбитъ цѣлой сотней эстскаго и латышскаго разночинства“ (Нац. Пол., 12). „Бароны — образы и величины опредѣленные и значительныя. А что такое эсты? Къ чему эта племенная демократизація? Пусть ихъ не слишкомъ тѣснятъ — и довольно!“ II, 189.

женныя возстанія народовъ и, если не всегда благодѣтельныя, то несомнѣнно, благонамѣренныя реформы многихъ монарховъ, освобожденіе и покореніе націй, однимъ словомъ — самыя противоположныя историческія обстоятельства и событія приводятъ всѣхъ къ одному результату — къ демократизаціи внутри и ассимиляціи во внѣ — то, разумѣется, является потребность объяснить все это болѣе глубоко, высшей и отдаленной (а можетъ-быть, и весьма печальной) телеологіей“ (с. 23).

Леонтьевъ разсматриваетъ затѣмъ политическія событія Европы, начиная съ освобожденія Греціи, которая такъ быстро утратила свою самобытную физиогномію, получивъ политическую свободу. „Этотъ приговоръ исторіи повторяется съ тѣхъ поръ неизмѣнно: все то, что противится политическому движенію племень къ освобожденію, объединенію... все это побѣждено, унижено, ослаблено. И замѣтите, все это противящееся (за немногими исключеніями, подтверждающими правило) носитъ тотъ или другой *охранительный характеръ*. Въ 1859 г. побѣждена Австрія, католическая, монархическая, самодержавная, аристократическая, анти-національная, чисто-государственная, которую не даромъ предпочиталъ даже и Пруссіи нашъ великій охранитель Николай Павловичъ“ (24)... Вмѣстѣ съ ослабленіемъ этого „весьма охранительнаго“ государства, „у папы почти въ то же время отнята часть земли“; готовится объединеніе Германіи и пораженіе Франціи, ея обращеніе въ „мѣщанскую республику“. Замѣчательное дѣло! Чтобы побѣдить въ Крыму „крѣпко-сословную, дворянскую, консервативную, самодержавную“ Россію Николая I у Франціи нашлась и сила и мудрость. Когда же, въ 1862 и 1863 годахъ, „взбунтовалась весьма дворянская и весьма католическая Польша противъ Россіи, искренно увлеченной своимъ разрушительно-эмансипаціоннымъ процессомъ“, у Франціи не нашлось ни мудрости, ни силы „въ пользу реакціоннаго польскаго бунта“ (26). Послѣ своей побѣды Россія еще больше увѣровала „въ свою эгалитарно-либеральную правоту“, стала „еще и еще либеральнѣе сама, насильственно демократизировала Польшу и больше прежняго ассимилировала ее“. И та и другая, Польша и Россія *боролись подъ знаменемъ національнымъ*“, движимыя національнымъ кровнымъ чувствомъ своимъ“. И вмѣстѣ съ тѣмъ, сами того не подозрѣвая, мы послужили „все тому же космополитическому всепретворенію! До 1863 г. и Польша, и Россія,—обѣ внутренними порядками своими гораздо менѣе были похожи на современную имъ Европу, чѣмъ онѣ обѣ стали послѣ этой борьбы за національность“ (26 — 27). Съ

начала 60-х годовъ „не только въ обществѣ русскомъ, но и въ правительственныхъ сферахъ племенные чувства начинаютъ брать верхъ надъ государственными инстинктами... и пробужденіе этого племеннаго чувства совпадаетъ по времени съ весьма искреннимъ и сильнымъ внутренно уравнительнымъ движеніемъ (эмансипація и т. д.). Мы тогда стали больше думать о славянскомъ націонализмѣ и дома, и за предѣлами Россіи, когда учрежденіями и правами стали вдругъ быстро приближаться къ все-Европѣ“ (25).

Наша славянская политика, равно какъ и все современное развѣ славянства, носить тотъ же ультра-демократическій характеръ. Въ первомъ томѣ сборниковъ статей Леонтьева есть цѣлый рядъ замѣчательныхъ статей, ярко и оригинально освѣщающихъ славянское движеніе съ этой точки зрѣнія. До Восточной войны Леонтьевъ понималъ вполне славянъ Балканскаго полуострова. Если западные славяне являются ему буржуазными нѣмцами и мадьярами, переведенными на славянскіе языки, съ космополитическимъ либерализмомъ, съ среднимъ обще-европейскимъ политическимъ и культурнымъ міросозерцаніемъ, то тѣ же политическія тенденціи, то же міросозерцаніе, проникаютъ болгаръ и сербовъ. Изучивъ ихъ бытъ и права, ихъ политическія идеи и церковныя дѣла, Леонтьевъ пришелъ къ тому убѣжденію, что православіе не служитъ и не можетъ служить культурною связью между этими народами и нами, такъ какъ *филетизмъ*, *націонализмъ*—проникаетъ собою самую церковную политику православныхъ народовъ, сѣя расколы и распри между ними. Славянская интеллигенція съ полу-европейскимъ образованіемъ индифферентна къ религіи, если не прямо враждебна ей, и самыя народныя массы отличаются косностью и равнодушіемъ. Нынѣшній христіанскій Востокъ еще до войны представлялся Леонтьеву „царствомъ невѣрующихъ *érisièrs*, для которыхъ религія ихъ соотчичей низшаго класса есть лишь удобное орудіе агитаціи,—орудіе племеннаго политическаго фанатизма въ ту или другую сторону“ (I, 134)¹⁾. Русскій политическій строй, русское самодержавіе также непонятно и не симпатично имъ: „всѣ юго-западные славяне безъ исключенія демократы и конституціоналисты“ (I, 130). Русская сила страшитъ ихъ тамъ, гдѣ она не нужна имъ для ихъ собственныхъ національ-

¹⁾ „Въ послѣднее время даже турецкіе министры такъ изучили нашъ церковный вопросъ, что дѣлаютъ нерѣдко болгарамъ очень основательныя каноническія возраженія, когда тѣ слишкомъ спѣшатъ. Туркамъ иногда, для спокойствія имперіи, приходится защищать православіе отъ увлеченія славянскихъ агитаторовъ“ (Тамъ же).

ныхъ цѣлей, для ихъ „уѣздныхъ желаній“. Событія послѣднихъ лѣтъ оправдали Леонтьева, и хотя многое измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ онъ писалъ, статьи перваго тома его сборника сохраняютъ большое значеніе для тѣхъ, кто желаетъ ознакомиться съ дѣйствительнымъ политическимъ положеніемъ современнаго славянства.

Не имѣя никакихъ „охранительныхъ преданій“, никакихъ органическихъ сословныхъ группъ и учреждений, славянскія племена, никогда не жившія самостоятельной государственной жизнью, являются лишь этнографическими единицами, предназначенными увеличить собою контингентъ космополитической демократіи. Турція и Австрія представляли собою государственное начало для этихъ племенъ. Чѣмъ же можетъ быть ихъ самостоятельная политическая жизнь, ихъ автономія, безъ всякихъ задатковъ органическаго творчества, безъ всякаго политическаго наслѣдія, кромѣ привычки къ интригамъ и ходячаго радикализма безсословной, полуобразованной интеллигенціи, только что отпущенной на волю? Конституціи болѣе либеральныя, чѣмъ гдѣ-либо; демократическій націонализмъ; плутократія кулаковъ; демагогія мелкихъ адвокатовъ, писарей, учителей; „космополитическое безсословное всесмѣшеніе“, доходящее до полной утраты прежнихъ національных и бытовыхъ особенностей, той самобытной индивидуальности народной, которая сохранялась при самомъ жестокомъ рабствѣ. Скорѣе, чѣмъ другіе народы Европы, эти племена безъ государственныхъ инстинктовъ, безъ политическаго прошлаго обезличиваются въ обще-европейскихъ, космополитическихъ формахъ, теряя то небольшое, что они имѣли. На чемъ же можетъ сойтись съ ними Россія, если она не захочетъ присоединить ихъ насильственно, чтобы создать себѣ „пять или шесть Польшъ вмѣсто одной“?

„Раздѣлять юго-славянъ можетъ многое; объединить же ихъ и согласить безъ (такого) вмѣшательства Россіи — можетъ только нѣчто общее имъ всѣмъ, нѣчто такое, что стояло бы на почвѣ нейтральной, внѣ православія, внѣ византизма, внѣ сербизма, внѣ католичества, внѣ гуситскихъ воспоминаній, внѣ Юрія Падѣбрадскаго, внѣ Крума, Любуши и Марка-Краевича, внѣ крайне-болгарскихъ надеждъ. Это, внѣ всего этого стоящее, можетъ быть только нѣчто крайне демократическое, индифферентное, отрицательное, якобински, а не старо-британски конституціонное, быть можетъ, даже федеративная республика“ (I, с. 133).

„Образованіе одного сплошнаго и всеславянскаго государства было бы началомъ паденія царства русскаго... Русское море изсякло бы

отъ сліянія въ немъ славянскихъ ручьевъ (I, 9)¹⁾. На этомъ основаніи Леонтьевъ и озабоченъ возможно долгимъ сохраненіемъ Австріи и европейской Турціи, какъ оплота противъ грядущаго, неизбежнаго панславизма. „Хуже самого жестокаго пораженія на полѣ брани“ онъ боится, „чтобы не распалась Австрія, и чтобы мы не оказались внезапно и безъ подготовки лицомъ къ лицу съ новыми миллионами эгалитарныхъ и свободолюбивыхъ братьевъ славянъ“ (Нац. Пол., 32). На этомъ основаніи Леонтьевъ полагаетъ, что „истинное славянофильство“, истинно-русскій націонализмъ, „обособляющій нашъ духъ и бытовые формы наши“, долженъ „отнынѣ стать жестокимъ противникомъ опрометчиваго, чисто политическаго панславизма“. (Нац. Пол. 45).

Таковы пророческія предостереженія нашего разочарованнаго славянофила. Жалѣемъ, что мѣсто не позволяетъ намъ привести болѣе подробныя выдержки. Леонтьевъ настаиваетъ на томъ, что не только справедливость и нравственныя соображенія, но простой политическій расчетъ будетъ вынуждать Россію „нердко, если не постоянно, поддерживать всѣми силами своими иноплеменниковъ и этнографическихъ сиротъ Востока, грековъ, румынъ, быть можетъ мадьяръ и азіатскихъ мусульманъ“, защищая ихъ противъ, „узкаго славизма“, равно опаснаго для нихъ и для нашей государственной идеи „великорусскаго царизма“ (I, 26). Ибо такова „особая политическая судьба“ Россіи: „интересы ея носятъ какой-то нравственный характеръ поддержки слабѣйшаго, угнетеннаго“ (I, 18) — независимо отъ его племени.

„Что такое племя безъ системы своихъ религіозныхъ и государственныхъ идей? За что его любить? — За кровь? — но кровь, вѣдь, съ одной стороны ни у кого не чиста, и Богъ знаетъ, какую иногда кровь любишь, полагая, что любишь свою, близкую? — И что такое чистая кровь? — безплодіе духовное! Всѣ великія націи очень смѣшанной крови. — Языкъ? — но языкъ что такое? Языкъ дорогъ намъ какъ выраженіе родственныхъ и дорогихъ намъ идей и чувствъ... Любить племя за племя — натяжка и ложь. Другое дѣло, если племя, родственное намъ хоть въ чемъ-нибудь, согласно съ нашими особыми (?) идеями, съ нашими коренными чувствами“ (I, 105).

III.

Націонализмъ есть идея „космополитическая, анти-государственная, противорелигіозная, имѣющая въ себѣ много разрушительной

¹⁾ Ср. I, 122.

силы и ничего созидающаго" (I, 106). Эта оригинальная мысль Леонтьева резко отличает его не только от Каткова, но и от славянофиловъ. Изъ нашихъ консерваторовъ, сколько мы знаемъ, онъ одинъ возсталъ противъ націонализма во имя охраненія. Онъ призывалъ всѣхъ „не-радикаловъ“ служить „объективнымъ идеямъ государства и церкви“, предоставляя разрушителямъ „любить національную идею“, чтобы на почвѣ національной политики опередить Европу въ „животномъ космополитизмѣ“ (I, 106—135). Но такова пророчья судьба, что наши націоналисты сами не знаютъ, чему они работаютъ. Утративъ „государственный инстинктъ“, большинство консерваторовъ нашихъ считаетъ охранительнымъ этотъ „революціонный принципъ“. „Провидѣнію не угодно, чтобы *предвѣднѣя* одинокаго мыслителя разстроивали ходъ исторіи посредствомъ *преждевременнаго* дѣйствія на умы“ — такими словами утѣшалъ себя Леонтьевъ въ своемъ умственномъ одиночествѣ еще въ 1889 году ¹⁾! А онъ могъ бы жить и сотрудничать въ „Гражданинѣ“ еще много лѣтъ безъ всякой надежды открыть глаза нашимъ „бѣлымъ нигилистамъ“...

Казалось бы, аргументы Леонтьева ясны и убѣдительны. Прежде всего націонализмъ, какъ признаніе абсолютнаго верховенства націи и національныхъ интересовъ, есть лишь простое видоизмѣненіе ложнаго демократизма. Возведенный въ универсальный политическій принципъ, онъ невольно сталкивается съ другими началами сверхъ-народнаго характера, съ „объективными идеями церкви и государства“, извращая или отрицая ихъ вовсе. Ясно, что такой націонализмъ носить анти-религіозный характеръ, съя расколы, подчиняя интересы вселенскаго христіанства *языческой*, племенной политикѣ; ясно также, что онъ носить характеръ анти-культурный, ставя національное выше общечеловѣческаго. Нашъ обскурантизмъ и столь ополчившаяся теперь „борьба съ западнымъ просвѣщеніемъ“ достаточно объ этомъ свидѣлствуютъ. Наконецъ, націонализмъ носить анти-государственный характеръ, поскольку основные правовые и политическіе принципы искажаются имъ въ самомъ корнѣ, подчиняясь совершенно чуждому началу. Въ великомъ государствѣ съ смѣшаннымъ населеніемъ, съ сложными культурными и политическими задачами націонализмъ является особенно опаснымъ. Леонтьевъ справедливо указываетъ, что русская идея, которую онъ понимаетъ, какъ „православіе и самодержавіе“, противорѣчитъ узкому націона-

¹⁾ „Нац. Пол.“, стр. 6.

лизму; „вѣра въ Христа не требуетъ непременно вѣры въ Россію“ (I, 184); церковь имѣетъ универсальный, вселенскій характеръ. Самодержавная власть, которую нашъ народъ чтитъ религіозно, самоотверженно, безкорыстно, также имѣетъ въ его собственныхъ глазахъ сверхъ-народный характеръ и призваніе. Лишь въ служеніи „объективнымъ идеаламъ“ всеобщей правды, въ своемъ ли народѣ или вмѣстѣ съ нимъ во всемъ человѣчествѣ, она утверждаетъ это свое высшее значеніе и право. Наши узкіе націоналисты, наши ложные консерваторы подкапываютъ и компрометируютъ эту великую идею универсальной власти болѣе, чѣмъ открытые враги ея, такъ какъ они противопоставляютъ ее элементарнымъ общечеловѣческимъ принципамъ права и общественности.

Что же однако самъ Леонтьевъ противопоставляетъ этому „націонализму“? — Универсализмъ, истинное служеніе вселенскому единству, всемірному братству, или широкое развитіе государственной идеи нашей? — Мы видѣли, что нѣтъ! На самомъ дѣлѣ и несмотря на свою критику націонализма и славянофильства, онъ до конца дней своихъ оставался славянофиломъ, хотя и разочарованнымъ, — испуганнымъ націоналистомъ, который тѣмъ болѣе зывалъ къ насилію и реакціи, чѣмъ сильнѣе онъ робѣлъ и сомнѣвался. Это траги-комическое положеніе дѣлаетъ разсужденія Леонтьева крайне сбивчивыми и противорѣчивыми. Поэтому онъ — то полемизируетъ съ націонализмомъ, ясно и убѣжденно доказываетъ его внутреннюю ложь, — то рѣшительно отказывается понять, почему собственно націонализмъ есть принципъ разрушительный, и, заявляя себя послѣдователемъ Данилевскаго, признаетъ, что народность есть сама себѣ цѣль (II, 27). То онъ жестоко, съ горькимъ цинизмомъ разбиваетъ мечтанія славянофиловъ о какой-то самобытной культурѣ, то вдругъ самъ мечтаетъ о скорѣйшемъ разрушеніи Парижа анархистами, чтобы создать на его мѣсто центръ какой-то совершенно новой культуры въ Царьградѣ. То показываетъ онъ, что политика Россіи должна въ ея же собственныхъ интересахъ носить нравственный характеръ соблюденія универсальной *правды*, то, наоборотъ, онъ вмѣняетъ ей въ обязанность обманъ и лугавство (I, 244), возводя полную безнравственность въ политическій принципъ. Мѣстами онъ утверждалъ, что назначеніе Россіи никогда не было и не будетъ чисто славянскимъ (I, 283), что „чисто славянское содержаніе слишкомъ бѣдно для ея всемірнаго духа“ (I, 10); мѣстами, наоборотъ, вооружается противъ самаго распространенія грамотности въ нашемъ народѣ, изъ опасенія, чтобы черезъ ея

посредство не проникли въ него элементы европейскаго просвѣщенія (II, 1—33).

Для характеристики Леонтьева, точно такъ же, какъ и для характеристики всего нашего новѣйшаго славянофильствующаго націонализма, особенно типична статья: „Грамотность и народность“ (первая во второмъ томѣ), гдѣ нашъ авторъ откровенно превозноситъ варварство, безграмотность и старовѣрчество, какъ наилучшее средство обособленія національной фizioноміи нашего народа¹⁾.

Національность, „національное своеобразіе“ — должно быть пока у славянъ само себѣ цѣлью (24), ибо ихъ грядущая культура должна настолько отличаться отъ всей западной Европы, „насколько греко-римскій міръ отличался отъ азіатскихъ и африканскихъ государствъ, или наоборотъ (!)“ (25). Поэтому-то нынѣшняя грамотность, нося въ себѣ обще-культурные элементы, и является столь опасной для народнаго своеобразія. Въ чемъ же состоитъ это своеобразіе, которое мы должны оберегать столь ревниво? Леонтьевъ приводитъ нѣсколько „любопытныхъ образцовъ“ его, которые онъ признаетъ особенно „драгоценными и трогательными“ (13). Первый образецъ — дѣло изувѣра-раскольника Куртина, который звѣрски зарѣзалъ родного сына въ жертву Спасу и потомъ уморилъ себя голодомъ въ острогѣ (13—15). Второй образецъ — дѣло казака Кувайцева, по совѣту ворожеи осквернившего могилу своей любовницы, чтобы избавиться отъ тоски (15—18). Третій образецъ — дѣйствительно назидательный — духовнаго суда у молоканъ, секты грамотной и, какъ извѣстно, „западно-европейскаго“ происхожденія, въ которой, какъ говоритъ самъ авторъ въ другомъ мѣстѣ (I, 100) — „византійскаго уже ничего не осталось“. Наконецъ, четвертый примѣръ — уже не изъ судебной практики — русская кухня и красавица въ сарафанѣ и кокошникѣ на выставкѣ въ трактирѣ Корещенка, привлекающая „иностранцевъ“ въ заведеніе и дающая нашему автору поводъ замѣтить, что „національное своеобразіе не можетъ держаться однимъ охраненіемъ“ (20).

И въ этой самой статьѣ, гдѣ Леонтьевъ проповѣдуетъ полное обособленіе Россіи отъ Европы путемъ искусственнаго поддержанія народнаго варварства, Леонтьевъ совершенно неожиданно признаетъ

¹⁾ „Да! въ Россіи много еще того, что зовутъ „варварствомъ“. И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу васъ; я хочу сказать только, что нашъ безграмотный народъ болѣе, чѣмъ мы, хранитель народной фizioноміи, безъ которой не можетъ создаться своеобразная цивилизація“ (9); ср. II, 73: старовѣрчество — какъ „истинное смотрѣніе Божіе“, какъ „одинъ изъ самыхъ спасительныхъ тормазовъ нашего прогресса“.

пользу и даже необходимость европейскаго просвѣщенія для національной культуры въ силу универсальнаго, сверхъ-народнаго значенія его общечеловѣческихъ началъ. Но признавъ на стран. 24, что „обле-
чение общихъ идей въ національныя формы можетъ принести и уже во многомъ принесло богатую жатву“, онъ тутъ же, чрезъ пять строкъ, признаетъ, „что одними и тѣми же идеями, какъ ни казались онъ современникамъ хорошими и спасительными, человечество жить не можетъ“, и что для служенія всемірной цивилизаціи нужно только развивать „свое національное“.

Отмѣтимъ это явное противорѣчіе, эти фразы, прикрывающія полную путаницу понятій. Отмѣтимъ также націонализмъ, доведенный до высшихъ крайнихъ предѣловъ, договорившійся до совершеннаго абсурда — проповѣдь варварства, отрицаніе какихъ-либо пребывающихъ общихъ идей, которыми могло бы жить человечество. Что станется въ такомъ случаѣ съ христіанской и монархической идеей, съ древнимъ византизмомъ, въ которомъ Леонтьевъ усматривалъ также общую „объективную идею“, противную ложному націонализму! Правда, что приведенная статья написана въ 1870 г., послѣ котораго многія мнѣнія нашего автора значительно уяснились. Но съ годами полемика противъ націонализма и разочарованіе въ славянофильствѣ усилились, а противорѣчія остались прежнія до конца и даже обострились возрастающимъ разочарованіемъ въ томъ самомъ славянствѣ, отъ котораго онъ, вмѣстѣ съ Данилевскимъ, ждалъ новаго „культурнаго типа“, новой всемірной культуры на старый восточный ладъ¹⁾. „Пышныя перья самобытной хомяковской культуры разлетѣлись впрахъ туда и сюда при встрѣчѣ съ жизнью, и осталась вмѣсто нарядной птицы какая-то очень большая, но куца и сѣрая индюшка, которая жалобно клохчетъ, что ей плохо, и не знаетъ, что дѣлать“ — ѣдкая эпиграмма по адресу новѣйшаго славянофильства, которая падаетъ прежде всего на голову автора²⁾.

Какъ Данилевскій — этотъ славянофилъ въ зоологіи и зоологъ въ славянофильствѣ — Леонтьевъ, считающій себя его ученикомъ и послѣдователемъ, столь же чуждъ настоящаго историческаго образованія и еще болѣе философскаго пониманія исторіи. Народы и государства въ своемъ ростѣ, цвѣтеніи, дрихлѣніи представляются ему какими-то громадными дубами, которые живутъ до тысячи лѣтъ и затѣмъ падаютъ, чтобы дать мѣсто новымъ деревьямъ. Нивагого

¹⁾ Ср. I, 76, примѣчаніе 1884-года.

²⁾ II, 183.

преимущества, никакого единства культуры, даже христианской — нѣтъ и не должно быть, какъ нѣтъ и не должно быть единого человечества. Подумаешь, что есть только одно единство смерти и общаго разрушенія!

Въ этомъ сказывается всего ярче недостатокъ вѣры въ тѣ универсальныя идеи, которыя исповѣдуетъ Леонтьевъ. Отсюда его страхъ передъ тѣмъ универсальнымъ движеніемъ, тѣмъ providentialнымъ стремленіемъ къ единству, которое онъ усмотрѣлъ въ современномъ человечествѣ. Отсюда же вся его безнадежная политическая программа тѣхъ временныхъ запрудъ и плотинъ, которыми онъ думаетъ его замедлить, тѣхъ реакціонныхъ палліативовъ, которые онъ предлагаетъ, самъ не вѣря въ ихъ дѣйствительность.

IV.

Есть, впрочемъ, одна общая идея, общее начало, къ которому обращается Леонтьевъ: это *византизмъ*, какъ совокупность принудительныхъ началъ въ человѣческомъ обществѣ.

Въ разсужденіяхъ Леонтьева о византизмѣ въ его отношеніи къ славянству вообще и къ Россіи въ частности есть много оригинальных и вѣрныхъ, хотя и одностороннихъ мыслей. Онъ настаиваетъ на томъ, что „византійскій духъ, византійскія начала и вліянія, какъ сложная ткань нервной системы, проникаютъ насквозь весь великорусскій общественный организмъ“ (I, 100). Основы нашего государственнаго и домашняго быта, вся наша сила и дисциплина, наше творчество, словомъ — вся наша жизнь пропитаны византизмомъ и связаны съ нимъ неразрывно. Самое христианство, точно такъ же какъ и семейная жизнь, немыслимо въ Россіи „безъ византійскихъ основъ и безъ византійскихъ формъ“ (I, 85). Реформа Петра, измѣнивъ многое національное русское, оставила нетронутымъ этотъ коренной византизмъ „съ тѣмъ двойственнымъ характеромъ церкви и родового самодержавія, съ которымъ онъ утвердился на Руси“ (199). На этотъ византизмъ и возлагаетъ Леонтьевъ всѣ свои надежды.

Но и здѣсь, однако, есть мѣсто сомнѣніямъ и недоумѣніямъ. И здѣсь мы не находимъ у Леонтьева твердой, спокойной вѣры въ свой идеаль.

Прежде всего „однѣми и тѣми же идеями, какъ бы ни казались онѣ современникамъ хорошими и спасительными, человечество постоянно жить не можетъ“ (II, 29): чтобы послужить себѣ и вселенной, Россія должна сказать міру „что-либо мировое, свое“ (23),

помимо византизма, которымъ она жила столько вѣковъ. Что же, спрашивается, представляетъ изъ себя славянство съ Россіей во главѣ — за вычетомъ византизма? „Отвѣта нѣтъ! — говоритъ Леонтьевъ (I, 106): — „славянство есть и оно очень сильно; славизма, какъ культурнаго зданія, нѣтъ уже или нѣтъ еще“ (I, 122). „Для существованія славянъ необходима мощь Россіи. Для силы Россіи необходимъ византизмъ... Правится ли намъ это или нѣтъ, худо это византийское начало или хорошо оно, но оно — единственный надежный якорь, не только русскаго, но и славянскаго охраненія“ (I, 119)¹). „Пышныя перья самобытной хомяковской культуры разлетались впрахъ при встрѣчѣ съ жизнью“: такой культуры у насъ нѣтъ, и нѣтъ никакихъ положительныхъ доказательствъ въ пользу того, что мы ее выработаемъ. „Развѣ рѣшено, что именно предстоитъ Россіи въ будущемъ? Развѣ есть положительныя доказательства, что мы молоды? Иные находятъ, что наше сравнительное умственное безплодіе въ прошедшемъ можетъ служить доказательствомъ нашей незрѣлости или нашей молодости. Но такъ ли это? Тысячелѣтняя бѣдность творческаго духа еще не ручательство за будущіе богатые плоды“ (186). Напрасны также славянофильскія надежды на простой народъ, ибо „не онъ въ теченіе времени окрашиваетъ высшіе слои, но эти высшіе слои вездѣ одинаково вліяютъ на низшіе“ (207)²). Молодость наша, — говорю я съ горькимъ чувствомъ, — *сомнительна*. Мы прожили много, *создали духомъ мало*, и стоимъ у какого-то рокового предѣла“ (188). Сколько унынія, сомнѣнія, разочарованія въ этихъ словахъ! „Надо крѣпить себя, меньше думать о *благѣ* и больше о *силѣ*. Будетъ сила, будетъ и кой-какое благо, возможное!“ (183).

Но самый византизмъ, этотъ якорь всеобщаго охраненія, имѣетъ ли онъ въ глазахъ Леонтьева достаточно молодости и живучести? Онъ выработался окончательно въ *дряхлой* Византіи, которая лишь *доживала жизнь Рима*. „Она была молода и сильна религіей. И разнообразіе ея было именно на религіозной почвѣ. Замѣчательно, что къ X вѣку были почти уничтожены или усмирены всѣ ереси, придававшія столько жизни и движенія византийскому міру. Торжество *простого консерватизма* оказалось для государства такъ же вредно,

¹) Ср. I, 81. „Идея византизма крайне ясна и понятна... Ничего подобнаго мы не видимъ во всеславянствѣ. Представляя себѣ мысленно всеславизмъ, мы получаемъ только какое-то аморфическое, стихійное, неорганизованное представленіе, ничто подобное виду дальнихъ и обширныхъ облаковъ, изъ которыхъ по мѣрѣ приближенія ихъ могутъ образовываться самыя разнообразныя фигуры“.

²) Ср. II, 163.

какъ и слишкомъ смѣсительный прогрессъ... Съ IX и X вѣковъ зрѣлище Византіи становится все проще, все суше, все однообразнѣе въ своей подвижности. Это процессъ какого-то одичанія въ родѣ упрощенія разнообразныхъ садовыхъ яблокъ, которыя постепенно становятся всѣ дикими и простыми, если ихъ перестать прививать“ (178—9).

Такимъ образомъ, чистый, неразтворенный византизмъ могъ бы задушить то, что онъ долженъ охранять, ибо, какъ выражается нашъ авторъ въ другомъ мѣстѣ, „государство есть своего рода организмъ, которому нельзя дышать исключительно азотомъ полного застоя“ (II, 75). Къ тому же оказывается, что византизмъ далеко не исчерпываетъ собою всѣхъ „охранительныхъ началъ“ человѣческаго общества. Обособляя Россію отъ Европы, онъ не заключаетъ въ себѣ консервативныхъ началъ и учреждений, дѣйствіе которыхъ могло бы распространяться на эту послѣднюю, какъ, напримѣръ, — католицизма, феодализма. Притомъ Леонтьевъ, консерваторъ-государственникъ западнаго, вовсе не русскаго типа, справедливо указываетъ на то, что духъ охраненія въ высшихъ слояхъ общества на западѣ былъ всегда сильнѣе, чѣмъ у насъ (I, 185). Не скрывая своего сочувствія къ консервативнымъ устоямъ западной Европы, Леонтьевъ открыто симпатизируетъ папству, видя въ немъ развитіе начала авторитета, іерархическаго начала, какого онъ не находитъ въ восточной церкви¹⁾. Съ другой стороны, отстаивая вселенскій характеръ власти греческаго патріарха, Леонтьевъ сѣтуетъ на то, что корни губительной „національной политики, національнаго самоутвержденія или націонализма лежатъ въ „филетизмѣ“, проникающемъ собою всю политику восточныхъ церквей²⁾. Въ „византизмѣ“ такимъ образомъ ослабляется іерархическій принципъ. Равнымъ образомъ, въ силу своего отношенія къ свѣтской власти, духовная власть при византійскомъ строѣ общества не можетъ имѣть должной независимости, не говоря уже о томъ подавляющемъ развитіи, котораго она достигла въ западной Европѣ. Такъ, на Востокѣ „чистѣйшіе интересы православія (не политическаго, а духовнаго) тѣсно связаны съ *властью магометова наследника* есть залогъ охраненія и *свободы* для христіанскаго аскетизма“, (II, 266).

Итакъ, „прочный якорь всеславянскаго охраненія“ оказывается во всякомъ случаѣ непригоднымъ для спасенія погибающей Европы,

¹⁾ Ср. I, 107, II, 306 и др. Нап. Пол. passim.

²⁾ I. 256.

ни для созданія „самобытной славяно-азиатской культуры“. И Леонтьевъ до такой степени боится за его крѣпость для самой Россіи, что рекомендуетъ усилить его дѣйствіе другими вспомогательными „тормазами“ и „желѣзными крюками“. Онъ до такой степени боится наступленія развязки на Балканскомъ полуостровѣ, что дрожить за существованіе Турціи, сознавъ „съ ужасомъ и горемъ, что *благодаря только туркамъ* и держится еще многое истинно православное на Востокѣ“ (I, 266).

И тѣмъ не менѣе онъ все еще мечтаетъ о наступленіи какой-то самобытной славяно-азиатской культуры, для осуществленія которой онъ предлагаетъ слѣдующую политическую комбинацію: соглашеніе съ Германіей, война съ Австріей и взятіе Царьграда; преданіе „буржуазныхъ“ чеховъ „на совершенное сѣденіе“ нѣмцамъ („ну ихъ, чеховъ!“)¹⁾; водвореніе анархій во Франціи и окончательное разрушеніе Парижа анархистами. Константинополь долженъ составить центръ новой культуры, такъ какъ „разъ вѣковой строй нашей жизни разрушенъ эмансипаціоннымъ процессомъ — новая прочная организація на старой почвѣ и изъ однихъ старыхъ элементовъ становится невозможной“ (I, 246). Константинополь даже „не долженъ быть реальною частью или провинціей русской имперіи“, но „принадлежать лично Государю Императору“, „стоять въ такъ называемой *union personnelle* съ русской короной... Тамъ само собою (?) при подобномъ условіи и начнутся *тѣ новые порядки*, которые могутъ служить высшимъ объединяющимъ культурно-государственнымъ примѣромъ, какъ для тысячелѣтней, *несомнѣнно уже устарѣвшей* и съ 1861 года *заболевшей эмансипаціей* Россіи, такъ и для *испорченныхъ европейскими вліяніями авинскихъ грековъ и юго-славянъ* (Ib.).

Какъ ни фантастиченъ подобный планъ — въ немъ есть своеобразная логика. Константинополь, а не Петербургъ или Москва — законная столица византійской культуры. „Административный центръ“ Россіи перенесется, вѣроятно, въ Кіевъ (297) — поближе къ новому не русскому „культурному центру“, котораго „устарѣвшая“ Россія не въ силахъ создать внутри себя. Этотъ идеалъ рѣшенія восточнаго вопроса есть, по словамъ Леонтьева, „самый широкій

¹⁾ „Вопросъ въ томъ, какъ ослабить демократизмъ, либерализмъ, европеизмъ... какъ задушить ихъ, а не въ томъ, какъ подбавить имъ еще чего-то архи-либеральнаго и архи-европейскаго... Если бы нужно было проиграть два сраженія нѣмцамъ, чтобы *обстоятельства* заставили насъ съ радостью отдать имъ чеховъ, то я, съ моей стороны, желаю отъ души, чтобы мы эти два сраженія проиграли!“ I, 301. Ср. 109: „На кой намъ прахъ эти чехи!“

и смѣлый, самый идеальный, такъ сказать, изъ всѣхъ возможныхъ идеаловъ" (280), какъ ни грустенъ кажется онъ для русскаго патриотизма.

Въ чемъ должна состоять новая міровая культура — Леонтьевъ только указываетъ мимоходомъ и предположительно¹⁾. „Новые порядки“, которые должны зародиться въ центрѣ „вселенскаго византизма“, сводятся къ системѣ какого-то всемірнаго закрѣпощенія, къ переустройству человѣческихъ обществъ на крайне стѣснительныхъ и принудительныхъ началахъ“ (II, 135), на принципахъ обратно противоположныхъ началамъ равенства и свободы, и къ замѣнѣ „всеполезной“ науки честнымъ скептицизмомъ и пессимизмомъ (II, 309—310). „Есть основаніе думать и надѣяться, что осуществленная въ государственнo-культурной практикѣ аграрно-рабочая идея оказалась бы ни чѣмъ инымъ, какъ *новой формой феодализма*, т.-е. новымъ особаго рода закрѣпощеніемъ лицъ къ разнымъ корпораціямъ, сословіямъ, учрежденіямъ, внутренне принудительнымъ общинамъ и отчасти даже и другимъ лицамъ, какъ-нибудь особо высоко карьерой или родомъ поставленнымъ“.

Таковъ идеальнѣйшій изъ всѣхъ идеаловъ! Такова миссія Россіи. Не примиреніе социальныхъ противорѣчій, терзающихъ общественный строй Европы, а ихъ увѣковѣченіе. Не примиреніе Востока съ Западомъ, не окончательное прекращеніе ихъ вѣковой вражды, а только окончательное культурное обособленіе Востока отъ Запада, которое должно быть куплено отреченіемъ отъ западныхъ славянъ и признаніемъ полнѣйшей культурной несостоятельности, старческаго маразма Россіи и всего славянства. Старые славянофилы мечтали о томъ, чтобы Россія перенесла свою столицу изъ Петербурга, какъ центра западной культуры, въ Москву. Леонтьевъ находитъ справедливо, что и Москва не годится въ средоточіе анти-культурной реакціи, въ столицу византизма: ибо и она, точно также какъ вся Россія, слишкомъ восприняла въ себя элементы западнаго просвѣщенія, и соединяя въ себѣ восточное и западное, будетъ естественно стремиться къ примиренію, а не къ обособленію этихъ началъ. Россія должна отречься отъ себя, найти себѣ центръ внѣ себя, внѣ славянства, на берегахъ Босфора, въ Царьградѣ, который былъ обособленъ отъ запада вѣковымъ деспотизмомъ наслѣдника Магомета

¹⁾ На стр. 284, мы находимъ слѣдующее наивное признаніе: „подъ словомъ своеобразная міровая культура я разумѣю: *цѣлую свою собственную систему отвлеченныхъ идей религіозныхъ, политическихъ, юридическихъ, философскихъ, бытовыхъ, художественныхъ и экономическихъ*“.

лизму; „вѣра въ Христа не требуетъ непременно вѣры въ Россію“ (I, 184); церковь имѣетъ универсальный, вселенскій характеръ. Самодержавная власть, которую нашъ народъ чтитъ религіозно, самоотверженно, безкорыстно, также имѣетъ въ его собственныхъ глазахъ сверхъ-народный характеръ и призваніе. Лишь въ служеніи „объективнымъ идеаламъ“ всеобщей правды, въ своемъ ли народѣ или вмѣстѣ съ нимъ во всемъ человѣчествѣ, она утверждаетъ это свое высшее значеніе и право. Наши узкіе націоналисты, наши ложные консерваторы подкапываютъ и компрометируютъ эту великую идею универсальной власти болѣе, чѣмъ открытые враги ея, такъ какъ они противопоставляютъ ее элементарнымъ общечеловѣческимъ принципамъ права и общественности.

Что же однако самъ Леонтьевъ противопоставляетъ этому „націонализму“? — Универсализмъ, истинное служеніе вселенскому единству, всемірному братству, или широкое развитіе государственной идеи нашей? — Мы видѣли, что нѣтъ! На самомъ дѣлѣ и несмотря на свою критику націонализма и славянофильства, онъ до конца дней своихъ оставался славянофиломъ, хотя и разочарованнымъ, — испуганнымъ націоналистомъ, который тѣмъ болѣе зывалъ къ насилию и реакціи, чѣмъ сильнѣе онъ робѣлъ и сомнѣвался. Это траги-комическое положеніе дѣлаетъ разсужденія Леонтьева крайне сбивчивыми и противорѣчивыми. Поэтому онъ — то полемизируетъ съ націонализмомъ, ясно и убѣжденно доказываетъ его внутреннюю ложь, — то рѣшительно отказывается понять, почему собственно націонализмъ есть принципъ разрушительный, и, заявляя себя послѣдователемъ Данилевскаго, признаетъ, что народность есть сама себѣ цѣль (II, 27). То онъ жестоко, съ горькимъ цинизмомъ разбиваетъ мечтанія славянофиловъ о какой-то самобытной культурѣ, то вдругъ самъ мечтаетъ о скорѣйшемъ разрушеніи Парижа анархистами, чтобы создать на его мѣсто центръ какой-то совершенно новой культуры въ Царьградѣ. То показываетъ онъ, что политика Россіи должна въ ея же собственныхъ интересахъ носить нравственный характеръ соблюденія универсальной *правды*, то, наоборотъ, онъ вмѣняетъ ей въ обязанность обманъ и лукавство (I, 244), возводя полную безнравственность въ политическій принципъ. Мѣстами онъ утверждалъ, что назначеніе Россіи никогда не было и не будетъ чисто славянскимъ (I, 283), что „чисто славянское содержаніе слишкомъ бѣдно для ея всемірнаго духа“ (I, 10); мѣстами, наоборотъ, вооружается противъ самаго распространенія грамотности въ нашемъ народѣ, изъ опасенія, чтобы черезъ ея

посредство не проникли въ него элементы европейскаго просвѣщенія (II, 1—33).

Для характеристики Леонтьева, точно такъ же, какъ и для характеристики всего нашего новѣйшаго славянофильствующаго націонализма, особенно типична статья: „Грамотность и народность“ (первая во второмъ томѣ), гдѣ нашъ авторъ откровенно превозноситъ варварство, безграмотность и старовѣрчество, какъ наилучшее средство обособленія національной фizioноміи нашего народа¹⁾.

Национальность, „національное своеобразіе“ — должно быть пока у славянъ само себѣ цѣлью (24), ибо ихъ грядущая культура должна настолько отличаться отъ всей западной Европы, „насколько греко-римскій міръ отличался отъ азіатскихъ и африканскихъ государствъ, или наоборотъ (!)“ (25). Поэтому-то нынѣшняя грамотность, нося въ себѣ обще-культурные элементы, и является столь опасной для народнаго своеобразія. Въ чемъ же состоитъ это своеобразіе, которое мы должны оберегать столь ревниво? Леонтьевъ приводитъ нѣсколько „любопытныхъ образцовъ“ его, которые онъ признаетъ особенно „драгоценными и трогательными“ (13). Первый образецъ — дѣло изувѣра-раскольника Куртина, который звѣрски зарѣзалъ родного сына въ жертву Спасу и потомъ уморилъ себя голодомъ въ острогѣ (13—15). Второй образецъ — дѣло казака Кувайцева, по совѣту ворожеи осквернившего могилу своей любовницы, чтобы избавиться отъ тоски (15—18). Третій образецъ — дѣйствительно назидательный — духовнаго суда у молоканъ, секты грамотной и, какъ извѣстно, „западно-европейскаго“ происхожденія, въ которой, какъ говоритъ самъ авторъ въ другомъ мѣстѣ (I, 100) — „византійскаго уже ничего не осталось“. Наконецъ, четвертый примѣръ — уже не изъ судебной практики — русская кухня и красавица въ сарафанѣ и кокошникѣ на выставкѣ въ трактирѣ Корещенка, привлекающая „иностранцевъ“ въ заведеніе и дающая нашему автору поводъ замѣтить, что „національное своеобразіе не можетъ держаться однимъ охраненіемъ“ (20).

И въ этой самой статьѣ, гдѣ Леонтьевъ проповѣдуетъ полное обособленіе Россіи отъ Европы путемъ искусственнаго поддержанія народнаго варварства, Леонтьевъ совершенно неожиданно признаетъ

¹⁾ „Да! въ Россіи много еще того, что зовутъ „варварствомъ“. И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу васъ; я хочу сказать только, что нашъ безграмотный народъ болѣе, чѣмъ мы, хранитель народной фizioноміи, безъ которой не можетъ создаться своеобразная цивилизація“ (9); ср. II, 73: старовѣрчество — какъ „истинное смотрѣніе Божіе“, какъ „одинъ изъ самыхъ спасительныхъ тормозовъ нашего прогресса“.

пользу и даже необходимость европейскаго просвѣщенія для національной культуры въ силу универсальнаго, сверхъ-народнаго значенія его общечеловѣческихъ началъ. Но признавъ на стран. 24, что *„обле- ченіе общихъ идей въ національныя формы можетъ принести и уже во многомъ принесло богатую жатву“*, онъ тутъ же, чрезъ пять строкъ, признаетъ, *„что одними и тѣми же идеями, какъ ни казались онъ современникамъ хорошими и спаситель- ными, человечество жить не можетъ“*, и что для служенія всемірной цивилизаціи нужно только развивать „свое національное“.

Отмѣтимъ это явное противорѣчіе, эти фразы, прикрывающія полную путаницу понятій. Отмѣтимъ также націонализмъ, дове- денный до высшихъ крайнихъ предѣловъ, договорившійся до совер- шеннаго абсурда — проповѣдь варварства, отрицаніе какихъ-либо пребывающихъ общихъ идей, которыми могло бы жить человечество. Что станется въ такомъ случаѣ съ христіанской и монархической идеей, съ древнимъ византизмомъ, въ которомъ Леонтьевъ усматривалъ также общую „объективную идею“, противную ложному націонализму! Правда, что приведенная статья написана въ 1870 г., послѣ котораго многія мнѣнія нашего автора значительно уясни- лись. Но съ годами полемика противъ націонализма и разочарованіе въ славянофильствѣ усилились, а противорѣчія остались прежнія до конца и даже обострились возрастающимъ разочарованіемъ въ томъ самомъ славянствѣ, отъ котораго онъ, вмѣстѣ съ Данилевскимъ, ждалъ новаго „культурнаго типа“, новой всемірной культуры на старый восточный ладъ¹⁾. „Пышныя перья самобытной хомя- ковской культуры разлетѣлись впрахъ туда и сюда при встрѣчѣ съ жизнью, и осталась вмѣсто нарядной птицы какая-то очень большая, но куцая и сѣрая индюшка, которая жалобно клохчетъ, что ей плохо, и не знаетъ, что дѣлать“ — ѣдкая эпиграмма по адресу новѣйшаго славянофильства, которая падаетъ прежде всего на голову автора²⁾.

Какъ Данилевскій — этотъ славянофилъ въ зоологін и зоологъ въ славянофильствѣ — Леонтьевъ, считающій себя его ученикомъ и послѣдователемъ, столь же чуждъ настоящаго историческаго обра- зованія и еще болѣе философскаго пониманія исторіи. Народы и государства въ своемъ ростѣ, цвѣтеніи, дряхлѣніи представляются ему какими-то громадными дубами, которые живутъ до тысячи лѣтъ и затѣмъ падаютъ, чтобы дать мѣсто новымъ деревьямъ. Никакого

¹⁾ Ср. I, 76, примѣчаніе 1884. года.

²⁾ II, 183.

либо истязаній, горестей, чорта и других непріятностей. Безъ этой нравственно-религіозной черты нѣтъ страха Божія — есть только физическій страхъ муки и насилія, въ которомъ начало лицемерія, отчаянія и суетвѣрія, а никакъ не премудрости.

Исказивъ христіанское представленіе о страхѣ Божиѣмъ, Леонтьевъ извращаетъ и самую основную истину христіанской этики — ученіе о любви, которому онъ противопоставляетъ теорію о радикальномъ злѣ въ человѣческой природѣ. „Плодъ страха Божія“ есть любовь; плодъ страха бѣсовскаго — трепеть; плодъ ложнаго человѣческаго страха „истязаній и бѣдствій“ есть лицемерное подчиненіе, внѣшнее дѣланье нѣкоторыхъ дѣлъ безъ сердечнаго побужденія, безъ любви, — исключительно изъ боязни загробныхъ мукъ съ корыстной, такъ сказать, цѣлью личнаго избавленія себя отъ нихъ. „Христосъ указалъ, — говоритъ Леонтьевъ, — что человѣчество *неисправимо въ общемъ смыслѣ*; Онъ указалъ даже, что „подъ конецъ (во многихъ) оскудѣетъ любовь“, т.-е. со временемъ ея будетъ еще меньше, чѣмъ теперь (?), и потому давать совѣты любви нужно только съ цѣлью *единоличнаго* вознагражденія за гробомъ, а не въ смыслѣ сплошнаго улучшенія земной жизни человѣчества“ (II, 274)¹⁾. Гдѣ же однако „указалъ“ это Христосъ? Леонтьевъ слѣдующимъ образомъ передаетъ Его заповѣди блаженства: „Пока — блаженны миротворцы“, *ибо неизбѣжны распри...* „блаженны алчущіе и жаждущіе правды“, *ибо правды всеобщей здѣсь не будетъ*; „блаженны милостивые“ *ибо всегда будетъ кого миловать*“ (244).

Леонтьевъ былъ бы правъ, конечно, если бы онъ хотѣлъ сказать, что Христосъ не былъ „утилитарнымъ прогрессистомъ“, или „буржуазнымъ оптимистомъ“. Но сказать даже, что Онъ не заботился объ улучшеніи земной, матеріальной дѣйствительности человѣчества, объ исцѣленіи его физическихъ язвъ — есть уже неправда. Утверждать же, что Онъ или Его ученики давали совѣты любви — „только съ цѣлью *единоличнаго* вознагражденія за гробомъ“, — это совершенное извращеніе всего Евангелія Христова. Леонтьевъ негодуетъ на Льва Толстого за то, что онъ приводитъ слишкомъ много эпиграфовъ изъ посланія Іоанна Богослова „и всѣ только о любви“ (II, 273). Въ числѣ ихъ есть однако одинъ — кто не любить, тотъ не позналъ Бога, ибо Богъ есть любовь (VI, 8). Любовь, значить, нужна намъ прежде всего для самаго *познанія* Бога. Эта любовь открылась людямъ во Христѣ (IV, 9), эту любовь поз-

¹⁾ Ср. II, 300.

нали мы въ томъ, что Онъ положилъ душу Свою за насъ (III, 16), за спасеніе міра. Любовь есть, слѣдовательно, для вѣрующихъ не только универсальная *заповѣдь*, всеобщій и высшій *идеалъ*, но сознается ими какъ универсальное *начало* всего, какъ Богъ, какъ *Отецъ*, открывшійся намъ всецѣло въ Иисуса Христа и давшій намъ въ Немъ „область чадамъ Божиимъ быти“. Таково истинное общехристіанское ученіе, которое призываетъ насъ искать Бога здѣсь на мѣстѣ, не дожидаясь гроба, любить теперь и всегда, а не *послѣ*, какъ совѣтуетъ Леонтьевъ (II, 302). Полемизируя противъ любви сентиментальной, противъ смѣшенія христіанской идеи съ идеей политическаго равенства и братства, онъ самъ упустилъ изъ виду этотъ основной принципъ христіанской этики — вѣру въ совершенную дѣйствительность и полноту любви — въ *божество* любви, во Христа открывшейся. Поэтому онъ ограничиваетъ какъ *заповѣдь* любви, такъ и самое *значеніе* ея отдѣльными дѣлами, отдѣльными заслугами человѣка. Но онъ упускаетъ изъ виду, что если „любовь безъ смиренія и страха“ есть лишь „наиболѣе симпатичное проявленіе“ простого индивидуализма, то любовь изъ одного страха, дѣла любви какъ средство только для личнаго спасенія — наименѣе симпатичное проявленіе этого индивидуализма.

Леонтьевъ ограничиваетъ евангельскую *заповѣдь* любви — заботой о немногихъ соотечественникахъ, притомъ непременно консервативнаго направленія. „Современнаго европейца“, француза въ особенности, „не за что“ и не слѣдуетъ любить (II, 282—287), о чемъ Леонтьевъ разсуждаетъ весьма пространно. Даже „милосердіе къ нимъ (къ французамъ) въ случаѣ несчастья должно быть сдержанное, сухое, какъ бы обязательное и холодно-христіанское (!)“ (283). Либераловъ также „не слѣдуетъ любить... а если ихъ поражаютъ несчастья, если они потерпятъ гоненія или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже порадоваться въ надеждѣ на ихъ нравственное исправленіе“ (287). Въ доказательство этой мысли Леонтьевъ ссылается на митрополита Филарета, который находилъ тѣлесное наказаніе *преступниковъ* полезнымъ для ихъ настроенія. „Ты побіеши его жезломъ, душу же его избавиши отъ смерти“... Но не одни европейцы и либералы, а и ни въ чемъ неповинные потомки грядущихъ поколѣній также исключаются изъ нашего сердца (290), также и потому что все должно погибнуть. „День нашъ — вѣкъ нашъ, и потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайшихъ дѣлахъ вашихъ, а сердечно — лишь о ближнихъ, а не о всемъ человѣчествѣ“. Впрочемъ, самъ Леонтьевъ,

какъ и слишкомъ смѣсительный прогрессъ... Съ IX и X вѣковъ зрѣлище Византіи становится все проще, все суше, все однообразнѣе въ своей подвижности. Это процессъ какого-то одичанія въ родѣ упрощенія разнообразныхъ садовыхъ яблокъ, которыя постепенно становятся все дикими и простыми, если ихъ перестать прививать“ (178—9).

Такимъ образомъ, чистый, неразворенный византизмъ могъ бы задушить то, что онъ долженъ охранять, ибо, какъ выражается нашъ авторъ въ другомъ мѣстѣ, „государство есть своего рода организмъ, которому нельзя дышать исключительно азотомъ полного застоя“ (II, 75). Къ тому же оказывается, что византизмъ далеко не исчерпываетъ собою всѣхъ „охранительныхъ началъ“ человѣческаго общества. Обособляя Россію отъ Европы, онъ не заключаетъ въ себѣ консервативныхъ началъ и учреждений, дѣйствіе которыхъ могло бы распространяться на эту послѣднюю, какъ, на примѣръ, — католицизма, феодализма. Притомъ Леонтьевъ, консерваторъ-государственникъ западнаго, вовсе не русскаго типа, справедливо указываетъ на то, что духъ охраненія въ высшихъ слояхъ общества на западѣ былъ всегда сильнѣе, чѣмъ у насъ (I, 185). Не скрывая своего сочувствія къ консервативнымъ устоямъ западной Европы, Леонтьевъ открыто симпатизируетъ папству, видя въ немъ развитіе начала авторитета, іерархическаго начала, какого онъ не находитъ въ восточной церкви¹⁾. Съ другой стороны, отстаивая вселенскій характеръ власти греческаго патріарха, Леонтьевъ сѣтуетъ на то, что корни губительной „національной политики, національнаго самоутвержденія или націонализма лежатъ въ „филетизмѣ“, проникающемъ собою всю политику восточныхъ церквей²⁾. Въ „византизмѣ“ такимъ образомъ ослабляется іерархическій принципъ. Равнымъ образомъ, въ силу своего отношенія къ свѣтской власти, духовная власть при византійскомъ строѣ общества не можетъ имѣть должной независимости, не говоря уже о томъ подавляющемъ развитіи, котораго она достигла въ западной Европѣ. Такъ, на Востокѣ „чистѣйшіе интересы православія (не политическаго, а духовнаго) тѣсно связаны съ *владычествомъ мусульманскаго государя*. Власть Магометова наследника есть залогъ охраненія и *свободы* для христіанскаго аскетизма“, (II, 266).

Итакъ, „прочный якорь всеславянскаго охраненія“ оказывается во всякомъ случаѣ непригоднымъ для спасенія погибающей Европы,

¹⁾ Ср. I, 107, II, 306 и др. Нац. Пол. passim.

²⁾ I. 256.

ни для созданія „самобытной славяно-азиатской культуры“. И Леонтьевъ до такой степени боится за его крѣпость для самой Россіи, что рекомендуетъ усилить его дѣйствіе другими вспомога-тельными „тормазамъ“ и „желѣзными крюками“. Онъ до такой степени боится наступленія развязки на Балканскомъ полуостровѣ, что дрожить за существованіе Турціи, сознавъ „съ ужасомъ и горемъ, что *благодаря только туркамъ* и держится еще многое истинно православное на Востокъ“ (I, 266).

И тѣмъ не менѣе онъ все еще мечтаетъ о наступленіи какой-то самобытной славяно-азиатской культуры, для осуществленія которой онъ предлагаетъ слѣдующую политическую комбинацію: соглашеніе съ Германіей, война съ Австріей и взятіе Царьграда; преданіе „буржуазныхъ“ чеховъ „на совершенное сѣденіе“ нѣмцамъ („ну ихъ, чеховъ!“)¹⁾; водвореніе анархіи во Франціи и окончательное разрушеніе Парижа анархистами. Константинополь долженъ составить центръ новой культуры, такъ какъ „разъ вѣковой строй нашей жизни разрушенъ эмансипаціоннымъ процессомъ — новая прочная организація на старой почвѣ и изъ однихъ старыхъ элементовъ становится невозможной“ (I, 246). Константинополь даже „не долженъ быть реальною частью или провинціей русской имперіи“, но „принадлежать лично Государю Императору“, „стоять въ такъ называемой *union personnelle* съ русской короной... Тамъ само собою (?) при подобномъ условіи и начнутся *тѣ новые порядки*, которые могутъ служить высшимъ объединяющимъ культурно-государственнымъ примѣромъ, какъ для тысячелѣтней, несомнѣнно уже устарѣвшей и съ 1861 года заболѣвшей эмансипаціей Россіи, такъ и для испорченныхъ европейскими вліяніями *аѳинскихъ грековъ и юго-славянъ* (Ib.).

Какъ ни фантастиченъ подобный планъ — въ немъ есть своеобразная логика. Константинополь, а не Петербургъ или Москва — законная столица византийской культуры. „Административный центръ“ Россіи перенесется, вѣроятно, въ Кіевъ (297) — поближе къ новому не русскому „культурному центру“, котораго „устарѣвшая“ Россія не въ силахъ создать внутри себя. Этотъ идеалъ рѣшенія восточнаго вопроса есть, по словамъ Леонтьева, „самый широкій

¹⁾ „Вопросъ въ томъ, какъ ослабить демократизмъ, либерализмъ, европеизмъ... какъ задушить ихъ, а не въ томъ, какъ подбавить имъ еще чего-то архи-либеральнаго и архи-европейскаго... Если бы нужно было проиграть два сраженія нѣмцамъ, чтобы *обстоятельства* заставили насъ съ радостью отдать имъ чеховъ, то я, съ моей стороны, желаю отъ души, чтобы мы эти два сраженія проиграли!“ I, 301. Ср. 109: „На кой намъ прахъ эти чехи!“

и смѣлый, самый идеальный, такъ сказать, изъ всѣхъ возможныхъ идеаловъ" (280), какъ ни грустенъ кажется онъ для русскаго патриотизма.

Въ чемъ должна состоять новая міровая культура — Леонтьевъ только указываетъ мимоходомъ и предположительно¹⁾. „Новые порядки“, которые должны зародиться въ центрѣ „вселенскаго византизма“, сводятся къ системѣ какого-то всемірнаго закрѣпощенія, къ переустройству человѣческихъ обществъ на крайне стѣснительныхъ и принудительныхъ началахъ“ (II, 135), на принципахъ обратно противоположныхъ началамъ равенства и свободы, и къ захвѣтѣ „всеполезной“ науки честнымъ скептицизмомъ и пессимизмомъ (II, 309—310). „Есть основаніе думать и надѣяться, что осуществленная въ государственно-культурной практикѣ аграрно-рабочая идея оказалась бы ни чѣмъ инымъ, какъ *новой формой феодализма*, т.-е. новымъ особаго рода закрѣпощеніемъ лицъ къ разнымъ корпораціямъ, сословіямъ, учрежденіямъ, внутренне принудительнымъ общинамъ и отчасти даже и другимъ лицамъ, какъ-нибудь особо высоко карьерой или родомъ поставленнымъ“.

Таковъ идеальнѣйшій изъ всѣхъ идеаловъ! Такова миссія Россіи. Не примиреніе социальныхъ противорѣчій, терзающихъ общественный строй Европы, а ихъ увѣковѣченіе. Не примиреніе Востока съ Западомъ, не окончательное прекращеніе ихъ вѣковой вражды, а только окончательное культурное обособленіе Востока отъ Запада, которое должно быть куплено отреченіемъ отъ западныхъ славянъ и признаніемъ полнѣйшей культурной несостоятельности, старческаго марзма Россіи и всего славянства. Старые славянофилы мечтали о томъ, чтобы Россія перенесла свою столицу изъ Петербурга, какъ центра западной культуры, въ Москву. Леонтьевъ находитъ справедливо, что и Москва не годится въ средоточіе анти-культурной реакціи, въ столицу византизма: ибо и она, точно также какъ вся Россія, слишкомъ восприняла въ себя элементы западнаго просвѣщенія, и соединяя въ себѣ восточное и западное, будетъ естественно стремиться къ примиренію, а не къ обособленію этихъ началъ. Россія должна отречься отъ себя, найти себѣ центръ внѣ себя, внѣ славянства, на берегахъ Босфора, въ Царьградѣ, который былъ обособленъ отъ запада вѣковымъ деспотизмомъ наслѣдника Магомета

¹⁾ На стр. 284, мы находимъ слѣдующее названіе: „подъ словомъ своеобразная міровая культура я разумѣю: *цѣлую свою собственную систему отелеченныхъ идей религіозныхъ, политическихъ, юридическихъ, философскихъ, бытовыхъ, художественныхъ и экономическихъ*“.

Противорѣчія нашей культуры.

На торжественномъ засѣданіи С.-Петербургскаго славянскаго благотворительнаго общества, генералъ Кирѣевъ произнесъ рѣчь о противникахъ и союзникахъ славянофильства¹⁾. Почтенный ораторъ стремится доказать живучесть славянофильской идеи и несостоятельность направленныхъ противъ нея нападеній. Славянофильство хотя и не прогрессируетъ, но и не разлагается, какъ утверждаютъ его „противники“. Оно живетъ и крѣпнетъ, находя себѣ многочисленныхъ союзниковъ въ Россіи и за границей. Сорокъ лѣтъ тому назадъ, на него косилась администрація: теперь обстоятельства измѣнились — въ пользу славянофиловъ. „Мессіаническое значеніе Россіи относительно Запада не подлежитъ сомнѣнію, это не химера, не утопія“ (14): одно славянофильство можетъ избавить Европу отъ парламентаризма, анархизма, безвѣрія и динамита (ib). Противники славянофильства нападаютъ на него либо потому, что сами (?) проникнуты разрушительными западно-европейскими теоріями, либо потому, что смѣшиваютъ съ нимъ явленія, ничего общаго съ нимъ не имѣющія и причисляютъ къ славянофиламъ писателей какъ Вл. С. Соловьевъ и К. Леонтьевъ, которые сами отрекались отъ славянофильскаго ученія и полемизировали противъ него.

Не имѣя возможности разбирать всѣхъ противниковъ этого ученія, ген. Кирѣевъ рѣшилъ ограничиться наиболѣе „типичными“ изъ нихъ, и съ этой цѣлью избралъ г. Милюкова, въ качествѣ позитивиста, относящагося скептически къ идеаламъ русскаго мессіанизма²⁾, и меня — за мою статью о Леонтьевѣ, помѣщенную въ „Вѣстникъ Европы“.

Признаться, такой выборъ меня нѣсколько удивилъ: ген. Кирѣевъ, вмѣсто г. Милюкова или меня, пытавшихся дать лишь объективное объясненіе совершившагося разложенія славянофильства, могъ бы выбрать гораздо болѣе рѣшительныхъ противниковъ этого ученія. Если ген. Кирѣевъ не хочетъ болѣе полемизировать съ преемниками прежнихъ западниковъ, я могъ бы указать ему, какъ на самыхъ сильныхъ противниковъ прежняго славянофильства,

¹⁾ Протоколы общихъ собраній гг. членовъ С.-Петербургскаго слав. благотв. общества 12 и 19 декабря 1893 г.

²⁾ См. его статью: „Разложеніе славянофильства“, въ журналѣ „Вопросы философіи и психологіи“, май 1893 г.

взывалъ къ насилію и реакціи, которую самъ же признавалъ безплодной; она же внушала ему его обскурантизмъ и крѣпостничество и вдохновляла самыя отвратительныя страницы его произведеній.

V.

Мы могли бы на этомъ покончить нашъ разборъ воззрѣній Леонтьева, если бы онъ не пытался обосновать своихъ политическихъ взглядовъ особаго рода религіозными теоріями, въ которыхъ онъ также является печальнымъ знаменіемъ времени. Какъ въ славянофильствѣ, такъ и въ православіи, онъ хотѣлъ быть „реалистомъ“ и „пессимистомъ“. Въ противоположность мечтательному универсализму славянофиловъ онъ проповѣдывалъ христіанство съ „византійскими формами и основами“, христіанство, основанное на страхѣ, „антилиберальное“ и „стѣснительное“ христіанство, „какъ краугольный камень охраненія, прочнаго и дѣйствительнаго“ (II, 44).

„Поменьше о той любви безъ страха, того христіанства à l'eau de rose, которымъ иные простодушно морочатъ себя и насъ. Нѣтъ! христіанство есть одно настоящее... это христіанство монаховъ и мужиковъ, просфиренъ и *прежнихъ* набожныхъ дворянъ. Это великое ученіе — для личной жизни сердца столь идеальное (столь нѣжное даже!), для сдерживанія людскихъ массъ желѣзной рукавицей столь практичное и вѣрное — это ученіе не виновато, что формы его огрубѣли въ рукахъ людей простыхъ... Но истина ли виной тому, что болѣе образованные люди почти всѣ забыли эту истину въ погонѣ за миражемъ прогресса?“ (II, 48).

Богословскія воззрѣнія свои Леонтьевъ развилъ всего болѣе въ своей критикѣ Толстого и Достоевскаго, въ произведеніяхъ которыхъ онъ видѣлъ слишкомъ „розовое“ пониманіе христіанства, какъ религіи одной любви. Онъ справедливо указываетъ на односторонность Толстого, который упраздняетъ собственно религіозный элементъ христіанства, сводя его къ простой морали, къ одной нравственной обязанности любви. Онъ, можетъ-быть, не безъ основанія могъ бы упрекнуть и Достоевскаго за ту болѣзненную чувствительность, то истерическое самоуслажденіе, которое иногда придаетъ нездоровый характеръ его мистицизму. Но во всякомъ случаѣ самъ Леонтьевъ, въ противоположность ихъ „розовому“ христіанству, проповѣдуетъ какую-то побѣлѣвшую отъ ужаса, несомнѣнно, искаженную вѣру. Однимъ изъ первыхъ писателей у насъ онъ пустилъ въ ходъ эти совершенно превратныя и ложныя толкованія церковнаго ученія о

и ихъ либеральнымъ панславизмомъ. Эти противорѣчія, эта неопредѣленность понятій продолжаютъ сказываться и въ рѣчи генерала Кирѣева. Мы постараемся это показать, чтобы защитить себя и К. Леонтьева отъ незаслуженныхъ нападеній.

I.

„Православіе, самодержавіе и народность“ — такова наша формула“, — говоритъ генералъ Кирѣевъ. Не даромъ почтенный ораторъ утверждаетъ, что противники славянофильства должны непременно „предлагать“ „унію“ или „бумажныя гарантіи парламентаризма“ (стр. 22), и великодушно рекомендуетъ снисхожденію „нашихъ цензуръ“ тѣхъ изъ своихъ противниковъ, которые, послѣ этого, рѣшатся полемизировать съ славянофилами.

Признаться, это стремленіе канонизировать славянофильство, упредить за нимъ какую-то мнимую монополію на „православіе, самодержавіе и народность“ — придаетъ ему нѣсколько особый характеръ, весьма рѣзко отличающій его теперешній видъ отъ первоначальнаго ученія. Въ самомъ дѣлѣ, если генералъ Кирѣевъ думаетъ, что въ его „формулѣ“ выражаются и религіозно-этические, и политическіе идеалы русскаго народа (стр. 8), то по какому праву онъ монополизировать ее за собою? Она несомнѣнно существовала въ нашей литературѣ и до славянофиловъ, остается и послѣ нихъ. Леонтьевъ, по словамъ ген. Кирѣева, не имѣетъ ничего общаго съ славянофилами, и однако онъ исповѣдовалъ православіе и самодержавіе, и даже, несмотря на свою глубокую критику національной политики, считаетъ себя поборникомъ „истинно русскаго націонализма“. Съ другой стороны, неужели же ген. Кирѣевъ рѣшится утверждать, что всѣ западники измѣняли церкви, престолу и отечеству въ своемъ спорѣ съ славянофилами?

Генералъ Кирѣевъ, безъ сомнѣнія, согласится, что формулой „православіе, самодержавіе и народность“ никогда такъ не злоупотребляли, какъ въ наши дни. Ею равно пользуются противники и защитники земства, общиннаго землевладѣнія, реформъ Александра II. Ею явно злоупотребляетъ всякій, кто хочетъ зажать ротъ противнику, недостойнымъ образомъ превращая этотъ „символь вѣры русскаго патріотизма“ въ какое-то новое „слово и дѣло“. Очевидно нужно точно выяснитъ, въ какомъ смыслѣ надо понимать эту формулу, чтобы помѣшать злоупотребленію, прискорбному для всякаго истиннаго русскаго патріота.

либо истязаній, горестей, чорта и другихъ непріятностей. Безъ этой нравственно-религіозной черты нѣтъ страха Божія — есть только физическій страхъ муки и насилія, въ которомъ начало лицемѣрія, отчаянія и суевѣрія, а никакъ не премудрости.

Исказивъ христіанское представленіе о страхѣ Божіемъ, Леонтьевъ извращаетъ и самую основную истину христіанской этики — ученіе о любви, которому онъ противопоставляетъ теорію о радикальномъ злѣ въ человѣческой природѣ. „Плодъ страха Божія“ есть любовь; плодъ страха бѣсовскаго — трепеть; плодъ ложнаго человѣческаго страха „истязаній и бѣдствій“ есть лицемѣрное подчиненіе, внѣшнее дѣланье нѣкоторыхъ дѣлъ безъ сердечнаго побужденія, безъ любви, — исключительно изъ боязни загробныхъ мукъ съ корыстнойю, такъ сказать, цѣлью личнаго избавленія себя отъ нихъ. „Христосъ указалъ, — говоритъ Леонтьевъ, — что человѣчество *неисправимо въ общемъ смыслѣ*; Онъ указалъ даже, что „подъ конецъ (во многихъ) оскудѣетъ любовь“, т.-е. со временемъ ея будетъ еще меньше, чѣмъ теперь (?), и потому давать совѣты любви нужно только съ цѣлью *единоличнаго* вознагражденія за гробомъ, а не въ смыслѣ сплошнаго улучшенія земной жизни человѣчества“ (II, 274) ¹⁾. Гдѣ же однако „указалъ“ это Христосъ? Леонтьевъ слѣдующимъ образомъ передаетъ Его заповѣди блаженства: „Пока — блаженны миротворцы“, *ибо неизбѣжны распри...* „блаженны алчущіе и жаждущіе правды“, *ибо правды всеобщей здѣсь не будетъ*; „блаженны милостивые“ *ибо всегда будетъ кого мловать*“ (244).

Леонтьевъ былъ бы правъ, конечно, если бы онъ хотѣлъ сказать, что Христосъ не былъ „утилитарнымъ прогрессистомъ“, или „буржуазнымъ оптимистомъ“. Но сказать даже, что Онъ не заботился объ улучшеніи земной, матеріальной дѣйствительности человѣчества, объ исцѣленіи его физическихъ язвъ — есть уже неправда. Утверждать же, что Онъ или Его ученики давали совѣты любви — „только съ цѣлью *единоличнаго* вознагражденія за гробомъ“, — это совершенное извращеніе всего Евангелія Христова. Леонтьевъ негодуетъ на Льва Толстого за то, что онъ приводитъ слишкомъ много эпиграфовъ изъ посланія Іоанна Богослова „и всѣ только о любви“ (II, 273). Въ числѣ ихъ есть однако одинъ — кто не любить, тотъ не позналъ Бога, ибо Богъ есть любовь (VI, 8). Любовь, значить, нужна намъ прежде всего для самаго *познанія* Бога. Эта любовь открылась людямъ во Христѣ (IV, 9), эту любовь поз-

¹⁾ Ср. II, 300.

что идеалы православія и самодержавія, которыми жила древняя до-Петровская Русь и которые доселѣ „проникають насквозь весь великорусскій общественный организм“, обуславливая его силу и крѣпость, суть византійскіе идеалы, идеалы завѣщанные намъ византійской имперіей. Что было въ нихъ специально русскаго или славянскаго? — спрашиваетъ Леонтьевъ. Что въ нихъ такого, что не было бы уже византійскимъ? При этомъ надо оговориться, что Леонтьевъ вовсе не думалъ отрицать универсальность церкви или сверхъ-народный характеръ государственнаго начала. Онъ признавалъ лишь, что вся концепція церкви, всѣ формы церковной жизни въ ея отношеніи къ міру, все своеобразное пониманіе взаимныхъ отношеній церкви и государства даны намъ Византіей, точно такъ же какъ и до-Петровскій идеалъ самодержавія. Какіе же культурныя начала слѣдуетъ искать теперь въ Россіи и славянствѣ за вычетомъ того, что дала славянскому міру Византія? Это общекультурныя начала *западной* цивилизаціи — матеріальная культура и неразрывно связанное съ нею западно-европейское просвѣщеніе. Другихъ культурныхъ началъ, кромѣ византійскихъ и западно-европейскихъ, нѣтъ ни у насъ, ни въ славянствѣ, ибо національность сама по себѣ, помимо религіозно-этическихъ вѣрованій и политическихъ принциповъ, не можетъ быть культурнымъ началомъ. Это только „этнографическій матеріалъ“, какъ выражаются Данилевскій и Леонтьевъ. Что касается до „націонализма“, въ которомъ Леонтьевъ видитъ „антирелигіозное и антигосударственное“ начало ложнаго демократизма, то, по справедливому замѣчанію генерала Кирѣева, его уже начали „примѣнять къ жизни“ на Западѣ, когда у насъ о немъ еще только спорили (стр. 6).

Теперь спросимъ себя вмѣстѣ съ Леонтьевымъ: могутъ ли послужить одни византійскіе идеалы до-Петровской Руси къ объединенію всѣхъ славянъ? Могутъ ли они одни залечь въ основаніе новой „всеславянской культуры“? Вмѣстѣ съ Леонтьевымъ придется отвѣчать рѣшительнымъ *нѣтъ*. Здѣсь его критика панславизма тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе желалъ онъ его осуществленія на византійскомъ основаніи: для болѣе тѣснаго сближенія съ славянами, для практическаго осуществленія панславизма, потребовалось бы усвоеніе Россіей тѣхъ культурныхъ устоевъ Запада, которыми издавна живутъ западные славяне, и къ которымъ юго-славянскіе народы тяготеютъ несравненно больше, чѣмъ къ идеаламъ византійскимъ. Къ этимъ послѣднимъ южные и западные славяне равнодушны или глубоко враждебны. Не даромъ до Петра В. вся наша

какъ мы видѣли, заботился на практикѣ и о человѣчествѣ, и о потомкахъ, для которыхъ онъ мечталъ о новой всемирной царьградской культурѣ. Ибо при неразрывной, постоянно усиливающейся экономической, культурной и политической *связи* народовъ между собою нельзя подумать и объ отечествѣ, не подумавъ о прочемъ мирѣ...

Таково своеобразное пониманіе заповѣди любви къ ближнему, которое Леонтьевъ приписываетъ нашей церкви! „Холодно-христіанское“ милосердіе прямо противопоставляется гуманности: изъ того, что христіанинъ съ покорностью переноситъ посылаемые Богомъ скорби, выводится заключеніе, что гуманное стремленіе „стереть съ лица земли эти *полезныя* намъ обиды, разоренія и горести“ (301) есть стремленіе анти-христіанское. „Всѣ положительныя религіи были ученіями *пессимизма*, *узаконявшими* (?) страданія, обиды и неправду земной жизни“ (167).

Ограничивая заповѣдь любви и милосердія личными заслугами, вѣншимъ дѣланіемъ, съ цѣлью избавленія себя самого отъ тѣхъ „наказаній“, которыя страшатъ его, Леонтьевъ, естественно, не вѣритъ и въ могущество любви, ея возрождающую, всепобѣдную силу. Въ этомъ, въ сущности, и состоитъ вовсе нехристіанскій „пессимизмъ“ нашего богослова, который подкрѣпляется гораздо лучше его цитатами изъ Гартманна, чѣмъ неудачными ссылками на извращенные имъ евангельскіе тексты. „Братство *по возможности* и гуманность дѣйствительно рекомендуется свящ. Писаніемъ Новаго Завета, для загробнаго спасенія личной души; но нигдѣ не сказано, что люди дойдутъ посредствомъ этой гуманности до мира и благоденствія“ (II, 300). Напротивъ того, „какъ реалистъ и христіанинъ“, Леонтьевъ полагаетъ, что этотъ миръ и благоденствіе, о которомъ молится церковь, и это соединеніе всѣхъ, о которомъ Самъ Христосъ молился, — не только невозможно, но и нежелательно¹⁾. „И поэзія земной жизни, и условія загробнаго спасенія — одинаково требуютъ не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы (!), а, объективно говоря, нѣкоего *какъ бы гармоническаго въ виду высшихъ цѣлей сопряженія вражды съ любовью*. Чтобы самарянину было кого пожалѣть и кому перевязать раны, необходимы же были разбой-

¹⁾ „Съ христіанской точки зрѣнія можно сказать, что *воцареніе на землѣ постояннаго мира, благоденствія, согласія, общей обезпеченности и т. д., т.-е. именно того, чѣмъ задался такъ неудачно демократическій прогрессъ, было бы величайшимъ бѣдствіемъ въ христіанскомъ смыслѣ*“ (II, 68).

залечь въ основаніе не только всеславянской, но и русской культуры: потребовалось ея восполненіе, потребовалось усвоеніе европейской образованности. Современная русская культура — смѣшанная, и соединяетъ въ себѣ внѣшнимъ образомъ два различныя, отчасти противоположныя другъ другу начала — византійское и европейское. И между тѣмъ эти два начала въ равной степени исторически необходимы; ни отъ того, ни отъ другого Россія не хочетъ и не можетъ отречься, не отрекаясь отъ себя самой, отъ всей своей силы и своихъ вѣрованій, отъ своего народа и своей интеллигенціи, отъ своего прошлаго и своего будущаго. Въ этомъ вся оригинальность, все трагическое своеобразие настоящаго положенія, въ этомъ великая историческая задача Россіи, отъ рѣшенія которой зависить вся ея судьба и судьба славянства. Важно уже одно сознаніе этой задачи, выяснившейся въ спорѣ нашихъ западниковъ и славянофиловъ. Какъ уничтожить роковой антагонизмъ культурныхъ началъ современной Россіи? Славянофилы предлагали весьма простое средство, чтобы исцѣлить это внутреннее противорѣчіе, чтобы достигнуть вновь утраченной цѣльности личныхъ и общественныхъ идеаловъ и вѣрованій, они призывали русскую интеллигенцію вернуться къ народу и его святынь, сознавъ основную ложь западной цивилизаціи. Они требовали, чтобы Россія круто своротилась съ того пути, на который она вступила при Петрѣ, — вернулась къ идеаламъ московскаго періода. Въ этихъ идеалахъ — залогъ нашей самобытности, залогъ новой и цѣльной всеславянской культуры, въ нихъ — мессіаническое признаніе русскаго народа.

Правда, самые идеалы значительно подновлялись, какъ указывали всѣ критики славянофильства. Оно и не могло быть иначе: славянофилы вѣрили въ ихъ универсальность, въ ихъ грядущее общекультурное значеніе и не помышляли о простой реставраціи древне-византійской имперіи, о которой мечталъ Леонтьевъ. Въ теоріи „русскія начала“ противопоставлялись „западнымъ“ съ большою исключительностью; на практикѣ — ихъ утвержденіе и развитіе совмѣщалось съ весьма широкимъ усвоеніемъ западно-европейскихъ идей — политическихъ, философскихъ и даже богословскихъ. Вопреки своему романтическому построенію всеобщей и русской исторіи, вопреки своему національному протесту противъ „гнилого Запада“, славянофилы грѣшили эклектизмомъ, сами проникнутые тѣми культурными идеалами Запада, противъ которыхъ они ратовали. „Но о какой культурѣ говоритъ кн. Трубецкой, — спрашиваетъ ген. Кирѣевъ: — культура Шопенгауера, Спенсера, Ог. Конта, Золя и Оффенбаха —

Въ православіи, какъ и во всемъ, онъ искалъ прежде всего оригинальной своеобразности, „обособляющихъ чертъ“. И тамъ, гдѣ онъ находилъ эти обособляющія черты, онъ тотчасъ же преувеличивалъ ихъ, не зная мѣры, съ той любовью къ парадоксу, которая его отличала. Подвижники Аѳона научили его бояться духовной гордости и религіозной сентиментальности. А онъ ухитрился сдѣлать изъ проповѣди смиренномудрія и страха Божія своеумудріе особаго рода и принялъ за самую суть православія — сухой и нечистый *осадокъ* восточнаго подвижничества, его *carpi mortuum*, а не его живую силу. Оно и должно было такъ случиться: ибо тамъ, гдѣ мы ищемъ не просто *истину*, а непременно что-нибудь особенное, исключительное, обособляющее, мы непременно придемъ къ эксцентрическому и безобразному.

Но должно думать, что личная религія Леонтьева отлична отъ его богословскихъ разсужденій. Онъ искренно чтилъ и любилъ церковь, и умеръ монахомъ, доказавъ на дѣлѣ свое благоговѣніе передъ идеаломъ монашества. Онъ ставилъ святыню православія выше племенного филетизма, выше собственныхъ разсужденій и умствованій. Потому трудно осуждать безусловно этого, быть можетъ, слишкомъ откровеннаго писателя, самыя заблужденія котораго иногда болѣе оригинальны и поучительны, чѣмъ заразительны и лукавы. Онъ былъ во всякомъ случаѣ вполне искреннимъ въ своихъ словахъ и убѣжденіяхъ. Онъ жилъ своимъ умомъ, и если онъ пользовался при жизни *заслуженной* неизвѣстностью, то это не вслѣдствіе недостатка оригинальности и таланта. Теперь, послѣ его смерти, мы можемъ воздать ему должное, такъ какъ той „консервативной“ партіи, въ которой онъ числился, нѣтъ расчета распространяться о его своеобразныхъ воззрѣніяхъ. Отвѣтственность же за нихъ лежитъ не на немъ одномъ, хотя онъ одинъ имѣлъ мужество ихъ высказать, ибо они имѣютъ логическое основаніе въ прошломъ русской мысли, точно такъ же, какъ и въ ея настоящемъ. Леонтьевъ ставитъ намъ очень энергично задачу чрезвычайно серьезную и трудную, которую во всякомъ случаѣ гораздо труднѣе рѣшить, чѣмъ это казалось нашимъ прежнимъ славянофиламъ или прежнимъ западникамъ. И какъ ни узко то рѣшеніе которое, предлагаетъ самъ Леонтьевъ, самъ онъ сознавалъ чрезвычайно ярко, что переживаемый нами кризисъ обусловливается универсальными причинами, имѣетъ универсальный характеръ.

Москва, (изъ „Вѣстника Европы“ 1893 г.).

Противорѣчія нашей культуры.

На торжественномъ засѣданіи С.-Петербургскаго славянскаго благотворительнаго общества, генералъ Кирѣевъ произнесъ рѣчь о противникахъ и союзникахъ славянофильства¹⁾. Почтенный ораторъ стремится доказать живучесть славянофильской идеи и несостоятельность направленныхъ противъ нея нападеній. Славянофильство хотя и не прогрессируетъ, но и не разлагается, какъ утверждаютъ его „противники“. Оно живетъ и крѣпнѣтъ, находя себѣ многочисленныхъ союзниковъ въ Россіи и за границей. Сорокъ лѣтъ тому назадъ, на него косилась администрація: теперь обстоятельства измѣнились — въ пользу славянофиловъ. „Мессіаническое значеніе Россіи относительно Запада не подлежитъ сомнѣнію, это не химера, не утопія“ (14): одно славянофильство можетъ избавить Европу отъ парламентаризма, анархизма, безвѣрія и динамита (ib). Противники славянофильства нападаютъ на него либо потому, что сами (?) проникнуты разрушительными западно-европейскими теоріями, либо потому, что смѣшиваютъ съ нимъ явленія, ничего общаго съ нимъ не имѣющія и причисляютъ къ славянофиламъ писателей какъ Вл. С. Соловьевъ и К. Леонтьевъ, которые сами отрекались отъ славянофильскаго ученія и полемизировали противъ него.

Не имѣя возможности разбирать всѣхъ противниковъ этого ученія, ген. Кирѣевъ рѣшилъ ограничиться наиболѣе „типичными“ изъ нихъ, и съ этой цѣлью избралъ г. Милюкова, въ качествѣ позитивиста, относящагося скептически къ идеаламъ русскаго мессіанизма²⁾, и меня — за мою статью о Леонтьевѣ, помѣщенную въ „Вѣстникъ Европы“.

Признаться, такой выборъ меня нѣсколько удивилъ: ген. Кирѣевъ, вмѣсто г. Милюкова или меня, пытавшихся дать лишь объективное объясненіе совершившагося разложенія славянофильства, могъ бы выбрать гораздо болѣе рѣшительныхъ противниковъ этого ученія. Если ген. Кирѣевъ не хочетъ болѣе полемизировать съ преемниками прежнихъ западниковъ, я могъ бы указать ему, какъ на самыхъ сильныхъ противниковъ прежняго славянофильства,

¹⁾ Протоколы общихъ собраній гг. членовъ С.-Петербургскаго слав. благотв. общества 12 и 19 декабря 1893 г.

²⁾ См. его статью: „Разложеніе славянофильства“, въ журналѣ „Вопросы философіи и психологіи“, май 1893 г.

на Вл. С. Соловьева и К. Леонтьева — какъ ни странно можетъ показаться такое сопоставленіе. Во всякомъ случаѣ и г. Милюковъ, и я, въ значительной степени пользовались ихъ аргументами.

Положимъ, что со времени И. С. Аксакова славянофилы не разъ полемизировали съ Вл. С. Соловьевымъ. Ихъ отношеніе къ нему достаточно выяснилось. Но я съ большимъ интересомъ прочиталъ бы какое-нибудь славянофильское опроверженіе теорій К. Леонтьева. Ген. Кирѣевъ отдѣливается отъ него очень легко заявленіемъ, что этотъ реакціонеръ, извѣрившійся въ славянствѣ и національной политикѣ, проповѣдуетъ арапчеевщину и не имѣетъ ничего общаго съ славянофилами. Тѣмъ болѣе слѣдовало обратить вниманіе на его критику первоначальнаго славянофильства — чрезвычайно сильную и оригинальную. Я воспроизвелъ ее въ моей статьѣ довольно пространно, и мнѣ кажется, что, разбирая мою статью, ген. Кирѣевъ долженъ былъ прежде всего остановиться на этой критикѣ. Я думаю, что если бы ему удалось дѣйствительно ее опровергнуть, мы легко нашли бы съ нимъ почву для соглашенія.

Признаюсь, уже одно отреченіе отъ Леонтьева, высказанное въ весьма рѣзкой и рѣшительной формѣ, меня крайне порадовало. Я никогда не считалъ Леонтьева истиннымъ славянофиломъ. Но въ той газетной брани, которую вызвала моя статья, мнѣ доказывали между прочимъ, что Леонтьевъ именно и есть настоящий славянофилъ, очистившій ученіе своихъ предшественниковъ отъ европейскаго либерализма, отъ случайной примѣси чужеродныхъ гуманитарныхъ и прогрессивныхъ идей западнаго происхожденія.

Я съ своей стороны думаю, что славянофилы 50-хъ и 60-хъ годовъ могли бы только съ отвращеніемъ протестовать противъ цинической проповѣди Леонтьева, точно такъ же, какъ они несомнѣнно протестовали бы противъ теперешнихъ реакціонеровъ. Нравственный облигъ и вся дѣятельность такихъ людей, какъ Самаринъ или Аксаковъ, память которыхъ дорога не однимъ славянофиламъ, — представляетъ самый рѣзкій контрастъ всему ученю Леонтьева.

Тѣмъ не менѣе я желалъ бы знать, какъ отвѣтили бы старые славянофилы на его критику? Они, разумѣется, могли бы обличать нравственную ложь и противорѣчія его собственнаго ученія. Но, какъ я полагаю, Леонтьевъ правильно указалъ на большую неопредѣленность славянофильскаго ученія и на внутреннія противорѣчія, между націонализмомъ и универсализмомъ славянофиловъ, между ихъ византійскимъ идеаломъ до-петровской культуры

и ихъ либеральнымъ панславизмомъ. Эти противорѣчія, эта неопредѣленность понятій продолжаютъ сказываться и въ рѣчи генерала Кирѣева. Мы постараемся это показать, чтобы защитить себя и К. Леонтьева отъ незаслуженныхъ нападеній.

I.

„Православіе, самодержавіе и народность“ — такова наша формула, — говоритъ генералъ Кирѣевъ. Не даромъ почтенный ораторъ утверждаетъ, что противники славянофильства должны непремѣнно „предлагать“ „унію“ или „бумажныя гарантіи парламентаризма“ (стр. 22), и великодушно рекомендуетъ снисхожденію „нашихъ цензуръ“ тѣхъ изъ своихъ противниковъ, которые, послѣ этого, рѣшатся полемизировать съ славянофилами.

Признаться, это стремленіе канонизировать славянофильство, упрочить за нимъ какую-то минимую монополію на „православіе, самодержавіе и народность“ — придаетъ ему нѣсколько особый характеръ, весьма рѣзко отличающій его теперешній видъ отъ первоначальнаго ученія. Въ самомъ дѣлѣ, если генералъ Кирѣевъ думаетъ, что въ его „формулѣ“ выражаются и религіозно-этические, и политическіе идеалы русскаго народа (стр. 8), то по какому праву онъ монополизировать ее за собою? Она несомнѣнно существовала въ нашей литературѣ и до славянофиловъ, остается и послѣ нихъ. Леонтьевъ, по словамъ ген. Кирѣева, не имѣетъ ничего общаго съ славянофилами, и однако онъ исповѣдовалъ православіе и самодержавіе, и даже, несмотря на свою глубокую критику національной политики, считаетъ себя поборникомъ „истинно русскаго націонализма“. Съ другой стороны, неужели же ген. Кирѣевъ рѣшится утверждать, что всѣ западники измѣняли церкви, престолу и отечеству въ своемъ спорѣ съ славянофилами?

Генералъ Кирѣевъ, безъ сомнѣнія, согласится, что формулой „православіе, самодержавіе и народность“ никогда такъ не злоупотребляли, какъ въ наши дни. Ею равно пользуются противники и защитники земства, общиннаго землевладѣнія, реформъ Александра II. Ею явно злоупотребляетъ всякій, кто хочетъ зажать ротъ противнику, недостойнымъ образомъ превращая этотъ „символь вѣры русскаго патріотизма“ въ какое-то новое „слово и дѣло“. Очевидно нужно точно выяснитъ, въ какомъ смыслѣ надо понимать эту формулу, чтобы помѣшать злоупотребленію, прискорбному для всякаго истиннаго русскаго патріота.

Во всякомъ случаѣ какъ бы ни было высоко то мѣсто, которое занимала въ славянофильствѣ упомянутая формула, оно ею не исчерпывалось, и не въ ней состояла его оригинальность въ отличіе отъ обыкновеннаго патріотизма. Славянофильство заключало въ себѣ цѣлую философію, цѣлую политическую и религіозную программу, которая могла казаться опасною правительству 50-хъ годовъ. Славянофилы мечтали о созданіи самобытной славяно-русской культуры, въ корнѣ своемъ отличной отъ той „гнилой“ западно-европейской цивилизаціи, которая была „насильственно привита“ намъ Петромъ Великимъ, и которая уже въ значительной степени успѣла стать условіемъ нашего настоящаго культурнаго существованія. Каковы же идеальныя начала исконно-русской, до-Петровской культуры, къ которой хотѣли вернуться славянофилы? Леонтьевъ совершенно правильно указывалъ ихъ *византійскій* характеръ.

„Византизмъ, — говоритъ ген. Кирѣевъ, — выраженіе крайне неопредѣленное: въ политикѣ принято отождествлять его съ коварствомъ, лживостью, въ религіи — съ застывшимъ формализмомъ, съ слѣпымъ буквоедствомъ, отказывающимся отъ всякой мысли, наконецъ — съ поглощеніемъ догмата обрядомъ. Что такое направленіе, какъ частное, существовало въ средневѣковой греческой церкви и существуетъ и понынѣ, какъ оно существуетъ и въ другихъ православныхъ церквахъ, этого нечего оспаривать, но во всякомъ случаѣ въ нашихъ славянофильскихъ теоріяхъ ему нѣтъ мѣста... Мы славянофилы, ни прежде, ни теперь не ставили и не ставимъ обряда выше догмата и не преклонялись и не преклоняемся передъ буквой“ (стр. 11).

Но гдѣ же дѣлаетъ это Леонтьевъ и гдѣ нашелъ у него ген. Кирѣевъ подобный византизмъ? Преклоненіе передъ буквой и мертвой обрядностью, смѣшеніе обряда съ догматомъ является, какъ извѣстно, характерной чертою не византизма, а нашего старообрядчества, нашего раскола, въ которомъ сказался нашъ *національнй протестъ* противъ византизма. И Леонтьевъ, будучи врагомъ всякаго націонализма въ церкви, разумѣется, такого протеста одобрять не могъ. Если онъ и отзывался иногда сочувственно о старообрядствѣ, то лишь за то, что видѣлъ въ немъ „однѣ изъ самыхъ спасительныхъ тормазовъ нашего прогресса“, а вовсе не за его крайній ритуализмъ.

Леонтьевъ даетъ совершенно иное опредѣленіе византизма, чѣмъ то, которое мы находимъ у генерала Кирѣева. Онъ указываетъ,

что идеалы православія и самодержавія, которыми жила древняя до-Петровская Русь и которые доселѣ „проникають насквозь весь великорусскій общественный организм“, обуславливая его силу и вѣрность, суть византійскіе идеалы, идеалы завѣщанные намъ византійской имперіей. Что было въ нихъ специально русскаго или славянскаго? — спрашиваетъ Леонтьевъ. Что въ нихъ такого, что не было бы уже византійскимъ? При этомъ надо оговориться, что Леонтьевъ вовсе не думалъ отрицать универсальность церкви или сверх-народный характеръ государственнаго начала. Онъ признавалъ лишь, что вся концепція церкви, всѣ формы церковной жизни въ ея отношеніи къ міру, все своеобразное пониманіе взаимныхъ отношеній церкви и государства даны намъ Византіей, точно такъ же какъ и до-Петровскій идеалъ самодержавія. Какіе же культурныя начала слѣдуетъ искать теперь въ Россіи и славянствѣ за вычетомъ того, что дала славянскому міру Византія? Это общекультурныя начала *западной* цивилизаціи — матеріальная культура и неразрывно связанное съ нею западно-европейское просвѣщеніе. Другихъ культурныхъ началъ, кромѣ византійскихъ и западно-европейскихъ, нѣтъ ни у насъ, ни въ славянствѣ, ибо національность сама по себѣ, помимо религіозно-этическихъ вѣрованій и политическихъ принциповъ, не можетъ быть культурнымъ началомъ. Это только „этнографическій матеріалъ“, какъ выражаются Данилевскій и Леонтьевъ. Что касается до „націонализма“, въ которомъ Леонтьевъ видитъ „антирелигіозное и антигосударственное“ начало ложнаго демократизма, то, по справедливому замѣчанію генерала Кирѣева, его уже начали „примѣнять къ жизни“ на Западѣ, когда у насъ о немъ еще только спорили (стр. 6).

Теперь спросимъ себя вмѣстѣ съ Леонтьевымъ: могутъ ли послужить одни византійскіе идеалы до-Петровской Руси къ объединенію всѣхъ славянъ? Могутъ ли они одни залечь въ основаніе новой „всеславянской культуры“? Вмѣстѣ съ Леонтьевымъ приходится отвѣчать рѣшительнымъ *нѣтъ*. Здѣсь его критика панславизма тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе желалъ онъ его осуществленія на византійскомъ основаніи: для болѣе тѣснаго сближенія съ славянами, для практическаго осуществленія панславизма, потребовалось бы усвоеніе Россіей тѣхъ культурныхъ устоевъ Запада, которыми издавна живутъ западные славяне, и къ которымъ юго-славянскіе народы тяготеютъ несравненно больше, чѣмъ къ идеаламъ византійскимъ. Къ этимъ послѣднимъ южные и западные славяне равнодушны или глубоко враждебны. Не даромъ до Петра В. вся наша

борьба съ Западомъ была почти исключительно борьбою съ западными славянами. На чемъ же, спрашиваетъ Леонтьевъ, могла бы сойтись съ славянами Россія, если она не захочетъ присоединить ихъ насильственно, чтобы создать себѣ „пять или шесть Польшъ вмѣсто одной“ ¹⁾? Племенные интересы только раздѣляютъ славянъ, племенное сродство лишь усиливаетъ національную вражду. Леонтьевъ указываетъ, и по нашему мнѣнію совершенно справедливо, что, помимо насильственнаго присоединенія, объединить славянъ могло бы лишь нѣчто стоящее внѣ православія, внѣ византизма, внѣ нашей народности — интересы демократіи, національной независимости, политической свободы и культурнаго прогресса. Мы не можемъ сойтись съ славянами на почвѣ византійскаго обособленія отъ Европы. Поэтому Леонтьевъ такъ боится „опротечиваго панславизма“, видя въ немъ неизбежное торжество европейскихъ началъ въ славянствѣ надъ византійскими. Если бы состоялось такое объединеніе славянъ послѣ побѣды нашей надъ Австріей, оно и внутри самой Россіи доставило бы торжество западно-европейскимъ культурнымъ началамъ.

Что могли бы отвѣтить славянофилы на эту критику панславизма? Вся новѣйшая исторія освобожденнаго славянства подтверждаетъ ея справедливость. Пришлось бы согласиться съ Леонтьевымъ и отречься отъ славянъ, а имъ — радикально измѣнить все отношеніе къ *западной культурѣ*, признать ея универсальное значеніе, допустить, что она является источникомъ не только военной и экономической силы современной Россіи, но и внутренней силы ея, наряду съ ея религіозными и политическими идеалами, переданными ей Византіей.

II.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что византійскіе идеалы, которыми жила до-Петровская Русь, и на которые не думала посягать Петровская реформа, отличны по существу отъ западно-европейскихъ культурныхъ началъ. Византійская культура до-Петровской Россіи была цѣльной, свободной отъ внутреннихъ противорѣчій; но она оказалась *недостаточною* для успѣшнаго разрѣшенія государственныхъ и экономическихъ задачъ Россіи. Она не могла одна

¹⁾ „Разочаров. славянофилъ“, стр. 791. Мнѣ пришлось бы снова воспроизвести превосходную характеристику современнаго славянства, данную Леонтьевымъ въ подтвержденіе его взглядовъ на отношеніе славянъ къ Россіи.

французовъ, не только нѣмцевъ и англичанъ. Идеаль русскаго національнаго самодержавія также едва ли можетъ быть примѣнимъ во Франціи, Америкѣ или Великобританіи. Повидимому и самъ ген. Кирѣевъ того же мнѣнія, несмотря на свой „споръ съ конституціоналистами“: „идеалы политическіе (не имѣющіе божественнаго, безусловнаго основанія) могутъ до извѣстной степени измѣняться въ зависимости отъ условій мѣста и времени“ (стр. 6).

Останется идеаль православія — религіозная истина котораго не подлежитъ никакому измѣненію. Его-то, очевидно, и имѣетъ въ виду почтенный ораторъ. Но и тутъ возникаетъ вопросъ: *насколько* „Западъ“ можетъ принять православіе?

Въ самомъ дѣлѣ, уже личное обращеніе отдѣльныхъ европейскихъ католиковъ и протестантовъ въ православіе встрѣчаетъ на практикѣ довольно досадныя (хотя и устранимыя) затрудненія посколькѣ отдѣльныя православныя церкви не вполне выяснили вопросъ о тѣхъ основаніяхъ, на какихъ слѣдуетъ принимать западныхъ христіанъ, т.-е. признавать ли дѣйствительность таинствъ (крещенія, рукоположенія), совершенныхъ надъ обращающимися до ихъ вступленія въ православную церковь? Ген. Кирѣеву несомнѣнно лучше меня извѣстно, какъ прискорбны возникающія отсюда недоразумѣнія. Они, конечно, устранимы, и я не сталъ бы о нихъ упоминать, если бы въ связи съ этой неопредѣленностью въ отношеніи къ обращающимся въ православіе католикамъ и протестантамъ не стояла нѣкоторая неопредѣленность въ отношеніи къ западнымъ церквамъ въ ихъ цѣломъ: слѣдуетъ ли вообще считать ихъ за церкви, или же вмѣстѣ съ Хомяковымъ признавать, что есть только одна церковь — православная. Въ послѣднемъ случаѣ, разумѣется, никакія таинства внѣ ея недействительны.

Но пусть устраняется и это затрудненіе: пусть католики и протестанты, убѣдившіеся въ заблужденіяхъ своихъ исповѣданій, не останавливаются передъ условіями, которыя мы можемъ предложить имъ, заботясь исключительно о спасеніи своихъ погибающихъ душъ. Спрашивается: можетъ ли обращеніе отдѣльныхъ, даже весьма многихъ протестантовъ и католиковъ спасти самый погибающій Западъ и западное государство?

Западъ, по мнѣнію генерала Кирѣева, гибнетъ именно отъ того, что „западное государство отдѣлилось отъ церкви, сдѣлалось confessionslos, сдѣлалось l'état athée, и потеряло ту высшую сверхъюрисдикционную связь, безъ которой государство не можетъ жить, безъ которой оно превращается въ компанію на акціяхъ, стремящуюся

западной культуры, противъ „гнилого Запада“ въ его цѣломъ и въ то же время брали по частямъ и въ розницу все то, что имъ нравилось изъ европейской науки и философіи, изъ католическаго и протестантскаго богословія, изъ техническихъ изобрѣтеній и политическихъ учреждений Запада. Признавая все русское хорошимъ, они нерѣдко считали и все хорошее русскимъ или „сроднымъ духу русскаго народа“, произвольно налагая свое таможенное клеймо на отдѣльныя детали западной цивилизаціи.

III.

Въ прежней моей статьѣ я указывалъ на замѣченное Леонтьевымъ противорѣчіе, заключавшееся въ усвоеніи славянофилами европейскаго либерализма, совершенно чуждаго до-Петровскому византизму. Генераль Кирѣевъ находитъ, что никакого противорѣчія нѣтъ, но на самомъ дѣлѣ даетъ намъ въ своей рѣчи новый типичный образчикъ неопредѣленнаго и мечтательнаго эклектизма въ сферѣ политическихъ принциповъ.

„Широкая гласность есть *conditio sine qua* поп всякаго порядка и преуспѣянія“, — разсуждаетъ почтенный ораторъ (стр. 8). „У западнаго государства есть великое преимущество въ широкой гласности, охраняющей его отъ конечнаго паденія и дающей ему возможность превосходно администрироваться“ (стр. 9).

Но неужели же ген. Кирѣевъ думаетъ, что эта европейская гласность, составляющая одно изъ *политическихъ правъ* западныхъ народовъ, мыслима безъ цѣлаго правового порядка этихъ народовъ? Неужели онъ не помнитъ исторіи гласности на Западѣ? Но, можетъ быть, у насъ она должна развиваться иначе? Въ подтвержденіе своихъ мыслей ген. Кирѣевъ приводитъ нѣсколько строкъ анонимаго автора „о гласности и о необходимости полнаго и обоюднаго знакомства между народомъ и правительствомъ“ : „народъ долженъ знать истину о правительствѣ, и правительство должно знать истину о народѣ, и оба должны знать истинную цѣль своихъ стремленій. Правительство и народъ должны знать не только конкретную истину другъ о другѣ, но, дабы не дѣлать ошибокъ во взаимныхъ отношеніяхъ, они должны знать и отвлеченную истину, во имя которой эти отношенія существуютъ (?). Они должны знать и ясно понимать тѣ вѣковѣчные принципы, которые лежатъ въ основѣ государственной жизни и которые должны руководить правительствомъ и народомъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ. Правительство должно

знать истину о своемъ народѣ. Но теперь оно узнаетъ ее почти исключительно черезъ своихъ агентовъ, а эти послѣдніе, докладывая своему начальству о собственныхъ дѣйствіяхъ по ввѣренному имъ дѣлу, всегда склонны представить ихъ въ томъ видѣ, что „все обстоитъ благополучно“ (стр. 9).

На основаніи этого разсужденія довольно трудно составить себѣ опредѣленное представленіе о томъ, какъ думаетъ ген. Кирѣевъ организовать и обезпечить гласность? Въ какой формѣ должны мы будемъ представить себѣ тотъ интимный раутъ, на который правительство и народъ имѣютъ быть приглашены для полного обоюднаго знакомства?

Правительство должно слышать гласъ народа не черезъ своихъ агентовъ, а непосредственно отъ самаго народа, быть освѣдомлено самимъ народомъ о его нуждахъ и его идеалахъ. Очевидно, однако, нельзя собрать весь „народъ“ на вѣчевую сходку — даже если ограничиться одними православными великоруссами. Очевидно съ другой стороны, нельзя принять за гласъ народа — мнѣнія, выражаемыя отдѣльными газетчиками, хотя бы и весьма благонамѣренными. Значить, народъ долженъ быть представленъ особыми указываемыми имъ и уполномоченными имъ на то представителями. Это будетъ, — чтобы не произнести ненавистнаго слова, — это будетъ всенародное представительное собраніе, родъ „собора“, о которомъ мечтали либеральные славянофилы. Чѣмъ, однако, такой „соборъ“ будетъ отличаться отъ западной „говорильни“? Очевидно, и на „соборѣ“ будутъ говорить, и даже исключительно говорить, „освѣдомлять“ или „освѣдомляться“, предоставляя дѣйствовать кому слѣдуетъ. Отличіе между русской и западной „гласностью“, повидимому, должно заключаться не въ одной праздности разговоровъ.

„Нашъ споръ съ конституціоналистами (вѣрнѣе съ парламентаристами), говоритъ ген. Кирѣевъ, можетъ быть выраженъ въ двухъ словахъ: мы вѣримъ *„въ одну волю и много умовъ“*; они — *„во много волю и много умовъ“*. Такова формула парламентаризма“ (стр. 7).

Разсмотримъ, однако, первую формулу ген. Кирѣева и спросимъ себя, обязательно ли, для единой „воли“ рѣшеніе собирательнаго „ума“? Если нѣтъ, такъ не стоить къ нему обращаться, понапрасну подвергая „волю“ суду и пересудамъ всеобщаго „разума“ и вмѣшивая его въ вопросы, ему не подлежащіе. Если да, то, какъ я полагаю, не только западные конституціоналисты, но даже республиканцы могутъ подъ этой формулой подписаться. Что же

касается до второй формулы — „много воли и много умов“, то ген. Кирѣевъ напрасно считаетъ ее формулой парламентаризма: ее могла бы усвоить себѣ развѣ какая-нибудь анархическая волюница¹⁾.

IV.

Я указалъ на противорѣчія славянофильскаго мессіанизма, намѣченные Леонтьевымъ, и думаю, что генералу Кирѣеву не удалось ихъ разрѣшить. Главное противорѣчіе заключается въ томъ, что тѣ самыя начала, которыя обособляли Россію отъ всего прочаго цивилизованнаго міра, должны стать принципомъ всемірной, универсальной культуры. Мы должны только еще болѣе обособиться, принципиально обособить наши истинно-русскіе идеалы отъ западныхъ, чтобы во всей чистотѣ явить ихъ погибающему западному міру.

„Гнилы, по нашему мнѣнію, — говоритъ ген. Кирѣевъ, — этические устои Запада... гнилы и его. религіозные устои. Чтобы выйти изъ своихъ затрудненій, Западу останется одинъ путь — принятіе нашихъ идеаловъ; *насколько это возможно — вопросъ другой*“). Мессіаническое значеніе Россіи относительно Запада не подлежитъ сомнѣнію — это не химера, не утопія. Какъ это ни кажется парадоксальнымъ, мы несомнѣнно можемъ указать ему путь спасенія“.

Другой вопросъ, можетъ ли Западъ идти этимъ путемъ! Странный мессіаниззмъ, однако! Вѣдь если мы указываемъ Западу такой путь, которымъ онъ идти не можетъ, и такіе идеалы, которыхъ онъ не можетъ принять, то очевидно мы не въ силахъ его спасти, и должны вмѣстѣ съ Леонтьевымъ признать, что политическій мессіаниззмъ славянофиловъ есть фантастическая мечта. Итакъ, прежде всего надо разсмотрѣть, въ состояніи ли Западъ принять славянофильскіе идеалы.

Наши идеалы суть православіе, самодержавіе и русская народность, или православіе, самодержавіе и славянство — говоритъ ген. Кирѣевъ. — Но идеалъ панславизма или русской національности, очевидно, не можетъ быть принятъ Западомъ и спасти даже

¹⁾ Замѣчу, что славянофилы, полемизируя съ Вл. С. Соловьевымъ, оставили безъ отвѣта его превосходную критику политическихъ мечтаній К. Аксакова о свободѣ общественнаго мнѣнія.

²⁾ Курсивъ нашъ.

французовъ, не только нѣмцевъ и англичанъ. Идеаль русскаго національнаго самодержавія также едва ли можетъ быть примѣнимъ во Франціи, Америкѣ или Великобританіи. Повидимому и самъ ген. Кирѣевъ того же мнѣнія, несмотря на свой „споръ съ конституціоналистами“: „идеалы политическіе (не имѣющіе божественнаго, безусловнаго основанія) могутъ до извѣстной степени измѣняться въ зависимости отъ условій мѣста и времени“ (стр. 6).

Останется идеаль православія — религіозная истина котораго не подлежитъ никакому измѣненію. Его-то, очевидно, и имѣетъ въ виду почтенный ораторъ. Но и тутъ возникаетъ вопросъ: *насколько* „Западъ“ можетъ принять православіе?

Въ самомъ дѣлѣ, уже личное обращеніе отдѣльныхъ европейскихъ католиковъ и протестантовъ въ православіе встрѣчаетъ на практикѣ довольно досадныя (хотя и устранимыя) затрудненія поскольку отдѣльныя православныя церкви не вполне выяснили вопросъ о тѣхъ основаніяхъ, на какихъ слѣдуетъ принимать западныхъ христіанъ, т.-е. признавать ли дѣйствительность таинствъ (крещенія, рукоположенія), совершенныхъ надъ обращающимися до ихъ вступленія въ православную церковь? Ген. Кирѣеву несомнѣнно лучше меня извѣстно, какъ прискорбны возникающія отсюда недоразумѣнія. Они, конечно, устранимы, и я не сталъ бы о нихъ упоминать, если бы въ связи съ этой неопредѣленностью въ отношеніи къ обращающимся въ православіе католикамъ и протестантамъ не стояла нѣкоторая неопредѣленность въ отношеніи къ западнымъ церквамъ въ ихъ цѣломъ: слѣдуетъ ли вообще считать ихъ за церкви, или же вмѣстѣ съ Хомяковымъ признавать, что есть только одна церковь — православная. Въ послѣднемъ случаѣ, разумѣется, никакія таинства внѣ ея недействительны.

Но пусть устраняется и это затрудненіе: пусть католики и протестанты, убѣдившіеся въ заблужденіяхъ своихъ исповѣданій, не останавливаются передъ условіями, которыя мы можемъ предложить имъ, заботясь исключительно о спасеніи своихъ погибающихъ душъ. Спрашивается: можетъ ли обращеніе отдѣльныхъ, даже весьма многихъ протестантовъ и католиковъ спасти самый погибающій Западъ и западное государство?

Западъ, по мнѣнію генерала Кирѣева, гибнетъ именно отъ того, что „западное государство отдѣлилось отъ церкви, сдѣлалось confessionslos, сдѣлалось l'état athée, и потеряло ту высшую сверхъюрисдикционную связь, безъ которой государство не можетъ жить, безъ которой оно превращается въ компанію на акціяхъ, стремящуюся

къ удовлетворенію матеріальныхъ потребностей“. Сила Россіи на-
противъ того, всецѣло зависитъ отъ органической связи, которая
еще существуетъ въ ней между церковью и государствомъ. „Вѣдь
мы и государство, мы же и церковь, — говоритъ ген. Кирѣевъ, —
поэтому между нами какъ государствомъ и нами же какъ церковью
могутъ быть лишь временныя недоразумѣнія, временныя размолвки,
а не принципиальная борьба, какъ на Западѣ! Не можемъ же мы
бороться, сами съ собой!“ (стр. 9).

Правда, не можемъ! И я даже не понимаю, о какихъ времен-
ныхъ недоразумѣніяхъ и размолвкахъ говоритъ ген. Кирѣевъ. Онъ,
по всей вѣроятности, разумѣетъ русскихъ не-православнаго вѣро-
исповѣданія: вотъ между ними какъ церковью и ими же какъ
государствомъ дѣйствительно могутъ возникать временныя недора-
зумѣнія въ тѣхъ случаяхъ, напримѣръ, когда они, по ошибкѣ,
числятся православными.

Но какъ бы то ни было, если Западу нужна единая церковь
и органическая связь церкви съ государствомъ, недостаточно обра-
щать *отдѣльныхъ* европейцевъ въ православіе или даже въ славя-
нофильство: это можетъ только усилить „принципиальную борьбу“
такихъ европейцевъ „между собою какъ церковью и собою же какъ
государствомъ“. И если такая борьба не приметъ самыхъ острыхъ
формъ, то развѣ потому, что европейское государство „стало *con-
fessionslos*“. Иначе борьбѣ пришлось бы тянуться до тѣхъ поръ,
пока западныя правительства не усвоятъ себѣ нашей русской вѣро-
исповѣдной политики, что во всякомъ случаѣ можетъ случиться не
скоро, — точнѣе, никогда не можетъ случиться.

Присоединеніе *отдѣльныхъ* протестантовъ или католиковъ къ пра-
вославію никакъ не можетъ дать Западу единой религіозной основы
общественной жизни, единой церкви, скрѣпляющей государство своей
„сверхъ-юридической нравственной связью“. Изъ примѣра старо-
католичества, на которое ссылается ген. Кирѣевъ, мы видимъ, что
даже обращеніе въ православіе цѣлыхъ общинъ могло бы создать
на Западѣ лишь новую церковь наряду съ другими и тѣмъ самымъ
усугубить религіозную рознь Запада. Не этого, конечно, желаетъ
ген. Кирѣевъ для его спасенія. Другое дѣло, если бы сами западныя
церкви приняли православіе!

Но *обращать* можно не церкви, а отдѣльныя общины или
отдѣльныхъ лицъ. Раздѣленные церкви могутъ враждовать между
собою, могутъ и примириться во Христѣ, могутъ выработать осно-
ванія для своего общенія и соединенія. Во всякомъ случаѣ сла-

вянофильское богословіе Хомякова, не признававшего ни римской, ни протестантскихъ церквей въ качествѣ церквей, и учившее, что есть только одна православная греко-россійская церковь, не оставляетъ мѣста для какой бы то ни было рѣчи о *соединеніи церквей*. Остается только заботиться объ обращеніи отдѣльныхъ иновѣрцевъ и, оставить мысль о „мессіанизмѣ Россіи относительно Запада“, обратиться къ миссіонерской дѣятельности отдѣльныхъ православныхъ проповѣдниковъ среди западныхъ нехристей. Мало того, хотя краснорѣчивая и убѣжденная проповѣдь свободы совѣсти составляетъ одну изъ самыхъ крупныхъ заслугъ славянофиловъ, ихъ богословскія теоріи могутъ вести на практикѣ лишь къ большому обостренію вѣроисповѣдной распри и къ отрицанію церковныхъ правъ католичества и протестантства.

Какъ бы то ни было, Европа не можетъ вступить на путь указываемый ей генераломъ Кирѣевымъ и усвоить наши идеалы славянства, самодержавія и православія: первые два — потому что они наши *національные* идеалы, третій — потому что сами славянофилы послѣдовательно не могутъ допустить мысли о соединеніи церквей и хотятъ лишь присоединенія отдѣльныхъ европейцевъ, ихъ отреченія отъ католицизма и протестантства, при чемъ такое отступничество можетъ очевидно спасти лишь отступниковъ, а никакъ не погибающій Западъ и его государства. Во что же обращается славянофильскій мессіаниззмъ? Не должны ли мы вмѣстѣ съ Леонтьевымъ отречься отъ него, точно такъ же какъ отъ панславизма, отъ просвѣщенія, отъ общественнаго развитія Россіи?

Понятіе мессіанизма болѣе всякаго другого нуждается въ точномъ опредѣленіи. Вспомнимъ только, какъ различно понимался мессіаниззмъ въ эпоху пришествія самого Мессіи! Одни ждали отъ Него хлѣба съ небесъ, другіе — знаменій, третьи — политическаго возвеличенія народа избраннаго, путемъ пораженія другихъ народовъ. Тѣ три искушенія, съ которыми Христосъ боролся въ пустыни, были именно искушеніями *ложнаго мессіанизма*. И отечественный мессіаниззмъ можетъ пониматься весьма различно: одни могутъ видѣть миссію Россіи въ разрѣшеніи соціального вопроса, другіе — въ всемірномъ владычествѣ, въ какомъ-то страшномъ судѣ надъ народами Европы. Ген. Кирѣевъ видитъ истинный мессіаниззмъ въ подвигахъ самоотреченія, въ безкорыстной христіанской политикѣ, которой долженъ слѣдовать русскій народъ. Это болѣе согласно съ христіанскимъ ученіемъ, но не всегда согласимо съ требованіями національной политики. Вѣдь признаетъ же ген. Кирѣевъ,

что интересы національностей, напр. русской и польской или нѣмецкой или еврейской, могутъ сталкиваться. Какъ же тутъ поступить? какимъ принципомъ руководствоваться?

V.

Итакъ, мнѣ кажется, ген. Кирѣевъ слишкомъ поспѣшно высказываетъ столь рѣшительное осужденіе К. Леонтьеву. Его критика панславизма, его критика мессіанизма, культурныхъ и политическихъ замысловъ славянофильства—остается въ силѣ; она показываетъ, что всѣ эти замыслы предполагаютъ не обособленіе отъ западной Европы, а глубокое принципиальное сближеніе съ нею и постольку заключаютъ въ себѣ противорѣчія; она показываетъ, что на почвѣ исключительнаго утвержденія до-Петровскихъ, византійскихъ идеаловъ нашихъ такіе замыслы представляются не только неосуществимыми, но опасными и нежелательными. Но значеніе Леонтьева этимъ не ограничивается: онъ показалъ, къ чему могло бы привести исключительное развитіе Россіей византійскихъ началъ при насильственномъ устраненіи западныхъ элементовъ нашей культуры. Онъ послѣдовательно продумалъ свою мысль до конца—и результатомъ ея было не только разочарованіе въ панславизмѣ, но и во всей русской культурѣ, смѣшанной изъ византійскихъ и западно европейскіихъ началъ. Обособляя византійскіе идеалы до-Петровской Руси, онъ и мечталъ о возникновеніи самобытной культуры вполне византійской, съ культурнымъ центромъ въ Царьградѣ, внѣ предѣловъ Россіи; ибо онъ сознавалъ, что Россія уже *безповоротно* приняла матеріальную и отчасти духовную культуру Запада. Леонтьевъ указалъ и единственно правильный путь къ достиженію своей цѣли—ту анти-культурную и разрушительную политическую программу, которую ген. Кирѣевъ характеризуетъ какъ аракчеевщину, и которая является лишь послѣдовательнымъ развитіемъ исключительнаго византизма нашего „разочарованнаго славянофила“.

Ученіе Леонтьева, какъ бы оно ни было уродливо, могло бы послужить славянофиламъ: оно могло бы открыть имъ глаза на ихъ собственное ученіе, на ихъ неполноту и недомолвки, ихъ ложное пониманіе русской и всемірной исторіи, ихъ *не-русское* отношеніе къ Западу и европейской культурѣ.

Раннее славянофильство съ своей романтикой принадлежитъ безвозвратному прошлому. Оно сыграло славную роль въ исторіи русскаго просвѣщенія, и русское общество будетъ чтить память его

родоначальниковъ. Несмотря на принципиальное разногласіе съ ними, я не думаю однако, чтобы оно совсѣмъ умерло и не могло имѣть преемниковъ. Напротивъ того, я думаю, что оно можетъ еще ожить, не отрекаясь ни отъ церкви, ни отъ своего широко понимаемаго монархическаго идеала, ни отъ народолюбія, ни отъ славянства, ни отъ гласности и свободы совѣсти. Преемникамъ старыхъ славянофиловъ придется только отречься отъ обветшавшей романтики своихъ предшественниковъ, отъ ихъ ложнаго анти-историческаго пониманія западнаго государства, западнаго христіанства и западной культуры — въ Европѣ и въ Россіи. Имъ придется помѣриться съ „западничествомъ“ *принципіально*, а не на почвѣ поверхностнаго эклектизма; имъ придется понять, что византійскій партикуляризмъ, мнимо-культурное самоослабленіе Россіи, которое славянофилы до сихъ поръ проповѣдовали, противорѣчитъ всѣмъ ихъ широкимъ замысламъ и послѣдовательно ведетъ къ ученію Леонтьева, къ отреченію отъ современной Россіи — не только отъ славянства или мечтаній политическаго мессіанизма.

Отношеніе славянофиловъ къ Европѣ было и непоследовательнымъ, и не-русскимъ. Оно было бы византійскимъ, если бы оно не было внушено европейской романтикой. Пусть существенное культурное отличіе Россіи отъ Европы обуславливается византійскимъ происхожденіемъ ея религіозныхъ и государственныхъ идеаловъ; оригинальность Россіи въ отличіе отъ Византіи выражается въ томъ, что ея отношеніе къ Европѣ въ корнѣ отлично отъ византійскаго. Романтическій протестъ противъ европейской культуры звучалъ анахронизмомъ уже въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ; теперь онъ является явнымъ недомыслиемъ. Преемники старыхъ славянофиловъ, въ которыхъ остался еще истинный и просвященный патріотизмъ, должны отречься отъ этой принципиальной вражды противъ Запада — отречься во имя Россіи и славянства, во имя своихъ идеаловъ. Пусть оставляютъ они такую „принципіальную вражду“ сознательнымъ обскурантамъ, какъ Леонтьевъ, врагамъ гласности, просвѣщенія, общественнаго развитія и свободы совѣсти! Не западники, не открытые противники и критики славянофильства компрометтируютъ его въ общественномъ мнѣніи, а именно тѣ ложные патріоты, которые усваиваютъ однѣ его ошибки, наружно прикрываясь его идеалами. Во имя стараго славянофильства, во имя всего, что было въ немъ честнаго и хорошаго, его теперешніе преемники должны отречься отъ такихъ ложныхъ патріотовъ и положить между ними и собою непроходимую грань. А это въ свою очередь воз-

можно лишь путем отречения отъ ошибокъ и заблужденій стараго славянофильства, въ которыхъ заключается мнимое оправданіе теперешнихъ реакціонеровъ и обскурантовъ. Ошибки и заблужденія есть во всякомъ человѣческомъ ученіи: исправляя ихъ, оно лишь доказываетъ свою жизненность и способность къ развитію.

Судьбы славянофильства въ наши дни напоминаютъ извѣстную сказку объ Иванѣ-царевичѣ. Въ своихъ поискахъ за жаръ-птицей этотъ мистическій представитель русскаго духа „воочію совершившагося“ передъ бабой-Ягой, пришелъ однажды къ распутию, отъ котораго шли три дороги. При распутии стоялъ столбъ, и на столбѣ была надпись: „поѣдешь направо — погибнетъ твой конь, но самъ останешься цѣль; поѣдешь на лѣво — себя загубишь, но коня сбережешь; поѣдешь прямо — сбережешь и себя, и коня, но всю дорогу будешь голоденъ и холоденъ и никуда не доѣдешь“. Иванъ-царевичъ, недолго думавъ, повернулъ направо и предпочелъ сѣраго волка, заѣвшаго его коня, тѣмъ волкамъ, которые неизбѣжно должны были съѣсть его самого.

Современное славянофильство давно уже пришло къ подобному распутию: если оно рѣшится пожертвовать своимъ ложнымъ конькомъ, оно сбережетъ себя и можетъ еще быть плодотворнымъ; если оно дорожить конькомъ своимъ больше, чѣмъ собой и своими идеалами, оно пойдетъ по пути Леонтьева, гдѣ оно неизбѣжно погибнетъ. Если же оно захочетъ идти прямо, тѣмъ среднимъ путемъ, какой указываетъ ген. Кирѣевъ, сохраняя и свои идеалы и своихъ коньковъ — оно будетъ голодно, холодно, безплотно и никуда не доѣдетъ, хотя бы ему была дана драчунъ дубинка и шапка-невидимка Ивана-царевича.

(„Вѣстникъ Европы“ 1893 г.)

Научная дѣятельность А. М. Иванцова-Платонова.

(Статья написанная по поводу его смерти.)

Производя оцѣнку научныхъ трудовъ А. М. Иванцова-Платонова, мы не должны забывать, что покойный, при всей своей учености и несомнѣнныхъ заслугахъ передъ наукой, не былъ только ученымъ, что общественное служеніе его не можетъ характеризоваться какъ служеніе наукѣ. Если взять перечень его многочисленныхъ сочиненій, его статей, разсѣянныхъ въ духовныхъ и свѣтскихъ журналахъ, его проповѣдей наконецъ, — нетрудно замѣтить, что самая литературная дѣятельность покойнаго была посвящена далеко

не одной наукѣ. Не было ни одного вопроса, имѣвшего нравственно-общественный интересъ, на который бы онъ не откликнулся.

Среди образованнаго русскаго общества, въ которомъ протекла его дѣятельность, онъ оставался прежде всего священникомъ, пастыремъ церкви. Онъ ничѣмъ не поступился въ своей чистой, сердечной вѣрѣ, въ своемъ просвѣщенномъ, сознательномъ православіи, въ своей любви къ храму Божию, къ самой службѣ церковной. И въ то же время онъ искренно усвоилъ лучшіе интересы образованнаго русскаго общества въ его стремленіи къ реформѣ недостатковъ нашего строя, къ широкому развитію просвѣщенія, къ свободному развитію мысли въ сферѣ религіозной, общественной, научной. Привѣтствуя возрожденіе русскаго общества въ ту эпоху реформъ, когда онъ вступилъ на поприще своей дѣятельности, Иванцовъ-Платоновъ вѣрно понялъ свою задачу, какъ служителя церкви, — показать на дѣлѣ, что вѣчные заветы Христа не узаконяютъ никакой неправды, никакого коснѣнія, требуя дѣятельнаго осуществленія истины и добра не только въ частной, но и въ общественной жизни. Онъ видѣлъ въ Церкви полноту истины, высшую задачу человечества и вмѣстѣ высшее его просвѣтительное начало, которое по существу своему не можетъ быть силой враждебной наукѣ, просвѣщенію, общественному развитію. И потому, въ своемъ честномъ, добросовѣстномъ служеніи наукѣ и русскому просвѣщенію онъ исполнялъ свой пастырскій долгъ „служенія живому Богу“.

I.

На первыхъ шагахъ своей религіозно-общественной дѣятельности въ своемъ стремленіи къ оживленію церковной науки, сближенію свѣтской мысли съ тою церковью, которая нѣкогда служила единственнымъ разсадникомъ просвѣщенія въ Россіи, Иванцовъ-Платоновъ встрѣтился съ людьми, принадлежащими къ свѣтскому званію, но шедшими къ той же цѣли. Я разумѣю славянофиловъ съ ихъ широкими церковно-общественными идеалами, ихъ попытками философскаго синтеза религіи и науки на началахъ православія, ихъ проповѣдью неограниченной свободы совѣсти и свободы изслѣдованія. Одинъ изъ первыхъ представителей нашего духовенства, Иванцовъ-Платоновъ привѣтствовалъ этотъ первый самобытный шагъ богословской мысли нашего свѣтскаго общества. Его соединяла съ

славянофилами вѣра въ живыя силы православія, вѣра въ единство высшихъ нравственныхъ интересовъ человѣка. Онъ участвовалъ чуть ли не во всѣхъ изданіяхъ Аксакова, въ особенности въ „Днѣ“ и „Руси“, гдѣ появился рядъ замѣчательныхъ статей его, заключающихъ проектъ реформъ нашего церковно-общественнаго строя. Онъ издавалъ нѣкоторые сочиненія Хомякова (напр., его „письма къ Пальмеру“), которые появились въ „Прав. Обзор.“ съ его пространными замѣчаніями. Но какъ ни сочувствовалъ Иванцовъ-Платоновъ славянофиламъ, — онъ шелъ своей дорогой и, можетъ-быть, въ сферѣ богословской мысли расходился съ ними дальше, чѣмъ это можно бы думать, „относясь къ воззрѣніямъ Хомякова съ совершенной самостоятельностью и внимательной критикой“¹⁾. Несмотря на самыя горячія похвалы, уже въ своихъ замѣчаніяхъ къ 3-му „письму къ Пальмеру“, онъ высказываетъ нѣсколько иное (и, какъ намъ кажется, болѣе правильное) отношеніе къ западнымъ исповѣданіямъ, чѣмъ то, которое составляетъ отличительную особенность Хомякова. Онъ противопоставляетъ ученіе западныхъ исповѣданій *чистому православію*, но фактически все же видитъ въ нихъ *церкви* — христіанскія, хотя и не православныя, между тѣмъ какъ Хомяковъ признавалъ Церковь только въ православіи, отрицая ее въ католицизмѣ и протестанствѣ. Поэтому Хомяковъ послѣдовательно отрицалъ внѣ православной восточной Церкви и какія бы то ни было таинства, какъ дѣйствія благодати, — воззрѣніе, которое Иванцовъ-Платоновъ рѣшительно отвергаетъ, признавая его „слишкомъ жестокимъ, тяжелымъ и несогласнымъ съ воззрѣніями православной Церкви“, во всякомъ случаѣ — съ ея практикой²⁾.

Здѣсь сказывается довольно существенное разногласіе по поводу основной мысли Хомякова — его знаменитаго положенія: „Церковь одна“, — въ которомъ понимается безразлично небесная и земная греко-россійская Церковь. Какъ ни значительно такое разногласіе, Иванцовъ-Платоновъ, повидимому, не придавалъ ему принципиальнаго значенія, высказавъ его лишь мимоходомъ и указывая на глубокую важность и трудность вопроса³⁾. Вообще онъ воздерживался отъ всякихъ смѣлыхъ и рѣшительныхъ догматическихъ теорій и приго-

¹⁾ См. „Прав. Обзор.“ 1870, с. 240. „Взглядъ на прошедшее и надежды въ будущемъ“.

²⁾ См. „Прав. Обзор.“ 1869 г., стр. 531—533 и сл. Иванцовъ ссылается между прочимъ на мнѣніе митрополита Филарета, который внушалъ „съ какою осторожностью нужно произносить приговоры о цѣлыхъ Церквахъ“, ib. 536.

³⁾ Ibid. Ср. горячія похвалы Хомякову въ „Прав. Обзор.“ 1869, с. 97—119 и въ другихъ статьяхъ Иванцова.

и рабынь царя Соломона¹⁾. Съ другой стороны, эта историческая ученость направляется на догматическую переработку памятниковъ ранней христіанской литературы. Такая критика памятниковъ, особливо въ первыя вѣка византійской эры, вела не только къ научнымъ, но и къ практическимъ результатамъ — въ видѣ массоваго уничтоженія множества произведеній древней христіанской мысли, не подходившихъ подъ рамки догмата, и въ видѣ многочисленныхъ поддѣлокъ и интерполяцій въ другихъ памятникахъ, не исключая иногда и самыхъ священныхъ. Если до насъ дошли, иногда лишь въ единичныхъ спискахъ, въ переводахъ или фрагментахъ цѣнные памятники, по которымъ мы можемъ судить о генезисѣ и развитіи древне-христіанской мысли, то многіе изъ нихъ обязаны своимъ сохраненіемъ лишь случайности или ошибкѣ ревнителей, приписывавшихъ имъ иное значеніе и происхожденіе, чѣмъ то, которое они въ дѣйствительности имѣли²⁾.

Лишь въ IX в., по окончаніи великихъ догматическихъ споровъ, наступаетъ поворотъ, пробуждается самостоятельный археологическій, антиварный интересъ къ древности церковной и классической. Мы назовемъ лишь великаго ученаго и библіофила, патріарха Фотія, которому такъ много обязана наука и которому Иванцовъ-Платоновъ посвятилъ свой послѣдній научный трудъ. *Φώτιος — το μέγα βιβλίου!*³⁾.

Европейская наука давно освободилась отъ оковъ схоластики. Вѣка усилій были потрачены на то, чтобы возстановить самый текстъ и историческое значеніе памятниковъ древней церковной литературы, обличить поддѣлки, интерполяции, понять и провѣрить историческое преданіе. Въ нашемъ вѣкѣ въ особенности приемы историко-филологической критики, перенесенные на изслѣдованіе памятниковъ Ветхаго Завета и древнѣйшей христіанской литературы, — повидимому, представили въ совершенно новомъ свѣтѣ весь тотъ литературный матеріалъ, которымъ пользовалась не только исто-

¹⁾ Ib. 288.

²⁾ Cp. Harnack. Gesch. d. Altchristlichen Litteratur. Leipzig. 1893. B. I. введение (Grundzüge der Ueberlieferungsgeschichte der vorchristlichen Litteratur in älterer Zeit). По справедливому замѣчанію Harnack'a, надо помнить однако, что древняя Церковь въ своей тяжелой борьбѣ съ ересями и расколами имѣла „божѣ важныя и трудныя задачи, чѣмъ доставленіе библіотекъ потомству“. Какъ бы то ни было, въ каждомъ данномъ случаѣ „правильной постановкой вопроса будетъ не то, почему погибло то или другое древне-христіанское сочиненіе, а почему оно сохранилось“. Стр. XXVII.

³⁾ Таковъ первый эпиграфъ, избранный Иванцовымъ къ своему труду „Къ изслѣдованіямъ о Фотіи, патріархѣ константинопольскомъ (по поводу совершающагося тысячелѣтія со времени его кончины)“. С.-Пб. 1892.

уклонно преслѣдоваль въ своей долголѣтней преподавательской дѣятельности — въ средне-учебныхъ заведеніяхъ, въ университетѣ, въ частныхъ курсахъ, во множествѣ своихъ печатныхъ трудовъ. Одинъ изъ лучшихъ университетскихъ преподавателей, онъ сразу устранилъ предубѣжденіе противъ своего предмета — своимъ талантомъ, самымъ методомъ своего преподаванія. Онъ задавался цѣлью ввести своихъ слушателей въ науку, въ самые приемы научнаго изслѣдованія. Онъ знакомилъ ихъ систематически съ главнѣйшими произведеніями церковной исторіографіи, древней и новой, съ ихъ методами, направленіемъ, результатами; онъ излагалъ имъ ходъ новѣйшихъ критическихъ работъ въ Западной Европѣ, исторію критики Новаго Завѣта и памятниковъ древней христіанской литературы. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ стремился дать имъ непосредственное знакомство съ этими памятниками, развить въ нихъ любовь и навыкъ къ самостоятельному критическому ихъ изученію. По однимъ критическимъ трудамъ нашего покойнаго учителя, обратившимъ на себя вниманіе европейскихъ ученыхъ, можно судить о томъ, какимъ превосходнымъ руководителемъ былъ онъ въ такой работѣ, какъ строго и вмѣстѣ какъ широко понималъ онъ ея задачи.

Этой живой преподавательской дѣятельности соотвѣтствовала и литературная дѣятельность покойнаго, въ которой онъ такъ же, помимо немногихъ чисто-ученыхъ работъ, стремился преимущественно къ широкой популяризациі своего предмета. Такова была по необходимости задача всѣхъ научныхъ начинаній въ тѣхъ областяхъ, которыя представлялись новыми русской наукѣ. Популярныя очерки Иванцова-Платонова — точно такъ же, какъ его курсы, касаются самыхъ различныхъ отдѣловъ церковной исторіи и богословской мысли. Сюда относятся его этюды о христіанствѣ западныхъ славянъ, о западныхъ исповѣданіяхъ и въ особенности его многолѣтнее сотрудничество въ „Православномъ Обзорѣніи“, въ изданіи котораго онъ участвовалъ вмѣстѣ съ своими друзьями — Г. П. Смирновымъ-Платоновымъ, покойнымъ проф. Сергіевскимъ и покойнымъ П. А. Преображенскимъ. Говоря объ Иванцовѣ-Платоновѣ, нельзя не упомянуть добрымъ словомъ его сотоварищей и этотъ журналъ, лучший изъ всѣхъ бывшихъ у насъ духовныхъ журналовъ, который въ свое время сумѣлъ достигнуть серьезнаго общественнаго значенія. По выраженію одного изъ редакторовъ „Прав. Обзор.“¹⁾, съ

¹⁾ Г. П. Смирнова-Платонова — въ „Вопросахъ Философіи“, ноябрь 1894, с. 785. Съ 1875 г. во главѣ редакціи остался одинъ о. Преображенскій.

самого начала за все время изданія душою дѣла былъ Александръ Михайловичъ: „Прав. Обзор.“ задавалось тою же широкою цѣлью, которую онъ всюду преслѣдовалъ — сблизить церковную и свѣтскую мысль, оживить церковную науку, распространить въ обществѣ богословскія и церковно-историческія знанія¹⁾, выяснить нормальное отношеніе церкви къ современному обществу. Не мудрено, что этотъ журналъ сплотилъ лучшія силы нашего духовенства и не мало представителей свѣтской мысли и свѣтской науки.

Такова была литературная и преподавательская дѣятельность Иванцова-Платонова. Мы уже видѣли, какъ связывался его религіозный и научный интересъ въ изученіи и преподаваніи церковной исторіи, мы знаемъ, съ какимъ чувствомъ ответственности относился онъ къ своей задачѣ — свободного и вмѣстѣ вѣрнаго, правдиваго изложенія этой исторіи. Эта задача во-истину трудная и ответственная, — въ особенности для историка православнаго, который, оставивъ школу Византіи, становится разомъ лицомъ къ лицу съ результатами вѣковыхъ усилій европейской, католической и протестантской науки. Чтобъ исполнить свою задачу, не насилуя ни фактовъ, ни своей православной совѣсти, такой историкъ, приступая къ изслѣдованію, долженъ дать себѣ ясный отчетъ о всѣхъ трудностяхъ и опасностяхъ, которыя ждутъ его по пути. — Чѣмъ же была исторія въ православной богословской наукѣ и чѣмъ она должна быть?

I.

Средневѣковая наука и на Востокѣ, и на Западѣ знала только хронику, а не исторію Церкви: точнѣе, исторія, какъ и философія, являлась лишь служанкой догматическаго богословія. Подобное отношеніе между наукой и догматикой опредѣлилось очень рано, даже раньше, чѣмъ сложилась окончательно самая догматика — со времени апологетовъ и первыхъ александрійскихъ богослововъ.

Средневѣковая мысль отождествляла живое откровеніе христіанства съ отвлеченнымъ догматомъ. Самое христіанство, обратившееся въ такой догматъ, перестало сознаваться процессомъ роста, разви-

¹⁾ Нашъ журналъ, поставившій развитіе историческаго направленія въ духовной наукѣ одною изъ главныхъ задачъ своихъ, старался оставаться вѣрнымъ этой задачѣ въ самомъ выполненіи дѣла“. Такъ писалъ Иванцовъ-Платоновъ въ 1870 г., обращаясь къ читателямъ и сотрудникамъ „Прав. Обзор.“ (Взгляды на прошедшее и надежды въ будущемъ), февр. 1870 г., с. 211.

тія: оно представлялось не закваскою Евангелія, а какимъ то отъ вѣка готовымъ опрѣснокомъ, никогда не знавшимъ внутренняго броженія. Истина, отвлеченная истина догмата — чужда исторіи, будучи виѣ времени и пространства; исторія имѣетъ только то, что противно истинѣ, т.-е. ложь или ересь. Этимъ опредѣляется и самая исторіографія византійской эпохи. Вся „истина“, т.-е., другими словами, вся догматика вселенскихъ соборовъ подъ прозрачнымъ покровомъ аллегоріи отыскивается не только въ Новомъ, но и въ Ветхомъ Завѣтѣ, знакомая не только апостоламъ и пророкамъ, но и самимъ праотцамъ до Адама включительно. Всякое отклоненіе отъ догмата, хотя бы незначительное, опредѣляется какъ ересь. И сообразно этому утрачивается всякое пониманіе не только развитія Церкви, но и самыхъ ересей, которыя понимаются не какъ цѣльныя системы вѣрованій и представленій, не какъ особыя религіозныя движенія, а какъ частныя заблужденія по отдѣльнымъ пунктамъ православной догматики. Какъ показываетъ Иванцовъ-Платоновъ въ своемъ изслѣдованіи древней ересеологіи, нерѣдко одна ересь разбивается на нѣсколько ересей по числу своихъ лжеученій, и, наоборотъ, сливаются вмѣстѣ различныя ереси, сходныя въ какомъ-либо частномъ еретическомъ мнѣніи. Эти характерныя черты средневѣковой исторіографіи находятся во всей своей рѣзкости уже у Епифанія, писателя IV в., который насчиталъ 20 ересей еще до пришествія Спасителя, относя нѣкоторыя изъ нихъ къ эпохѣ весьма отдаленной. Исходя изъ словъ апостола Павла, что во Христѣ Иисусѣ нѣтъ ни еллина, ни іудея, ни варвара, ни скиѣа, Епифаній дѣлитъ означенныя 20 ересей на четыре группы: варварство — допотопная ересь; скиѣство — ересь, господствовавшая до столпотворенія Вавилонскаго, — злая ересь, къ которой принадлежалъ Асуръ, онъ же и Зороастръ, изобрѣтатель магіи и астрологіи; затѣмъ, третья ересь — эллинство, съ его различными философскими школами, и четвертая — іудейство, обнимающее въ себѣ іудейскія и самарянскія секты¹⁾.

Такимъ образомъ, въ области богословской, историческая ученость направляется, съ одной стороны, на составленіе подробныхъ каталоговъ заблужденій и ихъ классификацію по чисто внѣшней или произвольной схемѣ, причемъ нерѣдко самое число ересей опредѣляется а ргіогі, какъ, напри., у Епифанія — по числу наложницъ

¹⁾ Ср. Иванцовъ-Платоновъ, „Ереси и расколы первыхъ трехъ вѣковъ христіанства“. Москва, 1877, с. 298.

и рабынь царя Соломона¹⁾. Съ другой стороны, эта историческая ученость направляется на догматическую переработку памятниковъ ранней христіанской литературы. Такая критика памятниковъ, особливо въ первый вѣкъ византійской эры, вела не только къ научнымъ, но и къ практическимъ результатамъ — въ видѣ массоваго уничтоженія множества произведеній древней христіанской мысли, не подходившихъ подъ рамки догмата, и въ видѣ многочисленныхъ поддѣлокъ и интерполяцій въ другихъ памятникахъ, не исключая иногда и самыхъ священныхъ. Если до насъ дошли, иногда лишь въ единичныхъ спискахъ, въ переводахъ или фрагментахъ цѣнные памятники, по которымъ мы можемъ судить о генезисѣ и развитіи древне-христіанской мысли, то многіе изъ нихъ обязаны своимъ сохраненіемъ лишь случайности или ошибкамъ ревнителей, приписывавшихъ имъ иное значеніе и происхожденіе, чѣмъ то, которое они въ дѣйствительности имѣли²⁾.

Лишь въ IX в., по окончаніи великихъ догматическихъ споровъ, наступаетъ поворотъ, пробуждается самостоятельный археологическій, антикварный интересъ къ древности церковной и классической. Мы назовемъ лишь великаго ученаго и библіофила, патріарха Фотія, которому такъ много обязана наука и которому Иванцовъ-Платоновъ посвятилъ свой послѣдній научный трудъ. *Φώτιος — το μέγα βιβλίου!*³⁾.

Европейская наука давно освободилась отъ оковъ схоластики. Вѣка усилій были потрачены на то, чтобы возстановить самый текстъ и историческое значеніе памятниковъ древней церковной литературы, обличить поддѣлки, интерполяціи, понять и провѣрить историческое преданіе. Въ нашемъ вѣкѣ въ особенности приемы историко-филологической критики, перенесенные на изслѣдованіе памятниковъ Ветхаго Завета и древнѣйшей христіанской литературы, — повидимому, представили въ совершенно новомъ свѣтѣ весь тотъ литературный матеріалъ, которымъ пользовалась не только исто-

¹⁾ Ib. 288.

²⁾ Ср. Harnack. *Gesch. d. Altchristlichen Litteratur*. Leipzig. 1893. B. I. введение (*Grundzüge der Ueberlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur in älterer Zeit*). По справедливому замѣчанію Harnack'a, надо помнить однако, что древняя Церковь въ своей тяжелой борьбѣ съ ересями и расколами имѣла „болѣе важныя и трудныя задачи, чѣмъ доставленіе библіотекъ потомству“. Какъ бы то ни было, въ каждомъ данномъ случаѣ „правильной постановкой вопроса будетъ не то, почему погубо то или другое древне-христіанское сочиненіе, а почему оно сохранилось“. Стр. XXVII.

³⁾ Таковъ первый эпиграфъ, избранный Иванцовымъ къ своему труду „Къ изслѣдованіямъ о Фотіи, патріархѣ константинопольскомъ (по поводу совершившагося тысячелѣтія со времени его кончины)“. С.-Пб. 1892.

ріографія, но и христіанская догматика всѣхъ исповѣданій. Въ этой критикѣ было много увлеченія, много крайняго, безпочвеннаго произвола. Трезвый филологъ, знакомый съ приемами подобной критики въ изслѣдованіи Гомера, Ксенофонта, Платона, Ливія или Тацита, можетъ представить себѣ, къ чему могъ приводить этотъ критическій спортъ въ изслѣдованіи В. и Н. З., гдѣ всякаго рода критическія операціи казались особенно значительными. Не было памятника, подлинность котораго не была бы заподозрѣна, который не былъ бы превращенъ критиками въ какую-то пеструю мозаику первоначальныхъ „источниковъ“ и послѣдовательныхъ „интерполяцій“. И, тѣмъ не менѣе, здѣсь, какъ и въ области классической литературы, критика, несмотря на всѣ злоупотребленія отдѣльныхъ ученыхъ, привела къ ряду прочныхъ и вполнѣ обоснованныхъ результатовъ — въ исторіи книгъ В. З., въ исторіи Ново-Завѣтнаго канона, въ исторіи патристики, догмата, символика. Таково положеніе дѣла въ европейской наукѣ.

Спрашивается, какое отношеніе къ этимъ результатамъ, добытымъ вѣковыми успіями европейской науки, должна установить православная наука, которая по многимъ и многимъ причинамъ, внѣшнимъ и внутреннимъ, не могла принимать никакого участія въ умственномъ движеніи Запада? Должна ли православная мысль по-прежнему игнорировать эту науку, ограждая себя отъ нея внѣшними заставами или должна она принять ея готовые результаты? Ни то, ни другое не представляется возможнымъ или желательнымъ.

Никакіе тормазы не помѣшаютъ распространенію знанія, и по выраженію Иванцова-Платонова, вѣра не должна быть посрамляема стѣсненіемъ науки ¹⁾.

Съ другой стороны, выводы западной историко-богословской науки въ ея цѣломъ далеко не представляются въ видѣ окончательныхъ, „готовыхъ результатовъ“, и никакой самостоятельный изслѣдова-

¹⁾ „Въ интересахъ вѣры, какъ показываетъ самый опытъ, оказывается не только не полезнымъ, но положительно вреднымъ, стѣснять и ограничивать свободу науки или заставлять ее хитрить, лицедрить, являться робкою и пристрастною; особенно это неприлично тѣмъ, которые сами служатъ представителями и дѣятелями науки. Никакими ограниченіями, стѣсненіями и искусственными направленіями нельзя уничтожить науку, лишить ее свободы, сдѣлать ее покорною рабою вѣры, которая бы всегда соглашалась съ нею и никогда не смѣла бы противорѣчить ей; всѣмъ этимъ можно болѣе вооружить науку противъ вѣры и унизить, — опозорить предъ нею вѣру“... (Изъ статьи Иванцова-Платонова *Взглядъ на прошлое и надежды въ будущее*. „Прав. Обзор.“ 1870 г., с. 23.)

тель не может принять ихъ, не разобравшись критически въ ихъ разногласіи. Опреѣленные, точные результаты дала до сихъ поръ только критика отдѣльныхъ памятниковъ. Но историческая наука не исчерпывается одной этой критикой, однимъ анализомъ фактовъ: она объясняетъ ихъ смыслъ, ихъ цѣль, ихъ взаимную связь, даетъ ихъ синтезъ, ихъ конструкцію. Философская мысль давно перестала быть служанкою богословія; но исторія въ своей конструкціи фактовъ, — я разумѣю здѣсь церковную исторію, — далеко не эмансипировалась отъ догматики, частью конфессіональной, частью философской. Ближайшее знакомство съ церковно-историческою литературою нашего вѣка показываетъ намъ, до какой степени сильна до сихъ поръ эта зависимость, нерѣдко безотчетная, невольная и всегда трудно устранимая. Я не говорю уже о неизбѣжномъ субъективизмѣ историка въ его нравственномъ отношеніи къ христіанству, — положительномъ или отрицательномъ. Я разумѣю прежде всего тѣ готовые понятія о христіанствѣ, безъ которыхъ ни одинъ историкъ не приступаетъ къ его изслѣдованію, тѣ чрезвычайно конкретныя представленія о томъ, что такое вѣра, Церковь, что такое истинное христіанство, — представленія, значительно различающіяся въ разныхъ исповѣданіяхъ и, тѣмъ не менѣе, оказывающія самое сильное вліяніе на изслѣдователей, повидимому, свободныхъ отъ конфессіональных предразсудковъ. Въ чемъ сущность истиннаго христіанства? — въ мессіанизмѣ ли, въ морали Христа, въ сознаніи Богочеловѣчества, въ теократической идеѣ, въ личной ли вѣрѣ лютеранскаго піетизма? Какъ ни странно это можетъ показаться, всякая историческая конструкція, представляющая осмысленную передачу процесса развитія христіанства, опредѣляется тою или другою догматической, или этической, или философской концепціей христіанства. Всѣ подобныя концепціи, въ особенности тѣ, которыя сложились исторически на исповѣдной почвѣ, имѣютъ извѣстное основаніе въ дѣйствительности, въ той или другой сторонѣ историческаго христіанства. И, тѣмъ не менѣе, всѣ страдают неизбѣжной ограниченностью, исключая другъ друга и не давая полнаго объясненія церковной исторіи.

Но въ такомъ случаѣ какое же право или основаніе имѣетъ православный историкъ принимать ту или другую изъ этихъ концепцій безъ достаточной критики? Если онъ, подобно Иванцову, вѣритъ въ будущее православной науки и ждетъ отъ нея историческаго синтеза, свободного отъ недостатковъ и неполноты другихъ концепцій, онъ долженъ прежде всего стремиться къ критической

ихъ провѣркѣ. Выполнить ли православная наука такую широкую задачу или нѣтъ, — этого пока нельзя предрѣшать, такъ какъ доселѣ наша богословская мысль была занята болѣе обрядовыми и догматическими вопросами, чѣмъ вопросами исторіи. Во всякомъ случаѣ, всякія положительныя построенія будутъ поспѣшны и преждевременны, пока почва для нихъ не будетъ подготовлена строго-научною критикой. Иванцовъ-Платоновъ глубоко проникся этимъ сознаніемъ; поэтому онъ и задавался въ своихъ ученыхъ трудахъ по преимуществу критическими задачами, видя въ объективной критикѣ провѣрку субъективныхъ гипотезъ, одностороннихъ историческихъ воззрѣній и теорій. Онъ сознавалъ, что и въ европейской наукѣ эта критика, этотъ научный анализъ, казавшійся столь отрицательнымъ, нерѣдко служилъ охраненію и возстановленію исторической правды, нарушенной произвольными построеніями.

Въ академическіе годы Иванцова-Платонова и въ началѣ его преподавательской дѣятельности въ европейской наукѣ шла ожесточенная борьба между тюбингенской богословской школой и ея разнообразными противниками, — борьба, общій ходъ которой покойный профессоръ излагалъ въ своихъ чтеніяхъ по исторіографіи.

Какъ ни велика была научная заслуга Баура, пытавшагося дать цѣльную философскую концепцію генезиса и развитія Церкви, какъ ни плодотворны были и отдѣльныя его идеи, — его построеніе грѣшило однимъ основнымъ недостаткомъ: освобождая исторію отъ догматовъ вѣры, оно подчиняло ее построеніямъ разсудочной діалектики. Освободившись отъ узкихъ конфессіональныхъ предразсудковъ, Бауръ нерѣдко терялъ вмѣстѣ съ ними и то пониманіе положительнаго христіанства въ его реальномъ религіозномъ значеніи, безъ котораго историкъ Церкви перестаетъ чувствовать подъ ногами всякую положительную почву. Онъ пытался объяснить христіанство безъ христіанства, безъ Христа, — изъ іудейства и язычества, изъ идей гегеліанской философіи. Поэтому мы и находимъ въ числѣ противниковъ тюбингенской школы, съ одной стороны — богослововъ, возставшихъ противъ нея во имя положительнаго христіанства, а съ другой стороны, такихъ крупныхъ историковъ, какъ Hase, Reuss, Weizsäcker, Ричль, которые вооружились противъ приемовъ гегеліанской діалектики, перенесенной не только въ построеніе исторіи, но и въ область самой критики памятниковъ.

Какъ богословъ и какъ историкъ, Иванцовъ-Платоновъ примкнулъ къ антитюбингенскому движенію. Отдавая справедливость научнымъ заслугамъ тюбингенской школы въ области критическихъ изысканій,

Иванцовъ-Платоновъ въ рядѣ частныхъ вопросовъ стремился провѣрить, путемъ самостоятельнаго безпристрастнаго изученія, какъ самыя эти критическія изслѣдованія, такъ и историческія построенія тюрингенцевъ.

III.

Самымъ крупнымъ научнымъ трудомъ покойнаго является его изслѣдованіе „источниковъ для исторіи древнѣйшихъ сектъ“, образцовое по своей полнотѣ, по точности методы и ясности изложенія ¹⁾).

Ереси и расколы первыхъ вѣковъ христіанства не даромъ представлялись ему одной изъ самыхъ трудныхъ и вмѣстѣ важныхъ темъ церковно-исторической науки. Въ борьбѣ съ этими ересями окрѣпло самосознаніе Церкви; въ ней „постепенно слагались и церковное богословіе, и церковная дисциплина, и самая обрядность церковная“ (стр. 2).

Ереси и расколы древней церкви, возникшіе со дней апостоловъ, въ самомъ разнообразіи своемъ свидѣтельствуютъ какъ о силѣ впечатлѣнія, произведеннаго христіанствомъ на всѣ слои, на всѣ религіи древняго міра, такъ и о глубокой, оригинальной своеобразности христіанства; они показываютъ, какъ сильны были въ средѣ ранняго христіанскаго общества тѣ центробѣжныя стремленія, которыя Церковь побѣдила цѣльностью и духовнымъ превосходствомъ своей вѣры, подчинивъ ихъ органическому развитію христіанской жизни.

Иванцовъ-Платоновъ признаетъ, что изученіе древнихъ ересей „необходимо для пониманія самого христіанскаго богословія и церковной жизни, такъ какъ христіанское богословіе и церковная жизнь развиваются въ борьбѣ Церкви съ ересями и расколами“ ²⁾); по его мнѣнію, такое изученіе „поясняетъ отношеніе христіанской

¹⁾ „Ереси и расколы первыхъ трехъ вѣковъ христіанства“. Часть первая. Обзоръ источниковъ для исторіи древнѣйшихъ сектъ. Москва, 1877 г.

²⁾ Ibid. с. 10. Раньше самой Церкви отдѣльныя гностическія секты разработали тѣ внѣшнія формы церковнаго культа, которыя всего сильнѣе дѣйствуютъ на массы, и создали богатую народную литературу, въ которой заключается объясненіе множества позднѣйшихъ легендъ, повѣрій, апокрифовъ европейскіхъ литературъ. Въ то же время нѣкоторыя изъ этихъ сектъ разработали и чрезвычайно глубокомысленную богословскую догматику: понятія и термины *ἀνομοϊσμός*, *δμοιοῦσμος*, приобрѣтшіе впоследствии такое громадное значеніе, встрѣчаются уже у валентиніанъ (ср. письмо Птоломея къ Флорѣ, с. 5); вся христология валентиніанъ опредѣляется терминами *μονογενής*, *πρωτότοκος*, *εἰκόν*. Ср. Heinrici — Die valentinian. Gnosis (Berlin. 1871), p. 120.

Македоній), въ *раздѣленіи* божескаго и человѣческаго естества въ Иисусѣ Христѣ (несторіане) или же въ *слиянніи* этихъ естествъ (монофизиты). Критическая, рационалистическая тенденція предрасполагала къ *раздѣленію* того, что вѣра чтитъ нераздѣльно; умозрительная тенденція въ своей отвлеченности вела, напротивъ того, къ *слияннію* тѣхъ конкретныхъ различій, которыя чувствовала вѣра. Но прежде всего, какъ показываетъ Иванцовъ, ереси, охватывающія цѣлыя племена и области, не могутъ разсматриваться какъ простыя уклоненія школьной богословской мысли: онѣ требуютъ для своего объясненія самаго внимательнаго изученія культурнаго, церковно-политическаго и нравственно-религіознаго состоянія общества. Во вторыхъ, Иванцовъ прекрасно показываетъ, насколько въ церковныхъ школахъ православный, религіозный интересъ былъ сильнѣе философскихъ тенденцій; поэтому мы и не можемъ безусловно приурочивать ереси къ школамъ: никакая ересь не *ограничивалась* школой, среди которой она возникла, нерѣдко увлекаая сторонниковъ и другихъ школъ и всего болѣе — мірянъ, чуждыхъ всякимъ школамъ. Затѣмъ, и самыя школы въ средѣ Церкви не могутъ разсматриваться какъ враждебные лагеря, соединяясь въ общемъ стремленіи къ православію, иногда въ общей борьбѣ съ ересью¹⁾. Въ оригенистскихъ спорахъ IV в. защитникомъ памяти великаго александрійскаго учителя (Оригена) и покровителемъ его учениковъ является антиохіецъ по происхожденію, воспитанію и направленію — Іоаннъ Златоустъ, а противникомъ и преслѣдователемъ — александріецъ Теофілъ²⁾. Быть можетъ, Иванцовъ не правъ, отрицая происхожденіе аріанства изъ среды антиохійской школы, основанной муч. Лукіаномъ; посланіе самого Арія къ его другу „со-Лукіанисту“ Евсевію Никомидійскому, точно также какъ и свидѣтельство Александра Александрійскаго³⁾, перваго изъ противниковъ Арія, не позволяютъ въ этомъ сомнѣваться. Но во всякомъ случаѣ, основатель антиохійской школы, Лукіанъ, состоявшій долгое время въ

¹⁾ Съ аріанствомъ вступила въ борьбу не только александрійская, но и антиохійская школа въ лицѣ главныхъ своихъ представителей въ IV в., Силуана, Діодора Таресскаго, Θεодора Мопсуетскаго. См. *Религіозныя движенія на христіанскомъ востоцѣ IV и V в.* М. 1881, стр. 142.

²⁾ *Ib.* стр. 31.

³⁾ На свидѣтельство послѣдняго указываетъ своему противнику и самъ Иванцовъ. Ср. Θεодорита „Hist. eccl.“, 3—5, и Елифаній h. 69. 6. Объясненіе Иванцова-Платонова, производящаго аріанство исключительно изъ „субординаціонизма“ въ богословіи Оригена, едва ли допустимо: споръ шелъ не о подчиненномъ положеніи второй вѣстгасы, а о единосуществѣ или иносуществѣ Сына съ Отцемъ. Повидимому, для самого Александра Александрійскаго вопросъ о субординаціонизмѣ былъ неясенъ и не представлялся спорнымъ.

развитія Церкви, о происхожденіи священныхъ книгъ Новаго За-
вѣта, объ образованіи новозавѣтнаго канона и т. д., такъ для без-
пристрастнаго изслѣдователя церковной исторіи изученіе древнихъ
ересей должно сдѣлаться базисомъ или исходнымъ пунктомъ для
болѣе правильной, положительной установки означенныхъ вопро-
совъ“ (стр. 13).

Я не имѣю возможности излагать или разбирать здѣсь ходъ
изслѣдованія Александра Михайловича. Эта — полная исторія ере-
сеологической литературы, въ которой авторъ стремится указать
всѣ посредствующія, частью утраченныя звенья въ ихъ значеніи
и взаимномъ отношеніи, оцѣнить характеръ памятниковъ, достоин-
ство и степень достовѣрности ихъ источниковъ. Иванцову-Платонову
предшествовали цѣлыя поколѣнія ученыхъ патрологовъ, трудившіеся
нѣсколько вѣковъ безъ различія исповѣданій, въ кропотливомъ из-
слѣдованіи памятниковъ общей церковной старины, нераздѣльнаго
христіанства въ его борьбѣ съ чужеродными ученіями и вліяніями.
Иванцовъ-Платоновъ съ честью внесъ свое имя въ рядъ этихъ
почтенныхъ именъ, извѣстныхъ всякому, кому дороги успѣхи цер-
ковной науки. Въ своемъ трудѣ онъ даетъ много важныхъ и но-
выхъ указаній, оцѣненныхъ и западною наукой, и, въ то же время,
онъ какъ бы подводитъ итоги предшествовавшей работы — древней
и новой — съ рѣдкимъ критическимъ тактомъ, съ тою трезвою
разсудительностью, съ той осторожною мягкостью и деликатностью,
которая составляла отличительную нравственную черту всѣхъ его
сужденій — даже въ научной области, и которая такъ уместна
въ самыхъ сложныхъ и запутанныхъ вопросахъ исторической кри-
тики.

Самое тщательное, внимательное разсмотрѣніе можетъ навести
изслѣдователя на слѣды бывшей связи отдѣльныхъ отрывочныхъ
преданій. Не рабство передъ традиціей или текстомъ, но вниманіе
къ традиціи служить всюду критическимъ канонмъ Иванцова.
Въ трудѣ его мы встрѣчаемся съ тѣмъ консерватизмомъ лучшаго
сорта, который обязателенъ для всякаго основательнаго филолога
и критика и который нерѣдко измѣняетъ столь многимъ современ-
нымъ филологамъ и критикамъ, выбрасывающимъ въ какой-то ра-
достной поспѣшности не мало цѣннаго матеріала въ видѣ излиш-
няго балласта.

Таковъ былъ покойный профессоръ въ критическомъ изслѣдова-
ніи памятниковъ церковной древности. Но задача критика не ис-
черпывается подобнымъ изслѣдованіемъ: она предполагаетъ анализъ

научныхъ построений церковной исторіи, методовъ исторіографіи. Во второй значительной критической работѣ Иванцова — „О религіозныхъ движеніяхъ IV и V вв.“, написанной по поводу книги проф. Лебедева о вселенскихъ соборахъ, насъ останавливаютъ прежде всего методологическія соображенія, имѣющія принципиальное значеніе, въ связи съ которыми А. М. высказываетъ рядъ цѣнныхъ указаній относительно общаго пониманія религіозной исторіи въ эпоху соборовъ.

Здѣсь, какъ и вездѣ, онъ настаиваетъ на одномъ изъ любимыхъ своихъ положеній, которое онъ постоянно выдвигалъ противъ большинства нѣмецкихъ историковъ, противъ тюбингенцевъ въ особенности: христіанство не есть богословская школа, и развитіе его нельзя разсматривать, какъ развитіе какой-либо богословской идеи, развитіе *ученія* по преимуществу, опуская изъ вниманія или отодвигая на второй планъ организацію и культъ. Ему казалось, что положеніе историка, принадлежащаго къ Церкви православной, облегчаетъ пониманіе именно этихъ сторонъ церковной жизни, оцѣнку ихъ историческаго значенія, между тѣмъ какъ одностороннее изображеніе исторіи христіанства, какъ богословскаго движенія по преимуществу, обуславливается въ значительной степени особенностями развитія нѣмецкаго протестанства. Господствующая теперь въ Германіи историческая школа Ричля успѣла въ значительной степени отрѣшиться отъ этой односторонности. Встрѣчается иногда и противоположная крайность. Какъ бы то ни было, Иванцовъ настаиваетъ совершенно справедливо на томъ, что самые богословскіе споры занимающей его эпохи, несмотря на конечную побѣду чисто религіозныхъ интересовъ, опредѣляются далеко не ими одними и во всякомъ случаѣ не *научнымъ* интересомъ богословія. Племенная и политическая вражда, борьба церковныхъ, іерархическихъ партій, борьба личныхъ интересовъ, реакція языческихъ стихій, тѣхъ центробѣжныхъ силъ христіанскаго общества, которыя Иванцовъ изучалъ въ ихъ первомъ проявленіи — въ раннихъ ересьхъ и расколахъ, — словомъ все политическое, культурное и нравственное состояніе христіанскаго міра въ IV и V вв., опредѣляетъ собою многосложный рядъ событій, составляющихъ его исторію. Развитіе православнаго догмата, восторжествовавшаго въ этой многовѣковой борьбѣ, не можетъ быть изображено какъ развитіе умозрительнаго ученія, протекающее въ философскихъ школахъ, какъ діалектическое самораскрытіе идеи Божества или Богочеловѣчества по схемамъ гегеліанской философіи. Въ частности, Иванцовъ настаиваетъ на

отличіи богословскихъ школъ и партій въ древней Церкви — отъ школъ чисто философскихъ. И въ этомъ отношеніи съ ними нельзя не согласиться. Если философскій интересъ занимаетъ въ христіанскомъ, антигностическомъ богословіи подчиненное, служебное мѣсто со временъ первыхъ апологетовъ, то и самое богословіе стремится прежде всего служить правой вѣрѣ, преслѣдуя религіозную, а не чисто-научную цѣль. Оно не творить догму, а стремится лишь къ ея выясненію и укрѣпленію — отъ разума и отъ Писанія, — согласно тому, что оно принимаетъ, какъ преданіе, какъ мнѣніе или ученіе вселенской церкви. Изучая творенія самыхъ основателей александрійской школы — Климента и Оригена, мы видимъ въ нихъ не философовъ, свободно созидających систему религіозной метафизики, а положительныхъ богослововъ, благоговѣющихъ передъ преданіемъ апостольскимъ, передъ церковнымъ „правиломъ вѣры“, передъ слагающимся догматомъ въ его еще не уяснившихся очертаніяхъ: самыя смѣлыя философскія идеи Оригена выставляются имъ лишь гипотетически. Но если для него истины вѣры и допускаютъ отчасти пытливыя гаданія человѣческаго разума, то церковное богословіе послѣдующихъ вѣковъ, передъ судомъ котораго самъ Оригенъ оказался еретикомъ, было несравненно болѣе строгимъ: въ различныхъ школахъ, несмотря на частное различіе методовъ и тенденцій, оно преслѣдовало одну цѣль, имѣло одинъ интересъ и одну норму — въ православіи, которое догматически все болѣе и болѣе опредѣлялось. Различія въ средѣ богословскихъ школъ, несомнѣнно, существовали, какъ, напр., различіе между умозрительно-аллегорическимъ методомъ экзегезы Св. Писанія, развившимся въ Александріи, и критическимъ, эмпирически-раціональнымъ методомъ, разрабатывавшимся въ возникшей нѣсколько позже антиохійской школѣ. Но при общемъ стремленіи къ строгому православію, т.-е. при совершенномъ подчиненіи мысли откровенію, эти различія нерѣдко сглаживались и даже въ научно-богословскомъ отношеніи не имѣли безусловнаго значенія. Поэтому, развитіе христіанской мысли въ богословскихъ школахъ опредѣляется не борьбою отвлеченныхъ противоположностей, а скорѣе рядомъ частныхъ компромиссовъ между различными теченіями этой мысли, которыя никогда не были вполне обособлены, признавая надъ собою одинъ общій живой авторитетъ Церкви.

Конечно, умственные тенденціи той или другой школы могли предрасполагать отдѣльныхъ богослововъ къ отступленію отъ православія въ ту или другую сторону. Великія ереси эпохи вселенскихъ соборовъ состояли въ *раздѣленіи* уполостей Св. Троицы (Арій,

Македоній), въ *раздѣленіи* божескаго и человѣческаго естества въ Иисусѣ Христѣ (несторіане) или же въ *слияніи* этихъ естествъ (монофизиты). Критическая, раціоналистическая тенденція предрасполагала къ *раздѣленію* того, что вѣра чтитъ нераздѣльно; умозрительная тенденція въ своей отвлеченности вела, напротивъ того, къ *слиянію* тѣхъ конкретныхъ различій, которыя чувствовала вѣра. Но прежде всего, какъ показываетъ Иванцовъ, ереси, охватывающія цѣлыя племена и области, не могутъ разсматриваться какъ простые уклоненія школьной богословской мысли: онѣ требуютъ для своего объясненія самаго внимательнаго изученія культурнаго, церковно-политическаго и нравственно-религіознаго состоянія общества. Во вторыхъ, Иванцовъ прекрасно показываетъ, насколько въ церковныхъ школахъ православный, религіозный интересъ былъ сильнѣе философскихъ тенденцій; поэтому мы и не можемъ безусловно приурочивать ереси къ школамъ: никакая ересь не *ограничивалась* школой, среди которой она возникла, перѣдко увлекая сторонниковъ и другихъ школъ и всего болѣе — мірянъ, чуждыхъ всякимъ школамъ. Затѣмъ, и самыя школы въ средѣ Церкви не могутъ разсматриваться какъ враждебные лагеря, соединяясь въ общемъ стремленіи къ православію, иногда въ общей борьбѣ съ ересью¹⁾. Въ оригенистскихъ спорахъ IV в. защитникомъ памяти великаго александрійскаго учителя (Оригена) и покровителемъ его учениковъ является антиохіецъ по происхожденію, воспитанію и направленію — Іоаннъ Златоустъ, а противникомъ и преслѣдователемъ — александріецъ Теофилъ²⁾. Быть можетъ, Иванцовъ не правъ, отрицая происхожденіе аріанства изъ среды антиохійской школы, основанной муч. Лукіаномъ; посланіе самого Арія къ его другу „со-Лукіанисту“ Евсевію Никомидійскому, точно также какъ и свидѣтельство Александра Александрійскаго³⁾, перваго изъ противниковъ Арія, не позволяютъ въ этомъ сомнѣваться. Но во всякомъ случаѣ, основатель антиохійской школы, Лукіанъ, состоявшій долгое время въ

¹⁾ Съ аріанствомъ вступила въ борьбу не только александрійская, но и антиохійская школа въ лицѣ главныхъ своихъ представителей въ IV в., Силуана, Діодора Тарскаго, Теодора Мопсуетскаго. См. *Религіозныя движенія на христіанскомъ востоцѣ IV и V в.* М. 1881, стр. 142.

²⁾ *Ib.* стр. 31.

³⁾ На свидѣтельство послѣдняго указываетъ своему противнику и самъ Иванцовъ. Ср. Теодорита „*Hist. eccl.*“, 3—5, и Епифаній h. 69. 6. Объясненіе Иванцова-Платонова, производящаго аріанство исключительно изъ „субординаціонизма“ въ богословіи Оригена, едва ли допустимо: споръ шелъ не о подчиненномъ положеніи второй упостаси, а о единосуществѣ или иносуществѣ Сына съ Отцемъ. Повидимому, для самого Александра Александрійскаго вопросъ о субординаціонизмѣ былъ неясенъ и не представлялся спорнымъ.

расколѣ съ Церковью, а затѣмъ примирившійся съ нею и принявшій мученичество при Максиминѣ (311), усвоилъ основныя идеи оригенистскаго ученія. Такимъ образомъ, оказывается, что антиохійская школа съ самаго начала своего существованія или обращенія въ православіе вступила въ компромиссъ со школой александрійской, съ ея ученіемъ о Логосѣ. По отзывамъ православныхъ противниковъ аріанства, его учителями являются *Лукіанъ и Оригенъ*. Въ самой ереси такимъ образомъ мы не находимъ исключительнаго преобладанія какого-либо односторонняго школьнаго вліянія.

IV.

Въ общемъ, критическія замѣчанія Иванцова-Платонова и въ этомъ трудѣ свидѣлствуютъ о его глубокомъ знаніи и тонкомъ историческомъ чутьѣ. Мы уже видѣли, что въ своей критикѣ Иванцовъ является строгимъ консерваторомъ. Онъ врагъ всякихъ рѣшительныхъ приговоровъ даже относительно еретиковъ, враговъ Церкви, осуждая нетерпимость вездѣ, гдѣ бы и въ чемъ бы она ни проявлялась. Онъ относится съ недовѣріемъ эмпирика ко всякаго рода смѣлымъ, рѣшительнымъ обобщеніямъ, изъ боязни насилуванія фактовъ, или хотя бы неточности въ ихъ передачѣ. Самые частыя ошибки, которыя встрѣчаются у Иванцова, какъ и у всякаго другого изслѣдователя, обуславливаются скорѣе излишней осторожностью, чѣмъ предвзятыми идеями. Таково, напримѣръ, не совсѣмъ вѣрное объясненіе аріанства, вызванное стремленіемъ снять незаслуженное обвиненіе съ антиохійской школы и ея основателя — священномученика Лукіана. Такова чрезвычайно остроумная, но, можетъ быть, нѣсколько натянутая комбинація, путемъ которой Иванцовъ пытается согласовать совершенно несогласимыя между собою преданія о жизни Ипполита, — преданія, сообщаемыя нерѣдко сравнительно поздними писателями¹⁾. Сюда, наконецъ, можетъ быть, слѣдуетъ отнести и нѣкоторыя неточности, допущенныя Иванцовымъ въ защиту довольно позднихъ традицій относительно происхожденія, такъ называемаго, никео-цареградскаго символа, несмотря на рядъ въ высшей степени цѣнныхъ указаній, которыя онъ сообщаетъ по этому

¹⁾ Ипполитъ, бывшій, повидимому, церковнымъ дѣятелемъ уже въ концѣ II в. при папѣ Викторѣ, вступилъ въ расколъ съ его преемниками Зефиріемъ и Каллистомъ, провозглашенный палой — епископомъ отдѣлившейся римской общины. Большая часть новѣйшихъ изслѣдователей полагаютъ, что Ипполитъ, сосланный въ Сардинію въ преклонныхъ уже годахъ (въ 235 г., стало быть, дѣтъ 60-ти

поводу¹⁾). Я повторяю, подобныя ошибки обусловливаются не какою-либо предвзятою теоріей, а скорѣе — недовѣріемъ къ теоріямъ, опасеніемъ предъ слишкомъ смѣлыми приѣмами критики въ отношеніи къ историческимъ текстамъ — при сознаніи крайней недостаточности и отрывочности имѣющагося въ наличности матеріала. Самыя убѣжденія Иванцова, руководившія имъ въ его работѣ, его личныя воззрѣнія на сущность христіанства были слишкомъ широки и возвышенны, чтобы требовать отъ него мелкихъ натяжекъ, или чтобы заставляли его умалчивать факты, повидимому, противорѣчащіе традиціоннымъ взглядамъ. Лучшимъ доказательствомъ истины и божественности христіанства являлось ему ученіе самого Иисуса Христа о Своемъ царствіи. „Царствіе Божіе, — говорилъ Иванцовъ въ одномъ изъ своихъ университетскихъ курсовъ, — есть установленіе жизни съ Богомъ, по Богу и въ Богѣ: принятіе въ себя Иисуса Христа и Его свойствъ — смиренія, готовности на страданія, униженія и смерть ради Бога и ради ближнихъ“. Это царствіе есть, иго Христово легкое, жемчужина Евангелія, которую Онъ принесъ съ Собою. Въ своихъ притчахъ повѣдалъ Онъ тайны этого царствія, и никогда нигде не высказывалъ такой твердой увѣренности въ превосходствѣ нравственной силы надъ стихіями вѣшняго міра. „И еслибы въ Евангеліи — говоритъ Иванцовъ — не было никакихъ другихъ доказательствъ божественности личности и ученія Иисуса Христа, еслибы тѣ или другіе факты изъ Его жизни подверглись отрицанію (наприм., чудеса), еслибы даже вопросъ о происхожденіи самихъ Евангелій былъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, будто они писаны во II-мъ в. или даже позднѣе, одно присутствіе въ нихъ такого ученія, необыкновенно простого и необыкновенно высокаго, достаточно свидѣлствуетъ объ истинномъ характерѣ послѣдняго“.

или старше), не перенесъ климата этого „нездороваго острова“ (Catalogus Libe-
rianus отъ 354 г.). По предположенію Иванцова-Платонова, послѣ этой ссылки начинается рядъ походовъ Ипполита: онъ попадаетъ на Востокъ, странствуетъ въ Аравіи и Сиріи, увлекаетъ антиохійскія церкви въ новаціанскій расколъ; затѣмъ, покаявшись, онъ содѣйствуетъ умиротворенію церкви и съ письмомъ Діонисія Александрійскаго возвращается въ Римъ, гдѣ онъ становится извѣстенъ уже не какъ бывший *papa*, а какъ „знаменитый пришлецъ съ Востока“, какъ антиохійскій *пресвитеръ* или даже *діаконъ*. Наконецъ, въ глубокой старости (?) Ипполитъ переселяется въ Остію, гдѣ изъ пресвитера или діакона превращается въ простого *отшельника*, чтобы подъ конецъ жизни испытать мученическую смерть, подобную смерти Ипполита, Тезеева сына (изображеніе которой, по мнѣнію Деллингера, было довольно рано принято за изображеніе казни христіанскаго мученика). Самъ Иванцовъ-Платоновъ, правда, высказываетъ эти соображенія, согласующія различныя преданія объ Ипполитѣ, лишь въ видѣ предположенія.

¹⁾ Религіозн. Движ., гл. VI.

Эти слова объясняют намъ, какъ въ самой искренности и чистотѣ своей вѣры Иванцовъ находилъ основаніе для независимости своей мысли. Нравственное обаяніе его личности заключалось именно въ этой внутренней гармоніи ума и сердца, мысли и вѣры. Отличительная черта его, какъ мыслителя и человѣка, черта, на которую столь многіе указывали у его гроба, была *терпимость*, самая широкая и человѣчная, — не та холодная терпимость, которая дается равнодушіемъ къ людямъ и къ истинѣ, даже не та умственная терпимость, которая развивается истиннымъ образованіемъ, а та нравственная терпимость сердца, которая исходитъ изъ любви къ человѣку и смиренной вѣры въ истину, превосходящую человѣка.

Касаясь одной научной дѣятельности Александра Михайловича, я не могу дать ей лучшей, болѣе справедливой оцѣнки, чѣмъ та, которую даетъ онъ самъ дѣятельности „Православ. Обозрѣнія“ за первое его десятилѣтіе, — въ 70-мъ году, — стало-быть, за первую половину своей собственной дѣятельности, когда еще онъ не далъ намъ всѣхъ тѣхъ трудовъ, о которыхъ мы выше говорили¹⁾. Онъ спрашиваетъ себя, насколько этотъ журналъ, который служилъ его завѣтнымъ цѣлямъ, исполнилъ свою задачу, много ли онъ сдѣлалъ для нея. „Дѣйствительно ли успѣли мы — спрашиваетъ Иванцовъ-Платоновъ — развить въ нашей духовной литературѣ полную самостоятельность и прямоту мысли, свободу и глубину изслѣдованія, широту воззрѣній? Дѣйствительно ли успѣли мы выработать свою православную науку и въ ней, съ самостоятельной точки зрѣнія, примѣнить всѣ приемы, перерѣшить всѣ вопросы, переработать весь матеріалъ... западной, неправославной науки?... Странно было бы задаваться такими вопросами и надеждами! Кто мы, и сколько времени мы дѣйствуемъ и съ какими силами мы выступили на свое поприще?... Что значили наши силы, особенно при началѣ дѣйствованія... въ сравненіи съ тѣми громадными силами, которыми мы были окружены и съ которыми намъ нужно было вступить въ извѣстныя соотношенія и отчасти въ борьбу?“

Иванцовъ прежде всего указываетъ на „устарѣвшую“ духовную литературу первой половины нашего вѣка, на глубокій упадокъ и униженіе науки въ нашихъ высшихъ духовныхъ школахъ за этотъ періодъ, на совершенное отсутствіе самой науки, несмотря на замѣчательную ученость отдѣльных представителей старой богослов-

¹⁾ „Взглядъ на прошедшее и надежды въ будущемъ. Отъ редакціи къ читателямъ и сотрудникамъ“. Январь 1870.

ской школы¹⁾. Онъ напоминаетъ, какъ близко было время, когда богословская мысль чуждалась принципиально важнѣйшихъ вопросовъ исторіи, когда не только творенія древней христіанской литературы печатались съ намѣренными пропусками, передѣлками, но когда той же участи подвергалось и самое Св. Писаніе В. З.²⁾; обладаніе рукописнымъ русскимъ переводомъ его еще въ сороковыхъ годахъ считалось чуть не преступленіемъ³⁾. И между тѣмъ, представители старой богословской школы были силой, съ которою сотрудникамъ и редакторомъ „Прав. Обзор.“ пришлось серіозно считаться... Другою силой являлась европейская наука: что значили силы молодыхъ русскихъ ученыхъ въ сравненіи съ нею? „У этой силы мы сами должны были многому учиться, съ ея богатыми работами и пріобрѣтеніями должны были знакомить общество и, въ то же время, ея же собственными пріемами должны были разоблачать то, что въ этихъ работахъ оказывалось фальшивымъ“...

Наконецъ, Иванцовъ указываетъ и на неблагопріятность внѣшнихъ условій — на недовѣріе общества, не знавшаго, считать ли новыхъ дѣятелей „за друзей или за враговъ свѣту и свободѣ“, и на еще болѣе тяжкія внѣшнія препятствія „для полного развитія самостоятельной мысли“: „Мы начали свою дѣятельность при тѣхъ условіяхъ цензурнаго устава и административныхъ вліяній, которыми чувствовала себя совершенно связанною старая духовная литература. И хотя эти условія въ продолженіе десяти лѣтъ мало-по-малу ослабѣвали, благодаря отчасти общему, болѣе свободному и благопріятному ходу дѣлъ въ нашемъ отечествѣ, а отчасти просвѣщеннымъ и благонамѣреннымъ взглядамъ тѣхъ личностей, отъ которыхъ зависѣло примѣненіе означенныхъ условій къ нашей дѣятельности, отчасти,

¹⁾ См. яркую характеристику стр. 15—22: ...„нерѣдко отъ самихъ дѣятелей той науки можно было слышать глумленіе надъ нею“...

²⁾ Въ старой школѣ было принято „иныхъ предметовъ и вопросовъ вовсе не касаться, ... на иные факты накладывать готовые, хотя бы и не соответствующіе ихъ характеру воззрѣнія, иные памятники вовсе не издавать, другіе издавать съ выпусками и измѣненіями. Отсюда происходило между прочимъ и то прискорбное явленіе, что мы до послѣдняго времени не имѣли книгъ св. Писанія В. З. въ русскомъ переводѣ... Отсюда объясняются и такіе странные факты, что когда признано было возможнымъ печатать книги св. Писанія въ русскомъ переводѣ, у многихъ серьезныхъ людей возникалъ вопросъ, печатать ли такой переводъ сполна, или съ пропускомъ мѣстъ по ихъ мнѣнію соблазнительныхъ. И въ одномъ духовномъ журналѣ дѣйствительно переводъ одной свящ. книги В. З. прямо начать былъ со 2-й главы... До чего наконецъ могло дойти такое направленіе въ нашей духовной литературѣ?...“ (стр. 20).

³⁾ См. въ „Прав. Обзор.“ 1878 г. (январь) чрезвычайно любопытную статью П. С. Казанскаго: „Мысли и чувства митрополита Филарета по дѣлу отобранія литографированнаго перевода книгъ Ветхаго Заветъ“. Это дѣло послужило между прочимъ поводомъ къ удаленію Филарета изъ Св. Синода.

Россія существовала до Петра Великаго включительно“. Но тутъ-то и произошла та „самоизмѣна“, о которой такъ хорошо говоритъ г. Розановъ. Здѣсь сходятся оба публициста: въ теченіе петербургскаго періода — „Россія находилась, если такъ можно выразиться, внѣ Россіи; она была отдана на выучку въ иностранную школу“ и забыла о себѣ, о Россіи, „со всей ея своеобразной національно-духовною культурой“. И вотъ эту самую настоящую Россію, забытую Россіей цивилизованной, открылъ Николай I. „Подобно Колумбу, — говоритъ г. Spectator, — онъ одинъ могъ „заставить своихъ современниковъ, противъ воли, устремиться на невѣдомый имъ путь для открытія этой Россіи“ (стр. 528). Онъ является такимъ образомъ истиннымъ предшественникомъ нашихъ славянофиловъ. Эти послѣдніе, оказывается, играли роль простыхъ спутниковъ Колумба. И они приписали себѣ его дѣло! Подобно Америго Веспуччи, они дерзнули дать свое имя его открытію!

Правда, впрочемъ, по замѣчанію г. Spectator'a, и самъ „Колумбъ имѣлъ лишь неясное представленіе о той землѣ, въ существованіи которой онъ былъ увѣренъ, и никто, конечно, ему этого въ упрекъ не поставитъ“. Онъ и открылъ поэтому не всю Америку, предоставивъ другимъ довершить его дѣло.

Но собственное дѣло Николая I не ограничивалось однимъ открытіемъ настоящей Россіи. Передъ нимъ стояла двойная задача. „Прежде всего надлежало водворить въ ней (въ Россіи) внѣшній порядокъ, соотвѣтствующій самодержавному строю ея государственной жизни“, котораго, повидимому, до Николая не было вовсе. „Затѣмъ уже необходимо было влить въ эту новую внѣшнюю форму новую внутреннюю жизнь“ (стр. 532). Къ сожалѣнію, Николай I успѣлъ выполнить только первую часть своей задачи, передавъ „своему преемнику идеально-точный и современный правительственный механизмъ, благодаря которому можно было легко, просто и скоро провести какую угодно внутреннюю государственную и общественную реформу“. Только „Николаевская система“ приучила „правительственные органы исполнять безпрекословно велѣнія верховной власти, а народъ — безпрекословно повиноваться имъ“ (стр. 532). Вторая часть задачи Николая I была разрѣшена послѣ него неправильно: наступили пагубныя „колебанія“, которыя привели Россію къ краю гибели. Но „явился новый Царь-богатырь, который спасъ ее простымъ возвращеніемъ къ николаевской системѣ. И система эта, о которой всѣ забыли, оказалась все столь же прочною, надежною и дѣлсообразною, какъ и 25 лѣтъ тому назадъ“ (стр. 533).

ходить отъ одного вопроса къ другому, они получаютъ возможность болѣе сосредоточиваться надъ каждымъ частнымъ дѣломъ и основательнѣе обрабатывать его. Но мы надѣемся, что при своихъ болѣе основательныхъ работахъ по вопросамъ, поднятымъ нами, они не отнесутся съ пренебреженіемъ и осужденіемъ и къ нашимъ первымъ опытамъ самостоятельнаго разясненія этихъ вопросовъ и помянутъ добрымъ словомъ наши начинанія на поприщѣ свободнаго развитія русской духовной литературы“ (с. 30—31).

Такова скромная оцѣнка, которую даетъ Иванцовъ-Платоновъ результатомъ собственной дѣятельности, подводя итоги за первое десятилѣтіе того журнала, въ которомъ онъ сотрудничалъ. Эта дѣятельность продолжалась еще 24 года въ томъ же направленіи. „Внѣшнія условія“ ея не улучшались, послѣдніе года жизни покойнаго были омрачены болѣзнью и тяжкими семейными утратами. Но до конца, пока хватало силъ, онъ не оставлялъ своего высокаго служенія.

Въ 1895 г. въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“.

Чувствительный и хладнокровный.

Написанная по поводу статей, относящихся къ Ходынской катастрофѣ¹⁾.

I.

Среди благонамѣренныхъ публицистовъ, составляющихъ гордость нашей печати, едва ли найдутся два другихъ писателя, дающихъ болѣе пищи для ума и сердца читателей, чѣмъ г. Розановъ и г. Spectator.

При всемъ разнообразіи своихъ дарованій и своихъ темпераментовъ оба имѣютъ ревность и дерзновеніе; оба — смѣлые и оригинальные мыслители, побивающіе всѣ рекорды благонамѣренности; оба на всѣхъ парахъ и подъ благопріятнымъ вѣтромъ плывутъ противъ давно господствовавшаго теченія. И оба восполняютъ другъ друга. Г-нъ Розановъ болѣе чувствителенъ; г. Spectator болѣе хладнокровенъ. Г-нъ Розановъ родился подъ вліяніемъ Сатурна и Венеры, изъ коихъ первый сообщаетъ ему меланхолію, а вторая — впечатлительность, доходящую до сладострастнаго импрессионизма; г. Spectator зачатъ подъ Меркуріемъ, который окрыляетъ его краснорѣчіе; и онъ испыталъ на себѣ щедроты Юпитера, который надѣлилъ его трезвымъ оптимизмомъ. Г-нъ Розановъ — поэтъ, идеалистъ, лирикъ, г. Spectator — прозаикъ и реалистъ въ своемъ классицизмѣ. Одинъ исполненъ елѣя и горчицы, другой — оцта и соли. Оба вмѣстѣ состав-

¹⁾ Прим. издателя.

вляють прекрасный соусъ для нѣскольکو прѣснаго, канцелярскаго салата *Русскаго Обозрѣнія* — страннаго журнала, водянистаго и безвкуснаго, какъ бутылочный огурецъ.

Въ послѣдней книжкѣ этого органа, ежемѣсячно выпускаемаго г. Александровымъ, мы находимъ статью г. Spectatora *Николаевскія времена* и цѣлыхъ двѣ статьи г. В. Розанова: одну подлиннѣе — подъ заглавіемъ *Кто истинный виновникъ этого* и другую совсѣмъ коротенькую, чисто-лирическую, подъ заглавіемъ *Двѣ гаммы человеческихъ чувствъ (по поводу Ходынской катастрофы)*.

Всѣ три статьи полны ревности, дерзновенія и заключаютъ въ себѣ рядъ новыхъ и смѣлыхъ мыслей.

Въ статьѣ *Николаевскія времена* г. Spectator скорбитъ о томъ, что дѣти наши развращаются врагами, которые силятся „извратить въ ихъ глазахъ основной смыслъ русской исторіи XIX в. и въ особенности основной смыслъ николаевскихъ временъ“ (стр. 535).

Въ *Двухъ гаммахъ человеческихъ чувствъ* г. Розановъ скорбитъ о томъ, что мы хотимъ вообще учить народъ, „въ чемъ-то поправить, въ чемъ-то улучшить черезъ школу“ нашъ „народъ — патріархъ, нашъ народъ — римлянинъ“, что мы хотимъ „сдѣлать его патріотомъ по Иловайскому, научить вѣрѣ по крѣпкимъ началкамъ катихизиса“ (стр. 769). Онъ плачетъ о томъ, что у насъ есть интеллигенція, и о томъ, что онъ самъ „имѣетъ страданіе быть интеллигентомъ“. Онъ утверждаетъ, что „всякій выученный консуламъ (?) и алгебрѣ русскій мальчикъ“ есть „естественный альфонсъ“ своего отечества, своего города и „той практики, которою онъ занимается“ (стр. 646).

Предостерегая и пазидая общество, которому онъ выясняетъ смыслъ новѣйшей его исторіи, г. Spectator тѣмъ не менѣе исполненъ бодрящаго оптимизма: „перекрестившись“ „Россія уже и теперь шествуетъ по славному пути, предназначенному ей Николаемъ I; и она ступаетъ такъ твердо и увѣренно, что никакія „колебанія“, случившіяся въ эпоху Александра II, нынѣ и впредь болѣе немислимы (стр. 534 и сл.).

Г-нъ Розановъ, наоборотъ, ожидая отъ русскаго народа великихъ и славныхъ дѣлъ въ будущемъ, оплакиваетъ его настоящее: „Россія — *самоизмѣняющая* (!), Россія — *блгущая* отъ себя самой, закрывающая *лицо* свое, отрицающаяся *имени* своего, Россія — это Петръ во дворѣ Каіафы, трижды говорящій „*нѣтъ, нѣтъ*“ на вопросъ: *Кто онъ?* — вотъ истинное соотвѣтствующее опредѣленіе ея въ текущій фазисъ исторіи. И никогда, никогда *этотъ* отрицаю-

щийся Петръ не восплачется объ отреченіи своемъ; никогда не прокричитъ для него пѣтухъ укоряющимъ напоминаніемъ¹⁾.

Далѣе еще безотрадиѣ; „Если Россія есть какъ бы духовно обмершая страна, если изъ всѣхъ ее населяющихъ народностей русская, съ наибольшею робостью гдѣ-то въ углу и подъ фалдою (?) читаетъ свое сгедо — слишкомъ понятно, что всѣ остальные народности смотрять на нее какъ на очень обширный и удобный (?) мѣшокъ“. Въ другомъ мѣстѣ центральная Россія уподобляется „старому чулану со всякимъ историческимъ хламомъ, отупѣвшіе обитатели котораго (?) живутъ и могутъ жить безъ всякаго свѣта, почти безъ воздуха“ (стр. 643) — смѣлое сравненіе съ тараканами!

Какъ видитъ читатель, оба публициста довольно существенно разнятся въ своей оцѣнкѣ настоящаго. Впрочемъ, это скорѣе различіе нюансовъ и темпераментовъ. Въ сущности оба писателя и скорбятъ и торжествуютъ, оба предостерегаютъ и оба готовы къ борьбѣ, — одинъ чувствительный и тревожный, другой — хладнокровный и спокойный, какъ сама истина — даже тамъ, гдѣ онъ, случайно, отъ истины уклоняется.

II.

Смыслъ русской исторіи XIX в. и, въ особенности, временъ Николаевскихъ, открывается намъ въ новомъ свѣтѣ въ статьѣ г. Spectator'a. Спасибо уже за то, что не „по Иловайскому“.

„Многое творилось въ Россіи при Николаѣ Павловичѣ, чего онъ не зналъ, и, тѣмъ не менѣе, мы никогда ему этого незнанія въ вину не поставимъ, такъ же какъ мы не поставимъ въ вину Колумбу то, что онъ не зналъ всей открытой имъ Америки, а зналъ лишь незначительную часть ея“.

Какъ ни странно кажется на первый взглядъ такое сопоставленіе Николая I съ „геніальнымъ генуэзцемъ“, нашъ публицистъ считаетъ это сопоставленіе „неотразимымъ“.

„Колумбъ открылъ Америку. Что же открылъ Николай Павловичъ? — Россію“.

„Какъ Россію? Россія существовала и была всѣмъ извѣстна за тысячу лѣтъ до Николая. Какъ же могъ онъ открыть ее?“ (стр. 529).

— „Да, — съ спокойной увѣренностью отвѣчаетъ г. Spectator, —

¹⁾ Странные курсивы принадлежать подлиннику. См. *Кто истинный виновникъ этого?* стр. 653.

Россія существовала до Петра Великаго включительно“. Но тутъ-то и произошла та „самоизмѣна“, о которой такъ хорошо говорить г. Розановъ. Здѣсь сходятся оба публициста: въ теченіе петербургскаго періода — „Россія находилась, если такъ можно выразиться, внѣ Россіи; она была отдана на выучку въ иностранную школу“ и забыла о себѣ, о Россіи, „со всей ея своеобразной національно-духовною культурой“. И вотъ эту самую настоящую Россію, забытую Россіей цивилизованной, открылъ Николай I. „Подобно Колумбу, — говоритъ г. Spectator, — онъ одинъ могъ „заставить своихъ современниковъ, противъ воли, устремиться на невѣдомый имъ путь для открытія этой Россіи“ (стр. 528). Онъ является такимъ образомъ истиннымъ предшественникомъ нашихъ славянофиловъ. Эти послѣдніе, оказывается, играли роль простыхъ спутниковъ Колумба. И они приписали себѣ его дѣло! Подобно Америго Веспучи, они дерзнули дать свое имя его открытію!

Правда, впрочемъ, по замѣчанію г. Spectator'a, и самъ „Колумбъ“ имѣлъ лишь неясное представленіе о той землѣ, въ существованіи которой онъ былъ увѣренъ, и никто, конечно, ему этого въ упрекъ не поставитъ“. Онъ и открылъ поэтому не всю Америку, предоставивъ другимъ довершить его дѣло.

Но собственное дѣло Николая I не ограничивалось однимъ открытіемъ настоящей Россіи. Передъ нимъ стояла двоякая задача. „Прежде всего надлежало водворить въ ней (въ Россіи) внѣшній порядокъ, соотвѣтствующій самодержавному строю ея государственной жизни“, котораго, повидимому, до Николая не было вовсе. „Затѣмъ уже необходимо было влить въ эту новую внѣшнюю форму новую внутреннюю жизнь“ (стр. 532). Къ сожалѣнію, Николай I успѣлъ выполнить только первую часть своей задачи, передавъ „своему преемнику идеально-точный и современный правительственный механизмъ, благодаря которому можно было легко, просто и скоро провести какую угодно внутреннюю государственную и общественную реформу“. Только „Николаевская система“ приучила „правительственные органы исполнять безпрекословно велѣнія верховной власти, а народъ — безпрекословно повиноваться имъ“ (стр. 532). Вторая часть задачи Николая I была разрѣшена послѣ него неправильно: наступили пагубныя „колебанія“, которыя привели Россію къ краю гибели. Но „явился новый Царь-богатырь, который спасъ ее простымъ возвращеніемъ къ николаевской системѣ. И система эта, о которой всѣ забыли, оказалась все столь же прочною, надежною и цѣлесообразною, какъ и 25 лѣтъ тому назадъ“ (стр. 533).

Отсюда съ поразительной ясностью получается слѣдующая краткая схема новѣйшей русской исторіи:

„XIX вѣкъ является для Россіи „тѣмъ, что И. С. Аксаковъ называлъ „возвращеніемъ домой“, но въ болѣе широкомъ смыслѣ. Возвращеніе это дѣлится на слѣдующія фазы:

- „1. Призывъ домой (1812 годъ).
- „2. Сборы въ путь (Николаевскія времена).
- „3. Первые неуверенные и невѣрные шаги (шестидесятые и семидесятые годы).
- „4. Первые рѣшительные шаги по ясно открывшейся дорогѣ (Александръ III“ (стр. 534 — 35).

„Николай I указалъ намъ путь“; Александръ II „указалъ намъ на тѣ страшныя опасности, которыя намъ грозятъ, если бы мы вздумали уклониться отъ прямого пути и отъ николаевской дисциплины; Александръ III показалъ намъ, какъ избѣгать этихъ опасностей...“

„Чего же еще недостаетъ намъ для полнаго успѣха въ нашемъ поступательномъ движеніи?

„У насъ нѣтъ лишь одного: увѣренности въ томъ, что дѣти наши поймутъ такъ же ясно, какъ и мы, великіе уроки прошлаго“ (ibid.).

Но съ такими публицистами и педагогами, какъ г. Spectator, мы можемъ и здѣсь обрѣсти полное, олимпійское спокойствіе и съ хладнокровнымъ дерзновеніемъ взирать на настоящее, прошедшее и будущее.

III.

Читатель, безъ сомнѣнія, признаетъ, что статья г. Spectator'a блестящею оригинальностью и хладнокровіемъ. Все въ ней логично и обдуманно. Когда г. Spectator находитъ, что дважды-два — четыре, онъ не можетъ допускать, чтобы лже-наука утверждала, что дважды-два — пять, ибо такое утвержденіе можетъ развратить молодежь. И хотя, можетъ-быть, будущія поколѣнія и не во всемъ согласятся съ мнѣніями нашего публициста, какъ онъ самъ, повидимому, этого опасается, — въ настоящемъ его краткая схема новѣйшей русской исторіи представляетъ несомнѣнный интересъ какъ для „консерваторовъ“, такъ и для „либераловъ“, которые равно оцѣнятъ новую теорію о происхожденіи нашего славянофильства и оригинальную оцѣнку николаевскихъ временъ и шестидесятыхъ годовъ.

Полярный контрастъ съ этой хладнокровной историческою оценкой являются собою „Гаммы человѣческихъ чувствъ“ г. Розанова. Само заглавіе заставляетъ насъ предвкушать симфоническую картину, въ которой авторъ пытается передать намъ свои ходыніскія впечатлѣнія.

Г-ну Розанову, несомнѣнно, принадлежитъ крупная заслуга. Онъ сказалъ „новое слово“ въ нашей литературѣ: онъ ввелъ символизмъ въ публицистику. Въ публицистикѣ онъ сдѣлалъ то же, что декаденты въ поэзіи, замѣняя мысль и разсужденія гаммами чувствъ, которыя выражаются въ странныхъ, новоизобрѣтенныхъ звукахъ, въ безсвязныхъ, иногда совершенно немыслимыхъ сочетаніяхъ словъ и образовъ. Таковъ, напр., образъ Петра, „трижды говорящаго *нѣтъ, нѣтъ*“ на вопросъ кто онъ“ во дворѣ у Каіафы, или образъ русской національности, читающей свое сгredo (?) „гдѣ-то въ углу и подъ фалдою“. При этомъ г. Розановъ стремится придать своему символизму національный характеръ, подражая выкриканіямъ юродивыхъ и причитаніямъ прежнихъ вопленицъ, въ которыхъ онъ, повидимому, усматриваетъ образцы истинно-русской публицистики въ отличіе отъ публицистики Запада, сгнившаго въ своемъ „раціонализмѣ“.

Въ гаммахъ г. Розанова раціонализмъ отсутствуетъ совершенно, и если попытаться изложить ихъ въ формѣ логическаго разсужденія, въ формѣ „силлогизмовъ“, то получится чепуха невообразимая, отъ которой и настоящіе юродивые поспѣшили бы отказаться. Но безпристрастный критикъ признаетъ въ статьяхъ г. Розанова полное соотвѣтствіе формы и содержанія: онъ оценитъ лирическій полетъ, растрепанность чувствъ и поэтическій беспорядокъ мыслей, доводящій нашего символиста до выраженій необычайной смѣлости, скажу — дерзновенія: читатель уже видѣлъ, какъ онъ сравниваетъ Россію за разъ и съ Петромъ, и съ Тѣмъ, отъ Котораго Петръ отрекается. Читатель знаетъ уже, какъ г. Розановъ высказываетъ сомнѣніе въ пригодности не только „Иловайскаго“, но даже краткаго катихизиса для народнаго обученія. И это ревнитель церковно-приходской школы! Мѣстами онъ возвышается до пафоса древней сивиллы.

„У насъ нѣтъ идеи, у насъ нѣтъ плана; у насъ нѣтъ вѣры: *вотъ это* — истина; у насъ нѣтъ знанія: *идея же истина?* Эмпирики ли мы, не умѣющие считать по пальцамъ? Гамлеты ли мы, ушедшіе въ безбрежность сомнѣній, — кто насъ разберетъ? Но ночь темнѣе тучи, но черная ночь виситъ надъ нами; корабль бытія

нашего (!) не прочесть; нѣтъ мысли въ немъ; и страхомъ, и ужасомъ, и негодованіемъ, и смѣхомъ самымъ обыкновеннымъ, и темнымъ мистическимъ предвидѣніемъ полна душа при взглядѣ на настоящее, при мысли о будущемъ“ (стр. 645).

Тагъ вѣщаетъ г. Розановъ

Впрочемъ, г. Розановъ не только поэтъ, онъ—мыслитель. И если онъ и не Колумбъ, то онъ все же Кортесъ или Пизаро въ своемъ родѣ: онъ изслѣдуетъ такія стороны „настоящей“ Россіи, которыя до него были совершенно неизвѣстны; онъ открылъ новую, особенную русскую „психическую гамму“ или русскую „гамму человѣческихъ чувствъ“! И эта гамма, оказывается, до такой степени различается отъ „гаммы чувствъ западно-европейскихъ“, что „законы одной (изъ этихъ гаммъ) не имѣютъ никакого значенія для другой“ (стр. 767).

Эти гаммы „не воспринимаемы, не усвоимы для одного сердца. И та душа, которая упивается порядкомъ чувствъ, текущихъ въ одной гаммѣ, отвращается, какъ отъ нестерпимой нравственной какофоніи, отъ чувствъ, подчиненныхъ закону другой гаммы“! И это открытіе, которое самъ г. Розановъ сравниваетъ съ „Рентгеновскимъ свѣтомъ“, было произведено имъ по поводу ходынской катастрофы! Не упали жолудь на носъ Ньютона, мы ничего не знали бы о законахъ тяготѣнія. Не случись Ходынки, — наша „психическая гамма“ не была бы открыта. Подумаешь, и жолудь могъ не свалиться, и Ходынки могло не быть, но что было бы въ такомъ случаѣ — мы не знаемъ; вѣроятно, и Ньютонъ, и г. Розановъ сдѣлали бы свои открытія по другому поводу. Во всякомъ случаѣ, г. Розановъ столь же мало жалѣетъ о свалившихся „жолудяхъ“, какъ и его великій предшественникъ.

Въ чемъ же, спроситъ нетерпѣливый читатель, заключается наша русская психическая гамма, и въ чемъ ея коренное отличіе отъ гаммы европейской? Напрасный вопросъ, ибо душа читателя настроена лишь въ одной гаммѣ и потому другую воспріять никакъ не можетъ. Но если читатель захочетъ узнать, въ какой тональности настроена его душа, то у г. Розанова онъ найдетъ относительно этого подробныя указанія. Спрашивали ли вы себя, кто виноватъ въ ходынской катастрофѣ? Если да, то ваша душа, несомнѣнно, настроена въ европейской тональности. Но если при такомъ вопросѣ на вашемъ лицѣ „выражается самое живое недоумѣніе“, то знайте, что душа ваша настроена въ русскихъ ладахъ, въ національной психической гаммѣ.

„Кто был *виновенъ* теперь въ Ходынкѣ, немного лѣтъ назадъ въ народномъ *голодѣ* и уже очень давно въ *бѣдствіяхъ* крымской войны? Кто былъ виновенъ, кого бы я могъ *осудить*?... О, осудить только по безсилію: кто тотъ, кого я хотѣлъ бы растерзать, и растерзалъ бы, если бѣ имѣлъ силу, но вотъ несчастнымъ своимъ положеніемъ, несчастнымъ положеніемъ моего отечества обреченъ на ярость словъ безъ всякаго соотвѣтствующаго дѣйствія“ (стр. 767). Негодованіе „бѣжить впередъ“ самого состраданія: „состраданіе — искусственно, но негодованіе вполнѣ естественно, оно течетъ свободно, оно не усиливается отыскать слово; оно изящно (?) и мудро (?), какъ сама природа, какъ *живая* природа“...

„Это — гамма западно-европейскихъ чувствъ, — тѣхъ чувствъ, изъ которыхъ выросла революція, ранѣе — реформація, еще ранѣе — католицизмъ, какъ бурный, исполненный презрѣнія разрывъ Запада съ „растлѣннымъ“ Востокомъ...“ (стр. 768).

Мы не совсѣмъ понимаемъ, къ чему искать виновниковъ ходынской катастрофы и желать ихъ растерзанія, послѣ того какъ они указаны, наказаны или заклеены и безъ этого Высочайшимъ указомъ.

Мы не понимаемъ также возможности искать или терзать какого-то „виновника“ неурожая 1861 года, или давно почившихъ, прямыхъ и косвенныхъ виновниковъ севастопольскаго погрома. Однако оказывается, что чувства негодованія, которыя должны бы побуждать насъ „искать и терзать“ такихъ „виновниковъ“, не только „естественны“ или „изящны“, но даже „мудры, какъ сама природа“, хотя составляютъ исключительную принадлежность „западно-европейской психической гаммы“. Ибо то же самое чувство, которое заставляло насъ негодовать противъ „московскихъ властей“, не исполнившихъ своего долга на Ходынскомъ полѣ, — породило католицизмъ, протестантизмъ и революцію.

Что же породила русская „психическая гамма“ и въ чемъ состоятъ ея отличительные признаки? На этотъ вопросъ г. Розановъ не даетъ столь опредѣлительнаго отвѣта: „Растлѣнный“ Востокъ такимъ и *признаетъ* себя (!?); кающійся мытарь — его прототипъ; грѣшница, отирающая ноги Учителя своими волосами — его идеаль... Кого осудить мытарь? На кого подниметъ глаза грѣшница? Осудятъ ли они „среду“, „соціальный строй“, который ихъ пожралъ? (?) Они не понимаютъ этого. Блаженны непонимающіе! Блаженно, трижды блаженно, это непониманіе, которое даетъ душѣ такое чудное упокоеніе, мирную кончину на исходѣ 60-го года, бодрость труда

шійся Петръ не восплачется объ отреченіи своемъ; никогда не прокричитъ для него пѣтухъ укоряющимъ напоминаніемъ¹⁾.

Далѣе еще безотрадиѣ; „Если Россія есть какъ бы духовно обмершая страна, если изъ всѣхъ ее населяющихъ народностей русская, съ наибольшою робостью гдѣ-то въ углу и подъ фалдою (?) читаетъ свое сгедо — слишкомъ понятно, что всѣ остальные народности смотрять на нее какъ на очень обширный и удобный (?) мѣшокъ“. Въ другомъ мѣстѣ центральная Россія уподобляется „старому чулану со всякимъ историческимъ хламомъ, отупѣвшіе обитатели котораго (?) живутъ и могутъ жить безъ всякаго свѣта, почти безъ воздуха“ (стр. 643) — смѣлое сравненіе съ тараканами!

Какъ видитъ читатель, оба публициста довольно существенно разнятся въ своей оцѣнкѣ настоящаго. Впрочемъ, это скорѣе различіе нюансовъ и темпераментовъ. Въ сущности оба писателя и скорбятъ и торжествуютъ, оба предостерегаютъ и оба готовы къ борьбѣ, — одинъ чувствительный и тревожный, другой — хладнокровный и спокойный, какъ сама истина — даже тамъ, гдѣ онъ, случайно, отъ истины уклоняется.

II.

Смыслъ русской исторіи XIX в. и, въ особенности, временъ николаевскихъ, открывается намъ въ новомъ свѣтѣ въ статьѣ г. Spectator'a. Спасибо уже за то, что не „по Иловайскому“.

„Многое творилось въ Россіи при Николаѣ Павловичѣ, чего онъ не зналъ, и, тѣмъ не менѣе, мы никогда ему этого незнанія въ вину не поставимъ, такъ же какъ мы не поставимъ въ вину Колумбу то, что онъ не зналъ всей открытой имъ Америки, а зналъ лишь незначительную часть ея“.

Какъ ни странно кажется на первый взглядъ такое сопоставленіе Николая I съ „геніальнымъ генуэзцемъ“, нашъ публицистъ считаетъ это сопоставленіе „неотразимымъ“.

„Колумбъ открылъ Америку. Что же открылъ Николай Павловичъ? — Россію“.

„Какъ Россію? Россія существовала и была всѣмъ извѣстна за тысячу лѣтъ до Николая. Какъ же могъ онъ открыть ее?“ (стр. 529).

— „Да, — съ спокойной увѣренностью отвѣчаетъ г. Spectator, —

¹⁾ Странные курсивы принадлежать подлиннику. См. *Кто истинный виновникъ этого?* стр. 653.

ственной заслуги въ простомъ дефектѣ пониманія. Ибо г. Розановъ говоритъ здѣсь не о кротости, незлобѣ и смиреніи, а именно о непониманіи; пониманіе представляется какъ бы несомвѣстимымъ съ этими добродѣтелями, противно мнѣнію тѣхъ, кто думаетъ, что только пониманіе обуславливаетъ возможность сознательнаго прощенія обидъ, сознательнаго смиренія, сознательной человѣческой нравственности вообще.

Не совсѣмъ понятны „заповѣди непониманія“ и по другимъ причинамъ. Кто велъ расчеты съ Богомъ по поводу Крымской кампаніи или по поводу Ходынки? Кого разумѣть подъ Богомъ нашъ символистъ? Какимъ образомъ раздавленные, но не понимающіе будутъ спасены отъ тлѣнія, когда понимающіе, но не раздавленные, будутъ тлѣть? Не смѣшиваетъ ли г. Розановъ консерватизмъ съ заготовкой консервовъ? Но и въ такомъ случаѣ рецептъ его страдаетъ неполнотой.

Немногимъ яснѣе показалось намъ требованіе, предъявляемое нашимъ авторомъ въ другомъ мѣстѣ къ народамъ Кавказа и западныхъ окраинъ — чтобы „все угасающее жило (!) по законамъ угасанія“ (стр. 646).

IV.

Такимъ образомъ мы познакомились съ двумя образчиками современной публицистики — чувствительнаго и хладнокровнаго темперамента.

Если читатель желаетъ ближе познакомиться съ г. Розановымъ, то рекомендуемъ ему прочесть другую статью этого автора: *Кто истинный виновникъ этого*, помѣщенную въ той же книжкѣ *Русскаго Обозрѣнія*. Статья эта написана въ совершенно неизвѣстной намъ психической гаммѣ, и, вѣроятно, поэтому мы никакъ не могли ее понять: для насъ осталось совершенно непонятнымъ, кого и въ чемъ собственно обвиняетъ г. Розановъ. Ясно только, что указанная статья написана не въ европейской „психической гаммѣ“, ибо въ заключеніи авторъ увѣщаетъ насъ освободиться отъ ложнаго стыда и сбросить наши еврейскія одежды, дабы не прятать подъ ними „ту прекрасную наготу, которую намъ далъ Богъ“. Но, съ другой стороны, статья г. Розанова написана и не въ той психической гаммѣ, которую онъ называетъ русской, ибо г. Розановъ, несомнѣнно, обвиняетъ съ большимъ раздраженіемъ чуть ли не всѣ народности Россійской имперіи и съ боку инсинуируетъ противъ г. Джаншіева, *Русскихъ Вѣдомостей* и армянской интелли-

Отсюда съ поразительной ясностью получается слѣдующая краткая схема новѣйшей русской исторіи:

„XIX вѣкъ является для Россіи „тѣмъ, что И. С. Аксаковъ называлъ „возвращеніемъ домой“, но въ болѣе широкомъ смыслѣ. Возвращеніе это дѣлится на слѣдующія фазы:

- „1. Призывъ домой (1812 годъ).
- „2. Сборы въ путь (Николаевскія времена).
- „3. Первые неуверенные и невѣрные шаги (шестидесятые и семидесятые годы).
- „4. Первые рѣшительные шаги по ясно открывшейся дорогѣ (Александръ III“ (стр. 534 — 35).

„Николай I указалъ намъ путь“; Александръ II „указалъ намъ на тѣ страшныя опасности, которыя намъ грозятъ, если бы мы вздумали уклоняться отъ прямого пути и отъ николаевской дисциплины; Александръ III показалъ намъ, какъ избѣгать этихъ опасностей...“

„Чего же еще недостаетъ намъ для полного успѣха въ нашемъ поступательномъ движеніи?

„У насъ нѣтъ лишь одного: увѣренности въ томъ, что дѣти наши поймутъ такъ же ясно, какъ и мы, великіе уроки прошлаго“ (ibid.).

Но съ такими публицистами и педагогами, какъ г. Spectator, мы можемъ и здѣсь обрѣсти полное, олимпійское спокойствіе и съ хладнокровнымъ дерзновеніемъ взирать на настоящее, прошедшее и будущее.

III.

Читатель, безъ сомнѣнія, признаетъ, что статья г. Spectator'a блещетъ оригинальностью и хладнокровіемъ. Все въ ней логично и обдуманно. Когда г. Spectator находитъ, что дважды-два — четыре, онъ не можетъ допускать, чтобы лже-наука утверждала, что дважды-два — пять, ибо такое утвержденіе можетъ развратить молодежь. И хотя, можетъ-быть, будущія поколѣнія и не во всемъ согласятся съ мнѣніями нашего публициста, какъ онъ самъ, повидимому, этого опасается, — въ настоящемъ его краткая схема новѣйшей русской исторіи представляетъ несомнѣнный интересъ какъ для „консерваторовъ“, такъ и для „либераловъ“, которые равно оцѣнятъ новую теорію о происхожденіи нашего славянофильства и оригинальную оцѣнку николаевскихъ временъ и шестидесятыхъ годовъ.

Полиѣйшій контрастъ съ этой хладнокровной историческою оцѣнкой являются собою „Гаммы человѣческихъ чувствъ“ г. Розанова. Само заглавіе заставляетъ насъ предвкушать симфоническую картину, въ которой авторъ пытается передать намъ свои ходынскія впечатлѣнія.

Г-ну Розанову, несомнѣнно, принадлежитъ крупная заслуга. Онъ сказалъ „новое слово“ въ нашей литературѣ: онъ ввелъ символизмъ въ публицистику. Въ публицистикѣ онъ сдѣлалъ то же, что декаденты въ поэзіи, замѣняя мысль и разсужденія гаммами чувствъ, которыя выражаются въ странныхъ, новозобрѣтенныхъ звукахъ, въ безсвязныхъ, иногда совершенно немыслимыхъ сочетаніяхъ словъ и образовъ. Таковъ, напр., образъ Петра, „трижды говорящаго нѣтъ, нѣтъ на вопросъ кто онъ“ во дворѣ у Каіафы, или образъ русской національности, читающей свое credo (?) „гдѣ-то въ углу и подъ фалдою“. При этомъ г. Розановъ стремится придать своему символизму національный характеръ, подражая выкриканіямъ юродивыхъ и причитаніямъ прежнихъ вопленицъ, въ которыхъ онъ, повидимому, усматриваетъ образцы истинно-русской публицистики въ отличіе отъ публицистики Запада, сгнившаго въ своемъ „раціонализмѣ“.

Въ гаммахъ г. Розанова раціонализмъ отсутствуетъ совершенно, и если попытаться изложить ихъ въ формѣ логическаго разсужденія, въ формѣ „силлогизмовъ“, то получится чепуха невообразимая, отъ которой и настоящіе юродивые посмѣшили бы отказаться. Но безпристрастный критикъ признаетъ въ статьяхъ г. Розанова полное соотвѣтствіе формы и содержанія: онъ оцѣнитъ лирическій полетъ, растрепанность чувствъ и поэтическій беспорядокъ мыслей, доводящій нашего символиста до выраженій необычайной смѣлости, скажу — дерзновенія: читатель уже видѣлъ, какъ онъ сравниваетъ Россію за разъ и съ Петромъ, и съ Тѣмъ, отъ Котораго Петръ отрекается. Читатель знаетъ уже, какъ г. Розановъ высказываетъ сомнѣніе въ пригодности не только „Иловайскаго“, но даже краткаго катихизиса для народнаго обученія. И это ревнитель церковно-приходской школы! Мѣстами онъ возвышается до паѳоса древней сивиллы.

„У насъ нѣтъ идеи, у насъ нѣтъ плана; у насъ нѣтъ вѣры: вотъ это — истина; у насъ нѣтъ знанія: *идѣ же истина?* Эмпирики ли мы, не умѣющіе считать по пальцамъ? Гамлеты ли мы, ушедшіе въ безбрежность сомнѣній, — кто насъ разберетъ? Но ночь темнѣе тучи, но черная ночь виситъ надъ нами; корабль бытія

нѣчто вродѣ младо-турецкой партіи въ лицѣ централизованной студенческой организаціи. Эти юные университетскіе младо-турки образовали какъ бы свой особый университетъ, съ своими особыми руководителями, съ своими практическими и непрактическими занятіями, съ своей особой наукой — университетъ вольный и безшабашный и по-своему довольно прочно организованный на совершенно анти-академическихъ началахъ.

Такой порядокъ вещей вызываетъ понятную скорбь и опасенія за судьбы русскаго просвѣщенія со стороны всякаго разумнаго чловека, который желаетъ, чтобъ университетъ былъ вѣренъ своему назначенію, чтобъ онъ цвѣлъ здоровьемъ, а не смуту, и поддерживалъ порядокъ чисто-академическою дисциплиной, не прибѣгая къ помощи запятѣвъ и чтобъ онъ служилъ высокимъ цѣлямъ науки и образованія, а не какой-нибудь старо-турецкой или младо-турецкой партіи.

Взгляды на желаемую всѣми реформу университетовъ могутъ быть, понятное дѣло, весьма различны. Желательно только, чтобъ они высказывались съ должною прямою и послѣдовательностью. Въ одной статьѣ по университетскому вопросу намъ прямо пришлось прочесть совѣтъ: просить малаго, чтобы получить хотя бы что-нибудь. Признаться, мы совершенно отказываемся понять такую точку зрѣнія, по той простой причинѣ, что мы просимъ не о себѣ, не о своихъ пользахъ и нуждахъ, а говоримъ о пользахъ и нуждахъ университета, которые представляютъ собой общественный и государственнй интересъ высокой важности.

О компромиссахъ и сдѣлкахъ можетъ быть рѣчь лишь тамъ, гдѣ требуется согласовать противоположные интересы, — на примѣръ, при дѣлѣжѣ Турецкой имперіи. Но университетъ, несмотря на нѣкоторое моральное сходство съ владѣніями одряхлѣвшаго Абдуль-Гамида, находится, по счастью, въ совершенно иномъ положеніи: дѣлить его никто не собирается, и единственный законный интересъ, который можетъ быть признанъ при обсужденіи университетскаго вопроса, есть интересъ университета — его охраненія и развитія. Поэтому во имя этого интереса мы должны требовать не возможно меньшаго, а возможно большаго. Какіе же тутъ могутъ быть компромиссы? Компромиссъ между тѣмъ, что вредно университету, и тѣмъ, что ему полезно? Сдѣлка между требованіями, вытекающими изъ университетскаго дѣла, и совершенно чуждыми ему личными или партійными соображеніями?

Когда мы говоримъ объ автономіи университета, разумѣемъ ли

мы политическую автономію профессоръ или студентъ, или какую-нибудь провинціальную автономію? Нашимъ старо-туркамъ нечего смущаться, такъ какъ мы разумѣемъ автономію совершенно иного сорта. Такъ, когда мы созываемъ консилиумъ врачей къ постели больного, то консилиумъ этотъ, очевидно, долженъ быть автономнымъ; и никакой посторонній или даже близкій къ больному человѣкъ не возьметъ на себя учить этотъ собравшійся совѣтъ специалистовъ, какими средствами лѣчить больного; ибо онъ сознаетъ, что если будетъ лѣчить его по-своему, то онъ можетъ его и уморить, а разъ призвали совѣтъ врачей, такъ затѣмъ, чтобы воспользоваться ихъ указаніями и сдѣлать какъ они положатъ. Такимъ образомъ, изъ самаго существа дѣла консилиумъ врачей оказывается здѣсь автономнымъ. Точно также, только совѣтъ ученыхъ врачей, составляющій медицинскій факультетъ, можетъ правильно рѣшить, какой врачъ наиболѣе способенъ преподавать ту или другую медицинскую науку съ цѣлью воспитанія будущихъ врачей; если же это будутъ рѣшать, безъ факультетскаго консилиума, посторонніе, хотя бы умные и безпристрастные люди, они могутъ легко ошибиться, принявъ ловкаго шарлатана за знающаго человѣка. Наконецъ, опять-таки лишь тотъ же „консилиумъ“ специалистовъ можетъ правильно поставить организацію медицинскаго преподаванія въ его цѣломъ и порядокъ медицинскихъ клиникъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ автономія ученой корпораціи требуется самымъ существомъ дѣла; и точно такъ же оправдывается она по отношенію ко всѣмъ отдѣльнымъ факультетамъ и по отношенію ко всему университету, который ихъ объединяетъ.

Между тѣмъ мы видимъ, что отдѣльные „профессора университета“, правда, анонимные, выступаютъ въ газетахъ со статьями, въ которыхъ они, требуя пересмотра устава, тѣмъ не менѣе открещиваются отъ автономіи подобно жителямъ острова Брита, или же предлагаютъ плохіе компромиссы, — подобно дипломатамъ великихъ державъ. Такъ, одинъ „профессоръ университета“ предлагаетъ на столбцахъ *Новаго Времени* сохранить университетское *statu quo*, съ тѣмъ, чтобы даровать профессорамъ „несмѣняемость“ и разрѣшить имъ выбирать на каждую вакансію по два кандидата для представленія ихъ на дальнѣйшій выборъ министерства. Это образецъ совершенно безплоднаго, „турецкаго“ компромисса. Я не говорю уже о томъ, что обыкновенно и не бываетъ болѣе двухъ соиссавателей, что при такомъ порядкѣ выборъ все-таки не будетъ факультетскимъ и что у факультета должно быть лишь одно мнѣніе: я

не говорю о томъ, какая благодарная почва для интригъ и происковъ создастся бы при проектируемомъ порядкѣ. Я допускаю, что „профессоръ университета“ искренно желаетъ исправить дѣйствующій уставъ введеніемъ выборовъ для членовъ профессорской коллегіи. Но развѣ одной этой мѣрой можно обратить бюрократическую коллегію въ живую корпорацію? Мы думаемъ, что фактически, при скудости нашихъ ученыхъ силъ, самый личный составъ нашихъ университетовъ былъ бы и при выборномъ порядкѣ *приблизительно* тѣмъ же, что и теперь. Но поэтому-то и не было основанія его мѣнять, тѣмъ болѣе, что всякій промахъ при назначеніи падаетъ всецѣло на вѣдомство.

Какъ ни цѣнно право самопополненія для живой корпораціи, оно довольно безразлично для коллегіи. Мы можемъ представить себѣ коллегію, обладающую такимъ правомъ и, тѣмъ не менѣе, лишенную всякихъ корпоративныхъ функций, всякаго участія въ управленіи, контролѣ, въ активномъ веденіи университетскаго дѣла: такъ случилось бы, напримѣръ, еслибы на основаніи 100 ст. Уст. 1884 г. разрѣшалось замѣщать кѣедры посредствомъ баллотировки. И, наоборотъ, еслибы при уставѣ 1863 г. всѣ профессора назначались министерствомъ, они продолжали бы составлять корпорацію, хотя и съ урѣзанными правами. Съ точки зрѣнія корпоративнаго строя, университетское самоуправленіе представляется еще болѣе важнымъ, чѣмъ самый способъ замѣщенія кѣедръ.

II.

Въ обсужденіи университетскаго вопроса выяснилось еще одно существенное обстоятельство: если никто не защищаетъ дѣйствующій уставъ, если многіе желаютъ возвращенія къ прежней университетской автономіи, то никто не стоитъ за возвращеніе къ уставу 1863 г. во всѣхъ его подробностяхъ. Мало того, многіе справедливо указывали, что этотъ уставъ точно такъ же, какъ и теперешній, грѣшитъ существеннымъ пробѣломъ относительно студенчества, лишеннаго всякой нормальной организаціи.

Такая организація желательна у насъ, прежде всего, по условіямъ нашего быта; она нужна для удовлетворенія матеріальныхъ и нравственныхъ нуждъ нашего студенчества; она желательна даже въ интересахъ порядка, такъ какъ многочисленная хаотическая масса студентовъ при невозможности чисто-военной дисциплины въ стѣнахъ университета должна получить какую-нибудь академическую орга-

низацию, хотя бы для того, чтобы не составлять организации анти-академической, чуждой или даже враждебной целям университета.

Возбуждался вопросъ о мѣрахъ къ сокращенію или ограниченію числа студентовъ, какъ будто порядокъ зависитъ отъ количества, а не отъ качества учащихся. При этомъ упускалось изъ виду, что при нормальномъ академическомъ строѣ западныхъ университетовъ большое число слушателей не ведетъ къ неурядицѣ, а только увеличиваетъ средства университета и способствуетъ его процвѣтанію. Съ другой стороны, забывалось и то обстоятельство, что небольшое число учащихся въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ русскихъ высшихъ учебныхъ заведеній, иногда даже закрытыхъ, не всегда ограждало отъ волнений, подчасъ гораздо болѣе серьезныхъ, чѣмъ тѣ, которыя произошли недавно въ Москвѣ. Соединимъ ли мы нѣсколько тысячъ или нѣсколько сотъ „отдѣльныхъ посѣтителей“ вмѣстѣ — дѣло не мѣняется. Представимъ ихъ себѣ въ одномъ высшемъ учебномъ заведеніи, съ однородными интересами и занятіями, съ одинаковыми нуждами, одинаковымъ возрастомъ и притомъ, обыкновенно, среди чужого города, вдали отъ семьи: они неизбежно вступаютъ въ общеніе между собою и сплотятся въ товарищескіе кружки. Возможно ли желать или требовать, чтобы такихъ кружковъ не было вовсе? И возможно ли ожидать, чтобы товарищи не пытались организовать взаимное общеніе и помощь, развить и укрѣпить тѣ связи, которыя ихъ соединяютъ. Товарищи неизбежно вступаютъ въ общеніе между собою, и такое общеніе, вызываемое постоянными условіями ихъ жизни и быта, съ теченіемъ времени легко кристаллизуется въ своего рода общественную организацию.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько желательна такая организация и въ какой формѣ она желательна, мы должны прежде всего констатировать фактъ, который представляется намъ неизбежнымъ. Съ этимъ фактомъ волей-неволей приходится считаться обществу, правительству, университету. Если студенческія организации вообще считаются чѣмъ-то безусловно опаснымъ, вреднымъ и недопустимымъ, то надо признать, что самый университетъ представляется опасною ловушкой для молодежи, ибо при наличности данныхъ условій студенческіе землячества и кружки образуются естественно на почвѣ товарищескаго общенія. Если же мы признаемъ, что такіе кружки сами по себѣ не представляютъ опасности и вытекаютъ изъ дѣйствительныхъ нуждъ студенчества, то мы должны попытаться удовлетворить эти законныя нужды и устранить ненор-

мальные, пагубныя условія студенческой жизни, которыя извращают ея теченіе.

Во всякомъ случаѣ, преслѣдуя товарищескіе кружки, сложившіеся естественнымъ путемъ, мы только заставляемъ ихъ тѣснѣ сплотиться между собою. Одними внѣшними преслѣдованіями такой организациі искоренить нельзя: ее можно сдѣлать тайной, можно придать ей анти-легальный характеръ, усилить въ ней оппозиціонные элементы и отдать ее въ руки негласныхъ агитаторовъ, какъ это и случилось съ нашими землячествами, которыя подъ внѣшнимъ давленіемъ и за отсутствіемъ нормального порядка отдались въ руки тайной и безконтрольной олигархіи „союзнаго совѣта“.

III.

Въ настоящей статьѣ намъ хотѣлось разсмотрѣть различные типы студенческой организациі, чтобы выяснить, насколько они способны къ жизни и развитію, насколько они доступны въ стѣнахъ университета и вызываются дѣйствительными потребностями студентовъ. Мы останавливаемся на трехъ типахъ: 1) землячествахъ или обществахъ взаимопомощи, 2) кружкахъ самообразованія и научныхъ кружкахъ и 3) студенческихъ общежитіяхъ. Я по необходимости имѣю въ виду преимущественно Московскій университетъ, хотя думаю, что и въ другихъ университетахъ нашихъ условія студенческаго быта имѣютъ много аналогій съ тѣми, которыя существуютъ въ Москвѣ.

Повидимому, землячества представляются одною изъ самыхъ естественныхъ формъ товарищества. Студентъ, пріѣхавшій издалека въ университетскій городъ, естественно идетъ къ своимъ землякамъ, съ которыми онъ провелъ много лѣтъ на гимназической скамьѣ; онъ поддерживаетъ съ ними товарищескія связи, которыя крѣпнутъ въ чужой средѣ, въ совмѣстныхъ умственныхъ и нравственныхъ интересахъ, иногда въ совмѣстной борьбѣ съ нуждою. Образуются товарищескія собранія, товарищескія касса и библіотека. Взаимопомощь есть по существу одинъ изъ самыхъ нравственныхъ видовъ помощи по отношенію къ бѣдствующему студенчеству. Ибо, во-первыхъ, никто лучше товарищей не можетъ опредѣлить самую степень нужды; во-вторыхъ, это есть та форма помощи, которою труднѣе злоупотреблять въ виду ответственности передъ товарищами (хотя, къ сожалѣнію и тутъ встрѣчаются злоупотребленія). Конечно, средства землячествъ обыкновенно бываютъ весьма ограничены. Нѣкоторыя

изъ нихъ имѣли еще недавно небольшіе капиталы, увеличивавшіеся постоянными взносами — обыкновенно путемъ установленія особаго „подходнаго налога“ на членовъ землячествъ, а иногда и при помощи другихъ средствъ (доходъ съ изданія лекцій, устройство концертовъ, лотерей и т. п.). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ были землячества, которыя могли устраивать на свои средства небольшія общежитія для неимущихъ товарищей — человекъ на десять, двѣнадцать. Другія ежегодно вносили плату въ университетъ за нѣкоторыхъ товарищей, выдавали пособія и проч. Каждое изъ провинціальныхъ землячествъ естественно поддерживаетъ связь съ роднымъ городомъ, гдѣ живутъ семьи земляковъ и ихъ бывшіе товарищи. Нерѣдко въ пользу землячествъ дѣлаются небольшія частныя пожертвованія. Казалось бы, что можетъ быть естественнѣе? Вѣдь еще въ гимназій въ теченіе многихъ лѣтъ родители студента знали въ лицо или по имени болѣшую часть его товарищей по выпуску. Помогая сыну или брату, не естественно ли помочь и ихъ нуждающимся товарищамъ, особенно когда помнишь ихъ еще дѣтьми? На праздникахъ земляки возвращаются на родину, устраиваютъ иногда благотворительные концерты и спектакли въ пользу мѣстныхъ недостаточныхъ студентовъ и сборъ полностью или значительною частью поступаетъ въ пользу земляковъ.

Казалось бы, все это совершенно невинно и нормально. Но не забудемъ, что все это должно дѣлаться тайкомъ. Естественная товарищеская среда обращается въ какое-то тайное противозаконное общество, которое прячетъ свои деньги, прячетъ свои книги, свои отчеты, скрываетъ свои собранія, а иногда вынуждено прибѣгать къ хитростямъ и уловкамъ, чтобы добывать средства къ существованію. Образуется спертая и нездоровая атмосфера постоянного обмана, подозрѣнія и агитаціи. Мудрено ли, что дѣятельность нѣкоторыхъ землячествъ постепенно измѣнила свой характеръ, какъ указываетъ правительственное сообщеніе? Мудрено ли, что въ нихъ вселился духъ нетерпимой, фанатической кружковщины, и что при отсутствіи нормальной связи съ университетомъ они теряютъ всякій академическій характеръ? Если здоровая товарищеская среда оказываетъ дисциплинирующее вліяніе на своихъ членовъ, уважая ихъ личную свободу и самостоятельность, то тайная кружковщина, живущая въ атмосферѣ агитаціи, вынужденнаго обмана, интриги и подозрѣнія, можетъ только разнуздывать и угнетать. Кто виноватъ въ такомъ грустномъ явленіи и что создаетъ эту атмосферу, въ которой тысячи юношей должны проводить важнѣйшіе годы ихъ жизни?

Намъ крайне трудно говорить о землячествахъ по причинамъ, которыя пойметъ всякій, кто близокъ къ дѣлу. Мы не хотимъ осуждать огудомъ тысячи и тысячи нашей молодежи, но выражать сочувствіе ко всей дѣятельности теперешнихъ землячествъ, объединенныхъ союзнымъ совѣтомъ, мы не можемъ. А въ отдѣльныхъ случаяхъ мы не находимъ достаточно словъ, чтобы выразить наше порицаніе тому невыразимому нравственному разгильдяйству, тому господству сплетни, обмана, нетерпимости, которое нерѣдко сказывается среди нашего студенчества. Каковы бы ни были наши политическія убѣжденія, нашъ долгъ напоминать университетской молодежи о ея первой и святой обязанности передъ обществомъ, на счетъ котораго она воспитывается, — объ обязанности пріобрѣсти въ университетѣ знанія и образованность, необходимыя для истиннаго служенія обществу. Чѣмъ сильнѣе искушенія, которымъ подвергается наша молодежь, тѣмъ выше должны быть требованія, которыя слѣдуетъ къ ней предъявлять.

Но тѣ, кто призваны руководить студенчествомъ, не должны ограничиваться одними нравственными увѣщаніями: такія увѣщанія могутъ приносить пользу лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ и безсильны въ неорганизованной массѣ съ тѣми стадными инстинктами, которые въ ней воспитываются. Виѣшними репрессіями здѣсь также нельзя добиться самаго главнаго и необходимаго — внутренней, нравственной реформы студенчества. Нужно измѣнить самую атмосферу, въ которой оно живетъ, сдѣлать ее лучшею — лучшею въ глазахъ самихъ студентовъ. Нужно создать такую форму студенческаго общенія на почвѣ чисто-университетской, которая могла бы удовлетворить всѣмъ лучшимъ и законнымъ потребностямъ студенчества. Нужно не раздѣлять его, не дезорганизовать, не противиться естественному стремленію къ взаимному общенію, а наоборотъ, сплотить студенчество въ организацію чисто-академическую, нравственно сильную, солидарную съ университетомъ, объединить его во имя высшей цѣли — наилучшаго подготовленія къ общему служенію родной землѣ.

Какъ видно, мы просимъ, дѣйствительно, не малаго, а очень многого. Но если намъ дорого нравственное здоровье нашей молодежи и процвѣтаніе университетовъ, мы не можемъ удовлетвориться меньшимъ.

Могутъ ли теперешнія землячества войти въ такую организацію? Нѣсколько лѣтъ тому назадъ они мечтали о своей „легализаціи“. Теперь такая мысль встрѣтила бы въ нѣкоторыхъ изъ нихъ рѣши-

тельный отпоръ, во первыхъ, потому, что тѣ изъ нихъ, которыя объединяются союзнымъ совѣтомъ, не могутъ разсчитывать, чтобы правительство санкціонировало его программу, а во-вторыхъ потому, что и сами они не только по своимъ программамъ, но отчасти даже по своему составу не всегда могутъ быть приурочены къ университету. Еслибы лѣтъ пятнадцать тому назадъ землячества, какъ студенческія общества взаимопомощи, были разрѣшены и поставлены въ нормальныя отношенія къ университету, они могли бы, можетъ быть, образовать собою здоровое ядро студенческой организаціи, соотвѣтствующей какъ потребностямъ учащихся, такъ и университетскимъ цѣлямъ. Нужно было употребить все нравственное вліяніе университета, энергичное и дружное вліяніе авторитетной и независимой профессорской корпораціи, чтобы овладѣть этимъ студенческимъ движеніемъ, придать ему правильное теченіе, обратить его на пользу университета. Но, къ сожалѣнію, именно въ то время профессорской корпораціи былъ нанесенъ тяжкій ударъ; вмѣсто нея союзный совѣтъ взялъ землячества въ свои руки.

Землячества, существующія нынѣ, весьма разнообразны по характеру и составу. Разсматриваемыя въ качествѣ земляческихъ клубовъ или обществъ взаимопомощи, въ которыхъ могутъ принимать участіе и не одни студенты, а также и другіе „земляки“, учащіеся въ другихъ заведеніяхъ или же покончившіе со всякимъ ученіемъ, — землячества, строго говоря, не относятся къ университету. Отчуждаясь отъ него или сохраняя съ нимъ лишь внѣшнюю связь, они въ концѣ-концовъ вмѣстѣ съ университетскимъ характеромъ теряютъ и характеръ студенческій. Многія изъ нихъ разлагаются сами собою. Тѣмъ не менѣе, разрѣшеніе студенческихъ обществъ взаимопомощи, состоящихъ изъ земляковъ, или безъ земляческой организаціи, какъ въ другихъ университетахъ, — могло бы быть крайне полезно и теперь въ матеріальномъ и нравственномъ отношеніи. Гласныя, правильно-поставленныя, такія товарищества могли бы пріобрѣтать больше средствъ и служить упорядоченію студенческой жизни. Тогда отъ самихъ студентовъ зависѣлъ бы выборъ между правильной организаціей, преслѣдующей законныя цѣли и тайными кружками, которые по своимъ цѣлямъ и составу въ концѣ концовъ выйдутъ изъ университета.

IV.

Земляческая организація представляется намъ чрезвычайно естественной по своему возникновенію; но, даже въ первоначальномъ

Такимъ образомъ студентъ не всегда можетъ специализировать своихъ занятій съ желательною полнотой и часто не имѣетъ никакой возможности пополнить свое специальное образованіе слушаніемъ лекцій на другихъ факультетахъ. Мы рѣшительно не понимаемъ, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что медикъ или юристъ захотятъ послушать лекціи по философіи или исторіи, что естественникъ пожелаетъ пріобрѣсти свѣдѣнія по наукамъ общественнымъ. Въ принципѣ университетскій уставъ не имѣетъ ничего противъ этого, но фактически свободное слушаніе лекцій затрудняется до крайности цѣлымъ рядомъ специальныхъ мѣропріятій, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ университетахъ. Можно сказать, что въ лучшемъ случаѣ оно терпится какъ болѣе или менѣе невинное злоупотребленіе. Иногда же оно прямо преслѣдуется и для допущенія на данную лекцію требуется специальное право, которое тщательно провѣряется, чтобы никто не записавшійся на данный курсъ и не уплатившій положеннаго гонорара не могъ проникнуть въ аудиторію.

Все это объясняетъ намъ отчасти аномалію студенческихъ кружковъ самообразованія внѣ всякой связи съ университетомъ и безъ руководства университетскихъ преподавателей.

Надо помнить, что если специальное образованіе успѣшнѣе всего пріобрѣтается посредствомъ *практическихъ занятій* подъ руководствомъ учебныхъ специалистовъ, то слушаніе лекцій является однимъ изъ болѣе подходящихъ, незамѣнимыхъ средствъ для цѣлей общеобразовательныхъ. Мы не понимаемъ поэтому, почему отстранять студентовъ отъ слушанія курсовъ, имѣющихъ образовательное значеніе, хотя бы такіе курсы читались и не на его факультетѣ. Въ печати указываютъ постоянно на незначительное число студентовъ-филологовъ, такъ что при выдающихся, крупныхъ преподавательскихъ силахъ, историко-филологическіе факультеты въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ университетахъ потеряли бы свой высокій обще-образовательный смыслъ, еслибъ изъ правила не допускалось исключеній, нерѣдко весьма значительныхъ.

Намъ скажутъ, что студентъ не долженъ разбрасываться и отвлекаться отъ своихъ факультетскихъ занятій. Но, во-первыхъ, затрудняя студенту посѣщеніе лекцій на другихъ факультетахъ, мы еще не мѣшаемъ ему разбрасываться и отвлекаться отъ его прямого дѣла. Во-вторыхъ, именно при специализаціи занятій, слушаніе нѣкоторыхъ курсовъ, имѣющихъ общеобразовательное значеніе, всего болѣе соотвѣтствуетъ цѣлямъ университета: оно должно бы не

затрудняться, а всячески поощряться. Въ Германіи, гдѣ господствуетъ гонорарная система, большая часть профессоровъ читаетъ ежегодно открытые, бесплатные общіе курсы, куда имѣютъ доступъ всѣ желающіе. Такіе общіе курсы не могутъ отвлечь студента отъ его дѣла и вмѣсто того, чтобы преслѣдовать или ограничивать ихъ посѣщеніе, слѣдовало бы скорѣе подвергнуть пересмотру обязательныя программы отдѣльныхъ факультетовъ, которыя, дѣйствительно, нерѣдко препятствуютъ какъ должной спеціализаціи занятій, такъ и приобрѣтенію общаго образованія, навязывая студенту массу *отдѣльныхъ спеціальностей*, иногда для него совершенно излишнихъ. Этотъ недостатокъ нашихъ официальныхъ факультетскихъ программъ составляетъ предметъ постоянныхъ жалобъ со стороны всѣхъ факультетовъ.

Нормальнымъ порядкомъ университетскаго преподаванія представляется намъ *большая спеціализація факультетскихъ занятій, при большей свободѣ слушанія лекцій на всѣхъ факультетахъ, въ особенности курсовъ, имѣющихъ образовательное значеніе.*

Выработка факультетскихъ программъ и организація университетскаго преподаванія есть дѣло трудное и подлежащее постоянному развитію. Мы разумѣемъ здѣсь не ломку, не коренное измѣненіе факультетскихъ дѣленій, которыя имѣютъ весьма прочныя основанія. Но въ этихъ дѣленіяхъ и въ распредѣленіи кафедръ и занятій нельзя видѣть нѣчто абсолютное. Въ дѣлѣ высшаго научнаго образованія преподавательскій составъ значитъ во многихъ случаяхъ болѣе чѣмъ программа, и потому абсолютная бюрократическая регламентація все равно останется безплодной: будутъ аудиторіи пустыя, и будутъ аудиторіи, переполненныя слушателями. Мы не думаемъ, чтобы академическая свобода слушанія лекцій могла вести къ упраздненію факультетскихъ дѣленій. Но именно при такихъ дѣленіяхъ она можетъ служить полезнымъ коррективомъ ихъ неизбежныхъ несовершенствъ.

Этой же цѣли могли бы служить при правильной постановкѣ какъ спеціально-научныя студенческіе кружки, такъ и кружки самообразованія. Не нарушая нисколько факультетской организаціи и безъ всякаго противорѣчія съ нею, первые могли бы способствовать спеціализаціи занятій подъ руководствомъ профессоровъ, а вторые, подъ тѣмъ же руководствомъ, служить общеобразовательнымъ цѣлямъ. Организуя правильное общеніе профессоровъ и студентовъ на почвѣ чисто-академической, и тѣ и другіе давали бы универ-

ситету дѣйствительную возможность руководить умственной жизнью учащихся.

Если выработка устава для землячествъ представляетъ серіозное затрудненіе, то какія же препятствія могутъ быть къ разрѣшенію чисто-научныхъ студенческихъ кружковъ? Они и такъ фактически существуютъ подъ видомъ „совѣщательныхъ часовъ“ или особенныхъ „занятій“, или „собесѣдованій“, учрежденныхъ отдѣльными профессорами. Есть „занятія“ или „совѣщательные часы“ (т.-е. въ сущности кружки) историковъ, филологовъ, политико-экономовъ, геологовъ, математиковъ. Такія группы собираются въ университетѣ или у профессора, который назначаетъ у себя „совѣщательные часы“. Бесѣды, чтеніе рефератовъ и ихъ обсужденіе происходятъ подъ руководствомъ профессора, иногда при участіи нѣсколькихъ профессоровъ, доцентовъ и магистрантовъ, оставленныхъ при университетѣ. Темы избираются участвующими или по совѣту руководителей. Бесѣды ведутся непринужденно, имѣютъ характеръ дѣйствительнаго обмѣна мыслей; это не лекція, не семинарій на заданную тему, это — обсужденіе студенческихъ работъ, имѣющихъ самостоятельный характеръ, обсужденіе всестороннее и не уклоняющееся отъ научной почвы. Если общеніе между студентами возникаетъ на этой почвѣ, если они составляютъ между собою не большія, но дружныя общества, группирующіяся вокругъ отдѣльныхъ преподавателей и объединенныя общей научной работой, то мы можемъ желать такимъ обществамъ лишь дальнѣйшаго правильнаго развитія и процвѣтанія. Ихъ официальная санкція могла бы не только содѣйствовать ихъ успѣху, ихъ упроченію и расширенію, но, какъ мы думаемъ, могла бы имѣть нравственное значеніе для правильной организаціи студенчества и служить педагогическимъ цѣлямъ университета.

При всѣхъ своихъ крупныхъ недостаткахъ новый университетскій уставъ оказалъ одну существенную услугу преподаванію: онъ способствовалъ чрезвычайному увеличенію преподавательскаго состава университетовъ приватъ-доцентами и онъ отвелъ большое мѣсто „практическимъ занятіямъ“. На эти „занятія“, по нашему глубокому убѣжденію, долженъ постепенно перенестись центръ тяжести всей университетской дѣятельности, вмѣсто механическаго чтенія лекцій и такого же заучиванья ихъ передъ экзаменомъ изъ году въ годъ по литографированнымъ листамъ. Мы еще весьма далеки отъ того времени, когда эти „практическія занятія“ достигнутъ вполне правильной постановки. Но именно потому мы должны

всячески содѣйствовать ихъ развитію, оживленію и желать, чтобы сама университетская молодежь шла навстрѣчу начинаніямъ университета.

V.

Болѣе сложнымъ представляется вопросъ о такъ называемыхъ „кружкахъ самообразованія“. Они съ самаго начала были поставлены въ условія менѣе благопріятныя и никомъ образомъ не могутъ быть приурочены къ какимъ-либо факультетскимъ занятіямъ. Многіе изъ такихъ кружковъ стоятъ въ самой тѣсной связи съ землячествами, такъ что вопросъ о нихъ не можетъ быть рѣшенъ внѣ связи съ вопросомъ объ этихъ послѣднихъ. Далѣе, въ составъ такихъ кружковъ нерѣдко входятъ лица, стоящіе внѣ университета, въ особенности учащаяся молодежь другихъ учебныхъ учреждений, такъ что здѣсь уже возникаетъ рѣчь о кружкахъ самообразованія внѣ-университетскихъ. Нѣкоторые изъ нихъ, незначительные по числу членовъ, повидимому, навсегда сохраняютъ частный домашній характеръ, другіе стремятся расширить свою дѣятельность. Въ профессорскихъ, университетскихъ и литературныхъ кругахъ повсемѣстно и естественно явилась мысль пойти навстрѣчу этому движенію путемъ распространенія дешевыхъ популярно-научныхъ книгъ, оригинальныхъ и переводныхъ, и путемъ особыхъ систематическихъ изданій; составлялись программы домашнего чтенія, были сдѣланы попытки, и весьма успѣшныя, организациі домашнихъ занятій и провѣрки ихъ результатовъ; устраивались систематически общедоступные курсы и публичныя лекціи и т. д. Этому благому дѣлу можно пожелать только дальнѣйшаго успѣха, развитія и прочной, правильной постановки. На первыхъ порахъ, при самой горячности стремленій, трудно избѣжать нѣкоторыхъ ошибокъ, весьма естественныхъ во всякомъ новомъ и живомъ дѣлѣ: желательно было бы, чтобъ оно сразу попало въ руки людей вполне компетентныхъ, пользующихся общимъ довѣріемъ и дорожащихъ, прежде всего, своимъ служеніемъ истинѣ. Вотъ почему участіе и руководство наиболѣе почтенныхъ университетскихъ дѣятелей представляется здѣсь залогомъ успѣха и правильной, научной постановки дѣла. Но мы не хотимъ касаться въ настоящей статьѣ важнѣйшаго вопроса — о распространеніи университетскаго образованія, объ отношеніи университета къ умственной жизни общества внѣ его стѣнъ: мы имѣемъ въ виду исключительно тѣ кружки самообразованія, которые всего болѣе должны подлежать его вѣдѣнію и руководству, т.-е. кружки чисто-

студенческіе. Весьма возможно, что при болѣе цѣлесообразномъ устройствѣ университетскаго преподаванія, а также при расширеніи общеобразовательной дѣятельности нашихъ высшихъ учебныхъ и ученыхъ учреждений, — эти студенческіе кружки измѣнять свою дѣятельность или даже упраздниться сами собою. Но слѣдуетъ помнить, что безъ живого и дѣятельнаго стремленія къ самообразованію никто и никогда не будетъ образованнымъ человѣкомъ, какія бы средства ему ни предлагались. Дѣло университета состоитъ въ томъ, чтобъ овладѣть движеніемъ къ самообразованію въ обществѣ и, прежде всего, въ студенществѣ. Онъ долженъ направлять это движеніе, идти впереди его, а не относиться къ нему съ пассивнымъ сочувствіемъ или недоувѣріемъ. Нерѣдко приходится слышать, что иные закрытые кружки преслѣдуютъ подъ видомъ „самообразованія“ совершенно постороннія цѣли, что ловкіе агитаторы пользуются ими для веденія политической пропаганды, для фанатизированія молодежи и т. п. Пусть такъ; но именно поэтому и желательно учрежденіе студенческихъ кружковъ самообразованія съ санкціей университета и подъ гласнымъ руководствомъ и отвѣтственностью тѣхъ университетскихъ преподавателей, къ которымъ они обращаются. Если вопросы философіи, исторіи, наукъ общественныхъ обсуждаются иногда въ существующихъ кружкахъ вкривъ и вкось и ставятся на ложную, ненаучную почву, то мудренаго въ этомъ нѣтъ ничего. Странно было бы, если бъ случалось иначе! Для правильной постановки и успѣшности дѣла, для устраненія случайныхъ вліяній, необходимо опытное, просвѣщенное руководство призванныхъ руководителей молодежи. Цѣль самообразованія есть цѣль настолько законная, почтенная и благая, что она можетъ и должна служить предметомъ стремленія нашей молодежи сама по себѣ, безъ всякихъ заднихъ мыслей, безъ всякихъ постороннихъ тенденцій. Пусть говорятъ, что эта цѣль можетъ служить предлогомъ для „агитаторовъ“: для того, чтобъ устранить такую возможность, надо прежде всего признать стремленіе къ самообразованію, безусловно правильнымъ и законнымъ, предоставивъ всѣ средства къ свободному, успѣшному и правильному его удовлетворенію. Надо не противиться ему, не смотрѣть на него сквозь пальцы, а содѣйствовать ему всѣми должными мѣрами. Надо разрѣшить дѣятельность студенческихъ кружковъ, направленную къ самообразованію, надо поставить ее въ здоровыя, нормальныя условія и дать ей возможность пользоваться компетентнымъ и авторитетнымъ содѣйствіемъ со стороны университета со стороны людей науки, къ которымъ они обращаются. Нужно, чтобы

въ основаніи такихъ кружковъ лежало искренне признанное начало академической свободы, т.-е. чтобы всѣ студенты безъ различія факультетовъ допускались къ посѣщенію такихъ кружковъ безъ всякаго стѣсненія въ изученіи и обсужденіи занимающихъ ихъ вопросовъ. Руководство университета, руководство профессоровъ должно служить и здѣсь ручательствомъ правильной научной постановки дѣла. Такіе кружки, такія занятія въ стѣнахъ университета несомнѣнно привлекутъ симпатіи и довѣріе лучшей части нашего студенчества. Не имѣя принудительнаго характера, вытекаая изъ должнаго примѣненія началъ академической свободы и, въ то же время, организованные самими профессорами совмѣстно съ желающими слушателями, они не отвлекутъ студентовъ отъ дѣла, но привлекутъ всѣхъ студентовъ, дѣйствительно дорожащихъ цѣлями самообразованія, превосходя другіе, замкнутые кружки — своей правильной, широкой и прочной организаціей.

Мы высказались уже въ пользу устройства „публичныхъ“ общедоступныхъ курсовъ, имѣющихъ общеобразовательное значеніе, — курсовъ бесплатныхъ и открытыхъ студентамъ различныхъ специальностей. Фактически такіе курсы существуютъ и теперь, т.-е. попросту, есть популярныя лекторы, чтенія которыхъ посѣщаются студентами разныхъ факультетовъ, несмотря на ограниченія и стѣсненія. Такъ какъ всякое правило должно соблюдаться, то вмѣсто того, чтобы обходить его, лучше его отмѣнить. Если же мы считаемъ нужнымъ настаивать на томъ, что обязательныя курсы должны имѣть специально-факультетскій характеръ, то на ряду съ ними полезно учредить нѣсколько открытыхъ и общедоступныхъ курсовъ, имѣющихъ обще-университетскій характеръ. Въ настоящее время въ такомъ положеніи находится одно *богословіе*, считающееся при этомъ обязательнымъ предметомъ для студентовъ перваго курса. Желательно, чтобы и другія чтенія (напр. по исторіи русской и всеобщей, по нѣкоторымъ отдѣламъ естествознанія, по философіи, по наукамъ общественнымъ) могли бы допускаться въ качествѣ необязательныхъ обще-университетскихъ курсовъ и были бы составлены и распределяемы по особымъ программамъ, вырабатываемымъ совѣтомъ или особой его комиссіей въ обще-образовательныхъ цѣляхъ. Занятія кружковъ самообразованія могли бы связываться съ этою стороною университетской дѣятельности, приурочиваясь какъ бы къ „совѣщательнымъ часамъ“ при такихъ общихъ курсахъ.

Мы нисколько не предрѣшаемъ вопроса объ организаціи ихъ. Намъ хотѣлось только поставить его и сдѣлать его предметомъ обсужденія.

Чѣмъ больше будутъ студенты работать самостоятельно, и дома, и въ университетѣ, чѣмъ болѣе они будутъ сами стремиться къ расширенію своего общаго образованія и къ приобрѣтенію спеціальныхъ свѣдѣній, которыя имъ нужны, тѣмъ лучше для нихъ и для университета. Неспособность или непривычка къ самостоятельному труду, нерѣдко укоренившаяся съ гимназической скамьи, составляетъ обычный недугъ множества нашихъ студентовъ. Безъ упорной самостоятельной работы, безъ дѣятельнаго самообразованія самое прилежное посѣщеніе лекцій не дастъ никакихъ порядочныхъ плодовъ. Желательно только, чтобъ эти свободныя, частныя занятія студента велись правильно, успѣшно, цѣлесообразно, чтобы самая атмосфера, въ которой онъ живетъ, имъ способствовала, чтобы въ самыхъ этихъ занятіяхъ онъ могъ, по мѣрѣ надобности, пользоваться содѣйствіемъ и руководствомъ университета. Мы повторяемъ: развитіе необязательныхъ „практическихъ занятій“ и устройство такъ называемыхъ „совѣщательныхъ часовъ“ есть крупный успѣхъ университетскаго дѣла, достигнутый именно за послѣднее десятилѣтіе. Всякій дальнѣйшій шагъ на этомъ пути составляетъ приобрѣтеніе; принудительными мѣрами здѣсь ничего не достигнешь, и потому свободное развитіе студенческой самодѣятельности въ этомъ направленіи и на чисто-академической почвѣ представляется въ высшей степени цѣннымъ.

VI.

Какъ ни симпатичны цѣли научныхъ студенческихъ обществъ и кружковъ самообразованія, онѣ касаются исключительно одной стороны — умственной жизни студентовъ. Если землячества плохо удовлетворяютъ ихъ матеріальнымъ и умственнымъ нуждамъ, то упомянутые кружки по необходимости совершенно оставляютъ въ сторонѣ матеріальные интересы студентовъ и потребность товарищескаго общенія, не исчерпывающуюся одними научными интересами.

Мы переходимъ здѣсь къ третьей возможной формѣ студенческихъ организацій, которая, при нормальномъ порядкѣ, могла бы отчасти соединять всѣ остальные, удовлетворяя матеріальнымъ, умственнымъ и нравственнымъ потребностямъ студенчества: я разумію университетскія общежитія. Отъ правильной постановки этихъ учреждений, которымъ предстоитъ такое широкое будущее, зависитъ судьба многихъ поколѣній нашихъ студентовъ и процвѣтаніе самихъ университетовъ.

Крупное пожертвованіе, сдѣланное „въ видѣ почина“ Государемъ Императоромъ на устройство общежитій при Московскомъ универ-

ситетѣ, и учрежденіе особаго комитета для содѣйствія этому дѣлу подъ предсѣдательствомъ Его Высочества московскаго генералъ-губернатора даютъ намъ полную увѣренность въ матеріальномъ успѣхѣ дѣла. Желателенъ и полный нравственный успѣхъ; желательно, чтобъ эти общежитія, основанныя Государемъ, послужили не въ качествѣ простыхъ богоугодныхъ заведеній для призрѣнія недостаточныхъ молодыхъ людей, но въ качествѣ учреждений чисто-академическихъ, которыя привлекали бы къ себѣ не однихъ нуждающихся и, обезпечивая матеріальный бытъ студенчества, содѣйствовали бы главной воспитательной и образовательной цѣли университета.

Въ этомъ смыслѣ и высказался совѣтъ Московскаго университета, привѣтствуя Высочайшій починъ и принося искреннюю и сердечную признательность инициативѣ и ходатайству Августѣйшаго генералъ-губернатора въ журналѣ отъ 10 мая 1896 г.

Въ означенномъ журналѣ совѣтъ, между прочимъ, выразилъ слѣдующее:

„Студенческія общежитія, правильно поставленныя, не только облегчать тягость матеріальныхъ нуждъ бѣднѣйшихъ студентовъ, но, безъ сомнѣнія, поднимутъ также нравственный и умственный уровень учащихся въ университетѣ вообще, ибо, поставивъ ихъ въ здоровыя условія жизни, создадутъ вмѣстѣ съ тѣмъ благоприятную обстановку для ихъ занятій: общежитія будутъ, такъ сказать, продолженіемъ стѣнъ университета во всѣхъ отношеніяхъ“.

Этими словами ясно предначертанъ *университетскій* характеръ будущаго учрежденія.

Мы знаемъ, какъ остра бываетъ студенческая нужда, и какія громадныя средства требуются для ея удовлетворенія. При одномъ Московскомъ университетѣ образовался изъ вкладовъ на устройство быта бѣднѣйшихъ студентовъ капиталъ, превышающій три миліона рублей. За одинъ 1896 г. общество для пособія нуждающимся студентамъ израсходовало свыше 65 т. рублей. Кромѣ того, слѣдуетъ вспомнить помощь казны въ видѣ стипендій и освобожденія отъ платы бѣднѣйшихъ студентовъ; слѣдуетъ вспомнить дѣятельность множества провинціальныхъ обществъ вспоможенія студентамъ, дѣятельность землячествъ и многихъ столичныхъ благотворительныхъ учреждений (напр. Лепешкинское общежитіе), не говоря уже о множествѣ совершенно частныхъ пожертвованій на взносъ платы и о личной благотворительности. Согласно отчету Московскаго университета за истекшій 1896 г., было выдано однихъ стипендій на сумму свыше 156 т. руб., болѣе нежели

пятистамъ студентамъ, одновременныхъ пособій около 20000 руб., на 684 студентовъ, и освобождено отъ платы за слушаніе лекцій около 793 студентовъ, т.-е. около одной пятой всего числа учащихся. Съ каждымъ годомъ въ быстрой прогрессіи возрастаетъ количество выдаваемыхъ пособій и сумма, расходуемая на нихъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ и количество нуждающихся студентовъ, стекающихся въ Москву.

При такихъ громадныхъ суммахъ, расходуемыхъ на помощь студентамъ, неизбежны злоупотребленія благотворительностью: достаточно указать, напр., на громадную цифру 263257 руб., которой достигъ въ нынѣшнемъ году долгъ „Обществу для пособія нуждающимся студентамъ“, — со стороны лицъ, пользовавшихся помощью общества въ бытность ихъ въ университетѣ. Комитетъ общества признаетъ это „тѣмъ болѣе прискорбнымъ, что въ числѣ такихъ должниковъ находятся лица, которыя, какъ достоверно извѣстно комитету, по своему положенію въ состояніи уплатить свои долги обществу“. Комитетъ вынужденъ прибѣгнуть къ опубликованію списка этихъ должниковъ и угрожаетъ имъ даже судебнымъ взысканіемъ, выделивъ изъ себя особыя комиссіи для взысканія долговъ и для изслѣдованія какъ степени студенческой нужды, такъ и наиболѣе цѣлесообразныхъ формъ борьбы съ нею. Ибо, если есть случаи злоупотребленія помощью и притомъ въ значительныхъ размѣрахъ, то, съ другой стороны, самая помощь оказывается далеко не достаточной. И общество и университетъ нерѣдко вынуждены отказывать по множеству прошеній объ освобожденіи отъ платы и о пособіяхъ; въ другихъ же случаяхъ такія пособія и освобожденіе отъ платы еще не освобождаютъ студента отъ острой нужды, подрывающей его силы.

Мы уже указывали въ другомъ мѣстѣ, что составъ студенчества значительно бы улучшился, если бы значительное количество молодежи не попадало въ университетъ за недостаткомъ другихъ высшихъ спеціальныхъ и профессиональныхъ школъ. Если система нашего образованія въ общемъ будетъ развиваться въ столь же одностороннемъ направленіи, то всякое усиленіе матеріальныхъ средствъ университета и улучшенія быта недостаточныхъ студентовъ неизбежно должно вызывать новый притокъ нуждающейся молодежи. Это мы видимъ хотя бы на дѣятельности московскаго „Общества“, которое тѣмъ болѣе вынуждено отказывать, чѣмъ болѣе оно даетъ.

Но здѣсь не мѣсто разсматривать вопросъ о развитіи профессиональнаго образованія, необходимость котораго въ равной мѣрѣ со-

спокойный, удивительно трезвый умъ, прошедшій строгую школу филологів, его критическая опытность наконецъ, даютъ и здѣсь много цѣнныхъ результатовъ. Всякій историкъ и въ этой области найдетъ у Ренана множество интересныхъ мыслей и мѣткихъ указаній, съ которыми ему придется считаться и которыми онъ такъ или иначе воспользуется. Иногда краткое опредѣленіе или замѣчаніе Ренана, высказанное имъ по поводу какого-нибудь памятника, лица или событія, стѣбитъ изслѣдованія. Но опять-таки эта ученая сторона трудовъ Ренана обыкновенно всего менѣе встрѣчаетъ себѣ цѣнителей среди его многочисленныхъ читателей и имѣетъ значеніе только для специалистовъ.

Исторія Израиля, исторія Церкви — это двѣ изъ наиболѣе разработанныхъ историческихъ дисциплинъ. Надъ созданіемъ и развитіемъ этихъ наукъ трудились великіе умы; но, какъ это бываетъ и въ другихъ случаяхъ, слава великихъ открытій или точнѣе извѣстность, которая дается ими, выпадаетъ часто на долю популяризаторовъ, а не на долю тѣхъ, кто ихъ сдѣлалъ. „Немногимъ лоскутьямъ нѣмецкой философіи, перенесеннымъ черезъ Рейнъ и комбинированнымъ яснымъ, но поверхностнымъ образомъ посчастливилось болѣе, нежели самимъ доктринамъ“¹⁾.

О Ренанѣ знаютъ всѣ образованные люди. А корифеи современной критики, основатели новѣйшаго научнаго построенія исторіи Израиля или ранней исторіи христіанства, такіе крупные ученые, какъ Вельгаузенъ, Рейссъ, Кюнень, Ричль и другіе, сдѣлавшіе несравненно болѣе Ренана, никому неизвѣстны.

Я не хочу сказать, чтобы Ренанъ былъ только популяризаторомъ: во-первыхъ, онъ слишкомъ хорошо былъ знакомъ съ подлинными источниками, чтобы безъ всякой критики усваивать готовые результаты нѣмецкой науки, которую онъ популяризируетъ; во-вторыхъ, самое отношеніе его въ наукѣ, къ исторіи, совершенно иное, чѣмъ то, какое мы находимъ у нѣмцевъ; самая философская и нравственная оцѣнка ея у него своя, — ренановская.

Что касается до чисто-научной стороны трудовъ Ренана, то нѣмецкіе ученые, какъ консервативной такъ и радикальной критической школы, дѣлаютъ ему обыкновенно слѣдующія общія возраженія: они упрекаютъ его въ недостаткѣ критическаго метода, въ ложномъ пониманіи религіи и въ преобладаніи художественно-литературнаго интереса надъ интересомъ научнымъ.

¹⁾ Telle est la manière française: on prend trois ou quatre mots d'un système, suffisants pour indiquer un esprit, on devine le reste et cela va son chemin. *Renan, Avenir de la science*, p. 458.

Какъ ученый критикъ, Ренанъ не имѣетъ того значенія, какое онъ занимаетъ по праву, какъ великій мастеръ исторической живописи. Въ области такой живописи онъ найдетъ не много соперниковъ. Укажу, напр., его поразительное по яркости описаніе осады Іерусалима, навѣянное ужасами осады Парижа и напонимающее самыя блестящія картины Флобера. Эти страницы читатель найдетъ и въ русскомъ переводѣ. Но въ области чисто-научной критики Ренанъ, несмотря на весь блескъ своего дарованія, тонкость своего скептическаго ума и обиліе знаній, является намъ скорѣе эклектикомъ, популяризирующимъ и отчасти провѣряющимъ чужіе труды, чѣмъ изслѣдователемъ. Его привлекаетъ литературная задача, для которой онъ охотно пользуется черной работой другихъ, хотя въ данномъ случаѣ черная работа критическаго изслѣдованія текстовъ имѣетъ для науки болѣе значенія, чѣмъ многія художественныя импровизаціи.

Благодаря необычайной трезвости своего ума, спокойнаго и яснаго, чуждаго всякихъ увлеченій, Ренанъ избѣгаетъ крайностей нѣмецкихъ филологовъ и философовъ-богослововъ, работавшихъ надъ памятниками еврейской и христіанской литературы; во многихъ отношеніяхъ онъ консервативнѣе современныхъ ему нѣмецкихъ и голландскихъ критиковъ, склоняясь иногда къ отдѣльнымъ мнѣніямъ своихъ прежнихъ католическихъ учителей. По отношенію къ Тюбингенской школѣ, господствовавшей въ его молодости, онъ занимаетъ независимое положеніе, хотя и усвоиваетъ многія изъ ея положеній, представляющихъ теперь устарѣвшими. Самое художественное чутье заставляло его понять подлинный характеръ многихъ памятниковъ, заподозрѣнныхъ тенденціозною критикой. Иногда, въ немногихъ, но значительныхъ случаяхъ, впрочемъ, онъ впадалъ въ ошибочный консерватизмъ, что онъ и самъ признаетъ, разумеется, только отчасти¹⁾.

Но частныхъ погрѣшностей никто избѣжать не можетъ. Важнѣе нѣкоторый общій недостатокъ критическаго метода. Ибо если встать на точку зрѣнія той свободной науки, на которую становится Ренанъ, то надо признать, что научная исторія христіанства и еврейства предполагаетъ въ своемъ основаніи систематически проведенное изслѣдованіе историческихъ памятниковъ — ихъ состава, происхожденія, эпохи, взаимнаго соотношенія. Такого *система-*

¹⁾ *Souvenirs d'enfance*, p. 344. Въ *Origines du Christianisme* эта сдержанность оказала ему услугу, — именно по отношенію къ критикамъ Тюбингенской школы — *esprits sans tact littéraire et sans mesure*, какъ онъ выражается.

мическаго изслѣдованія мы у Ренана не находимъ, и часто онъ оставляетъ насъ въ неизвѣстности относительно тѣхъ основаній, по какимъ онъ принимаетъ то или другое мнѣніе. Правда, онъ обыкновенно придерживается результатовъ, добытыхъ нѣмецкими критиками (въ особенности въ *Исторіи Израильскаго народа*); но тамъ, гдѣ онъ усвоиваетъ ихъ взгляды, онъ ихъ крайне рѣдко цитируетъ; а тамъ, гдѣ онъ расходится съ ними, онъ часто не даетъ себѣ труда съ ними спорить. Внимательный читатель и въ особенности специалистъ нерѣдко останавливается въ недоумѣніи передъ иными положеніями Ренана и тѣми мастерскими литературными характеристиками, которыми онъ замѣняетъ иногда научный анализъ памятника¹⁾. Иногда просто досадно, что такіа характеристики оказываются невѣрными, — такъ подкупаетъ искусство Ренана. Но оно не всегда можетъ скрыть нѣкоторой сбивчивости и противорѣчій въ общей конструкціи исторіи. Эта сбивчивость именно и обусловливается отсутствіемъ у Ренана строго-выработанной историко-литературной схемы; будучи эклектикомъ въ области критики и заимствуя различныя положенія различныхъ изслѣдователей, онъ не всегда достаточно согласуетъ ихъ между собою и со своими собственными взглядами. Такъ, напр., одно изъ любимыхъ и своеобразныхъ мнѣній Ренана состоитъ въ признаніи первоначальнаго, исконнаго монотеизма всѣхъ семитовъ — мнѣніе, котораго по многимъ и чрезвычайно вѣскимъ основаніямъ не раздѣляютъ новѣйшіе семитологи. Въ проповѣди пророковъ Ренанъ видитъ своего рода протестантизмъ, — возвращеніе къ первоначальному единобожію, къ чистому культу пустыни; и въ то же время, идя по стопамъ нѣмецкихъ критиковъ, онъ не разъ высказывается въ томъ смыслѣ, что монотеизмъ развился въ Израилѣ изъ культа племеннаго бога-покровителя. Съ этимъ связанъ и рядъ частныхъ противорѣчій, на которыхъ мы не будемъ останавливаться. Подобная же сбивчивость замѣчается въ самыхъ характеристикахъ Ренана и въ особенности въ отношеніи Ренана къ отдѣльнымъ памятникамъ. Когда, напр., сложилась Псалтирь? Новѣйшая критика не знаетъ ни одного псалма изъ эпохи до плѣненія и относитъ большую часть псалмовъ къ эпохѣ второго храма (между 450—250 гг.), а нѣкоторые изъ

¹⁾ Укажу для примѣра его странное и не обоснованное воззрѣніе на такъ называемый *Codex leviticus*, въ которомъ онъ различаетъ повѣствовательныя части одинаковой древности съ повѣствованіями древнѣйшихъ источниковъ Пятикнижія (J. и E) между тѣмъ, какъ Второзаконіе (за исключеніемъ I—IV, 45) представляется ему цѣльнымъ и простымъ по своему составу.

нихъ даже къ эпохѣ Маккавейской. Ренанъ пользуется псалмами для характеристики религіознаго состоянія Израиля чуть ли не съ до-историческихъ временъ и въ то же время вполне отрицаетъ существованіе Маккавейскихъ псалмовъ, — не приводя никакихъ основаній въ пользу своего взгляда. Въ другихъ случаяхъ Ренанъ даетъ критическую оцѣнку памятника, но въ пользованіи этимъ памятникомъ расходится съ этой оцѣнкой: между критикомъ и историкомъ проскальзываетъ противорѣчіе; какъ критикъ, онъ слѣдуетъ нѣмцамъ, какъ историкъ, онъ жертвуетъ критикой стройности изложенія и яркости образа. Укажу, какъ примѣръ, пространное предисловіе къ *Жизни Христа*, въ которомъ Ренанъ даетъ краткій очеркъ критическихъ результатовъ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ изслѣдованій по анализу Евангелій; читая самую *Жизнь*, мы не замѣчаемъ, чтобы Ренанъ строго придерживался даже тѣхъ положеній, которые въ предисловіи онъ считаетъ установленными.

Художественное изображеніе исторіи есть безспорное, крупное достоинство Ренана; артистическое чутье, изощренное опытомъ, насыщенное знаніемъ, даетъ ему нерѣдко способность вѣрнаго угадыванія дѣйствительности. Но часто литературный, художественный интересъ беретъ въ немъ верхъ надъ интересомъ науки, и историческая картина выходитъ яркой, съ виду правдивой, но не вѣрной и не обоснованной.

Второй крупный недостатокъ Ренана, какъ религіознаго историка, недостатокъ, отъ котораго его не спасло и его художественное чувство, состоитъ въ странномъ, иногда прямо наивномъ неразуміи того, что составляетъ самую сущность религіи. Онъ понимаетъ ее со стороны ея внѣшнихъ аксессуаровъ и культа; либо съ ея сентиментально-эстетической, субъективно чувственной стороны; либо, наконецъ, съ ея литературной стороны. Самую природу религіозной вѣры, равно чуждой сентиментальности и ритуализма, онъ понимаетъ всего менѣе, откуда объясняется рядъ чрезвычайно грубыхъ промаховъ Ренана, въ особенности въ изображеніи наиболѣе непосредственныхъ проявленій религіознаго генія, въ которыхъ онъ, по стопамъ философовъ XVIII в., оплакиваетъ или осмѣиваетъ проявленія „неисцѣлимой глупости человѣчества“, или восторгается его „неистою щимъ добротой“.

При чрезвычайно яркомъ и жизненномъ воспроизведеніи исторической обстановки, мѣстностей, политической среды, Ренанъ нерѣдко проглядываетъ то самое, что составляетъ двигательную силу религіозной исторіи: въ пророкахъ, напр., онъ видитъ первыхъ соціа-

листовъ, политическихъ радикаловъ¹⁾ на іезуитской подкладѣ, прибѣгающихъ къ постоянному сознательному обману и подлогу. Его характеристика Іереміи, этой наиболѣе драматической личности еврейской, а можетъ быть и всемірной исторіи, служить образцомъ самаго грубаго психологическаго непониманія. Онъ видитъ въ этомъ титанѣ то литератора, занимающагося подражаніями Іову (книга котораго, вѣстаетъ сказать, написана несомнѣнно позднѣе книги Іереміи); то онъ видитъ въ немъ хитраго іезуита и подозреваетъ его въ фальсификаціи Второзаконія, обманнымъ образомъ приписаннаго имъ Моисею; то изображаетъ его фанатикомъ-революционеромъ, какимъ-то изступленнымъ людоѣдомъ, греющимъ кровью и обратившимся впослѣдствіи въ „одинъ изъ краеугольныхъ камней религіознаго зданія“!

Указать социально-политическую сторону дѣятельности пророковъ, ихъ связь съ такъ называемой партіей *анаим* (нищихъ) есть безспорно важное дѣло, и это — одна изъ заслугъ Ренана. Но вѣдь это еще не даетъ ему права сравнивать пророковъ съ „русскими нигилистами“ или видѣть въ великомъ и поэтическомъ образѣ Амоса перваго изъ радикальныхъ публицистовъ, какаго-то сотрудника Рашфора отъ 800 г. до Р.Х.²⁾ Такой образъ явно ложенъ. Или возьмемъ Ренанову оцѣнку книги пр. Іоны — этого дивнаго перла еврейской поэзіи, этой вдохновенной притчи, въ которой онъ усматриваетъ пародію, фарсъ и которую онъ дерзаетъ сравнивать съ *Прекрасной Еленой*³⁾.

Еслибъ изображеніе социально-политической борьбы въ эпоху пророковъ было даже дѣйствительно вполнѣ вѣрнымъ, то все же самыя ихъ писанія свидѣлствуютъ противъ этого грубаго непониманія той величайшей драмы, которая совершалась въ ихъ душѣ, — той смерти ветхаго Израиля, осужденнаго и падающаго подъ ударами язычниковъ, и воскресенія новаго идеала царства Божія и царства правды, той борьбы Бога съ человекомъ, которую они ощущали въ глубинѣ своего сознанія и которая нашла такое страшное, потрясающее выраженіе у великаго страдальца Іереміи.

Но надо сказать, что, въ связи съ рѣдкими литературными достоинствами Ренана, самыя недостатки его служили его успѣху:

¹⁾ *Hist. du peuple d'Israel*, т. III, р. 277. „Jérusalem possédait une bande de ces hurleurs, qu'on ne peut comparer qu'aux journalistes radicaux de nos jours et qui rendaient tout gouvernement impossible“.

²⁾ *Ibid.*, II, р. 425. On peut dire que le premier article de journaliste intrasigeant a été écrit 800 ans avant J. C. et que c'est Amos qui l'a écrit.

³⁾ *Ibid.*, III, р. 514.

то упраздненіе религіи въ самой религіи, — во Христѣ, въ пророкахъ, апостолахъ и мученикахъ, — которое является намъ самой грубой ошибкой Ренана, придало его сочиненіямъ о нихъ совершенно особенное значеніе. Къ тому же, какъ я уже сказалъ, Ренанъ удивительно хорошо умѣетъ, когда хочетъ, говорить о внутреннихъ и вѣшнихъ аксессуарахъ религіи. Его необычайно гибкій талантъ позволяетъ ему принимать по произволу тонъ умиленно-елейный, сентиментальный даже, когда дѣло касается отдѣльныхъ явленій религіозной жизни или литературы, почему-либо ему симпатичныхъ. Онъ находилъ какое-то особенное удовольствіе въ томъ, чтобъ удовлетворить вѣрующаго и невѣрующаго, перваго — своимъ благоговѣніемъ передъ святыней, своими импровизаціями на церковные мотивы, а втораго — неувловимой пропіей, которая нигдѣ и никогда не покидаетъ Ренана.

Для меня сужденія критиковъ Ренана объ его религіозности и объ его религіозномъ чувствѣ являются если не мѣркой глубины ихъ собственнаго религіознаго чувства, то, во всякомъ случаѣ, мѣркой ихъ чутія къ пропіи и чутія къ тонкостямъ французскаго языка, которыми Ренанъ владѣлъ, какъ ни одинъ виртуозъ не владѣетъ тонкостями своего инструмента.

Католическая Франція не знала другой научной богословской литературы, кромѣ чисто-ортодоксальной. Свѣтскіе люди мало интересовались ею, вольномыслящіе надъ ней глумились, а протестантская наука была неизвѣстной. Поставивъ себѣ задачей популяризовать нѣмецкую религіозную науку, Ренанъ естественно долженъ былъ считаться съ кругами чисто-свѣтскими, индифферентными къ религіи или нерасположенными къ ней. Онъ могъ привлечь ихъ новизной своего чисто-эстетическаго отношенія къ религіознымъ сюжетамъ, подобнаго отношенію нѣкоторыхъ итальянскихъ художниковъ временъ Ренессанса; наконецъ, онъ могъ привлечь самымъ скандаломъ, который его произведенія должны были произвести въ клерикальныхъ кругахъ. Ренанъ увѣряетъ, будто онъ оставилъ церковь и семинарію только по тому, что убѣдился въ правотѣ нѣмецкихъ критиковъ; и уже поэтому онъ не могъ писать, не сознавая, что всякое слово его имѣетъ значеніе анти-клерикальной проповѣди.

Поэтому въ импровизаціи Ренана на темы религіозной исторіи постоянно прокрадывается нотка сатиры, памфлета, эпиграммы, имѣющей современный предметъ и бьющей въ опредѣленную цѣль. Иной протестантскій ученый заходитъ въ своихъ критическихъ вы-

водахъ много дальше Ренана; но ему не придетъ въ голову усомниться въ Богѣ или во Христѣ, оттого что такая-то книга написана позже, чѣмъ думали прежде. Ему не придетъ въ голову, чтобъ изложеніе результатовъ критики Пятикнижія или анализа литературнаго состава книги Исаи могло имѣть значеніе сенсационнаго разоблаченія, въ родѣ тѣхъ, какія раздувають синдикаты французскихъ газетчиковъ для усиленія розничной продажи своихъ изданій. Наконецъ, всего менѣе можетъ притти въ голову такому ученому, чтобы наука могла подчиняться требованіямъ литературы, чтобы громадная эрудиція тратилась на рапсодіи.

Ренанъ сознавалъ, что шумъ, вызываемый скандаломъ, еще не даетъ прочнаго литературнаго успѣха; къ тому же, по своей натурѣ, — тонкой, изящной натурѣ артиста, — онъ не желалъ скандала и столь же мало былъ созданъ для роли борца, какъ и для роли религіознаго проповѣдника. Онъ никогда не думалъ выступать въ качествѣ богословскаго полемиста, и завязать богословскій споръ, — было бы въ его глазахъ, прежде всего, ошибкой противъ литературнаго вкуса, погрѣшностью противъ хорошаго тона. Такой споръ имѣлъ бы смыслъ, если бы Ренанъ собирался основать секту или перейти въ протестантство. Но онъ былъ не реформаторомъ, а гуманистомъ, и никто не умѣлъ съ большей проницательностью, чѣмъ онъ, смѣяться надъ теологическими распрями¹⁾.

Онъ старательно избѣгалъ всякой рѣзкости и выработалъ себѣ своеобразный пріемъ проницательности, какъ особый литературный стиль или манеру, — проницательную и тонкую, то вкрадчивую и неуловимую, маскирующуюся въ какую-то лицемѣрно-церковную елейность, то принимающую тонъ насмѣшливой снисходительности, то язвительную и циничную, то, наконецъ, просто веселую, даже гривуазную, — особенно въ его старческихъ произведеніяхъ.

Ренанъ сознавалъ вполне, какія особенности его таланта привлекали къ нему читателей, слушателей и поклонниковъ. Успѣхъ его былъ прежде всего литературнымъ; и потому, не ограничиваясь рамками религіозной исторіи, которая сама имѣла для него преимущественно эстетическій интересъ, онъ былъ литераторомъ въ самомъ широкомъ смыслѣ — блестящимъ эссеистомъ, журналистомъ, беллетристомъ, моралистомъ, философскимъ писателемъ.

¹⁾ См., напр., его *Les congrégations de auxilia* въ *Nouvelles études d'hist. rel.*

II.

Ренанъ, какъ гуманистъ.

Какова же основная черта, какова общая руководящая цѣль этой колоссальной научной и литературной дѣятельности?

Литературный типъ, который представляетъ собой Ренанъ, не смотря на весь лоскъ современности, кажется намъ не новымъ. Можно сказать, что онъ столь же старъ, какъ все европейское просвѣщеніе, возродившееся послѣ средневѣковаго сна. Ренанъ есть одинъ изъ самыхъ законченныхъ и типичныхъ представителей гуманизма, со всѣми его достоинствами и недостатками, со всѣми его особенностями, какія проявились уже въ эпоху Возрожденія. Какъ ранніе гуманисты, Ренанъ вышелъ изъ церковной школы; какъ они, онъ учился въ ней лишь литературѣ и языкамъ. Ренанъ есть гуманистъ-филологъ и словесникъ, въ которомъ мы узнаемъ всѣ черты его великихъ предшественниковъ: филологическій, литературный характеръ ихъ науки и самой ихъ философіи; скептицизмъ, воспитанный филологіей и закаленный дисциплиной средневѣковой науки; утонченный дилетантизмъ, умственное эпикурейство съ его изящнымъ цинизмомъ, чисто-эстетическое отношеніе къ религіи и нравственности, — всѣ эти черты, кажущіяся столь оригинальными въ Ренанѣ, знакомы тому, кто изучилъ итальянскій и отчасти нѣмецкій гуманизмъ.

Но Ренанъ — гуманистъ XIX в., и столѣтія, отдѣляющія его отъ его предшественниковъ, не пропали даромъ. Ранніе гуманисты знали только немногія творенія классической древности и церковной литературы, — рѣдко, элементы еврейскаго языка. Ренану было открыто все поле человѣческаго слова, памятники мертвыхъ и живыхъ языковъ, и ему данъ былъ ключъ къ ихъ пониманію — совершенные методы современной филологіи и лингвистики.

Произошло и другое важное измѣненіе: новые языки получили художественную литературную разработку, въ особенности языкъ французскій. Гуманистъ живетъ въ томъ языкѣ, на которомъ онъ пишетъ, и самое мышленіе его подчиняется требованіямъ языка: „Хорошо писать по-французски, — говоритъ Ренанъ, — есть замѣчательно сложная операція, постоянный компромиссъ, въ которомъ оригинальность и вкусъ, научная точность и пуризмъ тянутъ умъ въ противоположныя стороны. Хорошій писатель вынужденъ высказать приблизительно лишь половину того, что онъ думаетъ,

а если при этомъ онъ вдобавокъ еще и добросовѣстенъ, то онъ долженъ постоянно остерегаться, чтобы требованія фразы не заставляли его говорить то, чего онъ вовсе не думаетъ¹⁾. Характерное признаніе въ устахъ французскаго писателя!

Подобно старымъ гуманистамъ Ренанъ прежде всего словесникъ и филологъ. Онъ любитъ человѣческое слово во всѣхъ его проявленіяхъ, въ его младенчествѣ, его зарожденіи, расцвѣтѣ, въ его упадкѣ даже. Онъ изучаетъ его въ тончайшемъ строеніи, какъ лингвистъ, и онъ изучаетъ его во всѣхъ его твореніяхъ, какъ литературный критикъ. Если бъ ему пришлось прожить еще нѣсколько жизней, онъ мечталъ бы изучить всѣ языки и все то, что было на нихъ написано и надумано, чтобы вмѣстить въ себя всю полноту человѣческаго сознанія. Онъ любитъ человѣческое слово ради него самого, ради его красоты, которая раскрывается въ литературѣ, но предчувствуется уже въ самыхъ формахъ человѣческой рѣчи. Онъ любитъ его независимо отъ его содержанія и, можетъ быть даже, болѣе его содержанія, — подобно первымъ гуманистамъ филологамъ древности, этимъ „искусникамъ слова“, и подобно гуманистамъ ренессанса.

Раннее произведеніе Ренана, его книга о *Будущемъ науки*, проникнуто вѣрою въ филологію. Отъ нея Ренанъ ждетъ реформы всей науки и ея объединенія. Главные успѣхи человѣческаго сознанія опредѣляются ею уже и въ прошломъ. Филологія вызвала духъ критики; филологи эпохи возрожденія суть основатели современнаго духа и разрушители средневѣковаго міросозерцанія (стран. 191); реформація родилась среди филологіи гуманистовъ²⁾. Филологіи и теперь предстоитъ великая роль во главѣ гуманитарныхъ наукъ: ибо если эти науки даютъ намъ познаніе человѣчества, познаніе его духа, — то въ филологіи, этой „точной наукѣ о фактахъ человѣческаго духа“, заключается общее основаніе всѣхъ этихъ наукъ — ключъ къ пониманію исторіи, религіи, философіи³⁾.

Величайшимъ прогрессомъ нашего времени является Ренану замѣна понятія *бытія* понятіемъ *происхожденія*, развитія. Прежде все разсматривалось какъ неизмѣнное, неподвижное, сущее. Говорили о правѣ, религіи, поэзіи, нравственности, принимая всѣ эти величины за абсолютныя и неизмѣнныя. Теперь все разсматривается

¹⁾ *Essais de Morale*, p. 71.

²⁾ Ср. *Dialogues et fragments philosophiques*, p. 299.

³⁾ *Avenir de la Science*, p. 130.

какъ развивающееся¹⁾). Великая идея развитія, при свѣтѣ которой мы понимаемъ исторію человѣчества какъ единый процессъ, переносится на природу и служитъ мостомъ между природой и человекомъ, объединяетъ процессъ міровой эволюціи съ процессомъ всемірной исторіи. „Наука о сущемъ есть исторія сущаго“.

Всемирный историческій процессъ начинается въ хаосѣ атомовъ, которые вступаютъ въ разнообразныя сочетанія, образуя матеріальный остовъ вселенной; этотъ процессъ продолжается въ развитіи органической жизни, ея различныхъ родовъ и видовъ; оно завершается въ исторіи разумныхъ существъ, стремящихся къ конечному осуществленію разума.

Исторія, поэтому, есть какъ бы философія мірового процесса, историческое міросозерцаніе есть философское міросозерцаніе, и потому гуманитарныя науки имѣютъ высшій философскій интересъ. Мало того, онѣ призваны постепенно замѣнить собою философію.

Обыкновенная психологія изучаетъ индивидуальную человѣческую душу; но эта душа съ ея сознаніемъ есть безконечно сложный продуктъ развитія предшествующихъ поколѣній. Филологія не только раскрываетъ намъ это развитіе въ его подлинныхъ письменныхъ памятникахъ, но даетъ намъ возможность проникнуть въ самые его зачатки: она создаетъ собирательную психологію человѣчества, изучаетъ происхожденіе его рѣчи и показываетъ намъ въ *словѣ* первое обнаруженіе *мысли*, умственного творчества. Изучая языкъ въ его младенчествѣ, она раскрываетъ намъ тайну первобытнаго міросозерцанія, съ его поэзіей и мифами, въ которыхъ она указываетъ намъ зарожденіе религіозныхъ представленій. Безъ филологіи — этой „точной науки о духовныхъ предметахъ“ — Ренанъ не знаетъ философіи.

Онъ не знаетъ ея и безъ исторіи. Исторія есть для него великая школа идеализма и скептицизма. Исторія внушаетъ намъ великую идею развитія, прогресса и учитъ насъ вѣрить въ конечное торжество разума и знанія; исторія учитъ насъ любить всѣ формы и проявленія человѣческаго духа, наслаждаться ихъ зрѣлищемъ, цѣнить самое разнообразіе и богатство ихъ въ гармоніи великаго цѣлаго, и вмѣстѣ она показываетъ намъ относительность всѣхъ этихъ формъ, всѣхъ человѣческихъ идеаловъ и вѣрованій, всю суетность человѣческой философіи. Она учитъ насъ сомнѣваться.

¹⁾ Ibid., 182, ср. Averroës, VI.

Въ ней есть своя пронія и своя мораль, свое назиданіе и утѣшеніе. Въ зрѣлищѣ всемірной исторіи мы наслаждаемся калейдоскопомъ всѣхъ вѣрованій, всѣхъ литературъ, всѣхъ философій; и чѣмъ ярче воспринимаемъ мы безконечно разнообразныя оттѣнки, различающіе людей и эпохи, — тѣмъ сильнѣе наше наслажденіе.

И вмѣстѣ съ тѣмъ, оборачиваясь на себя, сравнивая съ океаномъ прошлаго краткій мигъ настоящаго, не черпаемъ ли мы въ сознаніи этого прошлаго освобожденіе отъ настоящаго? Если въ прошломъ мы видимъ только зрѣлище, — самое изумительное и прекрасное изъ всѣхъ зрѣлищъ, — то не должны ли мы смотрѣть и на то, что окружаетъ насъ, безъ страсти и гнѣва, безъ вѣры и ослѣпленія, любуясь развертывающимся передъ нами новымъ актомъ божественной комедіи? Если пронія всемірной исторіи обличаетъ суетность всѣхъ ограниченныхъ человѣческихъ идеаловъ и притязаній, которые она разбиваетъ и уноситъ въ своемъ потокѣ, то можемъ ли мы принимать въ серіозъ настоящее, и не разумѣе ли видѣть и въ немъ лишь преходящее зрѣлище, — зрѣлище, которое пріятнѣе для зрителя, чѣмъ для участниковъ, для тѣхъ гладіаторовъ и актеровъ, которые слишкомъ входятъ въ свои роли?

Таковъ урокъ философіи и морали, который нашъ гуманизмъ черпаетъ изъ исторіи. Въ ея волнахъ все тонетъ, все мѣняется; остается одно: движеніе впередъ, прогрессъ человѣческаго разума, который одинъ можетъ составлять вполнѣ достойную цѣль исторіи. Это единственная нравственная норма, которая представляется Ренану неподвижной. Можетъ-быть, впрочемъ, и эта цѣль не осуществима; можетъ-быть, историческій и всемірный прогрессъ преслѣдуютъ цѣль, не осуществимую для человѣка. Но даже и въ такомъ случаѣ, будь міръ лишь „кошмаромъ больного божества“ (*le cauchemar d'une divinité malade*)¹⁾, не имѣй онъ никакой серіозной цѣли или смысла, все же остается наука, которая при всякомъ предположеніи сохраняетъ свой серіозный смыслъ, и остается дивное, прекрасное зрѣлище; при всякомъ предположеніи, изучая его, мыслитель служитъ своимъ ближнимъ, служитъ Богу или разуму, увеличивая въ человѣчествѣ сумму знанія. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выноситъ изъ этого зрѣлища всемірной драмы все то наслажденіе, какое только доступно человѣку.

Такимъ образомъ, гуманизмъ соединяется у Ренана съ особеннымъ созерцательнымъ эпикурействомъ, составляющимъ, какъ увидимъ, его нравственную философію.

¹⁾ Essais de morale, 100.

„Я вкушаю міръ посредствомъ того особеннаго чувства симпатіи, которое дѣлаетъ насъ грустными — въ грустномъ городѣ и веселыми — въ веселомъ. Я наслаждаюсь такимъ образомъ сладострастіемъ сладострастника, развратомъ развратника, свѣтскостью свѣтскаго человѣка, святостью добродѣтельнаго, размышленіями ученаго, подвижничествомъ аскета. Посредствомъ особаго рода тихой спокойной симпатіи, я представляю себя ихъ сознаніемъ. Открытіе ученаго — мое достояніе, и торжество честолюбца — мой праздникъ. Я былъ бы недоволенъ, если бъ что-нибудь недоставало міру, потому что я сознаю все то, что онъ въ себѣ заключаетъ. Съ этимъ я не боюсь ударовъ судьбы, — я ношу съ собой очаровательный цвѣтникъ моихъ мыслей“¹⁾).

III.

Философія Ренана и его „метафизика“.

Этотъ прекрасный цвѣтникъ, „партеръ“ мыслей, составляющій наслажденіе Ренана, составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и всю его философію. Онъ не выдумалъ ея; она сама въ немъ сложилась: онъ только одѣвалъ и украшалъ ее своимъ словомъ. Съ тѣмъ же любопытствомъ, съ какимъ смотрѣлъ онъ на зрѣлище вѣтшей исторіи, вглядывался онъ и во внутреннюю жизнь своихъ идей.

Не задолго до смерти въ своемъ examen de conscience philosophique (1888 г.) онъ пишетъ, подводя итоги своего міросозерцанія: „первая обязанность искренняго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы не вліять на собственныя мнѣнія, предоставлять дѣйствительности отражаться въ немъ какъ въ камеръ-обскуръ фотографа и присутствовать при той внутренней борьбѣ, которая разыгрывается между идеями въ глубинѣ его сознанія. Мы не должны вмѣшиваться въ эту самопроизвольную работу: передъ внутренними измѣненіями нашей умственной сѣтчатки мы должны оставаться пассивными... Образованіе истины есть объективное явленіе, постороннее нашему „я“ и происходящее въ насъ безъ нашего участія, — это какъ бы химическій осадокъ, совершающійся въ насъ, и мы должны довольствоваться тѣмъ, чтобы разсматривать его съ любопытствомъ“²⁾).

Въ противоположность Ренану можно сказать, что обязанность добросовѣстнаго мыслителя состоитъ именно въ томъ, чтобы не относиться чисто-пассивно къ внутренней игрѣ идей и не прини-

¹⁾ *Dialogues philos.*, p. 133—4.

²⁾ *Feuilles détachées*, 401—2.

тического изслѣдованія мы у Ренана не находимъ, и часто онъ оставляетъ насъ въ неизвѣстности относительно тѣхъ основаній, по какимъ онъ принимаетъ то или другое мнѣніе. Правда, онъ обыкновенно придерживается результатовъ, добытыхъ нѣмецкими критиками (въ особенности въ *Исторіи Израильскаго народа*); но тамъ, гдѣ онъ усваиваетъ ихъ взгляды, онъ ихъ крайне рѣдко цитируетъ; а тамъ, гдѣ онъ расходится съ ними, онъ часто не даетъ себѣ труда съ ними спорить. Внимательный читатель и въ особенности специалистъ нерѣдко останавливается въ недоумѣніи передъ иными положеніями Ренана и тѣми мастерскими литературными характеристиками, которыми онъ замѣняетъ иногда научный анализъ памятника¹⁾. Иногда просто досадно, что такіа характеристики оказываются невѣрными, — такъ подкупаетъ искусство Ренана. Но оно не всегда можетъ скрыть нѣкоторой сбивчивости и противорѣчій въ общей конструкціи исторіи. Эта сбивчивость именно и обуславливается отсутствіемъ у Ренана строго-выработанной историко-литературной схемы; будучи эклектикомъ въ области критики и заимствуя различныя положенія различныхъ изслѣдователей, онъ не всегда достаточно согласуетъ ихъ между собою и со своими собственными взглядами. Такъ, напр., одно изъ любимыхъ и своеобразныхъ мнѣній Ренана состоитъ въ признаніи первоначальнаго, исконнаго монотеизма всѣхъ семитовъ — мнѣніе, котораго по многимъ и чрезвычайно вѣскимъ основаніямъ не раздѣляютъ новѣйшіе семитологи. Въ проповѣди пророковъ Ренанъ видитъ своего рода протестантизмъ, — возвращеніе къ первоначальному единобожію, къ чистому культу пустыни; и въ то же время, идя по стопамъ нѣмецкихъ критиковъ, онъ не разъ высказывается въ томъ смыслѣ, что монотеизмъ развился въ Израилѣ изъ культа племеннаго бога-покровителя. Съ этимъ связанъ и рядъ частныхъ противорѣчій, на которыхъ мы не будемъ останавливаться. Подобная же сбивчивость замѣчается въ самыхъ характеристикахъ Ренана и въ особенности въ отношеніи Ренана къ отдѣльнымъ памятникамъ. Когда, напр., сложилась Псалтирь? Новѣйшая критика не знаетъ ни одного псалма изъ эпохи до плѣненія и относитъ большую часть псалмовъ къ эпохѣ второго храма (между 450—250 гг.), а нѣкоторые изъ

¹⁾ Укажу для примѣра его странное и не обоснованное воззрѣніе на такъ называемый Codex leviticus, въ которомъ онъ различаетъ повѣствовательныя части одинаковой древности съ повѣствованіями древѣйшихъ источниковъ Пятикнижія (J. и E.) между тѣмъ, какъ Второзаконіе (за исключеніемъ I—IV, 45) представляется ему цѣльнымъ и простымъ по своему составу.

sur les choses. Всѣ отдѣльныя философіи истинны въ головахъ своихъ изобрѣтателей и всѣ имѣютъ свою поэзію, свой литературный интересъ; чѣмъ онѣ оригинальнѣе, поэтичнѣе, ярче, чѣмъ смѣлѣе въ нихъ творчество философа, тѣмъ онѣ красивѣе, и въ этомъ смыслѣ заслуживаютъ нашего изученія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ самой оригинальности своей онѣ индивидуальны и не подлежатъ доказательству. Изучая ихъ, мы изучаемъ *мечты* человечества, а слѣдовательно, и самый человѣческій духъ — эту высшую изъ всѣхъ реальностей. „Въ извѣстномъ смыслѣ, — говоритъ Ренанъ въ своемъ прекрасномъ изслѣдованіи объ Аверроэсѣ, — въ извѣстномъ смыслѣ важнѣе знать, что думалъ человѣческій духъ о данной проблемѣ, чѣмъ имѣть самому свой отвѣтъ на нее; ибо если даже вопросъ не разрѣшимъ, работа человѣческаго духа надъ его разрѣшеніемъ составляетъ фактъ опыта, который всегда сохраняетъ свой интересъ; и допуская даже, что философія обречена навсегда быть лишь вѣчнымъ и тщетнымъ усиліемъ опредѣлить безпредѣльное, все же нельзя отрицать, чтобы въ такомъ усиліи не заключалось для любознательныхъ умовъ зрѣлища, достойнаго самаго высокаго вниманія¹⁾).

Признаніе чрезвычайно характерное. Философскія ученія интересуютъ Ренана не какъ философа, а какъ гуманиста, какъ литературнаго критика. Самый скептицизмъ Ренана не есть скептицизмъ философа, а скептицизмъ литературнаго критика, который разсматриваетъ одну за другою философскія системы, какъ литературныя произведенія и изучаетъ ихъ въ связи съ ихъ историческою средой и съ индивидуальностью ихъ авторовъ, примѣняя къ нимъ эстетическую, а не логическую оцѣнку.

Философія, по Ренану, есть выраженіе индивидуальнаго міросозерцанія: она есть выраженіе общаго впечатлѣнія вещей въ душѣ философа. Она есть, — говоритъ онъ, — „общій результатъ всѣхъ наукъ, звукъ, свѣтъ, вибрація, выходящая изъ того божественнаго эантра, который всякій человѣкъ носитъ въ себѣ“²⁾). Философствовать значитъ предаваться этому общему впечатлѣнію, свободно вдыхать въ себя запахъ вещей, *le parfum des choses*. Поэтому-то и не слѣдуетъ ограничиваться однимъ общимъ впечатлѣніемъ, одною поэмой, но, любуясь ею, надо оставлять за собою право создавать другія поэмы и любоваться другими мечтами. Если моя философія рисуетъ мнѣ опредѣленнымъ образомъ „физиономію вещей“, то еслибъ

¹⁾ *Averroès et l'Averroïsme*, IX (1896).

²⁾ *Dial. phil.*, 290.

листовъ, политическихъ радикаловъ¹⁾ на іезуитской подкладкѣ, прибѣгающихъ къ постоянному сознательному обману и подлогу. Его характеристика Іереміи, этой наиболѣе драматической личности еврейской, а можетъ быть и всемірной исторіи, служить образцомъ самаго грубаго психологическаго непониманія. Онъ видитъ въ этомъ титанѣ то литератора, занимающагося подражаніями Іову (книга котораго, кстати сказать, написана несомнѣнно позднѣе книги Іереміи); то онъ видитъ въ немъ хитраго іезуита и подозреваетъ его въ фальсификаціи Второзаконія, обманнымъ образомъ приписаннаго имъ Моисею; то изображаетъ его фанатикомъ-революціонеромъ, какимъ-то изступленнымъ людоедомъ, грезящимъ кровью и обратившимся впослѣдствіи въ „одинъ изъ краугольных камней религіознаго зданія“!

Указать социально-политическую сторону дѣятельности пророковъ, ихъ связь съ такъ называемой партіей *анавим* (нищихъ) есть безспорно важное дѣло, и это — одна изъ заслугъ Ренана. Но въ это еще не даетъ ему права сравнивать пророковъ съ „русскими нигилистами“ или видѣть въ великомъ и поэтическомъ образѣ Амоса перваго изъ радикальныхъ публицистовъ, какаго-то сотрудника Рашфора отъ 800 г. до Р.Х.²⁾ Такой образъ явно ложенъ. Или возьмемъ Ренанову оцѣнку книги пр. Іоны — этого дивнаго перла еврейской поэзіи, этой вдохновенной притчи, въ которой онъ усматриваетъ пародію, фарсъ и которую онъ дерзаетъ сравнивать съ *Прекрасной Еленой*³⁾.

Еслибъ изображеніе социально-политической борьбы въ эпоху пророковъ было даже дѣйствительно вполнѣ вѣрнымъ, то все же самыя ихъ писанія свидѣтельствуютъ противъ этого грубаго непониманія той величайшей драмы, которая совершалась въ ихъ душѣ, — той смерти ветхаго Израиля, осужденнаго и падающаго подъ ударами язычниковъ, и воскресенія новаго идеала царства Божія и царства правды, той борьбы Бога съ человекомъ, которую они ощущали въ глубинѣ своего сознанія и которая нашла такое страшное, потрясающее выраженіе у великаго страдальца Іереміи.

Но надо сказать, что, въ связи съ рѣдкими литературными достоинствами Ренана, самыя недостатки его служили его успѣху:

¹⁾ *Hist. du peuple d'Israel*, т. III, p. 277. „Jérusalem possédait une bande de ces hurleurs, qu'on ne peut comparer qu'aux journalistes radicaux de nos jours et qui rendaient tout gouvernement impossible“.

²⁾ *Ibid.*, II, p. 425. On peut dire que le premier article de journaliste intran-sigeant a été écrit 800 ans avant J. C. et que c'est Amos qui l'a écrit.

³⁾ *Ibid.*, III, p. 514.

то упраздненіе религіи въ самой религіи, — во Христѣ, въ пророкахъ, апостолахъ и мученикахъ, — которое является намъ самой грубой ошибкой Ренана, придало его сочиненіямъ о нихъ совершенно особенное значеніе. Къ тому же, какъ я уже сказалъ, Ренанъ удивительно хорошо умѣетъ, когда хочетъ, говорить о внутреннихъ и вѣшнихъ аксессуарахъ религіи. Его необычайно гибкій талантъ позволяетъ ему принимать по произволу тонъ умиленно-елейный, sentimentalный даже, когда дѣло касается отдѣльныхъ явленій религіозной жизни или литературы, почему-либо ему симпатичныхъ. Онъ находилъ какое-то особенное удовольствіе въ томъ, чтобы удовлетворить вѣрующаго и невѣрующаго, перваго — своимъ благоговѣніемъ передъ святыней, своими импровизаціями на церковные мотивы, а втораго — неуловимой проницательностью, которая нигдѣ и никогда не покидаетъ Ренана.

Для меня сужденія критиковъ Ренана объ его религіозности и объ его религіозномъ чувствѣ являются если не мѣркой глубины ихъ собственнаго религіознаго чувства, то, во всякомъ случаѣ, мѣркой ихъ чутія къ проницательности и чутія къ тонкостямъ французскаго языка, которыми Ренанъ владѣлъ, какъ ни одинъ виртуозъ не владѣетъ тонкостями своего инструмента.

Католическая Франція не знала другой научной богословской литературы, кромѣ чисто-ортодоксальной. Свѣтскіе люди мало интересовались ею, вольномыслящіе надъ ней глумились, а протестантская наука была неизвѣстной. Поставивъ себѣ задачей популяризовать нѣмецкую религіозную науку, Ренанъ естественно долженъ былъ считаться съ кругами чисто-свѣтскими, индифферентными къ религіи или нерасположенными къ ней. Онъ могъ привлечь ихъ новизной своего чисто-эстетическаго отношенія къ религіознымъ сюжетамъ, подобнаго отношенію нѣкоторыхъ итальянскихъ художниковъ временъ Ренессанса; наконецъ, онъ могъ привлечь самымъ скандаломъ, который его произведенія должны были произвести въ клерикальныхъ кругахъ. Ренанъ увѣряетъ, будто онъ оставилъ церковь и семинарію только по тому, что убѣдился въ правотѣ нѣмецкихъ критиковъ; и уже поэтому онъ не могъ писать, не сознавая, что всякое слово его имѣетъ значеніе анти-клерикальной проповѣди.

Поэтому въ импровизаціи Ренана на темы религіозной исторіи постоянно прокрадывается нотка сатиры, памфлета, эпиграммы, имѣющей современный предметъ и бьющей въ опредѣленную цѣль. Иной протестантскій ученый заходитъ въ своихъ критическихъ вы-

водахъ много дальше Ренана; но ему не придетъ въ голову усомниться въ Богѣ или во Христѣ, оттого что такая-то книга написана позже, чѣмъ думали прежде. Ему не придетъ въ голову, чтобъ изложеніе результатовъ критики Пятикнижія или анализа литературнаго состава книги Исаи могло имѣть значеніе сенсационнаго разоблаченія, въ родѣ тѣхъ, какія раздуваютъ синдикаты французскихъ газетчиковъ для усиленія розничной продажи своихъ изданій. Наконецъ, всего менѣе можетъ притти въ голову такому ученому, чтобы наука могла подчиняться требованіямъ литературы, чтобы громадная эрудиція тратилась на распадъ.

Ренанъ сознавалъ, что шумъ, вызываемый скандаломъ, еще не даетъ прочнаго литературнаго успѣха; къ тому же, по своей натурѣ, — тонкой, изящной натурѣ артиста, — онъ не желалъ скандала и столь же мало былъ созданъ для роли борца, какъ и для роли религіознаго проповѣдника. Онъ никогда не думалъ выступать въ качествѣ богословскаго полемиста, и завязать богословскій споръ, — было бы въ его глазахъ, прежде всего, ошибкой противъ литературнаго вкуса, погрѣшностью противъ хорошаго тона. Такой споръ имѣлъ бы смыслъ, если бы Ренанъ собирався основать секту или перейти въ протестантство. Но онъ былъ не реформаторомъ, а гуманистомъ, и никто не умѣлъ съ большей ироніей, чѣмъ онъ, смѣяться надъ теологическими распрями¹⁾.

Онъ старательно избѣгалъ всякой рѣзкости и выработалъ себѣ своеобразный пріемъ ироніи, какъ особый литературный стиль или манеру, — иронію изящную и тонкую, то вкрадчивую и неуловимую, маскирующуюся въ какую-то лицемѣрно-церковную елейность, то принимающую тонъ насмѣшливой снисходительности, то язвительную и циничную, то, наконецъ, просто веселую, даже гривуазную, — особенно въ его старческихъ произведеніяхъ.

Ренанъ сознавалъ вполне, какія особенности его таланта привлекали къ нему читателей, слушателей и поклонниковъ. Успѣхъ его былъ прежде всего литературнымъ; и потому, не ограничиваясь рамками религіозной исторіи, которая сама имѣла для него преимущественно эстетическій интересъ, онъ былъ литераторомъ въ самомъ широкомъ смыслѣ — блестящимъ эссеистомъ, журналистомъ, беллетристомъ, моралистомъ, философскимъ писателемъ.

¹⁾ См., напр., его *Les congrégations de auxiliis* въ *Nouvelles études d'hist. rel.*

II.

Ренанъ, какъ гуманистъ.

Какова же основная черта, какова общая руководящая цѣль этой колоссальной научной и литературной дѣятельности?

Литературный типъ, который представляетъ собой Ренанъ, несмотря на весь лоскъ современности, кажется намъ не новымъ. Можно сказать, что онъ столь же старъ, какъ все европейское просвѣщеніе, возродившееся послѣ средневѣковаго сна. Ренанъ есть одинъ изъ самыхъ законченныхъ и типичныхъ представителей гуманизма, со всѣми его достоинствами и недостатками, со всѣми его особенностями, какія проявились уже въ эпоху Возрожденія. Какъ ранніе гуманисты, Ренанъ вышелъ изъ церковной школы; какъ они, онъ учился въ ней лишь литературѣ и языкамъ. Ренанъ есть гуманистъ-филологъ и словесникъ, въ которомъ мы узнаемъ всѣ черты его великихъ предшественниковъ: филологическій, литературный характеръ ихъ науки и самой ихъ философіи; скептицизмъ, воспитанный филологіей и закаленный дисциплиной средневѣковой науки; утонченный дилетантизмъ, умственное эпикурейство съ его изящнымъ цинизмомъ, чисто-эстетическое отношеніе къ религіи и нравственности, — всѣ эти черты, кажушіяся столь оригинальными въ Ренанѣ, знакомы тому, кто изучилъ итальянскій и отчасти нѣмецкій гуманизмъ.

Но Ренанъ — гуманистъ XIX в., и столѣтія, отдѣляющія его отъ его предшественниковъ, не пропали даромъ. Ранніе гуманисты знали только немногія творенія классической древности и церковной литературы, — рѣдко, элементы еврейскаго языка. Ренану было открыто все поле человѣческаго слова, памятники мертвыхъ и живыхъ языковъ, и ему данъ былъ ключъ къ ихъ пониманію — совершенные методы современной филологіи и лингвистики.

Произошло и другое важное измѣненіе: новые языки получили художественную литературную разработку, въ особенности языкъ французскій. Гуманистъ живетъ въ томъ языкѣ, на которомъ онъ пишетъ, и самое мышленіе его подчиняется требованіямъ языка: „Хорошо писать по-французски, — говоритъ Ренанъ, — есть замѣчательно сложная операція, постоянный компромиссъ, въ которомъ оригинальность и вкусъ, научная точность и пуризмъ тянутъ умъ въ противоположныя стороны. Хорошій писатель вынужденъ высказать приблизительно лишь половину того, что онъ думаетъ,

будетъ вполне, если слово Богъ можетъ быть синонимомъ совокупности, полноты бытія. Въ этомъ смыслѣ Богъ скорѣе *будетъ*, чѣмъ *есть*; онъ находится въ процессѣ развитія, en voie de se faire (*Dial.*, p. 184). Это одна изъ мыслей, къ которымъ Ренанъ постоянно возвращается.

Онъ, несомнѣнно, усвоилъ ее изъ бѣлаго ознакомленія съ нѣмецкимъ идеализмомъ. Онъ замѣчаетъ гдѣ-то, что вполне ассимилируешь только то, что знаешь наполовину. Въ данномъ случаѣ болѣе основательное ознакомленіе дѣйствительно едва ли позволило бы ему столь просто разругать свою проблему. Онъ утѣшается мыслью о *безконечности времени*, предоставленнаго всемірному развитію. „Въ безконечности все возможно, даже Богъ“ (*Tout est possible, même Dieu*)¹⁾. Безконечность будущаго разрѣшаетъ многія затрудненія (*l'infinité de l'avenir poie bien des difficultés*). Всѣ трудности, если угодно, но только не эту! Такой экспедіентъ, такая ссылка на продолжительность времени, оставленнаго на произведение Вѣчнаго, не приходила въ голову нѣмецкимъ идеалистамъ. Мало того, въ безконечности времени разрѣшеніе, предлагаемое Ренаномъ, представляется намъ *безконечно невозможнымъ*, и если это возникновеніе Бога безъ Бога, это происхожденіе божества изъ хаоса, подобное рожденію боговъ Орфея и Гесиода, есть мечта или грѣза, то это мечта явно нелѣпая. Но дѣло въ томъ, что эту мечту никакъ нельзя отдѣлить отъ того, что Ренанъ считаетъ „достоверностью“: осуществленіе идеи и идеаловъ, осуществленіе объективнаго разума въ міровой исторіи представляется ему безусловно достовернымъ; міръ имѣетъ цѣль, имѣетъ идеаль; онъ имѣетъ Бога и не имѣетъ Его. Ренанъ чувствуетъ трудность и раза два самъ ей указываетъ: разъ Богъ осуществляетъ Себя въ мірѣ, воплощаетъ Себя въ немъ, дѣйствуетъ въ немъ, — стало-быть Онъ есть. Соображеніе довольно логичное; но только Ренанъ на немъ не останавливается: онъ довольствуется тѣмъ, что переноситъ понятіе развитія, исторіи, происхожденія не только за предѣлы исторіи, но и за предѣлы самой природы, что, съ другой стороны, позволяетъ ему обоготворять самый историческій процессъ и грезить о конечномъ торжествѣ человѣческой или иной культуры, о достиженіи всѣхъ мечтаній человѣка или, какъ онъ выражается, объ „организованіи Бога“ и воскрешеніи мертвыхъ посредствомъ науки.

„Существо всевѣдущее и всемогущее, — говоритъ Ренанъ, — мо-

жетъ быть послѣднимъ терминомъ теогонической эволюціи; все равно, какъ бы мы ни представляли Его себѣ, — какъ существо, наслаждающееся черезъ всѣхъ и черезъ которое всѣ будутъ наслаждаться; или какъ индивидуальность, достигающую высшей силы; или же какъ равнодѣйствующую миллиардовъ существъ, какъ гармонію, общій звукъ вселенной... Вселенная будетъ безконечнымъ полипникомъ, въ которомъ всѣ существа, когда-либо существовавшія, срастутся въ своемъ основаніи и будутъ жить за разъ своею жизнью и жизнью цѣлаго¹⁾.

Но мы не можемъ далѣе слѣдовать за Ренаномъ въ области, которую онъ самъ называетъ областью грёзъ.

Мораль Ренана.

Перейдемъ къ нравственной философіи Ренана, которая представляется намъ болѣе яркой, оригинальной и цѣльной. И здѣсь тоже мы напрасно стали бы искать логическаго анализа нравственныхъ понятій или философскаго доказательства. Логика не схватываетъ нюансовъ, говоритъ Ренанъ, а въ нравственныхъ наукахъ вся истина заключается въ нюансахъ²⁾.

„Доказательство, — говоритъ Ренанъ, — возможно лишь въ наукѣ, подобной геометріи, гдѣ начала просты и безусловно истинны, безъ всякихъ ограниченій. Но дѣло обстоитъ иначе въ наукахъ нравственныхъ, гдѣ начала суть лишь *des à-peu-près*, — т.-е. несовершенныя выраженія, которыя приближаются къ истинѣ болѣе или менѣе, но никогда не покрываютъ её вполнѣ. Освѣщеніе мысли есть единственное возможное здѣсь доказательство. Форма, слогъ составляютъ здѣсь $\frac{3}{4}$ самой мысли, и это не злоупотребленіе, какъ утверждаютъ нѣкоторые пуритане. Тѣ, кто разглагольствуютъ противъ стиля и красоты формы въ философскихъ и нравственныхъ наукахъ, не понимаютъ истинную природу результатовъ этихъ наукъ и тонкость, деликатность ихъ началъ“³⁾.

Читая эти слова, невольно вспоминаешь ту тѣсную связь между риторикой и нравственной проповѣдью, какую мы находимъ у античныхъ писателей временъ упадка и у гуманистовъ эпохи возрожденія, которые также не всегда могли бы съ точностью указать границу между мыслью и фразой, риторикой и моралью.

¹⁾ *Dialogues*, 125—128.

²⁾ *Essais de morale*, p. 189.

³⁾ *Av. de la sc.*, p. 152, ср. 58: „Одна геометрія формулируется въ аксіомахъ и теоремахъ. Ailleurs le vague est le vrai“.

Изъ сочиненій Ренана можно было бы легко выкроить нѣсколько нравственныхъ ученій и составить хрестоматію изъ наиболѣе красно-рѣчивыхъ и назидательныхъ страницъ его сочиненій. Онъ самъ мечтаетъ о томъ, чтобы когда-нибудь такая хрестоматія въ сафьяновомъ переплетѣ попала въ церковь вмѣсто молитвенника „въ хорошенькой дамской ручкѣ, обтянутой тонкой перчаткой“¹⁾.

Но, вглядываясь пристальнѣе въ эти стилистическія упражненія нашего гуманиста и, согласно его указанію, откидывая изъ нихъ $\frac{3}{4}$ на долю фразы и формы, мы находимъ подлинную мысль Ренана, — мысль, которую мы уже отмѣтили: въ исторіи много нравовъ, много моралей и много нравственныхъ героевъ и проповѣдниковъ; *нѣтъ единой нравственности*. Нравственность относительна.

Въ процессѣ всемірной исторіи есть одна величина, которая непрерывно возрастаетъ: это разумъ и знаніе; истина выше добра, и знаніе выше нравственности. Въ прогрессѣ челоѣка пребываютъ не отдѣльныя отвлеченныя нормы, а челоѣческая природа во всемъ богатствѣ и разнообразіи ея обнаруженій; и въ этомъ прогрессѣ осуществляется разумъ. Цѣль исторіи есть прогрессъ, цѣль прогресса — царство разума, а его средство — послѣдовательное осуществленіе различныхъ формъ челоѣческаго существованія, формъ челоѣческаго духа — религіозныхъ, нравственныхъ, эстетическихъ, политическихъ и соціальныхъ. Со временемъ, когда воцарится все-вѣдущій разумъ и всемогущая справедливость, — этотъ конечный результатъ прогресса, его плодъ, — тогда и всѣ предшествовавшія формы челоѣческаго существованія войдутъ въ общій итогъ, общую сумму этого результата. Онѣ живутъ въ челоѣчествѣ; онѣ послужили постройкѣ великой башни Вавилонской, которая высится къ небу, и составляютъ какъ бы ярусы этой башни. Кто знаетъ? Можетъ-быть, онѣ оживутъ вполнѣ. „Клише всѣхъ вещей сохраняются“ (Feuilles dét., 393). Предыдущія поколѣнія сохраняются въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ жизнь всякаго челоѣка сохраняется въ его нравственномъ вліяніи, въ томъ толчкѣ, который онъ далъ своей нравственной средѣ. Но и теперь, до окончанія мірового процесса и въ невѣдѣніи его конца, эти преходящія формы имѣютъ свое значеніе, какъ продукты челоѣческаго духа, — того самаго творческаго духа, который живетъ въ насъ и ведетъ насъ къ благой конечной цѣли. Мы любимъ не только плодъ дерева, но и его почки, его листья и его цвѣты.

¹⁾ Предисловіе къ *Etudes d'hist. religieuse*.

Вглядываясь въ теченіе исторіи, мы видимъ, что цѣль ея есть прогрессъ человѣчества, а не благоденствіе индивида. Государства не суть благотворительныя учрежденія, а машины прогресса. Цѣль человѣчества не въ томъ, чтобъ отдѣльные люди жили въ довольствѣ, а въ томъ, „чтобы красивыя и характерныя формы были въ немъ представлены и воплощались въ немъ въ совершенствѣ“¹⁾. Цѣль оправдываетъ средства, и жизнь индивидовъ не имѣетъ въ мировомъ цѣломъ самостоятельнаго значенія. Слепой сѣятель разбрасываетъ миллиарды сѣмянъ, чтобы взошли хотя бы нѣкоторые. Въ исторіи, какъ и въ природѣ, индивидъ приносится въ жертву роду, въ жертву грядущему божеству, образующемуся въ нѣдрахъ природы. Это плотоядное, всепожирающее божество, находящееся въ мукахъ рожденія, не ограничивается тѣмъ, что жертвуетъ нами: вмѣстѣ съ инстинктомъ, побуждающимъ человѣка къ самосохраненію и къ произведенію потомства, оно внушаетъ ему инстинкты самопожертвованія, — нравственныя и религіозныя инстинкты. Усвоивая и передѣлывая теорію Шопенгауэра, Ренанъ находитъ въ ней подтвержденіе своего впечатлѣнія отъ исторіи: демиургъ, управляющій міромъ и живущій въ глубинѣ человѣка, морочитъ его нравственными иллюзіями и религіозными грѣзами, морочитъ его во всѣхъ его инстинктахъ, въ его эгоизмѣ и въ его альтруизмѣ, — тамъ, гдѣ человѣкъ думаетъ достигать личной выгоды, и тамъ, гдѣ онъ думаетъ служить добру²⁾.

Повидимому, отсюда слѣдуетъ полное отрицаніе нравственности или признаніе ея совершенной иллюзорности. Но Ренанъ видитъ въ обманѣ мирового демиурга, въ уловкахъ всемірнаго духа — благочестивый обманъ, имѣющій благу цѣль; божество Ренана есть іезуитъ, служащій прогрессу. Какъ мы видѣли, Ренанъ считаетъ безусловно достовѣрнымъ, что мировой процессъ имѣетъ цѣль и притомъ разумную цѣль. Поэтому мы должны входить въ интересы и цѣли Промысла, содѣйствуя имъ по мѣрѣ возможности³⁾. Тайный инстинктъ говоритъ намъ: „обманивай въ пользу Предвѣчнаго!“ (*trompe au profit de l'Eternel!*) Правда, является сомнѣніе, найдетъ ли индивидуальный человѣкъ свой расчетъ въ конечномъ результатѣ

¹⁾ *Avenir de la science*, 378—86.

²⁾ *Dialogues et fragments philosophiques* и *Eau de Jouvence*, третій актъ.

³⁾ *Dial. philos.*, р. 45: „Великій челоѣкъ долженъ сотрудничать обману, лежащему въ основаніи міра; самое лучшее употребленіе генія состоитъ въ томъ, чтобы быть сообщникомъ Бога, играть на-руку Его политики, способствовать разстиланію сѣтей природы и помогать ей обманывать индивидовъ для блага цѣлаго“.

всемірной исторіи, и стоятъ ли этотъ результатъ такихъ жертвъ съ нашей стороны, со стороны личностей?

„Конечный результатъ вселенной, вѣроятно, хорошъ, — говоритъ Ренанъ: — иначе эта вселенная, существующая отъ вѣка, давно бы разрушилась. Предположимъ банкирскую фирму, существующую отъ вѣка. Если бы она имѣла малѣйшій недостатокъ въ своемъ основаніи, она давно бы лопнула. Еслибъ балансъ вселенной не заключался съ прибылью въ пользу аціонеровъ, она давно прекратила бы свое существованіе. Изъ великаго оборота добра и зла получается прибыль, благоприятный остатокъ. Этотъ излишекъ добра и есть *raison d'être* міра, основаніе для его сохраненія“¹⁾.

Но все же о конечномъ результатѣ міра могутъ быть десятки гипотезъ, которыя, по мнѣнію Ренана, одинаково вѣроятны, и потому самое разумное, что намъ остается, это распорядиться такъ, чтобы при всякомъ предположеніи не очутиться въ накладе. „Мы вѣримъ, — говоритъ Ренанъ, — что внутренній голосъ, диктующій намъ нравственныя обязанности, есть непогрѣшимый оракулъ... Но есть почти столько же шансовъ за то, что справедливо такъ разъ противоположное. Возможно, что эти внутренніе голоса вытекаютъ изъ частныхъ иллюзій, поддерживаемыхъ привычкою, и что міръ есть лишь забавная феерія, о которой не заботится никакое божество. Поэтому надо устроиться такъ, чтобы въ обоихъ случаяхъ не быть вполнѣ неправымъ. Надо слушаться высшаго голоса, но такъ, чтобы въ случаѣ справедливости второго предположенія не очутиться въ слишкомъ глупомъ положеніи. Вѣдь, дѣйствительно, если міръ не есть что-либо серіозное, такъ догматики окажутся легкомысленными, а свѣтскіе люди, вѣтрогоны, будутъ истинными мудрецами.

„Наиболѣе благоразумный совѣтъ, который здѣсь представляется, есть, повидимому, особая обоюдоострая мудрость, одинаково готовая въ обоихъ исходахъ, — средній путь, слѣдуя которому, ни въ какомъ случаѣ не придется признать ошибку. Особенно для другихъ слѣдуетъ быть осторожнымъ (*il faut y mettre des scrupules*). Для себя лично можно идти на большой рискъ, но мы не имѣемъ права играть за другихъ. Когда отвѣчаешь за чужія души, надо выражаться съ достаточною сдержанностью, чтобы въ случаѣ великаго банкротства тѣ, кого мы запутали въ дѣло, не слишкомъ оказались бы жертвами.

„Быть готовымъ на все (*in utrumque paratus!*), — въ этомъ,

¹⁾ *Feuilles détachées*, p. 427.

можетъ-быть, и состоитъ мудрость. Предаваться, смотря по временамъ, довѣрчивости, скептицизму, оптимизму, ироніи — вотъ средство быть увѣреннымъ въ томъ, что хотя бы минутами мы не ошибались.

„Мы скажутъ, что такимъ образомъ мы не окажемся и вполне правыми. Но такъ какъ нѣтъ никакого вѣроятія, чтобы кто-нибудь былъ вполне правъ, то благоразумно пойти на болѣе скромныя требованія“¹⁾.

Гонкуръ сказалъ гдѣ-то, что Ренанъ кощунствуетъ, но съ такимъ видомъ, какъ будто опасается получить пощечину отъ Бога²⁾.

Амиель съ негодованіемъ характеризуетъ философію Ренана, какъ умственное эпикурейство или эпикурейство воображенія. Ренанъ принимаетъ это обвиненіе, замѣчая, что такое душевное состояніе вовсе не такъ худо. Въ веселости, въ легкомысліи есть своя философія, которая какъ бы говоритъ природѣ, что если она насъ въ серіозъ не принимаетъ, то и мы еѣ въ серіозъ не принимаемъ.

Въ этой морали французскаго гуманиста, который полушутя, полусеріозно говоритъ, что французскій смѣхъ и французское вино имѣютъ свою гуманитарную миссію, мы находимъ своеобразное сочетаніе стоицизма, скептицизма и эпикурейства. Какъ стоикъ, Ренанъ совѣтуетъ жить согласно волѣ Божества, согласно внушеніямъ внутренняго голоса нашей духовной природы, нашего нравственнаго инстинкта. Какъ скептикъ, онъ готовъ признать эти внушенія иллюзіями и, въ самомъ подчиненіи требованіямъ нравственности, рекомендуетъ сомнѣваться въ ихъ безусловности, приправляя нашу добродѣтель солью юмора и ироніи; мы можемъ поддаваться игрѣ, но не принимая еѣ слишкомъ въ серіозъ. Давая себя морочить, мы должны показывать, что дѣлаемъ это сознательно и по доброй волѣ. „Мы заранѣе идемъ на то, чтобы потерять проценты съ фондовъ нашей добродѣтели; но мы не хотимъ имѣть смѣшной видъ людей, которые слишкомъ на нихъ рассчитываютъ“. Такъ говоритъ скептикъ. Но и надъ нимъ, и надъ стойкомъ беретъ верхъ эпикуреецъ-эстетикъ. Въ концѣ концовъ выборъ между добродѣтелью и чувственнымъ наслажденіемъ есть выборъ между наслажденіями и дѣломъ вкуса. И хотя Ренанъ говоритъ, что ни за что не желалъ бы уничтоженія того, что разные „добродѣтельные увальни“ (*des lourdeaux vertueux*) называютъ порокомъ, онъ признаетъ вполне, что тонкій эстетическій вкусъ становится вполне на сторону добро-

¹⁾ Ibidem, p. 394—96.

²⁾ Journ. IV, 344.

у меня было нѣсколько жизней, которыя я могъ бы посвятить изученію всемірной исторіи и литературы, и если бъ я могъ изучить всѣ тѣ разнообразные способы, какими дѣйствительность отражалась когда-либо въ душѣ человѣка, я понялъ бы дѣйствительную фізіономію вещей (*la vraie physionomie des choses*). Но то, что недоступно отдѣльному человѣку, то доступно человечеству.

Итакъ, философія, какъ особой науки, не существуетъ. „Она есть не отдѣльная наука, а, скорѣе, особая сторона всѣхъ наукъ... она есть приправа, безъ которой всѣ кушанья безвкусны, но которая сама по себѣ не составляетъ пищи. Ее слѣдуетъ сближать съ искусствомъ, съ поэзіей, а не съ отдѣльными науками. Всякій разумъ, наиболѣе смиренный и наиболѣе возвышенный, имѣлъ свое міропониманіе; всякая мыслящая голова была по-своему зеркаломъ міра; всякое живое существо имѣло свою мечту, которая его очаровывала, возвышала, утѣшала: величественная или ничтожная, плоская или возвышенная, эта мечта была его философіей“¹⁾.

Послѣ такого опредѣленія можно спросить себя только, какимъ образомъ философія, будучи мечтою, можетъ быть особою стороною всѣхъ наукъ, и какимъ образомъ изъ суммы мечтаній всѣхъ отдѣльных личностей складывается объективное впечатлѣніе того, что Ренанъ называетъ „истинною фізіономіей вещей“?

Какъ мы отмѣтили, скептицизмъ Ренана вовсе не имѣетъ своимъ предметомъ человѣческаго знанія вообще. Трудно найти человѣка, болѣе его исполненнаго вѣрою въ положительную науку: онъ мечтаетъ о той эпохѣ, когда упразднится всякая вѣра и останется одно знаніе и когда люди посредствомъ науки пріобрѣтутъ неограниченную божественную власть надъ природой. Но вѣдь отдѣльные знанія наши нуждаются въ объединеніи и неизбежно приводятъ насъ къ нѣкоторымъ общимъ взглядамъ о строеніи и происхожденіи міра, о законахъ, управляющихъ имъ, о природѣ человѣка, о сущности историческаго процесса и т. д. Здѣсь мечтанія не допустимы, если только вообще они допустимы въ области знанія. Самая философія, какъ обобщеніе нашихъ знаній, должна быть здѣсь положительною философіей, основанной на знаніи.

„Философія есть общая глава, центральный узелъ великаго пучка человѣческаго знанія, въ которомъ всѣ лучи сходятся въ общемъ свѣтѣ“ (*Av. de la Sc.*, p. 155); она одна даетъ смыслъ всѣмъ частнымъ изслѣдованіямъ.

¹⁾ *Dial. philos.*, 287.

Но когда такъ, то мы должны изгнать изъ нея мечтанія или, во всякомъ случаѣ, мы должны, путемъ логической критики, отдѣлить въ ней достовѣрное, la certitude, отъ вѣроятнаго и отъ чистой мечты. Это и дѣлаетъ Ренанъ въ своихъ *Dialogues philosophiques* и во множествѣ другихъ своихъ сочиненій. Здѣсь логика и философія — и, притомъ, философія въ самомъ старомъ, догматическомъ смыслѣ — вступаетъ въ свои права и жестоко мститъ за себя своему литературному критику. Онъ признаетъ достовѣрность въ полной мѣрѣ въ области положительнаго знанія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказывается совершенно неспособнымъ отдѣлить достовѣрное отъ недостовѣрнаго и мечтательнаго, обличая всю несостоятельность дилетантизма, пытающагося замѣнить философскую критику критикой литературно-эстетической.

Въ чемъ состоитъ положительная философія Ренана, то, что онъ считаетъ безусловно достовѣрнымъ? Содержаніе „достоверности“ сводится у него въ сущности къ двумъ взаимно-противорѣчащимъ положеніямъ, при чемъ онъ одинаково догматично утверждаетъ и то и другое, совершенно не замѣчая ихъ внутренняго противорѣчія. Первое изъ этихъ положеній есть абсолютное отрицаніе сверхъестественнаго, признаніе желѣзной необходимости, механической причинности законовъ природы. Второе — признаніе идеала, — объективнаго идеала, какъ конечной цѣли мірового процесса, который опредѣляетъ собою телеологически его теченіе и его результатъ, — идеала, который постепенно осуществляетъ и воплощаетъ себя въ міровомъ процессѣ.

Если обдумать хорошенько эти два положенія, они дѣйствительно исключаютъ другъ друга; вѣдь разъ мы признаемъ, что въ природѣ вещей существуетъ независимо отъ насъ какой-то идеаль, способный дѣйствовать на міръ, то такой идеаль, очевидно, и есть нѣчто сверхъестественное. Идеаль чисто-личный есть мечта; но идеаль, который существуетъ самъ по себѣ, помимо насъ, и опредѣляетъ собою поступательное развитіе внѣшняго міра и развитіе человѣка къ совершенству, — такой идеаль называется Божествомъ. Правда, Ренанъ употребляетъ слово идеаль въ различныхъ смыслахъ и съ замѣчательной неопредѣленностью смѣшиваетъ въ этомъ терминѣ и божество, и поэзію, и мечтанія, и даже иногда простыя похоти воображенія. Но, тѣмъ не менѣе, если взглянуть ближе, оказывается, что онъ несомненно признаетъ за достовѣрность господство какого-то идеальнаго, хотя и несовершеннаго начала въ міровомъ процессѣ.

Разсмотримъ оба верховныя положенія Ренана.

„Нѣтъ ничего сверхъестественнаго“. Это любимый тезисъ Ренана, который онъ повторяетъ на каждомъ шагѣ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, историческихъ и философскихъ. Онъ жалѣетъ о томъ, что Христосъ и пророки не знали этой истины; онъ вспоминаетъ о ней, когда говорить о политеизмѣ грековъ и монотеизмѣ евреевъ, вспоминаетъ по поводу всякой легенды, всякаго религіознаго ученія, вспоминаетъ кстати и некстати. Видно, что она ему особенно дорога. И замѣчательно, что не столько естественныя науки, сколько филологія и литературная критика убѣждаютъ Ренана въ этой истинѣ. Естественныя науки показываютъ намъ, что въ области природы господствуютъ общіе естественные законы; а гуманитарныя науки, критическое изученіе памятниковъ всѣхъ религіозныхъ литературъ, всѣхъ легендъ и преданій показываютъ намъ, по мнѣнію Ренана, что чуда никогда не было, что оно никогда не было научнымъ образомъ констатировано. Мы узнаемъ только, *какъ и почему складывались легенды о чудесахъ*. Филологія должна убить супранатурализмъ, — говоритъ Ренанъ: — если во Франціи онъ еще такъ силенъ, такъ это потому, что тамъ мало хорошихъ филологовъ, — *on n'y est pas philologue*¹⁾.

Но если гуманизмъ наноситъ смертельный ударъ вѣрѣ въ сверхъестественное, то, съ другой стороны, въ немъ же Ренанъ находитъ основаніе для своеобразнаго мечтательнаго идеализма, — своего рода другая вѣра въ то же сверхъестественное. Этотъ эстетическій идеализмъ онъ вынесъ изъ Германіи вмѣстѣ съ своей филологіей. Онъ отнялъ у него его опредѣленную философскую форму, но онъ усвоилъ себѣ его общій результатъ: міровой процессъ есть процессъ разумнаго развитія, имѣющій опредѣленную идеальную цѣль; міровой процессъ есть разумная исторія, прогрессъ къ идеалу, предзаложенному въ самомъ ея основаніи. Это заимствованіе изъ нѣмецкой философіи не есть простая случайность. Изучая человѣческую исторію, вѣнецъ мірового процесса, гуманистъ наблюдаетъ въ ней положительный прогрессъ духа надъ матеріей, прогрессъ разума и прогрессъ знанія. Этотъ духъ, этотъ разумъ, прогрессирующій въ исторіи, является намъ сознательнымъ въ высшихъ проявленіяхъ индивидуальнаго творчества, и безсознательнымъ, безотчетнымъ, инстинктивнымъ въ собирательномъ творествѣ массъ — въ генезисѣ языка, религій, права, нравственности. Спускаясь еще

¹⁾ *Av. de la sc.*, 147.

ниже въ область безотчетныхъ инстинктовъ, мы находимъ и въ нихъ проявленіе разумаго начала, дѣйствующаго по цѣлямъ — въ нравственныхъ инстинктахъ, въ инстинктахъ, обуславливающихъ сохраненіе и размноженіе рода. Въ самой эволюціи матеріальной природы мы видимъ послѣдовательное возникновеніе формъ жизни, все болѣе и болѣе сложныхъ, цѣлесообразныхъ и разумныхъ, завершающихся въ человѣчествѣ. Его исторія есть продолженіе естественной эволюціи, а это даетъ намъ право видѣть и въ эволюціи самой природы — исторію, разумную исторію. Разумъ, такъ сказать, предзаложенъ въ элементахъ мірового процесса и развивается въ немъ. Божество имманентно тварямъ: въ растеніи оно сознаетъ себя болѣе чѣмъ въ камнѣ, въ животномъ — болѣе чѣмъ въ растеніи, въ человѣкѣ — болѣе чѣмъ въ животномъ, въ разумномъ человѣкѣ — болѣе чѣмъ въ неразумномъ, и болѣе всего — въ великихъ гениальныхъ людяхъ, этихъ свѣточахъ всемірнаго сознанія, этихъ истинныхъ носителяхъ божества. „Вотъ основное положеніе всей нашей теоріи, — говоритъ Ренанъ: — если это то, что хотѣлъ сказать Гегель, то будемъ гегеліанцами“¹⁾.

Итакъ, съ одной стороны, безусловное отрицаніе всего сверхъестественнаго, всякаго Провидѣнія или Промысла въ природѣ и исторіи: *l'histoire est athée comme la nature*. Съ другой стороны, признаніе Промысла въ исторіи и природѣ. Болѣе грубаго противорѣчія трудно себѣ представить; и вмѣстѣ Ренанъ дорожитъ одинаково обоими положеніями: первымъ — во имя естествознанія и исторической критики, вторымъ — во имя того, что является ему самымъ существомъ исторіи, въ которой онъ видитъ послѣдовательное воплощеніе формъ человѣческаго духа или идей, нравственныхъ, религіозныхъ, эстетическихъ и политическихъ. Матеріализмъ противенъ всему умственному и эстетическому складу нашего гуманиста. Какъ же примирить эти два съ виду совершенно непримиримыхъ положенія? Ренанъ пытается найти примиреніе въ понятіи развитія, эволюціи. Онъ заимствуетъ у современныхъ нѣмецкихъ философовъ понятіе безсознательной міровой воли, или міровой души, которая постепенно развивается въ формахъ мірового бытія, осуществляетъ въ нихъ свои цѣли и въ человѣкѣ приходитъ въ себя изъ своего забытія, пробуждается къ сознанію. Міровой процессъ есть теогонія; конечный предѣлъ міровой эволюціи есть совершенное осуществленіе Божества: тогда, — говоритъ Ренанъ, — *Богъ*

¹⁾ *Dialogues*, p. 187.

будетъ вполне, если слово Богъ можетъ быть синонимомъ совокупности, полноты бытія. Въ этомъ смыслѣ Богъ скорѣе *будетъ*, чѣмъ *есть*; онъ находится въ процессѣ развитія, en voie de se faire (*Dial.*, p. 184). Это одна изъ мыслей, къ которымъ Ренанъ постоянно возвращается.

Онъ, несомнѣнно, усвоилъ ее изъ бѣлаго ознакомленія съ нѣмецкимъ идеализмомъ. Онъ замѣчаетъ гдѣ-то, что вполне ассимилируешь только то, что знаешь наполовину. Въ данномъ случаѣ болѣе основательное ознакомленіе дѣйствительно едва ли позволило бы ему столь просто разубить свою проблему. Онъ утѣшается мыслью о *безконечности времени*, предоставленнаго всемірному развитію. „Въ безконечности все возможно, даже Богъ“ (*Tout est possible, même Dieu*)¹⁾. Безконечность будущаго разрѣшаетъ многія затрудненія (*l'infinité de l'avenir poie bien des difficultés*). Всѣ трудности, если угодно, но только не эту! Такой экспедіентъ, такая ссылака на продолжительность времени, оставленнаго на произведеніе Вѣчнаго, не приходила въ голову нѣмецкимъ идеалистамъ. Мало того, въ безконечности времени разрѣшеніе, предлагаемое Ренаномъ, представляется намъ *безконечно невозможнымъ*, и если это возникновеніе Бога безъ Бога, это происхожденіе божества изъ хаоса, подобное рожденію боговъ Орфея и Гесиода, есть мечта или грѣза, то это мечта явно нелѣпая. Но дѣло въ томъ, что эту мечту никакъ нельзя отдѣлить отъ того, что Ренанъ считаетъ „достоверностью“: осуществленіе идеи и идеаловъ, осуществленіе объективнаго разума въ міровой исторіи представляется ему безусловно достовернымъ; міръ имѣетъ цѣль, имѣетъ идеалъ; онъ имѣетъ Бога и не имѣетъ Его. Ренанъ чувствуетъ трудность и раза два самъ её указываетъ: разъ Богъ осуществляетъ Себя въ мірѣ, воплощаетъ Себя въ немъ, дѣйствуетъ въ немъ, — стало-быть Онъ есть. Соображеніе довольно логичное; но только Ренанъ на немъ не останавливается: онъ довольствуется тѣмъ, что переноситъ понятіе развитія, исторіи, происхожденія не только за предѣлы исторіи, но и за предѣлы самой природы, что, съ другой стороны, позволяетъ ему обоготворять самый историческій процессъ и грезить о конечномъ торжествѣ человѣческой или иной культуры, о достиженіи всѣхъ мечтаній человѣка или, какъ онъ выражается, объ „организованіи Бога“ и воскрешеніи мертвыхъ посредствомъ науки.

„Существо всевѣдущее и всемогущее, — говоритъ Ренанъ, — мо-

жетъ быть послѣднимъ терминомъ теогонической эволюціи; все равно, какъ бы мы ни представляли Его себѣ, — какъ существо, наслаждающееся черезъ всѣхъ и черезъ которое всѣ будутъ наслаждаться; или какъ индивидуальность, достигающую высшей силы; или же какъ равнодѣйствующую миллиардовъ существъ, какъ гармонію, общій звукъ вселенной... Вселенная будетъ безконечнымъ полипнякомъ, въ которомъ всѣ существа, когда-либо существовавшія, срастутся въ своемъ основаніи и будутъ жить за разъ своею жизнью и жизнью цѣлаго¹⁾.

Но мы не можемъ далѣе слѣдовать за Ренаномъ въ области, которую онъ самъ называетъ областью грёзъ.

Мораль Ренана.

Перейдемъ къ нравственной философіи Ренана, которая представляется намъ болѣе яркой, оригинальной и цѣльной. И здѣсь тоже мы напрасно стали бы искать логическаго анализа нравственныхъ понятій или философскаго доказательства. Логика не схватываетъ нюансовъ, говоритъ Ренанъ, а въ нравственныхъ наукахъ вся истина заключается въ нюансахъ²⁾.

„Доказательство, — говоритъ Ренанъ, — возможно лишь въ наукѣ, подобной геометріи, гдѣ начала просты и безусловно истинны, безъ всякихъ ограниченій. Но дѣло обстоитъ иначе въ наукахъ нравственныхъ, гдѣ начала суть лишь *des à-peu-près*, — т.-е. несовершенныя выраженія, которыя приближаются къ истинѣ болѣе или менѣе, но никогда не покрываютъ её вполне. Освѣщеніе мысли есть единственное возможное здѣсь доказательство. Форма, слогъ составляютъ здѣсь $\frac{3}{4}$ самой мысли, и это не злоупотребленіе, какъ утверждаютъ нѣкоторые пуритане. Тѣ, кто разглагольствуютъ противъ стиля и красоты формы въ философскихъ и нравственныхъ наукахъ, не понимаютъ истинную природу результатовъ этихъ наукъ и тонкость, деликатность ихъ началъ“³⁾.

Читая эти слова, невольно вспоминаешь ту тѣсную связь между риторикой и нравственной проповѣдью, какую мы находимъ у античныхъ писателей временъ упадка и у гуманистовъ эпохи возрожденія, которые также не всегда могли бы съ точностью указать границу между мыслью и фразой, риторикой и моралью.

¹⁾ *Dialogues*, 125—128.

²⁾ *Essais de morale*, p. 189.

³⁾ *Av. de la sc.*, p. 152, ep. 58: „Одна геометрія формулируется въ аксіомахъ и теоремахъ. Ailleurs le vague est le vrai“.

Изъ сочиненій Ренана можно было бы легко выкроить нѣсколько нравственныхъ ученій и составить хрестоматію изъ наиболѣе красно-рѣчивыхъ и назидательныхъ страницъ его сочиненій. Онъ самъ мечтаетъ о томъ, чтобы когда-нибудь такая хрестоматія въ сафьяновомъ переплетѣ попала въ церковь вмѣсто молитвенника „въ хорошенькой дамской ручкѣ, обтянутой тонкой перчаткой“¹⁾.

Но, взглядываясь пристальнѣе въ эти стилистическія упражненія нашего гуманиста и, согласно его указанію, откидывая изъ нихъ $\frac{3}{4}$ на долю фразы и формы, мы находимъ подлинную мысль Ренана, — мысль, которую мы уже отмѣтили: въ исторіи много нравовъ, много моралей и много нравственныхъ героевъ и проповѣдниковъ; *нѣтъ единой нравственности*. Нравственность относительна.

Въ процессѣ всемірной исторіи есть одна величина, которая непрерывно возрастаетъ: это разумъ и знаніе; истина выше добра, и знаніе выше нравственности. Въ прогрессѣ человѣка пребываютъ не отдѣльныя отвлеченныя нормы, а человѣческая природа во всемъ богатствѣ и разнообразіи ея обнаруженій; и въ этомъ прогрессѣ осуществляется разумъ. Цѣль исторіи есть прогрессъ, цѣль прогресса — царство разума, а его средство — послѣдовательное осуществленіе различныхъ формъ человѣческаго существованія, формъ человѣческаго духа — религіозныхъ, нравственныхъ, эстетическихъ, политическихъ и социальныхъ. Со временемъ, когда воцарится все-вѣдущій разумъ и всемогущая справедливость, — этотъ конечный результатъ прогресса, его плодъ, — тогда и всѣ предшествовавшія формы человѣческаго существованія войдутъ въ общій итогъ, общую сумму этого результата. Онѣ живутъ въ человѣчествѣ; онѣ послужили постройкѣ великой башни Вавилонской, которая высится къ небу, и составляютъ какъ бы ярусы этой башни. Кто знаетъ? Можетъ-быть, онѣ оживутъ вполнѣ. „Клише всѣхъ вещей сохраняются“ (*Feuilles dét.*, 393). Предыдущія поколѣнія сохраняются въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ жизнь всякаго человѣка сохраняется въ его нравственномъ вліяніи, въ томъ толчкѣ, который онъ далъ своей нравственной средѣ. Но и теперь, до окончанія мірового процесса и въ невѣдѣніи его конца, эти преходящія формы имѣютъ свое значеніе, какъ продукты человѣческаго духа, — того самаго творческаго духа, который живетъ въ насъ и ведетъ насъ къ благой конечной цѣли. Мы любимъ не только плодъ дерева, но и его почки, его листья и его цвѣты.

¹⁾ Предисловіе къ *Etudes d'hist. religieuse*.

Вглядываясь въ теченіе исторіи, мы видимъ, что цѣль ея есть прогрессъ человѣчества, а не благоденствіе индивида. Государства не суть благотворительныя учрежденія, а машины прогресса. Цѣль человѣчества не въ томъ, чтобъ отдѣльные люди жили въ довольствѣ, а въ томъ, „чтобы красивыя и характерныя формы были въ немъ представлены и воплощались въ немъ въ совершенствѣ“¹⁾. Цѣль оправдываетъ средства, и жизнь индивидовъ не имѣетъ въ міровомъ цѣломъ самостоятельнаго значенія. Слѣпой сѣятель разбрасываетъ миллиарды сѣмянъ, чтобы взошли хотя бы нѣкоторые. Въ исторіи, какъ и въ природѣ, индивидъ приносится въ жертву роду, въ жертву грядущему божеству, образуемому въ нѣдрахъ природы. Это плотоядное, всепожирающее божество, находящееся въ мукахъ рожденія, не ограничивается тѣмъ, что жертвуетъ нами: вмѣстѣ съ инстинктомъ, побуждающимъ человѣка къ самосохраненію и къ произведенію потомства, оно внушаетъ ему инстинкты самопожертвованія, — нравственныя и религіозныя инстинкты. Усвоивая и перефразируя теорію Шопенгауэра, Ренанъ находитъ въ ней подтвержденіе своего впечатлѣнія отъ исторіи: деміургъ, управляющій міромъ и живущій въ глубинѣ человѣка, морочитъ его нравственными иллюзіями и религіозными грѣзами, морочитъ его во всѣхъ его инстинктахъ, въ его эгоизмѣ и въ его альтруизмѣ, — тамъ, гдѣ человѣкъ думаетъ достигать личной выгоды, и тамъ, гдѣ онъ думаетъ служить добру²⁾.

Повидимому, отсюда слѣдуетъ полное отрицаніе нравственности или признаніе ея совершенной иллюзорности. Но Ренанъ видитъ въ обманѣ мірового деміурга, въ уловкахъ всемірнаго духа — благочестивый обманъ, имѣющій благую цѣль; божество Ренана есть іезуитъ, служащій прогрессу. Какъ мы видѣли, Ренанъ считаетъ безусловно достовѣрнымъ, что міровой процессъ имѣетъ цѣль и притомъ разумную цѣль. Поэтому мы должны входить въ интересы и цѣли Промысла, содѣйствуя имъ по мѣрѣ возможности³⁾. Тайный инстинктъ говоритъ намъ: „обманивай въ пользу Предвѣчнаго!“ (tromper au profit de l'Eternel!) Правда, является сомнѣніе, найдетъ ли индивидуальный человѣкъ свой расчетъ въ конечномъ результатѣ

¹⁾ *Avenir de la science*, 378—86.

²⁾ *Dialogues et fragments philosophiques* и *Eau de Jouvence*, третій актъ.

³⁾ *Dial. philos.*, р. 45: „Великій человѣкъ долженъ содѣйствовать обману, лежащему въ основаніи міра; самое лучшее употребленіе генія состоитъ въ томъ, чтобы быть сообщникомъ Бога, играть на-руку Его политики, способствовать разстиланію сѣтей природы и помогать ей обманывать индивидовъ для блага цѣлаго“.

всемірной исторіи, и стѣбитъ ли этотъ результатъ такихъ жертвъ съ нашей стороны, со стороны личностей?

„Конечный результатъ вселенной, вѣроятно, хорошъ, — говоритъ Ренанъ: — иначе эта вселенная, существующая отъ вѣка, давно бы разрушилась. Предположимъ банкирскую фирму, существующую отъ вѣка. Если бы она имѣла малѣйшій недостатокъ въ своемъ основаніи, она давно бы лопнула. Еслибъ балансъ вселенной не заключался съ прибылью въ пользу акціонеровъ, она давно прекратила бы свое существованіе. Изъ великаго оборота добра и зла получается прибыль, благопріятный остатокъ. Этотъ излишекъ добра и есть *raison d'être* міра, основаніе для его сохраненія“¹⁾.

Но все же о конечномъ результатѣ міра могутъ быть десятки гипотезъ, которыя, по мнѣнію Ренана, одинаково вѣроятны, и потому самое разумное, что намъ остается, это распорядиться такъ, чтобы при всякомъ предположеніи не очутиться въ накладе. „Мы вѣримъ, — говоритъ Ренанъ, — что внутренній голосъ, диктующій намъ нравственныя обязанности, есть непогрѣшимый оракулъ... Но есть почти столько же шансовъ за то, что справедливо какъ разъ противоположное. Возможно, что эти внутренніе голоса вытекаютъ изъ частныхъ иллюзій, поддерживаемыхъ привычкой, и что міръ есть лишь забавная феерія, о которой не заботится никакое божество. Поэтому надо устроиться такъ, чтобы въ обоихъ случаяхъ не быть вполнѣ неправымъ. Надо слушаться высшаго голоса, но такъ, чтобы въ случаѣ справедливости второго предположенія не очутиться въ слишкомъ глупомъ положеніи. Вѣдь, дѣйствительно, если міръ не есть что-либо серіозное, такъ догматики окажутся легкомысленными, а свѣтскіе люди, вѣтрогоны, будутъ истинными мудрецами.

„Наиболѣе благоразумный совѣтъ, который здѣсь представляется, есть, повидимому, особая обоюдоострая мудрость, одинаково готовая въ обоихъ исходахъ, — средній путь, слѣдующему, ни въ какомъ случаѣ не придется признать ошибку. Особенно для другихъ слѣдуетъ быть осторожнымъ (*il faut y mettre des scrupules*). Для себя лично можно идти на большой рискъ, но мы не имѣемъ права играть за другихъ. Когда отвѣчаешь за чужія души, надо выражаться съ достаточною сдержанностью, чтобы въ случаѣ великаго банкротства тѣ, кого мы запутали въ дѣло, не слишкомъ оказались бы жертвами.

„Быть готовымъ на все (*in utrumque paratus!*), — въ этомъ,

¹⁾ *Feuilles détachées*, p. 427.

можетъ-быть, и состоятъ мудрость. Предаваться, смотря по временамъ, довѣрчивости, скептицизму, оптимизму, ироніи — вотъ средство быть увѣреннымъ въ томъ, что хотя бы минутами мы не ошибались.

„Мы скажутъ, что такимъ образомъ мы не окажемся и вполнѣ правыми. Но такъ какъ нѣтъ никакого вѣроятія, чтобы кто-нибудь былъ вполнѣ правъ, то благоразумно пойти на болѣе скромныя требованія“¹⁾.

Гонкуръ сказалъ гдѣ-то, что Ренанъ кошунствуетъ, но съ такимъ видомъ, какъ будто опасается получить пощечину отъ Бога²⁾.

Амиель съ негодованіемъ характеризуетъ философію Ренана, какъ умственное эпикурейство или эпикурейство воображенія. Ренанъ принимаетъ это обвиненіе, замѣчая, что такое душевное состояніе вовсе не такъ худо. Въ веселости, въ легкомысліи есть своя философія, которая какъ бы говоритъ природѣ, что если она насъ въ серіозъ не принимаетъ, то и мы еѣ въ серіозъ не принимаемъ.

Въ этой морали французскаго гуманиста, который полусерьіозно говоритъ, что французскій смѣхъ и французское вино имѣютъ свою гуманитарную миссію, мы находимъ своеобразное сочетаніе стоицизма, скептицизма и эпикурейства. Какъ стоикъ, Ренанъ совѣтуетъ жить согласно волѣ Божества, согласно внушеніямъ внутренняго голоса нашей духовной природы, нашего нравственнаго инстинкта. Какъ скептикъ, онъ готовъ признать эти внушенія иллюзіями и, въ самомъ подчиненіи требованіямъ нравственности, рекомендуетъ сомнѣваться въ ихъ безусловности, приправляя нашу добродѣтель солью юмора и ироніи; мы можемъ поддаваться игрѣ, но не принимая еѣ слишкомъ въ серіозъ. Давая себя морочить, мы должны показывать, что дѣлаемъ это сознательно и по доброй волѣ. „Мы заранѣе идемъ на то, чтобы потерять проценты съ фондовъ нашей добродѣтели; но мы не хотимъ имѣть смѣшной видъ людей, которые слишкомъ на нихъ разсчитываютъ“. Такъ говоритъ скептикъ. Но и надъ нимъ, и надъ стоикомъ беретъ верхъ эпикуреецъ-эстетикъ. Въ концѣ концовъ выборъ между добродѣтелью и чувственнымъ наслажденіемъ есть выборъ между наслажденіями и дѣломъ вкуса. И хотя Ренанъ говоритъ, что ни за что не желалъ бы уничтоженія того, что разные „добродѣтельные увальни“ (*des loug-deaux vertueux*) называютъ порокомъ, онъ признаетъ вполнѣ, что тонкій эстетическій вкусъ становится вполнѣ на сторону добро-

¹⁾ Ibidem, p. 394—96.

²⁾ Journ. IV, 344.

дѣтели и нравственнаго инстинкта. Нравственность красива, добродѣтель прекрасна, какъ продуктъ того, что есть высшаго, духовнаго, божественнаго въ человѣческой природѣ; добродѣтель поэтому даетъ большее личное удовлетвореніе, чѣмъ животное наслажденіе. Мы любуемся ею въ себѣ и въ другихъ, видя въ ней торжество духа надъ плотью и предвкушая въ ея красотѣ наслажденіе грядущаго совершеннаго торжества и блаженства. И если даже она есть лишь иллюзія, то это иллюзія прекрасная, цѣнная сама по себѣ, по своей красотѣ.

Таковы основныя черты Ренановой морали: относительность нравственности и нравственный скептицизмъ; идеаль всесторонняго развитія человѣческой личности, человѣческаго духа во всѣхъ его проявленіяхъ; эстетическая оцѣнка добродѣтели и нравственнаго добра вообще. Нашъ литературный критикъ примѣняетъ къ нравственности ту же мѣрку, что къ литературѣ, какъ онъ примѣняетъ ее и къ исторіи, къ религіи, къ философіи, — ко всему на свѣтѣ.

Идеаль Ренана не въ нравственномъ ригоризмѣ, не въ аскетической святости, точно такъ же какъ и не въ матеріальномъ благодѣнствіи. Его идеаль есть полное, автономное, самозаконное развитіе прекрасной человѣчности во всѣхъ ея проявленіяхъ, — идеаль, завѣщающій эпохой возрожденія. Нравственная доблесть и самая святость находятъ мѣсто въ этомъ идеалѣ, какъ одна изъ формъ человѣческаго духа, одна изъ формъ красоты, хотя и далеко не единственная форма.

Онъ возстаетъ противъ исключительности чисто-нравственныхъ оцѣнокъ въ области самой нравственности: разъ она относительна, приходится прибѣгать къ другимъ мѣркамъ и искать ихъ либо въ конечной цѣли прогресса, оправдывающей всякія средства, либо въ эстетической красотѣ и эстетическомъ вкусѣ.

„Я допускаю, — говоритъ Ренанъ, — что въ будущемъ слово „нравственный“ выйдетъ изъ употребленія и будетъ замѣнено другимъ словомъ. Въ моемъ личномъ употребленіи, я замѣняю его словомъ „эстетическій“. Передъ даннымъ поступкомъ я спрашиваю себя скорѣе о томъ: красивъ ли онъ, или нѣтъ, нежели о томъ, добръ онъ, или золъ; ибо съ тою обыденною моралью, которая дѣлаетъ честнаго человѣка, можно еще вести весьма ничтожную жизнь“¹⁾.

Съ этой точки зрѣнія „прекрасное чувство стоитъ прекрасной

¹⁾ *Avenir de la science*, p. 177.

мысли... философская система стоит поэмы, поэма — научного открытия, жизнь посвященная наукѣ — жизни посвященной добродѣтели“. Съ этой точки зрѣнія Евангеліе стоитъ Иліады и даже уступаетъ ей.

Здѣсь мы касаемся основной черты міросозерцанія Ренана, той точки зрѣнія, на которой онъ стоитъ, того критерія, который онъ примѣняетъ къ философін, религін и морали: эта точка зрѣнія, этотъ критерій заключаются въ эстетикѣ. И подобное примѣненіе эстетической мѣрки къ исторіи, религін, нравственности, государственности — есть самая суть *ренанизма* и, какъ мы думаемъ, основной недостатокъ Ренана въ научномъ, нравственномъ и религіозномъ отношеніи. Благодаря ему историческіе труды Ренана, несмотря на его колоссальныя знанія, имѣютъ болѣе литературное, чѣмъ научное значеніе. Благодаря ему, субъективный импрессионизмъ становится на мѣсто логики въ философін, на мѣсто научной критики въ исторіи. Философія превращается въ какую-то мечтательную игру ума, въ погоню за красивыми умственными впечатлѣніями, мораль и религія — въ погоню за нравственными впечатлѣніями, историческая наука — въ воспроизведеніе „красивыхъ и характерныхъ формъ“, воплощеніе которыхъ составляетъ, по Ренану, ближайшую цѣль человѣчества въ его историческомъ прогрессѣ.

Импрессионизмъ есть ложная мѣрка въ самомъ искусствѣ, въ оцѣнкѣ художественныхъ произведеній. Только дилетантъ гоняется за ощущеніемъ, за остротой впечатлѣнія, которую онъ старается увеличить вышними эффектами; болѣе художественной красоты онъ цѣнитъ то ощущеніе наслажденія, которое оно доставляетъ; болѣе цвѣтка онъ дорожитъ запахомъ цвѣтка и полагаетъ свою задачу въ томъ, чтобъ усилить искусственно пряность этого запаха. Для истиннаго художника самая красота не есть грѣза, она имѣетъ для него объективное значеніе, и онъ слишкомъ уважаетъ ее, чтобы думать о наслажденіи и о чувственномъ ея эффектѣ; она есть для него высшая идеальная правда. Въ лучахъ этой правды онъ видитъ дѣйствительность, даже отрицательную, и онъ показываетъ всѣмъ, что онъ видитъ и слышитъ, ибо тотъ образъ, который овладѣваетъ имъ, настолько реаленъ и полонъ внутренняго значенія, что требуетъ объективнаго выраженія. Дилетантизмъ въ наши дни губитъ самое искусство и ведетъ его къ извращенію и упадку — къ импрессионизму декадентовъ.

Что же сказать о художественномъ дилетантизмѣ, возведенномъ въ принципъ философскаго и нравственнаго міросозерцанія? Этотъ принципиальный, универсальный дилетантизмъ, вдыхающій въ себя

запахъ вещей, le parfum des choses, есть типичное, знаменательное явленіе нашего времени, — знаменательное для всей европейской литературы и въ особенности для литературы французской.

Сначала читателю Ренана можетъ показаться, что его эстетическій дилетантизмъ есть ни что иное, какъ пикантная форма, въ которой онъ выражаетъ свой философскій и нравственный скептицизмъ, свое сомнѣніе въ философіи и морали. Дѣйствительно, трудно дать болѣе тонкое, проницательное выраженіе полному сомнѣнію въ религіи, нравственности, какъ примѣнять къ нимъ мѣрку изящества и вкуса.

Этимъ путемъ Ренанъ всего лучше показываетъ, что онъ не принимаетъ ихъ въ серіозъ — за то, чѣмъ онѣ хотять быть. Однако, сколь ни значителенъ у Ренана элементъ ироніи, она есть скорѣе результатъ его дилетантизма, чѣмъ его корень. Его универсальный, *асесмакующій* дилетантизмъ, который составляетъ самую суть его умственного настроенія, есть корень его скептического отношенія ко всему на свѣтѣ. Въ этомъ дилетантизмѣ Ренанъ вполне искрененъ, наивенъ даже, считая себя истиннымъ идеалистомъ, *épris du rêve, épris de l'idéal*. Я говорю, что въ этомъ дилетантизмѣ онъ наивенъ, потому что трудно представить себѣ болѣе грубого непониманія множества нравственныхъ и религіозныхъ явленій, чѣмъ то, какое является у Ренана результатомъ его чисто-субъективной, эстетической оцѣнки нравственности и религіи. Слишкомъ ясно, что къ правдѣ и лжи, къ добру и злу нельзя примѣнять мѣрку чувственной красоты. Въ этомъ есть не только умственная и нравственная фальшь, но и фальшь эстетическая.

Религія, по Ренану, есть то эстетическое впечатлѣніе, которое онъ выноситъ отъ религіи; нравственность — то впечатлѣніе, которое онъ выноситъ отъ нравственности. Сущность религіи — въ неопредѣленномъ романтическомъ ощущеніи, въ томъ поэтическомъ чувствѣ, которое рождается въ насъ, когда мы слушаемъ замирающіе звуки колоколовъ св. Марка надъ лагунами Венеціи, когда мы читаемъ сказанія среднихъ вѣковъ или произведенія религіозной поэзіи всѣхъ народовъ, когда мы видимъ наивныя фрески Чимабуе, иллюстрирующія легенду св. Франциска Ассизскаго¹⁾. Сущность христіанства, какъ религіи, — въ чувственномъ экстазѣ мучениковъ, въ восторгѣ мистиковъ, въ вечернемъ звонѣ колоколовъ и таинственномъ полумракѣ соборовъ. Романтическое ощущеніе, о которомъ идетъ рѣчь,

¹⁾ *Etudes d'hist. rel.*, p. 408.

довольно неопредѣленно и колеблется между сентиментальностью и простою чувственностью; и подъ старость, когда нездоровые эротическіе образы все чаще и чаще попадаютъ намъ въ произведеніяхъ Ренана, онъ все болѣе и болѣе отводитъ мѣсто чувственности въ религіозномъ чувствѣ, пока, наконецъ, въ знаменитой *Abbesse de Jouarre* онъ не приходитъ къ грубому по своей наивности и цинизму отождествленію половой любви съ духовной, религіозной любовью¹⁾. Эта теорія развивается и въ предисловіи къ *Abbesse de Jouarre*, и въ рѣчахъ героевъ этой философской драмы. Въ ночь передъ казнью — прекрасная дѣвица Юлія, игуменья женскаго монастыря, сдается на философскіе доводы своего друга д'Арси... Отвѣчая на его ласки, она говоритъ ему, что въ нихъ она предвкушаетъ вѣчность. На другое утро, ожидая колесницы, она благодаритъ его: „*Merci pour ton acte de maître, ты меня сдѣлалъ болѣе христіанкой, чѣмъ я была*“. „*En effet, — отвѣчаетъ д'Арси, любовь есть дѣйствительно откровеніе безконечнаго, урокъ, научающій насъ божественному. Весь проникнутый твоимъ благоуханіемъ, chère amie, я усну пресыщенный жизнью*“.

Съ подобнымъ пониманіемъ религіи, несмотря на всю красоту слога и великія познанія, довольно трудно быть религіознымъ историкомъ. Я не буду останавливаться на пресловутой *Vie de Jésus* Ренана, — наиболѣе популярномъ изъ его сочиненій. Этотъ превосходно написанный историческій романъ, въ которомъ, по выраженію одной знаменитой французской писательницы, не достаетъ въ заключеніи только свадьбы, — настолько характеренъ самъ по себѣ, что могъ бы составить предметъ особой бесѣды. Ренанъ говоритъ про себя, что одинъ въ своемъ вѣкѣ онъ понялъ Христа, и что благоговѣніе къ Его личности проникаетъ всю его книгу. Можетъ-быть и это — иронія; но я боюсь, что въ данномъ случаѣ ея нѣтъ, что Ренанъ дѣйствительно принимаетъ за благоговѣніе къ личности Христа свою благосклонную снисходительность, ту слащавую сентиментальность, съ которой онъ о Немъ говорить, ту багрянцу реторики, въ которую подъ конецъ онъ облачаетъ Его страждущій образъ, и ту исполненную сарказма отвратительную аргументацію, какою онъ даетъ себѣ трудъ извинять Христа въ томъ постоянномъ

¹⁾ Въ *Figaro* онъ прямо провозглашаетъ тождество религіи и любви — въ французскомъ смыслѣ этого слова, *Feuilles détachées*. 64, слѣд. Ср., впрочемъ, уже *Avenir de la science*, гдѣ „врожденный религіозный инстинктъ у женщинъ“ относится „въ одну и ту же категорію съ половымъ инстинктомъ“, стр. 497.

и сознательномъ обманѣ, который онъ Ему приписываетъ. „Искренность съ самимъ собою не имѣетъ большого смысла у восточныхъ народовъ, мало привычныхъ къ тонкостямъ критическаго ума... На востокѣ между честностью и обманомъ есть тысячи переходовъ... Исторія невозможна, если не допустить открыто, что для искренности есть исключеніе міровъ. Всѣ великія вещи дѣлаются народами, а народъ можно вести, лишь поднимаясь его идеямъ. Философъ, который, зная это, уединяется и замыкается въ своемъ благородствѣ, въ высокой степени заслуживаетъ похвалы. Но тотъ, кто беретъ человечество съ его слабостями и стремится дѣйствовать на него и имѣть съ нимъ, не заслуживаетъ порицанія. Цезарь прекрасно зналъ, что онъ не былъ сыномъ Ветеры... Намъ въ нашей немощи легко называть это жизнью и, гордясь нашей робкой честностью, смотрѣть съ презрѣніемъ на героевъ, которые приняли жизненную борьбу при другихъ условіяхъ. Когда съ нашей совѣстливостью мы сдѣлаемъ то, что они сдѣлали съ своими обманами, мы будемъ имѣть право строго къ нимъ относиться“¹⁾. Христосъ былъ *вынужденъ* разыгрывать роль Мессіи и съ этою цѣлю „по вѣнъ человечества“ былъ *вынужденъ* дѣлать чудеса. Въ особенности въ Іерусалимѣ, этомъ „нечистомъ и тяжеломъ“ городѣ, „Онъ не былъ самимъ собою“: *sa conscience, par la faute des hommes et non par la sienne avait perdu quelque chose de sa limpidité primordiale. Désespéré, poussé à bout, il ne s'appartenait plus.* И вотъ, чтобы нанести рѣшительный ударъ, онъ рѣшился показать величайшее чудо, которое Онъ и совершилъ *при помощи Лазаря и его сестры...²⁾*

Не звучитъ ли глубокою фальшью, при такомъ взглядѣ на Христа, сентиментальное „благоговініе“ передъ Нимъ? Переходя къ общей оцѣнкѣ Христа у Ренана, мы не находимъ у него не только вѣрнаго, но даже сколько-нибудь цѣльнаго образа Его. Сентиментальный „галилейскій идеалистъ“, предающійся мечтаніямъ даже въ виду

¹⁾ *Vie de Jésus*, p. 253. Чудеса Христа были невольной уступкой нѣмкѣ. L'humanité veut être trompée, — какъ говоритъ Ренанъ въ другомъ мѣстѣ. Впрочемъ, qui oserait dire que dans beaucoup de cas et en dehors des lésions tout à fait caractérisées, le contact d'une personne exquise ne vaut pas les ressources de la pharmacie? Le plaisir de la voir guérit. Elle donne ce qu'elle peut, un sourire, une espérance, et cela n'est pas vain. 260.

²⁾ 359—62. Цѣль оправдываетъ средства. Intimement persuadés que Jésus était thaumaturge, Lazare et ses deux sœurs purent aider un de ses miracles à s'exécuter, comme tant d'hommes pieux, qui, convaincus de la vérité de leur religion, ont cherché à triompher de l'obstination des hommes par des moyens dont ils voient bien la faiblesse.

смертной чаши¹⁾), — откуда извлечь Ренанъ этотъ образъ? — или мрачный революціонеръ, не отступающій передъ самымъ ужаснымъ, преступнымъ обманомъ для торжества своихъ идей и своего честолюбія, — таковъ ли Тотъ, Кого самъ Ренанъ считаетъ основателемъ „абсолютной религіи“ и „создателемъ чистаго чувства“? Христосъ есть, по Ренану, основатель истинной религіи, — религіи безъ догматовъ, безъ ученія, религіи одного чувства, одной чисто-идеальной эмоціи. Мнѣ кажется, что даже нѣтъ надобности быть религіознымъ человѣкомъ, чтобы видѣть всю фальшь такого сентиментальнаго пониманія, которое не вяжется не только съ евангельскимъ образомъ Христа, но даже съ изложеніемъ самого Ренана. Оно одинаково претитъ и религіозному и критическому чувству, опошляя самое великое въ исторіи. Пошлость находить себѣ оправданіе только въ пошлости. Въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ Ренанъ говорить о Христѣ, не иначе какъ называя Его „очаровательнымъ“ и „обворожительнымъ“ — *cet homme charmant, le grand charmeur évangélique*)²⁾, при чемъ уподобляя Его себѣ и приписывая Ему въ высочайшей степени качество, которое являлось ему отличительнымъ признакомъ выдающейся личности (*la qualité essentielle d'une personne distinguée*), — способность улыбаться надъ собственнымъ дѣломъ: *pous ne comprenons pas le galant homme sans un peu de scepticisme...*³⁾).

Немудрено при такихъ условіяхъ, что мы не находимъ у Ренана ни цѣльнаго, выдержаннаго образа Христа, ни даже цѣльнаго послѣдовательнаго объясненія религіи. Отсюда объясняются и всѣ противорѣчія Ренана въ характеристикахъ отдѣльныхъ религіозныхъ натуръ (напр. Іеремія), и въ его общихъ оцѣнкахъ. Въ религіи онъ понималъ и цѣнилъ все, кромѣ самой религіи; поэтому онъ могъ поэтизировать, сколько угодно, культъ „чистаго чувства“, — въ основаніи его эстетической иллюзіи онъ все-таки видитъ *обманъ*, который нельзя оправдывать эстетическими соображеніями.

Но вернемся къ морали Ренана. Если вкусъ не есть надежный

¹⁾ 378. Se rappela-t-il les claires fontaines de la Galilée, où il aurait pu se rafraîchir, la vigne et le figuier sous lesquels il aurait pu s'asseoir; les jeunes filles qui auraient peut-être consenti à l'aimer? Maudit-il son âpre destinée, qui lui interdit les joies, concédées à tous les autres?... и т. д.

²⁾ Напр. *Feuilles détachées*, 65, или *Hist. du peuple d'Israël*, V, 418. Jésus a été charmant; seulement son charme ne fut connu que par une douzaine de personnes. Celles-ci raffolèrent de lui à ce point que leur amour a été contagieux et s'est imposé au monde.

³⁾ *L'Antéchrist*, p. 111.

судья въ вопросахъ исторіи и религіи, то онъ не менѣе капризенъ и въ области самой морали.

Напримѣръ, въ отношеніи къ плотской любви эстетическій вкусъ даетъ иногда различныя предписанія: по временамъ онъ усматриваетъ идеаль и „урокъ божественнаго“ въ самомъ наслажденіи, которое является ему, какъ чувство высшаго общенія съ Богомъ, *la plus haute adoration et l'acte de prière le plus parfait*; иногда наоборотъ, аскетическое воздержаніе заслуживаетъ его предпочтеніе, какъ источникъ болѣе утонченныхъ умственныхъ наслажденій воображенія.

Аміель спрашиваетъ съ тревогой: что насъ спасаетъ? „Eh mon Dieu! — отвѣчаетъ Ренанъ, — то, что даетъ каждому мотивъ для того, чтобы жить. Средство спасенія не одно и то же для всѣхъ. Для одного это добродѣтель, для другого — рвеніе къ истинѣ, для третьяго — любовь къ искусству; для иныхъ это любознательность, честолюбіе, путешествія, роскошь, женщины, богатство, на низшей ступени — это морфій и алкоголь. Добродѣтельные люди находятъ свою награду въ самой добродѣтели; а тѣ, кто ея лишены, имѣютъ удовольствія. Всѣмъ дано воображеніе, т.-е. высшимъ радость, очарованія, которыя не знаютъ старости“ (*Feuilles détachées*, p. 382).

V.

Аристократизмъ Ренана.

Отсюда вытекаетъ аристократическій характеръ морали Ренана. Добродѣтель — какъ искусство, наука, философія — существуетъ только для избранныхъ, для аристократіи духа, способной къ утонченнымъ умственнымъ наслажденіямъ. Народъ, — говоритъ Ренанъ, — имѣетъ право на безнравственность, право на веселье, право на вино: это его способъ погружаться въ идеаль, *se plonger dans l'idéal*. Мало того, лучше отнять у народа его наивную религію, которая ведетъ его лишь къ фанатизму, и дать ему веселую безнравственность; ибо фанатизмъ стѣснителенъ для умственной аристократіи, а пока народъ пьетъ, пляшетъ и веселится, онъ оставляетъ умныхъ людей въ покоѣ¹⁾. „Лучше безнравственный народъ, чѣмъ народъ фанатическій, потому что безнравственные народныя массы не стѣснительны, тогда какъ фанатическія массы одуряютъ міръ, а міръ,

¹⁾ Лишь аристократъ обязанъ быть добродѣтеленъ. Народъ имѣетъ право быть безнравственнымъ, я скажу болѣе: гарантія нашей свободы есть веселая безнравственность народа. *Le prêtre de Nemi*, 108 и *Eau de Jouvence* III актъ.

отреченный на глупость, не заслуживает моего интереса: j'aime tant à le voir mourir. Предположимъ апельсиновые деревья, зараженные болѣзною, отъ которой ихъ можно было бы исцѣлить, лишь снявъ у нихъ возможность производить апельсины. Не стоило бы ихъ лѣчить, потому что апельсиновое дерево, которое не производитъ апельсиновъ, все равно никуда не годится¹⁾. Народъ — это дерево, а „умные люди“, аристократы духа — это апельсины.

Вся социальная философія Ренана заключается въ его эстетическомъ аристократизмѣ. „Неравенство“ написано на скрижаляхъ міра, равенство есть условіе прогресса, если угодно, самая его цѣль, поскольку онъ стремится къ созданію высшихъ формъ. Эти высшія формы нуждаются въ низшихъ, какъ своемъ матеріальномъ условіи, должны подчинять, порабощать ихъ себѣ. Матеріальный трудъ есть долженъ быть рабомъ умственного, духовнаго труда; низшія расы должны рабствовать высшимъ. Позволительно прибѣгать къ бичу, fouet, чтобы заставлять ихъ строить пирамиды; позволительно быть тираномъ, чтобы доставить духу его торжество. Если жизнь словѣка не ставится ни во что въ странахъ варварскихъ и служить лишь средствомъ для вѣшнихъ цѣлей, то это понятно и справедливо, такъ какъ въ себѣ самой она не имѣетъ смысла. Смерть француза есть событіе въ нравственномъ мірѣ; смерть азака есть лишь физиологическій фактъ: une machine fonctionnait, ni ne fonctionne plus. А что касается до смерти дикаря, то это есть фактъ, не болѣе значительный для міра, чѣмъ простая поломка пружины часовъ, и даже этотъ послѣдній фактъ можетъ имѣть болѣе важныя послѣдствія, потому что часовой механизмъ предъявляетъ и возбуждаетъ дѣятельность цивилизованныхъ людей²⁾.

Но и среди цивилизованныхъ людей есть неравенство. Цѣль природы по Ренану не въ томъ, чтобы нивелировать людей, а напротивъ того, въ томъ, чтобы производить боговъ, сверхчеловѣковъ, которымъ все должно служить. La fin de l'humanité, c'est de produire les grands hommes. Ученый есть плодъ самоотреченія, жертвъ, трудовъ двухъ или трехъ поколѣній. Онъ представляетъ собою результатъ громаднаго сбереженія и силы. Ему нужна удобренная почва, откуда бы онъ могъ выйти... Главная суть не въ томъ, чтобы производить просвѣщенные массы, сколько въ томъ, чтобы производить великихъ гениевъ и публику, способную ихъ понимать. Если невѣжество массъ для этого необходимо, — tant pis, тѣмъ

¹⁾ *Avenir de la sc.* X.

²⁾ *Avenir de la sc.*, p. 552; ср. 379.

хуже. Природа не останавливается передъ такими соображеніями. Она жертвуетъ цѣлыми видами для того, чтобы другіе могли найти существенныя условія своей жизни¹⁾.

„Что за дѣло, если миллионы ограниченныхъ существъ, покрывающихъ нашу планету, не знаютъ истины или отрицаютъ ее, пусть лишь разумные, *les intelligents*, видятъ ее и поклоняются ей... достаточно, если истины высшаго порядка усматриваются лишь небольшимъ количествомъ умовъ и заключаются въ книги для тѣхъ, кто когда-нибудь захотятъ съ ними познакомиться²⁾).

„Природа на всѣхъ ступеняхъ заботится единственно о томъ, чтобы достигнуть высшаго результата посредствомъ пожертвованія низшими индивидуальностями. Развѣ полководецъ или глава государства считаетъ бѣдныхъ людей, которыхъ онъ заставляетъ убивать?... Міръ есть лишь рядъ человѣческихъ жертвоприношеній; ихъ можно смягчить радостью и покорностью. Сподвижники Александра жили Александромъ, наслаждались Александромъ. Существуетъ общественный строй, при которомъ народъ наслаждается удовольствіями своей знати, радуется въ своихъ князьяхъ, говоритъ: „наши князья“ — и дѣлаетъ ихъ славу своей славой. Животныя, которыя служатъ пищей гениальному человѣку или добродѣтельному человѣку, должны бы быть довольны, если бы они знали, чему они служатъ. Все зависитъ отъ цѣли“³⁾.

Эта цѣль есть прогрессъ разума и произведеніе великихъ людей, которые ему служатъ, — произведеніе Бога, боговъ и полубоговъ, сверхчеловѣковъ... „Въ нашихъ тяжеловѣсныхъ современныхъ расахъ нуженъ дренажъ тридцати или сорока миллионовъ людей, чтобы произвести великаго поэта, первокласснаго генія; общество въ пять или шесть миллионовъ приходитъ къ этому съ трудомъ, такъ какъ подборъ производится въ немъ на недостаточно большой массѣ. Геній происходитъ изъ цѣлой части человѣчества, положенной подъ прессъ, дистиллированной, очищенной, сконцентрированной“⁴⁾.

Здѣсь можно найти нѣкоторое сближеніе Ренана съ другимъ нѣмецкимъ гуманистомъ-филологомъ — съ Ницше и его идеаломъ сверхчеловѣка. Требования Ренана, впрочемъ, гораздо скромнѣе; его сверхчеловѣкъ не говоритъ намъ *werdet hart*, не возстаетъ противъ альтруизма; это сверхчеловѣкъ смиренный и вполне благонадежный,

¹⁾ *Dial.*, p. 102—4.

²⁾ *Dial.*, p. 98—102.

³⁾ *Ib.* 128—30: Le grand nombre doit penser et jouir par procuration.

⁴⁾ *Ib.* 73.

готовый подчиниться всему на свѣтѣ, оставляя за собою лишь право пропіи: въ тонкой и молчаливой улыбкѣ, выражающей его высшую философію, видитъ онъ самый рѣшительный признакъ своего благородства¹⁾; отъ прочаго человѣчества онъ удовольствовался бы лишь скромною академическою синекурою, обеспечивающей ему досугъ и свободу. Онъ оставляетъ за собою и другое право — право мечты, свою *Eau de Jouvence* — и грезить объ отдаленномъ будущемъ, когда аристократія духа пріобрѣтетъ посредствомъ знанія силу, безконечно превосходящую могущество прежней рыцарской и церковной аристократіи. „Какъ человѣчество вышло изъ животности, такъ божество выйдетъ изъ человѣчества. Явятся существа, которыя будутъ пользоваться человѣкомъ, какъ человѣкъ пользуется животными. Человѣкъ не останавливается на мысли о томъ, что одинъ его шагъ, одно движеніе давитъ міриады живыхъ созданий. Но, повторяю, умственное превосходство влечетъ за собою превосходство религіозное; мы должны воображать себѣ этихъ будущихъ владыкъ воплощеніями истины и добра; было бы радостно имъ подчиниться“²⁾.

Сомнительно однако, чтобы человѣчество нашло особое удовольствіе въ такомъ подчиненіи. Но Ренанъ и не говоритъ, чтобы будущее было весело. Можно спросить, имѣетъ ли оно какой-нибудь нравственный смыслъ, имѣетъ ли какое-нибудь нравственное оправданіе такое неограниченное господство одной части человѣчества надъ другою? Да, отвѣчаетъ Ренанъ, если это будетъ господство разума: „Аристократія, о которой я мечтаю, должна быть воплощеніемъ разума; это было бы своего рода папство, дѣйствительно непогрѣшимое“³⁾. Прогрессъ оправдываетъ все. „Я не люблю ни Филиппа II, ни Пія V; но если бы у меня не было дѣйствительныхъ основаній не вѣрить въ католицизмъ, то жестокости Филиппа II и костры Пія V не очень бы меня останавливали“⁴⁾. Старый питомецъ католической семинаріи говоритъ здѣсь въ нашемъ сверхчеловѣкѣ.

Онъ великій ненавистникъ демократіи, хотя въ молодости увлекался демократическими чаяніями своихъ сверстниковъ, и въ старости ужился съ республикой. Но и въ молодости Ренанъ развѣ лишь по странному недоразумѣнію считалъ себя демократомъ, такъ какъ весь демократизмъ его юношеской книги сводился лишь къ не-

¹⁾ *Essais de morale*, p. 312.

²⁾ *Dialogues et fragments*, p. 118—119.

³⁾ *Dial.*, p. 111.

⁴⁾ *Souvenirs d'enfance*. Стр. 299 ср., *Av. de la sc.*, 349.

ограниченной вѣрѣ въ торжество разума и всеобщаго просвѣщенія; но уже и тогда онъ сознавалъ, что неравенство есть условіе прогресса и его продуктъ, что прогрессъ не есть процессъ всеобщей нивелляціи, а скорѣе наоборотъ — процессъ созданія и накопленія неравенствъ. Скоро это сознаніе въ немъ усилилось; изученіе аристократическаго искусства, аристократической культуры древности и Ренессанса, такъ же какъ и политическія событія Франціи его времени усилили его презрѣніе и отрицательное отношеніе къ демократіи. Онъ ненавидитъ ее во всѣхъ ея формахъ, насколько вообще его умъ способенъ въ ненависти, — къ закону бы то ни было чувству вообще, кромѣ чисто-эстетическаго. Если мировая цѣль состоитъ не въ уравниваніи вершинъ, а въ созданіи боговъ или сверхчеловѣковъ, которымъ должны съ радостнымъ трепетомъ служить всѣ прочія твари, то демократія есть нѣчто безусловно противное такой провинціальной цѣли. Въ ней сказывается господство матеріальной, животной силы массъ, силы неразумной и противной разуму. Это царство звѣря, царство Калибана. Упадокъ вѣры и нравственности, легкомысленное пренебреженіе къ высшимъ цѣлямъ человѣчества, всеобщій житейскій матеріализмъ, алчность, исключительное преслѣдованіе матеріальныхъ благъ и низменный идеалъ плотскаго благоденствія — вотъ, что губитъ современное общество, въ особенности французское; вотъ что обрекаетъ его на неисчислимые бѣдствія, ибо міръ идетъ къ своей цѣли вопреки человѣческимъ заблужденіямъ. Вотъ почему антилиберальная Германія, съ ея пренебреженіемъ къ интересамъ и даже достоинству личностей, подчиненныхъ цѣлямъ высшаго государственнаго организма, одерживаетъ побѣду надъ либеральною Франціей. Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ пораженія Франціи, призывая ее къ коренной „умственной и нравственной реформѣ“, Ренанъ говоритъ, что если царство разума должно осуществиться въ мірѣ, то оно должно прійти не черезъ Францію, а черезъ нѣмцевъ¹⁾. Ренанъ всѣми силами возстаетъ противъ ложнаго націонализма и расовой вражды, въ которой онъ, какъ и въ демократіи, указываетъ „зоологическое“ начало. Какъ гуманистъ, онъ ставитъ человѣческое выше національнаго и въ самихъ народахъ онъ признаетъ не простыя расы, не простыя зоологическія разновидности человѣчества, но нравственные организмы, сложившіеся историческимъ путемъ изъ множества фактовъ и осуществляющіеся въ разнообразномъ этнографическомъ матеріалѣ по-

¹⁾ *Dial.*, p. 121.

средствомъ политическихъ и культурныхъ формъ. Въ самомъ національномъ онъ указываетъ человѣческое и въ разнообразіи народовъ, въ различіи и даже противоположности ихъ способностей онъ видитъ необходимое средство для достиженія общечеловѣческой цѣли и для полнаго раскрытія человѣческаго духа. Въ 1870 г. среди бѣдствій, постигшихъ Францію, онъ печатаетъ открытое письмо къ Штраусу, призывая враговъ къ миру и умѣренности. Поклонникъ германскаго генія и германской науки, онъ съ горечью видитъ въ Германіи врага Франціи; онъ предсказываетъ, что отнятіе Эльзаса и Лотарингіи увѣковѣчитъ эту вражду и создастъ постоянную опасность для европейскаго мира; онъ опасается, что эта вражда между двумя культурными народами толкнетъ его отечество въ союзъ съ полуварварской Россіей. Онъ предвидитъ отсюда рядъ бѣдствій и для Франціи, и для Германіи, и для всей Европы. По заключенію мира, разрушившаго его надежды, Германія, его духовное отечество, является ему въ новомъ свѣтѣ: въ ней побѣдила грубая сила милитаризма, какъ во Франціи возобладали демократія.

Ренанъ понялъ всѣ отрицательныя стороны современной демократіи, съ ея матеріализмомъ, ея антикультурнымъ, революціоннымъ разрушеніемъ всѣхъ идеаловъ прошлаго, которые дисциплинировали, сплачивали народъ въ одно нравственное цѣлое. Онъ разглядѣлъ въ ней ея *звериный*, животный образъ. Но онъ проглядѣлъ въ ней ея человѣческія, нравственныя черты, ея идеаль всеобщей правды и справедливости, ея борьбу за права человѣка. Мы видѣли, что онъ не различалъ между проповѣдью еврейскихъ пророковъ и „завываніями“ анархизма и уличнаго социализма. Мы видимъ также слишкомъ ясно, что аристократическій идеаль самого Ренана былъ лишень нравственной почвы и связывался съ самымъ циничнымъ отрицаніемъ правъ человѣка и человѣческаго достоинства.

Французская дѣйствительность разрушала мечты Ренана, но она разрушала и его опасенія. Толпа есть полуживотное, которое нужно держать вдали отъ орудій знанія: Калибанъ долженъ вѣчно служить волшебнику Просперо. Но вотъ этотъ Калибанъ, получивъ отъ Просперо нѣкоторое подобіе человѣческаго образа, овладѣваетъ верховною властью и дворцами своего бывшего господина¹⁾. Въ своихъ *Dialogues philosophiques*, написанныхъ подъ впечатлѣніемъ парижской коммуны, Ренанъ мечтаетъ о мщеніи и грезитъ о той эпохѣ, когда наука дастъ въ руки умственной аристократіи новыя ужа-

¹⁾ *Drames philosophiques*, Caliban.

сающія средства для обузданія и порабощенія Калибана, для терроризаціи толпы, для устрашенія ея настоящимъ адомъ, усовершенствованной гіеной“, взамѣнъ того „мнимаго ада“, въ который она перестала вѣрить. *Primus in orbe deos fecit timor*¹⁾).

Такимъ мечтаніямъ предается и Просперо въ философскихъ драмахъ Ренана. Но мало-по-малу этотъ изгнанный герцогъ мирится съ своимъ бывшимъ рабомъ. Онъ констатируетъ его успѣхи и, сравнивая старый режимъ съ новымъ, замѣчаетъ, что режимъ Калибана либеральнѣе прежняго: въ Калибанѣ есть толкъ — онъ антиклерикаленъ. *Ma foi, vive Caliban!* И Просперо кончаетъ тѣмъ, что проситъ и получаетъ отъ Калибана синекуру для своего Аріеля.

Если бы Просперо пожилъ долѣе, онъ убѣдился бы и въ дальнѣйшихъ прогрессахъ Калибана. Онъ увидалъ бы, какъ этотъ дикарь по-своему принимается за гуманитарныя науки и вырабатываетъ свою концепцію всемірной исторіи, — теорію „экономическаго материализма“, быть можетъ, ложную, одностороннюю, вполне достойную грубости Калибана, но вмѣстѣ съ тѣмъ представляющую законный противовѣсъ мечтательному дилетантизму Просперо, который тѣшится волшебной фееріей изъ историческихъ образовъ.

И изложилъ, какъ могъ, основныя черты философіи Ренана; я не сумѣлъ, конечно, дать понятіе о томъ, что составляетъ ³/₄ этой философіи по собственному признанію автора, — я разумѣю ея форму съ ея блескомъ, изяществомъ, съ ея красками, ту форму, въ которой вся ея прелесть и, можетъ-быть, вся ея убѣдительность, такъ какъ она замѣняетъ собою логику. Нужно самому читать Ренана, чтобы понять его вполне.

Но въ основномъ настроеніи, въ складѣ его міросозерцанія трудно ошибиться: это дилетантизмъ, оправдывающій себя вѣрой въ прогрессъ, и вѣра въ прогрессъ, ищущая себѣ восполненія въ артистическомъ наслажденіи всемірной исторіей и литературой, въ какомъ-то сладострастномъ смакованіи всѣхъ возможныхъ человѣческихъ чувствъ, ощущеній, идеаловъ, вѣрованій. Всемірная исторія представляется Ренану въ видѣ какого-то громаднаго цвѣтника, надъ воздѣлываніемъ котораго трудятся милліоны поколѣній, — цвѣтника, политаго человѣческой кровью и слезами. Эта кровь и эти слезы нужны, чтобы цвѣты были ярче, чтобы они благоухали сильнѣе²⁾).

¹⁾ *Dialogues*, 108—113.

²⁾ *Consolons nous, pauvres victimes, un Dieu se fait avec nos pleurs. Dialogues*, 143.

И наслаждение тѣхъ полубоговъ, которые обоняютъ ихъ ароматы, возвышается этой цѣною. Для нихъ, сверхчеловѣковъ, и для мнимаго бога, живущаго въ нихъ, построены пирамиды Египта, для нихъ — роскошь дворцовъ стараго режима, ихъ наслажденіемъ оправдывается рабство и страданіе миллионовъ людей, которые имѣютъ меньше значенія, чѣмъ часы въ сверхчеловѣческомъ карманѣ. Если бы Ренанъ могъ измѣнить что-либо въ такомъ порядкѣ, онъ говоритъ, что онъ бы этого не сдѣлалъ: онъ не отдалъ бы Версальскаго дворца за свободу Франціи стараго режима, не отдалъ бы пирамидъ за жизнь тѣхъ рабовъ, которые ихъ строили. Ренанъ находитъ, что въ движеніи человѣчества недостаточно принимаютъ въ расчетъ живописность, *le pittoresque* — которое не менѣе важно, чѣмъ счастье человѣчества¹⁾. „Cet univers est un spectacle qu'un Dieu se donne à lui même. Послужимъ намѣреніямъ великаго хорега, содѣйствуя тому, чтобы сдѣлать это зрѣлище какъ можно болѣе блестящимъ и разнообразнымъ“²⁾.

И еслибъ Ренанъ только могъ, онъ сдѣлалъ бы его еще разнообразнѣе. Онъ охотно примѣнилъ бы экспериментальный методъ къ изученію религіи. Милліонеръ могъ бы и теперь, пожертвовавъ нѣсколько миллионѣвъ, создать новую религію, подкупивъ нѣсколько евреевъ близъ горы Сафета и пустивъ фейерверкъ съ ея вершины. „Да, — говоритъ онъ, — это опытъ, который стоило бы сдѣлать, и милліонеръ, который положилъ бы на это часть своего состоянія, могъ бы доставить себѣ удовольствіе вновь пустить въ ходъ религіозную виртуозность Азіи, не выѣзжая изъ Парижа. Онъ могъ бы, обѣдая у Бреана съ своими пріятелями, получать телеграммы о подвигахъ своихъ послѣдователей, о ихъ героическихъ доблестяхъ, о томъ, какъ они давали рвать себя желѣзными крючьями. Я посоветовалъ бы ему сдѣлать свою религію пожестче, чтобы она болѣе привлекала, и понелѣнѣе, чтобы ее признали божественной. Между тѣмъ безпристрастный наблюдатель имѣлъ бы много случаевъ смѣяться и плакать надъ неизлѣчимою глупостью человѣческой природы и ея неисчерпаемою добротою“³⁾.

Эти слова, конечно, никто не приметъ въ серіозъ и не подумаетъ, чтобы Ренанъ былъ способенъ серіозно желать подобнаго опыта. Да онъ ему и не нуженъ, такъ какъ все прошлое чело-

¹⁾ *Avenir de la sc.*, 523.

²⁾ *La réforme intellectuelle*, 205. Характерно, что Ренанъ пишетъ это Штраусу въ опроверженіе нѣмецкаго націонализма.

³⁾ *Nouvelles Etudes d'hist. religieuse*, 3.

вѣщества является ему такимъ экспериментомъ. „Если бы шабашъ вѣдьмъ существовалъ дѣйствительно, я не говорю, чтобъ я хотѣлъ бы на немъ присутствовать: это противорѣчитъ правиламъ поведенія, которыя я себѣ положилъ. Но я дорожилъ бы тѣмъ, чтобы были люди, которые бы туда ходили, и я прочиталъ бы съ удовольствіемъ ихъ живыя и картинныя описанія“¹⁾.

Такова философія Ренана, философія вырождающагося гуманизма. Какъ критиковать ее? Съ точки зрѣнія философской? Она не выдерживаетъ логической критики; но вѣдь самъ Ренанъ говоритъ о философіи не иначе, какъ съ улыбкой пропіи, не дѣлая исключенія и для себя. Въ этой улыбкѣ заключается для него „высшая философія“, и Ренанъ, несомнѣнно, часто заставляетъ насъ улыбаться вмѣстѣ съ собою. Критиковать эту философію съ точки зрѣнія религіозной или нравственной? Она антирелигіозна и глубоко безнравственна, и, что всего важнѣе, безнравственность ея возводится въ своего рода принципъ, — Ренанъ отвергаетъ нравственную мѣрку и требуетъ замѣны ея мѣркой эстетической. Остается примѣнить только эту послѣднюю. Съ эстетической точки зрѣнія сужденіе наше о философіи Ренана неизбежно двоятся: по формѣ она художественна и прекрасна, а по существу — мы можемъ повторить только то, что мы уже сказали о дилетантизмѣ: истинное искусство столь же противно ему и столь же осуждаетъ дилетантизмъ, какъ истинная наука и истинная нравственность.

Дилетантизмъ есть болѣзнь искусства нашего вѣка, — болѣзнь, которая ведетъ его къ упадку и декадентству и которая чувствуется всего сильнѣе въ современной Франціи. Многіе изъ поклонниковъ новѣйшаго направленія въ искусствѣ недостаточно отдають себѣ отчетъ въ томъ, что такое дилетантизмъ во всѣхъ его умственныхъ и нравственныхъ послѣдствіяхъ. У Ренана они найдутъ его подлинное философское выраженіе, — все то выраженіе, къ какому онъ способенъ.

1898 г. „Русская Мысль“.

Памяти Василія Петровича Преображенскаго.

Съ тяжелымъ, гнетущимъ чувствомъ берешься за перо, чтобы писать о Василіи Петровичѣ. Некрологъ о немъ! Онъ былъ такъ молодъ и бодръ, повидимому, такъ далекъ отъ смерти, такъ полонъ кипучей внутренней жизни и отзывчивости на все живое... Много

¹⁾ *Feuilles détachées*, 347.

потеряли въ немъ тѣ, которые знали его близко; но близко знали его только немногіе, и, говоря о немъ съ посторонними ему людьми, невольно спрашиваешь себя: былъ ли бы онъ этимъ доволенъ, хотѣлъ ли бы онъ, чтобы послѣ его смерти говорили о немъ, когда онъ провелъ всю свою умственную жизнь въ тишинѣ, вдали отъ публики? Мы рѣшаемся на это, однако, и не только уступая личному чувству: мы не столько богаты умственными силами и выдающимися личностями, чтобы молчать о тѣхъ, которые насъ покидаютъ. Именно потому, что самъ онъ почти ничего не писалъ, намъ хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ о немъ, чтобы отмѣтить своеобразныя, цѣнныя черты его умственного склада.

I.

В. П. Преображенскій былъ, безспорно, однимъ изъ самыхъ умныхъ и образованныхъ людей нашего поколѣнія. Это былъ умъ необычайно живой, энергичный и ясный, исполненный неутолимой жажды знанія и на рѣдкость дисциплинированный. Потребность къ точному и дѣйствительному знанію, привычку къ добросовѣстной умственной работѣ онъ умудрился приобрѣсти еще въ гимназій, которая, обыкновенно, оказываетъ самое растлѣвающее нравственное вліяніе именно на умственную дѣятельность своихъ питомцевъ. Про себя, по крайней мѣрѣ, могу сказать по совѣсти, что мнѣ всю жизнь приходилось бороться противъ того, что дала мнѣ гимназія. А я первые три моихъ школьныхъ года провелъ въ одной гимназій съ Василиемъ Петровичемъ и даже былъ въ одномъ классѣ съ нимъ. Живо помню его совсѣмъ маленькимъ мальчикомъ въ красной рубашечкѣ, самымъ младшимъ по возрасту изъ всѣхъ насъ и однимъ изъ первыхъ по успѣхамъ. Вижу его крошечную, живую фигурку съ бойкими, шаловливыми глазками впереди бородатыхъ великовозрастныхъ недорослей, помѣщавшихся на заднихъ скамьяхъ. Я рано и съ чувствомъ глубокаго облегченія оставилъ почтенное заведеніе, въ которомъ началъ свое гимназическое образованіе, и снова встрѣтился съ Василиемъ Петровичемъ лишь на университетской скамьѣ. Послѣ меня въ старшихъ классахъ онъ проходилъ свой гимназическій курсъ подъ руководствомъ такихъ прекрасныхъ, уважаемыхъ педагоговъ, какъ А. Н. Шварцъ, П. П. Мельгуновъ, Торнеусъ и Ю. Ф. Випперъ, оставившихъ лучшую, сердечную память среди своихъ воспитанниковъ. Его учителя оцѣнили и развили его блестящія математическія и филологическія способности. Если кто-нибудь вкусилъ вполне плоды „классическаго образованія“, такъ это

Василій Петровичъ. Результатъ былъ прекрасный, хотя и не со-
всѣмъ тотъ, о которомъ мечтали насадители классицизма.

Преображенскій до конца жизни сохранилъ интересъ къ матема-
тикѣ; онъ занимался ею, изучалъ аналитическую геометрію и дру-
гія отрасли высшей математики, ища въ ней того умственного
наслажденія достовѣрности и раціональной очевидности, которой онъ
не находилъ въ философскихъ построеніяхъ. Онъ изучалъ въ ней
совершенный типъ логической достовѣрности, логику чистой мысли.
Но его умъ не могъ замкнуться въ сферу математической отвле-
ченности. Не даромъ избралъ онъ философскій факультетъ: онъ
былъ прирожденнымъ словесникомъ, филологомъ, любителемъ слова
въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи. Онъ прекрасно зналъ древ-
ніе и новые языки, древнія и новыя литературы. И каждое лите-
ратурное произведеніе, каждаго автора, будь то Дантъ или Платонъ,
Шекспиръ или Кантъ, Паскаль или Мольеръ, или Ницше, или
Лейбницъ, — онъ изучалъ филологически.

Передо мной лежатъ рабочія тетради Василія Петровича, по ко-
торымъ можно прослѣдить поучительный процессъ его работы при
чтеніи изучаемыхъ философовъ. Эти чистенькія, будто набѣло пере-
писанныя тетради, покрытыя мелкимъ аккуратнымъ почеркомъ, слу-
жатъ свидѣтельствомъ самой тщательной, добросовѣстной и глубоко
вдумчивой филологической работы. Онъ изучаетъ каждаго автора
строчка за строчкой, старается усвоить особенности ихъ мысли,
ихъ стиля, ихъ словоупотребленія, уловить точный смыслъ каждаго
термина и всякія неточности въ употребленіи терминовъ, за кото-
рыми такъ часто прячутся въ философскихъ системахъ неясности
и противорѣчія мысли. Онъ подвергаетъ разбираемые тексты микро-
скопическому детальному изслѣдованію и вмѣстѣ съ тѣмъ стремится
понять каждое ученіе въ его цѣломъ, въ его развитіи и происхо-
жденіи, понять внутреннее единство каждаго міросозерцанія, ту ло-
гическую и психологическую связь, которая соединяетъ разрознен-
ныя части, разрозненные тексты одного и того же автора. Онъ
вдается въ критическіе вопросы, поставленные наукой относительно
изучаемыхъ имъ источниковъ; онъ собираетъ возможно полную ли-
тературу изслѣдованій по каждому занимающему его философу и
провѣряетъ ихъ самостоятельной работой. Онъ знакомится съ исто-
рической средою каждаго мыслителя, тщательно изучая всѣ доступ-
ные біографическіе матеріалы, стремясь, возможно глубже и полнѣе,
проникнуть въ самую лабораторію его творчества. Онъ не ограничи-
вается никогда внѣшнимъ формально-логическимъ анализомъ, однимъ

раскрытіемъ логическихъ промаховъ даннаго ученія и тѣхъ приемовъ, посредствомъ которыхъ такіе промахи прячутся отъ глазъ читателя и самого автора. Онъ стремится понять, какъ и чѣмъ эти промахи вызваны. Во всеоружіи строгихъ методовъ современнаго научнаго филологическаго изслѣдованія онъ стремится къ возможно болѣе вѣрному и точному, глубокому и объективному пониманію. Онъ постоянно боится субъективности своего пониманія — иногда съ тою излишнею мнительностью, которой страдаютъ многіе истинные филологи и которая такъ часто парализуетъ столь многихъ ученыхъ. Щепетильная умственная чистоплотность заставляетъ его опасаться всякаго полужнанія, всякой неточности и неясности. „Не слѣдуетъ показываться въ халатѣ даже самому себѣ: искренность не замѣняетъ опрятности“ — такъ пишетъ онъ въ своихъ замѣткахъ. Какъ часто мы упрекали его за то, что онъ не хотѣлъ дѣлиться своими знаніями съ другими, что онъ, напримѣръ, не рѣшался изложить въ печати результаты своихъ чрезвычайно оригинальныхъ изслѣдованій о Платонѣ или не познакомилъ русскую публику съ ученіемъ Сѣрена Кьеркегора — самаго оригинальнаго и пламеннаго христіанскаго проповѣдника нашего вѣка, который былъ однимъ изъ любимыхъ его писателей. Онъ обѣщалъ о немъ статью, откладывалъ ее, и такъ и не успѣлъ сдѣлать для этого мыслителя того, что такъ удачно сдѣлалъ для Ницше, его антипода.

II.

„Филологъ, — говоритъ Ницше, — есть учитель медленнаго чтенія“. И дѣйствительно, что такое филологія, какъ не наука истиннаго чтенія?

Одинъ изъ самыхъ большихъ грѣховъ нашего казеннаго, ремесленнаго „классицизма“ состоитъ въ томъ, что онъ вселяетъ отвращеніе къ истинному чтенію и даетъ навсегда извращенное представленіе о филологіи. Только настоящій филологъ умѣетъ читать, и главная задача филологическаго образованія состоитъ въ томъ, чтобы выучить читать. Обыкновенный читатель часто не имѣетъ даже представленія о томъ, что такое истинное чтеніе, — онъ не подозреваетъ, какія громадныя знанія и какая школа нужны для такого чтенія; онъ полагаетъ, что для этого достаточно одной элементарной грамотности. Въ великихъ памятникахъ человѣческаго слова обыкновенный читатель не видитъ и десятой доли того, что въ нихъ написано, что рябитъ у него передъ глазами. Чаше, чѣмъ онъ думаетъ, онъ разыгрываетъ передъ ними роль гоголевскаго Петрушки:

стоять прислушаться къ спорамъ о классицизмѣ, чтобы понять, до какой степени самое представленіе о существѣ и воспитательныхъ задачахъ филологіи чуждо нашему обществу. А между тѣмъ высшее образованіе столь же немыслимо безъ филологической школы, какъ немыслимо элементарное обученіе безъ простой грамотности. И если обученіе грамотѣ даетъ намъ лишь матеріальную возможность читать, то только филологическая школа развиваетъ въ насъ умственную способность зрячаго, сознательнаго, мыслящаго чтенія, объективно понимающаго и познающаго, которое не только наполняетъ умъ, но укрѣпляетъ его силы и является условіемъ истиннаго образованія.

Филологія въ высшемъ смыслѣ этого слова есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, которые умѣютъ читать, обладаютъ даромъ и наукой чтенія. Нерѣдко они дорого платятся за это искусство: оно поражаетъ ихъ литературнымъ безплодіемъ, мѣшаетъ писать даже тогда, когда они обладаютъ несомнѣннымъ литературнымъ дарованіемъ, какъ то было, напр., и съ Василиемъ Петровичемъ. Требованія такихъ людей, воспитанныхъ на величайшихъ памятникахъ слова, слишкомъ высоки, критическое чувство слишкомъ строго и чувствительно; *читатель* слишкомъ превосходитъ въ нихъ *писателя*.

Истинныхъ филологовъ немного повсюду, у насъ въ особенности. Но если правда, что міръ стоитъ немногими праведниками, то просвѣщеніе держится немногими истинными филологами, которые учатъ читать прочее человѣчество, — я разумѣю именно филологовъ-гуманистовъ, а не грамматиковъ или языковѣдовъ, разрабатывающихъ одну изъ специальныхъ отраслей филологіи. И если наступитъ время, когда такіе филологи исчезнутъ, когда имъ не останется мѣста среди всеобщей демократизаціи образованія, тогда просвѣщеніе придетъ въ упадокъ, и никакіе успѣхи техники не замѣнятъ древняго и мудрѣйшаго изъ человѣческихъ искусствъ — искусства чтенія.

Василій Петровичъ вкусилъ отъ филологическаго древа познанія, и это наложило печать на его философское міросозерцаніе. Міросозерцаніе это было чисто скептическимъ. Основательно знакомый съ древней и новой философіей, онъ не примкнулъ ни къ одному ученію: и матеріализмъ, и спиритуализмъ, и эмпиризмъ, и новокантіанство, и рационалистическая метафизика, и философія ирраціональная одинаково не удовлетворяли тѣмъ строгимъ логическимъ требованіямъ, которыя онъ къ нимъ предъявлялъ. И, тѣмъ не менѣе, самъ онъ страстно любилъ философію и всего менѣе подходилъ къ типу скептическихъ ея отрицателей. Его скепсисъ былъ фило-

софскимъ скепсисомъ, который движимъ любовью къ истинѣ и не успокоивается ни на какихъ мнимыхъ замѣнахъ этой истины дѣломъ рукъ человѣческихъ. Въ философіи онъ твердо держался второй заповѣди: „не сотвори себѣ кумира, ни всякаго подобія, елико на небеси горѣ, елико на землѣ низу, елико въ водахъ и подъ землею; да не поклонилися имъ и да не послужили имъ“. Это цѣнное и рѣдкое свойство философскаго ума, рѣдкое у насъ въ особенности, не мѣшало ему понимать великое значеніе философіи въ умственномъ и духовномъ развитіи человѣчества; и оно не мѣшало ему цѣнить интеллектуальную красоту, высшее художественное совершенство отдѣльных „кумповъ“ философіи, отдѣльных ея твореній.

Онъ былъ скептикомъ по добросовѣстной любви къ философіи, скептикомъ по складу своего яснаго, энергичнаго, критическаго ума; и его скептицизмъ закалился его филологіей, такъ же, какъ логика его окрѣпла въ его математической школѣ. Глубокія историко-филологическія занятія во многихъ умахъ способствовали развитію своеобразнаго скептическаго міросозерцанія. Между филологіей и скептицизмомъ нерѣдко наблюдался родъ химическаго сродства, въ силу котораго скептики предавались филологіи, и филологи становились скептиками. Мы видимъ это и у первыхъ скептиковъ и филологовъ древности — у греческихъ софистовъ, и у гуманистовъ эпохи Возрожденія, и въ нашемъ вѣкѣ, на примѣръ у Ренана, который, впрочемъ, прежде всего былъ литераторомъ, а потомъ уже филологомъ и скептикомъ.

Филологъ лучше другихъ знаетъ всю лживость человѣческаго слова; онъ больше и глубже читалъ, чѣмъ другіе; онъ знаетъ, какъ пишется *всякая* исторія, и глубже другихъ изучилъ самый процессъ возникновенія человѣческихъ мифій. Въ своемъ стремленіи къ точному и объективному пониманію памятниковъ человѣческаго слова, онъ интимнѣе другихъ переживаетъ различныя, чуждыя ему міровоззрѣнія во всемъ ихъ индивидуальномъ разнообразіи. И уже одно это подкапываетъ въ немъ наивную вѣру въ философскіе догматы, все равно, теоретическаго или этическаго характера. Чѣмъ болѣе углубляется онъ въ исторію духовной жизни человѣчества, тѣмъ болѣе проникается ея разнообразіемъ; во всѣхъ ея творческихъ проявленіяхъ онъ чтитъ и съ любовью изучаетъ человѣка; но знатокъ и любитель слова, стремящійся понять его жизнь, онъ отказывается обоготворять это человѣческое слово. Философскія и нравственныя ученія являются ему величайшими

человѣческими твореніями, и онъ изучаетъ ихъ прежде всего какъ мыслящій филологъ.

Главный успѣхъ нашего вѣка въ изученіи философіи состоитъ именно въ усвоеніи строго научнаго историко-филологическаго метода. На ряду съ философскимъ критицизмомъ Канта такое изученіе философіи всего болѣе подкопало догматизмъ философскихъ построеній прежняго времени и способствовало углубленію и расширенію самосознанія философской мысли. Оглядываясь на пройденный ею путь, изучая и провѣряя все сдѣланное ею, она глубже поняла относительность своихъ твореній. Можетъ ли она остановиться на такомъ результатѣ, отказаться навсегда отъ стремленій къ истинному, цѣлостному міропониманію, къ дѣйствительному философскому синтезу? Можетъ ли она отречься отъ той вѣры въ истинный разумъ, въ истинное слово, которая проникала ее отъ начала? Не думаю. Но во всякомъ случаѣ, такая вѣра нуждается въ оправданіи, и тотъ философскій синтезъ, который требуется нынѣ, долженъ удовлетворять универсально-историческимъ требованіямъ. Возможенъ ли такой синтезъ или нѣтъ, этихъ требованій уже нельзя и не слѣдуетъ понижать; и въ томъ-то и назначеніе скептицизма, чтобы стоять на стражѣ философіи и быть ея постоянною, живой обличительной совѣстью, мѣшая ей принимать человѣческіе „идолы“ за вѣчные идеалы.

III.

Василій Петровичъ былъ скептикомъ особеннаго типа, въ которомъ философское сомнѣніе и логическій критицизмъ сочетались съ глубокой любовью къ философіи. Его скептицизмъ не былъ отвлеченнымъ ученіемъ о невозможности философіи. Подобно большинству изъ любителей философіи нашего поколѣнія, онъ началъ съ модныхъ, въ семидесятыхъ годахъ, англійскихъ ученій; но онъ быстро извѣрился и въ эмпирической логикѣ и психологіи, убѣдившись въ логической несостоятельности первой и совершенной безсодержательности второй. Онъ и впослѣдствіи отрицалъ философское значеніе современной психологіи, въ чемъ, по моему крайнему разумѣнію, былъ совершенно правъ, и что съ такою убѣдительностью показываютъ новѣйшія психометрическія упражненія, путемъ которыхъ иные наивные люди думаютъ разрѣшить вѣковѣчныя проблемы умозрѣнія¹⁾. Не удовлетворяла В. П. Преображенскаго и столь по-

¹⁾ Разумѣется, спеціально-научнаго значенія психо-физики или психо-физиологіи, какъ особаго отдѣла общей физиологіи, онъ не отрицалъ.

пулярная, лѣтъ двадцать тому назадъ, „синтетическая“ философія Герберта Спенсера, основнымъ началомъ которой онъ посвятилъ выдающуюся работу въ своемъ кандидатскомъ сочиненіи „О реализмѣ Герберта Спенсера“.

За эту работу онъ былъ оставленъ при университетѣ. Ему открывалась профессорская карьера, въ которой его блестящія способности обеспечивали ему успѣхъ и извѣстность. И несмотря на свое безграничное трудолюбіе, на неустанную научную дѣятельность, руководимую высшимъ интересомъ, онъ вскорѣ отказался отъ учительства, къ удивленію всѣхъ насъ, цѣнившихъ его знанія и умственную силу: онъ считалъ себя слишкомъ субъективнымъ, чтобы учить философіи; онъ сознавалъ себя слишкомъ скептикомъ, слишкомъ пекателемъ, чтобы быть преподавателемъ; онъ дорожилъ независимостью своей умственной жизни.

Отъ эмпириковъ В. П. еще въ университетѣ перешелъ къ Канту и къ метафизикамъ, древнимъ и новымъ. Метафизическія построенія, не удовлетворяя его логическимъ требованіямъ, привлекали его глубиною и красотою, полетомъ мысли. Его скептицизмъ состоялъ въ глубокомъ сознаніи неизбежной субъективности человеческой мысли, неизбежной условности и относительности чистой мысли. Это сознаніе питалось въ немъ тщательнымъ критическимъ изученіемъ отдѣльныхъ ученій въ ихъ происхожденіи и развитіи. И съ этой точки зрѣнія достоинство отдѣльныхъ ученій, философскихъ, нравственныхъ или религіозныхъ, измѣрялось для него достоинствомъ, геніальностью, творчествомъ той субъективной личности, которая въ нихъ раскрывалась. Вотъ почему онъ чувствовалъ особое влеченіе къ философскимъ признаніямъ тѣхъ мыслителей, которые дали наиболѣе искреннее выраженіе своей личной мысли, выразили свою внутреннюю умственную жизнь и свое лично настроенное міросозерцаніе въ лирической формѣ дневника, афоризма, монолога или проповѣди. Таковы были для него Амизель и Паскаль, Ницше и Сѣрентъ-Кьѣрнегоръ. Онъ любилъ Шопенгауэра за глубокое выраженіе его индивидуальнаго философскаго лиризма, любилъ Платона за геніальное художество и высокую честность его мысли, за его скепсисъ въ сочетаніи съ глубокимъ идеальнымъ эросомъ, съ вдохновеннымъ творческимъ паэосомъ.

И однако онъ не былъ послѣдователемъ тѣхъ мыслителей, которыми увлекался, — Платона или Шопенгауэра, Ницше или Кьѣркегора. „Мнѣ часто кажется, — говоритъ онъ, — что главное основаніе, опредѣляющее характеръ тѣхъ метафизическихъ и религіоз-

ныхъ системъ, которыя человѣкъ строитъ себѣ, очень похожи на инстинктъ самосохраненія, и его можно назвать *идеальнымъ самосохраненіемъ*. Всякій строитъ себѣ домъ по потребностямъ и вкусамъ — разумѣется, соображаясь со средствами, и у кого ихъ нѣтъ, тотъ селится въ чужомъ домѣ, или ночуетъ подъ первой попавшейся крышей и даже подъ открытымъ небомъ; но всегда человѣкъ ищетъ себѣ такого обиталища, которое отвѣчаетъ его глубокимъ потребностямъ и влеченіямъ, и инстинктивно строитъ себѣ міръ такимъ, въ какомъ онъ желалъ бы жить и дѣйствовать. Одинъ ищетъ спокойнаго и уютнаго жилища, другой — мрачныхъ, но величественныхъ развалинъ, третій — благоустроенныхъ казармъ, а четвертый — сумасшедшаго дома. Я думаю, что и достоинство міровоззрѣній опредѣляется въ концѣ концовъ достоинствомъ тѣхъ потребностей, которыя нашли въ нихъ свое выраженіе, ибо потребности бываютъ и благородными и низменными, а инстинктъ самосохраненія — иногда извинительнымъ, а иногда достойнымъ презрѣнія“.

Нѣтъ аксіомъ чистой философіи. „Всеобщія и необходимыя истины — это такія истины, которыхъ многіе вовсе не знаютъ и которыя, большею частью, никому ненужны“. Но еще менѣе возможно было бы говорить о какихъ-либо „аксіомахъ воли“ и подвергать тѣ или другія философскія ученія отвлеченно-моральной оцѣнкѣ. „Во всѣхъ спорахъ о нравственномъ и безнравственномъ забывается одно, что нѣтъ *аксіомъ воли*, иначе говоря, что въ основаніи человѣческой дѣятельности и всякихъ нравственныхъ идеаловъ лежатъ не логическія истины, а коренныя влеченія человѣка. Ихъ можно развивать, передѣлывать или истреблять путемъ личнаго и историческаго воспитанія, но нельзя логически доказывать или опровергать. Жизненность и практическое вліяніе игравшихъ историческую роль нравственныхъ системъ основались, конечно, не на логической состоятельности и строгомъ проведеніи ихъ отвлеченныхъ началъ, а на притягательности тѣхъ живыхъ типовъ идеальнаго человѣка, которые безотчетно выражались и описывались въ этихъ системахъ. А эти типы — созданія воли, а не построенія разума, и нравственность — такое же *творчество*, какъ искусство. Всякое убѣжденіе логическими средствами бываетъ здѣсь только призракомъ, заслоняющимъ собою незамѣтно подкрадывающееся *вынушеніе*; а слѣдовательно, всякое *обоснованіе нравственности* оказывается въ концѣ концовъ только скрытою *проповѣдью морали*“.

Я знаю, что многимъ такое отношеніе къ философскимъ и нравственнымъ ученіямъ покажется недостаточно глубокимъ, недоста-

точно продуманнымъ. Люди, вѣрующіе въ то или другое „философское изобрѣтеніе“ чужого или собственнаго измышленія, могутъ, пожимаая плечами, произнести суровый приговоръ надъ такимъ скептицизмомъ. Но пусть попробуютъ иные люди, успокоивающіеся на томъ или другомъ ограниченномъ міросозерцаніи, изучить исторію человѣческой мысли съ тою же любовью слова, съ тѣмъ же уваженіемъ къ философіи и къ *чужой* философіи, съ какими Преображенскій ее изучалъ; пусть попробуютъ они, вмѣстѣ съ великими умами прошлаго, пережить ихъ различныя ученія и логически ихъ продумать и провѣрить, и тогда они поймутъ скептицизмъ Преображенскаго, если даже и не согласятся съ нимъ. Они не осудятъ его, какъ пустой парадоксъ.

„Инстинктивная вражда къ парадоксамъ, — писалъ Преображенскій, — одинъ изъ вѣрнѣйшихъ признаковъ вульгарности мысли: вѣдь, всякая дѣйствительная идея всегда является въ видѣ парадокса. Теорія Коперника была рѣзкимъ парадоксомъ; убѣжденіе Колумба, что въ Индію можно приплыть, плывя на западъ, было такимъ же парадоксомъ. Платоновскія идеи были ослѣпительнымъ парадоксомъ... парадоксомъ мрачнымъ, испугавшимъ міръ. Но не говоря уже о такихъ парадоксахъ „въ большомъ стилѣ“, — развѣ каждая мысль, хоть немного уклоняющаяся отъ общепринятыхъ мнѣній, не является парадоксомъ? — только у людей вульгарныхъ бываютъ обыкновенно грубыя уши, которыя рѣдко чувствуютъ маленькіе диссонансы и не замѣчаютъ этой повседневной парадоксальности. Отсюда и происходитъ, что въ обычныхъ понятіяхъ парадоксы отождествляются съ бьющими на эффектъ глупостями... Любопытно наблюдать ту напряженную важность выучныхъ животныхъ, которая вдругъ является на лицѣ „серіозныхъ“ людей, когда они спяются понять парадоксальную мысль; потомъ съ облегченнымъ сердцемъ говорятъ: „да вѣдь это парадоксъ!“ Сіяніе торжества, появляющееся въ эту минуту въ ихъ взорахъ, есть ореолъ вульгарности!“

Изъ всѣхъ возможныхъ родовъ философіи скептицизмъ всегда и наиболѣе всего парадоксаленъ; онъ парадоксаленъ и для философовъ, ужившихся съ вѣрой въ систему, и для толпы, которая привыкла ни въ чемъ не сомнѣваться и охотнѣе приметъ на себя ярмо любого ученія, чѣмъ согласится извѣдать жало сомнѣнія. „Бываютъ люди, у которыхъ ограниченность есть не только свойство ихъ натуры, но и самый задушевный ихъ идеалъ, иногда единственный идеалъ ихъ жизни“... Для такихъ людей скептицизмъ

безопасенъ, но они не любятъ его, какъ нарушителя общественной тишины и спокойствія.

Есть, впрочемъ, скептицизмъ и скептицизмъ, какъ есть вѣра и вѣра. Есть ложный скептицизмъ, вызываемый равнодушіемъ къ истинѣ, лѣнью ума и холодомъ сердца, которое отдѣляется ироніей и отрицаніемъ отъ вопросовъ жизни; и есть вѣра, отъ которой также вѣетъ могильнымъ холодомъ и тлѣніемъ. Есть вѣра и скептицизмъ, которые служатъ только личиною или только привычною гримасой. Есть вѣра сердечная и просвѣтленная, всеобъемлющая, живая и радостная вѣра, удѣлъ немногихъ избранныхъ, каковымъ былъ В. С. Соловьевъ, другъ Преображенскаго, теперь тоже умершій безвременно. И есть скептицизмъ, исполненный тоски по такой вѣрѣ, скептицизмъ мужественно-честный, плодъ чуткой совѣсти и жажды духовной, великихъ требованій сильнаго ума и благороднаго сердца, какое было въ Василии Петровичѣ.

„Нужно умѣть глядѣть вещамъ въ глаза, и когда эти глаза косятъ, не слѣдуетъ говорить, что они смотрятъ яснымъ и умильнымъ взоромъ“.

...„Мы слишкомъ стали рационалистами, чтобы вѣрить, — пишетъ онъ, — но наше несчастье, пожалуй, и достоинство, что мы неспособны къ торжествующей *suffisance* прежняго рационализма. Мы устранили вѣру, но не утратили тоски по вѣрѣ. Мы никогда уже не отдѣлаемся отъ сознанія, что религія есть *человѣческое* твореніе, поклоняться которому мы всегда будемъ считать худшимъ изъ грѣховъ — *идолопоклонствомъ*. Но какъ иногда соблазнительно тянетъ насъ къ себѣ этотъ грѣхъ“...

Читая эти строки и многія другія, исполненные глубокой грусти и муки душевной, въ нихъ видишь то столь рѣдкое „добросовѣстное невѣріе“, о которомъ такъ хорошо говорилъ В. С. Соловьевъ въ своей послѣдней, предсмертной книгѣ и которое онъ такъ цѣнилъ и уважалъ при всей своей религіозности и именно благодаря своей религіозности. И В. П. Преображенскій стремился найти вѣру, чуждую идолопоклонства; не даромъ его такъ притягивалъ образъ духовнаго мученика вѣры — Сѣрена Кьеркегора.

„Счастливы тѣ, кто ни разу не слышалъ внутри себя беззвучнаго, но внятнаго шопота: „въ жизни нѣтъ смысла“. Шопотъ этотъ, можетъ-быть, и лжетъ: „внутренній голосъ“ вообще чаще ошибается, чѣмъ говорить правду; и, однако, отдѣлаться отъ него такъ же трудно, какъ отъ галлюцинаціи. Пожалуй, можно даже назвать его галлюцинаціей внутреннего слуха, — того слуха, кото-

рымъ мы слышимъ бѣненіе духовнаго пульса нашей жизни. Какое нужно страшное усиліе воли, чтобы овладѣть этой галлюцинаціей! Такого усилія воли мы, слабовольные люди, сдѣлать не въ состояніи. Такъ и влачимъ мы наше больное существованіе, жалкіе страдалцы собственнаго безсилія, вѣчные мученики безъ мученическаго вѣнца“.

Но не безсиліе сказывается въ этомъ страданіи, а напротивъ, сила духовной жажды, сила идеала. „Идеаль есть крестъ, который мы несемъ на себѣ. Но мы не всегда несемъ его добровольно и часто изнемогаемъ подъ его тяжестью. И вотъ, мы вдвойнѣ страдаемъ во образѣ Христа и во образѣ Симона Киринейскаго“.

Человѣкъ, написавшій эти строки, не былъ „эстетомъ“, не былъ умственнымъ эпикурейцемъ, какимъ иные его считали. Заповѣдь о кумирахъ, о которой мы говорили, онъ соблюдалъ въ *полномъ* ея объемѣ, въ противоположность большинству тѣхъ мнимыхъ скептиковъ обычнаго типа, которые считаютъ себя свободными мыслителями только потому, что они отвергаютъ наиболѣе возвышенные кумиры „на небеси горѣ“ и съ тѣмъ большимъ самодовольствомъ создаютъ ихъ себѣ „на землѣ низу“ или ищутъ ихъ въ мутной водѣ современной дѣйствительности. Не такъ думалъ Василій Петровичъ.

„Кто привыкъ жить на горахъ и дышать ихъ чистымъ, яснымъ и холоднымъ, какъ небо, воздухомъ, тому тѣсно и душно бываетъ въ низкой и близкой къ землѣ долині; въ его возвышенномъ одиночествѣ такъ мелки и блѣдны кажутся ему и возня людей внизу, и ихъ уютное самодовольство, не думающее ни о томъ, что съ горы вѣетъ тотъ воздухъ, которымъ они дышатъ, и бѣгутъ тѣ ручьи, которые утоляютъ ихъ жажду — ни о томъ, что съ горъ же срываются лавины, погребаяющія ихъ жалкія лачуги и селенія. Такъ думаютъ люди идеаловъ; люди практической жизни думаютъ по-другому... Кто правъ?“

Однимъ изъ самыхъ обычныхъ кумировъ „на землѣ низу“ служить прогрессъ человѣчества, его культура, его совершенствованіе, В. П. не вѣрилъ и въ этотъ кумиръ. „Быть можетъ, самый глубокий смыслъ завоеваній культуры состоитъ въ укрощеніи и покореніи живущихъ въ человѣкѣ звѣрскихъ инстинктовъ? Но есть и обратная сторона въ этомъ процессѣ. Вѣдь совсѣмъ истребить въ человѣкѣ такіе инстинкты невозможно: они не умираютъ, а перерождаются. Дикій и жестокій звѣрь, жившій въ человѣкѣ когда-то, и не очень давно, превратился въ маленькаго плутоватаго хищ-

ника. Узаконенный обычаемъ разбой, грубое насилие, по праву и по праву, звѣрская жестокость въ эксплуатаціи низшихъ — всѣ эти мрачныя черты средневѣковья почти немислимы въ настоящее время; но зато человѣкъ новаго времени развилъ въ себѣ такую изобрѣтательность на тысячи формъ корыстнаго плутовства и такое изощреніе во всевозможныхъ способахъ мелкаго мошенничества, какія немислимы, да и не нужны были въ эпоху средневѣковья. А это очень большой и серьезный вопросъ, что хуже въ моральномъ отношеніи, первое или второе? Такой моральной двусмысленности въ развитіи культуры никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду при разсужденіяхъ о нравственномъ прогрессѣ человѣчества". Этого мало: "Человѣкъ никогда не дѣлаетъ одинъ и *для себя* такихъ жестокостей, которыя онъ дѣлаетъ вмѣстѣ съ другими и *для другихъ*. Общественность есть хранительница животности". Глубокимъ пессимизмомъ вѣетъ отъ этихъ строкъ; но за современнымъ культурнымъ человѣчествомъ В. П. отрицаетъ даже право на пессимизмъ. "Чтобы серьезно задать вопросъ о цѣнности жизни и чтобы имѣть право отвѣтить на этотъ вопросъ отрицаніемъ, нужно увидѣть жизнь въ самомъ яркомъ возможномъ для нея блескѣ; мало того — нужно быть творцомъ и участникомъ этой жизни. Не коммерческій балансъ рыночныхъ цѣнностей жизни опредѣляетъ истинную стоимость послѣдней, и не нашей жалкой культурѣ съ ея измелъчавшимъ и болѣзненнымъ человѣчествомъ, съ ея обожествленіемъ массовой посредственности, съ ея безцвѣтными идеалами и поблекшими, выдохшимися чувствами, — не ей отвѣчать на вопросъ о томъ, чего стоитъ вообще человѣческая жизнь. Когда человѣчество создастъ себѣ новый строй и мощную просвѣтленную культуру, — если только это когда-нибудь будетъ, — тогда оно приобрететъ и право произнести настоящій судъ и надъ самимъ собою, и вообще надъ человѣческой жизнью. Каковъ же будетъ его приговоръ? Быть можетъ, таковъ: среди самаго богатаго и пышнаго расцвѣта человѣческой жизни увидать печаль ея глубочайшаго счастья, — и въ этой провѣи надъ лучшимъ и высшимъ, что можетъ дать жизнь, въ этомъ послѣднемъ торжествѣ своего гордаго сознанія и непреклонной воли увидать свое величіе, возликовать побѣднымъ веселіемъ и... съ такой застывшей на лицѣ трагической гримасой отойти въ вѣчность?!"

Эти строки встрѣтятъ, быть можетъ, наибольшее осужденіе. Мы легче прощаемъ всякое невѣріе, чѣмъ невѣріе въ человѣчество. А между тѣмъ въ этомъ сознаніи человѣческаго ничтожества всего

сильнѣе сказывается неподкупность человѣческаго сердца, его неумиряющее духовное стремленіе къ сверх-человѣческому идеалу. Въ этомъ пессимизмѣ, въ этомъ отрицаніи нѣтъ хулы на духа, нѣтъ хулы на человѣка. Это только отрицательное выраженіе высшаго идеализма, это послѣдняя ступень высшаго невѣрія, которая составляетъ обратную сторону и конечное человѣческое условіе великой, просвѣтленной вѣры, конечный результатъ человѣческой мысли, честной до конца. Такое неподкупное невѣріе нелегко дается человѣку, и осуждаютъ его только тѣ, которые не знаютъ, что такое вѣра. Оно рѣдко въ наши дни, столь же рѣдко, какъ истинная вѣра, и насъ не должно удивлять то чувство глубокаго неудовлетворенія, которое выноситъ В. П. Преображенскій отъ духовнаго состоянія современнаго человѣка, та отрицательная оцѣнка его духовнаго творчества, которую мы у него находимъ.

„Вѣкъ *большого стиля* прошелъ и для жизни и для искусства, и лишь призракъ его носится иногда въ музыкѣ“...

„У всякаго времени бываетъ свой характеръ безпокойства. Такъ и въ наше время всюду чувствуется особенное томящее безпокойство, и всѣ мучатся мелкими и тривіальными мыслями и ощущеніями, которыя тащатся и мѣшаютъ итти, какъ не очень большая, но неловко привѣшенная тяжесть. Это безпокойство — не та тревога, которую бьетъ трепещущее сердце въ пору разгорающейся молодости, — не тотъ глухой, но могучій, какъ ропотъ толпы, шумъ, который вдругъ подымается въ душѣ, когда въ ней пробуждается великая мысль или великое дѣло; это прозаическое безпокойство утомленнаго и растерявшагося отъ долгой дороги пассажира, который сѣлъ въ вагонъ и озирается, съ нимъ ли его вещи, не забылъ ли онъ чего нужнаго, не будутъ ли ему мѣшать сосѣди, — и даже туда ли онъ ѣдетъ, куда слѣдуетъ“.

Искать ли отвѣта на мучительные духовные вопросы въ философіи, или усыплять себя въ мелкомъ будничномъ счастьѣ? Но и для этого нужно вѣрить въ то и другое. И вотъ какъ говорилъ объ этомъ Василій Петровичъ: „На свѣтѣ существуютъ сотни формъ *мелкаго* счастья, и кто знаетъ! Быть можетъ, весь секретъ жизненной мудрости состоитъ именно въ томъ, чтобы умѣть сберечь въ себѣ способность наслаждаться такимъ непритязательнымъ, мѣщански скромнымъ счастьемъ! А умѣть дарить такое счастье, развѣ это не высшая добродѣтель! Особенно, когда самъ не вѣришь въ цѣну такого счастья, и изъ человѣколюбія скрываешь свое невѣріе! Чувство жалости, иногда гордость, иногда боязнь мѣщанства

заставляют насъ упускать изъ рукъ это мелкое счастье, и оно убѣгаетъ отъ насъ, смѣясь своимъ серебристымъ смѣхомъ. И кто знаетъ, когда мы бываемъ больше обмануты — отдаваясь ли налетѣвшему счастью, или грустя о счастьи улетѣвшемъ? Отвѣтъ на это даетъ грустная улыбка, которую часто видишь на лицѣ пожившихъ людей, когда они веселятся съ молодежью“.

Но если въ жизни и возможно мириться съ будничнымъ „мелкимъ счастьемъ“, то съ „мелкимъ счастьемъ“ въ философіи мириться нельзя. А между тѣмъ, разсматривая современное состояніе философіи, мы чаще всего находимъ въ ней именно формы самодовольнаго мелкаго счастья мысли, которыми не можетъ удовольствоваться требовательный умъ. „Мы какъ-то не вѣримъ больше въ возможность философскихъ *открытій*, — пишетъ В. П., — и самое исканіе какихъ-то особенныхъ „истинъ“, которыя обновятъ міръ, намъ кажется чѣмъ-то старомоднымъ. Мы чувствуемъ, что въ философіи давно уже наступилъ вѣкъ изобрѣтеній, серьезно заниматься которыми намъ мѣшаетъ наша умственная совѣсть. Но мы привыкли къ утонченнымъ наслажденіямъ и забавамъ и воспитали въ себѣ эпикуренскія мысли, умѣющія цѣнить и тонкій ароматъ изящнаго полускептицизма и сладкій дурманъ поэтической полувѣры. Намъ тянетъ къ себѣ лирика мысли, то возбуждающая, то баюкающая, — и вотъ мы философствуемъ“...

Для себя лично ни полускептицизма, ни полувѣры В. П. не допускалъ, какъ ни цѣнилъ онъ лирику мысли и возвышенныя наслажденія философіи. „Всякій строитъ себѣ домъ по потребностямъ и вкусамъ“, — говорилъ онъ, — всякій строитъ себѣ міръ, въ которомъ онъ желалъ бы жить. Умственный домъ, который построилъ себѣ В. П. Преображенскій, былъ библіотекой и музеемъ, въ которомъ были собраны всѣ высшія и лучшія произведенія человѣческаго творчества, человѣческаго слова и человѣческой мысли; здѣсь не было ничего поддѣльнаго и сомнительнаго, не было хлама и мусора, не было безпорядка. Видно было, что все собранное хранится съ любовью и что не праздное коллекціонерство, а сознательная, глубокая любовь къ истинно-прекрасному руководитъ хозяиномъ, который щедро дѣлился съ друзьями тѣмъ, что имѣлъ, вынося изъ сокровищницы своей старое и новое. И когда онъ говорилъ о какомъ-либо произведеніи поэзии, философіи, музыки, которую онъ страстно любилъ и изучалъ, казалось, онъ дѣйствительно стоялъ передъ этимъ произведеніемъ. И тѣмъ не менѣе всѣ тѣ эстетическія наслажденія, которыя онъ черпалъ столь жадно въ мірѣ

музыки и поэзии, ни умственные наслаждения философии, ни скорби и заботы той труженической жизни, которая такъ рано надорвала его силы, не могли заглушить его томительной духовной жажды.

Впечатлѣніе, вынесенное имъ отъ жизни, не было эстетическимъ удовольствіемъ любителя; не оно во всякомъ случаѣ сквозить въ его замѣткахъ и афоризмахъ; не оно сквозило и въ его личности и въ его бесѣдахъ. Впечатлѣніе его было, скорѣе, „впечатлѣніемъ странника“ — такъ называется стихотвореніе, написанное имъ „въ чужихъ краяхъ“.

Иная жизнь, иное племя,
Иныя скорби и мечты;
Но не одно ли жизни бремя
Несутъ рабы земной тщеты?
И пестрый рой дневныхъ видѣній,
И ночи тягостные сны —
Все тотъ же шумъ земныхъ твореній
На лонѣ вѣчной тишины.

Надъ могилой В. П. Преображенскаго Л. М. Лопатинъ говорилъ о томъ горячемъ сердцѣ и о той крупной умственной силѣ, которую мы въ немъ потеряли. Эта умственная сила импонировала: она чувствовалась въ его словѣ, всегда мѣткомъ и оригинальномъ; она свѣтилась въ немъ. Его скептицизмъ далъ намъ, близко знавшимъ его, больше многихъ догматическихъ построеній. Никто не умѣлъ лучше его понять чужую мысль, перенестись на чужую точку зрѣнія. Отъ этого онъ былъ такимъ цѣннымъ, незамѣнимымъ редакторомъ нашего философскаго журнала. Каждый сотрудникъ могъ найти въ немъ не только критика, но совѣтника. Могу засвидѣтельствовать это и изъ личнаго опыта: какъ далеко ни расходились мы съ нимъ въ основныхъ религіозныхъ и философскихъ вопросахъ, я ничего не печаталъ безъ его совѣта и критики, прося его редакторской помощи даже для тѣхъ трудовъ, которые не помещались въ „Вопросахъ Философіи“. Да и нельзя было не считаться съ его мнѣніемъ, нельзя было найти критика болѣе объективнаго, чуткаго къ чужой мысли. Поэтому и споръ съ нимъ никогда не былъ бесплоднымъ споромъ. Мы дѣйствительно потеряли въ немъ силу...

Кончая, я опять-таки спрашиваю себя: хорошо ли я дѣлаю, говоря о немъ, не совершаю ли нескромности, говоря о человѣкѣ, который *хотѣлъ* оставаться въ тишинѣ, съ своими думами и сомнѣніями и всего менѣе думалъ дѣлиться съ другими своей жаждой

духовной? Да и точно ли передалъ я черты этой сложной, живой и страстной натуры, этого своеобразнаго и сильнаго ума, который сочетался въ немъ съ такимъ нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ? Въ каждой личности есть нѣчто незамѣнимое, свое, нѣчто индивидуальное, ея суть, которая въ ней всего дороже, съ чѣмъ всего труднѣе, съ чѣмъ невозможно разстаться. Эту неумирающую суть, эту душу человѣческой личности, все равно, не передашь въ словахъ; да въ глубину ея и не заглянешь. Мы говоримъ только о ея образѣ. Да простить намъ Василій Петровичъ, если мы показываемъ другимъ этотъ цѣнный, дорогой для насъ образъ!

1900 г. „Вопросы философіи и Психологіи“.

Смерть В. С. Соловьева.

(Въ качествѣ некролога).

31 іюля 1900 г.

Вл. С. Соловьевъ пріѣхалъ въ Москву вечеромъ 14-го іюля и провелъ ночь въ „Славянскомъ Базарѣ“. Выѣхалъ онъ совершенно здоровый изъ с. Пустынки, со станціи Саблино, но уже по пріѣздѣ въ Москву почувствовалъ себя нездоровымъ. 15-го, утромъ, въ день своихъ именинъ, онъ былъ въ редакціи „Вопросовъ Философіи“, гдѣ оставался довольно долго и послалъ разсыльнаго переговорить со мной по телефону. Я звалъ его къ себѣ, въ подмосковную моего брата, с. Узкое, и предложилъ ему ѣхать изъ Москвы съ Н. В. Давыдовымъ, его хорошимъ знакомымъ и моимъ родственникомъ, котораго я ждалъ къ обѣду. Въ редакціи Владиміръ Сергѣевичъ не производилъ впечатлѣнія больного, былъ разговорчивъ и даже написалъ юмористическое стихотвореніе. Изъ редакціи онъ отправился къ своему другу, А. Г. Петровскому, котораго онъ поразилъ своимъ дурнымъ видомъ, а отъ него уже совсѣмъ больной прибылъ на квартиру Н. В. Давыдова. Не заставши его дома, онъ вошелъ и легъ на диванъ, страдая сильной головною болью и рвотой. Черезъ нѣсколько времени Н. В. Давыдовъ вернулся домой и былъ очень встревоженъ состояніемъ Владиміра Сергѣевича, объявившаго ему, что ѣдетъ съ нимъ ко мнѣ въ Узкое. Онъ нѣсколько разъ пытался отговорить его отъ этой поѣздки, предлагалъ ему остаться у себя, но Владиміръ Сергѣевичъ рѣшительно настаивалъ. „Это вопросъ принципиально рѣшенный, — сказалъ онъ, — и не терпящій измѣненія. Я ѣду, и если вы не поѣдете со мной, то поѣду одинъ, а тогда хуже будетъ“. Н. В. Давыдовъ спрашивалъ меня по телефону, и я, думая, что у Соловьева простая мигрень, совето-

валъ предоставить ему дѣлать, какъ онъ хочетъ. Прошло нѣсколько часовъ, въ продолженіе которыхъ больной просилъ оставить его отдыхать. Наконецъ, онъ сдѣлавъ усиліе, всталъ и потребовалъ, чтобы его усадили на извозчика. Наступилъ вечеръ, погода была скверная и холодная, шелъ дождикъ, предстояло ѣхать 16 верстъ, но оставаться Соловьевъ не хотѣлъ. Дорогой ему стало хуже; онъ чувствовалъ дурноту и полный упадокъ силъ, и когда онъ подъѣхалъ, его почти вынесли изъ пролетки и уложили на диванъ въ кабинетъ моего брата, гдѣ онъ пролежалъ сутки, не раздѣваясь.

На другой день, 16-го, былъ вызванъ докторъ А. Н. Бернштейнъ, а 17-го пріѣхалъ Н. Н. Аванасьевъ, который и пользовалъ Владимира Сергѣевича до самой его смерти. Кромѣ того, его посѣщали московскіе доктора, А. А. Корниловъ, бывшій у него три раза, профессоръ А. А. Остроумовъ, слѣдившій за болѣзnią, и А. Г. Петровскій. Такъ какъ Н. Н. Аванасьевъ долженъ былъ временно отлучаться по дѣламъ службы, то на помощь ему былъ приглашенъ А. В. Власовъ, ординаторъ проф. Черинова, находившійся при больномъ безотлучно.

Врачи нашли полнѣйшее истощеніе, упадокъ питанія, сильнѣйшій склерозъ артерій, циррозъ почекъ и уремию. Ко всему этому примѣшался, повидимому, и какой-то острый процессъ, который послужилъ толчкомъ къ развитію болѣзни.

Въ послѣдніе дни температура сильно поднялась (въ день смерти до 40°), появились отекъ легкихъ и воспаленіе сердца. Состояніе съ самаго начала было признано крайне серіознымъ. Нельзя не отмѣтить самаго внимательнаго и серіознаго отношенія со стороны врачей, лѣчившихъ Владимира Сергѣевича и сдѣлавшихъ все, что было въ ихъ силахъ.

Первые дни Владиміръ Сергѣевичъ сильно страдалъ отъ острыхъ болей во всѣхъ членахъ, особенно въ ногахъ, спинѣ, головѣ и шеѣ, которую онъ не могъ повернуть. Затѣмъ боли нѣсколько утихли, но осталось дурнотное чувство и мучительная слабость, на которую онъ жаловался. Больной бредилъ и самъ замѣчалъ это. Повидимому, онъ все время отдавалъ себѣ отчетъ въ своемъ положеніи, несмотря на свою крайнюю слабость. Онъ впадалъ въ состояніе полубытія, по почти до конца отвѣчалъ на вопросы и при усилии могъ узнавать окружающихъ.

Первую недѣлю онъ иногда разговаривалъ, особенно по общимъ вопросамъ, и даже просилъ, чтобы ему читали телеграммы въ газетахъ. Его мысль работала и сохранила ясность еще тогда, когда онъ съ трудомъ могъ разбираться во внѣшнихъ своихъ воспріятіяхъ. Онъ пріѣхалъ подъ впечатлѣніемъ тѣхъ міровыхъ событій, которымъ по-

священа последняя подписанная имъ статья, помѣщенная выше¹⁾. Онъ собирався ее дополнить и обработать, хотѣлъ мнѣ ее прочесть, но не могъ. Онъ пенялъ мнѣ на мою замѣтку, помѣщенную въ „Вопросахъ Философіи“²⁾ и набросанную еще до разгара китайскаго движенія. Я обѣщалъ ему исправить мою невольную ошибку и, сидя около него, перекидывался съ нимъ словами о великомъ и грозномъ историческомъ переворотѣ, который мы переживаемъ и который онъ давно предсказывалъ и предчувствовалъ. Я вспомнилъ его замѣчательное стихотвореніе, „Панмонголизмъ“³⁾, написанное еще въ 1894 году и последняя строфа котораго вѣзлась мнѣ въ память.

— Какое твое личное отношеніе къ китайскимъ событіямъ теперь, что они наступили? — спросилъ я Владиміра Сергѣевича.

— „Я говорю объ этомъ въ моемъ письмѣ въ редакцію „Вѣстника Европы“, — отвѣчалъ онъ. — Это крикъ моего сердца. Мое отношеніе такое, что все кончено; та магистраль всеобщей исторіи, которая дѣлилась на древнюю, среднюю и новую, пришла къ концу... Профессора всеобщей исторіи упраздняются... ихъ предметъ теряетъ свое жизненное значеніе для настоящаго; о войнѣ алой и бѣлой розъ больше говорить нельзя будетъ. Кончено все!... И съ какимъ нравственнымъ багажомъ идутъ европейскіе народы на борьбу съ Китаемъ!... христіанства нѣтъ, идей не больше, чѣмъ въ эпоху троянской войны; только тогда были молодые богатыри, а теперь старички идутъ!“ — И мы говорили объ убожествѣ европейской дипломатіи, проглядѣвшей надвигавшуюся опасность, о ея мелкихъ алчныхъ расчетахъ, о ея неспособности обнять великую проблему, которая ей ставится, и разрѣшить ее раздѣломъ Китая. Мы говорили о томъ, какъ у насъ иные все еще мечтаютъ о союзѣ съ Китаемъ противъ англичанъ, а у англичанъ о союзѣ съ японцами противъ насъ. Владиміръ Сергѣевичъ прочиталъ мнѣ свое последнее стихотвореніе, написанное по поводу рѣчи императора Вильгельма къ войскамъ, отправлявшимся на дальній Востокъ. Онъ привѣтствуетъ эту рѣчь, на которую обрушились и русскія, и даже нѣмецкія газеты; онъ видитъ въ ней рѣчь крестоносца, „потомка меченосной рати“, который „передъ пастью дракона“ понималъ, что „крестъ и мечъ — одно“. Затѣмъ рѣчь снова вернулась къ

¹⁾ См. въ „Вѣстникѣ Европы“ 1900 г. кн. 9-я статья В. С. Соловьева „По поводу послѣднихъ событій“.

²⁾ См. въ „Вопросахъ философіи и психологіи“ 1900 г. кн. 53 въ отдѣлѣ критики и библиографіи, статья кн. С. Трубецкаго „Три разговора“... и т. д. Эта статья войдетъ въ составъ одного изъ слѣдующихъ томовъ этого изданія.

³⁾ См. выше на 81 стр. въ статьѣ: „Россія на рубежѣ“. Приведена вся вышеупомянутая строфа.

намъ, и Владиміръ Сергѣевичъ высказалъ ту мысль, которую онъ проводилъ еще десять лѣтъ тому назадъ въ своей статьѣ „Китай и Европа“, — что нельзя бороться съ Китаемъ, не преодолевъ у себя внутренней китайщины. Въ культѣ Большого Кулака мы все равно за китайцами угнаться не можемъ: они будутъ и послѣдовательнѣе и сильнѣе насъ на этой почвѣ. Владиміръ Сергѣевичъ говорилъ и о внѣшнихъ осложненіяхъ, о грозящей опасности панисламизма, о возможномъ столкновеніи съ Западомъ, о безумныхъ усиліяхъ иныхъ патріотовъ нашихъ создать безъ всякой нужды очагъ смуты въ Финляндіи, подъ самой столицей...

Это была самая значительная бесѣда наша за время болѣзни Владиміра Сергѣевича. На второй же день онъ сталъ говорить о смерти, а 17-го онъ объявилъ, что хочетъ исповѣдаться и причаститься, „только не запасными дарами, какъ умирающій, а завтра послѣ обѣдни“. Потомъ онъ много молился и постоянно спрашивалъ: скоро ли наступитъ утро, и когда придетъ священникъ? 18-го онъ исповѣдался и причастился св. Тѣла съ полнымъ сознаніемъ. Силы его слабѣли; онъ меньше говорилъ, да и окружающіе старались говорить съ нимъ возможно меньше; онъ продолжалъ молиться то вслухъ, читая псалмы и церковныя молитвы, то тихо, осѣняя себя крестомъ. Молился онъ и въ сознаніи и въ полузабытіи. Разъ онъ сказалъ моей женѣ: „Мѣшайте мнѣ засыпать, заставляйте меня молиться за еврейскій народъ, мнѣ надо за него молиться“, и сталъ громко читать псаломъ по-еврейски. Тѣ, кто зналъ Владиміра Сергѣевича и его глубокую любовь къ еврейскому народу, поймутъ, что эти слова не были бредомъ. Смерти онъ не боялся, — онъ боялся, что ему придется „владѣть существованіемъ“, — и молился, чтобы Богъ послалъ ему скорую смерть. 24-го числа пріѣхала мать Владиміра Сергѣевича и его сестры. Онъ узналъ ихъ и обрадовался ихъ пріѣзду. Но силы его падали съ каждымъ днемъ. 27-го ему стало какъ бы легче, онъ меньше бредилъ, легче поворачивался, съ меньшимъ трудомъ отвѣчалъ на вопросы; но температура начала быстро повышаться; 30-го появились отечныя хрипы, а 31-го, въ 9½ час. вечера, онъ тихо скончался.

Его похоронили въ четвергъ 3-го августа, рядомъ съ могилой его отца, Сергѣя Михайловича; онъ говорилъ мнѣ во время болѣзни, что пріѣхалъ въ Москву, главнымъ образомъ, „къ своимъ покойникамъ“, чтобы навѣстить могилу отца и дѣда. Его отпѣвали въ университетской церкви, гдѣ еще въ раннемъ дѣтствѣ ему явилось первое его видѣніе¹⁾. Начало августа — самое глухое время въ Москвѣ, и на по-

¹⁾ Онъ упоминаетъ объ этомъ событіи въ своемъ стихотвореніи: „Три встрѣчи“, помѣщенномъ въ „Вѣстникѣ Европы“.

хоронахъ было сравнительно немного народу. Мы шли за его гробомъ съ нѣсколькими друзьями, вспоминали о немъ и говорили о томъ, какого хорошаго, дорогого и великаго человека мы хоронимъ.

Это былъ истинно великій русскій человекъ, гениальная личность и гениальный мыслитель, не признанный и не понятый въ свое время, несмотря на всеобщую извѣстность и на относительный, иногда блестящій успѣхъ, которымъ онъ пользовался. Мнѣ трудно отвлечься отъ чувства горячей дружбы и любви, которое я къ нему имѣлъ, которое имѣли къ нему всѣ, близко его знавшіе. Но во мнѣ говорить не чувство друга или послѣдователя. Вѣдь самъ же онъ писалъ, что школы онъ не имѣетъ и что послѣдователей у него нѣтъ! Горько подумать о томъ, сколько непониманія встрѣчалъ онъ при жизни, несмотря на всю ослѣпительную ясность, на художественное мастерство своего слова. Всѣхъ привлекали лишь отдѣльныя стороны его таланта, его дѣятельности, его ученія. Одни цѣнили въ немъ только публициста, другіе — критика, третьи — философа. Всѣмъ, или почти всѣмъ, было чуждо его ученіе въ томъ, что для него самого было всего дороже, т.-е. въ своей полнотѣ и цѣльности, въ своемъ основаніи.

О достоинствѣ философскихъ построеній вообще могутъ существовать различныя мнѣнія; но если человечество чтитъ имена великихъ мыслителей, создавшихъ системы цѣлостнаго міропониманія, то имя Владимира Соловьева причтется къ ихъ именамъ. Пусть назовутъ мнѣ въ новѣйшей исторіи мысли философскій синтезъ болѣе широкій, чѣмъ тотъ, который былъ задуманъ имъ съ такою глубиной, такъ ясно, стройно и смѣло? Пусть укажутъ мнѣ философское ученіе, которое, признавая въ полной мѣрѣ результаты современнаго знанія и его строгіе методы, сочетало бы съ нимъ умозрѣніе столь возвышенное, широкое и смѣлое, столь враждебное всякому догматизму и вмѣстѣ столь непосредственно проникнутое положительными религіозными началами? Художеству мысли въ его твореніяхъ соответствовало и художественное совершенство ея выраженія, и мы смѣло можемъ признать его однимъ изъ великихъ художниковъ слова не только русской, но и всемірной литературы.

Ученіе Соловьева, ученіе „Положительнаго Всеединства“, не было эклектической системой, собранной и составленной искусственно изъ разнородныхъ частей. То былъ живой органическій синтезъ, изумительный по своей творческой оригинальности и стройности, парадоксальный по самой широтѣ своего замысла и проникнутый глубокой истинной поэзіей. Уже въ раннемъ своемъ сочиненіи, въ „Критикѣ

отвлеченных начал", Владимиръ Сергѣевичъ раскрываетъ основное свое философское убѣжденіе. Всѣ отдѣльныя философскія начала, всѣ отдѣльные политическіе и нравственные принципы, нашедшіе свое выраженіе въ противоположныхъ ученіяхъ, представляются ему недостаточными и ложными, поскольку они утверждаются въ своей отвлеченности, поскольку они берутся въ своей исключительности и отдѣльности. Принимая одну сторону всеединой истины за цѣлое и утверждая ее, какъ самодовлѣющую, безусловную и полную истину, мы обращаемъ ее въ ложь и приходимъ къ внутреннимъ противорѣчіямъ. И вся философская дѣятельность Вл. С. Соловьева, начавшаяся съ строго-логической, мастерской критики „отвлеченныхъ началъ“, состояла въ добросовѣстномъ усиліи „прійти въ разумъ истины“ и показать положительное, конкретное всеединство этой истины, которая не исключаетъ изъ себя ничего, кромѣ отвлеченнаго утвержденія отдѣльныхъ частныхъ началъ и эгоистическаго самоутвержденія единичной воли.

Въ ученіи Вл. С. Соловьева каждый могъ найти нѣчто свое. И вмѣстѣ каждый, сверхъ своего, находилъ въ немъ и много другого, чуждаго себѣ, казавшагося несомѣстимымъ. Одно это соединеніе возбуждало противъ него досаду и притомъ съ противоположныхъ сторонъ.

То же наблюдалось и въ сферѣ вопросовъ общественныхъ, несмотря на весь блескъ его публицистическаго таланта и возвышенность его стремленій. Его значеніе для общественнаго сознанія нашего было велико. Онъ похоронилъ славянофильство и его эпигоновъ; двадцать лѣтъ онъ былъ, безспорно, самымъ сильнымъ обличителемъ отечественныхъ „Большихъ Кулаковъ“, самымъ могущественнымъ противникомъ надвигающагося одичанія, обскурантизма и „внутренняго китаизма“. Но онъ стоялъ внѣ партій; его глубокая преданность положительнымъ началамъ государства и, въ частности, нашего русскаго государства отдаляла отъ него однихъ, точно такъ же, какъ его полемика противъ націонализма и пламенная борьба за свободу личности и свободу совѣсти, за нравственные принципы въ жизни общества и государства, отчуждала отъ него другихъ. Его общественный идеалъ былъ религіознымъ идеаломъ Царства Божія, реально осуществляющагося въ государственно-организованномъ человѣческомъ обществѣ. Сознаніе той высшей духовной цѣли, которой онъ отдавалъ всѣ свои силы, посвящалъ всю свою дѣятельность, не покидало его никогда, и онъ помнилъ о ней въ самыхъ жаркихъ и страстныхъ полемическихъ схваткахъ. Напомню, какъ въ одной изъ остроумнѣйшихъ полеми-

ческих статей, помещенных въ „Вѣстникъ Европы“, онъ сравниваетъ свою полемическую дѣятельность съ „послушаніемъ“ монаха, выметающаго соръ и нечистоты изъ монастырской ограды.

Его религіозность была такъ же широка, какъ его міросозерцаніе, и въ ней лежали самыя глубокіе корни этого міросозерцанія. То была религіозность простая и цѣльная, проникавшая все его существо, непосредственная и живая, привлекавшая къ нему сердца простыхъ людей и вмѣстѣ отчуждавшая отъ него многихъ своей глубиной, своей напряженной силой и своей шириной. Одни не могли понять, какъ мирится его мистицизмъ съ такимъ широкимъ и свѣтлымъ умомъ, съ такой могучей діалектической силой, съ такимъ универсальнымъ научнымъ образованіемъ; этотъ ученый мыслитель, знакомый со всѣми выводами новѣйшаго естествознанія, убѣжденный эволюціонистъ, наконецъ, философъ, владѣвшій всѣми приемами филологической критики, вѣрилъ въ реальный міръ духовъ, въ который вѣритъ первобытный дикарь. И эта вѣра, чуждая въ немъ всякаго суевѣрнаго страха, не была у него простою причудой: она входила въ плоть и кровь его міросозерцанія, она составляла его личную особенность, и онъ высказывалъ ее при всякомъ случаѣ, съ той единственной въ своемъ родѣ откровенностью и прямо-той, съ какою онъ вкладывалъ всю свою личность въ свои писанія. Но смущалъ онъ не однихъ скептиковъ: религіозные люди смущались самой широтой и смѣлостью его вѣры и не могли помириться съ тѣмъ универсальнымъ, *вселенскимъ* христіанствомъ, которое онъ исповѣдовалъ.

Въ немъ было изобиліе вѣры, откликавшейся на все религіозное, съ любовью принимавшей все подлинно-христіанское. То соединеніе церкви, которое было его любимой мыслью, которое онъ проповѣдовалъ въ прежніе годы, было въ душѣ его не только идеей, а живымъ совершившимся фактомъ. Въ религіозной исторіи, въ исторіи христіанства нашего вѣка, личность Владимира Соловьева займетъ подобающее ей мѣсто, какъ исповѣдника вселенскаго христіанства, который сумѣлъ жизненно усвоить и соединить въ себѣ вѣру разрозненныхъ церквей. Умолчать объ этомъ значило бы умолчать о самомъ главномъ въ духовной жизни Владимира Сергѣевича.

Глубокая и свободная личная религіозность, враждебная всякой мертвенной обрядности и догматизму, личное отношеніе ко Христу, радостная увѣренность въ Богѣ, духовное служеніе въ свѣтскомъ призваніи сближали его съ протестантствомъ. Признавая неограниченное право свободного изслѣдованія и личнаго убѣжденія, онъ раздѣлялъ и протестантское отношеніе къ писанію — въ одно и

то же время религиозно-мистическое и рационально-научное. Но христианство не ограничивалось для него личным, индивидуальным, внутренним фактом. Реальный союз Божества съ человечествомъ, или фактъ „богочеловѣчества“, являлся ему всемірнымъ, космическимъ началомъ, раскрытіемъ живого смысла вселенной, ея закономъ и конечною цѣлью ея эволюціи. Универсальное по существу, христианство должно стать всечеловѣческимъ, всемірнымъ въ дѣйствительности, чтобы осуществить Царство Божіе на землѣ. Отсюда необходимость вселенской каволической церкви, чрезъ которую осуществляется это царство, необходимость собирательной теократической организациіи человечества, созданной Христомъ. И Владиміръ Сергѣевичъ призналъ теократическій идеалъ той церкви, которая поставила его на своемъ знамени, — идеалъ католической церкви; онъ вѣрилъ въ реально-мистическое, божественное установленіе верховной духовной власти римскаго первосвященника, какъ условіе единства и внутренней независимости земной церкви. Объ отношеніи Соловьева къ католицизму много говорилось у насъ, и много сказано было невѣрнаго и даже ложнаго. Съ католической стороны его проповѣдь встрѣтила самую авторитетную *положительную* оцѣнку. Но и тамъ, какъ и у насъ, не поняли, что одинъ внѣшній католицизмъ, одно внѣшнее единство церкви подъ главою земного, Богомъ поставленнаго первосвященника еще не было для нашего мыслителя полнотою христианства или самымъ главнымъ въ христианствѣ: въ своей „повѣсти объ антихристѣ“ онъ рассказываетъ, какъ католики забываютъ о Христѣ и переходятъ на сторону Его противника во имя внѣшняго возстановленія и возвеличенія папской власти. „Ограду“ римской церкви онъ никогда не принималъ за самую церковь и самую церковь не ставилъ выше Живущаго въ ней. На ряду съ католическимъ идеаломъ христианской универсальной теократіи или „града Божія“ онъ, подобно Августину, носилъ въ себѣ евангелическій идеалъ духовной свободы во Христѣ, вѣруя что въ корнѣ, въ существѣ христианства, въ одно и то же время, и личнаго, и всемірнаго, нѣтъ и не должно быть противорѣчія или раздѣленія.

И, наконецъ, этотъ человекъ, жизненно усвоившій религиозные идеалы западныхъ исповѣданій, жилъ и умеръ самымъ искреннимъ и убѣжденнымъ сыномъ православной церкви, въ которой онъ видѣлъ „Богомъ положенное основаніе“. Тѣ, кто знали его, помнятъ его благоговѣйную любовь къ святынямъ церкви, къ ея таинствамъ, иконамъ, молитвамъ, къ ея мистическому богослуженію, „ангелами преданному“, какъ онъ выражался. Здѣсь, какъ и всюду, вѣра его

была сознательна и философски продумана¹⁾, органически связана со всѣмъ его міросозерцаніемъ; но и здѣсь, какъ всюду, она была непосредственной и живой; онъ свидѣтельствовалъ ее и своими богословскими трудами, и своимъ пламеннымъ обличительнымъ словомъ противъ пороковъ нашего церковнаго строя, и своимъ увѣщаніемъ къ раскольниковымъ²⁾; онъ свидѣтельствовалъ ее всею своей жизнью и самою смертью.

Мертвой, головной вѣры онъ не зналъ, и отъ вѣры, какъ и отъ добра, онъ требовалъ оправданья на дѣлѣ. И вся жизнь его была стремленіемъ оправдать свою вѣру, оправдать добро, въ которое онъ вѣрилъ. Дѣлу своему онъ отдавался весь, не зная отдыха, безпощадный къ себѣ, пренебрегая болѣзнями и истощеніемъ, торопясь исполнить то, что считалъ своимъ призваніемъ. „Должно-быть, я слишкомъ много за разъ работалъ“, говорилъ онъ въ послѣдніе дни; какъ ни велико было обиліе его дарованій, его физическій организмъ не выдержалъ постоянного напряженія, постоянной кипучей дѣятельности. Тѣ, кто видѣли его въ послѣдніе годы, помнить, безъ сомнѣнія, то впечатлѣніе крайней усталости, которое онъ такъ часто производилъ; но эта усталость не мѣшала ему работать больше прежняго. Напротивъ, она какъ бы заставляла его спѣшить сказать и сдѣлать возможно больше, пока хватитъ силъ.

То была цѣльная и свѣтлая жизнь, несмотря на всѣ пережитыя бури, жизнь подвижника, побѣдившаго темныя, низшія силы, бывшія въ его груди. Нелегко далась она ему: „трудна работа Господня“, говорилъ онъ на смертномъ одрѣ. Но въ этой трудной работѣ онъ не изнемогъ духомъ, сохранилъ чистое сердце и душевную бодрость, тотъ высшій, чуждый унынія источникъ веселья и радости, въ которомъ онъ самъ видѣлъ подлинный признакъ и преимущество искренняго христіанства.

31 іюля 1900 „Вѣстникъ Европы“.

Основное начало ученія В. Соловьева.

(Рѣчь, читанная на торжественномъ засѣданіи Психологическаго Общества въ память В. С. Соловьева 2 февраля 1901 г.)

Тяжко и трудно подводить итоги дѣятельности В. Соловьева. Смерть вырвала его среди насъ въ самомъ расцвѣтѣ его силъ, его творчества. Послѣ безъ малаго 30 лѣтъ неустанной, плодотворной работы ему казалось, что онъ только начинаетъ свое дѣло, что

¹⁾ См. его „Духовныя основы жизни“.

²⁾ См. „Русь“ 1881—1882.

ему еще предстоит создать нѣчто новое и болѣе значительное, чѣмъ все имъ сдѣланное. И онъ имѣлъ основаніе это думать: духовный подвигъ цѣлой жизни не пропалъ даромъ; онъ собралъ, сосредоточилъ свою мысль, подчинилъ себѣ свои помыслы, овладѣлъ своей силой; новые творческіе замыслы рождались въ немъ, и талантъ его росъ и укрѣплялся, когда тѣло его, изнуренное трудомъ и болѣзнію, отказывалось ему служить. Врачи, окружавшіе его передъ смертью, удивлялись не тому, что онъ умираетъ, а тому, что онъ могъ жить и притомъ жить столь напряженною духовной и умственной жизнью при такой степени физическаго упадка. А между тѣмъ послѣднія произведенія его, какъ „Три разговора“, проникнуты такою юношескою свѣжестью и кипучей силою таланта, такимъ живымъ и блестящимъ остроуміемъ и такою художественною мощью слова и образовъ!

Мы въ правѣ были еще многого ждать отъ него, и его послѣднія работы оправдывали и возбуждали самыя смѣлыя надежды. И если въ основаніи этихъ надеждъ лежала иллюзія, такъ она состояла въ томъ, что мы, вмѣстѣ съ усопшимъ, обманывались на счетъ его физическихъ силъ и не подозрѣвали, чего стоила ему его работа. Но мы знаемъ, какъ много онъ дѣйствительно унесъ съ собою. Временами, особенно подъ конецъ, онъ какъ бы предчувствовалъ, что не успѣетъ высказать всего, что носилъ въ себѣ. И онъ спѣшилъ высказаться, отказываясь иногда отъ окончательной обработки своихъ произведеній, не выполнѣ его удовлетворявшихъ, какъ онъ самъ указываетъ это въ предисловіи къ своимъ „Тремъ разговорамъ“.

И теперь мы должны быть признательны ему за то, что онъ, не скупясь, давалъ, что имѣлъ, и торопился высказать свою мысль, откладывая до возможнаго будущаго ея систематическое развитіе. Послѣ того какъ въ „Критикѣ отвлеченныхъ началъ“ онъ далъ общее научно-философское обоснованіе своего ученія, онъ успѣлъ разработать въ подробностяхъ лишь одинъ и наиболѣе важный отдѣлъ своего ученія — нравственную философію; но благодаря отдѣльнымъ главамъ его эстетики и теоретической философіи, а также и благодаря отдѣльнымъ общимъ наброскамъ цѣлаго, представленнымъ въ его „чтеніяхъ о Богочеловѣчествѣ“ или въ его французской книгѣ, мы можемъ составить себѣ понятіе о томъ оправданіи Истины и Красоты, которое нашъ философъ задумалъ въ связи съ своимъ „оправданіемъ Добра“.

Я не берусь дать здѣсь хотя бы самое краткое изложеніе философскаго и религіознаго ученія Соловьева. Мнѣ хочется сказать

онъ понималъ, о его собственномъ отношеніи къ философской и религіозной идеѣ, которой онъ служилъ.

Чтобы дать надлежащую оцѣнку трудовъ столь разнообразныхъ, надо отдать себѣ отчетъ въ томъ, какими образами авторъ этихъ трудовъ понималъ свою задачу и что было для него высшею цѣлью.

Въ своей литературной дѣятельности Соловьевъ проявлялъ необыкновенную разносторонность: философъ и поэтъ, литературный критикъ и публицистъ, ученый филологъ и богословъ, моралистъ, проповѣдникъ, историкъ, эстетикъ, — онъ былъ столь же универсаленъ въ области умственного творчества, какъ его любимый поэтъ Пушкинъ — въ области творчества поэтического. Это былъ обширный и одуховенный умъ, поражающій обиліемъ своихъ дарованій, своей памятью и творческой фантазіей, своей могучей діалектикой и блестящимъ остроуміемъ, своимъ критическимъ тактомъ и даромъ интуиціи.

При всей своей личной оригинальности, при всей энергіи своей личной мысли и личного творчества онъ былъ одаренъ самой отзывчивой, открытой воспримчивостью, самой рѣдкой широтой пониманія по отношенію къ явленіямъ духовной жизни, повидимому, наиболѣе ему чуждымъ. Это пониманіе воспиталось въ немъ широкимъ историческимъ образованіемъ, въ которомъ онъ былъ вскормленъ съ раннихъ лѣтъ въ отцовскомъ домѣ; и оно соединялось тѣснѣйшимъ образомъ съ его основнымъ философскимъ убѣжденіемъ, съ его живымъ сознаніемъ универсальности всеединой истины. Онъ вѣрилъ, что эта истина ничѣмъ частнымъ достояніемъ быть не можетъ, что въ ней нѣтъ своего и чужого и что отдѣльные умы приходятъ постепенно въ „разумъ Истины“, лишь отрѣшаясь отъ своей личной ограниченности. Она раскрывается съ различныхъ сторонъ собирательному уму человѣчества въ теченіе его исторіи, и постольку эта исторія является учительницей философіи. И мы видимъ, какъ и въ какомъ интересѣ изучалъ В. С. исторію мысли и духа. Его собственное ученіе не стояло между нимъ и изучаемыми имъ философами, — оно требовало отъ него объективнаго, всесторонняго пониманія и оцѣнки чужой мысли. И въ многочисленныхъ трудахъ В. С. мы находимъ цѣлую сокровищницу историко-философскихъ знаній. Онъ былъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ древней и новой философіи — Платона, Канта, Шеллинга, которыхъ онъ переводилъ и комментировалъ, Гегеля, Шопенгауэра, Спинозы, Канта, которымъ онъ посвятилъ замѣчательныя изслѣдованія. Онъ изучалъ

въ оригиналъ схоластиковъ и святоотеческія писанія, а мистическую литературу всѣхъ временъ и народовъ зналъ какъ никто.

Онъ обладалъ неутолимою жаждой знанія и вѣчно учился. Едва ли кто перечиталъ такое множество книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія, какъ Владиміръ Сергѣевичъ. Онъ читалъ все, вездѣ и во всякое время дня и ночи, читалъ въ вагонѣ, въ гостяхъ, читалъ больной и усталый, когда былъ не въ силахъ писать. И во всякой книгѣ онъ находилъ пищу для своего ума, въ худшемъ случаѣ — для своего остроумія. Множество превосходныхъ критическихъ статей его были вызваны случайными чтеніями. Молчаливый и несообщительный во время творчества, не любившій говорить о своихъ работахъ до ихъ окончанія, онъ, напротивъ, чувствовалъ какую-то потребность говорить о томъ, что онъ читалъ — говорить съ друзьями, говорить съ публикой. Его необычайно впечатлительный умъ быстро, энергично реагировалъ на прочитанное. Утомленный работой, онъ въ чтеніи находилъ новый источникъ возбужденія: онъ бесѣдовалъ съ книгой, спорилъ, острилъ, взвѣшивалъ и вмѣстѣ успѣвалъ схватить самую суть, отмѣтить все цѣнное, уловить всякую логическую или даже грамматическую ошибку.

Превосходный литературный критикъ, умѣвшій опредѣлить всѣ индивидуальныя оттѣнки той или другой лирики, дать художественно вѣрную и глубокую характеристику любого писателя или поэта, онъ и въ области умственного и духовнаго творчества былъ рѣдко безпристрастнымъ и тонкимъ судьей. Глубоко вѣрующій христіанинъ съ чрезвычайно опредѣленными и твердыми богословскими убѣжденіями, онъ умѣлъ дать самую глубокую и положительную религіозную оцѣнку не только различныхъ исторически сложившихся христіанскихъ исповѣданій, но и еврейства, которое онъ такъ глубоко зналъ и любилъ, и Ислама, основателю котораго онъ посвятилъ превосходную монографію¹⁾. Убѣжденный метафизикъ, онъ заступається за матеріализмъ противъ ложнаго спиритуализма²⁾ и за невѣріе — противъ ложной вѣры. Противникъ Конта, онъ пишетъ ему замѣчательную апологію, и, наконецъ, онъ самымъ честнымъ и энергичнымъ образомъ защищаетъ въ теоретической философіи права скептицизма, находя, что Декартъ недостаточно послѣдовательно проводить тотъ принципъ всеобщаго сомнѣнія, съ котораго онъ начинается.

¹⁾ Магометь въ серіи біографій Павленкова.

²⁾ Ср. открытое письмо къ Н. Я. Гроту о Лесевичѣ въ „Вопр. Филос.“. 1890, 116.

Вся сила и ясность мысли В. С. Соловьева, вся ширина и острота его умственного зрѣнія, вся логическая мощь его діалектики проявляются съ наибольшею яркостью именно въ критическихъ его изслѣдованіяхъ. Но его критика была всегда принципиальною, руководствуясь тѣмъ высшимъ философскимъ интересомъ, въ которомъ осмысливались для него всѣ отдѣльныя, частныя знанія.

На всей умственной дѣятельности его лежала печать творчества. Самая память его, обширная и ясная, какъ его умъ, была неразрывно связана съ дѣятельностью этого ума; факты не запоминались имъ механически, они осмысливались творчески, претворялись въ мысль, обогащая ее собою. Непосредственной силой творчества дышала и діалектика Соловьева, поражающая своей ясностью, смѣлостью и широтою замысла. Труды свои В. С. сочинялъ мысленно, потомъ обдумывалъ, вынашивалъ иногда очень долго и, наконецъ, писалъ чрезвычайно быстро. Нерѣдко статья была у него „готова“, когда еще ни строчки изъ нея не было написано, и нѣсколько такихъ „готовыхъ“ статей онъ унесъ съ собою... Творческіе замыслы рождались въ немъ внезапно, иногда на прогулкѣ, иногда при пробужденіи отъ сна или въ гостяхъ, при совершенно неподходящей обстановкѣ. Мысли, которыя онъ впоследствии долгое время обдумывалъ и вынашивалъ, являлись ему впервые съ силою непосредственнаго вдохновенія — въ формѣ художественнаго поэтического образа, а иногда въ формѣ какого-то умственного видѣнія.

Въ одной изъ послѣднихъ статей своихъ¹⁾ онъ раскрываетъ намъ тайну своего „философскаго дѣланія“. Живымъ началомъ такого дѣланія является ему „творческій замыселъ“, — какъ рѣшимость познать сущую, безусловную истину, какъ „*требованіе безусловности*“. Такой замыселъ есть прежде всего актъ умственной воли; но для Соловьева то былъ актъ, всецѣло и окончательно опредѣлявшій дѣятельность ума. Если рѣшимость познать истину есть не мнимая прихоть, а безповоротный актъ живого рѣшенія, то она становится источникомъ дѣятельности, направленной къ исполненію замышленнаго. Вѣдь истина, которую хочетъ познать философъ, опредѣляется имъ не какъ единичный фактъ или отвлеченная теорема, а какъ само абсолютное. Стало-быть и дѣятельность ума, направленная на ея познаніе, не можетъ быть единичною мыслью: это общее и неизмѣнное направленіе всей мысли, во всей ея познавательной энергіи. И во всѣхъ разнообразныхъ трудахъ нашего

¹⁾ Вопросы Философіи 1899. Кн. 50 „Форма разумности и разумъ истины“.

философа, на всей дѣятельности его лежитъ отпечатокъ дѣйствительнаго *замысла*, дѣйствительнаго рѣшенія, которое ничѣмъ не было сломлено и ничѣмъ не могло быть разсѣяно при всей страстности его натуры, при всей живости его воображенія и впечатлительности его ума. Но такой замыселъ, говоритъ В. С., не есть простое, чисто-субъективное состояніе нашего сознанія или движеніе нашей мысли: онъ безусловенъ по самому своему содержанію, по самому своему предмету, абсолютную цѣнность котораго не станетъ отрицать никакой скептикъ. Его сомнѣніе касается лишь возможности выполнить задуманное, т.-е. познать истину, но цѣнность этой истины для познающаго разума никто не отрицаетъ. *Замыселъ* философскаго цѣльнаго знанія заключаетъ въ себѣ внутреннее утвержденіе той безусловной истины, которую онъ требуетъ, или къ которой онъ движется; а постольку онъ заключаетъ въ себѣ и творческое „оплодотворяющее сѣмя“ этой истины, какъ бы ея идеальный образъ, или идею.

Итакъ, началомъ философіи В. С. Соловьевъ считаетъ, съ одной стороны, движеніе или подвигъ нашего ума, его рѣшительное обращеніе къ истинѣ, а съ другой — его творческое вдохновеніе образомъ, идеей Истины.

Каково бы ни было наше мнѣніе о правильности такой теоріи, она является исповѣдью самого философа, и въ этомъ смыслѣ она достовѣрна, хотя бы психологически. Оно было такъ для Владиміра Сергѣевича: напряженный упорный трудъ, неустанный и неизмѣнный подвигъ ума, подвигъ бодрствованія и борьбы съ помыслами, о которомъ онъ говоритъ неоднократно, и вмѣстѣ съ тѣмъ — вдохновенная интуиція.

Чѣмъ же руководилась вся эта дѣятельность, какой единый замыселъ въ ней господствовалъ, и какъ опредѣляется ближайшимъ образомъ содержаніе этого замысла, та „истина“, которою вдохновлялся В. С. Соловьевъ?

Если излагать чисто внѣшнимъ образомъ общее философское построеніе его по тѣмъ очеркамъ, которые онъ самъ не успѣлъ вполне разработать¹⁾, то легко получается впечатлѣніе системы крайне причудливой, фантастической даже; къ тому же при такомъ изложеніи утрачивается непередаваемое художественное впечатлѣніе подлинника, содержательность тѣхъ поэтическихъ образовъ, въ какіе Соловьевъ облакалъ свою мысль въ этихъ философскихъ эскизахъ. Но если

¹⁾ Я разумѣю главнымъ образомъ „Чтенія о Богочеловѣчествѣ“ и третью часть *La Russie et l'Eglise universelle*.

мы уяснимъ себѣ, въ чемъ состояла основная идея ученія Соловьева, мы поймемъ замѣчательную цѣльность и единство этого ученія, и оно явится намъ однимъ живымъ цѣлымъ во всемъ разнообразіи своихъ частей.

Основная идея Соловьева, проникающая его метафизику, этику, эстетику и самую его публицистику, есть религіозная христіанская идея. То, чѣмъ была для Спинозы его абсолютная субстанція, для Фихте — его абсолютное Я, для Шопенгауэра его міровая воля, тѣмъ было для Соловьева жизненное начало христіанства. Естественно, что философская дѣятельность представлялась ему религіознымъ служеніемъ, и его личное призваніе — религіозною миссіей, „дѣломъ Господнимъ“. „Проклять всякъ, творяй дѣло Господне съ небреженіемъ“ — вотъ угроза, которую онъ вспоминаетъ при исправленіи и отдѣлкѣ своихъ трудовъ, какъ онъ говоритъ это въ предисловіи ко 2-му изданію „Оправданія Добра“.

Оригинальна ли такая философія? Не есть ли это простая попытка, быть можетъ, смѣлая и талантливая — воскресить средневѣковую схоластику или эклектическій платонизмъ раннихъ христіанскихъ писателей? Не обращается ли и здѣсь философія въ „служанку богословія“? Нѣтъ, и въ этомъ-то все и дѣло.

Въ дѣйствительности уже отношеніе платонизма первыхъ вѣковъ къ христіанству было внѣшнее и случайное. На ряду съ платониками-христіанами были и платоники-язычники, и притомъ, несомнѣнно, превосходившіе первыхъ въ области чистаго умозрѣнія. Стоитъ вспомнить хотя бы Плотина, одного изъ величайшихъ мыслителей всѣхъ временъ. Еще болѣе внѣшнимъ является отношеніе къ христіанству со стороны схоластиковъ. Между средневѣковыми мыслителями были благочестивые, святые люди, но самая философія ихъ — ихъ номинализмъ, реализмъ, концептуализмъ — были чѣмъ-то совершенно постороннимъ христіанству. Первое начало схоластическихъ споровъ можно искать въ борьбѣ школъ древней Греціи. Въ христіанствѣ основанія для нихъ не заключается; поэтому-то схоластика и стояла въ чисто внѣшнемъ отношеніи къ нему, то подчиняясь его внѣшнимъ для нея нормамъ, то пытаясь оправдать или доказывать эти нормы изъ посылокъ, совершенно постороннихъ христіанству.

Ничего подобнаго у Соловьева не было. Онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергалъ тотъ внѣшній компромиссъ между язычествомъ и христіанствомъ, въ которомъ, по его мнѣнію, состоитъ сущность средневѣковаго міросозерцанія. Онъ открыто становится

на сторону враговъ такого міросозерцанія и въ разрушеніи ложнаго догматизма видятъ одно изъ существенныхъ условій для развитія міросозерцанія истинно-христіанскаго. Въ философіи, какъ и въ религіи, онъ выступаетъ горячимъ противникомъ догматизма; въ мысли, какъ и въ жизни онъ не допускаетъ внѣшняго, отвлеченнаго христіанства. Оно не исчерпывается для него отдѣльными догматами или отдѣльными истинами; оно было для него всею истиной, той абсолютной полнотою истины, какой ищетъ философствующій разумъ, той полнотою добра, которая составляетъ высшее требованіе нравственнаго сознанія.

Человѣческій разумъ стремится къ познанію абсолютнаго. Можно сомнѣваться въ успѣхѣ такого стремленія, но не въ его существованія, о которомъ свидѣтельствуетъ вся исторія философіи. Но въ философіи, говоритъ Вл. С., проявляется только одна изъ сторонъ общаго и высшаго стремленія нашего духа къ тому абсолютному, которое опредѣляется какъ *истина* по отношенію къ разуму, какъ высшее *благо* по отношенію къ волѣ и какъ совершенная *красота* по отношенію къ чувству. Достижима ли конечная цѣль всѣхъ нашихъ стремленій? Достижимо ли абсолютное благо, осуществима ли всесовершенная красота, познаваема ли всеединая истина, т.-е. само абсолютное, и при какихъ условіяхъ? Въдѣ между нами и абсолютнымъ стоятъ границы нашей личности, нашей обособленности, всего нашего относительнаго существованія. Но безусловны ли эти границы, существуютъ ли онѣ для самого абсолютнаго, непреложно отдѣляя его отъ насъ? Развѣ для абсолютнаго можетъ быть внѣшній предѣлъ и граница? развѣ оно не обосновывается, не проникаетъ собою все, составляя всеединый источникъ всякаго бытія, о немъ же мы живемъ и движемся и есмы?

Въ абсолютномъ не можетъ быть границъ, и потому, *если только познаніе его возможно*, первымъ условіемъ такого познанія является *отреченіе* отъ нашей личной ограниченности. Только подъ условіемъ такого отреченія мы можемъ безпрепятственно достигнуть того „внутренняго соединенія съ истиной“, которое, по Соловьеву, составляетъ сущность дѣйствительнаго познанія абсолютнаго.

Но такое соединеніе нашего разума съ Истиной, если только оно не призрачно, не можетъ ограничиваться одной теоретической областью нашего духа: какъ говоритъ В. С., оно должно быть реальнымъ, дѣйственнымъ, и постольку предполагаетъ нѣкоторое „перемѣщеніе центра“ человѣческаго бытія изъ его данной природы — въ сверхъ-природную, сверхъ-личную сферу, или,

какъ выражается нашъ философъ, — въ „трансцендентный, нездѣшній міръ“¹⁾.

Но если такъ, то оказывается, что философіи ставится *религіозная цѣль*: въ своей сферѣ, въ сферѣ чистаго знанія, она должна содѣйствовать реальному соединенію нашего духа съ абсолютнымъ. Философія не подчиняется религіи внѣшнимъ образомъ; она сама собою, интимно совпадаетъ съ нею, поскольку цѣль ея — познаніе сущей всеединой Истины — достигается лишь въ соединеніи чело-вѣческаго духа съ этой Истиной.

Философія въ самомъ стремленіи своемъ предполагаетъ *возможность* такого соединенія. А безусловная *дѣйствительность* такого соединенія чело-вѣческаго съ сверхъ-чело-вѣческимъ или абсолютнымъ — составляетъ сущность христіанства.

Въ чемъ видитъ Соловьевъ жизненный смыслъ его? Христіанство есть религія *богочеловѣчества*; въ союзѣ божественнаго съ чело-вѣческимъ заключается начало искупленія, спасенія и жизни. Есть Богъ Вседержитель, Отецъ и Творецъ міра, отличный отъ міра. Онъ раскрывается въ своей абсолютной истинѣ, благодати и славѣ, полагая внѣ себя отличный отъ себя міръ, какъ свое другое. Смыслъ міра, живой разумъ міра заключается въ Богѣ, его источникѣ и виновникѣ; а цѣль міра — въ томъ, что изъ *другого* стать черезъ чело-вѣка *другомъ* Божиимъ, соединиться съ Нимъ въ любви, воплотить Его въ себѣ, стать Его Царствомъ.

Съ этой точки зрѣнія В. С. разсматриваетъ міровой процессъ, который онъ понимаетъ какъ результатъ *эволюціи* и *творчества*. Эти два противоположныя начала, по его мнѣнію, не только не исключаютъ, но взаимно предполагаютъ другъ друга: эволюціонизмъ безъ допущенія творчества, какъ и ученіе о творествѣ безъ эволюціи, приводятъ къ одному и тому же нелѣпому утвержденію, что нѣчто возникаетъ изъ ничто: „то, что есть новаго и бѣльшаго въ животномъ типѣ сравнительно съ растительнымъ, никакъ не можетъ быть безъ явной нелѣпости сведено на меньшее, т.-е. на ихъ общія свойства, ибо это значило бы $a+b$ отождествлять съ a , или нѣчто признавать равнымъ ничему“. Эволюція низшихъ типовъ бытія не можетъ сама по себѣ объяснять тотъ „плюсъ бытія“, который содержится въ высшихъ, „но она производитъ матеріальныя условія или даетъ соотвѣтствующую среду для проявленія или откровенія высшаго типа. Такимъ образомъ каждое появленіе по-

¹⁾ Философія начала цѣльнаго знанія, Ж. Мин. Нар. Просв. 1877.

ваго типа бытія есть въ извѣстномъ смыслѣ *новое твореніе*, но такое, которое менѣе всего можетъ быть обозначено какъ твореніе изъ ничего, ибо, во-первыхъ, матеріальной основой для возникновенія новаго типа служитъ типъ прежній, а во-вторыхъ, и собственное положительное содержаніе высшаго типа не возникаетъ вновь изъ небытія, а существуя отъ вѣка (въ абсолютномъ, или *всеединомъ* сущемъ), лишь вступаетъ въ извѣстный моментъ процесса въ другую сферу бытія, въ міръ явленій¹⁾.

И вотъ почему В. С., будучи убѣжденнымъ сторонникомъ эволюціонизма и видя въ немъ величайшую побѣду современнаго естествознанія, признавалъ творчество въ самомъ процессѣ естественной эволюціи, которая завершается происхожденіемъ человѣка. „Человѣкъ связанъ съ вещественнымъ міромъ не только реально, какъ часть, но и идеально, какъ его завершеніе“, и вотъ какъ говоритъ Соловьевъ объ этой связи міра съ человѣкомъ, о міровомъ антропогоническомъ процессѣ: „Земля, бывшая вначалѣ пустою, темною и безформенною, потомъ постепенно проникаемая свѣтомъ, образуемая и населяемая, земля, лишь въ третій день мірозданія впервые неясно ощутившая и безотчетно выразившая вложенную въ нее творческую силу въ сонныхъ и безсвязныхъ образахъ растительной жизни, въ этихъ смутныхъ порывахъ и первыхъ сочетаніяхъ земного праха съ небесной красотою; земля, которая въ этомъ растительномъ мірѣ *выступаетъ изъ себя* навстрѣчу небесныхъ вліяній, потомъ отдѣляется отъ себя въ свободномъ движеніи земныхъ животныхъ и поднимается надъ собою въ воздушномъ полетѣ птицъ небесныхъ; земля, разсѣявшая свою душу живую въ безчисленныхъ видахъ растительной и животной жизни, наконецъ, сосредоточивается, приходитъ въ себя и получаетъ ту форму, въ какой она можетъ стать лицомъ къ лицу съ своимъ Владыкой и принять отъ него прямо дыханіе жизни“²⁾.

Но міровой процессъ не кончается созданіемъ человѣка, и въ самомъ человѣкѣ открывается возможность безконечнаго совершенствованія или прогресса, конечная цѣль котораго лежитъ въ сверхчеловѣческомъ идеалѣ: человѣкъ долженъ стать сверхчеловѣкомъ или бого-человѣкомъ. И какъ надъ растительнымъ царствомъ возвышается животное, а надъ животнымъ — природно-человѣческое, такъ и надъ этимъ послѣднимъ возвышается царство духовно-человѣческое или царство Божіе. Живой организмъ состоитъ изъ химическаго

¹⁾ См. „Оправданіе Добра“, 245—246.

²⁾ Исторія и будущность Теократіи, стр. 86.

была сознательна и философски продумана¹⁾), органически связана со всѣмъ его міросозерцаніемъ; но и здѣсь, какъ всюду, она была непосредственной и живой; онъ свидѣтельствовалъ ее и своими богословскими трудами, и своимъ пламеннымъ обличительнымъ словомъ противъ пороковъ нашего церковнаго строя, и своимъ увѣщаніемъ къ раскольникамъ²⁾); онъ свидѣтельствовалъ ее всею своей жизнью и самою смертию.

Мертвой, головной вѣры онъ не зналъ, и отъ вѣры, какъ и отъ добра, онъ требовалъ оправданья на дѣлѣ. И вся жизнь его была стремленіемъ оправдать свою вѣру, оправдать добро, въ которое онъ вѣрилъ. Дѣлу своему онъ отдавался весь, не зная отдыха, безпощадный къ себѣ, пренебрегая болѣзнию и истощеніемъ, торопясь исполнить то, что считалъ своимъ призваніемъ. „Должно-быть, я слишкомъ много за разъ работалъ“, говорилъ онъ въ послѣдніе дни; какъ ни велико было обиліе его дарованій, его физическій организмъ не выдержалъ постоянного напряженія, постоянной кипучей дѣятельности. Тѣ, кто видѣли его въ послѣдніе годы, помнить, безъ сомнѣнія, то впечатлѣніе крайней усталости, которое онъ такъ часто производилъ; но эта усталость не мѣшала ему работать больше прежняго. Напротивъ, она какъ бы заставляла его спѣшить сказать и сдѣлать возможно больше, пока хватитъ силъ.

То была цѣльная и свѣтлая жизнь, несмотря на всѣ пережитыя бури, жизнь подвижника, побѣдившаго темныя, низшія силы, бившіяся въ его груди. Нелегко далась она ему: „трудна работа Господня“, говорилъ онъ на смертномъ одрѣ. Но въ этой трудной работѣ онъ не изнемогъ духомъ, сохранилъ чистое сердце и душевную бодрость, тотъ высшій, чуждый унынія источникъ веселья и радости, въ которомъ онъ самъ видѣлъ подлинный признакъ и преимущество искренняго христіанства.

31 іюля 1900 „Вѣстникъ Европы“.

Основное начало ученія В. Соловьева.

(Рѣчь, читанная на торжественномъ засѣданіи Психологическаго Общества въ память В. С. Соловьева 2 февраля 1901 г.)

Тяжко и трудно подводить итоги дѣятельности В. Соловьева. Смерть вырвала его среди насъ въ самомъ расцвѣтѣ его силъ, его творчества. Послѣ безъ малаго 30 лѣтъ неустанной, плодотворной работы ему казалось, что онъ только начинаетъ свое дѣло, что

¹⁾ См. его „Духовныя основы жизни“.

²⁾ См. „Русь“ 1881—1882.

ему еще предстоитъ создать нѣчто новое и болѣе значительное, чѣмъ все имъ сдѣланное. И онъ имѣлъ основаніе это думать: духовный подвигъ цѣлой жизни не пропалъ даромъ; онъ собралъ, сосредоточилъ свою мысль, подчинилъ себѣ свои помыслы, овладѣлъ своей силой; новые творческіе замыслы рождались въ немъ, и талантъ его росъ и укрѣплялся, когда тѣло его, изнуренное трудомъ и болѣзною, отказывалось ему служить. Врачи, окружавшіе его передъ смертью, удивлялись не тому, что онъ умираетъ, а тому, что онъ могъ жить и притомъ жить столь напряженною духовной и умственной жизнью при такой степени физическаго упадка. А между тѣмъ послѣднія произведенія его, какъ „Три разговора“, проникнуты такою юношескою свѣжестью и кипучей силою таланта, такимъ живымъ и блестящимъ остроуміемъ и такою художественною мощью слова и образовъ!

Мы въ правѣ были еще многого ждать отъ него, и его послѣднія работы оправдывали и возбуждали самыя смѣлыя надежды. И если въ основаніи этихъ надеждъ лежала иллюзія, такъ она состояла въ томъ, что мы, вмѣстѣ съ усоншимъ, обманывались на счетъ его физическихъ силъ и не подозрѣвали, чего стоила ему его работа. Но мы знаемъ, какъ много онъ дѣйствительно унесъ съ собою. Временами, особенно подъ конецъ, онъ какъ бы предчувствовалъ, что не успѣетъ высказать всего, что носилъ въ себѣ. И онъ спѣшилъ высказаться, отказываясь иногда отъ окончательной обработки своихъ произведеній, не вполне его удовлетворявшихъ, какъ онъ самъ указываетъ это въ предисловіи къ своимъ „Тремъ разговорамъ“.

И теперь мы должны быть признательны ему за то, что онъ, не скупясь, давалъ, что имѣлъ, и торопился высказать свою мысль, откладывая до возможнаго будущаго ея систематическое развитіе. Послѣ того какъ въ „Критикѣ отвлеченныхъ началъ“ онъ далъ общее научно-философское обоснованіе своего ученія, онъ успѣлъ разработать въ подробностяхъ лишь одинъ и наиболѣе важный отдѣлъ своего ученія — нравственную философію; но благодаря отдѣльнымъ главамъ его эстетики и теоретической философіи, а также и благодаря отдѣльнымъ общимъ наброскамъ цѣлаго, представленнымъ въ его „чтеніяхъ о Богочеловѣчествѣ“ или въ его французской книгѣ, мы можемъ составить себѣ понятіе о томъ оправданіи Истины и Красоты, которое нашъ философъ задумалъ въ связи съ своимъ „оправданіемъ Добра“.

Я не берусь дать здѣсь хотя бы самое краткое изложеніе философскаго и религіознаго ученія Соловьева. Мнѣ хочется сказать

лишь нѣсколько словъ объ общемъ смыслѣ и значеніи его дѣятельности, какъ онъ самъ ее понималъ, о его собственномъ отношеніи къ той философской и религіозной идѣ, которой онъ служилъ.

Вѣдь для того, чтобы дать надлежащую оцѣнку трудовъ столь разнообразныхъ, надо отдать себѣ отчетъ въ томъ, какимъ образомъ самъ авторъ этихъ трудовъ понималъ свою задачу и что было его главною, высшею цѣлью.

Въ своей литературной дѣятельности Соловьевъ проявлялъ необычайную разносторонность: философъ и поэтъ, литературный критикъ и публицистъ, ученый филологъ и богословъ, моралистъ, проповѣдникъ, историкъ, эстетикъ, — онъ былъ столь же универсаленъ въ области умственного творчества, какъ его любимый поэтъ Пушкинъ — въ области творчества поэтического. Это былъ обширный и вдохновенный умъ, поражающій обиліемъ своихъ дарованій, своей памятью и творческой фантазіей, своей могучей діалектикой и блестящимъ остроуміемъ, своимъ критическимъ тактомъ и даромъ интуиціи.

При всей своей личной оригинальности, при всей энергіи своей личной мысли и личного творчества онъ былъ одаренъ самой отзывчивой, открытой воспримчивостью, самой рѣдкой широтой пониманія по отношенію къ явленіямъ духовной жизни, повидимому, наиболѣе ему чуждымъ. Это пониманіе воспиталось въ немъ широкимъ историческимъ образованіемъ, въ которомъ онъ былъ вскормленъ съ раннихъ лѣтъ въ отцовскомъ домѣ; и оно соединялось тѣснѣйшимъ образомъ съ его основнымъ философскимъ убѣжденіемъ, съ его живымъ сознаніемъ универсальности всеединой истины. Онъ вѣритъ, что эта истина ничѣмъ частнымъ достояніемъ быть не можетъ, что въ ней нѣтъ своего и чужого и что отдѣльные умы приходятъ постепенно въ „разумъ Истины“, лишь отрѣшаясь отъ своей личной ограниченности. Она раскрывается съ различныхъ сторонъ собирательному уму человѣчества въ теченіе его исторіи, и постольку эта исторія является учительницей философіи. И мы видимъ, какъ и въ какомъ интересѣ изучалъ В. С. исторію мысли и духа. Его собственное ученіе не стояло между нимъ и изучаемыми имъ философами, — оно требовало отъ него объективнаго, всесторонняго пониманія и оцѣнки чужой мысли. И въ многочисленныхъ трудахъ В. С. мы находимъ цѣлую сокровищницу историко-философскихъ знаній. Онъ былъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ древней и новой философіи — Платона, Канта, Шеллинга, которыхъ онъ переводилъ и комментировалъ, Гегеля, Шопенгауэра, Спинозы, Канта, которымъ онъ посвятилъ замѣчательныя изслѣдованія. Онъ изучалъ

въ оригиналъ схоластиковъ и святоотеческія писанія, а мистическую литературу всѣхъ временъ и народовъ знать какъ нѣкто.

Онъ обладалъ неутолимою жаждой знанія и вѣчно учился. Едва ли кто перечиталъ такое множество книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія, какъ Владиміръ Сергѣевичъ. Онъ читалъ все, вездѣ и во всякое время дня и ночи, читалъ въ вагонѣ, въ гостяхъ, читалъ больной и усталый, когда былъ не въ силахъ писать. И во всякой книгѣ онъ находилъ пищу для своего ума, въ худшемъ случаѣ — для своего остроумія. Множество превосходныхъ критическихъ статей его были вызваны случайными чтеніями. Молчаливый и несообщительный во время творчества, не любившій говорить о своихъ работахъ до ихъ окончанія, онъ, напротивъ, чувствовалъ какую-то потребность говорить о томъ, что онъ читалъ — говорить съ друзьями, говорить съ публикой. Его необычайно впечатлительный умъ быстро, энергично реагировалъ на прочитанное. Утомленный работой, онъ въ чтеніи находилъ новый источникъ возбужденія: онъ бесѣдовалъ съ книгой, спорилъ, острилъ, взвѣшивалъ и вмѣстѣ успѣвалъ схватить самую суть, отмѣтить все цѣнное, уловить всякую логическую или даже грамматическую ошибку.

Превосходный литературный критикъ, умѣвшій опредѣлять всѣ индивидуальныя оттѣнки той или другой лирики, дать художественно вѣрную и глубокую характеристику любого писателя или поэта, онъ и въ области умственного и духовнаго творчества былъ рѣдко безпристрастнымъ и тонкимъ судьей. Глубоко вѣрующій христіанинъ съ чрезвычайно опредѣленными и твердыми богословскими убѣжденіями, онъ умѣлъ дать самую глубокую и положительную религіозную оцѣнку не только различныхъ исторически сложившихся христіанскихъ исповѣданій, но и еврейства, которое онъ такъ глубоко зналъ и любилъ, и Ислама, основателю котораго онъ посвятилъ превосходную монографію¹⁾. Убѣжденный метафизикъ, онъ заступаетъ за матеріализмъ противъ ложнаго спиритуализма²⁾ и за невѣріе — противъ ложной вѣры. Противникъ Конта, онъ пишетъ ему замѣчательную апологію, и, наконецъ, онъ самымъ честнымъ и энергичнымъ образомъ защищаетъ въ теоретической философіи права скептицизма, находя, что Декартъ недостаточно послѣдовательно проводить тотъ принципъ всеобщаго сомнѣнія, съ котораго онъ начинается.

¹⁾ Магометъ въ серіи біографій Павленкова.

²⁾ Ср. открытое письмо къ Н. Я. Гроту о Лесевичѣ въ „Вопр. Филос.“. 1890, 116.

Вся сила и ясность мысли В. С. Соловьева, вся ширина и острота его умственного зрѣнія, вся логическая мощь его діалектики проявляются съ наибольшою яркостью именно въ критическихъ его изслѣдованіяхъ. Но его критика была всегда принципиальною, руководствуясь тѣмъ высшимъ философскимъ интересомъ, въ которомъ осмысливались для него всѣ отдѣльныя, частныя знанія.

На всей умственной дѣятельности его лежала печать творчества. Самая память его, обширная и ясная, какъ его умъ, была неразрывно связана съ дѣятельностью этого ума; факты не запоминались имъ механически, они осмысливались творчески, претворялись въ мысль, обогащая ее собою. Непосредственной силой творчества дышала и діалектика Соловьева, поражающая своей ясностью, смѣлостью и широтою замысла. Труды свои В. С. сочинялъ мысленно, потомъ обдумывалъ, вынашивалъ иногда очень долго и, наконецъ, писалъ чрезвычайно быстро. Нерѣдко статья была у него „готова“, когда еще ни строчки изъ нея не было написано, и нѣсколько такихъ „готовыхъ“ статей онъ унесъ съ собою... Творческіе замыслы рождались въ немъ внезапно, иногда на прогулкѣ, иногда при пробужденіи отъ сна или въ гостяхъ, при совершенно неподходящей обстановкѣ. Мысли, которыя онъ впоследствии долгое время обдумывалъ и вынашивалъ, являлись ему впервые съ силою непосредственного вдохновенія — въ формѣ художественнаго поэтического образа, а иногда въ формѣ какого-то умственного видѣнія.

Въ одной изъ послѣднихъ статей своихъ¹⁾ онъ раскрываетъ намъ тайну своего „философскаго дѣланія“. Живымъ началомъ такого дѣланія является ему „творческій замыселъ“, — какъ рѣшимость познать сущую, безусловную истину, какъ „*требованіе безусловности*“. Такой замыселъ есть прежде всего актъ умственной воли; но для Соловьева то былъ актъ, всецѣло и окончательно опредѣлявшій дѣятельность ума. Если рѣшимость познать истину есть не мнимая прихоть, а безповоротный актъ живого рѣшенія, то она становится источникомъ дѣятельности, направленной къ исполненію замышленнаго. Вѣдь истина, которую хочетъ познать философъ, опредѣляется имъ не какъ единичный фактъ или отвлеченная теорема, а какъ само абсолютное. Стало-быть и дѣятельность ума, направленная на ея познаніе, не можетъ быть единичною мыслью: это общее и неизмѣнное направленіе всей мысли, во всей ея познавательной энергіи. И во всѣхъ разнообразныхъ трудахъ нашего

¹⁾ Вопросы Философіи 1899. Кн. 50 „Форма разумности и разумъ истины“.

философа, на всей дѣятельности его лежитъ отпечатокъ дѣйствительнаго *замысла*, дѣйствительнаго рѣшенія, которое ничѣмъ не было сломлено и ничѣмъ не могло быть разсѣяно при всей страстности его натуры, при всей живости его воображенія и впечатлительности его ума. Но такой замыселъ, говоритъ В. С., не есть простое, чисто-субъективное состояніе нашего сознанія или движеніе нашей мысли: онъ безусловенъ по самому своему содержанію, по самому своему предмету, абсолютную цѣнность котораго не станетъ отрицать никакой скептикъ. Его сомнѣніе касается лишь возможности выполнить задуманное, т.-е. познать истину, но цѣнность этой истины для познающаго разума никто не отрицаетъ. *Замыселъ* философскаго цѣльнаго знанія заключаетъ въ себѣ внутреннее утвержденіе той безусловной истины, которую онъ требуетъ, или къ которой онъ движется; а постольку онъ заключаетъ въ себѣ и творческое „оплодотворяющее сѣмя“ этой истины, какъ бы ея идеальный образъ, или идею.

Итакъ, началомъ философіи В. С. Соловьевъ считаетъ, съ одной стороны, движеніе или подвигъ нашего ума, его рѣшительное обращеніе къ истинѣ, а съ другой — его творческое вдохновеніе образомъ, идеей Истины.

Каково бы ни было наше мнѣніе о правильности такой теоріи, она является исповѣдью самого философа, и въ этомъ смыслѣ она достоверна, хотя бы психологически. Оно было такъ для Владиміра Сергѣевича: напряженный упорный трудъ, неустанный и неизмѣнный подвигъ ума, подвигъ бодрствованія и борьбы съ помыслами, о которомъ онъ говоритъ неоднократно, и вмѣстѣ съ тѣмъ — вдохновенная интуиція.

Чѣмъ же руководилась вся эта дѣятельность, какой единый замыселъ въ ней господствовалъ, и какъ опредѣляется ближайшимъ образомъ содержаніе этого замысла, та „истина“, которою вдохновлялся В. С. Соловьевъ?

Если излагать чисто внѣшнимъ образомъ общее философское построеніе его по тѣмъ очеркамъ, которые онъ самъ не успѣлъ вполнѣ разработать¹⁾, то легко получается впечатлѣніе системы крайне причудливой, фантастической даже; къ тому же при такомъ изложеніи утрачивается непередаваемое художественное впечатлѣніе подлинника, содержательность тѣхъ поэтическихъ образовъ, въ какіе Соловьевъ облакалъ свою мысль въ этихъ философскихъ эскизахъ. Но если

¹⁾ Я разумѣю главнымъ образомъ „Чтенія о Богочеловѣчествѣ“ и третью часть *La Russie et l'Eglise universelle*.

мы уяснимъ себѣ, въ чемъ состояла основная идея ученія Соловьева, мы поймемъ замѣчательную цѣльность и единство этого ученія, и оно явится намъ однимъ живымъ цѣлымъ во всемъ разнообразіи своихъ частей.

Основная идея Соловьева, проникающая его метафизику, этику, эстетику и самую его публицистику, есть религіозная христіанская идея. То, чѣмъ была для Спинозы его абсолютная субстанція, для Фихте — его абсолютное Я, для Шопенгауэра его міровая воля, тѣмъ было для Соловьева жизненное начало христіанства. Естественно, что философская дѣятельность представлялась ему религіознымъ служеніемъ, и его личное призваніе — религіозною миссіей, „дѣломъ Господнимъ“. „Проклять всякъ, творяй дѣло Господне съ небреженіемъ“ — вотъ угроза, которую онъ воспоминаетъ при исправленіи и отдѣлкѣ своихъ трудовъ, какъ онъ говоритъ это въ предисловіи ко 2-му изданію „Оправданія Добра“.

Оригинальна ли такая философія? Не есть ли это простая попытка, быть можетъ, смѣлая и талантливая — воскресить средневѣковую схоластику или эклектическій платонизмъ раннихъ христіанскихъ писателей? Не обращается ли и здѣсь философія въ „служанку богословія“? Нѣтъ, и въ этомъ-то все и дѣло.

Въ дѣйствительности уже отношеніе платонизма первыхъ вѣковъ къ христіанству было внѣшнее и случайное. На ряду съ платониками-христіанами были и платоники-язычники, и притомъ, несомнѣнно, превосходившіе первыхъ въ области чистаго умозрѣнія. Стоитъ вспомнить хотя бы Плотина, одного изъ величайшихъ мыслителей всѣхъ временъ. Еще болѣе внѣшнимъ является отношеніе къ христіанству со стороны схоластиковъ. Между средневѣковыми мыслителями были благочестивые, святые люди, но самая философія ихъ — ихъ номинализмъ, реализмъ, концептуализмъ — были чѣмъ-то совершенно постороннимъ христіанству. Первое начало схоластическихъ споровъ можно искать въ борьбѣ школъ древней Греціи. Въ христіанствѣ основанія для нихъ не заключается; поэтому-то схоластика и стояла въ чисто внѣшнемъ отношеніи къ нему, то подчиняясь его внѣшнимъ для нея нормамъ, то пытаясь оправдать или доказывать эти нормы изъ посылокъ, совершенно постороннихъ христіанству.

Ничего подобнаго у Соловьева не было. Онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергалъ тотъ внѣшній компромиссъ между язычествомъ и христіанствомъ, въ которомъ, по его мнѣнію, состоитъ сущность средневѣковаго міросозерцанія. Онъ открыто становится

на сторону враговъ такого міросозерцанія и въ разрушеніи ложнаго догматизма видитъ одно изъ существенныхъ условій для развитія міросозерцанія истинно-христіанскаго. Въ философіи, какъ и въ религіи, онъ выступаетъ горячимъ противникомъ догматизма; въ мысли, какъ и въ жизни онъ не допускаетъ внѣшняго, отвлеченнаго христіанства. Оно не исчерпывается для него отдѣльными догматами или отдѣльными истинами; оно было для него всею истиной, той абсолютной полнотою истины, какой ищетъ философствующій разумъ, той полнотою добра, какая составляетъ высшее требованіе нравственнаго сознанія.

Человѣческій разумъ стремится къ познанію абсолютнаго. Можно сомнѣваться въ успѣхъ такого стремленія, но не въ его существованія, о которомъ свидѣтельствуетъ вся исторія философіи. Но въ философіи, говоритъ Вл. С., проявляется только одна изъ сторонъ общаго и высшаго стремленія нашего духа къ тому абсолютному, которое опредѣляется какъ *истина* по отношенію къ разуму, какъ высшее *благо* по отношенію къ волѣ и какъ совершенная *красота* по отношенію къ чувству. Достижима ли конечная цѣль всѣхъ нашихъ стремленій? Достижимо ли абсолютное благо, осуществима ли всесовершенная красота, познаваема ли всеединая истина, т.-е. само абсолютное, и при какихъ условіяхъ? Въдѣ между нами и абсолютнымъ стоятъ границы нашей личности, нашей обособленности, всего нашего относительнаго существованія. Но безусловны ли эти границы, существуютъ ли онѣ для самого абсолютнаго, непреложно отдѣляя его отъ насъ? Развѣ для абсолютнаго можетъ быть внѣшній предѣлъ и граница? развѣ оно не обосновывается, не проникаетъ собою все, составляя всеединый источникъ всякаго бытія, о немъ же мы живемъ и движемся и есмы?

Въ абсолютномъ не можетъ быть границъ, и потому, *если только познаніе его возможно*, первымъ условіемъ такого познанія является *отреченіе* отъ нашей личной ограниченности. Только подѣ условіемъ такого отреченія мы можемъ безпрепятственно достигнуть того „внутренняго соединенія съ истиной“, которое, по Соловьеву, составляетъ сущность дѣйствительнаго познанія абсолютнаго.

Но такое соединеніе нашего разума съ Истиной, если только оно не призрачно, не можетъ ограничиваться одной теоретической областью нашего духа: какъ говоритъ В. С., оно должно быть реальнымъ, дѣйственнымъ, и постольку предполагаетъ нѣкоторое „перемѣщеніе центра человѣческаго бытія изъ его данной природы — въ сверхъ-природную, сверхъ-личную сферу, или,

какъ выражается нашъ философъ, — въ „трансцендентный, нездѣшній міръ“¹⁾.

Но если такъ, то оказывается, что философіи ставится *религіозная цѣль*: въ своей сферѣ, въ сферѣ чистаго знанія, она должна содѣйствовать реальному соединенію нашего духа съ абсолютнымъ. Философія не подчиняется религіи внѣшнимъ образомъ; она сама собою, интимно совпадаетъ съ нею, поскольку цѣль ея — познаніе сущей всеединой Истины — достигается лишь въ соединеніи чело-вѣческаго духа съ этой Истиной.

Философія въ самомъ стремленіи своемъ предполагаетъ *возможность* такого соединенія. А безусловная *дѣйствительность* такого соединенія чело-вѣческаго съ сверхъ-чело-вѣческимъ или абсолютнымъ — составляетъ сущность христіанства.

Въ чемъ видитъ Соловьевъ жизненный смыслъ его? Христіанство есть религія *богочело-вѣчества*; въ союзѣ божественнаго съ чело-вѣческимъ заключается начало искупленія, спасенія и жизни. Есть Богъ Вседержитель, Отецъ и Творецъ міра, отличный отъ міра. Онъ раскрывается въ своей абсолютной истинѣ, благодати и славѣ, полагая внѣ себя отличный отъ себя міръ, какъ свое другое. Смыслъ міра, живой разумъ міра заключается въ Богѣ, его источникѣ и виновникѣ; а цѣль міра — въ томъ, что изъ *другого* стать черезъ чело-вѣка *другомъ* Божиимъ, соединиться съ Нимъ въ любви, воплотить Его въ себѣ, стать Его *Царствомъ*.

Съ этой точки зрѣнія В. С. рассматриваетъ міровой процессъ, который онъ понимаетъ какъ результатъ *эволюціи* и *творчества*. Эти два противоположныя начала, по его мнѣнію, не только не исключаютъ, но взаимно предполагаютъ другъ друга: эволюціонизмъ безъ допущенія творчества, какъ и ученіе о творествѣ безъ эволюціи, приводятъ къ одному и тому же нелѣпому утвержденію, что нѣчто возникаетъ изъ ничто: „то, что есть новаго и большаго въ животномъ типѣ сравнительно съ растительнымъ, никакъ не можетъ быть безъ явной нелѣпости сведено на меньшее, т.-е. на ихъ общія свойства, ибо это значило бы $a+b$ отождествлять съ a , или нѣчто признавать равнымъ ничему“. Эволюція низшихъ типовъ бытія не можетъ сама по себѣ объяснять тотъ „плюсъ бытія“, который содержится въ высшихъ, „но она производитъ матеріальныя условія или даетъ соответствующую среду для проявленія или откровенія высшаго типа. Такимъ образомъ каждое появленіе но-

¹⁾ Философія начала цѣльнаго знанія, Ж. Мин. Нар. Просв. 1877.

ваго типа бытія есть въ извѣстномъ смыслѣ *новое твореніе*, но такое, которое менѣ всего можетъ быть обозначено какъ твореніе изъ ничего, ибо, во-первыхъ, матеріальной основой для возникновенія новаго типа служить типъ прежній, а во-вторыхъ, и собственное положительное содержаніе высшаго типа не возникаетъ вновь изъ небытія, а существуя отъ вѣка (въ абсолютномъ, или *всеединомъ* сущемъ), лишь вступаетъ въ извѣстный моментъ процесса въ другую сферу бытія, въ міръ явленій¹⁾.

И вотъ почему В. С., будучи убѣжденнымъ сторонникомъ эволюціонизма и видя въ немъ величайшую побѣду современнаго естествознанія, признавалъ творчество въ самомъ процессѣ естественной эволюціи, которая завершается происхожденіемъ человѣка. „Человѣкъ связанъ съ вещественнымъ міромъ не только реально, какъ часть, но и идеально, какъ его завершеніе“, и вотъ какъ говоритъ Соловьевъ объ этой связи міра съ человѣкомъ, о міровомъ антропогоническомъ процессѣ: „Земля, бывшая вначалѣ пустою, темною и безформенною, потомъ постепенно проникаемая свѣтомъ, образуемая и населяемая, земля, лишь въ третій день мірозданія впервые неясно ощутившая и безотчетно выразившая вложенную въ нее творческую силу въ сонныхъ и безсвязныхъ образахъ растительной жизни, въ этихъ смутныхъ порывахъ и первыхъ сочетаніяхъ земного праха съ небесной красотою; земля, которая въ этомъ растительномъ мірѣ *выступаетъ изъ себя* навстрѣчу небесныхъ вліяній, потомъ отдѣляется отъ себя въ свободномъ движеніи земныхъ животныхъ и поднимается надъ собою въ воздушномъ полетѣ птицъ небесныхъ; земля, разсѣившая свою душу живую въ безчисленныхъ видахъ растительной и животной жизни, наконецъ, сосредоточивается, приходитъ въ себя и получаетъ ту форму, въ какой она можетъ стать лицомъ къ лицу съ своимъ Владыкой и принять отъ него прямо дыханіе жизни“²⁾.

Но міровой процессъ не кончается созданіемъ человѣка, и въ самомъ человѣкѣ открывается возможность безконечнаго совершенствованія или прогресса, конечная цѣль котораго лежитъ въ сверхчеловѣческомъ идеалѣ: человѣкъ долженъ стать сверхчеловѣкомъ или бого-человѣкомъ. И какъ надъ растительнымъ царствомъ возвышается животное, а надъ животнымъ — природно-человѣческое, такъ и надъ этимъ послѣднимъ возвышается царство духовно-человѣческое или царство Божіе. Живой организмъ состоитъ изъ химическаго

¹⁾ См. „Оправданіе Добра“, 245—246.

²⁾ Исторія и будущность Теократіи, стр. 86.

вещества, „но это вещество *перестаетъ* быть *только* веществомъ, поскольку оно входитъ въ особый планъ жизни органической, пользующейся химическими и физическими свойствами и законами вещества, но не выводимый изъ нихъ“. Природное человечество состоитъ изъ животныхъ, которыя перестаютъ быть *только* животными; „подобнымъ же образомъ и царство Божіе составляется изъ людей, переставшихъ быть *только* людьми, входящихъ въ новый высшій планъ существованія, въ которомъ ихъ чисто-человѣческія задачи становятся лишь средствами и орудіями другой окончательной цѣли“¹⁾. И эта цѣль состоитъ въ окончательномъ соединеніи съ Богомъ.

Назначеніе человѣка въ томъ, чтобы быть проводникомъ Бога въ мірѣ, служить посредникомъ воплощенія Бога. Въ соединеніи съ Богомъ онъ долженъ осуществить въ мірѣ полноту истины, добра и красоты. И въ этомъ — спасеніе и жизнь человечества, исцѣленіе и спасеніе міра.

Понимаемое такимъ образомъ христіанство, какъ религія бого-человѣчества, есть залогъ того, что абсолютная истина открывается человѣку и составляетъ не только возможную, но и безусловно должную цѣль стремленія нашего разума. Далѣе, оно есть залогъ того, что абсолютное благо не только *есть*, но *открывается* міру черезъ человѣка и составляетъ высшую цѣль его воли. И наконецъ, въ христіанствѣ же — залогъ того, что вѣйшая, матеріальная природа не полагаетъ вѣчной и безусловной границы духа, что она способна къ одухотворенію и преображенію, составляющему высшую цѣль человѣческаго искусства и человѣческой культуры.

И такимъ образомъ христіанство, религія воплощеннаго Слова, соответствуетъ высшимъ требованіямъ философскаго разума, нравственной воли и эстетическаго чувства. Философія не опредѣляется чуждыми ей догматами. Совершенно автономная въ своей сферѣ чистаго знанія, она не имѣетъ иной высшей цѣли, кромѣ познанія всеединой Истины. И если въ своемъ исканіи этой Истины разумъ, по убѣжденію В. С. Соловьева, долженъ прійти къ христіанству, такъ это не потому, чтобы онъ руководствовался отдѣльными его догматами, а потому что жизненный смыслъ философіи состоитъ во внутреннемъ соединеніи человѣческаго разума съ сверхъ-человѣческой всеединой Истиной или съ абсолютнымъ сущимъ, точно

¹⁾ „Оправданіе Добра“, 234—240.

такъ же, какъ жизненный смыслъ христіанства состоитъ въ соединеніи человѣка съ Богомъ.

Это убѣжденіе свое В. С. оправдалъ на дѣлѣ, требуя для начала теоретической философіи самаго полного отреченія отъ догматическихъ предположеній богословія и метафизики, полнѣйшаго философскаго скепсиса, для котораго достовѣрны только *наличность* сознанія, общая логическая *форма* мышленія да философскій *замыселъ* въ своей рѣшимости познать Истину. Эта Истина можетъ быть оправдана лишь изъ себя самой.

Мы не знаемъ, какъ строилась бы умозрительная философія Соловьева въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, если бы онъ успѣлъ довести до конца ея обработку, хотя уже первыя главы ея, имъ написанныя, представляются въ высшей степени цѣнными. Но мы знаемъ, какъ строилась его нравственная философія, обработанная имъ въ его „Оправданіи добра“. Здѣсь точно такъ же онъ высказываетъ требованія, чтобы такая философія строилась независимо отъ какихъ бы то ни было предположеній метафизики и богословія. Точно такъ же онъ начинаетъ съ мастерскаго анализа первичныхъ данныхъ нравственнаго сознанія, съ естественныхъ чувствъ стыда, жалости, благоговѣнія, — чтобы отъ нихъ постепенно перейти къ идеалу добра, совершеннаго, чистаго и всеильнаго. Вѣра въ такое добро является основнымъ предположеніемъ нравственности, требованіемъ нравственнаго сознанія: безъ вѣры въ его осуществимость наша жизнь бессмысленна и наша дѣятельность бесплодна. И христіанство, которое признаетъ, что это абсолютное и всеильное Добро открывается въ совершенномъ человѣкѣ, является ему высшимъ выраженіемъ нравственной идеи. Распространяться объ этическомъ ученіи Соловьева мы не будемъ. Отмѣтимъ только, что и здѣсь его мысль не подгоняется внѣшнимъ образомъ подъ богословскія нормы и признается отъ начала независимой отъ этихъ послѣднихъ; и тѣмъ не менѣе, религіозная идея связывается самымъ интимнымъ, тѣснымъ образомъ съ идеей добра всеильнаго и безусловнаго. Добро оправдывается изъ себя самого, оправдывается въ человѣкѣ, не теряя своей чистоты, полноты и силы. Оно изображается въ своей универсальности и безусловности и въ то же время въ своемъ вочеловѣченіи.

Идея богочеловѣчества, боговоплощенія, составляющая движущее начало теоретической и нравственной философіи Соловьева, видимо, проникаетъ и его эстетику съ такою же непосредственностью и полнотою. Глубокое и тонко развитое чувство прекраснаго соединялось въ немъ съ вѣрою въ реальность красоты, въ реальное воплощеніе и торже-

ство духа въ матеріи. Человѣческому искусству, человѣческой техники въ ея цѣломъ онъ ставилъ задачею преобращеніе, одухотвореніе матеріальной природы, которая и въ настоящемъ своемъ состояніи представляется ему лишь „системою условій для осуществленія царства цѣлей“¹⁾. Художественное искусство имѣетъ значеніе лишь *предваренія* совершенной красоты „и служить такимъ образомъ переходомъ и связующимъ звеномъ между красотой природы и красотой будущей жизни“. Понимаемое такимъ образомъ искусство является нашему философу какъ вдохновенное пророчество²⁾. Пушкинскій пророкъ — не есть пророкъ Ислама или Ветхаго Завета, а поэтъ, и поэтическое вдохновеніе сродно пророчеству. Но *идеалъ* искусства — не въ предвареніи, а въ осуществленіи — въ подвигѣ Пигмаліона, оживившаго камень, въ подвигѣ Орфея, потрясшаго всеобщію пѣснью своды Аида и возвратившаго Эвридику³⁾.

Къ нравственной философіи В. С. тѣснѣйшимъ образомъ примыкаетъ и его публицистика, которая является у него лишь прикладною этикою. Высшимъ и единственнымъ принципомъ этой публицистики является христіанская политика. И, можетъ-быть, нигдѣ не представляется столь наглядной та необычайная широта, съ какою онъ понималъ христіанство въ качествѣ универсальнаго начала всякой правды, какъ именно здѣсь, въ сферѣ общественныхъ вопросовъ.

Многіе до сихъ поръ цѣнятъ въ Соловьевѣ преимущественно или даже исключительно публициста. И тѣмъ не менѣе, несмотря на всю ясность и твердость своихъ взглядовъ, онъ и въ этой сферѣ возбуждалъ множество недоразумѣній. Съ различныхъ сторонъ ему хотѣли навязать принципы, которымъ онъ никогда не служилъ. Люди различныхъ партій считали его своимъ, потому что онъ признавалъ ихъ относительную правду, и они же яростно нападали на него и обвиняли его въ отступничествѣ, когда убѣждались, что онъ не считалъ ихъ правду безусловной. Кто только не звалъ его ренегатомъ! Еще недавно въ одной изъ рѣчей, произнесенныхъ въ его память, было сказано, что, какъ публицистъ, онъ плылъ безъ компаса. И, какъ это бываетъ всегда, его называли безпринципнымъ по тому, что онъ неизмѣнно служилъ одному высшему принципу.

Одни считали его либераломъ и прогрессистомъ за его пламенный протестъ противъ нетерпимости, обскурантизма, реакціи; другіе считали его консерваторомъ, какъ одного изъ самыхъ энергичныхъ

¹⁾ „Оправданіе Добра“, 227.

²⁾ Общій смыслъ искусства. *Вопр. Филос.*, 1890 г., стр. 95.

³⁾ См. стихотворенія В. С., „Три подвига“.

и талантливыхъ защитниковъ положительныхъ устоевъ церкви и государства. Одни не понимали, какимъ образомъ этотъ человѣкъ, столь передовыхъ убѣждений, отстаиваетъ принципъ самодержавія въ государствѣ и папской власти во вселенской церкви. Другіе, наоборотъ, не хотѣли понять, какимъ образомъ этотъ консерваторъ выступаетъ врагомъ націонализма и требуетъ какой-то свободы совѣсти и свободы личности вмѣсто единственной цѣнной свободы — свободной наличности государственнаго казначейства.

На дѣлѣ его идеалъ лежитъ выше противоположностей консерватизма и либерализма — въ вышеуказанномъ принципѣ христіанской политики, конечною цѣлью которой является царство Божіе на землѣ. Во имя этого принципа онъ требуетъ какъ *охраненія* основъ общечеловѣческаго бытія, такъ и *прогрессивнаго улучшенія* условій его существованія въ свободномъ развитіи всѣхъ человѣческихъ силъ, которыя должны стать носительницами грядущаго совершенства. Во имя того же принципа онъ требуетъ осуществленія нравственныхъ началъ въ отношеніяхъ народностей между собою, въ отношеніяхъ различныхъ общественныхъ классовъ между собою и, наконецъ, въ отношеніи общества къ личности, безусловное достоинство которой никогда и ни по какой причинѣ не можетъ быть приносимо въ жертву другому лицу, группѣ лицъ или, такъ называемому, общему благу.

Вся эта проповѣдь представляется систематическимъ развитіемъ одной нравственной идеи, какъ самъ В. С. показываетъ это въ III части своего „Оправданія Добра“. Онъ вѣритъ въ универсальность добра и въ универсальность христіанства, и онъ признаетъ ложнымъ то христіанство, которое изображается какимъ-то загробнымъ призракомъ, не имѣющимъ жизненной силы и значенія въ дѣйствительности. Задача христіанства — въ оправданіи своей вѣры посредствомъ реального осуществленія, воплощенія правды и добра. Все то, что служитъ такому воплощенію, служитъ дѣлу Божію; все, что противится воплощенію добра и правды, то противно и христіанству, хотя бы оно прикрывалось его знаменемъ. Оправдать христіанство въ его универсальности, въ исторіи человѣчества, въ консервативныхъ устояхъ его государственной жизни и права, въ свободномъ прогрессѣ его общественныхъ силъ — оправдать его въ добрѣ и правдѣ, какъ онъ оправдываетъ его въ истинѣ и красотѣ, — вотъ задача, которую ставитъ себѣ Соловьевъ въ своемъ нравственномъ ученіи. Служить обществу посредствомъ обличенія его грѣховъ и болѣзней, обличенія его самоуниженія, за-

блужденія и неправды и посредствомъ раскрытія его положительныхъ христіанскихъ задачъ — вотъ цѣль, которую онъ ставитъ себѣ какъ публицистъ и общественный дѣятель — цѣль, въ которой совпадаетъ его просвѣщенная глубокая вѣра и его пламенный патріотизмъ.

Вспомнимъ начало его публицистики и ея развитіе. Онъ начинается, въ „Руси“ Аксакова, съ церковнаго вопроса, съ вопроса о раздѣленіи церкви и проповѣдуетъ ихъ соединеніе во имя всеединства богочеловѣческой истины. Онъ обличаетъ ложное языческое начало націонализма сперва въ церкви, а потомъ въ государствѣ. И онъ развиваетъ свой идеаль „свободной теократіи“ въ связи съ своимъ принципомъ христіанской политики. Тутъ, у Аксакова, въ своемъ нравственномъ и религіозномъ универсализмѣ онъ сталкивается съ славянофилами и націоналистами и начинаетъ свою замѣчательную борьбу за идеалы „вселенской правды“. Думаемъ, что мы не погрѣшимъ противъ справедливости, если скажемъ, что эта борьба нашего философа и его полемика противъ ложныхъ принциповъ націонализма составляютъ одни изъ самыхъ блестящихъ страницъ въ исторіи не только русской, но и европейской публицистики. А въ исторіи русскаго самосознанія, несомнѣнно, составитъ эпоху его критика славянофильства.

Намъ не хотѣлось бы говорить вскользь и мимоходомъ о дѣятельности В. С. Соловьева въ области церковнаго вопроса, гдѣ она встрѣтила столько вражды и непониманія. А между тѣмъ и здѣсь его проповѣдь не имѣла другого основанія кромѣ вѣры въ универсальность или „каѳоличность“ христіанской истины, во имя которой онъ осуждаетъ всякое индивидуальное или національное обособленіе въ христіанствѣ и требуетъ дѣятельнаго практическаго осуществленія единства въ сверхъ-народной собирательной организаціи христіанскаго челоуѣчества¹⁾. Публицистическая дѣятельность В. С. доставила ему много симпатій и притомъ со стороны лицъ, глубоко расходившихся съ нимъ въ основныхъ воззрѣніяхъ. Но эта публицистика не была уклоненіемъ философа отъ основной его цѣли — „оправдать вѣру нашихъ отцовъ, возведя ее на новую ступень разумнаго сознанія, показать, какъ эта древняя вѣра, освобожденная отъ оковъ мѣстнаго обособленія и народнаго самолюбія, совпадаетъ съ вѣчною и вселенскою истиною“²⁾...

¹⁾ Объ отношеніи В. С. къ церковному вопросу см. мою статью о немъ въ „Вѣстникѣ Европы“ сент. („Смерть В. С. Соловьева“).

²⁾ Ист. и бух. Теократія, первая строка предисловія.

Мы сказали уже, что Соловьевъ признавалъ свою дѣятельность религіознымъ служеніемъ и вѣрилъ въ свою религіозную миссію. Однимъ изъ обычныхъ упрековъ, которые ему дѣлались, состоятъ въ томъ, что онъ считалъ себя пророкомъ. Онъ пишетъ самъ:

Я въ пророки возведенъ врагами,
Насиѣхъ дали это мнѣ названье.

Если подъ пророкомъ слѣдуетъ разумѣть сверхъестественнаго предсказателя, то, конечно, Соловьевъ таковымъ себя не считалъ. Но онъ иначе понималъ пророческое служеніе, опредѣляя пророка, какъ *свободнаго дѣятеля высшаго идеала*. Всякій носитель истиннаго идеала, который дѣйствительно имъ вдохновляется и ему служить, несетъ, въ той или другой мѣрѣ, пророческое служеніе. „Истинный пророкъ, — говоритъ Владиміръ Сергѣевичъ, — есть общественный дѣятель, безусловно, независимый, ничего внѣшняго не боящийся и ничему внѣшнему не подчиняющійся... Всякому, конечно, желательна нравственная свобода, какъ всякому, можетъ быть, также желателенъ верховный авторитетъ и верховная власть, но одного желанія тутъ мало. Верховный авторитетъ и власть даются милостью Божіей, а настоящую свободу самъ человѣкъ долженъ заслужить внутреннимъ подвигомъ. *Право свободы* основано на самомъ существѣ человѣка и должно быть обезпечено извнѣ государствомъ. Но степень *осуществленія* этого права есть именно нѣчто такое, что всецѣло зависитъ отъ внутреннихъ условий, отъ степени достигнутаго нравственнаго сознанія. Дѣйствительнымъ носителемъ полной свободы, и внутренней и внѣшней, можетъ быть только тотъ, кто внутренне не связанъ никакою внѣшностью, кто въ послѣднемъ основаніи не знаетъ другого мѣрила сужденій и дѣйствій, кромѣ доброй воли и чистой совѣсти“¹⁾. Вотъ идеалъ внутренней свободы, нравственный идеалъ, къ которому В. С. Соловьевъ, несомнѣнно, стремился въ теченіе своей жизни. И если среди окружающихъ насъ современниковъ былъ общественный дѣятель, безстрашный, внутренне не связанный никакою внѣшностью, свободный въ полнотѣ своей вѣры и въ послѣднемъ основаніи не знавшій другого мѣрила сужденій и дѣйствій, кромѣ доброй воли и чистой совѣсти, такъ это былъ Владиміръ Соловьевъ.

Въ 1901-мъ году „Вопросы философіи и психологіи“.

¹⁾ „Оправданіе Добра“, 573—574.

Лишніе люди и герои нашего времени.

Есть великіе геніальныя художники слова, которые имѣютъ сами по себѣ значеніе непреходящее, независимо отъ того, что говорятъ о нихъ современники. Ихъ можно изучать исторически, научно, рассматривая, какъ отразились въ ихъ творчествѣ вліянія ихъ среды, ихъ эпохи, ихъ предшественниковъ; и къ нимъ можно идти не мудрствуя лукаво, какъ за хлѣбомъ насущнымъ, будь они близки или далеки отъ насъ во времени, какъ Гомеръ или Шекспиръ, Софоклъ или Гёте, или Пушкинъ. Въ нихъ есть нѣчто, что кажется намъ какъ бы сверхъ-временнымъ, сверхъ-историческимъ — чистое „вѣчное“ искусство. Ихъ творческій геній возросъ и воспитался среди мѣстныхъ и временныхъ условій, доступныхъ историческому изученію, но не изъ этихъ условій, мѣста и времени объясняется ихъ геній, перераставшій свою среду и столь мощно воздѣйствовавшій на нее. Онъ и получилъ міровое значеніе.

И есть другіе писатели, обладающіе въ большей или меньшей степени художественнымъ даромъ, но не достигающіе высотъ творчества, — писатели не созидающіе, а только художественно воспроизводящіе образы своей среды и облекающіе въ нихъ тѣ или другія современныя имъ идеи и настроенія. Эти идеи и настроенія, разлитыя въ ихъ средѣ, находятъ себѣ въ лицѣ такихъ писателей наиболѣе яркое, чистое выраженіе, подобно тому какъ въ резонаторѣ одинъ чистый звукъ отдѣляется отъ хаоса постороннихъ звуковъ и призвуковъ. И вотъ почему для пониманія отдѣльныхъ эпохъ изученіе произведеній ихъ наиболѣе любимыхъ и популярныхъ писателей можетъ быть иной разъ болѣе поучительнымъ, нежели изученіе писателей геніальныхъ, стоящихъ выше своей среды. Последніе занимаютъ насъ тѣмъ, что они сами говорятъ и пишутъ; первые въ меньшей мѣрѣ занимаютъ насъ также и тѣмъ, что о нихъ говорятъ и пишутъ.

Едва ли я вызову чье-либо противорѣчіе, если скажу, что среди всѣхъ нынѣ живущихъ художественныхъ писателей, не только русскихъ, но и европейскихъ, наиболѣе крупной величиной является „великій писатель земли русской“ гр. Л. Н. Толстой. И несмотря на такое общее и безспорное признаніе, едва ли онъ является писателемъ наиболѣе популярнымъ и любимымъ въ наши дни среди широкихъ круговъ русскаго интеллигентнаго общества; Максимъ Горькій во всякомъ случаѣ, пожалуй даже Чеховъ, несмотря на всю несоизмѣримость своей абсолютной величины съ величиною на-

шего маститаго художника, пользуются болѣе горячими симпатіями вызываютъ болѣе интересъ въ качествѣ сильныхъ, громко звучащихъ резонаторовъ общественныхъ настроеній. Толстой занимаетъ въ нашей литературѣ одинокое, обособленное положеніе; да простятъ мнѣ историки литературы — для меня Толстой представляется какимъ-то Мельхиседекомъ русскаго слова, царственнымъ священникомъ, не имѣющимъ родословія. Болѣе, нежели всѣ другіе русскіе писатели, онъ былъ независимъ отъ случайныхъ вѣяній литературныхъ и общественныхъ; они не только не увлекали его, они какъ бы проносились мимо него. Для однихъ онъ — великій художникъ, для другихъ — вѣроучитель, но, за исключеніемъ его послѣдователей или фанатическихъ враговъ, онъ не является „властителемъ думъ“ современниковъ, — что, разумѣется, еще нисколько не умаляетъ его безотносительнаго значенія. Если искать писателей, въ большей степени, нежели онъ, заслуживающихъ названія *популярныхъ*, то придется назвать Чехова и Горькаго, — что, конечно, опять-таки еще не служить истинной мѣркой ихъ величины.

Чѣмъ же обусловливается эта необычайная популярность, этотъ горячій интересъ, возбуждаемый обоими писателями и проявляющійся постоянно напоказъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ? Прежде всего, талантомъ обоихъ писателей — Горькаго въ особенности. Но не однимъ талантомъ однако; ибо, какъ онъ ни значителенъ, — скажемъ прямо наше мнѣніе — мы все же имѣемъ дѣло съ извѣстной *переоцѣнкой*. Какъ ни привлекаютъ насъ симпатичныя, обвѣянные тихой грустью акварели Чехова или смѣлые мазки Максима Горькаго, мы все же не рѣшимся высказать, что въ лицѣ этихъ художниковъ мы имѣемъ „мировыхъ“ писателей. А между тѣмъ ихъ шумный успѣхъ во всякомъ случаѣ является у насъ не меньшимъ, нежели тотъ, который выпадалъ на долю величайшихъ художниковъ нашихъ. Ясное дѣло, что, помимо безспорнаго художественнаго дарованія, тутъ играетъ значительную роль и самое идейное содержаніе и соотвѣтствіе общественному настроенію. Это именно и придаетъ названнымъ писателямъ выдающійся интересъ для изученія современнаго состоянія нашего общества и для исторіи нашей литературы.

Разумѣется, историку литературы трудно касаться современныхъ темъ, оставаясь на почвѣ научно-исторической или хотя бы философской; легко впасть въ критику публицистическую или чисто-литературную. Но нельзя отказываться отъ попытки философскаго освѣщенія явленій современной жизни, представляющихъ общій инте-

ресь и значеніе и, несомнѣнно, заключающихъ въ себѣ серіозныя нравственныя проблемы. Нельзя отказаться и отъ попытки освѣтить историческую связь современныхъ литературныхъ явленій, современныхъ литературныхъ типовъ съ предшествовавшими типами, увѣковѣченными великими русскими писателями. Мы не думаемъ справиться съ этими задачами въ нашей краткой замѣткѣ — достаточно было бы хотѣ намѣтить нѣкоторые изъ нихъ. На первый разъ ограничимся двумя историко-литературными и вмѣстѣ общественно-моральными проблемами, которыя ставятъ намъ г.г. Чеховъ и Горькій: первая изъ нихъ — это исторія „лишняго человѣка“ отъ Тургенева до Чехова; вторая — исторія „героя нашего времени“ въ его послѣдовательной демократизации и упадкѣ, исторія русского „сверхъ-человѣка“ отъ Демона и Печорина до босаяновъ Максима Горькаго.

II.

Г-нъ Чеховъ, рассказы котораго представляются маленькими художественными этюдами, всегда проникнутыми столь интимнымъ, задушевымъ настроеніемъ, даетъ намъ послѣднюю страницу въ исторіи „лишняго человѣка“ — обиженного и обидѣвшагося русского интеллигента. Кѣмъ онъ обиженъ? всѣми — и княгинями и мужиками, и кулаками и фельдшерами, и Богомъ и судьбою. Всѣ эти „хмурые люди“, „нытики“, разбитые жизнью или даже чаще всего разбитые безъ всякой жизни и безъ всякой борьбы, страдающіе отъ неврастенія, отъ собственной дряблости и безсилія, отъ мелкаго гиперестезированнаго самолюбія и себялюбія, отъ собственной пошлости и скуки и отъ пошлости своей среды — все это „лишніе человѣки“, тяготящіеся сами собою, сознаниемъ своей ненужности, праздности своей жизни. И г. Чеховъ любовно носится съ этими лишними человѣками, лишними дядями, лишними сестрами и братьями. Онъ жалѣетъ ихъ, тоскуетъ съ ними, плачетъ и ноетъ съ ними, и, по-видимому, читающая публика приходитъ отъ этого въ восторгъ. Чѣмъ скучнѣе рисуется жизнь, чѣмъ слякотнѣе характеры, чѣмъ болѣе становятся они обидно-мелкими и болѣзненно-чувствительными, и чѣмъ болѣе сгущаются сѣрыя краски, тѣмъ болѣе удовольствія испытываетъ современный читатель или даже зритель.

Здѣсь есть какая-то психологическая загадка: почему публикѣ могутъ нравиться такія пьесы, какъ, напримѣръ, пресловутыя „Три сестры“, гдѣ авторъ собралъ въ 4 дѣйствія все, что можетъ быть тоскливаго, томительно-скучнаго въ буржуазной жизни самага не-

интереснаго, пошлаго семейства въ какомъ-то захолюстьѣ? Что хорошаго, что и тутъ краски сгущены для вящаго настроенія? Пьеса не сходитъ съ репертуара, и она изъ тѣхъ, успѣхъ которыхъ обезпеченъ въ наши дни. Повторяю, меня интересуетъ здѣсь не авторъ, а именно этотъ успѣхъ, какъ фактъ общаго значенія, какъ симптомъ общественнаго настроенія. Значеніе этого факта можно доказать и другимъ примѣромъ, — однимъ изъ многихъ, но все же болѣе яркимъ, чѣмъ прочіе: я разумѣю „Мѣщанъ“ М. Горькаго, которые оставляютъ за собою не только трехъ, но, если нужно, 40000 сестеръ. Если у Чехова сгущены сѣрыя краски, то здѣсь онѣ образовали изъ себя настоящую мглу. Какой-то репортеръ оповѣстилъ публику, что самъ авторъ, присутствовавшій на репетиціи, призналъ пьесу нестерпимо скучной. Но эта нестерпимая скука, ноющая какъ зубная боль, этотъ тоскливый, сосущій гнетъ, на который съ самаго начала до конца жалуются дѣйствующія лица, — вѣдь это именно то самое, что *хотѣлъ* изобразить авторъ въ своей драмѣ. Это не случайный недостатокъ, а преднамѣренный эффектъ, хотя, можетъ-быть, авторъ слишкомъ позаботился о томъ, чтобы его усилить. Дѣйствительно, авторъ не упустилъ ничего, что только въ мелкой мѣщанской жизни можетъ быть мелкаго и мѣщанскаго, невыносимо томительнаго, изводящаго; онъ не побрезгалъ даже грубыми виѣшними приѣмами для усиленія впечатлѣнія, заставивъ Тетерева, этого алкоголика-нищеванца съ Хитрова рынка, избличающаго „мертвыхъ“ лишнихъ людей, въ теченіе десяти минутъ брать одни и тѣ же „густые печальные звуки“. Дѣйствующія лица возмущаются такимъ измывательствомъ надъ чужими нервами и требуютъ, хотя и безъ успѣха, чтобы Тетеревъ прекратилъ эту музыку. Но публика терпѣливо это сноситъ и не шикаетъ. „Я акомпанирую настроенію“, говорятъ Тетеревъ. И вся драма кончается этимъ акомпанементомъ: Татьяна — быть можетъ, самое невыносимое существо изъ всей современной коллекціи лишнихъ людей, — *„медленно сгибаясь, облокачивается на клавиши. Въ комнатѣ раздаются нестройный громкій звукъ многихъ струнъ и — замираетъ“*. На этомъ падаетъ занавѣсъ.

Драма Горькаго ярче другихъ однородныхъ произведеній, но не представляетъ ничего исключительнаго. Мы остановились на ней, чтобы показать, въ какой степени и Горькій, котораго иные по какому-то недоразумѣнію считаютъ большимъ „оптимистомъ“, поддался общему настроенію. Правда, этой нравственной смерти мѣщанскаго общества онъ противопоставляетъ мѣщанина будущаго, удалого машиниста

Нила, или, въ другихъ своихъ произведеніяхъ, идеалы босяцкой удали и свободы. Но тѣмъ болѣе сгущается общій сѣрый фонъ.

Чѣмъ же объяснить эту литературу тоски и скуки или это постоянное явно озлобленное измывательство надъ зрителемъ или читателемъ? Вѣдь это дѣйствительно цѣлая литература, ибо за модными писателями тянутся вереницей писатели менѣе талантливые и прямыя бездарности. Что собственно пріятнаго, или прекраснаго и высокаго, или лестнаго для себя находить публика въ этой литературѣ или въ этой драмѣ, гдѣ героевъ замѣняютъ импотенты, неврасленики и выродки, передъ которыми самъ Терситъ прежнихъ временъ былъ бы порядочнымъ человѣкомъ? Это — вопросъ, интересный для діагноза нашихъ современныхъ общественныхъ недуговъ.

Въ другое время другая публика не ходила бы въ театръ, чтобы смотрѣть, изо дня въ день, какъ люди бездѣльничаютъ, изнываютъ отъ скуки и претендуютъ за это на наше сочувствіе. Въ другое время единодушный свистъ положилъ бы конецъ оскорбительному для всякаго слуха измывательству Тетерева. Теперь онъ потрафляетъ публикѣ: онъ акомпанируетъ настроенію.

Что же это такое? Существуетъ поэзія слезъ, поэзія сумрака, пасмурныхъ осеннихъ дней. Но здѣсь дѣло уже не въ поэзіи, а въ какомъ-то уныломъ и слякотномъ настроеніи, въ какомъ-то расправленіи тоски, которое доставляетъ извѣстное удовольствіе. Тургеневъ впервые отмѣтилъ появленіе лишняго человѣка. Достоевскій показалъ, какое пакостное, дрянное и вредное маленькое животное можетъ жить иногда въ такого рода субъектахъ, какъ безмѣрно ихъ самолюбіе, какъ растетъ ихъ жестокой чудовищный эгоизмъ (Записки изъ подполья). Но вѣдь не одну эту мразь они видѣли на свѣтѣ: теперь изъ лишнихъ человѣковъ выросло цѣлое лишнее человѣчество. Прежде они были изъ благородныхъ; теперь они растлили собою „третій элементъ“, растлѣваютъ мѣщанство, пробираются въ крестьянскую среду.

Публику окормили лишнимъ человѣкомъ; и ей все еще не тошно слышать о немъ, и она все еще ходитъ его смотрѣть въ театры и слушаетъ его омерзительное нытье. Казалось бы, пора сознать, что находить удовольствіе въ сѣтованіяхъ о собственной дряблости, дрянности и безсиліи — постыдно и нездорово.

Нельзя одобрять боя быковъ; но, можетъ-быть, для многихъ бой быковъ представляетъ менѣе вредное, растлѣвающее и деморализующее зрѣлище, чѣмъ инныя современныя драмы, и вызываетъ менѣе нездоровыя впечатлѣнія, нежели постоянное пребываніе въ какой-то

атмосферѣ неврастенія, разслабленія, щемящей тоски. Сентиментальное удовольствіе, получаемое любителями литературнаго нитья, относится къ тому же разряду эстетическихъ удовольствій, какія доставляетъ себѣ салонница на чужихъ похоронахъ, когда она протискивается посмотрѣть на неизвѣстнаго ей покойника и на то, какъ его вдова убиваться будетъ. Подобныхъ ощущеній, пріятно развивающихъ наши нервы и нашу чувствительность, мы ищемъ въ литературѣ, въ искусствѣ, въ музыкѣ.

Откуда эти извращенные вкусы, эта симпатія къ безсилію, неврастенію, къ вырождамъ всякаго рода? Одинъ пріятель объяснялъ мнѣ, что все это отъ отсутствія у насъ... правового порядка... При менѣе угнетенномъ общественномъ настроеніи, при болѣе дѣятельной и содержательной общественной жизни этотъ патологическій интересъ, несомнѣнно, ослабѣлъ бы. Но вѣдь онъ составляетъ недугъ не одной русской литературы и проявляется въ литературахъ другихъ народовъ, не могущихъ пожаловаться на отсутствіе общечеловѣческой ответственности. А потому и корни этого недуга слѣдуетъ искать въ болѣе глубокихъ и общихъ условіяхъ современной духовной жизни.

III.

Нѣкоторымъ признакомъ того, что лишній человѣкъ начинаетъ прѣдаться, служить увлеченіе „сверхъ-человѣкомъ“. Но — увѣ! — и въ самомъ этомъ увлеченіи нерѣдко чувствуется какая-то слабость, что-то „бабье“, какъ остроумно замѣтилъ Э. Гартманъ по поводу Uebermensche'a Ницше: увлеченіе этимъ „сильнымъ мужчиной“ напоминаетъ ему то чувство, которое вспыхиваетъ у иныхъ невропатическихъ дамъ при видѣ мускулатуры атлета-циркаста...

„Мускулы идутъ“, прочелъ я недавно гдѣ-то по поводу „новаго вѣянія“. И вотъ эти мускулы должны избавить насъ отъ лишняго человѣчества, отъ нитья и скуки, отъ пошлости и пустоты душевной. Спасеніе отъ мускуловъ! Хорошо, когда они есть! Развивайте ваши мускулы — вотъ одинъ изъ новѣйшихъ переводовъ заповѣди Заратустры, werdet hart! Бѣда только въ томъ, что иные мускулистые послѣдователи „господской морали“, въ родѣ Терентія Тетерева, оказываются слабыми по части алкоголя. Положимъ, не всѣ: Ниль, напримѣръ, этотъ мѣщанскій сверхъ-человѣкъ, свободенъ отъ такой слабости. Но можемъ ли мы поручиться за то, что и онъ когда-нибудь не запьетъ, что и къ нему не придетъ когда-нибудь минута, когда онъ, задыхаясь отъ окружающаго гнета, утомленный

катаньемъ на локомотивахъ и утративъ стальную упругость своихъ мышцъ, захочетъ найти въ алкоголь ту веселую, радостную удалъ, ту молодую силу, которая теперь играетъ въ немъ, счастливомъ и влюбленномъ? Мы спрашиваемъ это потому, что тѣ правила житейской философіи, какія онъ даетъ о томъ, какъ „мѣшать гущу жизни“ и „мѣсить ее“, — почти дословно повторяютъ другіе герои Горькаго, босяки-алкоголики, напримѣръ Сережка въ *Мальвѣ*. Въ самомъ дѣлѣ! Почему бы Нилу со временемъ не попасть въ положеніе Тетерева, и гдѣ у насъ ручательство, что этого случиться не можетъ? Тетеревъ не менѣе его интеллигентенъ, не менѣе гордъ, сверхъ-человѣческую мораль усвоилъ вполне, и мускулы у него прекрасные. Стало-быть, однихъ мускуловъ, одной молодости и бодрой удали еще не достаточно.

То, что я говорю здѣсь, сказано вовсе не въ шутку, а составляетъ законный вопросъ. Я, разумѣется, не хочу сказать, чтобы нравственные правила Нила вели на Хитровъ рынокъ. Я констатирую только, что между его міросозерцаніемъ и міросозерцаніемъ хитровцевъ существуетъ близкое сродство: тѣ извѣдали „гущу жизни“ *до дна*.

Г-нъ Горькій подарилъ насъ новымъ героемъ нашего времени или, точнѣе, рядомъ героевъ — избранныхъ босяковъ. Это тоже нисколько не иронія, — во всякомъ случаѣ, не моя иронія, а, если угодно, иронія судьбы. „Печальный демонъ, духъ изгнанія“ постепенно понижался въ общественной лѣтвицѣ. Уже у Лермонтова онъ сталъ гвардейскимъ офицеромъ — „лейбъ-гвардіи гусарскій Мефистофель“, какъ прозвалъ Печорина одинъ изъ его критиковъ, затѣмъ онъ опустился еще ниже, сдѣлался разnochинцемъ, нигилистомъ и, наконецъ, босякомъ. Въ видѣ блестящаго аристократа онъ явился въ послѣдній разъ въ образѣ Николая Ставрогина у Достоевскаго; но уже у него онъ былъ въ сущности „эпилептическимъ дегенератомъ“ въ специально-патологическомъ, психіатрическомъ смыслѣ этого термина. У Горькаго онъ опускается до „дна“ и обыкновенно является босякомъ. Сохраняется основная черта — гордое чувство собственного превосходства при полномъ нравственномъ нигилизмѣ или отрицаніи какихъ бы то ни было нравственныхъ нормъ. Сохраняется самодовлѣющій имморализмъ сильной личности, наслаждающейся своей вольной волей, своей мощью. Намъ скажутъ, что теряется существенное — аристократическій байронизмъ. Но самый байронизмъ есть явленіе сложное: въ немъ слѣдуетъ различать нравственную сущность отъ внѣшней оболочки, отъ нѣкоторой позы

и рисовки, которая однако неразрывно связана съ сущностью, какъ *суета* съ *томленіемъ духа*. Оболочка стала иною, Гарольдовъ плащъ изодрался въ лохмотья, а „томленіе духа“, заглушаемое то кипучею молодостью, то безшабашнымъ разгуломъ и огнемъ страстей, проявляется по-своему, хотя бы въ алкоголизмъ.

Впрочемъ, я не отрицаю, что въ „герояхъ нашего времени“ мы имѣемъ дѣло съ продуктами прогрессивнаго вырожденія, хотя, какъ мнѣ кажется, совершенно естественнаго. Сверхъ-человѣку нѣтъ мѣста въ современномъ буржуазномъ обществѣ: онъ можетъ быть Заратустрой или Демономъ, т.-е. чисто-литературной фикціей, но на дѣйствительной службѣ, не только въ гвардіи, но даже и на Кавказѣ, онъ, очевидно, не можетъ состоять; идти въ нигилисты, оставаясь въ средѣ интеллигенціи, значить продавать свое дѣйствительное или мнимое первородство за блюдо чечевичной похлебки и вступать въ ежечасныя сдѣлки съ обществомъ, которое налагаетъ цѣпи на свободную личность. Остается порвать всѣ узы, налагаемыя имущественнымъ и общественнымъ положеніемъ, и въ босяцкой свободѣ искать осуществленія сверхъ-человѣчества. Если на высшихъ ступеняхъ общественной лѣстницы сверхъ-человѣкъ чувствуетъ себя скованнымъ, отверженнымъ и вынужденъ искать свободы въ изгнаніи и скитаніи, то въ обществѣ, *на днѣ*, онъ чувствуетъ себя какъ будто легче, съ большимъ правомъ презираетъ общество и судить его по ту сторону добра и зла. Но здѣсь его стерегутъ нужда, праздность, голодъ и водка. Животное вступаетъ въ борьбу съ сверхъ-человѣкомъ, и его поэма, какъ поэма Заратустры, кончается звѣринымъ ревомъ.

IV.

Если г. Чеховъ — печальникъ, плакальщикъ нашей интеллигенціи, то М. Горькій въ глубинѣ души своей чувствуетъ къ этой интеллигенціи накипающую, застарѣвшую злобу, которую онъ и высказываетъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Онъ злится на нее за ея дряблость, дрянность, безсиліе и нытье, за ея барство и праздность, за буржуазный либерализмъ, фальшь и трусость, за все ея „лишнее человѣчество“, которымъ она растлѣваетъ общественные низы, вмѣсто того чтобы поднимать, образовывать ихъ. Самый успѣхъ г. Горькаго среди интеллигенціи, — успѣхъ, къ которому онъ не можетъ быть равнодушенъ, его раздражаетъ, тѣмъ болѣе что онъ испытываетъ на себѣ его вліяніе, по необходимости заимствуя свой идейный багажъ у той же интеллигенціи. Онъ не упускаетъ слу-

чая изругать своих поклонников, уязвить своего читателя. Публика представляется ему въ видѣ безобразнаго чудища, съ какимъ-то отвратительнымъ боталомъ вмѣсто языка въ огромной части, которое кричитъ ему „бравъ“ тѣмъ громче и радостнѣе, чѣмъ обиднѣе онъ ее ругаетъ, чѣмъ больше выражаетъ онъ ей свое презрѣніе. Съ какого права эти заявленія сочувствія со стороны тѣхъ, съ кѣмъ онъ ничего общаго имѣть не хочетъ, кому онъ не можетъ ничего дать, а потому и не хочетъ дать ничего, кромѣ проклятія? Почему, съ какого права они считаютъ его своимъ?

Г-ну Горькому является бѣсъ, искушавшій многихъ писателей русскихъ, — бѣсъ учительства. Положимъ, бѣсъ не всегда тутъ виноватъ въ той степени, какъ публика, у которой, по баснѣ Крылова, онъ могъ бы поучиться, какъ жарить яйца на свѣчкѣ: я читалъ, что гдѣ-то, чуть ли не въ Калугѣ, у самого Леонида Андреева просили поученія о томъ, какъ жить надо: „Учителю благій, что сотворю, да животъ вѣчный наслѣдую?“ Подобно публикѣ, подобно Полѣ въ „Мѣщанахъ“, М. Горькій вѣритъ въ писателя и хочетъ, чтобы писатель былъ „учителемъ жизни“. И его Мефистофель показываетъ ему, что ему нечего дать читателямъ, нечему ихъ учить, что поученіямъ его грошъ цѣна — онъ самъ имъ не вѣритъ и вѣрить не можетъ.

„Ты пишешь, и тысячи людей тебя читаютъ; что же именно ты проповѣдуешь? И думалъ ли ты о своемъ *правѣ* поучать?“ спрашиваетъ его бѣсъ въ образѣ читателя (III, 426). Ich predige Euch den Uebereinschlag, говоритъ Заратустра. Горькій отвѣчаетъ: „у нищихъ не просятъ милостыни“. Прочтите остальную часть авторской исповѣди, выстраданной, сильной, глубоко привлекательной въ своей искренности.

„Я открылъ въ себѣ не мало добрыхъ чувствъ и желаній, не мало того, что обыкновенно называютъ хорошимъ, но чувства, объединяющаго все это, стройной и ясной мысли, охватывающей всѣ явленія жизни, я не нашелъ въ себѣ. Въ душѣ моей много ненависти, она постоянно тлѣетъ тамъ... иногда вспыхиваетъ яркимъ огнемъ гнѣва; но еще больше сомнѣній въ душѣ моей. Порой они такъ потрясаютъ мой умъ, такъ давятъ сердце, что долгое время я существую внутренне опустошенный... Ничто не возбуждаетъ меня къ жизни, сердце мое холодно, какъ мертвое, умъ спитъ, а воображеніе давитъ кошмары.

„...Ты какъ луна чужимъ свѣтомъ свѣтишь, свѣтъ твой печально-тусклъ, онъ много плодитъ тѣней, но слабо освѣщаетъ и не грѣетъ

онъ никого... Твое перо слабо ковыряетъ дѣйствительность, тихонько ворошитъ мелочи жизни, и, описывая будничныя чувства будничныхъ людей, ты открываешь ихъ уму, быть можетъ, много низкихъ истинъ, но можешь ли ты создать для нихъ хотя бы маленький, возвышающій душу обманъ?... Нѣтъ! Ты увѣренъ, что это полезно — рыться въ мусорѣ буденъ и не умѣть находить въ нихъ ничего, кромѣ печальныхъ, крошечныхъ истинъ, устанавливающихъ только то, что человѣкъ золъ, глупъ, безчестенъ, что онъ вполнѣ и всегда зависитъ отъ массы вѣшнихъ условий, что онъ беспилень и жалокъ одинъ и самъ по себѣ. Знаешь, ты, пожалуй, уже успѣлъ убѣдить его въ этомъ! Ибо душа его охлаждена, и умъ тупъ... Онъ смотритъ на себя въ твоёмъ изображеніи и, видя, какъ онъ дуренъ, не видитъ возможности быть лучше. Развѣ ты умѣешь показать ему эту возможность?...

„Загромождающая память и вниманіе людей мусоромъ фотографическихъ снимковъ съ ихъ жизни, бѣдной событіями, подумай, не вредишь ли ты людямъ? Ибо, сознайся, ты не умѣешь изображать такъ, чтобы твоя картина жизни вызывала въ человѣкѣ мстительный стыдъ и жгучее желаніе создать иныя формы бытія... Можешь ли ты ускорить бѣніе пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть въ нее энергію, какъ это дѣлали другіе?...

„И еще... Можешь ли ты возбудить въ человѣкѣ жизнерадостный смѣхъ, очищающій душу? Посмотри, вѣдь люди совершенно разучились хорошо смѣяться! Они смѣются зло, смѣются подло, часто смѣются сквозь слезы, но никогда не услышишь среди нихъ радостнаго искренняго смѣха, того смѣха, который долженъ бы сотрясать груди взрослыхъ, ибо хорошій смѣхъ оздоравливаетъ душу.

„Всѣ вы, учителя жизни нашихъ дней, гораздо больше отнимаете у людей, чѣмъ даете имъ... И едва ли Богъ послалъ васъ на землю... Онъ выбралъ бы болѣе сильныхъ, чѣмъ вы. Онъ зажегъ бы сердца ихъ огнемъ страстной любви къ жизни, къ истинѣ, къ людямъ, и они пылали бы во мракѣ нашего бытія какъ свѣтильники Его силы и славы... Вы же чадите какъ факелы торжества сатаны, и чадъ вашъ, проникая въ умы и души, отравляетъ ихъ ядомъ недовѣрія къ себѣ. Скажи, чему вы учите?

„...Что вы можете сказать для возбужденія человѣка, растлѣннаго мерзостью жизни, павшаго духомъ? Онъ упалъ духомъ, его интересъ къ жизни низокъ, желанье жить съ достоинствомъ въ немъ изсякаетъ, онъ хочетъ жить просто, какъ свинья, и — вы слышите? уже онъ нахально смѣется при словѣ идеалъ: человѣкъ

становится только грудой костей, покрытых мясомъ и толстой шкурой; эту скверную грудку двигаетъ не духъ, а похоти. Онъ требуетъ вниманія — скорѣе, помогайте ему жить, пока онъ еще человѣкъ! Но что вы можете сдѣлать для возбужденія въ немъ жажды жизни, когда вы только поете, стонете, охаете или равнодушно рисуете, какъ онъ разлагается? Надъ жизнью носится запахъ гніенія; трусость, холопство пропитываютъ сердца, лѣнь вяжетъ умы и руки мягкими путами... Что вы вносите въ этотъ хаосъ мерзости? Какъ вы всѣ мелки, какъ жалки, какъ васъ много! О, если бы явился суровый и любящій человѣкъ съ пламеннымъ сердцемъ и могучимъ всеобъемлющимъ умомъ! Въ духотѣ позорнаго молчанія раздались бы вѣщія слова, какъ удары колокола, и, можетъ быть, дрогнули бы презрѣнныя души живыхъ мертвецовъ!...

И вотъ мы находимъ у Горькаго попытки сказать людямъ ободряющее слово или „слова, окрыляющія душу“, „создать имъ хотя бы маленькій возвышающій душу обманъ“... Удовлетворяетъ ли его босяцкое нищенство, составляющее философію большинства его героевъ, или невозможная помѣсь Толстого съ „Дикой уткой“ Ибсена въ лицѣ Луки въ его „На днѣ“? Можно ли видѣть „учителя жизни“ въ машинистѣ Нилѣ? Онъ ли разбудить своимъ вѣщимъ словомъ „презрѣнныя души живыхъ мертвецовъ“ и заговорить „о необходимости возрожденія духа“? Чему онъ можетъ научить и во имя чего требуетъ онъ примиренія съ жизнью?

„Знаешь, говоритъ онъ Татьянѣ, я ужасно люблю ковать. Передъ тобой красная безформенная масса, злая, жгучая... Бить по ней молотомъ — наслажденіе. Она плюетъ въ тебя шипящими огненными плевками, хочетъ выжечь тебѣ глаза, ослѣпить, отшвырнуть отъ себя. Она живая, упругая... И ты сильными ударами съ плеча дѣлаешь изъ нея все, что тебѣ нужно...“

„Жить, даже и не будучи влюбленнымъ — славное занятіе, поучаетъ онъ Петра, брата Татьяны. Ѣздитъ на скверныхъ паровозахъ осенними ночами, подъ дождемъ и вѣтромъ... или зимою... въ метель, когда вокругъ тебя нѣтъ пространства, все на землѣ закрыто тьмою, завалено снѣгомъ, — утомительно Ѣздитъ въ такую пору, трудно... опасно, если хочешь, — и все же въ этомъ есть своя прелесть! Все-таки есть! Въ одномъ не вижу ничего пріятнаго — въ томъ, что мною и другими честными людьми командуютъ свиньи, воры, дураки... Но жизнь не вся за ними! Они пройдутъ, исчезнутъ, какъ исчезаютъ нарывы на здоровомъ тѣлѣ. Нѣтъ такого расписанія, которое бы не измѣнялось!“

То кровь кипитъ, то силъ избытокъ — свѣтлый симпатичный порывъ молодого и черезъ край здороваго существа, но порывъ въ значительной мѣрѣ физиологическій. Обмана тутъ нѣтъ, но нѣтъ и ничего такого, что возвышало бы душу, и вотъ почему Ниль не вносить съ собою ни свѣта, ни примиренія въ мѣщанскую среду. И самое цѣнное въ авторѣ — это то, что онъ это понимаетъ.

„Жизнь гаснетъ, умы людей все плотнѣе охватываетъ тьма сомнѣній, и нужно найти исходъ. Гдѣ путь? Одно я знаю — не къ счастью нужно стремиться, зачѣмъ счастье? Не въ счастья смыслъ жизни, и довольствомъ собою не будетъ удовлетворенъ человѣкъ — онъ все-таки выше этого. Смыслъ жизни въ красотѣ и силѣ стремленія къ цѣлямъ, и нужно, чтобы каждый моментъ бытія имѣлъ свою высокую цѣль. Это было бы возможно, но не въ старыхъ рамкахъ жизни, въ которыхъ всѣмъ такъ тѣсно и гдѣ нѣтъ свободы духу человѣка...“

Здѣсь, очевидно, авторъ перерастаетъ и своихъ сверхъ-человѣковъ, высказывая, что только стремленіе къ высшей цѣли, къ высшему идеалу дѣлаетъ человѣческую жизнь достойной и цѣнной, даетъ ей смыслъ и красоту. Человѣкъ, который не можетъ отвѣтить на вопросъ: „Кто есть твой Богъ“, не можетъ быть учителемъ жизни. Характерны однако послѣднія слова: „это было бы возможно... но не въ старыхъ рамкахъ, въ которыхъ всѣмъ такъ тѣсно и гдѣ нѣтъ свободы духу человѣка...“

Вражда противъ старыхъ рамокъ представляется естественной и понятной, хотя, если присмотрѣться ближе, непригодность этихъ рамокъ состоитъ не столько въ томъ, что онѣ стѣснительны, сколько въ томъ, что онѣ болѣе не удерживаютъ своего содержимаго, которое валится изъ нихъ и падаетъ. Въ старыхъ рамкахъ, когда онѣ еще не разваливались, чеховскіе герои и мѣщане Горькаго не были бы „лишними людьми“, и мѣщане чувствовали бы почву подъ ногами, имѣли бы правило жизни. Бѣда не въ томъ, что рамки жизни существуютъ, а въ томъ, что онѣ обветшали, и новыхъ рамокъ еще нѣтъ — въ этомъ кризисѣ массы, изъ котораго спасаются лишь исключительныя личности, да и то нерѣдко, — „какъ бы чрезъ огонь“. Въ этомъ кризисѣ современной мѣщанской интеллигенціи, источникъ ея моральнаго анархизма и разладицы. Въ отсутствіи положительныхъ идеаловъ понятна и проповѣдь разрушенія, хотя ничего созидательнаго, творчески новаго въ ней нѣтъ. „Духу нѣтъ свободы въ старыхъ рамкахъ“, и потому онъ не можетъ, при теперешнихъ условіяхъ, стремиться къ высокой цѣли!! Это напоминаетъ басню

о томъ, какъ дѣти пришли сказать отцу, что они поймали орла, который прыгалъ на дворѣ, — затворивши ворота. „Какой это орелъ — это просто курица, — сказалъ отецъ: — орелъ бы улетѣлъ“. Окрылите душу высшею цѣлью, и она сама улетитъ изъ „старыхъ рамокъ“; дайте ей вѣру, и она поведетъ насъ по волнамъ моря! А одни крики „буревѣстника“, носящагося надъ ними, могутъ быть исполнены большой поэзіи, но отъ потопленія они насъ не спасутъ. И не въ вѣщихъ крикахъ мы нуждаемся, а въ вѣщемъ *словѣ*!

Но, какъ говоритъ французская пословица, *la plus belle fille ne peut donner plus que se qu'elle a*. Будемъ благодарны художнику за то, что онъ намъ даетъ, за его „мстительный стыдъ и жгучее желаніе“, за вѣру въ человѣка, которая живетъ въ немъ, несмотря на минуты отчаянія, и заставляетъ его, рисуя „презрѣнныя души живыхъ мертвецовъ“, ждать ихъ грядущаго пробужденія и воскресенія. Въ особенности же будемъ благодарны ему за ту художественную мощь, съ которой онъ показываетъ намъ неумирающія „возможности“ духовнаго обновленія, неизгладимую печать безсмертія въ душахъ падшихъ и отверженныхъ, погибшихъ людей, тѣхъ жертвъ, которыя несутъ на себѣ грѣхъ общества.

V.

Вернемся однако къ намѣченной нами проблемѣ. Въ произведеніяхъ Горькаго сглаживается противоположность, раздѣляющая лишняго человѣка отъ мнимаго героя, сверхъ-человѣка. И тотъ и другой суть продукты одной и той же почвы, одного и того же общественнаго развитія. И лишніе человѣки и сверхъ-человѣки наши рождены однимъ и тѣмъ же распаденіемъ „старыхъ рамокъ“, разложеніемъ традиціонныхъ основъ быта и правовъ при полномъ отсутствіи новыхъ жизнеспособныхъ и животворныхъ вѣрованій, которыя могли бы служить руководящими, дисциплинирующими началами жизни, источникомъ надежды и радости, терпѣнія и бодрости, мужества и свѣта для сильныхъ и слабыхъ, для крѣпкихъ и немощныхъ. Такихъ вѣрованій нѣтъ, есть только ихъ суррогаты, а потому для тѣхъ, кто не умѣетъ или не хочетъ питаться суррогатами, или кому они опротивѣли, остается великая духовная пустота, изъ которой рождается сознаніе безцѣльности существованія, *taedium vitae*, которое ощущается неизбежно, когда смыслъ жизни утраченъ. Его можно заглушать въ себѣ страданіемъ и нуждою или сутолкой жизни, суетою или разнузданною страстью, или физическимъ трудомъ, или, наконецъ, алкоголемъ; душа, въ которой

нѣтъ высшей объективной цѣли, нѣтъ Бога, нѣтъ идеала, можетъ сама себя поставить себѣ цѣлью, идеаломъ, въ гордомъ сознаніи своего достоинства, своей духовной мощи. Но ни чувственность, ни гордость духовная не утоляютъ голода души, не заполняютъ ея пустоты, не спасаютъ *опустошеннаго чловѣка*, все равно, сознаетъ ли онъ себя лишнимъ, или же, превозносясь надъ другими, считаетъ лишнимъ остальное чловѣчество.

У лишнихъ людей есть „тоска о лучшемъ“, но нѣтъ силъ для созданія его, нѣтъ настоящей, дѣятельной вѣры въ него и стремленія къ нему; у гордыхъ людей есть сознаніе чловѣческаго благородства, сознаніе высшихъ возможностей, въ нихъ заложенныхъ; но они слишкомъ часто принимаютъ эти сверхъ-чловѣческія возможности за нѣчто дѣйствительное. Въ тѣхъ и другихъ нѣтъ той дѣйствительно высшей и постольку сверхъ-чловѣческой силы, той *благодати*, которая даетъ чловѣку вѣру въ истинный *смыслъ* его существованія и вмѣстѣ заставляетъ его признавать и чтить нѣчто высшее надъ собою, не „подрумянивая себѣ душу“ обманомъ, не дѣлая себѣ мнимаго кумира изъ чловѣка и новаго культа изъ разрушенія.

Чловѣка нерѣдко опредѣляли какъ животное двуногое, животное разумное и словесное, животное политическое. Можно также опредѣлить его какъ животное вѣрующее. Правда, у него можно отнять его вѣру, какъ у него можно отнять ноги, разумъ или слово, но во всѣхъ этихъ случаяхъ существованіе его не будетъ нормальное.

Чловѣкъ вѣритъ въ опредѣленный смыслъ міра и въ смыслъ существованія, въ безусловную цѣль, идеалъ своего существа. И когда такая вѣра у него отнимается, существованіе его представляется ему бессмысленнымъ, безцѣльнымъ, случайнымъ и лишнимъ. И если онъ не обратился въ „грудю костей, прикрытыхъ мясомъ“, онъ либо ищетъ найти утраченный смыслъ жизни, — ищетъ тревожно, страстно, мучительно, смотря по темпераменту, по напряженности духовной жизни, либо самымъ страданіемъ и тоскою, самымъ ропотомъ, отчаяніемъ, протестомъ противъ безсмыслія существованія служить отрицательнымъ доказательствомъ его утраченнаго смысла.

„Я понимаю... поняла суровую логику жизни“, говоритъ Татьяна: „кто не можетъ ни во что вѣрить, тотъ не можетъ жить... тотъ долженъ погибнуть“. И она не вѣритъ ни во что — ни въ ту церковь, куда ея отцы еще ходятъ ко всенощной, ни въ ту, которую собираются строить окружающіе ее „новые люди“ вмѣстѣ съ машинистомъ Ниломъ. Въ этомъ-то и суть драмы современнаго мѣщанства, современнаго общества вообще, поскольку распаденіе ста-

раго уклада его возмущало. Вѣра, т.-е. сознаніе смысла жизни и высшей достойной цѣли бытія, признаніе Бога, которому служишь, — нужна личности, въ которой скотство не заглушило духовной жизни; для всякой широкой дѣятельности нужна вѣра въ значеніе, цѣнность этой дѣятельности. Она нужна сильнымъ и слабымъ, даетъ имъ норму жизни и ставитъ имъ цѣль, для которой стоитъ жить. И она нужна массѣ. Отдѣльная сильная личность, отвергнувъ обветшалую вѣру, постоянно создаетъ себѣ суррогаты вѣры, новыя формы вѣры: она вѣритъ въ прогрессъ, въ социальное благо и правду, въ науку, вдается въ различные виды рационалистическаго суевѣрія, которые помогаютъ ей жить. Въ энергіи своей дѣятельности, въ самой безсознательности своего творчества, своего дѣланія такая личность если не утоляетъ свою духовную жажду, то во всякомъ случаѣ заглушаетъ ее. Но масса не можетъ питаться суррогатами, и въ ней быстрѣе, яснѣе выступаютъ какъ недостаточность этихъ суррогатовъ, такъ и грозные признаки нравственнаго упадка, истощенія, вырожденія. Лучшие люди становятся лишними, героями дня являются сегодняшніе изгои, завтрашніе мстители и разрушители. Разрушеніе и ненависть дѣлаются лозунгомъ, — ненависть, быть можетъ, и родившаяся изъ возвышеннаго святаго гнѣва, но столь легко вырождающаяся въ стихійную злобу тамъ, гдѣ любовь перестаетъ питать и согрѣвать ее.

VI.

Таковъ тотъ недугъ общественный, симптомы котораго мы узнаемъ въ яркихъ и разнообразныхъ изображеніяхъ выдающихся писателей нашего безвременья. Какъ лѣчить его, они не говорятъ: „у нищихъ не просятъ милостыни“. Но поскольку это прежде всего недугъ духовный, самое изображеніе его и притомъ не отвлеченно-моральное, а жизненное, художественно-конкретное, есть первый шагъ къ лѣченію. Проясненіе сознанія общественнаго есть проясненіе общественной совѣсти. Русская художественная литература болѣе всякой другой служила великому дѣлу совѣсти: это великій завѣтъ ея, завѣтъ Гоголя писателямъ новѣйшаго поколѣнія. Но Гоголь показывалъ, что совѣсть общественная не нуждается ни въ „подрумянивающихъ душу“ маленькихъ обманахъ, ни въ малодушномъ уныніи. Если Горькій въ приведенныхъ отрывкахъ высказываетъ мысль, что задача писателя состоитъ въ ободреніи и подрумяниваніи, и если онъ осуждаетъ самого себя за то, что онъ роется въ мусорѣ будничныхъ чувствъ и будничной жизни, изображая „презрѣнныя души

живых мертвецов⁴, то онъ ошибается. Гоголь показалъ, что истинный писатель-пророкъ, о какомъ мечтаетъ Горькій, — писатель, носящій въ себѣ сознаніе, или *совѣсть идеала*, можетъ сосредоточить лучи этого идеала на мусорѣ жизни во всей ея пошлости и безобразіи; онъ можетъ освѣтить ими царство *мертвыхъ* душъ: и эти живые и чистые лучи заиграютъ надъ этимъ царствомъ своимъ радостнымъ и безсмертнымъ блескомъ. Такой писатель, не прибѣгая къ обману, можетъ изобразить всю мерзость запустѣнія нашей жизни, всю мертвенность и холопство душъ и низменное свинство умовъ, и его изображеніе не загрязнитъ душу, а произведетъ въ ней тотъ *катарсисъ* — то очистительное, благодатное дѣйствіе, какое производитъ истинно-прекрасное художественное произведеніе. Онъ не уязвляетъ читателя мучительными, нездоровыми ощущеніями, не выматываетъ изъ него нервовъ, не отягощаетъ душу болѣзненнымъ чувствомъ безсилія, унынія и грусти, а облегчаетъ ее свѣтлымъ и могучимъ смѣхомъ. Правда, Гоголь говоритъ о „невидимыхъ міру слезахъ“, которыя скрываются за этимъ смѣхомъ; это были не легкія слезы салопницы или неврастеника, а слезы воистину рѣдкія и дорогія, какъ драгоценные камни. И потому смѣхъ Гоголя и былъ такъ могучъ и свѣтелъ, что онъ покрылъ эти слезы и претворилъ ихъ горечь. Послѣ смѣха Гоголя Россія не могла не обновиться; то былъ пророческій смѣхъ, и послѣ гоголевскаго Ревизора „Грозный Ревизоръ“ постучался къ намъ подъ стѣнами Севастополя... Неужели же теперь, въ ожиданіи надвигающихся грозъ, намъ не услышать ничего кромѣ жалобныхъ кликовъ чаекъ и буревѣстниковъ?

Къ девятому симфоническому собранію.

Ниже помѣщенные статьи потому печатаются здѣсь, что, не принадлежа ни къ публицистическимъ ни къ литературнымъ, онѣ тѣмъ не менѣе были вызваны общекультурнымъ интересомъ къ тому новому направленію въ области музыки, которое кн. С. Н. привѣтствовалъ съ особымъ интересомъ. Въ составленіи программы печатающейся книги эти статьи болѣе всего подходятъ къ типу критическихъ, вслѣдствіе чего и помѣщаются непосредственно послѣ критической статьи о литературной дѣятельности гг. Чехова и Горькаго, являющейся тоже, до нѣкоторой степени, новымъ вѣяніемъ въ развитіи нашихъ культурныхъ идеаловъ.

Сегодня въ симфоническомъ собраніи музыкальнаго общества А. Н. Скрябинъ исполняетъ свой концертъ для ф.-п. Произведенія этого молодого, много общающаго русскаго композитора, къ сожалѣнію, слишкомъ мало знакомы нашей публикѣ. А между тѣмъ г. Скрябинъ успѣлъ уже заявить себя истиннымъ мастеромъ форте-

пианнаго стиля, какого еще не знала русская музыка. Первые, раннія произведенія его носят слѣды вліянія Шопэна, которое кажется очень значительнымъ, въ особенности при первомъ впечатлѣніи: таковы его мазурки (ор. 3), его вальсъ, нѣкоторые импромту, ноктюрны и прелюдіи. Но это не простыя подражанія или поддѣлки: изящество и богатство гармоніи Шопэна, благородство его письма не поддаются подражанію, и молодой композиторъ, способный писать въ манерѣ Шопэна, тѣмъ самымъ обличаетъ недюжинное дарованіе. Но уже въ раннихъ своихъ композиціяхъ г. Скрябинъ даетъ намъ нѣсколько прекрасныхъ и вполне самобытныхъ вещей (напр. этюдъ *Cis-moll* ор. 2 и первая соната ор. 6). Постепенно творчество его развивается и зрѣетъ; въ его превосходныхъ этюдахъ и прелюдіяхъ, въ его концертѣ и двухъ послѣднихъ сонатахъ мы имѣемъ крупныя художественныя произведенія, вполне самобытныя по своей гармоніи, всегда изящной и содержательной, по глубинѣ и разработкѣ музыкальной мысли и по своей лиричѣ, необычайно индивидуальной и тонкой. Они рѣзко выдѣляются среди современной фортепианной литературы съ ея банальностью, прикрывающейся вычурностью, или съ ея трескучей безсодержательной виртуозностью. Лучшіе, крупнѣйшіе русскіе композиторы либо не писали для фортепiano, какъ Глинка и Бородинъ, либо не владѣли фортепианнымъ стилемъ, какъ нашъ симфонистъ Чайковский: за исключеніемъ прекраснаго перваго концерта этого композитора, первой части его фантазіи для ф.-п. да двухъ-трехъ незначительныхъ вещицъ, его сочиненія для фортепiano суть едва ли не самыя слабыя изъ его произведеньевъ; въ особенности наиболѣе заграничныя, какъ, на примѣръ, его пресловутый *Souvenir de Narsal*. Гораздо выше въ музыкальномъ отношеніи фортепианныя композиціи нашего гениальнаго пианиста Антона Рубинштейна, среди которыхъ есть вещи дѣйствительно поэтическія. Но у Рубинштейна нерѣдко виртуозъ беретъ верхъ надъ композиторомъ, и произведенія его, написанныя въ большомъ стилѣ, нерѣдко грубы, не выдержанны и не отличаются большою содержательностью. Въ лицѣ г. Скрябина мы имѣемъ перваго самобытнаго русскаго композитора, владѣющаго фортепианнымъ стилемъ, который такъ соотвѣтствуетъ общему чисто-лирическому настроенію его музыки. Г-нъ Скрябинъ лирикъ по преимуществу, и въ наше время господства симфонической и оперной музыки эта особенность его таланта, которая раскрывается въ его фортепианныхъ композиціяхъ, является намъ и цѣнной и оригинальной. Пожелаемъ ему дальнѣйшаго развитія его дарованія и поже-

лаемъ большаго распространенія его произведеній какъ среди любителей, такъ и среди концертантовъ, которые, къ удивленію, игнорируютъ г. Скрябина, исполняя столь охотно музыкальныя издѣлія всевозможныхъ новѣйшихъ композиторовъ, часто лишенные всякихъ художественныхъ достоинствъ.

По поводу концерта Скрябина.

(Письмо въ редакцію.)

Да будетъ позволено мнѣ, профану въ музыкальномъ дѣлѣ, сказать нѣсколько словъ по поводу предстоящаго концерта г. Скрябина, молодого русскаго композитора, произведенія котораго, уже довольно многочисленныя и отличающіяся весьма крупными художественными достоинствами, еще не нашли надлежащей оцѣнки ни со стороны присяжныхъ цѣнителей искусства, ни со стороны большинства нашей публики.

Въ Москвѣ есть не мало такъ называемыхъ „московскихъ знаменитостей“ во всѣхъ областяхъ искусства, литературы и науки. Среди такихъ знаменитостей есть дѣйствительные таланты, которые нерѣдко систематически совращаются и развращаются своими обожателями и меценатами; есть дарованія, подающія надежды, мнимые геніи маленькихъ кружковъ, кончающіе пустоцвѣтомъ; есть наконецъ, просто лица, замѣняющія талантъ безшабашностью. Такъ оно велось у насъ искони. Спертая общественная атмосфера, узкая кружковщина, невоспитанность вкуса задающихъ тонъ меценатовъ, — тутъ много причинъ, о которыхъ распространяться излишне.

И вотъ, когда среди москвичей оказываются дѣйствительные таланты, не принадлежащіе къ числу „московскихъ знаменитостей“, это всегда служитъ признакомъ свѣжести, самобытности дарованія, его достоинства и серьезности. Такимъ дарованіемъ несомнѣнно является г. Скрябинъ. Несмотря на молодость, онъ уже много лѣтъ издаетъ свои произведенія, которыя показываютъ, какъ изъ году въ годъ зрѣетъ и развивается его музыкальное творчество. Большая часть его произведеній написана для фортепіано и по своимъ крупнымъ достоинствамъ могла бы распространиться въ широкихъ кругахъ, если бы наша публика была самобытнѣе, если бы вкусы ея не опредѣлялись готовыми сужденіями и шаблонами. А произведенія г. Скрябина именно и отличаются тѣмъ, что шаблоннаго характера не носятъ и чужды всякой погони за внѣшнимъ успѣ-

хомъ. Въ нихъ надо вслушаться, что-бы понять тотъ своеобразный, интимный лиризмъ, которымъ они проникнуты, чтобы оцѣнить изящество и богатство гармоніи, мастерство отдѣлки, ихъ отличающее, чтобы примириться съ необычайной сложностью нѣкоторыхъ изъ нихъ. Эта сложность не есть искусственная, дѣланная; она не служитъ маской для отсутствія содержанія, а является послѣдовательнымъ результатомъ музыкальной мысли, которая стремится оформить, выразить дѣйствительное сложное содержаніе. Оригинальность г. Скрябина неподдѣльная: у него своя опредѣленная художественная фizioномія, своя манера, свой стиль, который уясняется въ своихъ индивидуальныхъ чертахъ при ближайшемъ ознакомленіи. И произведенія его, несмотря на свою сложность, вполне искренни: композиторъ писалъ ихъ „не взирая на лица“, не зная другого суда, кромѣ собственной художественной совѣсти, не сообразуясь съ требованіями публики, а самъ предъявляя ей новыя и весьма повышенныя требованія.

Въ наши дни часто приходится слышать, что все истинно прекрасное просто и мило. Но, во-первыхъ, понятія простоты и ясности довольно относительны, и въ музыкѣ, какъ и всюду, справедлива пословица, что „иная простота хуже воровства“. Во-вторыхъ, въ музыкѣ, какъ и въ другихъ сферахъ искусства, есть многія прекрасныя, хотя и въ высшей степени сложныя композиціи, цѣлостныя по своему замыслу во всей своей сложности. Стремленіе овладѣть новымъ сложнымъ содержаніемъ, воплотить его въ соотвѣтственной художественной формѣ присуще всякому мыслящему художнику. Современная симфонія, музыкальная поэма, музыкальная драма имѣютъ такое же право на существованіе, какъ прежнія болѣе простыя формы, и если новая музыка еще не сказала своего послѣдняго слова, если она не достигла еще той стройной законченности, какая привлекаетъ насъ въ классическихъ произведеніяхъ, то все же она открываетъ намъ новыя обширныя области гармоніи, новыя возможности музыкальной архитектоники. Задачи современнаго композитора, отваживающагося вступить на новый путь, безконечно усложняются. Нужно ли удивляться тому, что въ новомъ музыкальномъ міросозерцаніи, которое у него складывается, не все ясно и безмятежно, не все укладывается въ привычныя формулы, что оно носитъ отпечатокъ борьбы и тревоги? Но потому самому не является ли оно вѣрнымъ отголоскомъ переживаемого настроенія, переживаемой нами критической эпохи?

Музыка г. Скрябина современна въ высшей степени и притомъ

современна въ высшемъ, хорошемъ смыслѣ этого слова. И несмотря на это, а, можетъ быть, отчасти именно поэтому ее мало знаютъ и недостаточно цѣнятъ, у насъ въ особенности: въ нѣмецкой и французской печати, ранѣе чѣмъ у насъ, было отмѣчено появленіе этого выдающагося таланта. Обидно было читать тѣ совершенно отрицательные, свидѣтельствующіе о полномъ непониманіи отзывы гг. петербургскихъ критиковъ о первой и въ особенности о второй симфоніи г. Скрябина. Нѣкоторымъ оправданіемъ имъ могло служить крайне неудовлетворительное исполненіе, не позволявшее ни разобратся въ чрезвычайно сложной композиціи, ни оцѣнить роскошной звучности обѣихъ симфоній, удивительнаго богатства и сочности ихъ оркестровыхъ красокъ. Но въ Москвѣ, годъ тому назадъ, первая изъ нихъ была исполнена прямо превосходно, и сами критики ея признали, что имъ рѣдко доводилось слышать исполненіе болѣе совершенное. И вотъ почему мы могли ожидать, что у насъ это музыкальное произведеніе встрѣтитъ болѣе справедливую положительную оцѣнку. Мы не хотимъ отрицать нѣкоторыхъ недостатковъ „первой симфоніи“ нашего молодого композитора — этого диамантъ искусства, задуманнаго такъ смѣло и широко. Не всѣ части ея одинаковы по достоинству, несмотря на цѣльность общаго замысла. Великолѣпны первыя двѣ части. Мелодичное вступленіе, дышащее такой непосредственной свѣжестью, обвѣянное поэзіей, кажется простымъ и прозрачнымъ, несмотря на всю изысканную сложность гармоніи. Еще сильнѣе драматическое, мрачное аллегро, написанное въ большемъ стилѣ, широкое по своему развитію и ясное, несмотря на всю сложность разработки, благодаря необычайному мастерству оркестровки, которая ярко обрисовываетъ всѣ линіи композиціи. Прекрасны и три слѣдующія части — элегическое анданте, главную прелесть котораго составляетъ богатство гармоніи и чувственная красота оркестровыхъ красокъ, граціозное интермеццо и второе аллегро, уносящее своимъ мрачнымъ полетомъ. Но послѣдняя часть, какъ ни эффектно она звучитъ, какъ ни обоснована она въ цѣломъ, заключая симфонію торжественнымъ гимномъ въ честь искусства, — представляется намъ менѣе значительной, она теряетъ въ сравненіи съ предшествующими. Вторая симфонія нашего композитора, гдѣ между вступленіемъ и послѣдней частью также существуетъ тѣсная вынужденная связь, выраженная посредствомъ развитія одной и той же темы въ различныхъ тональностяхъ и различнымъ движеніи, — разрѣшаетъ однородную задачу несравненно успѣшнѣе и вообще представляетъ значительный шагъ впередъ.

Но мы должны быть благодарны г. Скрябину за то, что онъ доставляетъ намъ возможность еще разъ прослушать именно первую симфонію, которая по богатству своего содержанія съ трудомъ можетъ быть вполне усвоена съ перваго раза и несомнѣнно будетъ имѣть возрастающій успѣхъ при каждомъ новомъ исполненіи.

Такая же участь ожидаетъ и сонату *his mol*, столь талантливо исполненную въ прошломъ году г. Буюкли на одномъ изъ квартетныхъ собраній музыкальнаго общества. Эта соната, составляющая второй капитальный нумеръ программы г. Скрябина, принадлежитъ къ числу наиболѣе сильныхъ и патетическихъ его композицій. Это — законченная лирическая поэма, музыкальный отголосокъ цѣлаго міросозерцанія. Наряду съ этой сонатой въ программу концерта вошли нѣкоторыя мелкія вещицы г. Скрябина, многія изъ которыхъ являются истинными перлами современной фортепіанной литературы, и небольшая поэтичная *Rêverie* для оркестра.

Пожелаемъ же отъ души успѣха не музыкѣ г. Скрябина, которая сама завоеуетъ себѣ мѣсто, по праву ей принадлежащее, а его концерту. Обидно было бы, если бы наша музыкальная публика не отозвалась и упустила случай ближе познакомиться съ произведеніями своего композитора, дожидаясь, чтобы ихъ извѣстность дошла до насъ изъ-за границы.

1902 г. „Курьеръ“.

**Записка, поданная министру внутреннихъ дѣлъ
кн. Святополкъ-Мирскому.**

Записка, написанная Кн. С. Н. Трубецкимъ и поданная министру в. д. кн. Святополкъ-Мирскому 28 ноября 1904 года, отъ отдѣльной группы представителей земской партіи.

Грозныя и тяжелыя времена переживаетъ Россія. Война еще въ полномъ разгарѣ, — война гибельная, бесплодная и разорительная, опасная въ настоящемъ, сулящая и въ отдаленномъ будущемъ продолжительное напряженіе нашихъ военныхъ силъ на дальнемъ Востокѣ. Финансовыя затрудненія и обостреніе экономического кризиса представляются неизбежными, а экономическій кризисъ, переживаемый сельскимъ населеніемъ, осложняется полнымъ отсутствіемъ правопорядка въ деревнѣ, возрастающимъ броженіемъ и общимъ недовольствомъ, могущими вызвать опасную смуту.

Общественное недовольство и тревога имѣютъ глубокія и серьезныя основанія, которыя едва ли нужно пространно указывать. Если окраины были систематически возбуждаемы противъ Россіи и русскаго правительства подъ предлогомъ руссификаціи, а Финляндія едва не доведена до открытаго возстанія, подъ предлогомъ „русской идеи“, то самая коренная Россія жила эти десятилѣтія подъ гнетомъ осаднаго положенія и непрерывно усиливающагося полицейскаго произвола, который сѣялъ ожесточеніе и одинаково деморализировалъ общество и самую администрацію, утратившую сознаніе отвѣтственности и законности. Необходимыя реформы, составляющія насущную потребность культурной страны, залогъ незыблемаго правопорядка и мирнаго преуспѣянія, не только откладывались, но отвергались въ принципѣ или замѣнялись другими реакціонными мѣропріятіями и узаконеніями, искажавшими, *деформировавшими* великія реформы Александра II,

какъ бы съ тѣмъ, чтобы вернуть страну къ тому дореформенному состоянію, въ которомъ она находилась до Севастополя. Страхъ передъ необходимыми гарантіями правового порядка приводилъ къ отрицанію самого правового порядка во всѣхъ областяхъ жизни государственной и общественной, въ центрѣ и на окраинахъ. Все это, въ связи съ тяжелымъ экономическимъ кризисомъ, съ отсутствіемъ нормальнаго удовлетворенія духовныхъ, нравственныхъ и матеріальныхъ нуждъ населенія, привело насъ къ теперешнему критическому положенію, которое мы болѣе не можемъ отъ себя скрывать.

Никогда еще Россія не нуждалась до такой степени въ сильной и авторитетной, правительственной власти и въ организованномъ обществѣ, при согласномъ дѣйствіи которыхъ только и могутъ быть мирнымъ путемъ осуществлены спасительныя реформы и утверждены незыблемый, на законѣ основанный порядокъ. А между тѣмъ общество глубоко дезорганизовано продолжительнымъ гнетомъ полицейскаго деспотизма, и авторитетъ правительственной власти глубоко поколебленъ. То, что говорится ежедневно въ печати о бюрократіи послѣ столькихъ долгихъ лѣтъ вынужденнаго молчанія, есть, несомнѣнно, отношеніе *всего* мыслящаго русскаго общества. Но однимъ образованнымъ обществомъ дѣло теперь не ограничивается. Каковы бы ни были окончательные результаты войны, можно сказать, что она вскрыла всѣ язвы и пороки бюрократическаго строя глубже и сильнѣе, нежели то сдѣлала въ свое время Севастопольская война. То, что было ясно и ранѣе мыслящей части русскаго общества, теперь ясно всѣмъ. Силу этого впечатлѣнія на народную массу, на войска еще трудно учесть. Но считается съ нимъ слѣдуетъ уже теперь.

И однако, несмотря на все это, общій патріотизмъ русскаго народа, традиціонная преданность Престолу, сознаніе внѣшней и внутренней опасности, наконецъ, самая потребность найти выходъ изъ настоящаго остраго положенія, заставятъ всѣ лучшія, здоровыя силы страны сплотиться вокругъ правительства, если оно твердо и опредѣленно вступитъ на путь реформы и обновленія Россіи.

Возвращеніе назадъ къ реакціи восьмидесятыхъ годовъ — немыслимо. Путь, приведшій Россію къ настоящему погрому и нестроенію, есть путь явно гибельный и ложный, осужденный не отдѣльными выразителями общественнаго недовольства, а самой жизнью, самой дѣйствительностью, Божьимъ судомъ. Теперь уже, не свободолобіе, а патріотизмъ требуетъ реформъ; здоровые инстинкты сохраненія, стремленіе спасти Россію отъ внѣшней и внутренней опасности, наконецъ, интересы національной обороны заставляютъ свернуть съ лож-

наго пути бюрократическаго абсолютизма. И, чтобы сдѣлать это, не слѣдуетъ бояться смѣлаго и рѣшительнаго шага, который одинъ можетъ возстановить пошатнувшійся авторитетъ правительственной власти. Опасны могутъ быть колебанія, промедленія, робкіе, нерѣшительные шаги; самыя справедливыя, частныя уступки, по необходимости имѣющія лишь временный характеръ, въ концѣ концовъ окажутся безцѣльными, никакого авторитета не поддержать и никого не удовлетворить. Тамъ, гдѣ затронуты высшіе интересы государства и русскаго народа, въ дѣлѣ спасенія и устроенія Россіи, нужны не полумѣры, а властный и рѣшительный починъ. Такой починъ нѣкогда принялъ на себя Петръ Великій, когда онъ положилъ про рубить окно въ Европу и ввести въ Россію европейскую культуру и технику; такой починъ принялъ Александръ II, когда сознана была государственная необходимость освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Въ настоящую историческую минуту государственной необходимости является политическое раскрѣпощеніе Россіи, организація общественныхъ силъ на началахъ народнаго представительства, — организація, безъ которой мы не выйдемъ изъ общественнаго хаоса и неурядицъ. Пусть же и здѣсь Верховная Власть оправдываетъ историческую вѣру Россіи, тотъ глубокій и вѣрный инстинктъ народный, который собиралъ Россію вокругъ престола ея государей. Да не совершится это грядущее освобожденіе безъ Верховной Власти и помимо ея произволенія! Теперь, пока не поздно, пусть исходитъ и здѣсь починъ этого великаго и святаго дѣла отъ Верховной Власти, которая одна можетъ совершить его мирнымъ путемъ и тѣмъ прочнѣе и глубже утвердить основы своего могущества на будущія времена во благо Россіи.

Рядъ неотложныхъ реформъ выдвинуть самую жизнь и указать общественнымъ мнѣніемъ съ достаточною опредѣленностью. Отмѣна всѣхъ узаконеній и правительственныхъ распоряженій, ограничивающихъ свободу совѣсти и вѣроисповѣданій; отмѣна положенія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія 14 августа 1881 года; отмѣна узаконеній, противорѣчащихъ духу судебныхъ уставовъ Александра II и лишающихъ населеніе дѣйствительнаго правосудія; обезпеченіе свободы личности, свободы печати, свободы союзовъ и общественныхъ собраній; упраздненіе административнаго произвола, установленіе реальной отвѣтственности правительственныхъ лицъ и учреждений; пересмотръ земскаго и городского Положенія и широкая реформа всего областного и мѣстнаго управленія; правильная постановка всего нисшаго, средняго и высшаго

образованія; наконецъ, крестьянская реформа, столь настоятельно, столь давно необходимая.

Но всѣ эти реформы либо предполагаютъ политическую свободу правовой строй государственной жизни и правильно организованное народное представительство, либо не могутъ быть должнымъ образомъ разработаны и проведены въ жизнь безъ его посредства. Вотъ что слѣдуетъ имѣть въ виду при разработкѣ общаго плана реформъ.

Какъ ни безотлагательно необходимо подготовленіе и осуществленіе крестьянской реформы, но можно сказать заранее, что попытка ввести въ деревню твердый и незыблемый, на законѣ основанный правопорядокъ, который оградилъ бы ее отъ надвигающейся анархіи, неизбѣжно останется тщетной, пока такого правопорядка нѣтъ въ цѣломъ государствѣ. И какъ ни необходима крестьянская реформа, ее невозможно осуществить безъ широкаго участія общественныхъ силъ въ законодательной работѣ. Это сознавалось, хотя лишь отчасти, и до войны, и въ этомъ смыслѣ были сдѣланы двѣ попытки: первая изъ нихъ, создавая случайныя и разрозненныя совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, не могла привести ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, несмотря на всю правильность нѣкоторыхъ основныхъ взглядовъ, выяснившихся въ общемъ итогѣ этихъ совѣщаній; вторая попытка имѣла главною цѣлью парализовать значеніе первой и посредствомъ бюрократической фальсификаціи мѣстнаго мнѣнія разрѣшить крестьянскій вопросъ въ смыслѣ увѣковѣченія тѣхъ золъ, противъ которыхъ высказались первыя совѣщанія и противъ которыхъ должна быть направлена дѣйствительная реформа. Это показываетъ, что плодотворное участіе общественныхъ представителей въ законодательной работѣ возможно лишь подъ условіемъ правильной организаціи народнаго представительства. Независимо отъ сего — всякое сколько-нибудь широкое привлеченіе мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей къ участію въ крестьянской реформѣ легко могло бы превратиться и въ платформу для общей политической борьбы, что отчасти случалось уже и что неизбѣжно случится въ несравненно большихъ размѣрахъ и впредь, если крестьянская реформа будетъ разрабатываться при неопредѣленности общаго политическаго положенія. Отъ такихъ условій не можетъ не пострадать прежде всего самая реформа, которая можетъ быть правильно разработана и осуществлена лишь при спокойномъ и согласномъ дѣйствіи правительства и правильно политически-организованныхъ общественныхъ силъ. До тѣхъ поръ, пока самой почвы для

такого согласія не существуетъ, пока главный и основной вопросъ не получилъ хотя бы принципиальнаго разрѣшенія, не можетъ быть плодотворной совмѣстной работы. Общественные дѣятели естественно переносятъ главный, иногда исключительный интересъ на общій политическій вопросъ, и представители бюрократіи, какъ было въ данномъ случаѣ, склонны совершенно упускать изъ виду самое существо дѣла и заботиться не о томъ, чтобы найти дѣйствительный выходъ изъ невозможнаго положенія крестьянства, а о томъ, чтобы разрѣшить крестьянскій вопросъ съ точки зрѣнія интересовъ бюрократическаго абсолютизма. Центръ тяжести вопроса объ устройствѣ хозяйственнаго и гражданскаго быта крестьянъ переносится на общій вопросъ о старомъ и новомъ порядкѣ, о правахъ и безправьи не деревни, а всѣхъ русскихъ гражданъ вообще.

И то же самое случается и не можетъ не случаться со всякимъ инымъ вопросомъ нашей внутренней жизни, который ставится на очередь. Какъ бы мелкимъ и частнымъ онъ ни казался, каждый такой вопросъ, при условіяхъ настоящаго времени, легко и самъ собою получаетъ политическое значеніе и дѣлается предметомъ политической борьбы, при чемъ его постановка, обсужденіе и разрѣшеніе, несомнѣнно, страдаетъ вслѣдствіе такого осложненія общимъ политическимъ вопросомъ. И, что всего важнѣе, это происходитъ не вслѣдствіе какой-либо безпочвенной агитаціи, а вслѣдствіе того, что общій политическій вопросъ выдвинулся самъ собою всѣмъ ходомъ русской жизни и назрѣлъ такъ мучительно и болѣзненно: право, или безправье, неограниченное самовластье бюрократіи, или правильное народное представительство — средняго нѣтъ.

Но помимо реформъ, нуждающихся въ самой широкой законодательной разработкѣ, есть, повидимому, и другія, которыя не требуютъ особыхъ усилій со стороны законодателя и предполагаютъ, болѣею частью, лишь отмѣну исключительныхъ законовъ, временныхъ правилъ и постановленій, ограничивающихъ свободу личную и общественную. На первый взглядъ отмѣна узаконеній и постановленій, искажающихъ реформы Александра II, признаніе личной свободы, свободы печати, свободы собраній и союзовъ, представляются осуществимыми и при настоящихъ условіяхъ. Но историческая судьба великихъ реформъ шестидесятихъ годовъ достаточно показываетъ ошибочность такого мнѣнія. По слову евангельскому, нельзя приставлять заплатъ изъ небѣленой ткани къ ветхой одеждѣ.

Бюрократическій абсолютизмъ могъ держаться лишь при режимѣ осаднаго положенія, и, притомъ, при режимѣ все болѣе и болѣе

суровомъ. Дѣйствительная свобода печати, обезпеченная и нормированная закономъ, съ нимъ несовмѣстима, поскольку свободная печать есть органъ свободнаго общественнаго мнѣнія и необходимо должна способствовать организациі общественныя силъ, созидательной работѣ общества. Благодѣтельныя, хотя все еще крайне недостаточныя облегченія печати отъ цензурныхъ стѣсненій, послѣдовавшія съ недавняго времени, особенно ярко освѣщаютъ всю ненормальность общаго положенія печати въ настоящее время при общемъ цензурно-полицейскомъ режимѣ: вся та свобода, какая ей предоставлена, поневолѣ направляется теперь на уничтожающую критику бюрократизма, на выраженіе протеста противъ самовластия бюрократизма; но возможность созидательной работы, положительнаго выясненія общественныя идеаловъ и нормальныхъ способовъ ихъ осуществленія, выясненія желательныхъ преобразованій, разработки общественно-правовыхъ и государственно-правовыхъ вопросовъ, столь неясныхъ еще для значительной части русскаго общества, — такая возможность до сихъ поръ еще почти закрыта нашей печатью. Ей приходится дѣйствовать туманными намѣками въ дѣлѣ, требующемъ всего болѣе ясности и опредѣленности, или же — однимъ отрицаніемъ, одними нападками на бюрократію. Такой порядокъ вещей не соответствуетъ ни достоинству правительства ни достоинству печати и долго продолжаться не можетъ. Нападки на бюрократическій строй въ печати, вполне подчиненной цензурѣ, показываютъ всѣмъ, что этотъ строй осуждается не только обществомъ, а и правительствомъ. Но если онъ осужденъ, это должно быть сказано сверху прямымъ путемъ, ясно и опредѣленно, и въ отмѣну ему должно быть столь же ясно и опредѣленно указано нѣчто новое и положительное, долженъ быть сдѣланъ первый шагъ къ созиданію новаго порядка. Лишь въ связи съ этимъ положеніе печати можетъ сдѣлаться прочнымъ и нормальнымъ, отвѣчающимъ требованіямъ общества. Сказанное о свободѣ печати естественно относится и къ свободѣ общественныя учрежденій, собраній и союзовъ.

Если положеніе объ усиленной охранѣ ничего не охранило, способствовало умноженію смуты, деморализовало администрацію и дезорганизовало общество, то это еще не значитъ, чтобы одно упраздненіе этого положенія, послѣ всѣхъ тѣхъ золъ, которыя оно принесло, сразу само собою обезпечило внутренній миръ и порядокъ. Отношеніе русскаго общества къ трагической смерти В. К. фонъ Плеве показываетъ, что самый терроръ, направленный противъ режима полицейскаго деспотизма, не встрѣчаетъ отпора со стороны общества, —

зловѣщій признакъ, который доказываетъ конецъ стараго порядка. Но этотъ распадающійся внутренне сгнившій порядокъ долженъ быть замѣненъ новымъ порядкомъ.

Россіи нужно организованное общество и сильное авторитетное правительство. И вотъ почему мы выражаемъ убѣжденіе, что, принявъ на себя починъ въ дѣлѣ организациі общества, правительство подниметъ свой авторитетъ и увеличитъ свою реальную силу. Помимо указанныхъ выше соображеній слѣдуетъ помнить уже одно то, что въ самой technikѣ современнаго государственнаго управленія и государственнаго хозяйства, въ законодательной работѣ, въ дѣлѣ рациональнаго обсужденія и установленія бюджета сообразно средствамъ и потребностямъ страны, въ дѣлѣ контроля, обеспечивающаго правильное и законное отправленіе всѣхъ частей сложной государственной машины, пародное представительство есть совершенно незамѣнимый аппаратъ, отсутствіе котораго ограничиваетъ и обезсиливаетъ государственную власть, парализуетъ ее и въ мирномъ и вооруженномъ состязаніи съ другими государствами, превосходящими ее въ technikѣ управленія и государственнаго хозяйства и обладающими строемъ, отвѣчающимъ требованіямъ современной государственности и общественности.

Старый порядокъ осужденъ человѣческимъ и Божескимъ судомъ. Но Верховная Власть не можетъ отождествлять себя съ бюрократіей, которая фактически ограничивала и узурпировала ея права. Она можетъ и должна свободнымъ починомъ заложить основы новаго порядка — не въ уступку чьимъ-либо притязаніямъ, а во огражденіе внутренняго мира, чести и силы Россіи и во утвержденіе своей Державы. Ибо ничто не ограничиваетъ власти, кромѣ безсилія вѣшняго и внутренняго, и нѣтъ основы власти болѣе прочной, чѣмъ свобода и право, и всенародная вѣра.

Нельзя скрывать отъ себя величія и трудности задачъ, стоящихъ передъ правительствомъ. Оно вступило на единственно правильный путь довѣрія къ обществу и оно дало высказать этому обществу самое рѣшительное и безусловное осужденіе режиму бюрократическаго абсолютизма. Свернуть съ этого пути, обратиться вспять, значило бы подвергать Царя и государство гибельнымъ опасностямъ, обрекать Россію на долги, безплодные и мучительныя смуты, которыя будутъ парализовать ея силу. Нынѣ правительство должно сдѣлать рѣшительный шагъ къ новому пути, чтобы умиротворить общество, создать почву для спокойной и согласной, мирной, совмѣстной работы общественныхъ и правительственныхъ силъ и подготовить

реформу. При этомъ оно должно оставить мысль о безплодныхъ и робкихъ компромиссахъ между несовмѣстными, непримиримыми требованіями стараго, антиправового бюрократизма и внутренне — необходимыми требованіями новаго правового строя; оно не должно смущаться разногласіемъ въ самомъ обществѣ или руководствоваться случайными заявленіями отдѣльныхъ общественныхъ дѣятелей или даже общественныхъ группъ, которыя могутъ выступить съ заявленіями утопическаго характера или, наоборотъ, высказываться въ смыслѣ реакціи. Какъ въ эпоху освобожденія крестьянъ, правительство должно стоять *впереди, а не позади* общества, если оно хочетъ вести его, сохранить верховное, руководящее положеніе. Оно не увлечется утопіями, но оно должно видѣть глубже и дальше реакціонеровъ или близорукихъ совѣтчиковъ, предлагающихъ временныя мѣры, которыя не утверждаютъ ни стараго ни новаго порядка. Чтобы выполнить долгъ свой передъ Россіей, оно должно руководиться ни единичными заявленіями, ни требованіями отдѣльныхъ лицъ или группъ, а правильно понятой и строго взвѣшенной *государственной необходимостью*. А эта необходимость, по глубокому убѣжденію нашему, состоитъ въ томъ, чтобы активно *организовать* политическую свободу Россіи, организовать общество на началахъ народнаго представительства и тѣмъ самымъ упорядочить общество.

Но правительство не можетъ созвать народныхъ представителей, не выработать предварительно основныхъ законовъ, опредѣляющихъ составъ, устройство и полномочія народнаго представительства, и оно не можетъ выступить передъ представительнымъ собраніемъ съ пустыми руками, безъ выработанной программы или общаго плана реформъ, для чего требуется значительная подготовительная работа. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оно не можетъ долѣе оставлять страну въ неопредѣленномъ положеніи, въ состояніи усиливающагося броженія и тревоги. Благотворнымъ было бы немедленное, чисто принципиальное заявленіе съ высоты Престола — въ формѣ Манифеста или Высочайшаго рескрипта, въ которомъ была бы выражена воля Монарха измѣнить полицейско-бюрократическій строй и призвать на созидательную работу выборныхъ представителей земли. Важно, при этомъ, чтобы указанъ былъ срокъ, къ которому Государю благоугодно будетъ приурочить созваніе народныхъ представителей, дабы Россія сознательно подготовилась къ воспріятію новыхъ учреждений и спокойно пережила переходное время.

Одновременно съ симъ необходимая разработка общаго положенія о народномъ представительствѣ, а равно и выработка ближайшихъ

связанных съ нимъ преобразованій, до внесенія ихъ на разсмотрѣніе будущаго представительнаго собранія, могла бы быть возложена на особую правительственную Редакціонную комиссію, состоящую изъ правительственныхъ лицъ и экспертовъ — общественныхъ дѣятелей и юристовъ, по вызову отъ правительства. Трудамъ означенной комиссіи надлежитъ придать возможно большую гласность посредствомъ опубликованія ея протоколовъ, отдѣльных докладовъ и записокъ, въ нее вносимыхъ, и т. д., дабы печать и общественныя учрежденія могли своевременно свободно и безпрепятственно высказаться по поводу ожидаемаго преобразованія.

Твердое выраженіе Монаршей воли и учрежденіе редакціонной комиссіи съ указанною цѣлю — вотъ мѣры, которыя, по нашему мнѣнію, всего болѣе могли бы способствовать успокоенію общества, подъему правительственнаго престижа и укрѣпленію довѣрія къ власти. Изъ частныхъ мѣръ, которыя могли бы содѣйствовать той же цѣли, нельзя не указать на возможно широкую амнистію жертвамъ прежняго режима и на отмѣну вѣроисповѣдныхъ стѣсненій. Последняя мѣра, столь же назрѣвшая какъ недавно состоявшаяся отмѣна тѣлесныхъ наказаній, есть, можетъ-быть, единственная крупная реформа, которая могла бы быть дарована теперь же, при существующихъ условіяхъ. Торжественное провозглашеніе свободы совѣсти въ государствѣ, насчитывающемъ свыше 40 милліоновъ инославныхъ и иновѣрцевъ, могло бы въ настоящую минуту служить свѣтлымъ началомъ новаго пути и призвать на него благословеніе Божіе, одушевить всѣхъ подданныхъ Государя радостною, единодушною благодарностью и вмѣстѣ послужить драгоцѣннымъ и несомнѣннымъ залогомъ будущаго обновленія.

По поводу выборовъ Московскаго предводителя дворянства, съѣхавшіеся въ январѣ 1905 г. дворяне Московской губерніи пожелали полнестію адресъ Государю, въ которомъ вмѣстѣ съ выраженіемъ своихъ вѣрноподданическихъ чувствъ касались и печальныхъ событій на театрѣ войны и внутри государства и высказывали мнѣнія о томъ, какими мѣрами достигнуть улучшенія въ общественномъ строѣ, который былъ причиною неудачи нашихъ военныхъ дѣйствій на Востокѣ и внутреннихъ смутъ. Мнѣнія раздѣлились, образовались два лагеря и были написаны два адреса. По поводу несогласія съ адресомъ большинства, группа дворянъ, оставшихся въ меньшинствѣ и просила кн. С. Н. Трубецкого письменно изложить ихъ особое мнѣніе, которое было прочитано въ собраніи и приложено къ журналу засѣданія. Вотъ текстъ этого особаго мнѣнія:

Въ Московское Дворянское Собраніе особое мнѣніе.

Мы, нижеподписавшіеся дворяне Московской губерніи, голосовавшіе противъ адреса на Высочайшее Имя, принятаго большинствомъ

219 голосовъ противъ 147 въ Московскомъ Дворянскомъ Собраніи 22-го сего января, считаемъ долгомъ выяснитъ здѣсь тѣ соображенія, которыя заставили насъ подать наши голоса противъ этого адреса.

Вполнѣ сознавая всю серіозность настоящаго внѣшняго и внутренняго положенія Россіи, мы полагали, что, принося Государю Императору вѣрноподданическія чувства въ столь тягостныя времена, мы должны прежде всего сказать Монарху всю правду и добросовѣстно, по крайнему разумѣнію изложить Ему наше мнѣніе о мѣрахъ, могущихъ внести въ наше отечество умиротвореніе, столь необходимое для внутренняго порядка, для успѣшной борьбы съ врагомъ и для общаго подъема народнаго духа.

Мы всѣ одинаково сознаемъ все значеніе настоящей войны, всѣ жаждемъ почетнаго и прочнаго мира и съ негодованіемъ отвергаемъ мысль о національномъ униженіи. Мы всѣ одинаково удручены смутой, волнующей общество въ грозный часъ испытанія народнаго. Но насъ страшитъ не революціонное движеніе, которое само по себѣ, при нормальныхъ условіяхъ народно-государственной жизни, было бы совершенно безсильнымъ; насъ страшитъ общее стихійное возрастающее неудовольствіе, которое вызывается неудовлетвореніемъ насущной государственной, общественной и народной нужды. И мы не смѣшиваемъ смуты съ назрѣвшимъ общественнымъ сознаніемъ этой нужды.

Но изъ всѣхъ бѣдствій, постигшихъ Россію, мы видимъ единственный прямой выходъ въ организованномъ и постоянномъ единеніи Верховной Власти съ народомъ. Единеніе, которое при современныхъ условіяхъ государственной жизни можетъ быть осуществлено на дѣлѣ лишь при посредствѣ свободно избранныхъ представителей земли.

Какъ бы ни были различны наши взгляды на политическое значеніе этого представительства, мы всѣ увѣрены, что оно подниметъ авторитетъ власти и создастъ ей живую силу въ довѣріи общества.

При общей вѣрѣ въ жизненныя силы русскаго общества и народа, при дѣйствительной вѣрѣ въ Царя, такое живое и осуществленное единеніе должно представляться необходимымъ не только тогда, когда пронесутся настоящія и грядущія грозы, а именно теперь: для успѣха войны нужно не раздраженіе, а умиротвореніе общества; только объединеніе Царя и земли дастъ возможность въ полной силѣ высказаться мощи народа, а правительству дать нравственную силу довести войну до желаннаго конца. Одно царское слово, возвышающее о томъ, что Верховная Власть желаетъ услышать голосъ земли, что по свободному почину Ея въ назначенный Ею

сроки будут призваны представители народа для участия в строительстве земли — заложить основы такого единения и успокоить умы. Казалось бы все это ясно и несомненно, а между тем в адресе, принятом большинством, самая мысль о таком единении признается несвоевременной.

Казалось бы, пороки бюрократического строя раскрылись перед всей Россией, обличены Высочайшим Указом 12-го декабря, обнаружены перед всеми. Всем стало ясно, что бюрократический строй, парализующий русское общество и русский народ и разобщающий его с Монархом, составляет не силу, а слабость России. А между тем в адресе, принятом большинством Московского Дворянского Собрания, не указано никакого пути для изменения этого строя. Своим умолчанием, мало того, прямым заявлением о том, что в настоящую пору не время и думать о коренной реформе, оно освящает этот строй и мирится с ним в ту самую минуту, когда он оказывается всего более пагубным.

В виду этого мы полагаем, что адрес, принятый Дворянским Собранием, не принесет ожидаемой пользы, неверно освещая правительству современное положение и призывая его на гибельный путь реакции и репрессии, которая неизбежно должна наступить, если мысль о чуждой реформе будет признана несвоевременной. Вместе с тем мы убеждены, что упомянутый адрес не внесет успокоения в умы населения, не считаясь с его действительными потребностями и не отличая от смуты того, что является результатом естественного и нормального роста общественного сознания.

По всем этим основаниям, мы с скорбным чувством не могли присоединиться к адресу большинства Московского Дворянства.

(Слѣдуютъ подписи.)

Печатаемая ниже рѣчь была произнесена на сѣздѣ земскихъ и городскихъ дѣятелей по поводу докладовъ М. Я. Герценштейна и А. А. Мануилова 29 апрѣля 1905 года; послѣ того она была напечатана въ 1-мъ изданіи сборника „Аграрный Вопросъ“, изданнаго кн. П. Д. Долгоруковымъ и И. И. Петрункевичемъ вмѣстѣ съ рѣчами другихъ участниковъ сѣзда. На сѣздѣ, какъ это отмѣчено въ предисловіи издателей сборника, „подвергался обсужденію не весь аграрный вопросъ во всемъ его объемѣ, а лишь вопросъ о малоземельѣ“. Въ это время та аграрная программа, которая была въслѣдствіи принята к.-д. партіей, еще не сложилась окончательно и находилась въ процессѣ образованія. Въ виду высказанныхъ имъ въ рѣчи сомнѣній, кн. С. Н. воздержался отъ голосованія резолюціи, принятой сѣздомъ. Сомнѣнія эти, которые вполнѣ объясняются неполнотою имѣвшагося въ то время матеріала и недостаточной разработкой аграрнаго вопроса, не покидали его до конца его дней, вслѣдствіе чего онъ не могъ примкнуть къ тому или другому опредѣленному рѣшенію.

Рѣчь, сказанная на аграрномъ сѣздѣ въ Москвѣ.

Выслушенные доклады представляютъ одно стройное и связанное цѣлое, разработку одной общей программы аграрной реформы, въ основу которой положено принудительное отчужденіе частновладѣльческихъ земель, при чемъ этой мѣрѣ придается не только главенствующее, но, можно сказать, исключительное значеніе. Тѣ, которые до сихъ поръ склонялись къ признанію цѣлесообразности этой мѣры въ числѣ прочихъ мѣръ, направленныхъ къ разрѣшенію аграрнаго кризиса, должны спросить себя: насколько она является цѣлесообразной и желательной при той постановкѣ, какую придаютъ имъ гг. докладчики?

Намъ говорятъ, что при надѣленіи крестьянъ землею въ 1861 году ихъ земельная обеспеченность уменьшилась, приблизительно, на одну пятую; а между тѣмъ для того, чтобы довести площадь надѣльныхъ земель до завѣдомо недостаточной нормы 1861 года, потребовалось бы теперь вслѣдствіе прироста населенія „прирѣзать“ почти половину частновладѣльческихъ земель. Такъ какъ однако это количество недостаточно обеспечивало бы крестьянское населеніе, пришлось бы на остальныхъ частновладѣльческихъ земляхъ допустить принудительную аренду, которая, по мнѣнію нѣкоторыхъ изъ присутствующихъ, создастъ своего рода титулъ права на арендуемую землю, которую арендаторъ можетъ выкупить или со временемъ выкупить. Несмотря на полемику съ Генри Джорджемъ, смыслъ предлагаемой реформы достигается вполнѣ: это долгосрочная ликвидація частнаго землевладѣнія, при которой отъ 40 до 50% частновладѣльческихъ земель отчуждаются немедленно, а для остальной половины, подъ условіемъ принудительной аренды дается *Galgenfrist*, разсрочка на нѣсколько десятилѣтій. Тотъ, кто будетъ голосо-

вать за проект въ предлагаемомъ видѣ, будетъ голосовать за ликвидацію частнаго землевладѣнія.

Намъ предлагаютъ стать на точку зрѣнія законодателей, *in spe* обсуждающихъ законопроектъ. Но становясь на эту точку зрѣнія, мы должны, какъ мнѣ кажется, признать предлагаемый проектъ недостаточно разработаннымъ и вернуть его въ комиссію для дальнѣйшей разработки, воздержавшись отъ голосованія за или противъ него. Въ проектѣ коренной аграрной реформы нельзя обходить вопроса права, и, отмѣняя существующія правовыя нормы, необходимо устанавливать новыя; между тѣмъ, какъ было указано здѣсь, докладчики совершенно обходятъ вопросъ о *ratio juris*, точно такъ же какъ они не касаются множества указанныхъ здѣсь юридическихъ, финансовыхъ и экономическихъ вопросовъ, отъ рѣшенія которыхъ зависитъ не только рѣшеніе, но и самая постановка занимающей насъ проблемы.

Но и независимо отъ указанныхъ недочетовъ проектируемая реформа возбуждаетъ сомнѣнія. Чтò покупаемъ мы столь дорогою цѣною? Обеспечиваемъ ли мы надолго соціальный миръ и благоденствіе? Обеспечиваемъ ли мы хотя бы агрикультурный прогрессъ, интенсификацію крестьянскаго хозяйства? Сохраняемъ ли мы общинное землевладѣніе и землепользованіе, принудительную общину? Не вводимъ ли мы мелочную, всепроникающую бюрократическую регламентацію землевладѣнія и земельныхъ отношеній? Говоря о бессословности, не создаемъ ли мы новое сословіе привилегированныхъ мелкихъ землевладѣльцевъ? Все это вопросы, которые остаются открытыми, и я не вижу возможности голосовать проектъ, пока они не будутъ выяснены.

Записка ординарнаго профессора, князя Сергѣя Трубецкаго о настоящемъ положеніи высшихъ учебныхъ заведеній и о мѣрахъ къ возстановленію академическаго порядка *).

Общая забастовка и закрытіе высшихъ учебныхъ заведеній имперіи является заключительнымъ звеномъ въ рядѣ студенческихъ волненій, которыя тянутся съ короткими перерывами въ теченіе многихъ лѣтъ и служатъ признакомъ глубокаго недуга высшей школы.

Правда, существуетъ тѣсная связь между студенческими волненіями и общественнымъ броженіемъ, столь обострившимся за

*) Объ этой докладной запискѣ упоминается въ подсрочномъ замѣчаніи, на стр. 134.

последнее время. Но если волненія нынѣшняго года можно объяснить какъ результатъ общаго политическаго движенія, охватившаго все русское общество, то и они не стоятъ изолированно: за всѣ послѣдніе годы мы имѣемъ дѣло не съ отдѣльными безпорядками, а съ однимъ сплошнымъ непорядкомъ, въ которомъ бурные безпорядки, смѣняющіеся, какъ на войнѣ, періодами временнаго, утомленнаго затишья, суть не болѣе какъ частные эпизоды.

Отдѣльныя волненія и даже такое массовое стихійное движеніе учащейся молодежи, какъ то, которое мы имѣемъ передъ собою, нерѣдко объясняются въ административныхъ сферахъ какъ результатъ дѣятельности незначительной кучки ловкихъ агитаторовъ. Къ сожалѣнію, причины зла гораздо болѣе серіозны. Случайная искра не зажжетъ пожара тамъ, гдѣ нѣтъ горючаго матеріала, а при условіяхъ даннаго момента мы имѣемъ дѣло съ матеріаломъ, который и безъ поджигателей легко воспламеняется самъ собою отъ однихъ неосторожныхъ внѣшнихъ толчковъ. Ясно, что такое положеніе свидѣтельствуетъ о полномъ распаденіи правильной академической жизни.

Можно замѣтить на это, что безпорядки послѣднихъ лѣтъ утратили чисто-университетскій характеръ и сдѣлались политическими. Опытъ другихъ государствъ показываетъ, что при сильномъ политическомъ броженіи, охватывающемъ общество, университетская молодежь легче всего имъ увлекается и нерѣдко отдается движенію въ наиболѣе шумныхъ и рѣзкихъ формахъ. Можно думать поэтому, что и при болѣе совершенномъ академическомъ строѣ наше студенчество такъ или иначе участвовало бы въ общественномъ движеніи нынѣшняго года, такъ же какъ это происходило въ другія времена и въ другихъ странахъ. Но такое безобразное, уродливое явленіе, какъ общая забастовка всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній имперіи, было бы совершенно немыслимо гдѣ бы то ни было при сколько-нибудь нормальномъ порядкѣ академическаго строя: въ этой забастовкѣ сказалась вся мѣра неуваженія къ университету, все отсутствіе его авторитета въ глазахъ учащихся и въ глазахъ общества — ибо безъ сочувствія общества при энергичномъ отпорѣ съ его стороны такая забастовка была бы немыслима.

Въ ту самую пору, когда общественное броженіе постепенно назрѣвало и разгоралось, когда всего нужнѣе было внутренне привязать молодежь къ университету, поднять его авторитетъ въ глазахъ общества и учащихся, этотъ авторитетъ былъ въ корнѣ своемъ подорванъ. Творцы устава 1884 года нанесли ему непопра-

вимый ударъ; они поселили отчужденіе между учащими и учащимися и достигли того, что учащіе ушли отъ учащихся.

Въ основу устава 1884 года было положено явно и рѣзко выраженное недовѣріе правительства къ учащей Россіи, къ ученой коллегіи... Думали вести университетское дѣло безъ нея и помимо нея, — дѣйствительность показала, къ чему это привело. Профессорская корпорація была расформирована и устранена отъ управленія высшею школою; изъ членовъ живой корпораціи профессора обратились въ отдѣльных лекторовъ, читающихъ курсы по заказаннымъ планамъ. Былъ сломленъ вѣковой порядокъ. Предсѣдатели ученыхъ коллегій, деканы факультетовъ, бывшіе выборными въ теченіе 129 лѣтъ при всѣхъ прежнихъ уставахъ, были замѣнены назначенными деканами: они обратились въ зависимыхъ и подчиненныхъ министерскихъ чиновниковъ и тѣмъ самымъ теряли въ глазахъ студентовъ, общества и самихъ товарищей тотъ необходимый въ университетѣ авторитетъ, который имъ прежде давало почетное избраніе факультета. Изъ этихъ новыхъ декановъ при участіи инспектора и подъ предсѣдательствомъ ректора, тоже назначеннаго вопреки традиціямъ, составляется Правленіе университетовъ, не имѣющее ни должной самостоятельности, ни должнаго авторитета, вносящее расколъ въ профессорскую среду. Долгое время Совѣты были вовсе лишены самага права избирать достойнѣйшихъ кандидатовъ на вакантныя катедры, которыя также замѣщались безъ вѣдома Совѣта, по усмотрѣнію Министерства, нерѣдко лицами, не обладавшими достаточными знаніями и способностями: въ основаніе назначенія полагалась не оцѣнка научныхъ трудовъ или преподавательскихъ достоинствъ кандидата, а случайныя вліянія и постороннія соображенія, заставлявшія министра отдать предпочтеніе данному лицу.

Все это не могло не внести глубокаго разстройства въ университетскую среду. Отдѣльные преподаватели подвергались и продолжаютъ подвергаться мелочному, придирчивому преслѣдованію, нѣкоторые выдающіеся профессора были удалены, другіе сами ушли, утомленные, раздраженные, обиженные, — въ томъ числѣ нѣсколько крупныхъ ученыхъ, со славою продолжавшихъ свою научную и преподавательскую дѣятельность за границей. Пусть ихъ немного — но это цвѣтъ русской науки. При скудости нашихъ силъ потеря людей съ именами Мечникова, Ковалевскаго, Виноградова, Муромцева, Эрисмана и нѣкоторыхъ другихъ является невознаградимой для нашихъ университетовъ, и самый фактъ ихъ ухода еще болѣе

роняетъ престижъ университета въ глазахъ образованнаго общества. При такихъ условіяхъ нельзя удивляться оскуднѣнію преподавательскихъ силъ, упадку цѣлыхъ факультетовъ. Молодые таланты не получаютъ должной школы и не приходятъ на смѣну старымъ; университетская дѣятельность, нѣкогда столь почетная, теряетъ для нихъ свою притягательную силу и становится тягостной для всѣхъ.

Уничтожая хорошія стороны прежняго университетскаго строя, дѣйствующее положеніе сохранило и усилило его недостатки. Дипломъ, дающій служебныя права, остался по прежнему чисто внѣшней приманкой, привлекающей въ университетъ массы людей, чуждыхъ высшимъ интересамъ знанія. Ненужная бюрократическая регламентація и устарѣлыя курсовыя дѣленія по прежнему стѣсняютъ свободу научныхъ занятій. И, наконецъ, одна изъ существенныхъ причинъ волненій, имѣвшихъ мѣсто ранѣе 1884 года, оставлена неустроенной: студенты остались по прежнему и даже болѣе прежняго „отдѣльными посѣтителями университета“. Всякіе студенческіе кружки, союзы, земляческія или курсовыя организаціи, возникавшія съ пятидесятихъ годовъ, при естественномъ стремленіи къ товарищескому общенію, воспрещались и преслѣдовались, что придавало противозаконную, нелегальную окраску всякому непобѣждимому въ академической жизни проявленію чувства товарищества. И можно шагъ за шагомъ прослѣдить, какъ подъ вліяніемъ запретовъ и преслѣдованій студенческіе союзы постепенно переходили на нелегальную, политическую почву, вначалѣ имъ совершенно чуждую, и какъ они объединялись на этой почвѣ. Возможность академическихъ организацій была устранена — появились внѣакадемическіе союзы, противные академическимъ цѣлямъ. За послѣдніе четыре года Министерство, повидимому, признало необходимость правильной студенческой организаціи, но моментъ былъ упущенъ, дѣло было поставлено не достаточно широко, и Совѣты университетовъ, лишеныя должныхъ полномочій, связанные въ своихъ начинаніяхъ, не могли создать прочныхъ академическихъ союзовъ. Значительныя попытки въ этомъ смыслѣ были сдѣланы въ Москвѣ; онѣ показали всю потребность въ такихъ союзахъ, всю ихъ возможную пользу въ будущемъ и всю ихъ невозможность при настоящихъ условіяхъ, которыя благопріятствуютъ лишь нелегальнымъ организаціямъ.

Уничтожая внутренніе устои университетскаго порядка и полагаясь исключительно на внѣшнія средства, творцы устава 1884 года выдвинули на первое мѣсто полицейскій институтъ инспекціи; этотъ

институтъ постепенно разрастался, поглощалъ громадныя средства и вмѣстѣ доказалъ свою совершенную бесполезность во время волненій и свой положительный вредъ въ спокойныя времена, внося въ университетъ атмосферу мелочного и подозрительнаго полицейскаго надзора, возбуждая постоянное раздраженіе студенчества и усиливая его отчужденіе отъ университета.

Глубокая неурядица, вызванная всѣми указанными условіями, заставила правительство признать необходимость университетской реформы и привлечь Совѣты университетовъ къ ея разработкѣ. Началась усиленная работа по мѣстамъ, и была учреждена коммиссія съ участіемъ представителей Совѣтовъ. Но въ рѣшительный моментъ, когда реформа была всего болѣе необходима, она была сдана въ архивъ, и дѣятельность Министерства совершенно заглохла. Совѣты созывались все чаще и чаще въ виду тревожнаго положенія, но представленія ихъ оставлялись начальствомъ безъ вниманія, а попытки воздѣйствія ихъ на студенчество по необходимости были безрезультатны: убѣдившись въ безсиліи Совѣтовъ, студенты перестали съ ними считаться.

Когда разгорѣлись волненія нынѣшняго года, Совѣты высшихъ учебныхъ заведеній на запросы своихъ начальствъ дали согласные между собою отвѣты, которые сводятся къ слѣдующимъ положеніямъ:

1) Поскольку студенческія волненія носятъ характеръ политической, они являются лишь отраженіемъ общаго политическаго броженія русскаго общества, и прекратятся вмѣстѣ съ умиротвореніемъ всего общества, когда будутъ осуществлены чаемыя реформы.

2) Въ настоящую минуту Совѣты не располагаютъ средствами для возобновленія и обезпеченія правильныхъ занятій и, во избѣжаніе самыхъ опасныхъ и бурныхъ, быть можетъ, кровавыхъ, столкновеній въ стѣнахъ учебныхъ заведеній, считают необходимымъ ихъ временное закрытіе.

3) Передъ открытіемъ высшихъ учебныхъ заведеній должна быть осуществлена давно возвѣщенная академическая реформа. Чтобы принимать соотвѣтственныя мѣры, Совѣты должны обладать необходимыми полномочіями, авторитетомъ и самостоятельностью.

Эти положенія нерѣдко перетолковывались. Профессоровъ упрекали въ политиканствѣ, въ измѣнѣ служебному долгу, въ солидарности съ забастовщиками, въ томъ, что они, пользуясь общей смутой, добиваются для себя возвращенія отнятыхъ правъ и т. д. И тѣмъ не менѣе въ этихъ отвѣтахъ, которые съ такимъ едино-

душіемъ дали Совѣты высшихъ учебныхъ заведеній — вся учащая Россія, — не было ничего, кромѣ строгой правды.

Профессора дѣйствительно настаивали на необходимости восстановленія правъ Совѣта и возвращенія университету той автономіи, какая принадлежала ему по уставу 1804 и 1863 и даже 1835 года. Они настаивали на ея необходимости для учрежденій, а не для лицъ, потому что университетская автономія по существу своему не составляетъ какого-либо личнаго права отдѣльныхъ членовъ Совѣта, возлагая на нихъ новыя отвѣтственныя обязанности. Сама жизнь показала, что нельзя вести учебнаго дѣла при полномъ недовѣріи къ учебному персоналу, къ ученому сословію вообще. И во всякомъ случаѣ, пока профессорская коллегія устранена отъ заведыванія университетами, пока Правленіе университета остается министерскимъ, а не совѣтскимъ органомъ, Совѣты не могутъ нести какой-либо отвѣтственности за то, что творится въ университетѣ, за бездѣйствіе и ошибки Министерства. А между тѣмъ въ настоящую минуту болѣе чѣмъ когда-либо нужна живая и независимая власть профессорской корпораціи, которая всего успѣшнѣе могла бы поддержать авторитетъ университета и способствовать умиротворенію и упорядоченію академической жизни. Одни увѣщанія совершенно безплодны въ моментъ массоваго возбужденія. Опыты прежнихъ лѣтъ показали, что такіа увѣщанія лишь подливаютъ масло въ огонь, уничтожая послѣдніе остатки авторитета, какіе по старымъ традиціямъ еще остались за Совѣтами университетовъ, — въ особенности когда учащіеся видятъ, что высшая учебная администрація не обращаетъ вниманія на представленія Совѣтовъ, явно дискредитируя ихъ передъ всѣми.

Съ другой стороны, Совѣты высшихъ учебныхъ заведеній единогласно засвидѣтельствовали, что движеніе нынѣшняго года является небывалымъ по силѣ, единодушію, одушевленію участниковъ. Тѣ профессора, которые въ теченіе многихъ лѣтъ выдали сходки, присутствовали на многочисленныхъ студенческихъ собраніяхъ и находятся въ общеніи съ широкими кругами молодежи, могутъ это подтвердить. Они видѣли, какъ цѣлые курсы, безъ преній, единогласно голосовали за общую забастовку (иногда закрытою баллотировкою), и могли воочию убѣдиться въ тщетѣ увѣщаній, обращенныхъ къ разгоряченной толпѣ. Таковы наши личныя впечатлѣнія, которые мы имѣли возможность провѣрить какъ въ частномъ общеніи съ профессорами другихъ университетовъ, такъ и на официальныхъ совѣщаніяхъ представителей высшихъ учебныхъ заведеній, нахо-

дящихся въ предѣлахъ Московскаго учебнаго округа. Мы находились передъ хорошо организованной, сплоченной и крайне возбужденной массой студенчества, готовой на самыя рѣшительныя мѣры. Правда, было меньшинство, желавшее заниматься, но оно было терроризовано и все равно уклонилось бы отъ посѣщенія лекцій изъ страха бурныхъ, быть можетъ, кровавыхъ столкновений, изъ опасенія вызвать такія столкновенія, о чемъ мы имѣли многія заявленія. При всемъ этомъ Министерство бездѣйствовало или дѣлало ошибку на ошибкѣ и сваливало всю вину и отвѣтственность на Совѣты, у которыхъ не было средствъ для дѣйствія. Они сказали правду: продолжать занятія было нельзя, и промедленіе въ закрытіи университетовъ только способствовало вредной агитаціи.

Профессоровъ обвиняли въ сочувствіи безпорядкамъ и забастовкѣ. Но такое обвиненіе могутъ повторять либо люди ослѣпленные и близорукіе, либо люди, мало знакомые съ университетскою средой и не знающіе, что приходится переживать профессорамъ во время безпорядковъ. Они находятся между молотомъ и наковальней. Студенты издають противъ нихъ прокламаціи, подвергаютъ ихъ оскорбительной обструкціи во время лекцій, грозятъ имъ терроромъ, насиліями, и были случаи, когда такія угрозы приводились въ исполненіе; Министерство предъявляетъ имъ неисполнимыя требованія, дѣлаетъ оскорбительныя внушенія и тоже грозитъ имъ, какъ въ нынѣшнемъ году; часть общества становится на сторону студентовъ и упрекаетъ профессоровъ въ малодушіи, въ томъ, что они не поддерживаютъ студентовъ; другая часть общества и печати, напротивъ того, клеймитъ профессоровъ измѣнниками, забастовщиками, требуетъ для нихъ каръ, натравливаетъ на нихъ низшіе классы; и при всемъ томъ, они видятъ, какъ гибнетъ высокое дѣло, которому они служатъ.

Въ своихъ отвѣтахъ они сказали правду. И если въ отдѣльныхъ случаяхъ, особенно въ постановленіяхъ частныхъ совѣщаній профессоровъ и младшихъ преподавателей, эта правда высказывалась въ рѣзкихъ, иногда безтактныхъ формахъ, то нельзя не считаться съ тѣмъ, что такъ говорили люди, дѣйствительно доведенные до крайности и готовые покинуть университеты, въ которыхъ дѣятельность становится все болѣе и болѣе тягостной, почти невозможной. Это только показываетъ, въ какой мѣрѣ безотлагательно необходимо умиротвореніе университетовъ и высшихъ учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ.

Что же было сдѣлано въ этомъ смыслѣ начальниками вѣдомствъ?

Не сдѣлано было ни одного шагу къ реформѣ, но были опубликованы во всеобщее свѣдѣніе положенія, принятые особымъ совѣщаніемъ министровъ, въ силу коихъ главная вина въ происшедшихъ волненіяхъ въ дѣйствительности возлагалась на профессоровъ: объявлялось, что высшія учебныя заведенія будутъ открыты съ начала осенняго полугодія, и что, въ случаѣ возобновленія безпорядковъ въ какихъ-либо изъ нихъ, они будутъ закрыты, и всѣ учащіе и учащіеся будутъ уволены. Вслѣдъ за этой угрозой, вмѣсто того, чтобы заставить учащихся почувствовать всю тяжесть естественныхъ послѣдствій ихъ забастовки, было объявлено, что имъ будетъ возвращена та плата, которая вносится каждымъ учащимся за право числиться студентомъ и которая по правиламъ ни въ какомъ случаѣ возврату не подлежитъ, составляя „спеціальныя средства“ высшихъ учебныхъ заведеній. Далѣе, появилось сообщеніе, что г. Министръ Народнаго Просвѣщенія циркулярно разрѣшилъ студентамъ, потерявшимъ полугодіе, условно, безъ экзамена переводиться на слѣдующій курсъ. Такимъ образомъ, съ одной стороны, учащимся какъ бы выдается премія за забастовку и они освобождаются отъ естественныхъ послѣдствій ея; съ другой стороны, высказывается угроза, оскорбительная для профессоровъ и роняющая авторитетъ правительственной власти, поскольку она представляется неисполнимой.

Неисполнимой она является, во-первыхъ, потому, что въ моментъ, когда всего нужнѣе поднять высшую школу, нельзя начинать съ ея разгрома: массовое увольненіе всѣхъ преподавателей не можетъ быть временнымъ, ибо можно сказать съ увѣренностью, что весьма значительная часть ихъ, и при томъ наиболѣе талантливая и дорожающая своимъ достоинствомъ, не вернулась бы къ прежней и безъ того тяжелой дѣятельности послѣ такой расправы. Во-вторыхъ, потому, что, даже съ чисто-полицейской точки зрѣнія, едва ли можетъ быть признано желательнымъ при настоящемъ состояніи умовъ — окончательно возстановить противъ правительства всю учащую Россію и выбросить изъ школы десятки тысячъ революціонно настроенной молодежи. Этого могутъ желать только тѣ, кто хотятъ смуты во что бы то ни стало, и этого, несомнѣнно, будутъ добиваться революціонные агитаторы, которые, послѣ угрозы Особаго Совѣщанія, направятъ всѣ усилія къ тому, чтобы вызвать безпорядки и привести къ закрытію хотя бы одного или нѣсколькихъ учебныхъ заведеній, чтобы снова привести къ массовому движенію во всѣхъ остальныхъ.

По этому поводу невольно вспоминаются слова, сказанные еще въ 1882 году В. К. фонъ Плеве въ Комиссіи при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, въ которой онъ принималъ участіе въ качествѣ директора департамента полиціи: „уволенные студенты являются собою главный контингентъ, изъ котораго крамола вербуетъ своихъ дѣятелей: безпорядки въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и неминуемо слѣдующія за ними исключенія представляютъ какъ бы рекрутскій наборъ, производимый крамолою въ рядахъ учащейся молодежи. Въ бездѣйствіи, нуждѣ и лишеніяхъ, исключенные изъ учебныхъ заведеній молодые люди, жизнь которыхъ оказывается разбитой въ самомъ ея началѣ, ожесточаются противъ всего общественнаго и государственнаго строя, и тѣ изъ нихъ, которые только склонялись прежде къ ученіямъ крамолы, теперь вполне проникаются ими, при чемъ подвергшіеся административной ссылке уже въ мѣстахъ оной начинаютъ оказывать вредное вліяніе на мѣстное населеніе, а по возвращеніи изъ ссылки, если успѣютъ снова проникнуть въ высшія учебныя заведенія, становятся дѣятельными агентами тайныхъ обществъ и въ ихъ духѣ дѣйствуютъ среди своихъ товарищей“.

Такимъ образомъ не только мѣра, предложенная Особымъ Совѣщаніемъ, представляется несоотвѣтственной, но и самое опубликованіе его „Положеній“ составляетъ трудно поправимую ошибку, такъ какъ оно внесло сильное возбужденіе въ академическіе круги и заранѣе опредѣлило образъ дѣйствій агитаціи, уменьшая и безъ того незначительные шансы на спокойное возобновленіе занятій въ предстоящемъ полугодіи.

Въ виду вышеизложеннаго настоятельно необходимыми представляются слѣдующія мѣры:

1) Желательно немедленное возвѣщеніе коренной реформы, которая уничтожила бы вышеуказанные недостатки академическаго строя, вернула бы Совѣтамъ ихъ корпоративное устройство, ихъ прежнюю самостоятельность и авторитетъ, ввѣривъ имъ веденіе университетскаго дѣла и устроеніе студенчества. Это первый необходимый шагъ для умиротворенія университетовъ, для ихъ нравственнаго подъема, необходимое условіе внутренняго порядка высшей школы. При этомъ существенно важно, чтобы реформа была разработана и проведена при самомъ дѣятельномъ участіи представителей Совѣтовъ высшихъ учебныхъ заведеній, — какъ то имѣлось въ виду при начальной стадіи ея разработки во время министерства Г. Э. Зенгера. Только та реформа будетъ успѣшна, которая

встрѣтить дѣятельную и убѣжденную поддержку со стороны Совѣтовъ, всего ближе заинтересованныхъ въ прочномъ академическомъ порядкѣ и всего болѣе компетентныхъ въ правильномъ разрѣшеніи университетскаго вопроса.

2) Желательно принять мѣры къ тому, чтобы выдающіеся преподаватели, которые къ великому ущербу высшей школы были вынуждены покинуть свою дѣятельность, вновь возвратились къ ней. Ихъ возвращеніе въ значительной степени содѣйствовало бы дѣлу умиротворенія и подняло бы престижъ университета.

3) Предстоящею осенью желательно открыть университеты лишь для вновь поступающихъ студентовъ перваго семестра и для студентовъ послѣдняго семестра, которымъ, по истеченіи осенняго полугодія, можно будетъ выдать выпускныя свидѣтельства и предоставить право держать государственные экзамены.

4) Всѣхъ прочихъ студентовъ желательно допустить въ университетъ лишь съ начала втораго полугодія, т.-е. ровно черезъ годъ по прекращеніи занятій, которыя возобновятся тамъ, гдѣ они были прерваны.

Эта послѣдняя мѣра имѣетъ въ свою пользу слѣдующія соображенія: она даетъ возможность провести реформу при должномъ спокойствіи и открыть учащимся двери преобразованнаго университета, такъ какъ основныя начала новаго устава могутъ быть введены въ дѣйствіе къ началу втораго полугодія; она даетъ возможность избѣжать вѣроятныхъ волненій предстоящею осенью и той неизбежной неурядицы, которая произошла бы отъ проектируемаго нынѣ совмѣщенія въ одномъ семестрѣ двойныхъ курсовъ — текущаго и истекшаго (пропущеннаго) полугодія; она откроетъ единственно возможный и достойный выходъ изъ положенія, созданнаго опубликованіемъ положеній Особаго Совѣщанія о высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и, наконецъ, она заставитъ студентовъ почувствовать всю тяжесть естественныхъ послѣдствій насильственнаго прекращенія занятій — потерю цѣлаго учебнаго года.

На это послѣднее соображеніе можно возразить, что такая мѣра является несправедливой по отношенію къ тѣмъ студентамъ, которые желали заниматься, и что жажда занятій замѣчается теперь въ широкихъ кругахъ молодежи. Несмотря на всѣ печальныя явленія университетской жизни, любовь къ наукѣ и жажда знанія была присуща нашей молодежи и до сихъ поръ, но горькій опытъ показалъ, что эти качества далеко не всегда обезпечиваютъ правильное теченіе университетской жизни и профессора могутъ засвидѣтель-

ствовать, что нерѣдко наиболѣе способные и занимающіеся студенты принимали самое дѣятельное участіе въ безпорядкахъ и что всего менѣе повинна въ нихъ та часть „золотой молодежи“, которая всего менѣе посѣщаетъ лекціи. Прежде чѣмъ открыть университетъ всѣмъ желающимъ, надо сдѣлать все возможное для того, чтобы обезпечить имъ возможность мирныхъ занятій. Если отдѣльные студенты потеряютъ при этомъ годъ не по своей винѣ, лучше съ этимъ примириться, чѣмъ подвергать ихъ риску новаго увольненія ближайшею осенью.

5) Особое положеніе въ имперіи занимаютъ высшія учебныя заведенія Царства Польскаго, гдѣ помимо общихъ мѣръ потребуются и особенныя мѣры, вызываемыя мѣстными условіями и культурными потребностями населенія. Здѣсь выдвигаются вопросы о допущеніи къ преподаванію польскихъ ученыхъ, вопросъ объ языкѣ, столь существенный для всей постановки школьнаго дѣла и для умиротворенія всего края. Но эти вопросы настолько тѣсно связаны съ направленіемъ нашей общей политики въ Царствѣ Польскомъ, что они выходятъ за предѣлы настоящей записки.

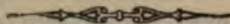
Таковы ближайшія мѣры, о которыхъ приходится говорить въ виду предстоящей осени. Нельзя забывать однако, что университетъ не стоитъ особнякомъ въ системѣ просвѣтительныхъ учреждений страны. Высшая школа тѣсно связана со средней школой, и вслѣдъ за университетской реформой потребуется несравненно болѣе трудная и сложная реформа средней школы, въ которой дѣло обстоитъ еще хуже нежели въ университетѣ, — реформа Ванновскаго, ничего не создавъ, была чисто разрушительной по своимъ результатамъ. Не исправивъ коренныхъ недостатковъ прежняго школьнаго режима, она внесла въ школьное дѣло полнѣйшій хаосъ, изъ котораго нужно найти выходъ. А пока средняя школа будетъ давать университетамъ молодыхъ людей, недостаточно подготовленныхъ къ высшему научному образованію, пока въ ней не будетъ той здоровой дисциплины, которая дается правильнымъ и серіознымъ умственнымъ трудомъ и поддерживается довѣріемъ къ школѣ со стороны общества и семьи — не можетъ быть прочнаго фундамента и у высшей школы. Здѣсь потребуется громадная и продолжительная работа, къ которой государство должно привлечь всѣ просвѣщенныя силы страны. Все направленіе дѣятельности Министерства Народнаго Просвѣщенія, которое привело къ крушенію среднюю и высшую школу, должно въ корнѣ своемъ измѣниться. Въ школѣ — все будущее Россіи, и никакія жертвы, необходимыя для ея устрое-

нія и подъема, не должны останавливать правительства, которое хочет блага страны и пожелаетъ поднять свой авторитетъ.

Но для этой великой работы необходимо прежде всего умиротвореніе общества, безъ котораго никакія частныя реформы не осуществимы и самое броженіе среди учащихся не прекратится. Вышеперечисленныя ближайшія и неотложныя мѣры по отношенію къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ сами по себѣ еще не уничтожатъ такого броженія, но онѣ помогутъ высшей школѣ пережить трудное смутное время и выйти обновленною изъ тяжкихъ бурь, которыя безъ этихъ мѣръ могутъ ее разрушить.

Ординарный профессоръ Императорскаго Московскаго университета
Князь *Сергій Трубецкой*.

21 іюня 1905 года.



ПОСМЕРТНЫЯ СТАТЬИ.

Правдивая исторія „Здраваго Слова“^(*).

Помните ли вы, читатель, газету „Здравое Слово“? Удивительно, какъ скоро всѣ рѣшительно забыли объ ея существованіи! А между тѣмъ она не только существовала, но существуетъ и до сихъ поръ. Розничная продажа ея воспрещена, подписчиковъ она больше не имѣетъ, но Титъ Іонычъ Карауховъ, владѣлецъ самой большой въ Россіи канительной фабрики, тратитъ ежегодно полтора ста тысячъ на ея изданіе.

Сотрудниками состоятъ весьма солидныя литературныя силы, ни въ чемъ не уступающія литературнымъ силамъ другихъ газетъ и журналовъ. Направленіе „Здраваго Слова“ самое благонамѣренное, патріотическое... Да неужели же вы забыли „Здравое Слово“? Неужели вы не помните, какъ оно чуть-чуть не сдѣлалось самымъ вліятельнымъ, самымъ популярнымъ изъ всѣхъ благомыслящихъ органовъ нашей печати, какъ руководило оно нашимъ общественнымъ мнѣніемъ? Вы не помните, какъ дрожали либералы при видѣ его заголовка? Вы забыли, какъ встревожились „Московскія Вѣдомости“, когда „Здравое Слово“, движимое патріотизмомъ, предложило безвозмездно печатать казенныя объявленія? Давно ли это было? Будто вчера! Вся печать передъ нимъ трепетала. Да что печать! Сановники лишались сна и аппетита, отцы семействъ жили въ страхѣ; были случаи сумасшествія и покушенія на самоубійство. На всемъ необъятномъ пространствѣ земли русской, „отъ финскихъ хладныхъ скалъ, до пламенной Колхиды“, ни въ одной иноплеменной, иновѣрной груди не могла шевельнуться преступная мысль, какъ тотчасъ же „Здравое Слово“ производило свое отрезвляющее, устрашающее дѣйствіе.

^(*) Эта неоконченная статья написана въ 1895 году и еще нигдѣ въ печати не появлялась.

И этот органъ, столь вліятельный, и полезный, столь могучій и патріотическій, этотъ органъ, долженствовавшій замѣнить собою Каткова — палъ до такой степени низко, какъ не падалъ еще ни одинъ органъ, съ тѣхъ поръ какъ въ природѣ существуютъ органы. Съ нимъ случилось нѣчто до такой степени странное и безпримѣрно ужасное, что мы не знаемъ, какъ объяснить себѣ загадочную судьбу его. „Здоровое Слово“ было заживо забыто, — забыто со всѣми своими сотрудниками, съ редакціей, съ самой типографіей, въ которой оно печатается, съ наборщиками, съ разсылными, съ самой прислугой. Случилось нѣчто странное и необъяснимое: сама цензура его забыла. Мудрено ли, что русское общественное мнѣніе, столь непостоянное и шаткое, столь колеблющееся, въ одинъ прекрасный день какъ бы въ силу какого-то частнаго затмѣнія, забыло то самое „Здоровое Слово“, которое еще наканунѣ пробуждало въ немъ страхъ и трепетъ, заставляло видѣть всю Россію покрытою сѣтью интригъ и капкановъ, и пробуждало въ немъ порывы самоотверженія.

Забыто все! Сами бывшіе сотрудники, подвизающіеся нынѣ въ другихъ изданіяхъ, не помнятъ ничего, будто „Здоровое Слово“ издавалось не въ Москвѣ, а гдѣ-нибудь въ Женевѣ. Люди, сочувствовавшіе „Здоровому Слову“, видѣвшіе въ немъ спасеніе отечества, молчатъ о немъ, какъ о какой-то замѣтой, постыдной исторіи въ родѣ экспедиціи Ашинова въ Абиссинію.

Странная роковая судьба! Примѣръ, достойный ужаса и полный пагиданія! Неужели же подобная участь внезапнаго забвенія при случайномъ поворотѣ общественнаго мнѣнія ожидаетъ и другія благомыслящія изданія, сродныя „Здоровому Слову“? Какъ могло случиться, что цѣлая газета пропала безъ вѣсти, затонула безъ слѣдовъ въ общемъ забвеніи? Мы долго искали признаковъ „Здраваго Слова“ въ русской журналистикѣ, и долго поиски наши были столь же тщетны, какъ поиски несчастной „Русалки“ — хотя мы искали не сгнившее, затонувшее судно, а существующій здравомыслящій органъ. Ибо оказывается, что „Здоровое Слово“ все-таки существуетъ.

...Почтенный Титъ Іонычъ ежегодно посылаетъ куда-то и кому-то полтора ста тысячъ на его изданіе. Однако и онъ, по безграмотству, означенной газеты никогда не получалъ и не могъ сообщить намъ никакихъ опредѣленныхъ свѣдѣній. Остатки изданія прежнихъ лѣтъ шли было на фабрику, для обертки канители, но и это пришлось прекратить: газета марала канитель.

ждений, Мартынъ Степанычъ составилъ себѣ имя въ цѣломъ рядѣ громкихъ процессовъ, защищая не однихъ миллионеровъ, но и нигилистовъ. Однажды онъ очутился подъ судомъ въ компаніи одного крупнаго довѣрителя по дѣлу о подлогѣ, по случаю оказавшагося у него нервнаго недостатка зрѣнія. Онъ былъ оправданъ; но въ немъ совершился нравственный переворотъ. Вскорѣ послѣ процесса онъ заболѣлъ отъ пережитыхъ волненій: онъ ослѣпъ совершенно и къ слѣпотѣ его присоединился сикозисъ, но прозрѣлъ и излѣчился внезапно у бабушки Ѳеодосіи. Это чудо привлекло къ нему массу новыхъ кліентовъ, доставило ему практику разныхъ монастырей и множество новыхъ полезныхъ связей. Послѣ этого Обезьянниковъ сталъ разомъ членомъ двадцати-двухъ братствъ въ разныхъ городахъ Россіи, куда посылалъ въ видѣ пожертвованій разныя душеполезныя олеографіи и листки назидательнаго и патріотическаго содержанія. Онъ выхлопоталъ себѣ мѣсто церковнаго старосты въ какой-то богадѣльнѣ, писалъ проекты о борьбѣ со штундою и вступилъ въ сношенія съ православнымъ Востокомъ, далъ ему даровые и весьма удачныя юридическіе совѣты, взаменъ которыхъ получалъ благословенія и свѣжую халву Великимъ постомъ.

Но этимъ дѣло не ограничилось. Мартынъ Степанычъ хотѣлъ смыть окончательно какъ красныя, такъ и просто грязныя пятна съ своей репутаціи. Онъ хотѣлъ сдѣлаться столпомъ общества, и желаніе это, какъ почти всегда, было искреннимъ. Онъ самъ за-былъ да и старался забыть границу между своимъ интересомъ, оздоровленія и спасенія общества, незадолго передъ тѣмъ зараженнаго разрушительными стремленіями. Онъ думалъ, что стоитъ только обернуться вспять, чтобы стать столбомъ, подобно женѣ Лота. Обходя съ кружкой молящихся въ богадѣльнѣ, зѣвая въ обществѣ распространія полезныхъ олеографій или давая тонкіе юридическіе совѣты представителямъ вавилонскаго патріархата, онъ чувствовалъ, что пріобрѣталъ уваженіе не только въ чужихъ, но и въ собственныхъ глазахъ. Онъ дошелъ до того, что собственной искренностью, которой онъ всегда умѣлъ убѣждать присяжныхъ, убѣдилъ самого себя въ дѣйствительномъ существованіи въ груди его новыхъ убѣжденій. И онъ сталъ ихъ проповѣдывать. Теперь, какъ и прежде, онъ плылъ по вѣтру, думая, что идетъ противъ теченія. Теперь, какъ и прежде, его зычное краснорѣчіе служило рупоромъ тому, что онъ проповѣдывалъ. Только навеселѣ, послѣ хорошаго обѣда, онъ какъ бы возвращался къ своему прежнему языческому волтеріанству и мастерски рассказывалъ анекдоты про

сковскій Листокъ“, но это не измѣнило его отношенія къ газетной прессѣ, на которую онъ продолжалъ смотрѣть какъ на самое пустое, плевое дѣло.

Но случились два событія, радикально измѣнившія его отношеніе къ печати. Власть Власычъ Синибантовъ на зло Титу Іонычу далъ большія деньги на газету честнаго направленія „Факторъ Прогресса“, которую редактировалъ профессоръ Хамоватый. Но дѣло на ладъ не пошло. „Факторъ Прогресса“ получилъ два предостереженія, былъ лишенъ права печатать объявленія, изъять изъ розничной продажи и потерялъ въ два года почти всѣхъ своихъ подписчиковъ. Онъ обратился въ какое-то дряблѣе, блѣднѣе и жидкое, вѣчно дрожащее поминальное бланманже либерализма шестидесятыхъ годовъ. Притомъ зесь либерализмъ его выражался въ сочувствіи нѣкоторымъ европейскимъ лѣвымъ, въ умолчаніи о всѣхъ „несимпатичныхъ произведеніяхъ“ да въ фельетонахъ о русской жизни на Матюхановъ Шарѣ или на Барской губѣ, — фельетонахъ, написанныхъ, очевидно, весьма большими либералами, судя по географической широтѣ ихъ постоянного жительства. Разъ только попробовалъ смѣлый редакторъ пропечатать одного земскаго начальника, высѣвшего бабу у себя на конюшнѣ. Но хотя профессоръ Хамоватый выразился деликатно и приводилъ статьи закона, земскій начальникъ, не отрицая ни статьи ни факта, такъ ему отвѣтилъ, и всѣ благомыслящія газеты задали ему такого звона, что почтенный профессоръ окончательно помѣшался на идеѣ 3-го предостереженія и мало-по-малу превратилъ свою газету въ совершенно тѣмой протестъ. Нападки благомыслящихъ газетъ не умолкали, прежніе единомышленники прозвали газету его бланманже, и въ одинъ прекрасный день несчастный редакторъ самъ вообразилъ себя высѣченной бабой, и отъ стыда повѣсился.

Исторія эта надѣлала много шума. Мелкая пресса изобразила въ иллюстрированныхъ „приложеніяхъ“ картинку самоубійства. Самъ Н. Н. Страховъ въ „Борьбѣ съ Западомъ“ написалъ о немъ прочувствованную страницу, указывая въ повѣсившемся профессорѣ образъ нашей безпочвенной интеллигенціи. А Власть-то Власычъ далъ деньги на этакое дѣло! Титъ Іонычъ торжествовалъ и положилъ окончательно побить свояка въ литературѣ.

У Караухова былъ адвокатъ Мартынъ Степановъ Обезьянниковъ, звѣзда первой величины, съ литературными связями, нерѣдко служившій посредникомъ между нашимъ меценатомъ и его литературными поставщиками. Смолodu человѣкъ самыхъ передовыхъ убѣ-

дений, Мартынь Степанычъ составилъ себѣ имя въ цѣломъ рядѣ громкихъ процессовъ, защищая не однихъ миллионеровъ, но и нищихъ. Однажды онъ очутился подъ судомъ въ компаніи одного крупнаго довѣрителя по дѣлу о подлогѣ, по случаю оказавшагося у него перваго недостатка зрѣнія. Онъ былъ оправданъ; но въ немъ совершился нравственный переворотъ. Вскорѣ послѣ процесса онъ аболѣлъ отъ пережитыхъ волненій: онъ ослѣпъ совершенно и къ слѣпотѣ его присоединился сикозисъ, но прозрѣлъ и излѣчился внезапно у бабушки Ѳеодосіи. Это чудо привлекло къ нему массу новыхъ кліентовъ, доставило ему практику разныхъ монастырей и множество новыхъ полезныхъ связей. Послѣ этого Обезьянниковъ сталъ разомъ членомъ двадцати-двухъ братствъ въ разныхъ городахъ Россіи, куда посылалъ въ видѣ пожертвованій разныя душеполезныя олеографіи и листки назидательнаго и патріотическаго одержанія. Онъ выхлопоталъ себѣ мѣсто церковнаго старосты въ какой-то богадѣльнѣ, писалъ проекты о борьбѣ со штундою и вступилъ въ сношенія съ православнымъ Востокомъ, далъ ему даровые и весьма удачныя юридическіе совѣты, взаимъ которыхъ получалъ благословенія и свѣжую халву Великимъ постомъ.

Но этимъ дѣло не ограничилось. Мартынь Степанычъ хотѣлъ мыть окончательно какъ красныя, такъ и просто грязныя пятна въ своей репутаціи. Онъ хотѣлъ сдѣлаться столпомъ общества, и желаніе это, какъ почти всегда, было искреннимъ. Онъ самъ задалъ да и старался забыть границу между своимъ интересомъ, здоровленія и спасенія общества, незадолго передъ тѣмъ зараженнаго разрушительными стремленіями. Онъ думалъ, что стоитъ только обернуться вспять, чтобы стать столбомъ, подобно жемчужной Лоты. Обходя съ кружкой молящихся въ богадѣльнѣ, зѣвая въ обществѣ распространения полезныхъ олеографій или давая тонкіе юридическіе совѣты представителямъ вавилонскаго патріархата, онъ чувствовалъ, что пріобрѣталъ уваженіе не только въ чужихъ, но и въ собственныхъ глазахъ. Онъ дошелъ до того, что собственной искренностью, которой онъ всегда умѣлъ убѣждать присяжныхъ, обѣдилъ самого себя въ дѣйствительномъ существованіи въ груди его новыхъ убѣжденій. И онъ сталъ ихъ проповѣдывать. Теперь, какъ и прежде, онъ плылъ по вѣтру, думая, что идетъ противъ теченія. Теперь, какъ и прежде, его зычное краснорѣчіе служило упоромъ тому, что онъ проповѣдывалъ. Только навеселѣ, послѣ орошаго обѣда, онъ какъ бы возвращался къ своему прежнему зыческому волтеріанству и мастерски рассказывалъ анекдоты про

нихъ дѣлъ, Жердябовъ — портфель народнаго просвѣщенія и церковной политики. Потомъ шли фельетонисты: Платонъ Цѣлковомудренный подъ псевдонимомъ Старуха-Лепетуха (литература и жизнь), Евлампій Бутоновъ (философія и жизнь) и Максимъ Петровъ Петровъ-Завоняйка (общественная хроника) — всѣ трое съ солиднымъ литературнымъ прошлымъ и завиднымъ дарованіемъ. Не менѣе замѣчательны были корреспонденты: Маркизь Вуадефэ изъ Парижа, Цукерсонъ изъ Берлина и Вѣны (проживалъ, большею частью, въ Москвѣ), ирландецъ О'Вши изъ Лондона и въ особенности Иванъ Вредный, состоявшій на особыхъ порученіяхъ при редакціи и на первыхъ порахъ отправленный въ Болгарію, откуда писалъ подъ псевдонимомъ — „Баши-Бузукъ“. Въ Петербургѣ были два корреспондента — князь Содомскій и генералъ Поросятинъ (штатскій), писавшій еженедѣльные финансовыя обзоры по самымъ достойнымъ источникамъ подъ псевдонимомъ „Рельсепрократный“. Одной строки его было достаточно, чтобы поднять или уронить любую бумагу. Я не стану перечислять другихъ сотрудниковъ, между которыми были такія силы, какъ Тертый Калачъ, знаменитый Лжедмитріевъ, Нибуръ русской исторіи и штабсъ-капитанъ Пузановъ, надѣлавшій столько шуму своей смѣлой полемикой съ Львомъ XIII.

Къ чести „Здраваго Слова“ надо замѣтить, что ни въ одномъ объявленіи оно не помѣстило въ числѣ сотрудниковъ Льва Толстого, какъ это дѣлаютъ многіе другіе журналы, спекулирующіе на „непротивленіи злу“ со стороны знаменитаго писателя. Да этого и не могло случиться, ибо съ перваго же номера „Здравое Слово“ принялось разоблачать его лжеученія.

Войцѣхъ Войцѣховичъ Трепачекъ, Василій Вышибаловъ и Тигранъ Жердябовъ были всѣ трое выдающимися публицистами. Всѣ трое были въ свое время первостепенными прохвостами. Но это прежде. Теперь они измѣнились, подобно Обезьянникову, и горѣли ревностью къ святому дѣлу. Жердябовъ даже изготавилъ для будущаго изданія рядъ поучительныхъ статей подъ общимъ заглавіемъ: „Какимъ я былъ негодяемъ!“

Войцѣхъ Войцѣховичъ Трепачекъ составилъ себѣ порядочный капиталецъ, промышляя педагогіей и спекулируя на биржѣ. Онъ переводилъ разныя нѣмецкія школьныя изданія, которыя ловко пускалъ въ оборотъ и ловилъ рыбу въ мутной водѣ разнообразныхъ московскихъ среднеучебныхъ заведеній. Сначала онъ довольно слабо зналъ русскій языкъ, такъ что въ его первой „книгѣ латинскаго упражненія“ попадались не совсѣмъ русскіе обороты: „не хоти

нія, общество неупотребленія, братство „не умолчим“ и даже дѣла вавилонскаго патріархата и абиссинскаго подворья — все это было на время забыто. На годичномъ собраніи общества трезвости Мартынъ Степанычъ привелъ всѣхъ въ замѣшательство своими странными рѣчами, вообразивъ, что онъ сидитъ въ обществѣ „сестеръ деснаго стоянія“.

До того ли было нашему дѣятелю! Въ головѣ его роились проекты, статьи, контракты, телеграммы. Каждый день съ утра онъ возился со всякаго рода темными личностями и обѣдалъ и ужиналъ съ избранными литературными силами, долженствовавшими принять участіе въ будущей газетѣ. Деньги и шампанское Тита Іоныча лились рѣкою. И мало-по-малу литературное предпріятіе Обезьянникова близилось къ осуществленію.

Газету рѣшили назвать: „Здравымъ Словомъ“. Обезьянниковъ хотѣлъ, чтобъ официальнымъ издателемъ былъ самъ Карауховъ, хотя въ видѣ издательской подписи онъ могъ проставлять только свой крестъ подъ каждымъ номеромъ. Обезьянникову нравилась мысль выпускать новое изданіе за такой своеобразною печатью непочатаго русскаго духа. Но въ Петербургѣ встрѣтились затрудненія. Рѣшено было, что издателемъ будетъ Мартынъ Степанычъ; но средства — Тита Іоныча, который обязался контрактомъ на 15 лѣтъ съ миллионной неустойкой. Редакторомъ, номинальнымъ разумѣется, былъ избранъ докторъ медицины — не помню Петровъ или Ивановъ, состоявшій около двадцати лѣтъ гдѣ-то сверхштатнымъ врачомъ и давно оставившій практику для биржевыхъ гешефтовъ. Его взяли частью за связи съ финансовымъ міромъ, частью для того, чтобъ отвѣчать передъ судомъ, положивъ ему 25 руб. суточныхъ за каждый день, проведенный въ мѣстахъ ареста или тюремнаго заключенія.

Настоящими редакторами, долженствовавшими создать органъ въ духѣ и силѣ Каткова, были самъ Обезьянниковъ и крупныя литературныя силы, съ которыми мы постараемся ближе познакомиться читателя. То были, во-первыхъ, славянинъ неопредѣленной національности Войцѣхъ Войцѣховичъ Трепачекъ.

Трепачекъ, заявившій себя въ педагогической литературѣ рядомъ словарей и учебниковъ и въ публицистикѣ извѣстный подъ псевдонимомъ Jupiter Stator; затѣмъ слѣдовали — публицисты Василій Вышибаловъ и Тигранъ Жердябовъ, секретарь редакціи. Эти лица представляли изъ себя верховный совѣтъ Обезьянникова. Трепачекъ былъ канцлеромъ, Вышибаловъ принялъ портфель внутрен-

нихъ дѣлъ, Жердябовъ — портфель народнаго просвѣщенія и церковной политики. Потомъ шли фельетонисты: Платонъ Цѣлковомудренный подѣ псевдонимомъ Старуха-Лепетуха (литература и жизнь), Евлампій Бутоновъ (философія и жизнь) и Максимъ Петровъ Нетронъ-Завоняйка (общественная хроника) — всѣ трое съ солиднымъ литературнымъ прошлымъ и завиднымъ дарованіемъ. Не менѣ замѣчательны были корреспонденты: Маркизь Вуадефэ изъ Парижа, Цукерсонъ изъ Берлина и Вѣны (проживалъ, большею частью, въ Москвѣ), ирландецъ О'Вши изъ Лондона и въ особенности Иванъ Вредный, состоявшій на особыхъ порученіяхъ при редакціи и на первыхъ порахъ отправленный въ Болгарію, откуда писалъ подѣ псевдонимомъ — „Баши-Бузукъ“. Въ Петербургѣ были два корреспондента — князь Содомскій и генералъ Поросятинъ (штатскій), писавшій еженедѣльные финансовыя обзорѣнія по самымъ достойнымъ источникамъ подѣ псевдонимомъ „Рельсопрокатный“. Одной строки его было достаточно, чтобы поднять или уронить любую бумагу. Я не стану перечислять другихъ сотрудниковъ, между которыми были такія силы, какъ Тертый Калачъ, знаменитый Лжедмитріевъ, Нибуръ русской исторіи и штабсъ-капитанъ Пузановъ, надѣлавшій столько шума своей смѣлой полемикой съ Львомъ XIII.

Къ чести „Здраваго Слова“ надо замѣтить, что ни въ одномъ объявленіи оно не помѣстило въ числѣ сотрудниковъ Льва Толстого, какъ это дѣлаютъ многіе другіе журналы, спекулирующіе на „непротивленіи злу“ со стороны знаменитаго писателя. Да этого и не могло случиться, ибо съ перваго же нумера „Здравое Слово“ принялось разоблачать его лжеученія.

Войцѣхъ Войцѣховичъ Трепачекъ, Василій Вышибаловъ и Тигранъ Жердябовъ были всѣ трое выдающимися публицистами. Всѣ трое были въ свое время первостепенными прохвостами. Но это прежде. Теперь они измѣнились, подобно Обезьянникову, и горѣли ревностью къ святому дѣлу. Жердябовъ даже изготавилъ для будущаго изданія рядъ поучительныхъ статей подѣ общимъ заглавіемъ: „Какимъ я былъ негодяемъ!“

Войцѣхъ Войцѣховичъ Трепачекъ составилъ себѣ порядочный капиталецъ, промышляя педагогіей и спекулируя на биржѣ. Онъ переводилъ разныя нѣмецкія школьныя изданія, которыя ловко пускалъ въ оборотъ и ловилъ рыбу въ мутной водѣ разнообразныхъ московскихъ среднеучебныхъ заведеній. Сначала онъ довольно слабо зналъ русскій языкъ, такъ что въ его первой „книгѣ латинскаго упражненія“ попадались не совсѣмъ русскіе обороты: „не хотя

супротивостать сенатскому постановленію“, „были многіе нѣкоторые такіе, которые сообщали, что юноша (асс. сип inf.) пришелъ въ Римъ посмортѣть игры три года спустя смерти отца“, или „ея тѣло было бѣло и полно относительно наготы“ (тѣло порока въ баснѣ Продика). Но постепенно Войцѣхъ Войцѣховичъ чрезвычайно усовершенствовался въ русской рѣчи и подъ псевдонимомъ Jupiter Stator съ успѣхомъ пустился въ философію и публицистику.

Убѣжденій своихъ онъ никогда не мѣнялъ и, какъ онъ выражался, сначала имѣлъ ихъ „тверди, ясни, прости“. Статьи его были рѣдки, иногда нелѣпы до наглости, но всегда опредѣленны, авторитетны, внушительны. Въ своей педагогической дѣятельности онъ выработалъ себѣ приемъ неукоснительнаго вдабливанія своихъ словъ и мыслей въ головы учениковъ. И этотъ приемъ, который нашъ педагогъ перенесъ въ публицистику, составлялъ его литературный секретъ и доставилъ ему большую долю его успѣха. Ему одному дано было излагать совершенныя нелѣпости, которыхъ и самые благомыслящіе публицисты избѣжать иногда не могутъ, тономъ столь серіознымъ, строгимъ и вѣскимъ, что читатель, которому тѣ же нелѣпости самому приходили въ голову, переставалъ ихъ стыдиться и проникался уваженіемъ къ себѣ и своей газетѣ, доводившей эти нелѣпости до конца. Одному Войцѣху Войцѣховичу дано было съ такой самоувѣренностью, съ такой невозмутимостью и простотою побѣдоносно защищать нелѣпыя мысли явно нелѣпыми аргументами. Получалась совершенная иллюзія, математической ясности, желѣзной доказательности. Войцѣхъ Войцѣховичъ спорилъ всегда спокойно и авторитетно, когда онъ доказывалъ, что дважды два—стеариновая свѣчка; голосъ его звучалъ такъ же логично и хладнокровно, какъ будто онъ объяснялъ ученикамъ математическую теорему или элементарное правило грамматики. Самая наглость его, поистинѣ исключительная, была возмутительно пристойною, какъ бы вдохновенною, разбивая всякую логику своимъ олимпійскимъ спокойствіемъ. Отъ такого неслыханнаго приѣма оппоненты Трепачка невольно приходили въ замѣшательство, какъ римская конница при встрѣчѣ съ боевымъ слономъ. И Jupiter Stator ловко умѣлъ пользоваться производимымъ впечатлѣніемъ, сохраняя всю свою выдержку, свой тонъ торжествующей истины.

Все это — свойства завидныя для всякаго публициста, который не всегда же имѣетъ достаточно досуга и знанія для обоснованія всѣхъ своихъ положеній. Въ служеніи благой цѣли доля наглости есть сущій кладъ. Но были два обстоятельства, которые мѣшали

Треничку захватить собою всего Каткова. Во-первых, онъ былъ настолько холоденъ: онъ былъ строгъ но не лютъ; въ немъ не было ни злобы, ни рѣзости, ни настоящаго голоса, который могъ бы потрясти, ужаснуть, остервенить. Въ немъ не было того Минина, того духа Брестской площади, который почувалъ Обезьянниковъ въ безграмотномъ Карауловѣ. Кроме того, у Тренички были еще одинъ недостатокъ — онъ имѣлъ слишкомъ определенную политическую систему, почерпнутую частью изъ древнихъ писателей, частью изъ долготѣвшей педагогической практики. У него былъ въ головѣ цѣлый планъ реформы, основная мысль которой заключалась въ превращеніи всей Россіи въ какое-то колоссальное среднееучебное заведеніе. Почтенный педагогъ представлялъ себѣ благоустроенное государство въ видѣ какого-то исправительнаго пансіона и никакъ не могъ вообразить себѣ, чтобы люди могли когда-либо становиться совершеннолѣтними, жить безъ надзирателей и директоровъ. Онъ проектировалъ цѣлую систему инспекцій, долженствовавшую направлять и контролировать всѣ сферы какъ общественной, такъ и частной дѣятельности. Самая литература долженствовала превратиться въ какое-то писанное упражненіе, строго руководимое особыми инспекторами.

Совершенно иными свойствами отличались два другихъ политика „Здраваго Слова“ — Жердябовъ и Вышибаловъ. Если Юпитеру-Статору недоставало злобы и борзости, недоставало полета и русскаго духа, то оба названные сотрудника были люты и борзы, оба умѣли возвышаться до павоса, каждый въ своемъ родѣ.

Тигранъ Жердябовъ былъ истинный одержимый. Въ юности онъ былъ динамитчикомъ, но самое существованіе его свидѣтельствовало о примѣрной искренности его раскаянія. Въ 70-хъ годахъ онъ судился по знаменитому дѣлу (Обезьянниковъ былъ его защитникомъ). Потомъ онъ бѣжалъ въ Болгарію, гдѣ покушался на жизнь Баттенберга. Онъ былъ осужденъ и повѣшенъ; но, къ счастью для русской публицистики, веревка оборвалась, и въ тотъ самый моментъ пока искали новую, случился министерскій кризисъ: министр, подписавшій приговоръ, былъ свергнутъ, и на радостяхъ Жердябова помиловали, заключивъ его пожизненно въ Черную Джамію. Тамъ его, какъ водится, занимали плетеніемъ сѣтей и сѣкли плетями отъ времени до времени, въ компаніи того самаго министра, который хотѣлъ его повѣсить. Подобный режимъ потрясъ нервную систему нашего террориста. Его преслѣдовали галлюцинаціи, ему мерещилась висѣлица, онъ еженощно видѣлъ чорта, и кончилъ тѣмъ, что увѣровалъ въ его существованіе. Это послужило нача-

ломъ его религіознаго обращенія. Онъ началъ, такъ сказать, съ другого конца, но, принявъ такой конецъ, онъ допустилъ и прочіе догматы вѣры. Ему казалось, что, вѣруя въ чорта, онъ вѣровалъ глубже, реальнѣе, конкретнѣе прочихъ, приближаясь къ міросозерцанію подвижниковъ и аскетовъ. Сведя личное знакомство съ нечистымъ, мучимый религіозными страхами, которые онъ принималъ за „начало премудрости“, онъ уже не могъ быть индифферентнымъ. Иногда онъ чувствовалъ даже какъ бы какую-то благодарность къ висѣльцѣ, къ плетямъ, къ самому чорту за свое обращеніе. Но въ то же время онъ объявилъ сатанѣ крестовый походъ не на-животъ, а на-смерть. Не было прозелита болѣе пламеннаго и рѣшительнаго. Вчера еще онъ готовъ былъ взорвать всѣ храмы динамитомъ; сегодня онъ пережегъ бы всѣхъ еретиковъ, замучилъ бы всѣхъ инославныхъ. Вчера онъ кошунствовалъ, сегодня соблюдалъ всѣ посты, клалъ поклоны и мнилъ себя абсолютно православнымъ. Но что это было за православіе! Врагъ рода человѣческаго не даромъ былъ его миссіонеромъ. Жердябовъ самъ не замѣчалъ, что онъ вѣрилъ дѣйствительно и преимущественно въ чорта. Теперь, какъ и прежде, онъ признавалъ, что Богъ не въ правдѣ, а въ силѣ; теперь, какъ прежде, онъ видѣлъ въ религіи любви и прощенія ложную сентиментальность и дамскую выдумку. Изгнавъ изъ себя одного бѣса, онъ не замѣтилъ, какъ душой его завладѣли семь злѣйшихъ бѣсовъ, прикрывавшихся его мнимымъ обращеніемъ. Онъ впалъ въ прелесть и самочинное умствованіе, которое привело его къ мнѣніямъ еретическимъ: онъ заразился теократическими идеями, изобрѣлъ особый чинъ рукоположенія въ государственную службу и даже помышлялъ о помазаніи губернаторовъ особымъ елеемъ при назначеніи ихъ на должность...

Между тѣмъ въ Болгаріи совершился новый переворотъ. Понадобились умѣлые террористы, и Жердябовъ, выпущенный изъ тюрьмы, былъ назначенъ начальникомъ отряда палочниковъ въ одномъ изъ придунайскихъ городовъ. Исполнивъ возложенное на него порученіе и перепоровъ населенія, онъ переправился черезъ Дунай и... я не стану рассказывать его возвращеніе на родину, его покаяніе, его помилованіе. Читатель можетъ самъ прочесть объ этомъ въ его статьѣ: „Какимъ я былъ негодяемъ“. Онъ думалъ было поступить въ монастырь, но сатана являлся ему всякій разъ, какъ онъ становился на молитву. И вотъ онъ положилъ побороть его окольнымъ путемъ, посредствомъ публицистики, обличая всѣ его либеральные козни и происки.

Такой сотрудник был, несомненно, полезен и надежен, хотя фанатизмъ его и могъ иногда казаться чрезвычайнымъ. Но самыя большія надежды въ смыслъ русскаго духа Обезьянниковъ возлагалъ на Вышибалова. Въ немъ была искра Прометея, хотя изъ всѣхъ сотрудниковъ „Здраваго Слова“ это была личность съ самымъ смутнымъ прошлымъ. Онъ былъ въ свое время сотрудникомъ какого-то подпольнаго изданія, потомъ становымъ въ какомъ-то очень хлѣбномъ участкѣ, потомъ шулеромъ, наконецъ — сотрудникомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, гдѣ онъ мелькнулъ лишь метеоромъ, чтобы со скандаломъ перейти въ „Здравое Слово“. Онъ прошелъ, такимъ образомъ, цѣлую лѣствицу безстыдства и представлялъ изъ себя самоновѣйшій типъ литературнаго опричника. Онъ былъ одинаково наглъ и ехиденъ, дерзокъ и беззащитен. Въ немъ была какая-то врожденная потребность буянства, драки, площадной брани. Никто не умѣлъ произвести скандала съ такимъ трескомъ и въ то же время такъ удачно, благовременно, въ ту самую минуту, когда данный скандалъ составлялъ, такъ сказать, общественную потребность. Съ одинаковымъ искусствомъ онъ могъ выворачивать скулы всякому встрѣчному и съ достоинствомъ древняго римлянина получать затрешины, извлекая изъ нихъ честь и барышъ. Онъ гордился каждымъ флюсомъ, какъ воинъ почетными ранами. И вотъ, онъ сдѣлался столпомъ разрушающагося общества. Онъ искупалъ свое двоеженство, свой грязный, пьяный развратъ, защищая здравое начало семьи. Онъ искупалъ свое взяточничество и вымогательства, вопія о чести дворянина, о неподкупности власти. Ограбивъ родную мать и тетку, онъ возстановлялъ всюду пошатнувшуюся власть родительскую; не умѣя ставить буквы ъ, онъ распинался за классическое образованіе. Выражаясь языкомъ Тацита, „онъ не оставлялъ ни одного безстыдства не сдѣланнымъ“ — и въ то же время со слезой, съ вдохновеніемъ взывалъ непрестанно: „горѣ имѣемъ сердца!“

Таковъ былъ составъ редакціи. Обезьянниковъ чувствовалъ, что букетъ публицистовъ, подобранный имъ, можетъ произвести нѣсколько острое, жестокое, такъ сказать, впечатлѣніе на нашу дряблую публику. И онъ постарался смягчить его искуснымъ подборомъ фельетонистовъ. Игривый Петронъ-Завоняйка, елейный Евлампій Бутоновъ, проливавшій крокодиловыя слезы надъ предстоящимъ разрушеніемъ и настоящимъ гніеніемъ самочиннаго Запада, должны были смягчить впечатлѣніе мощныхъ патріотическихъ аккордовъ Вышибалова или смѣлыхъ проектовъ Трепачка. Литературный кисель

Старухи-Лепетухи долженъ былъ способствовать переваренію іереміадъ Жердябова.

Все было готово. Помѣщеніе редакціи чистое, просторное, съ новыми потолками и бумажками, съ колоссальной статуей одного великаго публициста на парадной лѣстницѣ; сотрудники, обновленные духомъ, подписчики, воскрешенные надеждой — все было напряжено ожиданіемъ. Обезьянниковъ чувствовалъ себя въ положеніи борзятника, притаившагося въ приближеніи звѣря. Борзья вытянулись, застыли въ нѣмомъ стремленіи, между тѣмъ какъ гончія заливаются отчаяннымъ лаемъ... Звѣрь уже виденъ, онъ едва сдерживаетъ своихъ собакъ... Ближе, ближе... и вдругъ сейчасъ онъ гикнетъ и спуститъ свору, и всѣ онѣ понесутся по пашнямъ и буеракамъ.

III.

Открытіе журнала было истиннымъ событіемъ. Всѣ именитыя лица города явились на приглашеніе; всѣ святыни московскія освятили своимъ присутствіемъ торжественное молебствіе, весь православный Востокъ былъ представленъ, не исключая Абиссиніи. Молебствіе совершалъ архимандритъ Вавилонскаго подворья, и протоіерей Благорастворенскій сказалъ назидательное слово. За сямъ былъ обѣдъ, — чудовищный, гомерическій обѣдъ, гдѣ лилось вино, рѣчи и слезы, гдѣ соратники говорили о своихъ высокихъ чувствахъ и убѣжденіяхъ, ссорились, ругались, мирились снова, качали Титъ Іоныча, кричали, и подъ конецъ всей пьяной ватагой уѣхали къ Яру. Три дня и три ночи длилась эта оргія, изъ которой одинъ Трепачекъ и о. Благорастворенскій успѣли какъ-то улизнуть. Такъ началось дѣло общественнаго спасенія, и черезъ недѣлю вышелъ первый номеръ „Здраваго Слова“.

Заголовокъ, выведенный славянскою грамотой, изъ-подъ котораго видѣлся кончикъ Кремля и кокошникъ матушки Россіи; крупный, изящный шрифтъ и пространное жирное оглавленіе — такова была внѣшность перваго номера, если не считать неизбежной швейной машинки Зингера и бутылки Жоржа Гуле, изображенныхъ на первой страницѣ передъ самымъ оглавленіемъ. Не знаю, какъ вы, читатель, но мнѣ эти бутылки и машинки такъ намозолили глаза въ объявленіяхъ, что я поклялся никогда не пить марки Гуле и не шить ничего на Зингерѣ. Не понимаю, какъ Обезьянниковъ рѣшился пъ первомъ же номерѣ и на первой же страницѣ помѣстить эти „завадные образцы“, измаравшіе заборы и конки всѣхъ частей свѣта!

Но ужъ видно безъ уступокъ духу времени никакое дѣло итти не можетъ. Завистники говорили, что это сочетаніе бутылки дешеваго шампанскаго съ швейной машиной подъ стѣною кремлевской стѣны должно характеризовать будущую литературную дѣятельность новаго органа. Но первая же недѣля блистательно опровергла такое злословіе.

Передовица пробнаго нумера — настоящая министерская декларация — была составлена Обезьянниковымъ и Вышибаловымъ: они и впослѣдствіи обыкновенно писали вмѣстѣ, такъ какъ первый въ печати выходилъ нѣсколько жидокъ, а второй, несмотря на всю пустоту своего таланта и крѣпость слова, писалъ самодержавіе съ ъ и не имѣлъ достаточно литературнаго лоска. Передовица была превосходна, умѣренна, сдержана въ тонѣ, но полна несокрушимой энергіи; какъ въ классической увертюрѣ мотивы, долженствовавшіе получить развитіе въ послѣдующей оперѣ, излагались отчетливо, ясно, послѣ нѣсколькихъ церковныхъ аккордовъ экспонировалась первая тема — широкая, русско-цыганская, богатырская, затѣмъ два миттельзатца — одинъ въ родѣ анаемы, другой въ родѣ многолѣтія; потомъ былъ цѣлый хаосъ звуковъ, въ которомъ громъ и анаемы переплетались съ первой темой и многолѣтіемъ и, въ заключеніи, послѣ маленькаго намека на „вѣчную память“ — побѣдныя фанфары, тромбоны и гимнъ. Почти ничего лишняго! Обезьянниковъ умѣрилъ порывы своей фантазіи, Вышибаловъ — могучіе взмахи своихъ патріотическихъ крыльевъ. Получалось грозное и внушительное впечатлѣніе скрытой силы. Въ особенности конецъ былъ достоинъ Каткова и попалъ въ христоматію, вскорѣ послѣ того изданную Трепачкомъ для среднеучебныхъ заведеній.

За передовицей шла общественная хроника Петронъ-Завоняйки, язвительная, проицательная и злая. Если въ первой статьѣ чувствовался „углъ пылающій огнемъ“, и „кровавая десница“, то въ хроникѣ показывалось „жало мудрыя змѣи“, сразу нагнавшее дрожь на земцевъ, судейскихъ и на развратителей молодежи. Не менѣе замѣчательно было „финансовое обозрѣніе“ „Рельсопрокатнаго“, сразу доставившее „Здравому Слову“ привилегированное положеніе биржевой пиеи. Далѣе помѣщалось нѣсколько интереснѣйшихъ корреспонденцій: „Трепашъ швы тройственнаго союза“ — изъ Берлина, „изгнаніе Лже-Фердинанда“ изъ Софіи и „обнимитесь, милліоны“ изъ Парижа. Маркизъ де Вуадефэ писалъ, какъ всѣ французскія сердца бьются въ унисонъ съ русскими, — описывалъ легавую суку, загнипнотизированную общественнымъ настроеніемъ, которая ро-

дила щенка съ пятномъ въ видѣ двухглаваго орла на брюхѣ, и въ заключеніе сообщилъ подъ величайшимъ секретомъ, что самъ Дюпюи склоняется къ православію.

Фельетоновъ было два. Жердябовъ помѣстилъ сильное опроверженіе богословскихъ лже-толкованій Льва Толстого съ эпиграфомъ: „Тако ли отвѣщаеши первосвященнику?“ Бутоновъ началъ прекрасную и оригинальную аллегорію: „Геркулесъ у распутія“. Подъ Геркулесомъ разумѣлась, конечно, Россія: одна дорога вела на востокъ, а другая на западъ; востокъ началъ заниматься, а на западѣ еще кой-гдѣ надъ разрушающимися каедралами и подъ дымящимися паровозами мерцали обманчивыя звѣзды. Съ запада подошелъ къ Геркулесу съ лъстивою улыбкою великій инквизиторъ, съ востока — черкешенка, дышавшая знойнымъ сладострастіемъ. Черкешенка манила Геркулеса на востокъ, говоря, что тамъ солнце. Инквизиторъ звалъ его въ Европу, увѣряя, что солнце, все равно, кончитъ тѣмъ, что сядетъ на западѣ. Геркулесъ долго стоялъ въ задумчивости, слушая эти лживыя рѣчи, и вдругъ, произнесъ: „Врете оба: ни на востокѣ, ни на западѣ солнца нѣтъ, и не будетъ. Пока что, пойду къ заутренѣ“. И вдругъ взошло солнце и озарило все... Я излагаю главную мысль г. Бутонова. Его аллегорія тянулась нѣсколько мѣсяцевъ и вышла потомъ отдѣльной занимательной книгой. Фельетонъ заключался прекраснымъ стихотвореніемъ:

Молитва Бутонова.

*Затеплю я свою лампаду,
Душой высокой воспарю:
Я не убью, я не украду,
Я не прелюбы сотворю.*

*И духомъ кроткій, полный міра,
Я подвигъ славы совершу;
Не сотворю себѣ кумира,
Чужіе храмы сокрушу.*

*Умертвлю жрецовъ Ваала,
Каменемъ перебью блудницъ!
Культуры западной начала
Падутъ при громъ колесницъ.*

*Взорву костелы динамитомъ,
На воздухъ кирки полетятъ,
На океанъ Ледовитомъ
Божницы чукчей затрещатъ.*

*Пусть ложной вѣры каведралы
Падутъ повержены во прахъ!
Пусть воютъ изны и шакалы
На запусьныхъ тѣхъ мѣстахъ.*

*А я приду съ любви елеемъ,
Пролю на ближнюю бальзамъ;
Мечтой смиренною лелѣемъ,
Я волю чистымъ дамъ слезамъ.*

*И помолюсь средь сонма духовъ
За православный весь народъ, —
За раствореніе воздуховъ
И за святѣйшій правительствующій синодъ*).*

Нужно ли говорить о впечатлѣніи перваго номера? Но это были только цвѣточки. Нѣкоторыя изъ ягодокъ ждали читателя на первой же недѣлѣ. Такою ягодой явилась прежде всего статья Трепачка „о недостаткѣ крѣпостного права“. Недостатокъ состоялъ не въ томъ, что крестьяне не имѣли свободы — это было величайшимъ благомъ и для нихъ и для всего государства. Недостатокъ былъ въ томъ, что свободны были „даровые полицеймейстеры“. Почтенный педагогъ возлагалъ всю надежду на земскихъ начальниковъ, указывая возможность исправить указанный имъ „недостатокъ“ путемъ развитія корпуса земскихъ начальниковъ и объединенія ихъ дѣятельности подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ одного шефа или „Всероссійскаго Земскаго Начальника“.

Нужно ли сказать, что статья Jupiter Stator не осталась незамѣченной? Либералы вопили въ страхъ и пытались вызвать на устахъ своихъ жалкое подобіе насмѣшки. Благомыслящія газеты, встрѣтившія холодно своего новаго собрата, въ теченіе нѣсколь-

*) Нѣкоторыя строфы изъ этого стихотворенія попали въ печать послѣ смерти В. С. Соловьева и были ошибочно приписаны ему; между тѣмъ въ дѣйствительности онѣ дѣйствительно принадлежать перу кн. С. Н. Трубецкаго.

въ картузѣ. Брюнетъ замѣтилъ, что вода — ничего, но картузъ не соглашался: „Вы мнѣ не говорите! До пятой рюмки я вамъ могу по вкусу опредѣлить номеръ и марку любой очищенной, а здѣшнюю воду только послѣ пятой рюмки пить можно!“ Сказавши это, знатокъ очищенной снялъ свой картузъ и надѣлъ другой съ краснымъ околышемъ, при чемъ, видимо, повеселѣлъ. „Это что же у васъ за фуражка? — спросилъ его брюнетъ, — какая форма?“ Знатокъ очищенной принялъ серьезное выраженіе. „Всякій русскій, перѣѣзжая границу Финляндіи, — сказалъ онъ, — поступаетъ обязательно на государственную службу. Это его долгъ, священный долгъ, по моему глубокому убѣжденію“.

Торжественный пассажиръ опустилъ „Вѣстникъ Европы“ и спросилъ:

— Позвольте васъ спросить, вы состоите на дѣйствительной службѣ?

— Ни на дѣйствительной, ни въ запасѣ, — съ самодовольствомъ отвѣтилъ знатокъ очищенной.

„Такъ съ какого права вы надѣваете форменную фуражку?“ опять спросилъ тотъ. Господинъ оживился: „Во-первыхъ, она не форменная, а во-вторыхъ, я здѣшняго правового порядка не признаю. Я русскій человекъ, господинъ профессоръ — извините: ваша личность мнѣ извѣстна, — въ здѣшнемъ краѣ я по-своему понимаю свои обязанности. Я Феркель — корреспондентъ, изъ Москвы; подписываюсь Поросятинъ, можетъ-быть, моя фамилія вамъ тоже не безызвѣстна. Во взглядахъ мы съ вами расходимся; но въ Финляндіи, полагаю, между всѣми русскими людьми должно быть единодушіе“.

„Все-таки, — замѣтилъ профессоръ, — ни здѣсь, ни въ Россіи вы не имѣете права носить фуражку съ околышемъ“. — „Въ Россіи — согласенъ; но здѣсь — почему нѣтъ? Что меня обязываетъ? Я здѣшней конституціи не присягалъ! А въ Россіи и здѣсь я — вѣрнопопданный моего Государя; но законовъ здѣшнихъ я не признаю; наши законы — сдѣлайте одолженіе; а здѣшній правовой порядокъ — никогда! И это, по-моему, обязанность, священная обязанность всякаго вѣрнопопданнаго“. — „Позвольте однако, — сказалъ профессоръ, — развѣ финны не вѣрнопопданные? Какое основаніе имѣете вы это утверждать?“

„Они? вѣрнопопданные они? Финны? Свиножаны эти? Сепаратисты? Да что вы! что вы! — Феркель захохоталъ. — Прежде всего, если бы они и захотѣли быть вѣрнопопданными, они не могутъ: я уже про конституцію не говорю. Они — лютеране, милостивый

О'Вши былъ на „ты“ съ Гладстономъ, а Иванъ Вредный былъ въ Софіи вторымъ послѣ Стамбулова и производилъ смотры болгарскимъ войскамъ. Добившись признательности общества и правящихъ сферъ, „Здравое Слово“ стало факторомъ не только русской, но и европейской политики и нравственно руководило всей нашей благомыслящей печатью...

(не окончено).

Ф е р к е л ь.

Въ концѣ августа я собрался къ знакомымъ на дачу близъ Выборга. Я сѣлъ въ вагонъ второго класса. Народу было много. Въ отдѣленіи, которое я занялъ, сидѣла уже одна дама съ двумя собачками и двумя дѣвочками, какая-то барышня, должно-быть, ихъ учительница, и довольно полный господинъ въ сѣромъ пальто и мягкой шляпѣ. Видъ у него былъ чрезвычайно торжественный, іератическій напыщенно важный. Барыня съ дѣвочками, собаками и гувернанткой заняли половину всѣхъ мѣстъ; напыщенно-торжественный пассажиръ, казалось, покушался занять все остальное. Я умѣстился противъ него; но передъ самымъ третьимъ звонкомъ къ намъ вошли еще два господина: одинъ — довольно смуглый брюнетъ съ умными, насмѣшливыми глазами и довольно рѣзко выраженнымъ еврейскимъ типомъ; другой — коротенькій, но крѣпкій господинъ въ картузѣ, съ толстымъ носомъ и толстыми усами. Отъ него пахло виномъ, но съ виду онъ былъ трезвъ и держался осанисто. „Кондукторъ! — крикнулъ онъ. — Что же это на вашей поганой чухонской дорогѣ мѣсть нѣтъ? Это наглость, наконецъ! Я заявлю!“

Дама пугливо взглянула на своихъ собачекъ. „Тутъ полагается восемь мѣстъ, а васъ шесть“, замѣтилъ кондукторъ. „Мы только до Теріюки, мы васъ не стѣснимъ“, сказала дама. „Не извольте беспокоиться, сударыня, — отвѣтилъ господинъ; — вы съ собаками, а мы собакъ не боимся. Хорошо дѣлаете, что собакъ берете, жалъ только — маленькія. Я собакъ люблю. А вотъ чухонцевъ не люблю! собаки лучше!“ Брюнетъ дернулъ его за рукавъ. Мы молчали. Торжественный пассажиръ читалъ „Вѣстникъ Европы“, я — „Новое Время“; дѣвочки глядѣли въ окно; суровый господинъ дремалъ. Въ Теріюкахъ всѣ вышли, дамы уѣхали, два господина закусили, и торжественный пассажиръ важно прогулялся по платформѣ. „Закуска у нихъ хоть куда, а водка — дрянь!“ сказалъ господинъ

въ картузѣ. Брюнетъ замѣтилъ, что водка — ничего, но картузъ не соглашался: „Вы мнѣ не говорите! До пятой рюмки я вамъ могу по вкусу опредѣлить номеръ и марку любой очищенной, а здѣшнюю водку только послѣ пятой рюмки пить можно!“ Сказавши это, знатокъ очищенной снялъ свой картузъ и надѣлъ другой съ краснымъ околышемъ, при чемъ, видимо, повеселѣлъ. „Это что же у васъ за фуражка?—спросилъ его брюнетъ,—какая форма?“ Знатокъ очищенной принялъ серьезное выраженіе. „Всякій русскій, переѣзжая границу Финляндіи, — сказалъ онъ, — поступаетъ обязательно на государственную службу. Это его долгъ, священный долгъ, по моему глубокому убѣжденію“.

Торжественный пассажиръ опустилъ „Вѣстникъ Европы“ и спросилъ:

— Позвольте васъ спросить, вы состоите на дѣйствительной службѣ?

— Ни на дѣйствительной, ни въ запасѣ, — съ самодовольствомъ отвѣтилъ знатокъ очищенной.

„Такъ съ какого права вы надѣваете форменную фуражку?“ опять спросилъ тотъ. Господинъ оживился: „Вопервыхъ, она не форменная, а во-вторыхъ, я здѣшняго правового порядка не признаю. Я русскій человекъ, господинъ профессоръ — извините: ваша личность мнѣ известна, — въ здѣшнемъ краѣ я по-своему понимаю свои обязанности. Я Феркель — корреспондентъ, изъ Москвы; подписываюсь Поросятинъ, можетъ-быть, моя фамилія вамъ тоже не безызвѣстна. Во взглядахъ мы съ вами расходимся; но въ Финляндіи, полагаю, между всѣми русскими людьми должно быть единодушіе“.

„Все-таки, — замѣтилъ профессоръ, — ни здѣсь, ни въ Россіи вы не имѣете права носить фуражку съ околышемъ“. — „Въ Россіи — согласенъ; но здѣсь — почему нѣтъ? Что меня обязываетъ? Я здѣшней конституціи не присягалъ! А въ Россіи и здѣсь я — вѣрнопопданный моего Государя; но законовъ здѣшнихъ я не признаю; наши законы — сдѣлайте одолженіе; а здѣшній правовой порядокъ — никогда! И это, по-моему, обязанность, священная обязанность всякаго вѣрнопопданнаго“. — „Позвольте однако, — сказалъ профессоръ, — развѣ финны не вѣрнопопданные? Какое основаніе имѣете вы это утверждать?“

„Они? вѣрнопопданные они? Финны? Свиноманы эти? Сепаратисты? Да что вы! что вы! — Феркель захохоталъ. — Прежде всего, если бы они и захотѣли быть вѣрнопопданными, они не могутъ: я уже про конституцію не говорю. Они — лютеране, милостивый

государь, и этого довольно!“ — „Но почему же лютеране не могут быть вѣрноподданными?“ — „Не говорите мнѣ про лютеранство! — горячился Феркель. — Я знаю лютеранство, я самъ былъ лютераниномъ, милостивый государь! И я понялъ, что лютеранство отдѣляетъ меня отъ престола и отечества! Я сталъ православнымъ потому, что я вѣрноподданный. Пусть они докажутъ! Попробуйте предложить! Я предлагалъ, я писалъ, кровью моей писалъ — и ничего! Безъ успѣха! Нѣтъ, если они хотятъ доказать на дѣлѣ свою вѣрноподданность, пусть прежде сравняютъ свои крѣпки съ землею, пусть миссіонеровъ къ себѣ зовутъ во вретѣищѣ и пеплѣ, милостивый государь, во вретѣищѣ!“ — „Да кто же этого отъ нихъ требуетъ?“ — „Я требую, милостивый государь, а я требую по опыту и знаю, чтѣ говорю! Русская душа требуетъ! Православіе требуетъ! Вы вѣрите ихъ словамъ? Нѣтъ! Пусть подерутъ свою гнусную конституцію, да ходатайствуютъ о томъ, чтобы имъ отъ насъ не земство, отвратное, дали, а земскихъ начальниковъ изъ коренныхъ, энергичныхъ дворянъ — и военныхъ, чтобы подчинять ихъ, скотовъ, русской березовой кашей и научить ихъ быть вѣрными подданными. Вотъ — Вайнштайнъ (онъ указалъ на бріонета) вѣрноподданный! Рекомендую! Вашъ бывший слушатель и ученикъ. Евреемъ былъ! По дѣлу шестисотъ-шестидесяти-шести судился! А почитайте-ка его статьи! Самого Грингмута и Месароша за поясъ заткнулъ!“

„Вы — Вайнштайнъ! Вы, которому я предлагалъ остаться при университетѣ?“ спросилъ торжественный профессоръ. „Я — самый!“ отвѣтилъ тотъ безъ всякаго смущенія, съ тонкой улыбкой.

„Онъ самый! — подтвердилъ Феркель, — вотъ это патріотъ! это — русскій! Насъ упрекаютъ въ нетерпимости, въ націонализмѣ; а мы всякой обратившейся овцѣ радуемся больше, чѣмъ цѣлому стаду незаблудшихъ барановъ! Поглядите, кто теперь во главѣ русскаго движенія — Феркели, Вайнштайны, Грингмуты, Месароши! Мы дѣлаемъ русское дѣло, а русскіе по крови потворствуютъ этимъ чухонцамъ и препятствія кладутъ намъ на пути. Вотъ-съ!“

„Какія же препятствія?“ полюбопытствовалъ профессоръ. „Какъ какія? А вы спрашиваете меня, по какому праву я позволяю себѣ форменную фуражку здѣсь надѣвать и плевать на здѣшній правовой порядокъ. Вамъ, можетъ-быть, у насъ, въ Россіи, въ земствѣ правовой порядокъ завести хочется, да нѣтъ, пѣсенка спѣта! Только не такъ надо дѣйствовать. Вотъ-съ! У меня планъ дѣйствій есть. Только... Муравьева надо бы воскресить! Завоевать Финляндію! завоевать этотъ край, чтобы насадить въ немъ русскія начала.

Они говорятъ — культура! Какая культура? Гнилая, западная! Ее давить и искоренять надо, а они хвастаются!“

Тутъ Феркель вынулъ изъ бокового кармана фляжку, выпилъ стаканчикъ и продолжалъ: „Извините, не могу здѣшной водки пить, какъ хотите! Знаете ли, что такое Финляндія? Вотъ вы профессоръ, а не знаете. А я знаю и могу доказать! Это *исконный русский край*! Погодите: Месарошъ и Вайнштайнъ вамъ докажутъ! Благовѣрные князья Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ откуда были? Не помните? Изъ Скандинавіи! Мы наслѣдники — норвежскіе-съ! Вотъ мы кто! А Финляндія — что такое Финляндія? При Александрѣ Невскомъ покорена русскими дружинами! Да чего вы смѣтаетесь? Да что Финляндія? Ермакъ Тимофеевичъ Шпицбергенъ взялъ вмѣстѣ съ Сибирью; Шпицбергенемъ билъ государю Ивану Васильевичу! Вайнштайнъ вамъ докажетъ!“

— Что вы? что вы? — съ ужасомъ вскричалъ Вайнштайнъ.

— Забыли? отрекаетесь?

— Да никогда я этого не говорилъ!

— Стало-быть, Месарошъ доказалъ! Въ наукахъ доказано...

— Да никогда и Месарошъ этого не доказывалъ!

— Ну, Богъ съ нимъ, со Шпицбергенемъ, — продолжалъ Феркель, — довольно съ насъ и Скандинавіи! Плевать на Шпицбергенъ! А только все-таки и Шпицбергенъ нашъ. Всегда такъ! Ермакъ взялъ, казаки кровь проливали, а мы отступаемся, пускай англичане берутъ! Боварный Альбионъ — тотъ, небось, не отступится!

Тутъ Феркель пустился въ пространное изложеніе своего „плана дѣйствія“. Это былъ безумный, пьяный бредъ: Финляндія въ осажденномъ положеніи, висѣлицы, церковноприходскія школы, земскіе начальники, бомбардированіе Гельсингфорса изъ Свеаборга — рисовалось его воображенію. Онъ мечталъ о переименованіи Гельсингфорса въ Новую Болывань, о раздачѣ финскихъ земель разореннымъ помещикамъ центральныхъ губерній съ цѣлью разрѣшенія дворянскаго вопроса и предрекалъ, что черезъ тридцать лѣтъ ему поставятъ памятникъ въ Гельсингфорсѣ: „генералу Поросятину, благодарная Россія“. „И вѣдь не понимаютъ чухонцы своей пользы, — заключилъ онъ растроганнымъ голосомъ. — Для нихъ же дѣйствуемъ. Культурой хвастаются! Какая культура? Западная! На сѣверѣ, говорятъ, культуру завели, въ гиперборейской странѣ! Нашли чѣмъ хвастаться, куда свою пакость занесли! Мы имъ покажемъ культуру, гиперборейцамъ!“

Мы подѣхали къ станціи. Феркель вышелъ закусить и вернулся,

ругая отвратительную чухонскую водку. Онъ сильно запьянѣлъ; но, по счастью, затихъ и уснулъ. Мы молчали. „Васъ, кажется, утомилъ мой коллега?“ спросилъ съ улыбкой Вайнштайнъ у профессора.

„Вы знаете, — отвѣчалъ тотъ, все это настолько омерзительно, что вы лучше со мной объ этомъ не говорите. Богъ съ нимъ! Но вы, вы были радикаломъ въ университетѣ. Я вамъ доказывалъ все безсмысліе вашего радикализма, и теперь вы — сподвижникъ Феркеля и Месароша! Я не зналъ вашего нравственнаго характера, но я считалъ васъ умнѣе. Какой расчетъ вамъ позорить себя въ такой компаніи? Неужели вы можете надѣяться хотя бы на вѣншній успѣхъ? Неужели вы думаете, что вамъ сойдетъ гнусное надругательство надъ мирнымъ, почтеннымъ, трудолюбивымъ народомъ, дѣйствительно и непоколебимо вѣрнымъ престолу? Неужели вы допускаете мысль, чтобы права Финляндіи, засвидѣтельствованныя присягою, освященные преданіемъ нѣсколькихъ царствованій, могли быть нарушены теперь, въ царствованіе Монарха, только что возвѣстившаго миръ всѣмъ народамъ? Кому нужна ваша агитація? Кто можетъ желать внести горе, разгромъ и смуту въ цвѣтущую страну, достигшую подъ сѣнью Россіи образцоваго порядка и высокой культуры во всѣхъ сферахъ народной жизни? Кому мѣшаетъ Финляндія, съ ея гранитными скалами, съ ея убогой природой, ея скромнымъ, но стойкимъ энергичнымъ племенемъ, ея своеобразнымъ строемъ?“

Профессоръ долго говорилъ на эту тему, — говорилъ складно, убѣжденно, хоть и нѣсколько докторально. Онъ доказывалъ, что Россія должна гордиться Финляндіей передъ другими народами; что въ ней — живое доказательство великодушія Россіи: разъ подъ ея сѣнью процвѣтаетъ государство, столь отличное отъ нея и вмѣстѣ столь тѣсно съ нею связанное, то это должно служить всѣмъ народамъ явнымъ доказательствомъ ея миролюбія, ея уваженія къ чужой національности. — Чего же вы хотите, наконецъ, — закончилъ онъ, — усобицы въ цѣлой странѣ, въ непосредственной близости со столицей? Вы хотите вызвать опасное революціонное броженіе и, можетъ-быть, серіозныя международныя осложненія?

Вайнштайнъ улыбался. „Г.-нъ профессоръ, — сказалъ онъ, — помните вы обзывали меня анархистомъ?... Кто вамъ сказалъ, что я измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ?“

— Да какъ же... вѣдь вы приняли православіе, вы — руссификаторъ.

— Да. Ну, такъ что жъ?

— Вы...

— По окончаніи университета, я имѣлъ случай убѣдиться въ справедливости вашихъ словъ. Наши революціонеры — сущіе дѣти или идіоты, и я краснѣю отъ воспоминанія, что я могъ одно время придавать имъ серіозное значеніе. Они могутъ только писать дурацкія прокламаціи, сбивать съ толку младенцевъ да пугать воронъ. Повѣрьте, ихъ скоро будутъ у насъ охранять и разводить, какъ зубровъ въ Бѣловѣжской пущѣ, по соображеніямъ высшей политики. Я это понялъ... скажите: развѣ я ренегатъ?

— Да! Но ваше обращеніе!

— Какое обращеніе? Развѣ я былъ вѣрующимъ евреемъ? Полноте!

— Ну, а теперешняя ваша дѣятельность?

— Моя дѣятельность! скажите на милость; убѣдившись въ полной несостоятельности, въ убожествѣ нашихъ революціонеровъ, я долженъ былъ, по-вашему, вступить въ ваши ряды, въ ряды умѣренныхъ либераловъ? Вотъ это было бы ренегатство!... Въ ваши ряды! Да что вы такое? Простите, г. профессоръ, при всемъ моемъ личномъ къ вамъ уваженіи я позволю себѣ вамъ замѣтить, что я предпочитаю завоеванія реакціонеровъ буржуазнымъ идеаламъ вашихъ единомышленниковъ! Такихъ либераловъ, какъ вы, надо держать при всякомъ участіи чтобъ урезонивать глупую, безчинствующую молодежь и вопить при малѣйшемъ нарушеніи закона, тишины, порядка и нравственности. Околышъ на фуражкѣ Ферреля вызываетъ вашъ протестъ и негодованіе; наша дѣятельность является вамъ — „опасной“, „антигосударственной“, „разрушительной“. И вы думаете, что служите обществу вашими публичными лекціями и что та фи́га, которую вы показываете намъ въ карманѣ, можетъ руководить общественнымъ движеніемъ! Да это ребячество! Общество спитъ, и его надо разбудить, а вы ему только пятки чешете вашими статьями да лекціями.

— Позвольте, — сказалъ профессоръ, — идеалы правды и добра, законности и общественного блага, — словомъ, всѣ этическія начала...

— Единственный принципъ этики, который я считалъ достойнымъ, — прервалъ Вайнштайнъ, — есть тотъ, что цѣль оправдываетъ средства. На Кантъ далеко не уѣдешь, г. профессоръ! Вы сами насъ этому учили.

— Когда я васъ этому училъ? какія у васъ цѣли? какія средства?

— Цѣль — общественное благо, которое я понимаю и болѣе опредѣленнымъ, и болѣе радикальнымъ образомъ, чѣмъ вы. Я не настолько глупъ, чтобы думать достигъ чего-нибудь бомбами анархистовъ, какъ я мечталъ на первомъ курсѣ. Есть средства болѣе сложные, но и болѣе вѣрныя и дѣйствительныя...

— Феркелл?

— Да, и Феркелли, Грингмуты, Месароши и прочіе, имя же имъ легионъ. Феркель тоже полезенъ. Онъ пьянъ, но вовсе не такъ глупъ, какъ вы думаете. Онъ поросенокъ, но бѣсноватый поросенокъ. Изъ него выйдетъ нѣчто, а изъ вашихъ лекцій ничего не выйдетъ — въ общественномъ смыслѣ, разумѣется. Науку я оставляю въ сторонѣ, хотя думаю, что и науку не лекція двигаютъ.

— Такъ вы думаете, что эта дикая, нелѣпая агитація къ чему-нибудь приведетъ? Вы сознательно сѣете смуту и думаете, что кромѣ Феркелей за вами пойдетъ кто-нибудь?

Вайнштайнъ снисходительно улыбнулся.

— Повѣрьте, г. профессоръ, что ни Феркель, ни его присные не пошли бы за мною, если бы они могли остаться одинокими. Эти господа, разумѣется, не спрашиваютъ себя о тѣхъ конечныхъ результатахъ, къ которымъ приведетъ ихъ дѣятельность и которые интересуютъ насъ съ вами. Для нихъ это совершенно безразлично; но они не настолько наивны, чтобы плясать подъ мою дудку, подъ *нашу* дудку, не рассчитывая взять пользы за свои труды. Они не играютъ въ темную. Это ташкентцы, прохвосты, аферисты — все, что хотите, но только аферисты неглупые. Такихъ намъ и нужно. А что касается до меня, то вольно вамъ, съ вашей буржуазной точки зрѣнія, считать мою дѣятельность разрушительной, я смотрю на это иначе.

— Вы не станете однако говорить мнѣ, что вы затѣяли этотъ заговоръ, это движеніе?

— Какой заговоръ? какое движеніе? Выражайтесь осторожнѣе, г. профессоръ. Помните, что мы патріоты! Вы плохо знакомы съ психологіей нашего патріотизма. Нѣкогда, въ дни отрочества, я думалъ съ нимъ бороться; я понялъ, что это напрасно: патріотизмъ нужно канализировать, — и я примкнулъ къ движенію; думаю, что не оно меня ведетъ, куда хочетъ, а я его веду.

— Это интересно. Однако какіе же у васъ планы?

— Ну, всѣхъ картъ я вамъ раскрывать не буду! Въ ближайшемъ они не особенно далеки отъ тѣхъ, что развивалъ вамъ Феркель. И вы не думайте, что это утопія. Повторяю, вы плохой психологъ; всю жизнь протестовали противъ глупости людской и не измѣрили всю глубину этой глупости. Смѣялись надъ помпадурствомъ и не знали, что такое помпадурство. Нѣтъ, право, у меня есть средства... если бы вы знали только!.. знаете ли что: примкните къ намъ; вотъ эффектъ былъ бы! Вы принесли бы громадную пользу, вы посту-

пили бы какъ истинный общественный дѣятель. Патріотизмомъ — такъ патріотизмомъ! Г. профессоръ, станьте патріотомъ! Прекрасный патріотъ изъ васъ вышелъ бы! Хотите, я васъ здѣсь куда-нибудь въ старосты церковные запишу?

— Есть всему граница, г. Вайнштайнъ, — строго замѣтилъ профессоръ. — Я слушаю съ интересомъ ваши разсужденія, но прошу васъ не забывать разницу между мною и вашими новыми союзниками.

Вайнштайнъ нисколько не обидѣлся. „Кого вы считаете моими союзниками? — спросилъ онъ. — Вы, пожалуйста, не думайте, что всѣ такіе какъ этотъ. Помните только пословицу: *quos Jupiter perdere vult...*¹⁾. Есть, конечно, прохвосты, какъ и всюду, есть наемные крикуны и наемныя плакальщицы патріотизма; есть озорники, принимающіе озорство за патріотизмъ, есть помпадуры, и притомъ очень приличные помпадуры, а главное, — масса утробныхъ патріотовъ, убѣжденныхъ и фанатиковъ. Мало у насъ просвѣщенныхъ патріотовъ. Ихъ много и не слѣдуетъ держать, но все же нужно. Оно, положимъ, для нашихъ помпадуровъ и какой-нибудь Грингмутъ за просвѣщеннаго патріота сойдетъ; но все-таки они чувствуютъ, что этого недостаточно: ужъ больно не умѣетъ онъ сохранить оттънокъ благородства: за три версты отъ газеты его специфическій запахъ гоголевскаго Петрушки слышенъ. Оно бы и ничего, да только въ мѣру; а то теперь даже хамы, которые поумнѣе, и тѣ начинаютъ сторониться. Ахъ! г. профессоръ, пуженъ намъ просвѣщенный патріотъ. А впрочемъ, какъ хотите; я не настаиваю. Читайте ваши лекціи, пока мы васъ не стряхнемъ, ибо я не скрываю отъ васъ, что ваши опасенія, можетъ-быть, и справедливы... *Fata volentem ducunt, nolentem trahunt*“²⁾.

Мы подъѣзжали къ Выборгу.

— Знаете ли, — сказалъ профессоръ, — я вамъ скажу, что вы чересчуръ смѣлы и довѣрчивы, высказывая такъ ваши планы и мысли. Я не могу быть вашимъ сообщникомъ, и въ сочувствіи вашихъ слушателей вы не можете быть увѣрены...

Вайнштайнъ взглянулъ на меня. „Что же, доносите, г. профессоръ, — сказалъ онъ и разсмѣялся, — васъ и на это не хватитъ! Хотите, я передамъ весь нашъ разговоръ его превосходительству князю Х., моему крестному отцу, и скажу ему, что приглашалъ

¹⁾ Юпитеръ сначала наводитъ безуміе на тѣхъ, кого онъ желаетъ погубить.

²⁾ Судьба добровольно подчиняющагося ведетъ, а сопротивляющагося влечетъ насильственно.

васъ примкнуть къ нашему предпріятію? Я поручу ему узнать вашъ отвѣтъ, вы его знаете. Это доставитъ ему удовольствіе.

— Такъ князь Х. вашъ единомышленникъ?

— Что вы подъ этимъ разумѣете? Князю нѣтъ дѣла до моихъ помысловъ, ни мнѣ — до его помысловъ. У него — свои цѣли, у меня — свои; я ему нуженъ, а онъ — мнѣ; а въ средствахъ, въ ближайшихъ планахъ мы сходимся... Если въ чемъ могу быть вамъ полезенъ, очень радъ. Феркель, вставайте! подъѣзжаемъ! Добраго здоровья, г. профессоръ! Такъ не хотите? Жаль! Поработали бы! Ну, всего хорошаго! честь имѣю кланяться!

Лѣто 1895 г. Ронгасъ. Финляндія.

Впервые печаталось въ „Московскомъ Еженедѣльникѣ“ (въ 1906 году).

О современномъ положеніи русской церкви¹⁾.

Для всякаго вѣрующаго русскаго человѣка современное состояніе православной церкви въ нашемъ отечествѣ представляетъ тяжелое и безотрадное зрѣлище. Безвѣріе и равнодушіе въ просвѣщенныхъ слояхъ общества; расколъ и сектантство, разѣдающіе народъ; пониженное состояніе духовенства; казенное лицемѣріе вмѣсто живой нравственной силы, насиліе вмѣсто проповѣди, полиція вмѣсто христіанскаго апостольскаго слова убѣжденія.

Для всякаго искренняго православнаго христіанина ставится во всей своей силѣ вопросъ: какъ относиться ему къ тому, что дѣлается вокругъ него? Что онъ долженъ дѣлать? Въ какой мѣрѣ самое зло велико?

Мы не должны его преувеличивать. Если мы вѣримъ въ божественную истину церкви, то мы должны вѣрить, что „врата ада“ ея не одолѣютъ. Но, съ другой стороны, и именно при свѣтѣ этой вѣры мы должны безъ всякихъ иллюзій отдать себѣ добросовѣстный отчетъ въ дѣйствительности. Опасность существуетъ не для истины, а для насъ. Неужели же Русь потеряетъ свою духовную твердыню, свою вѣру и перестанетъ быть православною? Мы такъ спокойно увѣрены въ томъ, что православіе есть наше вѣчное и неотъемлемое достояніе, какъ если бы оно составляло недвижимую и неотчуждаемую собственность нашего народа. Но вѣра не есть недвижимая собственность, и православіе не майоратъ. Тотъ, кто

¹⁾ Эта статья представляетъ собою отрывокъ изъ неоконченной работы.

знаеть его живую силу и правду, тотъ, кто вѣрить въ него, долженъ испытывать себя въ своемъ, къ нему, отношеніи. Вѣрны ли мы церкви? Образованное, русское общество частью ушло, частью уходитъ изъ церкви. Наши предки жили церковною жизнью, а наша жизнь ничего церковнаго въ себѣ не имѣетъ. Мы не касаемся здѣсь вопроса о томъ, можемъ ли мы жить такъ, какъ жили наши предки, и должны ли мы къ тому стремиться по извѣстному рецепту славянофиловъ. Мы только констатируемъ фактъ, и стоимъ мысленно воскресить бытъ нашихъ предковъ, чтобы убѣдиться въ безспорной истинности только что высказаннаго положенія. Средоточіемъ религіозной жизни нашихъ предковъ было православное богослуженіе; православный обрядъ проникалъ *всю* ихъ жизнь, глубоко и властно дисциплинировалъ ее, служилъ источникомъ и выраженіемъ религіозныхъ идей, въ которыхъ наши предки рождались и умирали. Умалять великое социальное и воспитательное значеніе обряда можетъ только легкомысліе. Его общественное значеніе и сила неизмѣримы: онъ соединялъ миллионы людей въ одной мысли, одномъ чувствѣ, одномъ образѣ, въ одномъ религіозномъ дѣйствіи. Обрядъ будилъ сознаніе высшаго собирательнаго, мистическаго единства, того сознанія, которое выражается въ дивномъ тѣсноплѣніи: „Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служатъ“. Онъ служилъ реальною связью живыхъ поколѣній съ поколѣніями отжившими, которыхъ обнималъ въ себѣ его древній храмъ. Обрядъ былъ высшей поэзіей, высшимъ искусствомъ, высшей философій нашихъ предковъ, и въ его образахъ и дѣйствіяхъ воплощалась для нихъ вся полнота христіанскаго православнаго ученія церкви. Догматическое развитіе этого ученія закончилось давно, въ эпоху вселенскихъ соборовъ. Православная церковь покончила съ умозрительнымъ богословіемъ; ея задачей было хранить догматъ и сдѣлать его общимъ достояніемъ, ввести его въ жизнь путемъ своихъ богослужебныхъ дѣйствій. Ея задачей было воспитать новые народы въ вѣрѣ Христовой, запечатлѣть эту вѣру въ ихъ сердцахъ, освятить ихъ ею; а ея богослуженіе было вмѣстѣ проповѣдью, молитвой, таинствомъ: оно было нагляднымъ вѣроученіемъ и правоученіемъ. И весь народъ, какъ одинъ человекъ читалъ церковь, какъ храмъ Божій, и правилъ ея обрядъ, сознавая тѣсную, органическую связь между этимъ обрядомъ ученіемъ и таинствами, въ немъ выражавшимися. Естественно, онъ не всегда могъ отчетливо сознавать различіе между тѣмъ и другимъ, между формою и содержаніемъ. Отрицательною стороною этого обрядоваго христіанства является ритуализмъ, пагубныя послѣдствія котораго

сказались въ расколѣ. Тѣмъ не менѣе и вся исторія этого раскола не только не умаляетъ значеніе обряда, но, наоборотъ, показываетъ всю степень его значенія — для раскольниковъ и православныхъ, одинаково засвидѣтельствовавшихъ свою ревность къ чистотѣ, къ православію обряда, какъ ни превратно понималась многими эта чистота и это православіе.

Въ наше время скорбятъ о „неразумной ревности“ спорившихъ или глумятся надъ нею; но только немногіе отдають себѣ отчетъ въ великомъ историческомъ значеніи этого церковнаго спора. Расколосъ единство православнаго русскаго народа въ его богослуженіи, въ его благочестіи. Расколосъ единство обряда, составлявшаго связующее звено религіозной жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ самый обрядъ утратилъ прежнюю силу и значеніе.

Замѣчательное дѣло! Старообрядцы, повидимому, всего болѣе дорожившіе старымъ обрядомъ, положили начало религіозному дробленію; расколъ породилъ сектантство. Съ другой стороны, въ церкви, которая исправила, очистила обрядъ и соблюла въ себѣ его единство, онъ, несомнѣнно, утратилъ прежнюю дисциплинирующую религіозную силу. Въ самомъ дѣлѣ! Въ древности обрядъ начинался въ церкви, но не кончался въ ней и обнималъ весь строй домашней и общественной жизни, проводя въ ней религіозное начало. Представимъ себѣ благочестиваго царя Алексѣя Михайловича въ современной русской обстановкѣ. Представимъ себѣ, что онъ ходитъ по церквамъ нашимъ и еще болѣе по нашимъ домамъ и видитъ, чѣмъ стали для насъ теперь церкви, вѣра, обрядъ — все православіе, какъ онъ его понималъ. Сочтеть ли онъ православнымъ современное русское общество? Сомнѣнія быть не можетъ: православія въ домашнемъ быту онъ найдетъ очень немного, а въ быту общественномъ — не найдетъ его вовсе. Мы разумѣемъ здѣсь не тѣхъ русскихъ людей, которые совершенно отшатнулись отъ церкви, а тѣхъ, которые считаютъ себя вѣрующими, ходятъ въ церковь къ достойной по праздникамъ и говѣютъ на Страстной недѣлѣ. Мы разумѣемъ здѣсь не отдѣльные явленія частной и общественной жизни, а всю современную русскую жизнь, сложившуюся въ новыя европейскія формы, чуждыя прежняго религіознаго уклада. Приглядываясь къ ней, царь Алексѣй Михайловичъ замѣтилъ бы безъ труда, что церковь не занимаетъ въ ней даже того мѣста, какое начинаетъ занимать въ ней духовенство, бюрократія и полиція духовнаго вѣдомства.

Но развѣ здѣсь, скажутъ намъ, надо искать истиннаго православія? Оно не въ интеллигенціи, оторванной отъ родной почвы,

оно не въ лицѣбрахъ, попирающихъ заповѣди Христа, и не въ тѣхъ русскихъ людяхъ, которые удѣляютъ православію двѣ минуты по буднямъ и полчаса по воскресеньямъ. Оплоть православія въ простомъ русскомъ народѣ, въ этомъ великомъ, безпредѣльномъ морѣ, въ глубинѣ котораго таятся жемчужина вѣры. Онъ наполняетъ храмы и строятъ ихъ; онъ, несущій всю тягость государственныхъ повинностей, несетъ за всю Россію и повинность духовную. Онъ не только кормитъ Россію, но и молится за нее. Онъ сохранилъ православный укладъ древней русской жизни.

Мы всего менѣе думаемъ отрицать великія духовныя силы нашего народа. Но имѣемъ ли мы основаніе превозноситься ими и утѣшать себя мыслью о непоколебимомъ православіи нашего крестьянства? Можемъ ли мы успокоивать себя тѣмъ, что народъ будетъ всегда на насъ работать и за насъ молиться? Мы видимъ, что народъ обнищалъ, земля истощилась, и хроническій неурожай вызываетъ голодъ цѣлыхъ областей. Правительству и обществу приходится кормить народъ. И мы видимъ, въ то же время, въ нашемъ народѣ проявленія великаго духовнаго голода, который все болѣе и болѣе обостряется.

Духовная оторванность интеллигенціи отъ народа есть явленіе глубоко ненормальное и болѣзненное, — болѣзненное и ненормальное не только по отношенію къ самой интеллигенціи, но и по отношенію ко всему народному тѣлу, въ которомъ теряется связь между мыслящею частью и прочими органами. Движенія такого тѣла могутъ опредѣляться, очевидно, не разумомъ, не мыслью, а инстинктами и рефлексамъ. Мы не можемъ признать нормальнымъ такое состояніе, при которомъ просвѣщеніе парализуетъ просвѣщенныхъ или дѣлаетъ ихъ бесполезными для того народа, который нуждается въ ихъ производительномъ трудѣ для своего преуспѣянія.

Но мы оставимъ здѣсь этотъ общій вопросъ, возбуждающій столько споровъ, и вернемся къ тому спеціальному вопросу, который насъ занимаетъ. Что сказать о религіозномъ состояніи народа, въ которомъ просвѣщенные, высшіе классы утратили прежній религіозный складъ жизни и въ значительной мѣрѣ отшатнулись отъ церкви? Что сказалъ бы тотъ же царь Алексѣй Михайловичъ, если бы ему сообщили, что истинное православіе, внѣ монастырскихъ стѣнъ, хранится лишь въ средѣ крестьянства и что оно утратилось въ средѣ бояръ, дворянъ, именитаго столичнаго купечества, среди приказныхъ и даже среди многочисленныхъ представителей мѣщанства? Въ его время оплотомъ церкви были лучшіе люди государства, а не темная

масса деревенскаго люда, въ которой хранилось и хранится еще столько языческаго двоевѣрія и въ которой расколъ вскорѣ пустилъ столь глубокіе корни. Для него не могло бы быть сомнѣнія въ томъ, что не крестьянство, не мужики ведутъ за собою высшіе классы общества, что не они даютъ имъ свой обрядъ, обычай и міросозерцаніе, а наоборотъ, должны постепенно образовываться высшими классами.

Но, и независимо отъ этихъ соображеній не измѣнится ли духовный строй нашего народа у насъ на глазахъ? Со всѣхъ сторонъ слышатся жалобы на дезорганизацію крестьянства, на распаденіе быта и преданій старины, на охлажденіе народа къ церкви. Громадныя области Россіи, на югѣ напимѣръ, колонизированныя недавно, покрылись населеніемъ, представляющимъ новыя бытовые особенности, среди котораго цѣлыя поколѣнія выросли безъ церкви и ушли въ штунду и другія секты. Затѣмъ явилась фабрика, столь глубоко измѣнившая прежній строй, явилась вся совокупность условій новой культуры, противъ дѣйствія которой не могло устоять даже старообрядчество, нѣкогда столь упорное въ своемъ консерватизмѣ. Теперь и оно разлагается, и сыновья и внуки прежнихъ ревнителей старой вѣры постепенно переходятъ къ новымъ формамъ быта, чуждымъ всякой религіозности.

Но этого мало. Упомянувъ о разложеніи стараго раскола, который держится лишь собственнымъ невѣжествомъ и коснѣніемъ и духовною немощью своихъ противниковъ, мы не можемъ не указать на новыя сектантскія движенія, распространяющіяся въ народѣ съ такою силой и заразительностью религіознаго одушевленія и принимающія характеръ борьбы и протеста противъ обряда и противъ церкви, какъ обрядоваго института. Въ культурномъ обществѣ мы находимъ не болѣе, какъ равнодушіе къ обряду, нерѣдко пренебреженіе и глумленіе, но за самыми рѣдкими исключеніями, не видимъ религіознаго протеста противъ него. Какъ бы мы ни судили о новѣйшемъ сектантствѣ, оно, несомнѣнно, указываетъ новыя черты народнаго характера, которыхъ нельзя было подозрѣвать лѣтъ сорокъ тому назадъ: протестантизмъ не замеръ у границъ Россіи. Мы можемъ вѣрить, что истина церкви побѣдитъ заблужденія сектантства; но во всякомъ случаѣ мы не должны убаюкивать себя мыслью о непоколебимомъ православіи нашего народа вопреки тѣмъ дурнымъ примѣрамъ, какіе мы сами ему даемъ. Народъ, болѣе насъ консервативный, заходитъ однако въ случаяхъ отрицанія несравненно далѣе насъ: онъ не ограничивается равнодушіемъ, а протестуетъ и отвергаетъ.

Итакъ, православна ли попрежнему Россія?..

Насъ упрекнуть въ томъ, что мы преувеличиваемъ значеніе обряда. Но мыслящему православному русскому человѣку трудно преувеличивать его значеніе. Мы видѣли, что онъ былъ живою формой, связующею нитью нашей церковной жизни. И если лишить обрядъ его прежняго значенія въ жизни вѣрующихъ, въ бытѣ нашемъ, то спрашивается: чѣмъ его замѣнить? Ибо надо же, чтобы церковная жизнь имѣла какое-нибудь выраженіе, какую-нибудь форму. Разъ это больше не обрядъ, такъ что же замѣнило его въ этомъ качествѣ? Но оставимъ этотъ вопросъ или, вѣрнѣе, поставимъ его въ болѣе общей формѣ: что нужно для того, чтобы вновь возродить религіозную и церковную жизнь нашего общества? Какъ исцѣлить его отъ того тяжкаго духовнаго недуга, которымъ оно страдаетъ? Этотъ недугъ признается всѣми официальными представителями церкви и всѣми вѣрующими русскими людьми, хотя не всѣ отдаютъ себѣ отчетъ въ его глубинѣ. Для излѣченія его предлагались и предлагаются различныя средства, болѣе или менѣе рѣшительныя — возвращеніе къ допетровскому строю жизни, реформа современнаго строя церкви, соединеніе церквей, клерикализмъ и, наконецъ, безусловное признаніе принципа свободы совѣсти, религіозной свободы. Всѣ эти предложенія имѣютъ свои основанія, которыя мы и рассмотримъ въ общихъ чертахъ.

Мы начинаемъ съ наиболѣе стараго рецепта — съ рецепта славянофиловъ. Мы могли бы и вовсе умолчать о немъ, поскольку въ наше время славянофильство есть лишь *quantité négligeable*, общественное значеніе которой равно нулю. Но, съ другой стороны, именно это обстоятельство позволяетъ намъ отнестись къ нему вполне объективно, какъ къ первой попыткѣ нашего общественнаго самосознанія въ области церковнаго вопроса. И вмѣстѣ съ тѣмъ оно останавливаетъ наше вниманіе, поскольку въ славянофильствѣ заключались въ зародышѣ и тѣ формулы, которыя предлагались впослѣдствіи. Недостатокъ славянофильскаго рецепта состоялъ именно въ томъ, что онъ, подобно плохимъ медицинскимъ рецептамъ стараго времени, заключалъ въ себѣ слишкомъ много средствъ и притомъ противоположнаго свойства, при чемъ нѣкоторые изъ этихъ средствъ были фантастическія. Къ числу такихъ средствъ, напоминающихъ „эликсиръ молодости“, принадлежитъ рекомендуемое прежде всего пресловутое „возвращеніе къ допетровскимъ порядкамъ“ или, точнѣе, къ міросозерцанію и строю жизни допетровской Руси. Въ настоящее время едва ли найдутся здравомыслящіе

люди, которые вѣрили бы въ осуществимость этой романтической мечты, хотя бы въ томъ скромномъ объемѣ, въ какомъ она представлялась осуществимой наиболѣе трезвымъ славянофиламъ. Но есть еще люди, — правда, немногіе, — которые считаютъ возможнымъ допустить возвращеніе къ старинѣ въ одной религіозной сферѣ, считая прошлое безвозвратнымъ во всѣхъ другихъ областяхъ жизни. Эти люди однако показываютъ сами, какъ далеки они отъ этого прошлаго, которое не отдѣляло религіи въ обособленную сферу жизни, но полагало ее въ основу своего быта. Въ этомъ смыслѣ намъ кажется, что и въ религіозной сферѣ нельзя вернуться къ старому строю жизни, не измѣнивъ всѣхъ условій современного быта культуры и нравовъ. Но, независимо отъ того, въ какой мѣрѣ возможна религіозная реставрація Московской Руси, можно спросить, въ какой мѣрѣ она желательна. Мы только что указали на великое и положительное значеніе древняго обряда, составлявшаго связующее звено церковной жизни и всего древнерусскаго быта; онъ держался обрядомъ, освящался черезъ него. Но какъ ни велико и положительно значеніе этого обряда, прежде и даже нынѣ, желательно ли возвращеніе къ быту, который только имъ и держался? Желательно ли возвращеніе къ ритуализму, для котораго христіанство не только не было мыслимо внѣ опредѣленныхъ обрядовыхъ формъ, но нерѣдко смѣшивалось съ обрядомъ или даже заглушалось имъ? Вѣдь уже одна исторія раскола, взятая въ своемъ цѣломъ, можетъ заставить насъ задуматься; а еще болѣе долженъ останавливать насъ взглядъ на современное религіозное состояніе русскаго общества въ его отчужденіи отъ церкви. Славянофилы искали причину такого отчужденія въ петровской реформѣ, или, если называть вещи ихъ именами, въ просвѣщеніи. Но мы идемъ далѣе и полагаемъ, что одну изъ причинъ указаннаго отчужденія надо искать въ неполнотѣ, въ несовершенствѣ исключительно ритуальнаго пониманія христіанства, которое опредѣлялось обрядомъ. Сами славянофилы это прекрасно чувствовали и потому на ряду съ возвращеніемъ къ основамъ древнерусскаго быта рекомендовали — и притомъ самымъ рѣшительнымъ образомъ — средство совершенно новое, а именно, безусловное признаніе и осуществленіе принципа религіозной свободы, — свободы совѣсти. Между тѣмъ едва ли можетъ быть малѣйшее сомнѣніе въ томъ, что Московская Русь не только не имѣла понятія объ этомъ принципѣ, но не могла его имѣть, исключала его безусловно. И такимъ образомъ, въ рецептѣ славянофиловъ заключались два противоположныхъ средства, изъ кото-

рыхъ одно пришлось по сердцу обскурантамъ и реакціонерамъ, а другое было всего болѣе имъ противно. На ряду съ этими двумя элементами славянофильскаго идеала существовать еще третій, самый важный, въ которомъ должны были примиряться свобода съ единствомъ и авторитетомъ преданія, и разумью славянофильское ученіе о церкви. Это ученіе въ свою очередь основывалось на своеобразномъ смѣшеніи понятій и заключало въ себѣ какъ историческую, такъ и богословскую ошибку.

Исходя изъ понятія церкви, какъ духовнаго организма, обнимающаго въ себѣ всѣхъ блаженныхъ духовъ и всѣ вѣрныя чело-вѣческія души — не только живыхъ и мертвыхъ, но даже и „перодившихся“ вѣрующихъ, славянофилы безъ околнчностей отождествляли это небесное царство съ православною греко-россійскою церковью, явно смѣшивая мистическое съ эмпирическимъ.

Результатомъ такого смѣшенія естественно получался превратный взглядъ на дѣйствительность не только въ настоящемъ, но и въ прошедшемъ. Правда, въ отличіе отъ прошлаго, настоящее далеко не идеализировалось и нерѣдко подвергалось безпощадной критикѣ, болшею частью, глубоко справедливой. Но и тутъ была ошибка, поскольку славянофилы непонятнымъ образомъ отдѣляли отъ нашей церкви весь ея современный строй, который представлялся имъ какою-то исторической случайностью, а не органическимъ результатомъ ея развитія. Если въ своемъ богословіи и въ полемикѣ противъ другихъ исповѣдываній они смѣшивали понятіе царства небснаго (или небесной церкви) съ понятіемъ церкви греко-россійской, то въ своей полемикѣ противъ современныхъ порядковъ они впали въ другую крайность, противопоставляя себѣ самой нашу русскую церковь, т.-е. дѣйствительную церковь своему идеалу о ней, который они считали осуществленнымъ не то въ древней Руси, не то въ глубинѣ народнаго сердца.

На ряду съ этими ошибочными представленіями была, какъ сказано, и существенная богословская ошибка. Эта ошибка состояла въ томъ, что ученіе о церкви и притомъ такое, которое явно смѣшивало небесную и земную церковь, полагалось славянофилами въ основу всего православнаго вѣроученія и богословія. Очевидно, ничего подобнаго мы не находимъ ни въ ученіи Христа и апостоловъ, ни въ свято-отеческомъ богословіи, которое утверждалось на совершенно иномъ основаніи, — томъ основаніи, на какомъ строилась и сама церковь. Принимая церковь не за храмъ христіанства, а за самое основаніе его, и превращая ученіе о ней

въ основной догматъ вѣроученія, мы невольно приближаемся къ церковно-католическому пониманію христіанства. И В. С. Соловьевъ, мыслитель несравненно болѣе глубокой, смѣлой и послѣдовательный, чѣмъ родоначальники славянофильства, чрезвычайно тонко понялъ это обстоятельство, что отчасти и послужило ему для обоснованія его ученія о всемірной теократіи. Мы нисколько не хотимъ вдаваться здѣсь въ разборъ этого послѣдняго, тѣмъ болѣе, что и оно не нашло сторонниковъ, и самъ почтенный авторъ его не придаетъ ему такого значенія, какое онъ приписывалъ ему нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Мы хотимъ только отмѣтить, что богословіе Хомякова и его послѣдователей не соответствовало древнимъ нормамъ православія и заключало въ себѣ уклоненіе отъ нихъ, чрезвычайно богатое неожиданными послѣдствіями.

Одинъ весьма авторитетный писатель мѣтко указалъ, что въ нашемъ народѣ отсутствуетъ социальное понятіе церкви; онъ знаетъ церковь лишь какъ храмъ. И точно такъ же въ представленіяхъ нашихъ предковъ понятіе вселенской церкви не имѣло того значенія, которое оно получило у славянофиловъ и послѣ нихъ. Разъ это понятіе выдвигается на первый планъ, естественно, ставится вопросъ о соединеніи церквей; представленіе о церковной жизни бесконечно расширяется и получаетъ всеобъемлющее значеніе. Въ этомъ смыслѣ, несмотря на всѣ свои ошибки, славянофилы оказали существенную услугу русской мысли и дали ей толчокъ, которому, какъ мы надѣемся, не суждено пройти безслѣдно.....

(Впервые напечатана въ „Московскомъ Еженедѣльникѣ“ въ 1906 г.).

Проектированное чтеніе на «богословскихъ бесѣдахъ».

Не безъ колебаній принялъ я почетное для меня предложеніе глубокоуважаемаго отца Г. П. Смирнова-Платонова — участвовать въ настоящихъ богословскихъ бесѣдахъ. Я глубоко сочувствую цѣли этихъ бесѣдъ — служить сближенію духовнаго и свѣтскаго общества, духовной и свѣтской науки. Но говорить съ кафедры о религіозныхъ предметахъ и, при томъ, въ присутствіи многихъ представителей учащей Церкви — задача не легкая для свѣтскаго ученаго. Съ одной стороны, онъ будетъ невольно чувствовать тяжелую нравственную отвѣтственность передъ тѣмъ высокимъ предметомъ, о которомъ онъ говоритъ; а съ другой стороны, онъ не можетъ не

сознавать той великой бездны, которая отдѣляетъ современное научное міросозерцаніе отъ міросозерцанія нашихъ праотцевъ или отъ того міросозерцанія, съ которымъ связана древне-церковная наука. Эта бездна такъ же велика, какъ велико различіе между современной астрономіей и прежнимъ представленіемъ о мірозданіи съ землею въ центрѣ, преисподней внизу и кристалльною твердью наверху; эта бездна такъ же велика, какъ различіе между средневѣковыми шестодневными, фізіологами и хрониками и между современнымъ эволюционнымъ естествознаніемъ или современной, исторической наукой.

Никакой современный ученый не думаетъ, конечно, чтобы послѣднее слово науки было сказано или, чтобы эта наука была совершенной. Но онъ знаетъ, безъ всякаго сомнѣнія, что она совершеннѣе, чѣмъ она была—10 или 20 вѣковъ тому назадъ,—и подъ наукой онъ разумѣетъ не одно естествознаніе, но и историческую науку, не дѣлая исключенія и для той части ея, которая касается еврейской или ранней христіанской исторіи и литературы.

Наука много и долго боролась противъ суевѣрія и постороннихъ посягательствъ, прежде чѣмъ отвоевать себѣ совершенную независимость, въ которой она видитъ непремѣнное условіе своего достойнаго существованія и развитія. Этой независимостью она не поступится никогда, и если отдѣльные умы будутъ измышлять всевозможные компромиссы между наукой и религіей, то для науки такіе компромиссы пройдутъ совершенно безслѣдно. Никакой добросовѣстный ученый, уважающій науку, никогда не согласится на подобную сдѣлку между наукой и религіей, равно недостойную обѣихъ. Въ такихъ сдѣлкахъ и компромиссахъ состоитъ главная ошибка близорукой апологетики, которая смѣшиваетъ съ религіей несовершенныя научныя знанія, господствовавшія среди религіозныхъ мыслителей первыхъ вѣковъ нашей эры.

Я не могу сказать, чтобы стремленіе къ высшему конечному единству вѣры и знанія было безплоднымъ стремленіемъ. Но тѣ мыслители, которые стремятся путемъ философіи предвосхитить этотъ конечный результатъ, не должны принимать его за нѣчто данное, готовое или законченное. Они должны отдавать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что сдѣлано, что достигнуто наукой и составляетъ ея прочное достояніе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, они должны сознавать сколь многое не выяснено и неизвѣстно, при чемъ, однако, подобная неизвѣстность не можетъ служить оправданіемъ для какихъ-либо фанатическихъ построеній.

Прежде же всего мы должны требовать отъ апологетики яснаго

и строгаго сознанія ея особенныхъ задачъ въ отличіе отъ задачъ спеціально философскихъ или научныхъ. Есть искренніе, убѣжденные апологеты христіанства, которые готовы выступить съ опроверженіемъ всѣхъ новѣйшихъ открытій естествознанія и исторической науки, всѣхъ новѣйшихъ натуралистическихъ ученій и гипотезъ. Есть ли это дѣйствительно задача апологетики, и не обрекаетъ ли она себя такимъ путемъ на Сизифову работу? Я охотно допускаю, что въ области современныхъ ученій есть многое такое, что построено изъ дерева или соломы и чему не суждено уцѣлѣть. Но вѣдь на мѣсто однихъ ученій явятся другія, новыя, которыя намъ, можетъ-быть, будутъ казаться еще болѣе опасными; и когда придетъ и ихъ очередь, они будутъ приняты или отвергнуты по основаніямъ чисто научнаго свойства. Мнѣ кажется, что въ наукѣ есть только одинъ законный интересъ — интересъ истины и интересъ знанія. И задача ученаго состоитъ не въ томъ, чтобы считаться съ мнѣніями, а съ фактами и доказательствами. Отвергая какія-либо ученія онъ руководствуется научнымъ интересомъ научнымъ изслѣдованіемъ, а такому изслѣдованію, прежде всего, мѣшаютъ предвзятые тенденціи, хотя бы и самыя благонамѣренныя. Мы должны разъ и навсегда оставить науку быть наукой; не забывая ея несовершенства, не забывая возможности заблужденій и одностороннихъ увлеченій со стороны отдѣльныхъ умовъ, мы должны помнить, что мы не исправимъ этихъ заблужденій и этой односторонности, если сами будемъ вносить въ науку что бы то ни было кромѣ безпристрастнаго научнаго изслѣдованія.

У христіанской апологетики есть, какъ мы думаемъ, болѣе высокія и болѣе существенныя задачи, чѣмъ полемика противъ отдѣльныхъ положеній или заблужденій современной науки или философіи. Эти задачи состоятъ прежде всего въ положительномъ раскрытіи истинъ чисто религіознаго порядка.

Есть уже нѣчто общее между истинно-вѣрующими христіанами, какъ бы ни значительно было различіе въ ихъ познаніяхъ, въ ихъ умственномъ развитіи. Объ этомъ общемъ основаніи христіанской вѣры, объ этомъ *главномъ* въ ней, въ чемъ вся ея суть, надлежитъ говорить прежде всего, и все остальное получить свое освѣщеніе лишь въ связи съ этимъ главнымъ, — съ тѣмъ, что никогда не слѣдуетъ терять изъ виду. Понять основныя истины христіанства, раскрыть ихъ, какъ онѣ есть въ словѣ Евангелія и преданія христіанской жизни — вотъ главная задача богословія, въ одно и то же время научная и религіозная; выяснить дѣйствительное содер-

жаніе христіанства и притомъ въ его подлинномъ свѣтѣ — вотъ, безъ сомнѣнія, высшая и постоянная задача апологетики. Если защитникъ христіанства вѣрить въ его истину, то съ него достаточно по мѣрѣ силъ *представить оѣрное изображение* христіанскаго ученія. Я не хочу сказать, чтобы истины христіанства нельзя было доказывать, или чтобы такое доказательство было излишне. Его слѣдуетъ доказывать словомъ и дѣломъ — но его надо доказывать только изъ него самого, изъ того вѣчнаго живого средоточія, того пребывающаго содержанія христіанства, которое сознается вѣрующимъ какъ *живое существо*. Христосъ есть живое начало христіанства, и только тамъ, гдѣ христіанская мысль проникнута сознаниемъ Его жизни, — тамъ только она можетъ дать цѣльное воспроизведеніе Его ученія. Въ вѣрѣ, строго говоря, нѣтъ никакихъ отдѣльных догматовъ, положеній или истинъ. Богословіе аналитически расчленяетъ содержаніе вѣры, то, что сознается ею какъ откровеніе; но сама по себѣ христіанская вѣра влагаетъ все свое содержаніе въ одно слово, одно имя Христа, въ которомъ заключается вся полнота ея религіознаго опыта. Въ этомъ религіозномъ опытѣ, который составляетъ общее достояніе всѣхъ вѣрующихъ и къ которому они обращаются во всѣ мгновенія своей религіозной жизни, они только и могутъ понять дѣйствительно всѣ истины своей вѣры, т.-е. то, что составляетъ ея подлинное содержаніе. Пока мы знаемъ объ этихъ истинахъ только изъ догматики, мы знаемъ ихъ лишь внѣшнимъ образомъ и можемъ вовсе не вѣрить въ нихъ; пока мы понимаемъ ихъ лишь отвлеченно, мы вовсе не понимаемъ ихъ. Мы видимъ только схему ученія, но не схватываемъ его живого существа. Въ отдѣльныя догматическія положенія суть отвлеченныя обобщенныя выраженія коллективнаго опыта Церкви; чтобы понять ихъ живой смыслъ, нужно обратиться къ ихъ источнику, т.-е. къ самому опыту. Чтобы провѣрить ихъ — нужно пережить ихъ, но притомъ такъ, какъ они были пережиты, т.-е. ихъ надо испытать въ самомъ Христѣ, въ которомъ открылась вся истина христіанства.

Въ этихъ словахъ я не думаю высказывать ничего мистическаго, ничего такого, что не было бы доступно пониманію и невѣрующаго человѣка. Всякій знаетъ, что христіане вѣруютъ въ Отца, Сына и Св. Духа, въ искупленіе Христа, въ Его воскресеніе и вѣчную жизнь. Всякій знаетъ тѣ отвлеченныя формулы, въ которыхъ христіанская догматика выражаетъ эти истины. Съ перваго взгляда можетъ показаться непонятнымъ, какъ можно дѣлать эти истины предметомъ опыта. И однако такъ или иначе каждый слушающій

или читающій евангеліе дѣлаетъ такой опытъ. Разсматривая жизнь Христа, Его личность, Его слово, находимъ ли мы въ Немъ Бога, видимъ ли мы въ Немъ Отца, или нѣтъ? Это вопросъ, и притомъ основной вопросъ *религіознаго опыта*, въ связи съ которымъ рѣшается все остальное. Если во Христѣ мы видимъ Бога, то это Божество уже не есть въ нашихъ глазахъ отвлеченная идея, а живой, нравственный образъ; если мы видимъ въ Немъ Бога, то мы видимъ въ Немъ свой судъ — судъ и обличеніе всего міра, и вмѣстѣ — свѣтъ міра, спасеніе міра, искупленіе, жизнь — словомъ, въ Немъ вѣрующій понимаетъ все то, что составляетъ предметъ христіанскаго ученія, какъ живую истину вѣры, что оно и есть на самомъ дѣлѣ.

Намъ могутъ сказать, что религіозный опытъ, о которомъ мы говоримъ, есть лишь нѣчто чисто воображаемое. Тотъ, кто не вѣритъ въ Бога, не можетъ допустить подобнаго опыта, какъ чего то дѣйствительнаго, реальнаго, объективнаго. Мало того, среди людей, считающихъ себя вѣрующими, много найдется такихъ, которые готовы повторить слова Филиппа: „Господи, покажи намъ Отца, и довольно съ насъ“ т.-е. есть много людей, не видящихъ Бога во Христѣ.

Но, съ другой стороны, мы, несомнѣнно, можемъ указать много людей, которые жили во Христѣ, жили въ Богѣ, для которыхъ присутствіе Бога и нравственное общеніе съ Нимъ было постояннымъ реальнымъ фактомъ сознанія, — фактомъ, опредѣлявшимъ собою всю ихъ жизнь. Мы можемъ не вѣрить въ Бога или отрицать Его существованіе, но мы не можемъ отрицать существованіе такихъ „богопосцевъ“, т.-е. такихъ людей, все сознаніе которыхъ было проникнуто тѣмъ, что они называли Богомъ или Духомъ Божіимъ, — такихъ людей, для которыхъ Богъ былъ содержаніемъ жизни, ея смысломъ, ея основнымъ двигателемъ.

Религіозный опытъ, или, если можно тамъ выразиться *Богосознаніе* т.-е. откровеніе Бога въ сознаніи человѣка, есть психологическій фактъ, какъ бы мы его ни объясняли или какъ бы мы его ни оцѣнивали. Для однихъ Богъ есть только понятіе или отвлеченное представленіе; для другихъ — ложный призракъ; для третьихъ — это живая духовная сила, которую они испытываютъ и сознаютъ, какъ нѣчто безконечно болѣе реальное, истинное, превосходящее, чѣмъ внѣшній міръ, или даже ихъ собственная душа. Это они доказываютъ на дѣлѣ, въ своей жизни, въ своей личности, въ своемъ самопожертвованіи и самоотверженіи. Они являютъ

въ себѣ и чрезъ себя ту силу, которая движетъ ими и живетъ въ нихъ, они показываютъ ее въ своемъ словѣ и дѣлѣ; они раскрываютъ ее въ ея характерѣ, ея духовныхъ, нравственныхъ свойствахъ и притомъ, иногда, до такой степени ярко и мощно, что и другіе чрезъ нихъ испытываютъ ее, убѣждаются въ ея мощи и ея правдѣ.

Это въ сущности и есть единственный путь проповѣди,—путь, указанный самимъ Христомъ: „Кто хочетъ творить волю Его, тотъ узнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли оно, или Я самъ отъ себя глаголю“ (Іоан. VII, 17). „Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ челоуѣки, яко да видятъ ваша дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ“ (Мѣ. V, 16): Самъ Христосъ не поступаетъ иначе, какъ это указываетъ Евангеліе несчетное количество разъ: „Я ищу славы не Моей, но пославшаго Меня“, или „если Я не творю дѣлъ Отца Моего, то не вѣрйте Миѣ, а если творю, то когда не вѣрите Миѣ, вѣрйте дѣламъ Моимъ, чтобы узнать и повѣрить, что Отецъ во Миѣ и Я въ Немъ“ (Іоан. X, 37—8), Или еще: „Отвергающій Меня и не принимающій словъ Моихъ имѣетъ судью себѣ: слово, которое Я говорилъ, оно будетъ судить его въ послѣдній день. Ибо Я говорилъ не отъ Себя; но пославшій Меня Отецъ, Онъ далъ Миѣ заповѣдь что сказать и что говорить“, (Іоан. XII, 48—9).

Такъ Христосъ проповѣдовалъ евангеліе царства, такъ заповѣдалъ Онъ проповѣдовать его своимъ ученикамъ — святить въ себѣ Бога, *являть* Отца міру, показывать Его въ себѣ. Поэтому, миѣ кажется, что нѣкоторые богословскія опредѣленія личности Христа сохраняютъ для насъ всю свою истинность независимо отъ того, вѣримъ ли мы въ Него, вѣримъ ли мы въ Бога: они выражаютъ исторически вѣрно основной фактъ христіанскаго самосознанія и вѣрны въ психологическомъ смыслѣ, если бы даже они не были вѣрны въ смыслѣ безусловномъ. Таково прежде всего опредѣленіе Сынъ Божій или опредѣленіе Богочелоуѣкъ...

(Не оковчено.)

1900—1901 года, зимой. (Нигдѣ въ печати не появилось.)

Канунъ Нового Года.

31 декабря 1901 года.

Есть безтолковица,
Сонъ уже не тотъ:
Что-то готовится
Кто-то идетъ.

Козьма Прутковъ (изъ Мистеріи).

Это четверостишіе „Ночной тишины“ изъ мистеріи Козьмы Прутова какъ нельзя лучше характеризуетъ внутреннее состояніе современнаго русскаго общества, просыпающагося послѣ двадцатилѣтней спячки.

Сначала сонъ былъ глубокъ и безмятеженъ подъ бдительной охраной ночныхъ сторожей. Слышались только ихъ мѣрные шаги, свистки и постукиванія. Намъ даже ничего не снилось. Господствовали преимущественно фізіологическіе процессы. Потомъ, съ „голоднаго года“, покой былъ нарушенъ, начался какой-то переломъ; все болѣе и болѣе усиливавшееся чувство общаго недомоганія стало тревожить насъ всякаго рода сонными мечтаніями, — тою возрастающей безтолковицей, какая обыкновенно предшествуетъ пробужденію — минутѣ, когда заспавшійся человѣкъ внезапно, судорожно вскакиваетъ, становится на ноги и протираетъ себѣ глаза.

Да, сонъ ужъ не тотъ. Мы начинаемъ ворочаться и чувствуемъ, что такъ дальше нельзя. Пора вставать, давно пора.

Пора поднять спущенныя занавѣски, взглянуть на свѣтъ Божій, прогнать ночные сны и страхи, которыми мы живемъ. Пора разобратъ въ томъ, гдѣ мы и что съ нами, что окружаетъ насъ, что предстоить намъ.

Передъ нами тѣ же задачи, тѣ же вопросы, что двадцать лѣтъ тому назадъ, только безконечно осложнившіеся и замутившіеся, настоятельно требующіе рѣшенія. Какъ разрѣшить ихъ правильно помимо тѣхъ, кто заинтересованъ въ ихъ разрѣшеніи? Это — вопросы жизни и смерти русскаго общества во всѣхъ сферахъ его возможнаго существованія; это — вопросы жизни и смерти просвѣщенія, культурнаго преуспѣянія Россіи. Теперь оказывается, что они были только отложены, а не рѣшены.

Когда двадцать лѣтъ тому назадъ мы отложили ихъ и легли спать, мы думали, что сдѣлали дѣло; теперь, пробуждаясь, мы чувствуемъ, что положеніе наше труднѣе, чѣмъ 20 лѣтъ тому назадъ.

Двадцать лѣтъ тому назадъ у насъ было средство если не разрѣшить, то разрубить роковой узелъ всѣхъ общественныхъ воп-

тъ — реакція. По теперь это средство исчерпано или почти исчерпано. Мы начинаемъ извѣриваться и въ немъ, убѣждаться, оно не всемогуще, а имѣетъ лишь ограниченную силу, какъ временный палліативъ. При сколько-нибудь продолжительномъ употребленіи оно теряетъ свое дѣйствіе, дозы его приходится усиливать, водить до предѣловъ, при которыхъ оно оказывается разрушительнымъ, разлагающимъ, зловреднымъ и въ концѣ-концовъ все-бессильнымъ: нерѣдко оно ведетъ къ той самой смутѣ, противъ которой оно было призвано бороться, и порождаетъ сугубыя неурядицы. Это показываетъ опытъ житейскій, этому учитъ и Писаніе: Отецъ мой билъ васъ бичами, а я буду наказывать васъ скорпями“, такъ говорилъ Ровоамъ, и событія показали всю ошибочность этой политики, которой слѣдовалъ преемникъ великаго монаха.

Только близорукій взглядъ смѣшиваетъ реакцію съ консерватизмомъ, интересамъ котораго она столь часто и столь рѣзко противорѣчитъ. Консерватизмъ въ извѣстномъ смыслѣ обязанъ всякій истинный патріотъ, всякій, кто любитъ великое цѣлое своего отечества и дорожитъ его внѣшней и внутренней, духовной и физической цѣлостію; такой человѣкъ естественно будетъ стремиться къ охраненію этой цѣлости. Но вмѣстѣ съ тѣмъ истинный патріотъ долженъ быть истиннымъ прогрессистомъ, поскольку онъ конечно долженъ желать своему отечеству внутренняго и внѣшнѣйшаго преуспѣянія, и по мѣрѣ возможности содѣйствовать ему своей общественной работой. Самыя консервативныя побужденія должны заставить его желать *только преуспѣянія или прогресса*, такъ какъ внутренняя и внѣшняя цѣлость отечества охраняется не парализмомъ, искусственнымъ замораживаніемъ, а здоровымъ поступательнымъ развитіемъ, развитіемъ живыхъ общественныхъ силъ. Вотъ истинныя и азбучныя, прописныя истины, которыя и во снѣ не слѣдуетъ забывать и которыя подсказываются простымъ и непосредственнымъ чувствомъ патріотизма. Но въ нашу пору безтолпы общественной и предразсвѣтныхъ сонныхъ мечтаній самый патріотизмъ нерѣдко принимаетъ странныя формы и впадаетъ въ уродливыя уклоненія. Вмѣсто того, чтобы являться особымъ видомъ общественнаго человѣколюбія, онъ обращается иногда въ какую-то форму остраго человѣконенавистничества и подозрѣнія. Вмѣсто того, чтобы возбуждать въ насъ братскія чувства по отношенію къ нашимъ соотечественникамъ, онъ заставляетъ насъ видѣть въ нихъ поголовныхъ измѣнниковъ и непріятелей, противъ которыхъ нѣтъ мѣръ,

достаточно крутыхъ и рѣшительныхъ. Мужественное, благородное и горячее чувство любви къ родинѣ замѣняется какою-то мало-душной боязнью и маніей преслѣдованія, какимъ-то злымъ, нездоровымъ кошмаромъ.

И вотъ почему, слушая много патріота, намъ кажется, что онъ кричитъ во снѣ; хочется разбудить, растряссти его и сказать ему: „Очнись!.. не кричи!.. мы — не турки, а русскіе; мы — у себя, а не въ завоеванной и незамиреной непріятельской странѣ. И самъ ты — не башибузукъ: ты — русскій, христіанинъ, а не мусульманинъ!..“

Все это — далеко не шутки и не аллегорія; все это, къ сожалѣнію, слишкомъ серьезно. Патріотизмъ, истинный и глубокій, необходимъ въ наши дни болѣе чѣмъ когда-либо. Но для того, чтобы дѣйствительно служить престолу и отечеству, онъ долженъ быть нелицемѣрнымъ и просвѣщеннымъ, онъ долженъ выражаться не одними междометіями или холопскими рѣчами, а правдивымъ и безстрастнымъ разумнымъ словомъ, онъ долженъ доказывать себя дѣломъ, а не озорствомъ, сѣя миръ, а не общее озлобленіе. Онъ долженъ служить охраненію и прогрессу, не наслію надъ совѣстью, не угашенію мысли общественной, не разложенію общественныхъ элементовъ. Патріотична ли программа послѣдовательной систематической дезорганизациі русскаго общества? Патріотично ли реакціонное стремленіе задуть, подавить, парализовать всякое самостоятельное проявленіе общественности? Очевидно, нѣтъ. А между тѣмъ, въ наши дни есть охранители, которые именно въ этомъ полагаютъ свой патріотизмъ, не сознавая, какую разрушительную проповѣдь они ведутъ и съ какимъ трудомъ придется будущимъ охранителямъ возстановлять тѣ основы, которыя они подрываютъ. Они не сознаютъ, что для правильнаго разрѣшенія общественныхъ задачъ, а также и культурныхъ и политическихъ задачъ современнаго государства, необходима здоровая организациа общества и живое развитіе общественной мысли. Это — первое, что требуется. Недуги общественные нельзя лѣчить путемъ послѣдовательныхъ ампутацій и нельзя держать общество подъ хлороформомъ. Не въ этомъ, во всякомъ случаѣ, должны заключаться программы дѣйствительнаго охраненія.

Чѣмъ же объяснить современныя aberrации патріотизма? Недостаткомъ искренности, недостаткомъ просвѣщенія и недостаткомъ яснаго сознанія государственныхъ задачъ Россіи. Отсюда объясняется испуганная растерянность однихъ и тупой фанатизмъ другихъ, — та безтолковица нашей жизни, которая нарастаетъ, становится

мучительной и тревожной, отнимая всякое чувство увѣренности въ завтрашнемъ днѣ.

Но, можетъ быть, именно это и должно служить намъ предвѣстникомъ близкаго пробужденія? Сонъ ужъ не тотъ!

Съ такими чувствами провожаемъ мы истекшій годъ и встречаемъ новый. Что бы ни готовила намъ судьба будемъ вѣрить въ грядущее пробужденіе¹⁾.

Сказка объ общипанной Жарь-Птицѣ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, нѣкоторомъ государствѣ жилъ-былъ царь Берендей премудрый съ своею царицею Милитрисой Прекрасной.

Въ саду у Берендея на золотой яблонѣ въ золотой клѣткѣ висѣла Жарь-Птица. Очи у нея были алмазныя, а перья играли камнями самоцвѣтными, и каждое изъ нихъ горѣло какъ солнце. А когда она хвостъ свой распускала, то по небу столпы огненные ходили. Хвосту этому цѣны не было, и царь Берендей, даромъ что въ садѣ никогда не заглядывалъ, говорилъ, что Жарь-Птицу онъ на самое Милитрису не промѣняетъ. Каждую осенью Жарь-Птица линяла, и перьями ея Берендей набивалъ свою казну. Всѣмъ имъ велся строгій счетъ, и Соловей-Разбойникъ, который у Берендея казною завѣдывалъ, представлялъ ему ежегодно всеподданнѣйшіе отчеты о состояніи перьевъ Жарь-Птицы и о наличности ихъ въ государственномъ казначействѣ. И хорошо жилось подданнымъ царя Берендея: ни налоговъ, ни повинностей не платили, водку пили безъ акциза, табакъ курили безъ бандеролей и счета безъ марокъ оплачивали. А когда нуженъ былъ царю какой-нибудь расходъ экстренный по случаю побѣды — одолѣнія, или другой оказіи, онъ посылалъ кого-нибудь изъ бояръ своихъ птицу погубить. Тотъ пойдетъ, возьметъ хворостину и пужнетъ: „Кр! Кр!“ Птица въ клѣткѣ забьется, закудахчетъ, анъ, перышко-другое и уронить. А по осени обязательно новый выпускъ перьевъ своимъ чередомъ.

И шло дѣло такимъ порядкомъ много лѣтъ. Стукнулъ Берендею семидесятый годъ и затѣялъ онъ юбилей свой праздновать. Призываетъ онъ Соловья-Разбойника и говоритъ ему: „Черезъ полгода мой юбилей будетъ, а я этого такъ оставить не могу. Съѣдутся принцы, короли, князья да графы со всего свѣта, надо угостить

¹⁾ Эта статья не была допущена къ печати по цензурнымъ соображеніямъ; она впервые появилась въ „Московскомъ Еженедѣльникѣ“ въ 1906 г.

ихъ на славу. Двѣ недѣли пировать будемъ, а напоследокъ, вмѣсто иллюминаціи, мы имъ Жарь-Птицу покажемъ; пускай смотрять, какъ у насъ отъ нея столпы огненные по небу ходять“. Соловей-Разбойникъ почесалъ себѣ затылокъ и говоритъ царю Берендею: „Слушаюсь, только вотъ хвостъ у Жарь-Птицы въ нынѣшнемъ году будто малость покороче будетъ“... Берендей нахмурился и сказалъ: „Пустяки! отрастетъ! Спрысни ей хвостъ вежеталемъ!“

Соловей задумался и пошелъ къ Идолищу Поганому въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Пришелъ и говоритъ: „Такъ и такъ, молъ, ваше высокопревосходительство, нашъ Берендей собрался черезъ полгода юбилей свой праздновать, гостей созываетъ, пиръ готовить, а послѣ пира будутъ съ гостями Жарь-Птицу смотрѣть“. Испугался Поганое Идолище, онъ только что себѣ перину новую жарь-птицынымъ пухомъ набилъ, и говоритъ: „Ахъ, грѣхъ какой! А не кажется ли вамъ, почтенный коллега, что птица будто того... отошала маленько? Ужъ не слишкомъ ли часто она у васъ серіи выпускаетъ? Соловей обидѣлся: „Ну, ужъ это вы, ваше превосходительство, оставьте: лучше сами-то къ ней съ хворостинной полегче, а то она у васъ раскудаhtалась такъ, что, пожалуй, самъ Берендей услышитъ. Онъ и такъ ужъ ей хвостъ вежеталемъ вспрыснуть велѣлъ! — „Вежеталемъ? Что выдумаетъ! Это Жарь-Птицѣ-го! О Господи!“ Идолище смутился. Съ Соловьемъ они еще ладили, но оба боялись другихъ своихъ коллегъ: Зміулана, Змія Горыныча, Змія Тугарина и въ особенности царскаго евнуха, Кашея Безсмертнаго, и дядьку Черномора. Кашей, по причинѣ безсмертія своего, обладалъ неистощимымъ запасомъ опыта житейскаго, и Соловей съ Идолищемъ чувствовали, что онъ видитъ ихъ насквозь. Дядька Черноморъ, хотя и не безсмертный, но древнѣй, былъ поглупѣе, не злѣе и притомъ безъ образованія, выслужился изъ унтеровъ. Съ нѣкоторыхъ поръ отношенія его съ Идолищемъ и Соловьемъ обострились, и при встрѣчѣ съ ними онъ позволялъ себѣ неумѣстныя шутки. „Что, Идолище Поганое, какво кнутобойствуешь?“ спрашивалъ онъ перваго. „Помаленьку, дяденька“, отвѣчалъ Идолище. „Что, голубчикъ, общипалъ птичку?“ спрашивалъ онъ Соловья. „Куда мы идемъ?“ гнусавилъ Кашей и хватался за голову, столь же лысую, какъ то яйцо, въ которомъ заключалась его смерть.

Понятно, что при такихъ условіяхъ Соловей съ Идолищемъ чувствовали себя тревожно и, сплотившись другъ съ другомъ, нытались набросить тѣнь на дѣятельность дядьки Черномора. „И отчего бы это у Жарь-Птицы хвостъ такой короткій сталъ и пуху мало“, съ грустью

говорилъ въ совѣтѣ Идолище Поганое. А Соловей отвѣчалъ: „Я такъ думаю, ваше высокопревосходительство: это, должно-быть, ребятишки балуются. Вѣрно, такъ, больше некому. И чего этотъ старый чортъ, Барла Черноморъ, за ними смотреть, разбаловались совсѣмъ!“ — „Дайте мнѣ ихъ, — пищалъ Кощей тонкимъ фальцетомъ, — я ихъ приведу въ православную вѣру, этихъ мальчишекъ!“ — „Выдеру“, ревъль Идолище. „Немножко попугать молодежь, этакъ, знаете ли“, показывалъ Соловей. „Самъ выську“, шамкалъ Черноморъ.

А перья Жарь-Птицы продолжали исчезать, и только лѣнивый ихъ не бралъ. Кто хворостиной пужалъ бѣдную птицу, кто самъ рвалъ съ нея пухъ и перья; кто нагло, среди бѣла дня запускалъ пятерню въ золотую клетку и теребилъ птицу за хвостъ, а кто ночью воровски крался къ ней, такъ, что подъ конецъ весь царскій садъ повилохтался, и яблоню золотую обломали. „Ну, что, какъ Жарь-Птица у васъ поживаетъ?“ спрашивался Берендей у Идолища. „Ничего, говорить, только хвостъ будто въ прошломъ году у ней попынѣе былъ“. — „Отрастетъ къ юбилею моему, непременно отрастетъ! На, снеси ей сахару кусочекъ, скажи, что отъ меня“.

И на другой день Идолище оповѣщалъ, что Берендей всемилоствѣйше соизволилъ Жарь-Птицѣ сахару отпустить. А той было не до сахару: послѣднее перо у бѣдняги вытащили, глаза ей повыхолоди, всю искромсали, изодрали сердечную, такъ что она чуть дышала.

И вотъ, наконецъ, насталъ юбилей царя Берендея. Съѣхались короли да принцы, князья да графы со всего свѣта и пировали у Берендея двѣ недѣли. Водку и вина подавали въ бутылкахъ подъ акцизными бацдеролями, но Берендей этого не замѣчалъ. Двѣ недѣли онъ пилъ и слушалъ привѣтственные адреса; на послѣдній день короли съ принцами его качали, такъ что, когда наступила минута выйти на балконъ Жарь-Птицу смотрѣть, онъ еле ноги волочилъ. „Зажигай!“ крикнулъ Идолище. И Соловей-Разбойникъ зажегъ бенгальскіе огни. „Вотъ она, наша матушка Жарь-Птица какова, — говорилъ Берендей и плакалъ: — хвостъ-то, хвостъ какой отрастила!“

Идолище тоже ударился въ слезы: „Голубушка наша, кормилица! Глядите, короли съ принцами, столпы-то, столпы-то какіе по небу ходятъ!“

Даже Кощей прослезился и сказалъ: „Эхъ, умирать не надо!“ А Соловей пустился въ присядку.

Стать Карла Чернинера стала ружьем и, неся гибель на японской табакерке, пробуравилась: „булавка, пишет Калло сама собой знает себя сама!“

Въ 1901 г. Москва (издана въ 1906 г. въ „Московскомъ Университетѣ“).

Изъ рубежѣ.

(Посвящается памяти Бориса Николаевича Чечерина.)

Се огнь и вода: положи руку твою.

Предисловіе ¹⁾.

Понимать прошлое родной земли, ясно видѣть настоящее, предвидѣть неизбежное — вотъ условія здоровой политики. Великія задачи поставлены предъ Россіей, и отъ разрѣшенія ихъ зависитъ ея судьба, ея сила и слава, ея преуспѣаніе. Эти задачи, внѣшнія и внутреннія, тѣсно связаны между собою, и эта связь раскрывается въ настоящее время передъ всѣми до послѣдняго солдата, до послѣдней бабы, провожающей сына или мужа на войну.

Внѣшняя задача Россіи — восточный вопросъ въ его новой формѣ — ставится ей во всемъ своемъ грозномъ значеніи и застаётъ ее совершенно неподготовленной. Борьба съ монгольскимъ міромъ, въ которой некогда выросло государственное величіе Россіи, возобновляется вновь послѣ перерыва многихъ столѣтій. Эта борьба теперь неизбежна, и послѣ настоящей войны она не окончится, а только начнется. Она не можетъ кончиться простымъ размежеваніемъ различныхъ сферъ интересовъ, установленіемъ системы политическаго равновѣсія. Въ настоящую минуту трудно даже приблизительно отдать себѣ отчетъ въ всемірно-историческомъ значеніи этой начинающейся борьбы Азии и Европы, — борьбы, которую намъ придется вновь вынести на плацахъ.

Чтобы побѣдить въ этой борьбѣ европейской и христіанской культуры съ чуждымъ ей азіатскимъ міромъ, взятъ усвоеннымъ ей технику, Россія должна сама въ болѣе высокой степени проявиться началами этой культуры, которую она призвана защитить. Чтобы побѣдить въ этой великой борьбѣ, она должна будетъ собрать

¹⁾ Этотъ очеркъ былъ составленъ кн. С. Н. Трубецкимъ во время пребыванія его въ Кронштадтѣ, зимой 1904 года, т.-е. въ самое начало русско-японской войны. Конецъ предисловія не былъ найденъ въ рукописи.

и развить всѣ свои духовныя и матеріальныя силы, весь свой разумъ и творчество.

И первымъ условіемъ этого духовнаго и матеріальнаго подъема, безъ котораго намъ грозитъ разложеніе и упадокъ, является внутреннее обновленіе и политическое освобожденіе Россіи, упраздненіе бюрократическо-полицейскаго абсолютизма, медленно растлѣвающего Россію и ведущаго ее къ конечной гибели. Коренная политическая реформа необходима для спасенія Россіи и для спасенія самаго Престола. Ибо все то, чего благомыслящіе, просвѣщенные люди требовали до сихъ поръ въ интересахъ свободы и преуспѣянія, приходится требовать теперь въ интересахъ порядка и охраненія.

Настоящая статья написана человѣкомъ, который считаетъ себя не только вѣрнымъ сыномъ своего отечества, но и вѣрнымъ подданнымъ своего Государя, убѣжденнымъ сторонникомъ могущественной царской власти въ Россіи. Но именно по этому самому онъ считаетъ, что полицейскій абсолютизмъ, именуемый „самодержавіемъ“, подлежитъ упраздненію какъ въ интересахъ Россіи, такъ и въ нераздѣльно связанныхъ съ ними интересахъ Престола. Въ нижеслѣдующемъ авторъ старается показать, что этотъ абсолютизмъ не только не составляетъ силу царской власти, а окончательно связываетъ и подрываетъ ее, наноситъ ей величайшій нравственный и политическій ущербъ и противопоставляетъ ее Россіи, какъ чуждую и враждебную; авторъ стремится показать, какимъ образомъ въ системѣ бюрократическаго абсолютизма, являющейся необходимымъ результатомъ развитія „самодержавнаго правленія“, мнимая „неограниченность“ царской власти неизбежно обращается въ худшее изъ всѣхъ ограниченій, и какимъ образомъ подъ конецъ самое *единодержавіе*, реальная власть монарха, приносится здѣсь въ жертву призраку *самодержавія*.

I.

Въ теченіе четверти вѣка насъ стремились убѣдить въ томъ, что самодержавіе не совмѣстимо съ земскимъ самоуправленіемъ, съ свободой совѣсти и печати, съ свободой общественныхъ собраний, съ обезпеченностью личности, съ всесловнымъ гражданскимъ порядкомъ, съ независимостью и гласностью суда, съ автономіей университетовъ. Это доказывали единодушно не только противники самодержавія, но еще болѣе его призванные охранители. И это было доказано бесспорно и неопровержимо не разсужденіями, не памфлетами или министерскими записками и официальными докумен-

тами, а самыми фактами, самой логикой вещей, ходомъ событий, законодательными актами, всѣмъ развитіемъ русской жизни.

Культурнымъ преуспѣніемъ, общественнымъ развитіемъ Россіи приходилось жертвовать во имя чего-то болѣе важнаго и значительнаго. Самодержавіе — залогъ силы Россіи, ея единства и славы. Его защищаютъ сторонники сильной власти и поборники національно-патріотической идеи: сильная власть является оплотомъ противъ смуты, гарантіей неизблемости порядка, который необходимъ и для преуспѣянія Россіи. Сильная власть въ такомъ громадномъ государствѣ, какъ Россія, является необходимымъ условіемъ правильного неукоснительнаго дѣйствія государственнаго механизма. Самодержавный царь служитъ воплощеніемъ національно-патріотической идеи единства и мощи Россіи, залогомъ внутреннего мира и того мира, который она столь властно и нерушимо блюдетъ въ Европѣ и въ Азіи. „Сильный, державный“ русский самодержецъ царствуетъ „на славу намъ“ и „на страхъ врагамъ“.

И вотъ опять-таки не отвлеченныя разсужденія, не пустыя слова, не заграничныя подпольные листки, а та же неумолимая, неподкупная, грозная дѣйствительность показала воочию всѣмъ русскимъ людямъ, вѣрнымъ отечеству и престолу, всю внутреннюю и внѣшнюю *слабость* самодержавія, всю гибельную опасность его не только для преуспѣянія Россіи, но для ея цѣлости, мало того — для прочности достоинства и силы самого Престола.

Самодержавное правленіе принимали за сильное правительство, и оно не въ силахъ подавить непрерывно возрастающую смуту, съ которою оно борется скоро полвѣка. Въ немъ указывали гарантію неизблемаго порядка — и оно держитъ страну въ осадномъ положеніи въ теченіе четверти вѣка; оно непрерывно расширяетъ и усиливаетъ власть администраціи, облекая ее дискреціонными, неограниченными полномочіями; оно создаетъ рядъ новыхъ административно-полицейскихъ учреждений, формируетъ цѣлыя арміи полицейскихъ чиновъ, на которыя тратятся милліоны народныхъ средствъ: и всѣ эти арміи и учрежденія, всѣ эти многоочятые престолы, силы, начальства и власти полицейской іерархіи не въ состояніи водворить въ странѣ не только внутреннего мира, спокойствія, довольства, но даже порядка. Призывъ къ усиленію власти раздается тридцать лѣтъ, ея полномочія непрерывно расширяются, ея средства растутъ, ея органы умножаются, и вмѣстѣ съ тѣмъ непрерывно усиливается распушенность, умножается смута, растетъ безпорядокъ и общее недовольство. Очевидно, что пагубная сла-

бость власти состоитъ не въ недостаткѣ полномочій, матеріальныхъ средствъ или вѣшной силы, а въ какомъ-то другомъ организмомъ недостатокъ нашего административнаго строя, который мѣшаетъ правительственной власти справляться съ своей задачей. И тѣ новыя полномочія, которыя, согласно проектамъ и предположеніямъ г. фонъ-Плеве, должны были еще болѣе расширить власть губернаторовъ, сдѣлать ее почти абсолютной, едва ли могли сдѣлать ее болѣе авторитетной и сильной: всѣ эти и многія другія полномочія давно имѣются у турецкихъ пашей и китайскихъ губернаторовъ, и однако правительственная власть въ Турціи и Китаѣ еще болѣе безсильна, и, при всемъ благоговѣніи населенія къ священной особѣ падишаха или богдыхана, смута и общее распаденіе въ Турціи и Китаѣ еще болѣе грозны и страшны, нежели у насъ. И, съ другой стороны, административно-полицейская власть въ конституціонной Германіи оказывается безконечно болѣе авторитетной, сильной и строгой, при отсутствіи какихъ-либо дискреціонныхъ полномочій, при строгой отвѣтственности и законности.

Повидимому, неограниченный произволъ при общемъ беззаконіи составляетъ не силу, а слабость правительственной власти; повидимому, законность и правовой порядокъ не ослабляютъ ея, а служить непремѣннымъ условіемъ ея силы и авторитета; повидимому, гласность и отвѣтственность служатъ гарантіей правильнаго функционированія ея органовъ.

Самодержавіе принимали за вѣрное ручательство единства и цѣлости, внутренняго мира Россіи. И однако одно существованіе осажденнаго положенія, безъ котораго въ настоящее время нельзя управлять Россіей, показываетъ, чѣмъ держится этотъ внутренній миръ. Во имя національной идеи за послѣднюю четверть вѣка было открыто гоненіе на всѣ нерусскія національности, входившія въ составъ Имперіи и самымъ существованіемъ своимъ напоминавшія ей, что она есть нѣчто большее и высшее, чѣмъ національное царство, что она есть дѣйствительно *Имперія*, т.-е. міровое государство, способное соединять народы подъ своей мирной державой. Сначала вѣрноподанные, строго консервативные феодалы и мирные бюргеры прибалтійскихъ провинцій должны были испытать чашу мятежныхъ поляковъ; затѣмъ наступилъ вѣроломный и бессмысленный разгромъ несчастной Финляндіи, свобода и процвѣтаніе которой составляли честь русскихъ императоровъ, лучшее украшеніе ихъ вѣнца; затѣмъ послѣдовалъ разгромъ армянской церкви и погромы евреевъ, вызвавшіе общій ужасъ и негодованіе и закрывшіе Государю до-

ступъ въ нѣкоторыя страны Европы. Таковы плоды нашего миролюбія во внутренней политикѣ. Но инородцами и инородцами дѣло не ограничилось: въ положеніи внутреннего врага послѣдовательно оказались вся русская интеллигенція, русское земство, русскіе университеты, русская печать. Массовыя ссылки, систематическій разгромъ земскаго самоуправления, разгромъ университетовъ, тяжкія репрессіи и административныя кары, экзекуціи, реквизиціи — все это происходило въ коренной Россіи. Не мятежныя окраины, а самый центръ обратился въ завоеванную и все еще не зампренную непріятельскую страну, живущую подъ осаднымъ положеніемъ. Опасное положеніе въ Польшѣ, броженіе въ Финляндіи, броженіе въ Закавказьи, революціонное движеніе среди евреевъ по всей Имперіи, оппозиціонное настроеніе среди земствъ, систематически возмущаемыхъ правительственными мѣропріятіями, революціонное движеніе среди всѣхъ высшихъ и даже среднихъ учебныхъ заведеній Имперіи, хроническіе студенческіе беспорядки и рабочіе беспорядки, наконецъ, аграрное броженіе среди хаотической крестьянской массы — такова картина внутреннего мира, подъ сѣнью русскаго самодержавія.

Идея государства, какъ правового союза, не только исчезаетъ, но систематически отвергается; политическое единство замѣняется единствомъ полицейскимъ, и русскій царь обращается въ глазахъ подданныхъ въ какого-то верховнаго оберъ-полицеймейстера, шефа жандармовъ Имперіи. Правственные и правовыя узы, составляющія государство изъ гражданъ, расшатываются въ корнѣ. Остается, правда, національность, какъ этнографическій фактъ — стихійная, глубоко дезорганизованная масса, лишенная всякихъ правовыхъ нормъ, не имѣющая даже гражданскаго права, предоставленнаго всецѣло внутренней анархіи и полицейскому произволу, угнетаемая, обижаемая, эксплуатируемая, вѣчно голодная и безземельная, среди необозримыхъ земельныхъ богатствъ.

Чтобы сохранить всю свою внутреннюю мощь и внѣшнюю силу, свое великое созидающее и творческое значеніе въ народной жизни, державная власть должна была довершить дѣло реформы, начатое освобожденіемъ крестьянъ, и водворить въ Россіи основное начало правовой государственности, безъ которой предшествовавшія реформы являлись живымъ противорѣчіемъ въ русской жизни. Отступивъ передъ послѣднимъ шагомъ, самодержавіе по необходимости должно было обратиться противъ предшествовавшихъ реформъ и вступить на ложный, пагубный путь *разрушительной* реакціи, пре-

вращаясь въ *антиправовое* и постольку антигосударственное начало, источникъ внутренней смуты и распада, послѣдствія котораго сказались не только во внутреннемъ положеніи Россіи, но и въ тяжкомъ внѣшнемъ кризисѣ, переживаемомъ нынѣ.

Четверть вѣка мы наблюдали этотъ процессъ распаденія и прогрессирующей смуты. Намъ говорили, что еще не пришло время, что міровыя задачи Россіи требуютъ еще жертвъ отъ нашего патріотизма, что одно самодержавіе можетъ служить залогомъ внѣшней силы Россіи, ея престижа въ Европѣ и Азіи и того мира, который царь поддерживаетъ своимъ миролюбіемъ. Изъ году въ годъ Россія платила миллиарды на армію, флотъ и военныя дороги. Когда раздавались голоса, указывавшіе на другія неотложныя культурныя нужды Россіи, слышался отвѣтъ, что на первомъ мѣстѣ стоятъ нужды арміи и флота, національной обороны. Восточный вопросъ, разрѣшеніе котораго составляетъ историческую миссію Россіи, требуетъ отъ насъ великой военной и морской силы, всегда готовой по первому мановенію державнаго вождя встать въ защиту Россіи и христіанскаго міра противъ натиска невѣрнаго Востока.

И что же? Оградило ли самодержавіе честь и славу Россіи, престижъ русскаго имени на Западѣ и Востокѣ, миръ Европы и Азіи? Оказалось ли миролюбіе и „миротворчество“ въ международныхъ отношеніяхъ болѣе успѣшнымъ, нежели во внутренней политикѣ? Подвинулось ли за эту четверть вѣка рѣшеніе восточнаго вопроса въ благоприятномъ для насъ смыслѣ, и поддерживались ли, по крайней мѣрѣ, славныя традиціи прежней русской политики на Востокѣ?

Мы рѣшительно отступили отъ нихъ по отношенію къ Турціи: мы предали ей армянскій народъ на избіеніе, которое совершилось у насъ на глазахъ и которое однимъ твердымъ словомъ, одною твердою волей русскаго самодержца могло быть остановлено. Мы отшатнули отъ себя и ожесточили противъ себя въ равной мѣрѣ и грековъ и болгаръ, обманывая ихъ и проявляя по отношенію къ Портѣ малодушную слабость и потворство, нанеся глубокій ударъ русскому престижу. Онъ палъ глубоко и въ Центральной Азіи, несмотря на хвастливыя угрозы газетъ по адресу Англіи: Синяя книга по Тибетскому вопросу, опубликованная передъ началомъ японской войны, показываетъ, какія оскорбленія мы спокойно переносили за годъ передъ тѣмъ отъ Сентъ-Джемскаго кабинета. Наконецъ, на Дальнемъ Востокѣ, гдѣ мы шли на всѣ уступки,

требуемая Японіей, намъ не удалось купить у ней мира. Мы были постыдно застигнуты врасплохъ. Каковъ бы ни былъ исходъ этой войны, она есть ничѣмъ не вознаградимый погромъ, бѣдствіе для Россіи, плодъ безумной, чисто случайной политики, идущей въ разрѣзъ съ національными интересами!

Дай Богъ побѣды русскому оружію! Дай Богъ, чтобы въ двойной борьбѣ съ вѣншимъ врагомъ и съ тѣми крайними затрудненіями, которыя возникаютъ изъ полной неподготовленности къ войнѣ, наши войска возстановили престижъ Россіи и дали отпоръ первому, зловѣщему натиску монголовъ. Но никакія побѣды русскаго воинства, никакіе геройскіе подвиги не оправдаютъ политики, которая вызвала эту войну и привела нашу армію на бойню, а нашъ флотъ — въ Портъ-Артурскую мышеловку. Побѣды и пораженія и вся русская кровь, проливаемая теперь въ дебряхъ Манчжуріи, свидѣлствуютъ противъ того гибельнаго режима, который дѣлаетъ честь и цѣлость Россіи и жизнь ея сыновъ игрушкой слѣпного случая.

Допустимъ на минуту, что въ Россіи существуетъ народное представительство. Вѣдь несомнѣнно, что при немъ вся эта война и вся предшествующая позорная манчжурская эпопея были бы просто немыслимы, такъ какъ всѣмъ было бы до очевидности ясно, что никакихъ реальныхъ интересовъ у насъ въ Манчжуріи нѣтъ и что расточать на нее народныя средства, столь нужны дома, бессмысленно и преступно. Было ли бы возможно тогда пресловутое строительство манчжурской дороги, эта наглая вакханалія безнаказаннаго воровства, стоившая милліарды и вовлекшая насъ въ дальнѣйшія затраты народныхъ средствъ и народной крови? Руководствовалась ли бы русская политика на Дальнемъ Востокѣ темными происками случайныхъ проходивцевъ? И, наконецъ, даже, если бы Россія дѣйствительно, съ вѣдома и согласія народныхъ представителей, рѣшилась утвердиться въ Портъ-Артурѣ, этомъ новомъ замерзающемъ портѣ, то развѣ была бы мыслима теперешняя полная неподготовленность къ оборонѣ, эти правительственныя сообщенія о нашемъ миролюбіи, помѣшавшемъ намъ предупредить войну? Развѣ возможенъ былъ бы этотъ флотъ, это преступное судостроительство съ его чудовищными злоупотребленіями, это воровство морского и артиллерійскаго вѣдомства?

Все это было бы невозможнымъ у насъ, какъ оно невозможно въ Японіи. Имѣй мы отвѣтственное правительство, мы избѣгли бы ужасовъ войны, сберегли бы милліарды народныхъ средствъ, имѣ-

ли бы флотъ и артиллерію не хуже японскихъ и, въ сознаніи нашей силы, наслаждались бы дѣйствительнымъ миромъ подъ сѣнью державнаго сильнаго царя, который царствовалъ бы на страхъ врагамъ, а не подданнымъ. Ослабило ли бы это его силу, его престижъ?

Ослабилъ ли свою силу и свой престижъ японскій микадо, отбросивъ варварскія, языческо-монгольскія формы, облакавшія его власть и вмѣстѣ связывавшія ее цѣпями всемогущей бюрократіи? Нѣкогда его особа была столь же божественно-священна, какъ особа китайскаго богдыхана, и еще болѣе связана бюрократіей, чѣмъ власть русскаго царя. Ослабилъ ли онъ эту власть, ослабилъ ли онъ боевую силу Японіи, японскій флотъ, японскую администрацію, давъ странѣ правовой порядокъ? Государственные люди Японіи поняли, что для того, чтобы увеличить силу Японіи, недостаточно усовершенствованныхъ пушекъ и судовъ; они поняли, что и государственный корабль нуждается въ усовершенствованіи и что самая техника управленія этимъ кораблемъ должна соответствовать современнымъ требованіямъ. Они сознали, что на старомъ парусномъ суднѣ, какъ бы громоздко оно ни казалось, нельзя занять почетнаго мѣста среди культурныхъ государствъ.

Мы далеки отъ всякой идеализаціи скороспѣлой японской культуры или японскаго государственнаго строя, этого „плохого перевода“ съ нѣмецкаго подлинника. Но какъ бы то ни было, этотъ „плохой переводъ“ не помѣшалъ японцамъ создать свою внушительную, грозную даже для насъ, боевую силу. Прекрасная армія и флотъ, который къ началу войны оказался сильнѣе нашего, а главное — построеннымъ безъ упущеній и воровства и содержимымъ въ большемъ порядкѣ, — вотъ національное дѣло конституціонной Японіи. Взрывъ народныхъ страстей и подстрекательства Англіи вызвали войну, которая можетъ быть пагубна для молодого государства. Но каковъ бы ни былъ исходъ войны, та мысль, которая руководила преобразованіемъ Японіи и сдѣлала ее сильной, дала ей *начатки* правовой государственности, не была бессмысленнымъ мечтаніемъ какъ ни дерзко казалось единоборство съ Россіей.

II.

Для всякаго добросовѣстнаго, искренняго человѣка совершенно ясно, что въ настоящее время, при современныхъ условіяхъ государственной жизни, самодержавіа въ Россіи не только нѣтъ, но и быть не можетъ. Оно существуетъ лишь номинально и является

лишь величайшимъ обманомъ или самообманомъ. Оно становится предметомъ ложной вѣры, настоящаго культа, какъ въ древнемъ Египтѣ, гдѣ фараоны приносили жертвы собственному изображенію и изъ царей дѣлались жрецами самодержавія. На дѣлѣ, однако, весь этотъ культъ, вся эта міеологія прикрываетъ обманъ: самодержавіе, какъ сказано давно, есть лишь *фирма бюрократическаго предпріятія, гарантирующая безнаказанность, безответственность и неограниченный произволъ участниковъ этого предпріятія.*

Существуетъ самодержавіе полицейскихъ чиновъ, самодержавіе земскихъ начальниковъ, губернаторовъ, столоначальниковъ и министровъ. Единаго царскаго самодержавія въ собственномъ смыслѣ этого слова не только не существуетъ, но и не можетъ существовать. И если бы русскій царь захотѣлъ возстановить свое *единодержавіе*, ему пришлось бы начать съ того, чтобы низложить безчисленныхъ самодержцевъ, узурпирующихъ его власть, т. е. сдѣлать свое правительство реально *ответственнымъ*; и этого опять-таки сдѣлать нельзя безъ помощи органа, совершенно необходимаго и незаменимаго въ технику современнаго государственнаго управленія, *безъ собранія народныхъ представителей.*

Бюрократическая организація, которая сама себя контролируетъ, учитываетъ, нормируетъ, является фактически безответственной, безконтрольной, самодержавной. Бюрократическая организація великой Имперіи, русское правительство въ цѣломъ, ответственное предъ Государемъ — это лишь слова, и притомъ явно лживыя слова, прикрывающія фактическую безответственность правительства, поскольку никакой царь, обладай онъ гениемъ Петра, не въ состояніи единолично контролировать, учитывать, нормировать безконечно сложную дѣятельность правительства — превратить номинальную ответственность его органовъ въ фактическую. Ему остается передать свое право и обязанность верховнаго контроля самой бюрократіи и тѣмъ санкціонировать *ея* самодержавіе, ограничиваясь по необходимости спорадическимъ и чисто случайнымъ вмѣшательствомъ; либо же онъ долженъ вызвать къ жизни органъ, стоящій внѣ правительственной бюрократіи, — органъ, единственно способный осуществить реальный контроль надъ нею и нормировать *ея* дѣятельность путемъ законодательства, отвѣчающаго потребностямъ и нуждамъ страны. Такимъ органомъ можетъ быть только собраніе народныхъ представителей; оно столь же заинтересовано, какъ и самъ монархъ, въ томъ, чтобы контроль надъ

дѣятельностью правительственныхъ органовъ былъ дѣйствительнымъ; оно всего болѣе компетентно въ сужденіи о пользахъ и нуждахъ представляемаго имъ народа, и оно всего болѣе заинтересовано въ согласованіи законодательства и политики съ этими нуждами.

Мы выставляемъ слѣдующія и безспорныя для насъ положенія:

1) Помимо народного представительства и безъ него, бюрократія будетъ фактически безконтрольной и безотвѣтственной, а поэтому лишь народное представительство можетъ служить царю и народу гарантіей законности и правопорядка. 2) Помимо народного представительства, монархъ не можетъ осуществить свое право контроля и не можетъ быть освѣдомленъ истиннымъ образомъ о народныхъ пользахъ и нуждахъ, о состояніи различныхъ отраслей управленія, о ихъ дѣйствіи на страну. 3) По этому самому, помимо народного представительства, не можетъ быть и сколько-нибудь рациональной, цѣлесообразной, органической законодательной дѣятельности, соответствующей потребностямъ страны. Слѣдовательно, не существованіе народного представительства, а, наоборотъ, его отсутствіе парализуетъ царскую власть и поражаетъ ее немощью.

Дѣйствительно, такого представительства у насъ не существуетъ, но сильнѣе ли отъ этого власть монарха, или нѣтъ? Замѣняетъ ли онъ собою, и можетъ ли какой бы то ни былъ монархъ вообще замѣнить собою народное представительство, единолично выполнить его, необходимую для современнаго государства, функцію? Самодержавенъ ли, полновластенъ ли онъ на дѣлѣ при отсутствіи парламентскихъ учреждений и является ли онъ дѣйствительнымъ хозяиномъ Россіи?

Царь, который при современномъ положеніи государственной жизни и государственнаго хозяйства можетъ знать о пользахъ и нуждахъ народа, о состояніи страны и различныхъ отраслей государственнаго управленія лишь то, что не считаютъ нужнымъ отъ него скрывать, или то, что считаютъ нужнымъ ему представить; царь, узнающій о странѣ лишь то, что можетъ дойти до него черезъ посредство сложной системы бюрократическихъ фильтровъ, ограниченъ въ своей державной власти болѣе существеннымъ образомъ, нежели монархъ, освѣдомленный о пользахъ и нуждахъ страны непосредственно ея избранными представителями, какъ это сознавали еще въ старину великіе московскіе государи.

Царь, который не имѣетъ возможности контролировать правительственную дѣятельность или направлять ее самостоятельно, со-

гласно нуждамъ страны, ему неизвѣстнымъ, ограниченъ въ своихъ государственныхъ правахъ тою же бюрократіей, которая сковываетъ его народъ. Онъ не можетъ быть признанъ самодержавнымъ государемъ: не *онъ* держитъ власть, *его* держитъ всевластная бюрократія, опутавшая его своими безчисленными щупальцами. Онъ не можетъ быть признанъ государственнымъ хозяиномъ страны, которой онъ не можетъ знать и въ которой каждый изъ его слугъ хозяйничаетъ безнаказанно по-своему, прикрываясь *его* самодержавіемъ. И чѣмъ больше кричатъ они объ его самодержавіи, объ этомъ чудесномъ, божественномъ учрежденіи, необходимомъ для Россіи, тѣмъ тѣснѣе затягиваютъ они мертвую петлю, связывающую царя и народъ. Чѣмъ выше превозносятъ они царскую власть, которую они ложно и кощунственно обоготворяютъ, тѣмъ дальше удаляютъ они ее отъ народа и отъ государства. А между тѣмъ народу нуженъ не истуканъ Навуходоносора, не мнимое мнелогическое самодержавіе, котораго въ дѣствительности не существуетъ, а дѣствительно могущественная и живая царская власть, свободная, живущая, дающая народу порядокъ и право, гарантирующая законность и свободу, а не произволъ и общее безправіе. Долгъ вѣрноподаннаго состоитъ не въ томъ, чтобы кадить истукану самодержавія, а въ томъ, чтобы обличать ложь его мнимыхъ жрецовъ, которые приносятъ ему въ жертву и народъ и живого царя.

Все это такъ ясно и просто, такъ давно сознается и понимается мыслящими русскими людьми, такъ убѣдительно и грозно доказывается теперь самою дѣствительностью! И неужели же намъ это еще доказывать?

„Самодержавіе“ есть великая хартія вольностей безотвѣтственной и безконтрольной бюрократіи, — хартія, растлившая ее сверху до низу. Царь можетъ увольнять отдѣльных чиновниковъ, замѣнять одного, фактически безконтрольнаго, министра другимъ — бюрократическая организація, подобно гидрѣ, не боится отсѣченія отдѣльных членовъ, да и что можетъ измѣняться отъ увольненія отдѣльных лицъ? Но безотвѣтственность простирается и на нихъ, на отдѣльных представителей бюрократіи, взятой въ цѣломъ. Общая безнаказанность за преступленія по должности, въ особенности за превышеніе власти, вошла въ систему государственнаго управленія. Это положеніе не требуетъ поясненій, до такой степени оно бесспорно и очевидно, возьмемъ ли мы наиболѣе вопіющій примѣръ казнокрадства — панаму манчжурской дороги, панаму

морского и артиллерійскаго вѣдомствъ, или примѣры прямо преступныхъ дѣйствій и бездѣйствій административныхъ властей — разгромъ духоборовъ, кишиневскій погромъ или тысячи другихъ повседневныхъ и мелкихъ явленій русской жизни.

Допустимъ, что Петръ I воскресъ среди насъ съ своей дубиной и лично расправляется съ своими слугами за всякое замѣченное упущеніе или злоупотребленіе. Но вѣдь еще и въ его времена единоличная расправа не помогала. Она не мѣшала Меншикову воровать, и его отвѣтъ на угрозу Петра, что у него нехватитъ веревокъ, чтобы перевѣшать всѣхъ виновныхъ въ казнокрадствѣ, показываетъ все безсиліе единоличной расправы даже такого Государя-исполина, какимъ былъ Петръ.

И какъ ни гнусно и опасно безнаказанное воровство, особливо въ дѣлѣ національной обороны, оно составляетъ далеко не самый главный и серьезный порокъ нашей бюрократіи, хотя изъ году въ годъ люди вполне безпристрастные и освѣдомленные констатируютъ быстрый ростъ и этого наследственнаго недуга ея. Хуже во сто кратъ общая деморализація и растлѣніе, отсутствіе элементарнаго чувства законности, произволъ, одинаково развращающій начальствующихъ и подчиненныхъ, мертвенное бездушіе, неизбѣжная необходимость постоянного попустительства, потворства сдѣлокъ съ совѣстью, а отсюда — апатія и нерѣдко — преступное нерадѣніе. Хуже всего постоянная атмосфера лжи, возводимой въ принципъ.

Итакъ, путемъ единоличной расправы, если бы даже она могла имѣть мѣсто, нельзя побороть зла, нельзя водворить въ правительственной организаціи инстинкта законности, влить въ нее живую дѣйствительную силу и сообщить ей авторитетъ — поднять ее нравственно въ глазахъ страны. Чтобы достигнуть этихъ результатовъ, царская власть должна исправить самую организацію, осуществивъ по отношенію къ ней свои державныя права въ полномъ объемѣ. Она должна сдѣлать свое правительство реально отвѣтственнымъ передъ собою, передъ страной, передъ тѣмъ дѣломъ, которое ему ввѣрено, а для этого нѣтъ другого средства, кромѣ народнаго представительства, кромѣ парламента Его Величества, или Государевой Земской Думы — если это названіе болѣе ласкаетъ наше ухо. Помимо этого средства, отвѣтственность правительства есть пустой звукъ. А безъ такой отвѣтственности самое единодержавіе мнимо, и законности нѣтъ, и не будетъ.

Перейдемъ ко второму нашему положенію, — что, помимо народнаго представительства, верховная власть не можетъ быть исти-

нымъ образомъ освѣдомлена о дѣйствительныхъ пользахъ и нуждахъ народныхъ, о состояніи страны, узнавая о ней лишь черезъ посредство бюрократическихъ инстанцій, отдѣленная отъ нея непроницаемымъ „средостѣніемъ“.

Доказывать этотъ тезисъ я считаю излишнимъ: пусть защитники самодержавія рѣшатся доказывать, что при существующемъ режимѣ верховная власть можетъ быть освѣдомлена о томъ, что дѣлается въ Россіи, — тогда мы спросимъ у нихъ: почему же верховная власть не освѣдомлена? Вѣдь этого они отрицать не осмѣлятся, ибо утверждать, что Государь освѣдомленъ о положеніи Россіи, значило бы клеветать на него. Если бы только онъ зналъ дѣйствительно всѣ беззаконія и преступленія, которыя совершаются его именемъ въ Финляндіи, Польшѣ, Привислянью, Закавказьи, въ Сибири, и главное, и всего болѣе въ коренной, собственной Россіи; если бы онъ на мгновеніе увидалъ въ истинномъ свѣтѣ положеніе страны, — онъ не могъ бы долѣе снести всей лжи, его окружающей, не согласился бы ни одного дня долѣе признавать себя „самодержцемъ“ и принимать отвѣтственность за столько неправды, столько жестокихъ обидъ, насилій, злодѣяній, хищеній. *Невозможное*, невозможность знать то, что творится въ Россіи — вотъ лучшее, единственное оправданіе Царя и вмѣстѣ — это худшее и безусловное осужденіе самодержавія, его приговоръ. Верховная власть великой Имперіи не можетъ, не должна быть слѣпорожденной и осужденной на вѣчную слѣпоту. И не нужно доказывать, какую страшную опасностью грозитъ такая слѣпота во всѣхъ отрасляхъ внутренней и виѣшней политики. Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ она привела Россію къ Севастополю — теперь она завела насъ въ Манчурію и ввергла насъ въ гибельную войну, знаменующую собою начало ряда грядущихъ восточныхъ войнъ, для которыхъ потребуются всѣ наши силы, весь собирательный разумъ, весь Совѣтъ Земли Русской. Да будетъ зрячею русская сила и верховная власть нашей земли!

Безъ свободы не можетъ быть свѣта и разума, а безъ свѣта и разума не можетъ быть закона и правды. И отсюда третье наше положеніе: при полной безконтрольности и безотвѣтственности правительства Монархъ — не въ силахъ нормировать его дѣятельность; при неограниченномъ полицейско-бюрократическомъ произволѣ не можетъ быть прочнаго закона, устойчивыхъ правовыхъ нормъ. При отсутствіи дѣйствительнаго освѣдомленія о внутреннемъ состояніи и потребностяхъ страны не можетъ быть разумнаго и дѣйствительнаго законодательства.

И вотъ, при безконечномъ множествѣ существующихъ законовъ и необычайно плодovitомъ канцелярскомъ сочинительствѣ новыхъ законопроектовъ, Россія страдаетъ бесплодіемъ законодательства и безсиліемъ закона. При фактическомъ самодержавіи бюрократіи нарушается кореннымъ образомъ первая основная статья свода законовъ, составляющая главу, краеугольный камень этого свода — статья о власти самодержца. Не законами ограничивается эта власть, а принципиальнымъ беззаконіемъ безответственнаго правительства.

Отсюда *безсиліе закона*, которое прежде всего проявляется въ полномъ неуваженіи къ нему со стороны правящихъ и со стороны управляемыхъ, въ полномъ отсутствіи живого сознанія того, *что такое законъ*. Страна управляется не закономъ, а административнымъ произволомъ и „временными правилами“, нерѣдко, даже почти всегда, идущими въ разрѣзъ съ дѣйствующими законами, или же столь же вѣзаконными и противозаконными министерскими постановленіями и распоряженіями, скрѣпленными монаршею подписью.

Вотъ чѣмъ объясняется естественное бесплодіе и безпринципальность законодательной работы, ея совершенная неспособность къ созданію устойчивыхъ и жизнеспособныхъ нормъ. Передъ русскимъ законодательствомъ по каждому конкретному вопросу ставится совершенно невозможная и, во всякомъ случаѣ, неестественная задача согласованія противоположныхъ непримиримыхъ требованій, юридическихъ и антиюридическихъ — требованій правового порядка и антиправовыхъ требованій полицейскаго абсолютизма.

Истинныя объективныя правовыя нормы не сочиняются, не выдумываются, а открываются и устанавливаются сообразно истинному существу тѣхъ или иныхъ институтовъ, общественныхъ отношеній и функций, тѣхъ или другихъ дѣйствительныхъ *правопотребностей*. Русский чиновникъ, заготовляющій законопроектъ, долженъ имѣть въ виду не законодательное установленіе или формулировку какихъ-либо объективныхъ и дѣйствительныхъ правовыхъ нормъ, не дѣйствительныя *правопотребности*, не тѣ законоположенія, которыя въ данныхъ реальныхъ условіяхъ являются наиболѣе объективными, цѣлесообразными, справедливыми, юридически-вѣрными или естественными, а тѣ, которыя соотвѣтствуютъ тенденціознымъ требованіямъ полицейскаго абсолютизма, иногда чисто случайнымъ требованіямъ невѣжественной фантазіи начальства или вліятельныхъ временщиковъ. Такимъ законодателемъ

руководять не интересы права или требованія дѣйствительности, а вѣдомственный или служебный интересъ и требованія службы. Этимъ и объясняется безпомощность и несостоятельность нашего законодательства по всѣмъ сколько-нибудь крупнымъ вопросамъ. Игнорировать вполне дѣйствительность съ ея реальными требованіями — точно такъ же какъ вполне игнорировать право съ его логикой и его юридическими требованіями — представляется невозможнымъ или труднымъ; но, съ другой стороны, признать право въ полной мѣрѣ представляется еще болѣе труднымъ и невозможнымъ въ виду требованій антиправового бюрократическаго абсолютизма. И вотъ, въ виду этого затруднительнаго положенія, остается изобрѣтать компромиссы и предаваться законодательному лукавству или же обходиться суррогатами законовъ въ видѣ временныхъ правилъ и Высочайше утвержденныхъ постановленій комитета министровъ.

Про всѣ институты, составляющіе необходимую принадлежность современной государственности (*état moderne*), — земское и городское самоуправленіе, судъ присяжныхъ, университеты, можно сказать то, что было высказано столь авторитетными представителями нашей бюрократіи о земствѣ, т.-е., что они несовмѣстимы съ „бюрократическимъ абсолютизмомъ“, при чемъ это можно доказывать совершенно аналогичными аргументами. Вполнѣ упразднить ихъ, однако, не рѣшаются, а вмѣстѣ признать ихъ право, признать тѣ правовыя нормы, безъ которыхъ они извращаются или упраздняются — тоже нельзя. И отсюда Сизифова работа нашего законодательства, его вѣчное усиліе сѣсть между двумя стульями. Естественно при этомъ, что создаваемые имъ законоположенія являются немоощными и мертворожденными, нерѣдко совершенно бессмысленными и уродливыми. Нѣкоторые изъ нихъ, пройдя всѣ инстанціи, такъ и не вступаютъ въ силу; другія не могутъ родиться на свѣтъ; обычны случаи ложной законодательной беременности.

Изъ всѣхъ жизненныхъ задачъ, ставящихся законодательству, нѣтъ болѣе важной, болѣе настоятельно требующей рѣшенія, чѣмъ крестьянскій вопросъ: вопросъ административнаго и судебного устройства, вопросъ земельный и экономическій, наконецъ — вопросъ правового устройства крестьянскаго состоянія. Ибо, помимо всего прочаго, помимо того страшнаго и тяжкаго экономическаго кризиса, который переживаетъ наше крестьянство и который представляетъ серьезную государственную опасность, положеніе кре-

стьянства осложняется еще полнымъ отсутствіемъ твердыхъ и ясныхъ юридическихъ нормъ, опредѣляющихъ личное, семейное, имущественное право. По мнѣнію лицъ, близко стоящихъ къ дѣлу, въ этомъ отсутствіи права заключается едва ли не главная причина крестьянскаго нестроенія, одна изъ коренныхъ причинъ хозяйственнаго упадка сельскаго населенія. И если экономическій кризисъ крестьянства считается серіознымъ недугомъ, то отсутствіе права въ его средѣ является источникомъ опасной смерти, противъ которой нельзя бороться одними полицейскими мѣрами.

Никогда передъ законодателемъ не стояло задачи болѣе великой и болѣе отвѣтственной и болѣе непосильной. Разрѣшить ее своими средствами, не спросясь земли, бюрократическое правительство точно такъ же не можетъ, какъ не можетъ оно обратиться къ народному представительству. И вотъ оно изобрѣтаетъ особые способы обращенія къ землѣ, создавая разныя искусственныя и случайныя мѣстныя „совѣщанія“, минуя земство, минуя всякое представительство, чтобы вмѣсто опредѣленнаго отвѣта получить тысячи разрозненныхъ случайныхъ отвѣтовъ и затѣмъ подвергнуть эти отвѣты, собранные въ цѣлую бібліотеку печатныхъ томовъ, дѣйствию министерскихъ лабораторій и министерской перегонки. Вся эта печальная процедура могла послужить собранію огромнаго матеріала далеко не одинаковой цѣнности для будущихъ ученыхъ диссертаций о положеніи Россіи въ началѣ XX в.; она могла служить цѣлямъ провокаціи или агитаціи, она могла служить какому-то обману, но она не могла служить дѣйствительной, серіозной законодательной работѣ.

Доказательства не заставили себя ждать.

Въ краткомъ сводѣ заключеній, выработанныхъ сельскохозяйственными комитетами („Вѣстникъ Фин.“, № 51, 1903), существеннымъ заключеніемъ, касающимся сословной обособленности крестьянства, является признаніе необходимости „устранить обособленность крестьянъ въ правахъ гражданскихъ и личныхъ по состоянію, въ частности — въ области управленія и суда“. И вотъ послѣ того какъ это заключеніе было высказано, какъ бы въ отвѣтъ на него были вновь организованы совѣщанія или комитеты изъ представителей мѣстныхъ дѣятелей и мѣстной администраціи, которымъ разрѣшеніе крестьянскаго вопроса предназначено изъ Петербурга въ духѣ, діаметрально противоположномъ этому вѣскому и вполне правильному заключенію, подсказанному дѣйствительностью, ея неотложными требованіями. Въ указѣ Сенату отъ

8 января 1904 г. предназначается, какъ разъ наоборотъ, сохраненіе сословнаго строя, или, какъ это поясняется въ опубликованномъ одновременно съ этимъ указомъ „Очеркъ работъ редакціонной комиссіи по пересмотру законоположеній о крестьянахъ“ — „сохраненіе обособленности крестьянскаго сословія“. Въ названномъ очеркѣ эта обособленность вмѣстѣ съ „особливымъ порядкомъ управленія крестьянами“ и „неприкосновенностью основныхъ формъ крестьянскаго землепользованія“ прямо признаются главными началами, „одухотворяющими“ (sic) положеніе 19-го февраля. Далѣе говорится, что „право государства на выдѣленіе крестьянъ въ обособленную группу, подчиненную ближайшему надзору особыхъ правительственныхъ органовъ, является логическимъ послѣдствіемъ понесенныхъ государствомъ жертвъ для обезпеченія крестьянскаго быта“. О томъ, имѣютъ ли какія-нибудь „логическія послѣдствія“ вѣковѣчныя жертвы, несомыя крестьянствомъ для обезпеченія государства, „Очеркъ“ умалчиваетъ. Но, независимо отъ права, самая необходимость „обособленія крестьянъ“ оправдывается слѣдующимъ разсужденіемъ, одинаково замѣчательнымъ по своему стилистическому безграмотству и логической нелѣпости:

„Воспитанные въ неустанномъ, упорномъ трудѣ, привыкшіе къ исконной однообразной обстановкѣ жизни, пріученные измѣнчивымъ успѣхомъ земледѣльческихъ работъ къ своей зависимости отъ внѣшнихъ силъ природы и, слѣдовательно (!), отъ началъ высшаго порядка, крестьяне, болѣе чѣмъ представители какой-либо другой части населенія, всегда стояли и стоятъ на сторонѣ создающихъ и положительныхъ основъ общественности и государственности и такимъ образомъ силою вещей являются оплотомъ исторической преемственности въ народной жизни противъ всякихъ разлагающихъ силъ и безпочвенныхъ теченій (sic). — Въ этомъ издавна сложившемся и устоявшемъ въ теченіе вѣковъ бытовомъ своеобразіи нашего крестьянства лежитъ залогъ прочности его особливаго сословнаго строя“.

Хотя изъ дальнѣйшаго изложенія и можно усмотрѣть, что комиссія не скрываетъ отъ себя, какъ тяжело отзывается зависимость отъ внѣшнихъ условій на принудительное „бытовое своеобразіе“ крестьянства на его культурномъ и хозяйственномъ уровнѣ, но, тѣмъ не менѣе, въ увѣковѣченіи такого „своеобразія“, а равно и „сознанія зависимости отъ внѣшнихъ силъ“ она видитъ „оплотъ исторической преемственности въ народной жизни“. Увѣковѣченіе безправія и „формъ землепользованія“, дѣлающихъ

невозможнымъ переходъ къ высшей культурѣ, какъ „оплотъ“ существующаго режима и „созидающихъ положительныхъ основъ общественности и государственности“, — вотъ достойный отвѣтъ петербургской бюрократіи на самую острую изъ всѣхъ нуждъ земли русской!

Но мы не хотимъ отклоняться отъ нашей задачи или вдаваться здѣсь въ какую-либо критику работъ редакціонной комиссіи по существу. Мы хотимъ только указать здѣсь то, что могло быть ясно и до опубликованія какихъ-либо правительственныхъ сообщеній по этому вопросу, а именно, что самая задача — водворить въ деревнѣ правопорядокъ — не можетъ быть не только выполнена, но даже понята должнымъ образомъ, пока правопорядокъ не залегъ въ основу государственнаго управленія.

Судьба тѣхъ немногихъ членовъ сельскохозяйственныхъ комитетовъ, которые рѣшились открыто объ этомъ заявить, достаточно показала, какимъ безсмысленнымъ мечтаніемъ является крестьянская реформа при совершенномъ бюрократическомъ режимѣ.

А между тѣмъ жизнь не ждетъ... Петербургская бюрократія не поняла серіознаго значенія волненій, происходившихъ въ послѣдніе годы среди крестьянства, какъ она не поняла и проглядѣла событія послѣднихъ лѣтъ на Дальнемъ Востокѣ, ту желтую опасность, которая встала передъ Россіей. Она не видитъ и той грозной опасности, которая зрѣетъ въ крестьянской средѣ. Близящаяся смута будетъ для нея такой же неожиданностью, какъ японскій погромъ, и застанетъ ее столь же постыдно неподготовленной и несостоятельной.

И все же представители бюрократіи не могутъ не чувствовать, что они сбились съ пути и ведутъ государственный корабль по ложному курсу. Испугъ и растерянность сказываются въ правительственныхъ мѣропріятіяхъ, въ безсмысленныхъ репрессіяхъ, во лжи правительственныхъ сообщеній, которые ни въ комъ не находятъ вѣры. Они видятъ смуту и ищутъ зачинщиковъ смуты, не понимая, что они сами — главные ея зачинщики, что корень ея лежитъ въ отсутствіи законнаго правопорядка. Они видятъ общую неурядицу и прогрессирующую распущенность, и они кричатъ объ усиленіи власти, не понимая, что сила и полиція не могутъ замѣнить права и свободы и что безъ твердой законности власти не существуетъ, что безъ нея она вырождается въ произволъ, который плодитъ беззаконіе, сѣетъ смуту и рождаетъ анархію.

Вѣрно, что Россіи нужна сильная правительственная власть, и вѣрно то, что въ ней нѣтъ такой власти. Ея не будетъ и впредь, пока мы будемъ замѣнять ее призракомъ самодержавія.

III.

Истинный патріотизмъ одинаково дорожитъ охраненіемъ отечества и его преуспѣніемъ. Истинно консервативная приверженность „положительнымъ, созидющимъ основамъ государственности и общественности“, благоговѣйное, сыновнее отношеніе къ завѣтамъ прошлаго, уясняющимся въ историческомъ сознаніи, не исключаетъ, а, наоборотъ, предполагаетъ, требуетъ отъ нея дѣятельной заботы о культурномъ ростѣ родной земли, объ умноженіи ея духовныхъ и матеріальныхъ силъ, о ея политическомъ и общественномъ развитіи. Въ искренней и просвѣщенной любви къ отечеству то и другое связано нераздѣльно, и тамъ, гдѣ во имя мнимо-консервативныхъ интересовъ парализуется просвѣщеніе, общественная свобода и политическое развитіе страны, тамъ нѣтъ и не можетъ быть дѣйствительнаго охраненія какихъ-либо „созидających“ началъ. Ибо все, что угрожаетъ преуспѣянью страны, угрожаетъ и ея духовному здоровью и крѣпости, ея силъ и благосостоянію, а постольку и ея духовной и матеріальной цѣлости.

Вотъ почему современный нашъ реакціонный консерватизмъ не заслуживаетъ этого названія, являясь мнимымъ и ложнымъ, разрушительнымъ по своимъ результатамъ. Вотъ почему онъ такъ безсиленъ въ дѣлѣ строенія, созиданія, воспитанія общественнаго и въ борьбѣ противъ смуты, которую онъ усиливаетъ и разжигаетъ, будучи столь же революціоннымъ по существу, какъ и тѣ „безпочвенныя теченія“, которыя неразрывно съ нимъ связаны и необходимо имъ вызываются.

Прикрываясь знаменами православія, самодержавія и народности, этотъ мнимый консерватизмъ не только не охраняетъ, но всего болѣе подкапываетъ и разрушаетъ тѣ „положительныя основы“ церкви и государства, которыя онъ беретъ подъ свою защиту. Онъ топчетъ въ грязи и свои знамена, онъ треплетъ ихъ, отдаетъ на поруганіе, дѣлая ихъ предметомъ, достойнымъ ненависти и презрѣнія. Онъ умаляетъ и унижаетъ власть Престола, противопоставляя ее правовому порядку, гласности, общественной свободѣ, современной государственности и общественности. Онъ унижаетъ православіе, противопоставляя его вѣротерпимости, свободѣ совѣсти и свободѣ научнаго изслѣдованія. Онъ позоритъ русскую народность,

дѣлая ее знаменемъ узкаго и безсмысленнаго націонализма. Престолъ, церковь, народность изъ „созидающихъ и положительныхъ основъ государственности и общественности“ превращаются этимъ ложнымъ, революціоннымъ консерватизмомъ въ начала разрушительныя и отрицательныя: въ утвержденіи Престола разрушается гласность, земское и городское самоуправленіе, автономія университета, независимый судъ, земская школа; во имя православія разрушаются храмы инославныхъ; во имя народности разоряется культура окраинъ, подавляется національность поляковъ, нѣмцевъ, финляндцевъ, армянъ. „Положительныя основы“ служатъ лишь предлогомъ абсолютизма петербургской бюрократіи и полицейскаго сыска.

И, такимъ образомъ, въ этомъ ложномъ и живомъ консерватизмѣ нѣтъ прежде всего вѣры въ то, что онъ защищаетъ, нѣтъ увѣренности во внутренней силѣ и правдѣ охраняемыхъ устоевъ. Отсюда возмутительный цинизмъ, постоянная ложь и растерянный испугъ мнимыхъ охранителей, вѣчный страхъ, заставляющій ихъ видѣть смертельную опасность для государства въ каждомъ шорохѣ гласности, въ каждомъ дуновеніи свѣжаго воздуха. Если бы они дѣйствительно вѣрили въ самодержавіе, они не боялись бы свободы. Если бы они вѣрили въ русскій народъ, они не хотѣли бы увѣковѣчить его безправіе. И если бы они вѣрили въ истину православія, они ужаснулись бы насиліемъ, чинимымъ во имя его; они не потерпѣли бы, чтобы во имя его совершались святотатство, взрывали и оскверняли христіанскіе храмы, какъ это дѣлалось въ Западномъ краѣ, или чтобы ради него громили села несчастныхъ сектантовъ, какъ это имѣло мѣсто при разгромѣ духоборовъ; они не допустили бы кощунственнаго превращенія самой церкви въ казенное учрежденіе, лишенное внутренней зависимости и подчиненное той же всевластной бюрократіи, которая и ее дѣлаетъ орудіемъ для своихъ полицейскихъ цѣлей.

Этотъ грѣхъ противъ церкви есть самый тяжкій изъ грѣховъ русскаго государства,—грѣхъ противъ Духа, особенно тягостный для всякаго вѣрующаго патріота. Лучшіе изъ публицистовъ нашихъ обличали его со скорбью и ревностью. Напомнимъ краснорѣчивыя страницы И. С. Аксакова и Вл. Соловьева, который раскрылъ съ такою силою язвы нашей государственной церкви съ ея антиканоническимъ управленіемъ, отсутствіемъ независимой духовной власти и церковной свободы.

Самостоятельность церкви и свобода совѣсти — вотъ требованія, которымъ должно удовлетворять всякое правовое государство

и прежде всего всякое государство, признающее себя христианскимъ. Не даромъ славянофилы съ такою горячностью настаивали на томъ, что именно русское *православное* государство должно въ полной мѣрѣ выполнить ихъ, такъ какъ безъ свободы совѣсти одно ви́шнее православіе обращается въ мертвенное фарисейство, а безъ внутренней независимости церковь Божья „святотатственной рукою“ приковывается къ подножію земной, свѣтской власти. Между тѣмъ именно въ Россіи такое отрицаніе религіозной и церковно-общественной свободы являлось исторически необходимымъ. Плъненіе церкви было естественнымъ и неизбѣжнымъ результатомъ развитія ложнаго начала самодержавія, которое нигдѣ и ни въ какой церкви, а тѣмъ болѣе въ господствующей не можетъ допустить независимую отъ себя сферу общественную. Оно посягало на нее уже со временъ византійскихъ, стремясь осуществить свой абсолютизмъ въ отношеніи къ ней, и въ петербургскій періодъ нашей исторіи эти посягательства приводить къ конечному успѣху: православная церковь становится церковью бюрократическаго цезаропапизма.

И при взглядѣ на ея упадокъ и запустѣніе, на невѣжественное, коснѣющее духовенство, получающее дикое, безобразное воспитаніе и не способное ни понимать, ни удовлетворять духовныхъ запросовъ своей паствы; при видѣ глубокаго отчужденія отъ церкви всей образованной части общества и постоянного отпаденія религіозныхъ народныхъ массъ, влекомыхъ духовной жаждой; при видѣ всей этой немощи и безсилія, оскуднѣнія духа, приниженія, деморализаціи іерархін, порабощенія церкви, что долженъ чувствовать истинно вѣрующій, православный человекъ, видящій въ церкви положительную, зиждущую основу не только государственности, но и *жизни*? Что долженъ чувствовать вѣрный, искренній ревнитель церкви, движимый стремленіемъ *охранить* ее отъ святотатственныхъ посягательствъ, отъ оскверненія, распаденья? Сквозь золото ризъ онъ видитъ цѣпи, сковывающія церковь, и, какъ вѣрный сынъ ея, онъ молится за ея освобожденіе...

Такое положеніе церкви являетъ величайшій соблазнъ для вѣрующихъ и невѣрующихъ, для народа и для интеллигенціи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ своемъ настоящемъ безсиліи, церковь не можетъ успѣшно выполнить и ту полицейскую службу, которую ждетъ отъ нея бюрократическое государство: она не можетъ служить ему опорой и сама требуетъ ви́шней опоры съ его стороны.

Что же въ концѣ концовъ служить дѣйствительной опорой, устоемъ существующаго порядка, т.-е. бюрократическаго абсолютизма? Не церковь, очевидно; не любовь народная, не патріотизмъ, не здравые инстинкты охраненія, ибо, какъ мы видимъ, и патріотизмъ и живая вѣра, интересы народа и интересы интеллигенціи, мало того—интересы самого Престола не могутъ оправдывать этого убійственнаго порядка вещей и должны требовать его скорѣйшаго упраздненія.

Чѣмъ же держится онъ?

Полиціей.

Не охраненіе, а „усиленная охрана“, не церковь, а департаментъ полиціи — вотъ „положительныя основы“ государственности и общественности современной Россіи. Надо быть искренними съ самими собою и спросить себя по совѣсти: *неужели же мы такъ растлѣнны, что бюрократическій абсолютизмъ подѣ фирмой самодержавія могъ бы существовать у насъ долѣе безъ исключительныхъ мръ осаднаго положенія?*

Сама правящая бюрократія не считаетъ этого возможнымъ, и она не ошибается: отвергая правовой порядокъ, необходимый Россіи, остается хронически держать ее въ осадномъ положеніи, управлять ею при помощи режима усиленной охраны.

Многіе изъ представителей высшей бюрократіи не скрываютъ отъ себя того великаго зла и опасности, которыя сопряжены съ самымъ существованіемъ этой „охраны“, являющейся какимъ-то заговоромъ противъ всего русскаго общества. Безконтрольная, тайная, полицейская организація, располагающая неограниченными средствами и дискреціонною властью, опутавшая всю Россію сѣтью шпіонства, представляетъ собою не только общественную, но и государственную опасность — поскольку такая организація, стоящая внѣ закона и находящаяся въ рукахъ наиболѣе презираемыхъ и презрѣнныхъ полицейскихъ агентовъ, естественно и легко дѣлается преступной и необходимо обращается въ жандармократію худшаго сорта, въ тиранію низшихъ агентовъ, въ режимъ слова и дѣла.

И тѣмъ не менѣе, какъ ни опасно и постыдно это зло, оно представляется совершенно неизбѣжнымъ и необходимымъ въ развитіи бюрократическаго абсолютизма. Этого мало, передъ Царемъ стоитъ дилемма — либо перейти къ правовому порядку, либо прогрессивно усиливать полицейскій деспотизмъ, усиливать полномочія полиціи, уничтожая послѣдніе рудименты гласности, самоуправленія и дѣйствительнаго правосудія; отъ режима нагайки придется

перейти къ режиму висѣлицы. „Отецъ мой билъ васъ бичами, а я буду бить васъ скорпіонами“ — вотъ рецептъ усиливающейся реакціи, рецептъ Ровозама, который привелъ къ раздѣленію его царства. Усиливающаяся реакція, возрастающій полицейскій терроръ до момента катастрофы или переворота — вотъ политическая программа, которая приходится одинаково на руку крайнимъ элементамъ и государственнымъ преступникамъ, находящимся на правительственной службѣ, революціонерамъ, работающимъ за свой собственный счетъ и лишь по временамъ получающимъ субсидіи изъ особыхъ средствъ департамента — въ цѣляхъ высшей политики или провокаціи. И этой программѣ мы вынуждены будемъ слѣдовать, если не остановимся въ нашемъ движеніи по наклонной плоскости и не свернемъ съ гибельнаго пути.

Правовой порядокъ или неограниченная жандармократія со всѣми ея неизбѣжными послѣдствіями, съ анархіей, къ которой она ведетъ, — другого выбора нѣтъ. И напрасно было думать, что здѣсь можно измѣнить или исправить что-либо путемъ палліативной реформы самой полиціи, напр. при помощи установленія опредѣленнаго участія прокуратуры въ сыскѣ и дознаніи или судебной власти при наложеніи административныхъ взысканій. Подобными мѣрами можно развратить прокуратуру и дискредитировать судебную власть, что отчасти уже достигнуто, но измѣнить самого существа жандармократіи немыслимо. Хорошая полиція столь же несовмѣстима съ самодержавіемъ, какъ самоуправленіе, гласность, просвѣщеніе: развращенная собственнымъ неограниченнымъ самовластьемъ, полиція лишается всякаго авторитета; чуждая законности и отвѣтственности, она сама ускользаетъ изъ рукъ правительственной власти и теряетъ внутреннюю дисциплину — реальная власть переходитъ въ руки подчиненныхъ низшихъ агентовъ, фактически безконтрольных и пользующихся отсутствіемъ законной отвѣтственности. Акты беззаконнаго превышенія власти, преступленія противъ лицъ якобы неблагонадежныхъ или хотя бы такихъ, относительно которыхъ можно высказать предположеніе въ антиправительственномъ образѣ мыслей, не только не считаются предосудительными, но нерѣдко покрываютъ всевозможныя другія уголовныя преступленія. Немудрено, что при такихъ условіяхъ полиція можетъ нести лишь застѣночную службу, а прямыя и главныя задачи ея, состоящія въ поддержаніи общественной безопасности, постоянно уходятъ на второй планъ и становятся ей непосильными.

Въ началѣ нынѣшняго царствованія катастрофа на Ходынскомъ полѣ послужила тому вѣщимъ указаніемъ; дальнѣйшія многочисленныя волненія и безпорядки могли это подтвердить. Сошлюсь на кишиневскій погромъ. Здѣсь вовсе не было *одного* виновника, одного фантастическаго „царя Прода“, давашаго чудовищную инструкцію послушнымъ исполнителямъ, какъ это рассказывали про г. фонъ Плеве въ заграничной прессѣ, которая исходитъ изъ преувеличеннаго понятія объ исполнительности нашей администраціи и полиціи. Въ дѣйствительности дѣло обстоило несравненно хуже и представляется гораздо болѣе опаснымъ и зловѣщимъ для будущаго: самая административная и полицейская организація оказалась совершенно гнилою и негодною къ выполнению своихъ прямыхъ и элементарныхъ задачъ. Съ другой стороны, выяснилась съ необычайною, ужасающею яркостью и полная слабость и несостоятельность судебной власти, совершенно безсильной исправить это зло: моральное впечатлѣніе кишиневского процесса было, можетъ быть, еще болѣе тягостнымъ, нежели впечатлѣніе самого погрома; тамъ были неистовства безумной, несмысленной, озвѣрѣвшей толпы; здѣсь спокойное систематичное надругательство надъ правосудіемъ, торжественное признаніе неприкосновенности и безнаказанности всѣхъ дѣйствительныхъ виновниковъ, подстрекателей и попустителей погрома, начиная съ низшихъ чиновъ полиціи. Это былъ недостойный возмутительный фарсъ, который наканунѣ войны нанесъ престижу Россіи болѣйшій ущербъ въ глазахъ всего свѣта, нежели самый кишиневскій погромъ. И все это показываетъ, чего мы можемъ ожидать отъ властей при будущихъ неизбежныхъ смутахъ и мятежахъ, къ которымъ они же толкаютъ населеніе.

Выходъ изъ этого положенія одинъ, и возможна лишь одна коренная реформа администраціи — уничтоженіе ея самовласти, подчиненіе ея правопорядку и законной отвѣтственности. Всѣ остальные мѣры суть палліативы, которые останутся безсильными, пока не тронутъ корень зла. Надо понять, что бюрократическій абсолютизмъ, противопологающій себя правовому порядку, гласности и свободѣ общественной и политической, есть не что иное какъ полицейскій деспотизмъ и ничѣмъ инымъ быть не можетъ. Всѣ остальные органы государственнаго управленія обеззакониваются и проникаются полицейскимъ духомъ. Судъ, школа, самое церковное управленіе дѣлаются полицейскими; все подчиняется интересу полиціи и притомъ неизбежно плохой, безчинной полиціи. Нужно ли удивляться, что результатомъ полицейскаго деспотизма являются

бездисциплины, растлѣніе, скука, стѣсненная скука быть вѣчна? А между тѣмъ неумолимая логика вещей, логика системы, не позволяютъ остановить развитіе зла, не измѣнить кореннымъ образомъ нашего строя.

Полицейскій деспотизмъ усиливается годъ отъ году, и гнетъ его все тяжелѣе и тяжелѣе испытывается народомъ и обществомъ, отпавшимъ отъ произволу. Только исключительное положеніе, общественное или служебное, можетъ обезпечить русскаго человѣка отъ грубаго изсилія, отъ попранія элементарныхъ человѣческихъ правъ, отъ оскорбленія, безчестія, обысковъ, ареста, ссылки безъ суда и возможности оправданія — иногда по недосмотру, извѣсту, ошибкѣ или прихоти какого-нибудь агента. За исключеніемъ немногихъ избранныхъ, все русское общество, независимо отъ дѣйствительнаго участія отдѣльныхъ лицъ въ противоправительственныхъ движеніяхъ, ничѣмъ не обезпечено отъ грубой тираніи, отъ возрастающей наглости полиціи и ея постоянныхъ вторженій. Вся интеллигенція находится въ положеніи безправной, поднадзорной. Вся русская учащаяся молодежь съ момента поступленія въ высшее учебное заведеніе попадаетъ подъ усиленный надзоръ полиціи и испытываетъ на себѣ весь безсмысленный унижительный гнетъ ея деспотизма: въ этомъ состоитъ ея политическое крещеніе, ея политическое воспитаніе. Нужно ли говорить, что это воспитаніе — прямо революціонное, и что ничего, кромѣ острой ненависти и возмущенія противъ „жандармокраціи“, оно внушить не можетъ? Самые цѣлѣнные и озлобленные бредни, распространяемые революціонной пропагандой, прививаются учащейся молодежи не вопреки усиленію полиціи, а благодаря ей.

Учрежденія, долженствующія просвѣщать и воспитывать общество, — церковь и школа, — сами парализованы и развращены полицейскимъ режимомъ.

Мы говорили уже о церкви. Утративъ вѣру въ свои внутреннія силы, немощная духомъ и словомъ, она не знаетъ другихъ средствъ борьбы, кромѣ цензуры и полиціи. При помощи духовной цензуры она борется со всякимъ проявленіемъ самостоятельной религіозной мысли или богословской науки; при помощи полиціи она борется съ инославными исповѣданіями, расколомъ и сектантствомъ. На ряду со свѣтской полиціей, тайной и явной, выросла тѣсно связанная съ нею жандармерія духовнаго вѣдомства, особенные шпіоны и провокаторы, агенты въ рисахъ и безъ риса, кощунственно именующіе себя „миссіонерами“, которые, къ злорад-

ству враговъ церкви и соблазну вѣрующихъ, на глазахъ у всѣхъ собираютъ свои безстыдные синагоги подъ названіемъ „миссіонерскихъ сѣздовъ“.

Духовенство, приниженное, безправное, невѣжественное, не въ силахъ бороться противъ этихъ язвъ. Духовная школа, въ которой оно получаетъ свое образованіе, какъ бы нарочно создана для того, чтобы уродовать своихъ питомцевъ, сдѣлать ихъ одинаково далекими и чуждыми какъ простому народу, такъ и образованному обществу, неспособными ни понимать свою среду, ни воздѣйствовать на нее. Она стремится оградить будущихъ пастырей отъ всѣхъ современныхъ вѣяній общественныхъ, литературныхъ и научныхъ, мало того — внушить имъ завѣдомо превратное, ложное представленіе о нихъ. Духовныя академіи, высшія богословскія школы страны, служатъ разсадниками этой лжи — ложной науки и фарисейскаго самомиѣнія, которыя подъ защитой невѣжественной цензуры монополизируютъ за собою „духовную науку“ и выдаются за истинное богомудріе.

Безотраднымъ является и положеніе свѣтской школы — низшей, средней и высшей. Отсутствіе уваженія къ наукѣ, полное непониманіе зиждущей культурной силы просвѣщенія и образованія, неуваженіе къ школѣ, неспособность и нежеланіе признать самостоятельность школы и самостоятельность ея задачъ, наконецъ полное пренебреженіе къ *внутреннимъ* требованіямъ школьнаго дѣла — вотъ главный тормазъ развитія школы и просвѣщенія въ Россіи. Полицейскій интересъ, полицейскія соображенія и здѣсь берутъ верхъ надъ всѣмъ и заслоняютъ собою все — и духовныя нужды общества, и элементарныя требованія школы.

Въ области низшаго, первоначальнаго образованія — борьба противъ земства и земской школы изъ-за полицейскихъ страховъ, изъ-за глубокаго недовѣрія къ русскому обществу и русской интеллигенціи. Въ области средней школы — ультра-полицейскій режимъ, введенный графомъ Толстымъ и основанный на грубомъ недовѣріи къ обществу и педагогическому персоналу. Система „особливаго“ надзора надъ учениками, преподавателями, начальствомъ; чисто полицейское отношеніе къ педагогическому дѣлу, къ воспитанію и преподаванію; постоянная ломка учебныхъ плановъ подъ вліяніемъ соображеній опять-таки чисто внѣшняго, полицейскаго свойства: такія соображенія вызвали введеніе классицизма, и они же вели къ его отміѣнѣ; ими вызываются сокращенія или расширенія учебныхъ плановъ по исторіи и русской словесности. Наконецъ, въ

университетахъ ломка уставовъ по тѣмъ же соображеніямъ безъ всякаго вниманія къ существу университетскаго дѣла и въ заключеніе — теперешній полицейскій уставъ 1884 года со всѣми его придатками, заплатами и пробоинами. Независимо отъ сего, отъ окончательнаго разрушенія автономіи и внутренняго авторитета университета, постоянное грубо-деспотическое вмѣшательство полиціи въ его дѣла, вмѣшательство непосредственное или же посредствуемое министерствомъ народнаго просвѣщенія, которое само является у насъ лишь спеціальною отраслью полицейскаго управленія Имперіи.

Послѣ разгрома Ванновскаго русская школа, средняя и высшая, представляетъ собою пожарище, занятое временными балаганами, на которомъ надо что-нибудь построить. Строить безъ знающихъ зодчихъ, безъ плана, безъ вниманія къ требованіямъ школьнаго и университетскаго дѣла, очевидно, нельзя. Но, съ другой стороны, отказаться отъ первенства полицейскихъ интересовъ, допустить самостоятельность школы, автономію университетовъ, признавать право научной мысли и свободной научной дѣятельности „академической свободы“ — все это возможно лишь въ правовомъ государствѣ, а не въ республикѣ жандармовъ.

Школа, въ которой не знаютъ, чему и къ чему учить и учиться, распадается окончательно, и университетскій кризисъ слишкомъ обострился, чтобы тянуться долѣе. Волненія университетской молодежи, раздутыя и усиленные безсмысленными репрессіями, дѣлаютъ невозможнымъ осуществленіе задачъ университетскаго образованія и принимаютъ явно политическій характеръ. Правительство сочтетъ себя вынужденнымъ закрыть университеты и вычеркнуть Россію изъ числа странъ, имѣющихъ высшія учебныя заведенія. Если оно не сдѣлало этого до сихъ поръ, если, въ своемъ „отеческомъ попеченіи“ объ учащихся, оно ограничивалось палліативами — массовыми избиеніями, высылками, ссылками въ Восточную Сибирь, отдачей въ солдаты и другими репрессіями, то поздно или рано ему придется не только убѣдиться въ томъ, что университеты не могутъ существовать при режимѣ „слова и дѣла“, но и открыто признать это и покончить съ университетскимъ вопросомъ.

Этотъ вопросъ имѣетъ великое принципиальное значеніе: отношеніемъ своимъ къ университету, разсаднику высшаго научнаго образованія, государство опредѣляетъ свое отношеніе къ дѣлу образованія и просвѣщенія вообще, — оно опредѣляетъ свой собственный образовательный цензъ, выдаетъ самому себѣ аттестатъ. Помимо практической надобности въ людяхъ съ высшимъ образованіемъ,

нужна вывѣска университета. Но въ концѣ концовъ придется обойтись и безъ нея или прибѣгнуть къ пустому мѣсту.

Итакъ, еще разъ, гдѣ же онѣ, „зидущія положительныя основы государственности и общественности“? И гдѣ тѣ учрежденія, которыя вводятъ ихъ въ сознание общества, которыя воспитываютъ, дисциплинируютъ общество въ благоговѣйномъ почтеніи къ этимъ зидущимъ началамъ? Парализованная церковь, разлагающаяся школа или печать униженная, оскорбленная, проживающая по желтому билету, подъ надзоромъ или на содержаніи полиціи? Или, можетъ-быть, назидающее, дисциплинирующее вліяніе оказываютъ тѣ „особливые“ органы и учрежденія, которые воспитываютъ въ русскомъ обществѣ „сознаніе зависимости отъ внѣшнихъ силъ и, слѣдовательно (!), отъ началъ высшаго порядка“.

Отсутствіе школы, общественнаго воспитанія и общественной дисциплины, отсутствіе „положительныхъ зидущихъ началъ“ въ русской жизни является источникомъ глубокой деморализаціи и растлѣвающего нравственнаго анархизма, гибельнаго какъ для общества, такъ и для личности. Отсюда подавленное, угнетенное нравственное настроеніе, апатія, поющій, ипохондрическій пессимизмъ, неуравновѣшенность, издерганность, ужасающая безпринципность, тревожные симптомы нравственнаго вырожденія, составляющіе характерныя особенности современныхъ общественныхъ и литературныхъ типовъ.

Разрушительная борьба противъ всякой общественности припесла свой плодъ въ глубокой нравственной дезорганизаціи общества, которая представляетъ одну изъ самыхъ серіозныхъ угрозъ для настоящаго и будущаго Россіи. Стихійный, безотчетный патріотизмъ таится въ ней, и онъ-то всего болѣе подаетъ надежду и на грядущее возрожденіе. Но этотъ патріотизмъ лишенъ возможности какого бы то ни было достойнаго и положительнаго проявленія внѣ исключительныхъ моментовъ народныхъ бѣдствій или катастрофъ въ родѣ настоящей войны. Не говоря о низменныхъ площадныхъ проявленіяхъ, возбуждающихъ простую брезгливость, дѣйствительный патріотизмъ въ мирное время имѣетъ случай высказываться почти исключительно въ отрицательной формѣ оппозиціи или протеста и возбуждаетъ въ просвѣщенныхъ и честныхъ русскихъ людяхъ почти исключительно чувства негодованія, стыда и злобы при каждомъ новомъ актѣ произвола и насилія, при каждомъ новомъ внутреннемъ пораженіи Россіи. Тотъ не достоинъ быть русскимъ гражданиномъ, кто не чувствуетъ жгучаго стыда при

мысли о своемъ безправіи, о безправіи всего русскаго народа. И это постоянное уязвленіе и поправіе патріотизма, этотъ стыдъ и обида за Россію создаетъ крайне угнетенную, нездоровую атмосферу, въ которой притупляется чувство гражданскаго долга и въ которой легко извращаются элементарныя понятія общественной нравственности. Вотъ почему молодое поколѣніе, вырастающее въ этой атмосферѣ, воспитывается въ смутѣ и выходитъ въ жизнь съ революціоннымъ настроеніемъ и самыми превратными антипатріотическими взглядами на общество, государство и гражданскія обязанности. Вотъ почему, несмотря на цѣлое море холопства, косиѣнія, квасного крѣпостничества, въ Россіи нѣтъ почти нѣтъ элементовъ здороваго и дѣйствительно жаждущаго консерватизма.

Среди гнили общественной зародился и расцвѣлъ російскій радикализмъ, побочный сынъ политическаго рабства и полицейскаго деспотизма. Онъ представляетъ собой лишь обратную сторону, отрицательный плюсъ реакціи. Достойный сынъ вѣка, невѣжественный, грубый и столь же, если еще не болѣе, антикультурный, чѣмъ породившій его деспотизмъ, безшабашный и распущенный, равно чуждый внутренней дисциплинѣ и зрѣлой политической мысли, онъ, естественно, вырождается въ революціонный анархизмъ и, продолжая дѣло отцовъ, способенъ служить лишь дѣлу смуты и разрушенія. Его называютъ беспочвеннымъ; но простой взглядъ на современное состояніе русскаго общества убѣждаетъ насъ въ томъ, что нигдѣ нѣтъ почвы, болѣе благоприятной для развитія этого продукта гніенія общественнаго, какъ именно въ нашей средѣ.

Въ затхлой атмосферѣ, гдѣ не можетъ жить ни просвѣщенный въ корнѣ своемъ охранительный либерализмъ, ни истинный патріотизмъ, ни разумный консерватизмъ, тамъ, безъ воздуха и свѣта, множится эта тлетворная плѣсень. И мы все боимся свѣта и воздуха, которые одни могутъ ее убить и оздоровить общественную атмосферу, между тѣмъ какъ именно ихъ отсутствіе способствуетъ ея развитію и губить лучшія силы Россіи.

Въ грозный часъ великаго испытанія, когда всѣ язвы, вся несостоятельность государственнаго и общественнаго строя Россіи столь явно раскрылись передъ цѣлымъ свѣтомъ, когда зарево пожара освѣтило намъ ту зіяющую бездну, въ которую мы несемся, мнимые охранители подъ громъ японскихъ орудій и какъ бы въ союзѣ съ нашими врагами мечтали ввести въ Россію режимъ Бирона, экс-

плутируя и вмѣстѣ подрывая проснувшійся патріотизмъ русскаго общества. Это была измѣна, которой нѣтъ оправданія въ самой слѣпотѣ и безуміи, — измѣна, которая несравненно хуже и опаснѣе всѣхъ гнусностей революціоннаго японофильства.

IV.

Вотъ мысли, которыя многіе, долгіе годы думаютъ просвѣщенные русскіе люди, — мысли, въ которыя мы вкладываемъ всю горечь обиды, весь стыдъ и негодованіе поправнаго патріотизма, всю нашу вѣру въ Россію и нашу сыновнюю любовь.

Мы убѣждены, что во всей Россіи, начиная отъ Царя и до послѣдняго мужика, до послѣдняго солдата, котораго теперь ведутъ на бойню въ Манчжурію, никто, рѣшительно никто, за исключеніемъ немногихъ корыстныхъ, злонамѣренныхъ людей, не заинтересованъ въ сохраненіи теперешняго режима, равно опаснаго для каждаго отдѣльнаго русскаго гражданина и для внутренняго мира, чести внѣшней цѣлости Россіи, для Престола и государственнаго порядка. Недоразумѣнія становятся невозможными въ виду очевидности.

Мы не порываемъ связей съ историческимъ прошлымъ Россіи. Мы не отрекаемся отъ основъ ея государственнаго величія, а хотимъ ихъ укрѣпить и сдѣлать незыблемыми. Мы не поднимаемъ руки противъ церкви, когда хотимъ освобожденія ея отъ кустодіи фарисеевъ, запечатавшихъ въ гробу живое слово. И мы не посягаемъ противъ Престола, когда мы хотимъ, чтобы онъ держался не общимъ безправьемъ и самовластьемъ опричниковъ, а правовымъ порядкомъ и любовью подданныхъ. Тотъ самый патріотизмъ, тотъ могучій государственный инстинктъ, который собралъ Россію вокругъ Престола московскихъ государей, образовалъ ее въ самую крѣпкую и обширную державу въ мірѣ, долженъ теперь получить свое историческое оправданіе: не на гибель себѣ, не на закрѣпощеніе Россіи вознесъ онъ такъ высоко престолъ царскій и заложилъ такъ прочно его основаніе. Теперь сама царская власть должна довершить строительство земли, давъ ей свободу и право, безъ которыхъ нѣтъ ни силы, ни порядка, ни просвѣщенія, ни мира внутренняго и внѣшняго. И этимъ она не ослабитъ, а безконечно усилитъ себя, возстановивъ себя въ своемъ истинномъ значеніи царской, а не полицейской власти и сдѣлавшись залогомъ свободы, права и мирнаго преуспѣянія.

Умалится ли существующая царская власть въ тотъ вождедѣльный день, когда гарантіи правового порядка будутъ ею даны, когда

она сдѣлаетъ своихъ слугъ реально отвѣтственными передъ собой и передъ Россіей и вызоветъ къ существованію единственный органъ, способный осуществить такую отвѣтственность? Ослабится ли механизмъ государственнаго управленія отъ правового порядка или уваженіе къ власти оттого, что въ основу ея дѣятельности ляжетъ законъ, а не произволъ? Подорвется ли кредитъ Россіи оттого, что бюджетъ ея будетъ обсуждаться земскимъ соборомъ и согласоваться съ ея дѣйствительными нуждами и силами? Наконецъ, станетъ ли законодательная дѣятельность менѣе плодотворной, цѣлесообразной и согласной съ дѣйствительными потребностями земли, если ея избранники примутъ участіе въ такой дѣятельности?

Не должно быть ни ложныхъ иллюзій, ни ложныхъ страховъ. *Въ настоящую минуту*, въ силу историческихъ условій, въ Россіи еще не видно той общественной политической силы, которая могла бы исторгнуть у верховной власти какія-либо конституціонныя гарантіи помимо ея воли. Нравится ли это намъ, или нѣтъ, но пока это несомнѣнно такъ, и тѣ небольшія сравнительно группы радикаловъ, которыя мечтаютъ объ „освобожденіи“ Россіи посредствомъ революціонной агитаціи, не отдаютъ себѣ достаточно отчета въ крѣпости историческихъ основъ державной власти и въ стихійной силѣ того вѣрнаго историческаго инстинкта, который собиралъ и доселѣ собираетъ Россію вокругъ Престола, какъ единого стяга русскаго. Этимъ и объясняется, что нашъ радикализмъ вступаетъ въ столкновеніе съ самимъ патріотизмомъ русскимъ, который не можетъ отречься отъ завѣтовъ всего прошлаго Россіи, не отказавшись отъ себя самого. При началѣ войны этотъ коренной порокъ нашего радикализма выступилъ съ особенною яркостью въ антипатріотическихъ, японофильскихъ манифестаціяхъ, одинаково омерзительныхъ для всякаго здраваго нравственнаго чувства, — манифестаціяхъ, достойныхъ не гражданъ, а взбунтовавшихся холоповъ. Здѣсь явно обнаружилась внутренняя несостоятельность этого движенія, его полнѣйшая политическая неспособность. Точно такъ же, какъ и реакція, съ которой оно „нераздѣльно и неслиянно“ связано, оно можетъ служить лишь дѣлу разрушенія и тормозить дѣйствительный прогрессъ, культурный и политическій. Не тайна ни для кого: гнусное преступленіе 1-го марта остановило необходимую политическую реформу до нашихъ дней.

Повторяемъ, въ настоящую минуту, несмотря на крайнее возрастающее усиленіе смуты и общаго неудовольствія, которое переходитъ въ открытый ропотъ, *еще нѣтъ* той силы, которая могла бы

вынудить у верховной власти какой-либо актъ, ограничивающій ея державныя права. Но именно по этому самому всякій истинно-вѣрноподданный, сохранившій какую-либо вѣру въ царскую власть, всякій русскій патриотъ, отдающій себѣ ясный отчетъ въ современномъ положеніи Россіи, долженъ желать, чтобы великій актъ освобожденія совершился именно теперь свободнымъ починомъ монаршей власти, дабы необходимая и въ концѣ концовъ все-таки *неизбѣжная* реформа шла отъ Престола и совершалась въ его утвержденіе. Эта реформа должна совершиться теперь, пока не поздно — для блага Россіи и Престола, пока она еще можетъ прійти отъ Престола безъ умаленія его значенія, пока ложная и безумная политика полицейскаго деспотизма не привела насъ къ полной анархіи, къ полному матеріальному и нравственному разоренію и кровавымъ смутамъ.

Первое, что требуется отъ истиннаго государственнаго человѣка, это ясное сознаніе настоящаго положенія и вытекающее отсюда пониманіе и предвидѣніе *неизбѣжнаго* будущаго.

Въ наши дни всякій русскій человѣкъ, обладающій не то что государственнымъ, а простымъ здравымъ смысломъ, не можетъ не видѣть, что современное положеніе вещей продолжаться не можетъ: оно неизбежно должно быстро и прогрессивно ухудшаться, если не произойдетъ коренной политической реформы. Полицейскій деспотизмъ и связанная съ нимъ смута и анархія будутъ идти впередъ рука объ руку, а съ ними — одичанье, разоренье Россіи и общій упадокъ. Тотъ искусственный застой, „та система замороженныхъ нечистотъ“, какъ называлъ Вл. Соловьевъ режимъ восьмидесятыхъ годовъ, могла держаться лишь определенное, короткое время... Надо отдать себѣ отчетъ, что настоящій порядокъ вещей безусловно не соответствуетъ ничьимъ законнымъ интересамъ, а всего менѣе — интересамъ Престола, и что политическая реформа поздно или рано придетъ во всякомъ случаѣ. Весь вопросъ въ томъ, какъ и когда она придетъ — теперь ли по волѣ монарха, во благо Престолу и Россіи, или позднѣе, быть можетъ, слишкомъ поздно, послѣ страшныхъ потрясеній и дѣйствій, когда надежда Россіи будетъ обманута и вѣра ея посрамлена... Ясно одно, что откладывать опасно и что настоящій порядокъ вещей безконечно опаснѣе не только для Россіи, но и для самаго Престола, нежели правовой порядокъ.

Мы уже видѣли: тѣ реальныя, фактическія успія, которыя, при современномъ бюрократическо-полицейскомъ строѣ, дѣлаютъ мнимую царскую власть, безконечно болѣе ограничиваютъ ее, нежели нормы

правового государства. И наоборотъ, гарантія закономѣрнаго правопорядка, данная свободнымъ актомъ верховной власти, не можетъ ее умалить. Мы слышимъ возраженія: царь, который сегодня созываетъ народныхъ представителей по собственному свободному почину, не утратитъ отъ этого ни права ни возможности распускать ихъ завтра. Да, это право и эта возможность останутся за нимъ. Но если еще нѣтъ у насъ *политической* силы, которая могла бы вынудить у монарха конституцію и продиктовать ему свою хартію, то существуетъ *государственная необходимость* въ упраздненіи полицейскаго деспотизма и учрежденіи представительнаго правленія.

Если монархъ созываетъ народныхъ представителей сегодня и не распускать ихъ завтра, то сдѣлаетъ это не по принужденію, а по разсужденію, уступая не виѣшной силѣ, а сознанной политической необходимости во благо Россіи и Престола. Если онъ созываетъ ихъ сегодня, то это для того, чтобы вывести Россію изъ того бѣдственнаго и опаснаго состоянія, въ которомъ она находится, въ которомъ онъ всего менѣе можетъ желать ее удержать; и если онъ распускать завтра представительное собраніе, то онъ сдѣлаетъ это для того, чтобы привести Россію къ еще худшему положенію, нежели сегодня.

И чѣмъ скорѣе совершится этотъ великій и спасительный актъ, тѣмъ прочнѣе будутъ заложены основы царской власти на будущее время, тѣмъ свободнѣе будетъ произволеніе царя. Онъ возвеличитъ свою власть и оправдаетъ ее, онъ совершитъ дѣло правды и мира и заплатитъ свой долгъ Россіи за всѣ тѣ жертвы и тѣ жизни, которыя она для него отдавала съ такимъ безпредѣльнымъ самоотверженіемъ и вѣрой. Не для того приносились онѣ, чтобы увѣковѣчить рабство и безправіе русской земли и полицейскій деспотизмъ петербургской бюрократіи!

Русское самодержавіе выросло въ борьбѣ за единство и цѣлость Россіи, въ великой борьбѣ съ монгольскимъ міромъ, которую мы пережили въ періодъ нашего государственнаго роста и которая возобновляется теперь, послѣ перерыва нѣсколькихъ столѣтій. Самодержавный царь, „самодержецъ“ означаетъ первоначально царя *автономнаго*, не зависимаго отъ какой-либо виѣшной власти, не состоящаго данникомъ или подданнымъ вассаломъ другого государя. Такое самодержавіе, или суверенитетъ государства, есть первое условіе независимаго государственнаго существованія, для достиженія и упроченія котораго наши предки бились такъ долго и такъ упорно. Во внутренней жизни Россіи ростъ царской власти опредѣляется

побѣдой надъ противоборствующими партикуляристическими стремленіями, традиціями и переживаніями удѣльнаго періода и побѣдой надъ притязаніями правящаго боярства, при чемъ и здѣсь восторжествовало начало единовластія и верховенства царской власти. И наконецъ, эта самодержавная царская власть, залогъ государственнаго единства и крѣпости, оправдала себя въ качествѣ начала зиждущаго и творческаго въ реформахъ Петра, Екатерины, Александра II.

Нынѣ ей предстоитъ довершить дѣло государственнаго строительства, не порывая съ завѣтами прошлаго, а, наоборотъ, слѣдуя этимъ завѣтамъ: въ охраненіи внѣшней цѣлости и внутренняго мира, въ огражденіи единовластія отъ узурпаціи правящей бюрократіи, въ удержаніи закона и порядка и, наконецъ, для общаго культурнаго и экономическаго подъема, для освобожденія и развитія творческихъ производительныхъ силъ страны царская власть должна дать Россіи блага правового порядка и политической свободы.

Великая послѣдняя борьба съ монгольскимъ міромъ ожидаетъ насъ въ теченіе предстоящаго вѣка. И каковъ бы ни былъ исходъ настоящей войны, ясно для всякаго, что это только схватка съ передовымъ отрядомъ монгольской силы, которую мы же разбудили и подняли отъ вѣкового сна. Каковъ бы ни былъ исходъ этой разорительной убійственной войны, ясно уже теперь, что она скрѣпитъ узы Японіи и Китая и поведетъ къ вооруженію Китая въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ.

Въ этой борьбѣ намъ нуженъ державный вождь, сильный сознаниемъ нашей вѣры, и намъ нужна вѣра въ наше знамя, то царское знамя, за которое мы сражаемся и будемъ сражаться, вѣра не поколебимая, а усиленная, утвержденная, оправдывающая себя вѣра. Царь долженъ представлять Россію могущественную и свободную, и Россія должна перестать являться сынамъ своимъ каторжною или политической тюрьмой. Намъ нужно все развитіе, высшій подъемъ и напряженіе всѣхъ нашихъ силъ личныхъ, государственныхъ и общественныхъ, которое немыслимо безъ политической свободы. Намъ нуженъ весь собирательный разумъ русской земли. Намъ нуженъ порядокъ, законъ, внутренній миръ. И всего этого мы не будемъ имѣть, пока не будутъ сняты съ Россіи цѣпи полицейскаго деспотизма, одинаково позорныя для Россіи и для Царя, который ею править. И это столь же необходимо для внутренняго порядка и преуспѣянія, какъ и для внѣшней силы нашей.

Вооруженныя европейской техникой полчища монголовъ будутъ сильнѣе насъ, пока мы не совершимъ *внутренней* побѣды надъ

монголизмомъ, надъ внутренней татарщиной нашей. Изъ вѣковой борьбы съ надвинувшимися на нее татарами Россія вышла могущественнѣйшимъ и обширнѣйшимъ въ мірѣ государствомъ. Теперь, когда въ результатѣ случайнаго съ виду, но вмѣстѣ провиденціальнаго сдѣленія причинъ борьба съ стихійными полчищами Востока вновь предстоитъ Россіи въ теченіе грядущаго столѣтія, она сама должна представлять собою нѣчто большее, чѣмъ стихійную силу: она должна стать, чѣмъ она призвана быть, — правовымъ христіанскимъ государствомъ, передовою силою Европы и христіанской культуры въ предстоящей борьбѣ съ Азіей.

И каковъ бы ни былъ исходъ настоящей войны, ни одно русское сердце не можетъ и не должно мириться съ мыслью, что и послѣ нея Россія останется въ прежнемъ безпросвѣтномъ рабствѣ и коснѣніи, которыя не сулятъ ей ничего, кромѣ позора, смуты и гибельныхъ неисчислимыхъ бѣдствій. Но мы вѣримъ, Россія восприняетъ, и тотъ неизсякаемый мощный духъ самоотверженнаго патріотизма, который являетъ себя на полѣ брани въ подвигахъ героевъ и создалъ крѣпость Россіи и силу Престола, воскреснетъ, обновитъ Россію и освободитъ ее.

Дрезденъ, 1904 г.

(Печаталось въ „Московскомъ Еженедѣльникѣ“ въ 1906 году.)

Помѣщаемая ниже статья написана кн. С. Н. Трубецкимъ въ августѣ 1904 года подъ впечатлѣніемъ убійства В. К. фонъ Плеве и статей, появившихся въ „Гражданинѣ“, въ коихъ политика погибшаго министра подвергалась осужденію.

Статья не могла быть напечатана въ то время по цензурнымъ соображеніямъ и авторъ использовалъ ея содержаніе для другой статьи: „Два Пути“, помѣщенной въ „Правдѣ“ въ октябрѣ того же года.

И ты тоже, Бруть!

Князь Мещерскій разочаровался въ политикѣ покойнаго г. фонъ Плеве и считаетъ долгомъ гражданина заявить объ этомъ во всеуслышаніе.

Онъ клеймитъ политику официальнаго консерватизма, господствовавшую послѣдніе „два года и три мѣсяца“, и осуждаетъ ее за то, что она вводила полицейско-бюрократическій деспотизмъ подъ предлогомъ и въ явный ущербъ самодержавія, превращая его въ какое-то орудіе борьбы противъ русскаго общества.

Заявленіе кн. Мещерскаго, несомнѣнно, имѣло бы большую цѣну, если бъ оно было сдѣлано два-три мѣсяца тому назадъ. Но теперь,

послѣ смерти г. фонъ Плеве, когда кн. Мещерскій не могъ не слышать того, что во всеуслышаніе говорилось о немъ и о его политикѣ и на улицахъ, и въ гостиныхъ, и въ вагонахъ, и въ ресторанахъ — словомъ, всюду, гдѣ встрѣчаются люди, — теперь мы ожидали бы отъ „Гражданина“ хотя бы нѣсколько словъ въ защиту политики, жертвою которой палъ покойный. Неужели же и кн. Мещерскій не находитъ ничего въ его защиту? Чего же ждать отъ прочихъ, отъ всѣхъ тѣхъ, для которыхъ самъ кн. Мещерскій является наиболѣе яркимъ исповѣдникомъ реакціи, крѣпостничества и ложнаго консерватизма? Или онъ чувствуетъ, что пѣснь его спѣта, и съ ужасомъ начинаетъ видѣть то самое, о чемъ онъ пѣлъ до сихъ поръ съ закрытыми глазами? Какъ бы то ни было, а намъ приходится выступить здѣсь противъ него въ защиту покойнаго министра.

В. Е. фонъ Плеве не былъ творческимъ государственнымъ умомъ, и этого ему, конечно, въ вину поставить нельзя. Но онъ твердо и послѣдовательно шелъ по тому пути, который опредѣлился задолго до него, съ восьмидесятыхъ годовъ и, въ сущности, даже гораздо ранѣе — по старому вѣковому петербургскому тракту, который, видимо, подходитъ къ концу. Его политическое міросозерцаніе всего проще выражено въ бесѣдѣ, приводимой кн. Мещерскимъ: „самоуправленіе — сила неиспытанная, неизвѣданная; бюрократія — сила испытанная, извѣданная“. Онъ прямо отказывался понять значеніе словъ манифеста: „приблизить народъ къ Престолу“. Понимаетъ ли самъ кн. Мещерскій значеніе этихъ словъ — это тоже вопросъ. Намъ сдается, что г. фонъ Плеве мыслилъ послѣдовательнѣе, нежели его критикъ. Покойный министръ былъ послѣднимъ представителемъ „испытанной, извѣданной силы“, полновластной и фактически безответственной бюрократіи, которую онъ отождествлялъ съ самодержавіемъ; другой силы онъ не зналъ, въ другую силу онъ не вѣрилъ и другой программы, кромѣ программы полицейскаго бюрократизма, онъ не понималъ, не останавливаясь передъ крайними ея послѣдствіями, хотя, какъ справедливо писали въ его некрологахъ, „смерть помѣшала ему выполнить многія изъ его предназначеній“.

Многіе русскіе люди, можно сказать — большинство русскихъ людей въ настоящее время, не сочувствовали этой программѣ. Уже давно раздавались голоса, указывавшіе въ фактически всевластной и безконтрольной бюрократіи большую опасность не только для страны, но и для Престола, для всего государственнаго строя, который въ корнѣ извращается неограниченнымъ господствомъ бюрократіи. Мнимый консерватизмъ, выступающій въ защиту этой неограни-

ченной бюрократіи, естественно, ставилъ лозунгомъ своимъ антиправовой порядокъ, — антиправовой даже съ точки зрѣнія основныхъ законовъ Россійской Имперіи. И этимъ опредѣляется вся программа ложнаго консерватизма, разрушительная, революціонная по существу своему, та программа, которая вотъ уже четверть вѣка проповѣдуется на всѣ лады газетчиками лагеря кн. Мещерскаго: сплошная экзекуція центра и окраинъ отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, уничтоженіе всѣхъ реформъ Александра II, разгромъ земства, разгромъ гласнаго суда, разгромъ печати, университетовъ, всякихъ начатковъ или рудиментовъ общественности.

Почему все это называютъ охраненіемъ, а не „измѣной“ — многіе изъ насъ не понимали и не понимаютъ до сихъ поръ. И, однако, все это является логическимъ послѣдствіемъ того антиправового принципа, который служитъ началомъ нашего ложнаго консерватизма. Теперь, когда система его рушится у всѣхъ на глазахъ, самъ кн. Мещерскій отъ нея отрещивается. Но если онъ увѣряетъ, что ей всего два года и три мѣсяца, и что ложный консерватизмъ есть изобрѣтеніе покойнаго министра, то это одно показываетъ, что онъ совершенно не понимаетъ, о чемъ говорить. Стоитъ раскрыть „Гражданинъ“ за прежніе годы, чтобы убѣдиться въ томъ, что „ложный консерватизмъ“ значительно старше двухлѣтняго возраста, и что страдаетъ онъ не дѣтскою болѣзью, а старческимъ маразмомъ. И, во всякомъ случаѣ, не апостоламъ реакціи обвинять несчастнаго министра, который попробовалъ осуществить на дѣлѣ лишь малую часть того, о чемъ они мечтали и что является необходимымъ слѣдствіемъ общаго направленія!

Вотъ этого именно и не сознаютъ многіе изъ теперешнихъ критиковъ г. фонъ Плеве. Они не только мирятся съ основными антиправовыми началами нашей бюрократіи, но возводятъ ихъ въ идеалъ, а затѣмъ ропщутъ на то, что такіа возвышенныя начала проводятся въ жизнь путемъ виѣшняго полицейскаго принужденія... Да какъ будто ихъ можно проводить или поддерживать иначе!

Если бы князь Мещерскій имѣлъ крупицу политическаго смысла, если бы онъ зналъ, чего онъ хочетъ, онъ задумался бы прежде, чѣмъ судить покойнаго министра. И многіе изъ критиковъ покойнаго судятъ его, недостаточно отдавая себѣ отчета въ томъ, что онъ, въ сущности, не внесъ и не могъ внести новаго въ министерство внутреннихъ дѣлъ; онъ былъ лишь новымъ воплощеніемъ, новой фазой метемпсихозы одного и того же низменнаго духа и шелъ традиціоннымъ путемъ неограниченнаго бюрократизма.

И всякій преемникъ его вынужденъ будетъ пройти этимъ путемъ еще нѣсколько шаговъ — далѣе его, какъ и самъ онъ сдѣлалъ лишь нѣсколько шаговъ далѣе своего предшественника, погибшаго подобно ему...

Вѣрно, что старый петербургскій трактъ приходитъ къ концу и упирается въ непроходимую топь. Но для того, чтобы свернуть съ этого стараго тракта, недостаточно отмѣнить отдѣльные проекты или реформы покойнаго министра, надо прежде всего ясно сознать, какой другой путь открывается, кромѣ этого испытаннаго и извѣданнаго пути „антиправового порядка“.

Этотъ другой путь состоитъ въ томъ, чтобы не на словахъ только, а реально „приблизить народъ къ Престолу“ и освободить и народъ и Престолъ отъ пути всевластной, фактически безответственной бюрократіи, узурпирующей державныя права...

Но не какой-либо министръ, а только сама верховная власть свободнымъ произволеніемъ можетъ въ настоящее время положить конецъ этому порядку вещей, сдѣлать бюрократическое правитель-ство ответственнымъ не на словахъ, а на дѣлѣ и вызвать къ существованію органъ, стоящій виѣ бюрократіи и способный осуществить реальный контроль надъ нею.

Но до тѣхъ поръ, пока этого нѣтъ, остается одинъ только „извѣданный путь“, которымъ шли г. фонъ Плеве и его предшественники. И тогда необходимо идти все далѣе и далѣе до самаго конца, не останавливаясь передъ неизбежными послѣдствіями, каковы бы они ни были.

Третьяго пути нѣтъ, — есть только возможность шатанья, колебаній, скачковъ изъ стороны въ сторону, — самая худшая, самая бесплодная изъ всѣхъ политикъ, которая ничего не дастъ и ни отъ чего не избавитъ. Покойному министру можно поставить въ заслугу хотя бы то, что онъ не слѣдовалъ этой политикѣ. Какого же пути хотятъ его критики, съ кн. Мещерскимъ во главѣ? Оставить „извѣданный путь“ они едва ли рѣшатся, идти далѣе старой дорогой — они страшатся, а стоять на мѣстѣ по нынѣшнимъ временамъ долго нельзя. Или они думаютъ и здѣсь пятиться назадъ, — пятиться по попятному пути, восходя отъ конца реакціи къ ея началу? Но не есть ли это политика сказки про бѣлаго бычка?

Меньшово,
18 августа 1904 г.



1

2

3

4

5

ОГЛАВЛЕНІЕ.

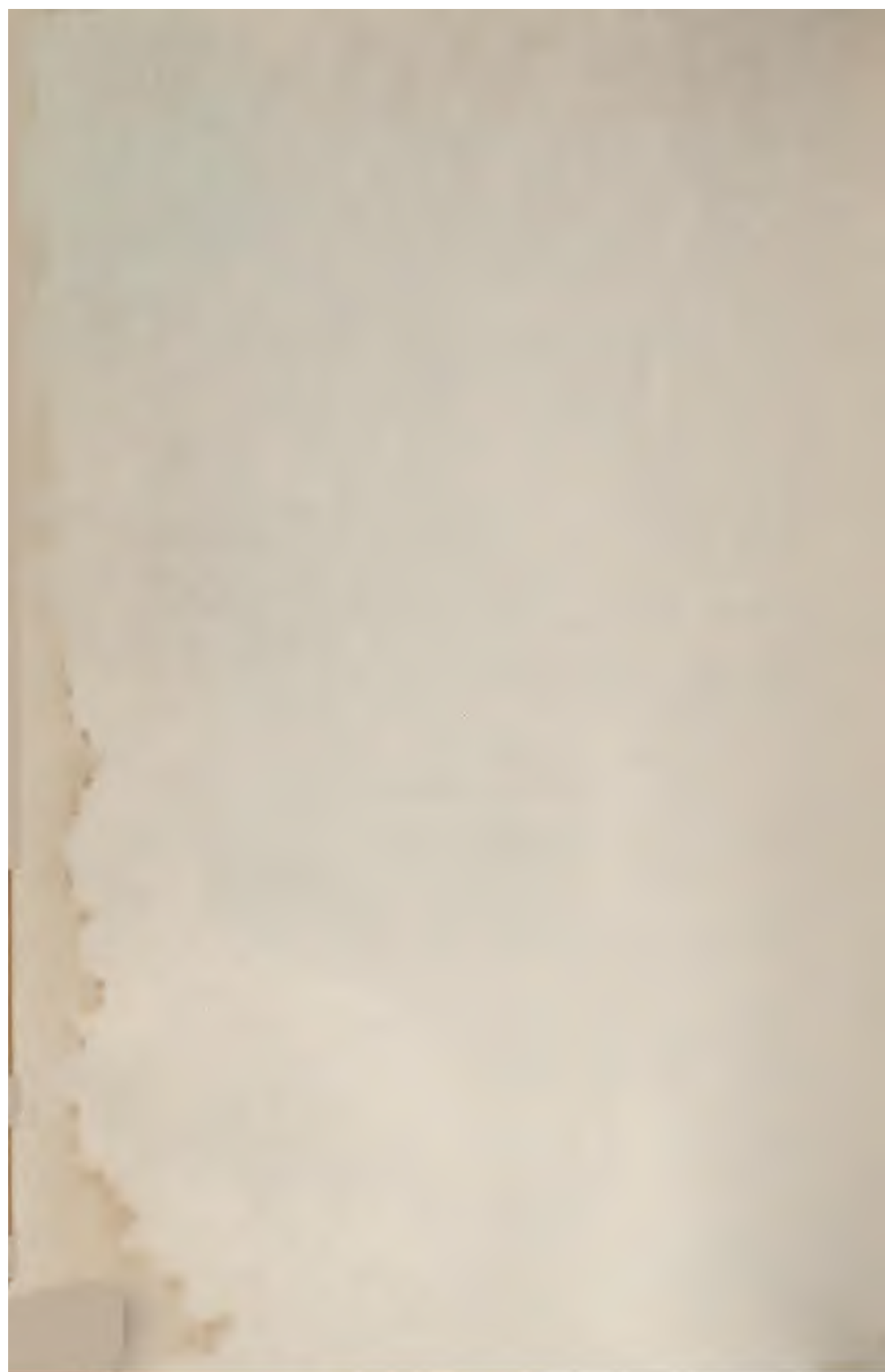
| | <i>Стран.</i> |
|---|---------------|
| По поводу правительственнаго сообщенія о студенческихъ безпорядкахъ | 1 |
| Отвѣтъ „профессору университета“ | 14 |
| Дѣло Мортара | 20 |
| Открытое письмо кн. Э. Э. Ухтомскому | 22 |
| Отвѣтъ кн. Д. Н. Цертелеву | 25 |
| Второй отвѣтъ князю Цертелеву | 29 |
| Дѣло Дрейфуса и французскіе генералы | 33 |
| Существуетъ ли общество? | 36 |
| Къ современному политическому положенію | 41 |
| Письмо въ редакцію | 46 |
| Сумлеваюсь штопъ | 51 |
| „Очень сомнѣваюсь“ | 53 |
| Въ высшей степени сомнѣваюсь | 57 |
| Урокъ классицизма | 65 |
| Фрейлейнъ | 70 |
| Рѣчь, произнесенная въ закрытомъ засѣданіи ист.-фил. студ. общ-ва. | 72 |
| Татьянинъ день | 77 |
| Россія — на рубежѣ | 79 |
| Изъ писемъ въ редакцію | 81 |
| Письмо къ редактору | 83 |
| Быть или не быть университету | 85 |
| Письмо въ редакцію | 88 |
| Современное положеніе нашей печати | 89 |
| Письмо въ редакцію | 94 |
| Письмо къ проф. Д. Н. Анучину | 95 |
| Медлить нельзя | 97 |
| Статья изъ „Московской Недѣли“ | 99 |
| Сказка о Сенѣ и Васѣ или благонамѣренность не всегда помогаетъ | 125 |
| Высочайшій пріемъ делегатовъ отъ земствъ и городовъ | 129 |
| Перехъ рѣшеніемъ | 134 |
| Рѣчь кн. С. Н. Трубецкого при избраніи его ректоромъ | 139 |
| Письмо кн. В. М. Голицыну | 140 |
| Въ университетѣ | 141 |
| Письмо въ редакцію | 144 |

Журнальные статьи и докладные записки.

| | |
|---|-----|
| Мнимое язычество или ложное христианство? | 149 |
| Разочарованный славянофилъ | 173 |
| Противорѣчія нашей культуры. | 212 |
| Научная дѣятельность А. М. Иванцова-Платонова | 229 |
| Чувствительный и хладнокровный | 251 |
| Университетъ и студенчество | 261 |
| Ренанъ и его философія | 287 |
| I. Научное и литературное значеніе Ренана. | 288 |
| II. Ренанъ, какъ гуманистъ | 297 |
| III. Философія Ренана и его метафизика. | 301 |
| IV. Мораль Ренана. | 309 |
| V. Аристократизмъ Ренана. | 320 |
| Памяти В. П. Преображенскаго. | 328 |
| ✓ — Смерть В. С. Соловьева. | 344 |
| ✓ — Основное начало ученія В. Соловьева | 352 |
| Лишніе люди и герои нашего времени | 368 |
| Къ девятому симфоническому собранію | 383 |
| По поводу концерта Скрябина. | 385 |
| Записка, поданная министру внутреннихъ дѣлъ Сантополку-Мирекому | 389 |
| Въ Московское Дворянское Собраніе особое мнѣніе | 397 |
| Рѣчь, сказанная на аграрномъ съѣздѣ въ Москвѣ. | 400 |
| Записка проф. кн. С. Н. Трубецкаго о настоящемъ положеніи высшихъ учебныхъ заведеній и о мѣрахъ къ восстановленію академическаго порядка. | 401 |

Посмертныя статьи.

| | |
|--|-----|
| Правдивая исторія „Здраваго Слова“ | 413 |
| Феркель. | 430 |
| ✓ — О современномъ положеніи русской церкви | 438 |
| ✓ — Проектированное чтеніе на „богословскихъ бесѣдахъ“ | 446 |
| Канунъ Новаго Года | 452 |
| Сказка объ общипанной Жарь-Птицѣ | 455 |
| На рубежѣ | 458 |
| И ты тоже, Брутъ! | 492 |







4279
T7A3
1907
v.1



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC JUN 22 1997
MAY 1997

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion.

As the world's population grows, the demand for food and other resources will increase. This will put pressure on the environment and on the world's food supply. It is important that we find ways to meet this demand without harming the environment.

One way to do this is to use sustainable agriculture. This means using farming methods that do not harm the environment and that can be used over and over again.

Another way to do this is to use renewable resources. These are resources that can be replaced naturally, such as wind and solar energy.

By using sustainable agriculture and renewable resources, we can help to meet the world's growing demand for food and other resources without harming the environment.

It is our responsibility to take action now to protect the environment and to ensure that we have enough food and other resources for the future.

Let's work together to make a better world for ourselves and for future generations.

Thank you for your attention.

Sincerely,
[Signature]

[Name]
[Address]
[City, State, Zip]

[Phone Number]
[Email Address]

[Web Address]

[Social Media Links]

[Footer Information]